

В. В. Розанов

Загадки русской провокации

Статьи и очерки 1910 г.



В. В. Розанов

**Собрание
сочинений**

В. В. Розанов

Загадки русской провокации

Статьи и очерки 1910 г.

Собрание сочинений
под общей редакцией
А. Н. Николукина

Москва
Издательство «Республика»
2005

Российская академия наук

Институт научной информации
по общественным наукам

Составление и подготовка текста
А. Н. Николюкина и В. Н. Дядичева

Комментарии *В. Н. Дядичева*

Проверка библиографии *В. Г. Сукача*

Указатель имен *В. М. Персонова*

Розанов В. В.

Р64 Собрание сочинений. Загадки русской провокации (Статьи и очерки 1910 г.) / Под общ. ред. А. Н. Николюкина. – М.: Республика, 2005. – 494 с.
ISBN 5–250–01898–X

Данный том Собрания сочинений В. В. Розанова составляют его статьи и очерки 1910 г., впервые собранные в отдельную книгу из различных сейчас труднодоступных периодических изданий того времени. Он откликается в них на самые разные события и проблемы российской жизни. Одна из главных тем его публицистики в этом году – размышления о роли интеллигенции в русском революционном движении. Особое внимание В. В. Розанов уделяет становлению национального самосознания, отечественной истории, литературе и культуре, школьному и семейному вопросам. Читатель познакомится с горячими откликами автора на уход и смерть Л. Н. Толстого.

Издание адресовано всем, кто интересуется историей русской литературы, философии и культуры.

ББК 87.3

© Издательство «Республика», 2005
© А. Н. Николюкин. Составление, 2005

ISBN 5–250–01898–X

Статьи и очерки 1910 года



НА НОВЫЙ ГОД

Катится день за днем, месяц за месяцем, минута за минутою непрерывное время: и человеку хочется за что-нибудь уцепиться, чтобы опомниться, оглянуться, рассчитать сколько-нибудь свое будущее. Отсюда *новолетия*, начавшие праздноваться у человечества с незапамятных времен гораздо раньше христианства. «Еще год *труда* нашего, и вместе нашей *жизни*, минул: с наступающим годом будем ждать чего-нибудь *нового*, будем стараться делать *другое и лучшее*». Такова всеобщая надежда и всеобщая жажда человечества; всеобщие гадания человечества. Новый год – год пожеланий и надежд.

А между тем лишний год мы оттрудили: и запас сил, с которым мы вступаем в новый год, уменьшился на трение, на изнашивание организма нашего и души нашей ровно в течение трехсот шестидесяти пяти дней. Все делали маленькие дела, ежедневно; каждый день к вечеру уставали. И если бы не каждые сутки благодетельный сон, то мы к первому января 1910 года устали бы до изнеможения, близкого к смерти. Только целебное действие сна, отдыха и бессознательности на восемь часов в сутки – делает то, что 1 января мы будем почти так же свежи, как были и 1 января 1909 года, разве чуть-чуть поменьше. Одно утешение в этом: в то время как все работающее энергично состарилось на 365 дней, – наше отрочество обоих полов приблизилось к зрелости на 365 дней, и вот оно уже не ослабло, а укрепилось, возросло в силах.

Новый год сам по себе был бы печален, как счет наших трудов и надвигающейся старости, – если б не было вокруг нас вот этого отрочества, юности и молодой возмужалости, силы которой растут с каждым днем. Новолетия невозможно иначе праздновать, как в тесной дружбе с юностью, с молодостью и молодежью.

И вот хочется в наступающее новолетие сказать несколько слов об этом союзе. Настал уже новый век, двадцатый; и ныне мы вступаем в последний год первого его десятилетия. Десятая часть нового века почти прошла. И хочется пожелать, чтобы одна язва, впервые раскрывшаяся у нас в XIX столетии, закрылась в XX, залечилась энергичным усилием обеих сторон, и молодой и старой. Язва эта – знаменитые отношения между «отцами и детьми», которые Тургенев отметил как отношения враждебные.

Тех тургеневских «отцов» давно нет теперь; они – в могиле. Теперешние «отцы» – это именно и есть «дети» в терминологии Тургенева, его «Базаровы», «Аркадии», «Одинцовы»... С серией и других лиц, других типов, которых не захватила его живопись, но они захвачены живописью на ту же тему его сверстников – Гончарова в «Обрыве», Писемского в «Взбаламученном море» и проч. Теперешние «отцы» и даже «деды» суть «дети» этих знаменитых романов: все – в седилах, некоторые – на высокой чреде службы, бесчисленное их число – на всевозможных поприщах частной деятельности, земской, врачебной, судебной работы. В душе своей и на плечах своих они пронесли самый трудный момент разлома между «старым поколением» и «молодым поколением», приняли самые жгучие тернии этой борьбы и вправе, обращаясь к своим детям, сказать им несколько слов именно о существе этой борьбы, ими испытанной со всех сторон.

Подобная борьба между «поколениями», между «отцами» и «детьми», – нисколько не есть непрменный элемент истории. В 50-е и 60-е годы минувшего века столкнулись собственно наивный архаизм «отцов», сплошь помещиков крепостной эпохи и чиновников николаевского закала или, вернее, николаевской «выправки», – с самостоятельностью и сознательностью «детей», познакомившихся через университет с западною наукою, литературою, политикою и вообще культурою. Беспредельная наивность столкнулась с относительною зрелостью, хотя и исключительно книжного происхождения. Без университета, без лекций Грановского, Костомарова, Кавелина, Соловьева, без теорий Дарвина, без философских трудов Гегеля, Фейербаха, без естествознания Гексли, Бюхнера, Фохта, без сочинений Бокля и Дрзпера не было бы русских «детей» в противопоставлении их «отцам», не было бы материи ни для знаменитого романа Тургенева, ни для еще более шумевшего в то время романа Чернышевского. Но, очевидно, это совершенно специальные условия того времени, – специальные, частные и временные. Теперь не только все названные труды, но и решительно всякие вновь выходящие на Западе или в России читаются разом людьми всех возрастов, с одинаковым пониманием и сочувствием. Позади «детей» не стоит решительно никакого наивного поколения, вроде помещиков Кирсановых, которые не в силах были бы уразуметь Молешота и Бюхнера. Теперешние «отцы» и даже «деды» преемственно воспитались на Шопенгауэре, Гартмане, Ницше, Карле Марксе, в свое время переводя, штудирова, пропагандируя, популяризируя всех их. Если и бывало разделение, то не на почве бессилия понять противника, а на почве коренного с ним расхождения при полном понимании. Это совсем другое отношение, чем Базарова в усадьбе Кирсанова, – юного и зрелого студента к младенцам-помещикам. Таких отношений нет теперь, и они невозможны нигде. Все были в университете; через университет прошла и масса крестьянства и серого духовенства. Не только Молешот с его довольно младенческими теперь теориями, но и Шарко, Пастер, Мечников суть учителя всего сейчас деятельного поколения, от 70–60 лет до 30–20 лет. Какое же здесь возможно разделение, сопо-

ставление, противопоставление. Его нет. И самые попытки кого-нибудь здесь противопоставить не могут не показаться для каждого смешными.

Но это нужно *сознать*. И в первый день нового 1910 г. подчеркнем, что старая язва русской жизни, рознь «отцов» и «детей», – давно есть только номинальная язва. Она закрылась, «зарубцевалась», как говорят медики; и играть на этой струне могут только совсем зеленые дети или «ловящие в мутной воде рыбу» – на что есть много охотников из подмастерьев и «мальчиков» пресловутого Азефа.

Рознь поколений нисколько не есть двигательная сила истории. Старое и молодое, даже самое юное может крепко обняться в новый год, – с мыслью об одном подвиге, на чреде которого стоят и старые и молодые, стоят все русские в России. В 50-е и 60-е годы шла отмена крепостного права: и естественно было «помещической России», старой, – противоположиться молодой России, обнимавшей, в сущности, городские классы, или пропитанные городским духом, куда нужно отнести все университетское. Но теперь никакого подобного *разлома* России не происходит: она вся – *едина*, она вся – *нова* и проникнута новыми веяниями, новыми течениями; она вся образованна, и притом сплошь одинаковым образованием. Но после беспримерно неудачной войны и всех язв внутренних, какие раскрыла война, Россия стоит ослабленная, изнеможенная, стоит окруженная врагами с Востока и с Запада и далекая еще от полного и особенного от *действительного* обновления своего внутреннего строя. Вот положение, из которого вытекают задачи. И для старых, и для молодых сынов России есть одна только задача: укрепить, исцелить, омолодить родину.

Обнимемся же все дружбою, как переведемся веревкою, – и повезем без разделения и вражды этот тяжелый груз.

– И да здравствует молодежь, в трудах науки и гражданства.

– И пусть будет крепка старость в традициях доблестного гражданства, в спокойном разумении обстоятельств, в теплом и ласковом отношении к юному поколению.

М. П. СОЛОВЬЕВ И К. П. ПОБЕДОНОСЦЕВ О БЮРОКРАТИИ

– Умно ли чиновничество?

– О, да...

– Добродетельно ли?

– Середка наполовину. И так, и этак. Как все.

Этими тремя ответами очерчивается чиновничество огромной России, первоклассной державы, с великим историческим будущим, с значительным прошлым. До 17 октября все в России и вся судьба ее делались «чиновником», буквально как та фантастическая «луна» у Гоголя, которую делал «гамбургский бочар». Россию сколотили, сбили и выкрасили чиновни-

ки. Россия вся есть произведение чиновника, творчество его; это есть «дом, им построенный», по его разуму, по его вкусу, по его вдохновению или, вернее, по его безвдохновенности: вполне удивительно, что мы собственно не знаем лица и души этого своего строителя, его быта, жизни, замыслов и фантазий.

– Очень серо. Неинтересно...

Но, Боже: это-то и интересно, что строитель так неинтересен! Ибо ни от чего другого, как от этого, зависит и «неинтересность» самой постройки: а ведь это – мы и наша земля, наша судьба! «Неинтересна» Россия как строй, государство и держава единственно оттого, что ее строил «неинтересный чиновник»... Согласитесь же сами, что, раз обернулось так дело, раз сколотилась эта зависимость вещей, – мы должны подлинно разучить, разведать, что такое «русский чиновник».

Русская литература, в обширном ее объеме «печати», решительно не исполнила этого дела, не заметила важности темы! «Ведь чиновники нас сделали» – от этой аксиомы некуда деваться, от нее нельзя зажмуриться. Зажмуривайся или не зажимуривайся – дело стоит, как оно есть. А дело это – дело всей России, судьба всей России. Приятен или неприятен объект – вы его обязаны изучить, раз он так значителен. Медики изучают не одни красивые недомогания, бледную девичью немочь и «интересную» чахотку, а копаются во всяких язвах человеческого тела, иногда невыносимо зловонных! Социологии или, обширнее, литературе давно пора взять в образец «ничем не брезгующую» медицину и, как она, копать во всем важном.

На чиновников писались одни сатиры: на их бездушие, на их формализм! Но ведь отчего это? Откуда? Ведь те же люди, как мы, из одних семей с нами? Чиновники – наши братья и дяди, друзья наших друзей. Что такое «чиновник» в отношении общества? Что он такое по сравнению с «общественным деятелем», врачом, адвокатом, ученым? Все это интересно. Провести параллель между чиновником и помещиком? Очень важно. Но все это важное решительно не сделано. Гениальные русские художники, как Гоголь и Грибоедов, решительно не могли проникнуть в суть чиновничества уже в силу именно гения своего и тех качеств резвости, силы, уверенности и отчасти гордости, особенно гордости, какие не могут не быть присущи человеку, гениально одаренному; между тем как объект наблюдения в данном случае так тускл, сер и обыкновенен. Эти гении русского слова могли только облить желчью и презрением чиновника.

Но чиновник уперся и остался...

Суть-то и заключается в том, что он «остался». И все «великие» и «святые» русской земли умерли, а чиновник все стоит по-прежнему. Сидит и пишет. Из «писанья» этого выходит Россия.

Может быть, это ужасно. А может быть, и не так ужасно. Может быть, это необходимо, неизбежно? Или этого можно было бы избежать? Никто хорошенько на эти вопросы не отвечал, да они, собственно, и не предлагались никогда во всем своем глубоком объеме.

О чиновничестве мне пришлось выслушать два замечательных суждения, поразившие меня. Одно принадлежит М. П. Соловьеву, другое – К. П. Победоносцеву. Соловьев долгое время был юрисконсультантом при канцелярии военного министра, знал юриспруденцию и уважал ее; но любимым его делом было рисование миниатюр к Данту. Он несколько раз путешествовал по Италии и подражал в рисунках художнику Возрождения Джотто. Потом сделался главноуправляющим по делам печати; был любим Горемыкиным, но потом разошелся с Сипягиным и был уволен с причислением к Совету министров.

Покашливая, он сказал раз мне в ответ на большие мои порицания чиновничества:

– Вы не знаете... Чиновничество гораздо сильнее даже державности; чиновничество переживет самую державу русскую.

Опять закашлялся:

– Держава... Что такое она? Риза, красота на чиновничестве. История изменчива. Могут пронестись ветры и унести эту красоту, сорвать и разорвать ризу. Но никакие ветры не сломят чиновника... После революций он так же останется, как был до них, и будет продолжать делать то же прежнее свое дело. Чиновничество и его принцип, его начало, его метод устойчивее самого монархизма; и, если хотите, оставляя на ризе все блестящее, всю позолоту, оно в силах отнять всевластие и произвол у нее... Чиновничество так сильно, что оно может справиться и с самодержавием, заставив его исполнять свою волю, а не повинаясь его воле. Говорят о «конституции»: да чиновничество – это и есть русская конституция, т. е. в зерне дела – в ограничении всевластия и личного произвола, безграничного «хочу». На самодержавное «хочу» чиновник отвечает «нельзя», и жизнь идет по «нельзя», а не по «хочу».

А такой был тихий этот Соловьев, – созерцатель и кабинетный человек. Чтобы слова его о чиновничестве вставить в нужную рамку, приведу два других его побочных суждения.

Говоря о богатстве и силе литературы 60-х годов, он раз заметил:

– С появлением каждой новой вещи Щедрина валился целый угол старой жизни. Кто помнит впечатление от его «Помпадуrows и Помпадуrow», его «Глуповцев», его «Балалайкина» – знает это. Явление, за которое он брался, не могло выжить после его удара. Оно становилось смешно и позорно. Никто не мог отнестись к нему с уважением. И ему оставалось только умереть.

Значит, смешную сторону в чиновниках он знал. И ему это не мешало считать их «вечным явлением». Как-то заговорили об императорах Павле I и Александре I. Он очень критически отнесся ко второму и к тому титулу «Благословенный», который дали ему история и потомство. Я на слова эти, сопровождаемые указанием на факты, выразил порицание историкам-пагенистам.

– Историки пишут, как им должно писать, – ответил он. – Зачем читателям знать полную правду? Это дело ученых. Обыкновенный читатель –

народ. А народ должен видеть царя не иначе, как в ризе. Так рисуют на лубке, и так должен изображать каждый Карамзин. А приватные разговоры – это другое дело. Они не имеют значения и могут быть свободны.

Когда он произнес: «Нужно показать царя непременно в ризе», он улыбнулся тою улыбкою, в которой для меня мелькнул острый глазок Щедрина.

И все-таки «чиновник вечен». Почему? Да какой ветер, в самом деле, его сломит? Чиновник так мал, что не даст площади упора для ветра, и буря пролетает мимо него, не задевая его. Ветер ломает того, кто ему сопротивляется. Он ломает Людовиков, сломил Наполеона, Бисмарка... Но если самый принцип чиновничества, – заметьте: принцип – заключается в том, чтобы повиноваться, чтобы не оказывать сопротивления, то что же с ним сделают революция и ряд революций? Он перед каждою согнется, каждой скажет: «Чего изволите?»; и когда они все пронесутся, сломав условия, веру, весь прежний социальный строй, из-под стола опять вылезет столоначальник и, разложив свои бумаги, начнет вписывать в эти графы всякую действительность, т. е. планировать на бумаге жизнь, снова назначит всем жалованья и пенсии, установит награды, пожалуй, – ордена или их суррогат; и опять начнется... вековечное чиновначалие и чиновопочитание!..

Ужасно хочется заплакать. Но это, по-видимому, – так.

Проблемы этой во всей ее глубине никто не рассмотрел.

Я, однако, приведу второй взгляд, Победоносцева. Когда я из провинции переезжал в Петербург, то бывший очень дружелюбным со мною С. А. Рачинский, основатель знаменитой школы в Татеве (Смоленск. губ.), сказал мне, что если я буду иметь какую-нибудь нужду, заботу, тревогу в Петербурге, то всегда могу обратиться к Победоносцеву, и он поможет. Такой случай выпал, когда председатель петербургского цензурного комитета, помнится, – Еленев, распорядился вынуть из сверстанной уже книжки журнала «Русский Вестник» мою статью: «О подразумеваемом смысле нашей монархии». Книжка была сверстана, оклеена обложкой и готова к отправке на почту: и вдруг – задержка, хлопоты и неудобства. Редактор Ф. Н. Берг спросил меня, не знаю ли я кого-нибудь, кто мог бы избавить журнал от этой неприятности, т. е. похлопотать, чтобы статью оставили.

Я рассказал ему тогда о возможности обратиться к Победоносцеву. Он просил меня сделать это. И я отправился. В час неприемный и вообще совершенно приватный.

Статья была в защиту старой царской власти, как ее выработали Москва и Петербург XVIII века. И – против чиновничества, которое, как гангрена, съело и самую царскую власть в ее прежнем обаятельном значении, дорогом для каждого русского.

Дежурному чиновнику я передал суть дела – и передал самую статью. Он отнес ее к Победоносцеву. Победоносцев не выходил с полчаса, и, как я увидел потом, он в эти минуты прочел все 30 страничек, какие она заключала в себе.

Победоносцев был человек впечатлительный, волнующийся, раздражающийся больше той причины, какая вызывала раздражение. И это я увидел с первого же момента. Он вышел ко мне в длинном скорее поношенном сюртуке, с руками, неопрятно торчащими из рукавов, казавшихся короткими. Происходило это впечатление от огромных, мясистых и подвижных его пальцев, естественно не прикрытых рукавами: но эти пальцы (инстинкт власти?) занимали такое непропорционально большое место в его фигуре, что от естественной голизны их сюртук и производил впечатление укороченного в рукавах.

Он был задумчив и, я почти скажу, – вдохновлен государственной мыслью. Статья такого содержания, как критика монархии и чиновничества, не могла не вызвать в нем всей силы отпора. По натуре же Победоносцев был спорщик, который и внутренне, в себе, и молча продолжает начатый вслух спор. Этим полным спора человеком он и вышел ко мне. Сели. И, перелистывая статью, он останавливался на отмеченных им карандашом местах и стал говорить...

Что, конечно, чиновничество ничего не умеет и не может: но чем вы замените его? Чиновничество все-таки связано долгом и службою: и его все-таки можно потянуть за эту нитку или связать этой ниткою, смотря по тому направлению, какое оно примет. Но кого же поставить на его место? Частное лицо, ряд частных лиц? Что такое частный, гулящий, праздный человек? Чем вы его удержите? Какое у вас есть средство указать ему, поставить предел? А согласитесь, что частный человек может иметь злую волю. Согласитесь, что он может быть глуп, как и чиновник. Но для чиновника фантазия не есть закон: ибо он весь в дисциплине, завязан и связан. Вы эту-то дисциплину и отрицаете, отрицая бюрократию. Вы говорите: «Смысл монархии погиб от бюрократии». Может быть. Но тут нечего делать. Я защищал бы вашу статью, если б механизм исторического упадка государственной власти вы объяснили на примере французского королевства или австрийской империи, но вы объясняете это на примере России, и среди нашего общества все это может принести только один вред. Все, что вы говорите язвительного о бюрократии, подхватят стоустой молвой и разнесут, и захихикают, а то, что вы говорите уважительного о государстве, на это не обратят ни малейшего внимания. Возьмут злое, а советы откинут прочь. Отвратительное заключается в том, что чиновников все еще множат. Вот основали новое министерство земледелия. К чему оно? Кого оно будет учить земледелию? Да оно само ничего не знает. Но это – от растерянности. Центральная власть растеряна. Она видит, что ничего не делается, что страна приходит в упадок; она совершенно беззащитна перед критикою социалистов, которые не суть легкомысленные люди или безбожники, а совершенно правильно указывают на полную немощь теперешнего государственного строя в деле уврачевания самых больных язв народного быта и строя. И власть конвульсивно хватается за последнюю у нее оставшуюся надежду – еще создать учреждение; она строит новый департамент или учреждает новое министерство, которое, может быть, начнет работать лучше, чем предыдущие. Но происходит то,

что вы рассказываете: новые чиновники, как и прежние, раскрывают рты и начинают есть народный хлеб. Надежда на новые учреждения – самая иллюзионная; но это не наша русская слабость, ею заражены все правительства, и все правительства она обманывает.

Слова его о справедливости критики социалистов удивили меня: никак нельзя было ожидать этого от Победоносцева. Все, что носилось о Победоносцеве в обществе, – совершенно противоречило тому, что я видел.

Он походил на старого университетского профессора, разговарившего с пришедшим к нему студентом на любую тему своей кафедры. Не могло быть и вопроса о полной искренности, правдивости и глубокой простоте и естественности этого человека. Полная противоположность нашему Исидору Исидоровичу, который только делал «позы» – перед публикой, перед чиновниками, перед академией и печатью, даже, наконец, в церкви.

Потом только, через много лет, мне стало приходиться на ум: «Кто так хорошо говорит, не умеет хорошо делать. Это – не работник, не государственный человек, а был и остался профессором. Полная противоположность Витте».

Он говорил, перелистывая страницы моей статьи, беря из нее цитаты и возражая на них. В конце статьи шло исключительно дело о лице монарха: как оно погасло в тучах чиновничества, облепивших его со всех сторон, влекущих его к подписанию бумаг, совершенно мелочных. Как пример я приводил сведение, ставшее мне известным из «делопроизводства» нашего департамента. Николаевской железной дороге надо было расширить площадь угольного склада в Петербурге; для этого прикупилось несколько саженей земли около вокзала. За землю платились деньги. Наш департамент рассматривал те расходы этой дороги, какие относились на облигационный капитал, т. е. на заем дороги, с коего процент гарантирован казною. Из обязательства гарантии вытекало право рассмотрения расхода и, в частности, правильности его отнесения на облигационный капитал. И вот в «делах» мне попало сведение, что расход на увеличение угольной станции Николаевского вокзала был отнесен на облигационный капитал «по Высочайшему утверждению». Странность, что Государь Император, на заботе коего лежит вся Россия, который должен думать об армии, о флоте, о просвещении, о суде, наконец, даже о железных дорогах, – вообще о целой России, привлекается через особый чей-то доклад к рассмотрению вопроса, нужно или не нужно Николаевскому вокзалу несколько десятков саженей для угля, и отнести ли плату за эту землю на облигационный или на акционерный капитал тогдашнего главного общества российских железных дорог, – случай этот поразил меня удивлением, и я иллюстрировал им свою общую мысль о положении Царской власти в системе государственного управления. Победоносцев прочел это и стал говорить.

– Конечно, Государь только припечатывает то, что мы ему подаем к подписи.

– То есть?

– Благословляю, благословляю... Делайте, делайте...

Это и есть то «самодержавие чиновника», о чем говорил М. П. Соловьев как о вечном принципе.

В самом деле, если «остается только подписать», – прежде всего потому, что дело, например, о покупке земли для угольной станции не может и не должно быть известно и понятно министру, ибо тогда у министра не остается ни одной минуты для более важных и принципиальных дел, – то тогда, конечно, управляет всем чиновник, составлявший бумагу «к докладу». Собственно, «отнес все на облигационный капитал», гарантированный казною, не тот, кто «ее утвердил», – тот, кто писал докладывающую бумагу, кто ее сочинял. Кто это? Лицо неизвестно. «Чиновник...» Точнее, оно никому не известно. «Верно, который-нибудь статский советник»... Погоны видны, лица не видно. Лица вообще у чиновника нет. Его задвинул чин, класс должности. «Который-нибудь статский советник»... И туча их, бесцветная, серая, по мнению некоторых, будто бы вечная, и пишет все «бумаги», всякие «доклады и отношения» и через это незаметно «совершает весь ход России».

Но кто это? – Просто мы этого не знаем.

Не знаем иначе, чем в анекдоте. Но анекдот, – не наука. И анекдот также – не сила.

Даже гений только проскользнул над чиновником. Гений Гоголя и Грибоедова.

А чиновник все же остался. И захоти он серьезно, захоти своевременно – «Горе от ума» и «Ревизор» не увидели бы света. Ибо «дозволяет к представлению» все чиновник же, непременно чиновник, и притом один чиновник.

– Великое, неведомое, безыменное, обнявшее политический мир. Стихия его, воздух его, климат его, – «общее условие» всего существующего.

НУЖДА ВЕРЫ И ФОРМ ЕЕ

Эртель, отсидевший в Петропавловке, окруженный друзьями полуперсонального характера, сотрудник радикальных журналов и проч., и проч., – стоял, однако, головою выше их по глубокой своей жизненности, *природности*, вечной связи с *землею и действительностью*, которую любил горячее партий, программ и прочитываемых им книг. Всех друзей он проверял «матушкой природой» и всякую книгу критиковал «в свете солнечного луча», вот как он льется с вечных небес: и в книге его писем особенно и любопытно наблюдать эту борьбу между природою и изломанными, несчастными людьми... По человечности жалеешь людей, сочувствуешь им, даже становишься на их сторону, чтобы «разделить несчастье», но ум и вся натура говорит: «Не здесь *вечная правда*». И Эртель соглашается, гнется, входит в чужие вкусы, но кончает разрывом и переходит на сторону «натуральности», на сторону «естественного»...

Человек, еще в деде своем лютеранин, по корню – берлинец, по воспитанию и обстановке почти русский нигилист, по крайней мере – вначале

нигилист, вот как кончает он (стр. 392 «Переписки») с *догматическим* «толстовством»:

«Что касается до личных моих убеждений, — пишет он в 1902 г. Б. Д. Вострякову, — то в моих глазах человек без *религии* (курс. Эртеля) — существо жалкое и несчастное, особенно человек простой и бедный, но, в конце концов, и всякий; и если некоторые выражения и формы религии могут мне казаться отжившими, анахроническими, даже нелепыми, то все же я, принимая во внимание огромное большинство тех, для которых эти формы и выражения пока удовлетворительны, всегда скажу: лучше уж анахронизм, чем отсутствие религии, чем дешевое, непродуманное «свободомыслие», под которым чаще всего скрываются невежество и глубокое равнодушие к высшим интересам и запросам духа. Ты скажешь: зачем же поддерживать анахронизм в формах и не бороться против него или не оставить эти формы спокойно вымирать, если они вымирают? Но нужно иметь в виду, что подобная борьба только тогда допустима и может быть благодетельна, когда вместо отжившей формы ты знаешь другую и в состоянии убедить людей, что эта иная лучше старой. Если же ты станешь бороться одним отрицанием прежнего, то получится «горше прежнего», т. е. ветхая форма погаснет не одна, но в падение свое увлечет и содержание свое, самое существо *религии* с ее вечною силою, вечною свежестью. Отсюда выходит, что мы должны относиться с великим уважением к тем глубоко и страстно религиозным (? — В. Р.) людям вроде Л. Толстого, которые, несмотря на все препятствия цензуры, попов, синодов, жандармов (жаргон старого нигилиста. — В. Р.), миссионеров, — гнут и ведут свою линию, т. е. в сущности борются за свободу духа, веры, исследования; но если мы не подвижники, не можем или не хотим сами участвовать в этой борьбе, — нам остается одно: в каждом частном случае разбирать, что полезнее: отойти ли совсем в сторону, пробавляться ли дешевым отрицанием над жаждою святыни у простых и невежественных людей или не соблазнять их этим презрительным равнодушием и отрицанием, дабы они, по английской пословице, «не выплеснули из корыта и ребенка вместе с грязной водой», т. е. вместе с устаревшею формою не откинули бы и религии. Я лично стою за то, что полезнее и *достойнее примиряться с формами, как бы они ни казались иногда нелепыми и бессмысленными, нежели жертвовать тем, без чего человек мертв* (мой курсив. — В. Р.). Затем, что бы там ни говорил Л. Толстой, совсем без *формы, без культа, без выражений религия существовать не может* (мой курс. — В. Р.), по крайней мере — в ближайшую тысячу лет».

Мне же кажется — и *никогда* не может и не нужно, чтобы это «могло» быть когда-нибудь: *культ* для чувства Бога то же, что *жест* при виде любимого, при встрече с родным, что *голосовой звук* (слово) при работе мысли. Зачем удерживать *естественные выражения души*?! «Культе» религиозный — такая же принадлежность культуры и человека, как речь или грамматика; он вечен, необходим и прекрасен! Эртель продолжает:

«И потом Толстой забывает, что «формы» в религии удовлетворяют, помимо веры, – и художественное, тоже очень необходимое и могущественное чувство, и что, например, *внешняя обстановка, хотя бы нашего православия*, – его *mise en scene*, если можно так выразиться, – удивительна по своей красоте, по своему красочному, пластическому, звуковому символизму» (мой курс. – В. Р.).

Да, миссионеров бы я отменил. Чему они помогают? Ничему не помогают! Их бы я заменил следующим: *архиерей ежегодно должен объехать все села своей епархии, все самые глухие села*: и в каждой сельской церкви с местным священником и диаконом, но со своими архиерейскими певчими должен отслужить одну *полную архиерейскую службу*. Если в год всего объехать нельзя – *в два года раз можно*. А консисторские дела «побоку»: пусть эту канцелярщину вершит секретарь или вообще какой-нибудь безблагодатный наймит. Не могу не вспомнить при этом незабвенного викария петербургского митрополита – епископа нарвского Антонина, ныне на грустном «покое»: он восторженно рассказывал, как крестьяне жадно ждали и просили у него хотя малой службы и он старался им отслужить хотя молебен в какой-нибудь давно заколоченной часовенке, как потом шествовал пешком по полям среди крестьянских хлебов и все говорил им «слово» своим великолепным голосом. Вот уж был «поп» «по мужикам»... при такой учености. И он «не у дел» при теперешней бездарности и всеобщем равнодушии...

Кончу письмо Эртеля, а читатель пусть отбросит в сторону ненужные слова старого нигилиста. Я их сохраняю, потому что именно из уст нигилиста, среди всех свидетельств нигилизма, интересно услышать поразительную вырвавшуюся истину о *главном, о существенном, о вечном*:

«Самая главная вина православия заключается в том, против чего боролись даже такие экстраправославные, как Хомяков, Владимир Соловьев и другие, – в его противоестественном союзе с государством. *Но вовсе не в его таинствах* (на которые ополчился Толстой), не в его мистериях, *благолепии, догматах, требах*. Будь оно действительно «свободною церковью», не яхшаяся со светскою властью, не превратится в своего рода департамент, я решительно не понимаю, чем было бы оно хуже католичества и бесчисленных протестантских сект. Напротив, гораздо *глубже, человечнее и красивее*» (стр. 392).

Это признание из уст полунемца и не остывшего еще нигилиста в тяжелую пору Сипягина, Плеве, Победоносцева и Саблера, – какой оно крик истины, крик натуры. Можно прошептать вечно победное, тысячелетнее: «Тебе, Бога, хвалим». Да, старина крепка. Старина не даром до сих пор живет. Люди, да *чем же она живет?!..*

Кончу об отношении Эртеля к православной церкви, сравнительно с отношением к ней же Толстого.

Мешает ли православная церковь доброму *личному подвигу* человека? Вот простой и ясный вопрос, который мы предлагаем ввиду разбегающихся по сектам русских людей. «Стадо рассыпается», – можно сказать о церкви и православии. И невыносимо больно видеть, когда человек действительно доброй и деятельной жизни, любящий народ, любящий человека, уходит в какой-нибудь религиозный «толк», подразделение, секту, буквально «отряхая с ног прах» от православия, с глубоким негодованием к нему, а в особенности к духовенству, со словами: «Здесь нет спасения, с этими людьми нельзя спастись, ни самому, ни народу. Ухожу из гибели». Такие люди есть. Таких людей я *видел*. И нет страшнее зрелища.

Страшен будет ответ духовенства на Страшном Суде...

Все это так...

Но вот вопрос: *мне (и всякому)* разве помешает духовенство, – в массе бездеятельное, пассивное, невежественно-самоуверенное, нетрезвое, корыстное, – разве помешают мне семинарии и семинаристы, духовные академии и академисты, консистории, духовный суд или бессудность и проч. и проч., что я все знаю и осуждаю, – потрудиться среди православного люда добрым православным подвигом точь-в-точь так, как я готовлюсь мысленно начать трудиться в сектантской общине?

Нет, не помешают. В *личной жизни* они ничему не помешают именно вследствие безграничной *шири* православия, его свободы, пожалуй связанной с *пассивностью*. «Мне что же, делай что хошь», – говорит, в сущности, каждое духовное лицо, расчесывая женскую косу свою известным большим деревянным или костяным гребнем. «Как хошь»... Это и ужасно, соглашаюсь, – эта пассивность, эта безвольность, это равнодушие к добру и злу. Да, но в одном отношении они хороши.

Они *ничему не мешают*.

И вот отчего я никогда и никуда не ушел бы из православия. Куда из него уйти? Оно не имеет границ.

Как только католичество – границы.

Как лютеранство – границы.

Как какая-нибудь секта – границы, и страшно узкие, тесные, задушающие!!

Но православие говорит: «Как хошь!»

Это хорошо. И из него я никуда не уйду. Пусть уходят губернаторы из него, потому что оно действительно мешает или, лучше сказать, не помогает благоустройству народному, не связывает деревни, не вяжет уз над бытом: если и не способствует, то не препятствует порокам, преступлениям, озорству, разгулам, ужасам моральным, физическим, правовым, всяким. Словом, с *правительственной* точки зрения оно, как непомогающая, пассивная сила, представляется действительно ужасным; но с *частной* точки

зрения, с точки зрения *частного* человека и *частной* жизни, – это, можно сказать, религия настолько удобная, какой еще не появлялось на свете! «Как хошь»: и можно быть демоном или *ангелом*.

– Кто же вам (возможные сектанты) *ангелами*-то помешал быть? Чем отъединяться, разбредаться в стороны, собираться в новые средоточия, секты, – отчего на *православной ниве* вы не трудились добрым трудом, каким вот трудитесь теперь в секте?

Этого недоумения я никогда не мог решить. На этот вопрос я никогда не услышал ответа ни от кого из уходящих в секту.

Я могу (кой-как) постигнуть уход из православия только на почве следующего мотива. Бывает, что человек бесхарактерный, *переезжая в другой город* или даже *на новую квартиру*, вдруг освобождается от застарелых своих пороков, главным образом от пороков распушенности, и *начинает лучше жить*. Конечно, – перед переездом «дав зарок себе», «клятвы», «обещания» и проч. Но, оставшись на старой квартире, он «зароки» нарушил бы. «Уже так все слежалось», – «и вот в этой комнате мы всегда играли в карты», десять лет, «или я всегда был пьян». Словом, – «новая квартира – новый быт», «новый город – другая жизнь». О таком «потрясающем» событии, как женитьба, даже народ говорит: «Женишься – *переменишься*». В жизнь входит *новая, свежая волна*, с женитьбою – огромная, с другим городом – большая, с новой квартирою – кое-какая: и эта волна может помочь ломке и забвению вообще *старого, порочного старого, вредного старого*. Вот тут и можно понять секты. «От православия – *все мы, все* в нас... От его *корня* все у нас на Руси потекло. Но это *все* – ужасно горько, кисло... Закисли мы в нем. Айда, – вылетим из него и *заживем по-новому*». Таким образом, тут мотив не столько моральный, что «на почве православия ничего сделать нельзя», сколько мотив лежит в бесхарактерности, вялости русских: в отсутствии в них силы взлета, в их пассивности.

Я ограничиваюсь мотивами моральными, какими, очевидно, двигался Толстой в своем отделении от церкви. Мотивов собственно догматических, вероисповедных, как и исходящих из философии религии или христианства, я вовсе не касаюсь.

ОБ ОДНОМ ВЕЛИКОМ НЕПОНИМАНИИ

Ничего нет труднее *нового понятия*: усвоить его так же трудно, как *новую веру* или как перейти в *новое подданство*, т. е. *переменить родину*. На глазах пожилых людей нашего времени общество перешло от понятия *дарвинизма* как объяснения живой природы из игры сил в мертвой природе – к *витализму*, т. е. к признанию вечного и особого существования жизни в природе; и от позитивизма к мистицизму и идеализму. Чего же стоил обществу этот переход, т. е. усвоение всего только *двух* новых понятий? Общество *третьей* *века* билось над ними; ломка двух старых понятий, дарвинизма и позити-

визма, и усвоение двух новых – вызвала целую литературу, научную, философскую, публицистическую, даже беллетристическую («позитивисты» и «идеалисты» в повестях и романах). Жизнь главных вождей целого поколения ушла только на *задержку* новых понятий (всего двух!) или на *проведение* их: Тимирязев (защитник дарвинизма) читал публичные лекции, издавал книги, ездил в Англию, стал почти «*englicheman*»; Данилевский и Страхов (антидарвинисты) издавали громадные томы, полемизировали, потели, были осыпаны сарказмами в прозе и чуть ли не в стихах за то одно, что не могли признать дарвинизма и отстаивали принцип *жизни* как самостоятельного и нового факта и понятия. Да и одни ли они? Десятки и сотни бóльших и меньших умов трудились над тем же, искренно страдая, потая, торжествуя.

Новое понятие – новая вера. Почти. Близко к этому.

Сейчас я скажу удивительную вещь. Несмотря на то, что все мы, которые вот «читаем» и «пишем», толкуем в гостиных и кабинетах, морщим чело над разными темами и, наконец, даже служим чиновниками, конечно, все живем в «государстве», именуемом «Российскою империею», приносили «присягу» и поем или не поем «Боже, Царя храни», – все мы *без исключения* аполитичны, внесоциальны не по упорству и сопротивлению, а потому что... буквально не пробил час истории, когда бы в душу нашу, в мозг наш, в страсти наши, в пульс наш вошло *понятие* того факта, который нас так огромно облегает и с которым связан всякий шаг нашего существования. Не понимаем, как новгородцы, от этого именно непонимания и позвавшие Рюрика, Синеуса и Трувора «володети и княжити». «Как, – скажут, – целая литература! Да чем же заняты юридические факультеты в восьми университетах? Наконец, пламенная публицистика, бюджет в Думе, права парламента, Пуришкевич и Милоков»...

Но я готов дать себя, Василия Васильевича, на распятие именно за утверждение, что «Российская империя», вообще «государство», суть понятия... ну, не более нами усвоенные, вошедшие в нашу кровь, пылающие в нашем мозгу, чем, например, Шекспир, о бытии коего ведь тоже «знали» послы Ивана Грозного в Англии – *на самом деле* знали гениального творца «Бури» и «Гамлета».

Есть знание словесное, есть знание душевное.

Есть знание формальное, есть знание реальное.

Есть знание внешнее, есть знание субъективное.

Есть «Господи, помилуй» дьячка, нюхающего табак; и есть томительное слово, выползшее как змея и вместе как парящий ангел из уст скорбящего Павла из Тарса: «Верую, Боже... помоги моему неверию!»

Есть пламя, и есть... просто сырость.

И чиновная служба, и юридические факультеты – это просто некоторая «отсырелость» того нашего бока, который обращен к «государству», отсырелость, неудобство, холодок, от коего мы запахиваемся. И ничего более! Никакого более ощущения! Все это формальные, внешние, словесные знания. Просто заучиваем «иностранные вокабулы», противные «исключения» гре-

ческого языка, «черт бы их побрал». Привкусом, оттенком «черт бы его побрал» до того проникнута каждая наша мысль, каждое у нас слово, каждая в печати строка в сторону, откуда дует «государство», притом без всякой личной вражды и без всякого даже биографического повода, что это именно...

Греческие исключения!

– Черт знает, кто их наворотил и как на такой пакости могли говорить Перикл и Алкивиад. Говорят, были умные: да вероятно, враки. Верно, были ослы, даже не понимавшие друг друга, так как невозможно понять что-нибудь на этом дьявольском языке со столькими исключениями!

А впрочем, родители говорят – «учи».

Учитель говорит – «учи».

И все «учат», проклиная, ненавидя, тяготясь, отвращаясь, презирая.

Вот наше отношение к «государству».

Над ним острил Герцен.

Мережковский кричал: «Бегу из него».

Струве вопиял: «Почему бежать? Надо хоть посмотреть: что такое «Государство, Staatsrecht»...

Все ему кричали: «Изменник, предатель: он хочет понять, что такое государство»; хочет научить нас «государству».

– Когда всем известно, что это мерзость.

– Что это животное.

– Что это исчадие.

– Что это тот самый греческий глагол, на котором поперхнулся Перикл.

Найдите вы мне доброе, ласковое, приветливое, *вдумывающееся, проницающее* слово о «государстве» во всей русской печати вот за 30 лет (кроме трактатов господ вроде Чичерина), и я опять дам вам распать себя.

В детских книжках есть ласковое слово о волке: например, когда он себе заморозил хвост и потом оторвал его, ловя зимой рыбу по хитрому совету лисицы.

И дети смеются над волком и жалеют его.

Лисе удивляются, – и все же детской любовью любят и хитрую лису.

Любят ворону: как она потеряла сыр!

Вот найдите вы мне такое хоть и смеющееся, но любящее слово о *государственности*, о *государстве* – и я снова дам распать себя!

– Государство хуже волка!

– Государство ничтожнее вороны!

Явно, это «греческий глагол»...

Напр., в литературе есть привлекательные изображения рекрутского набора. Рекрутский набор – это, конечно, член, отдел «государственности», важный, большой. Но прочтите в рассказ: привлекательны собственно *набираемые* солдаты, и как с ними *растают* крестьянские семьи, это – страдание: и тут плачет русская душа, прелестно рисует перо художника. Но – *до этой точки*... За этим, с другой стороны, вот именно с «государственной», стоит окрик фельдфебеля, команда офицера, строгость начальства: «Батюш-

ки, караул!» Беллетрист всего этого пугается так же, как крестьянская баба, у которой «угоняют сына», – и вот *в эту сторону* он бессилён, не умеет, не хочет произнести ничего, кроме тайного ругательства или явного и дозволенного сарказма. «Конечно, их благородия утягивают паек у солдата», «колотят в морду новобранца», – и пошел, и пошел, как сплетничающая на деревне баба. Впрочем, в беллетристике попадаются и симпатичные офицеры: но читайте зорче, и вы увидите, что они симпатичны только до той точки, где их обижает генерал. «Потому – что он глуп, потому, что он зол». Наконец, как редчайший случай, изображен и симпатичный генерал, но: 1) он в отставке, 2) многосемен и беден, 3) и его обошли по пенсии.

– Обошел управляющий министерством, потому что он исчадие, потому что он обокрал всю Россию.

Наконец «Россия»...

– О, она прекрасна, когда мы отступали и солдаты замерзли в снегах... Когда они были голодны... Когда они были обворованы... Когда западные дипломаты обходили нас и обманывали... Когда нас били, мучили и смеялись над нами... О, как прекрасна эта Россия, наша дорогая, наша родина, наши поля, леса, наш русский человек.

– Позвольте... Но когда Россия сыта?

– Она никогда не была сыта!

– Ну, позвольте, – хоть на год, даже хоть на часок, хоть в воображении, наконец?

– Сытая Россия?

– Да!

– Гм...

– Ответьте!

– Исчадие!!

– Отлично командующий генерал?

– Чудовище!

– Который гонит врагов?

– Изверг!

– Россия торжествующая, победная, довольная?

– Караул!!

– Но почему?

– Переверт всех идеалов! Я, мы, – читающие, пишущие, – прижимаем к сердцу своему только скорбное, измученное, неудачное, незадавшееся... чему смерть приходит, в чем болезнь свербит... что плачет, и мы со всем этим плачем, охаем, гнемся, ползаем...

* * *

Читатель, – два вопроса:

1) Далеко ли это от закопавшихся в могилу, в землю южнорусских сектантов? Не то ли же это самое? И если «да», то не разделяем ли мы все, образованные люди, тайную веру этих сектантов, почему-то называемых нами изу-

верами? И даже более: если и наше патетическое исповедание *то же в сущности, что у них*, — то не виновны ли мы, все работая над этими идеями, в этом духе, в этом направлении, — *в их ужасной смерти*? Не мы ли их в землю закопали?

2) А что сказал бы Перикл и Алкивиад о нас? Что сказал бы Рим и его Сципионы и Гракхи?.. Я думаю:

— Из этих оборванцев государства не построишь. Это — нищие, даже при богатстве. Завтрашние нищие. Это — убогие. Это — калеки. Да им и впрямь надо закопаться в землю: по крайней мере, удобрять ее. А то только тяготят ее. Как их земля не сбросит с себя, туенядцев, притворщиков и ханжей.

Так Сципионы сказали бы о таких духовных «вождях» наших, как автор «Переписки с друзьями», «Дневник лишнего человека», «Много ли человеку земли надо» и «Смерть Ивана Ильича», как творец «Униженных и оскорбленных».

— А, чертова могила! сладка, зовешь: а *суть*-то твоя все-таки в том, что ты именно могила и что в тебе можно только *умереть*.

ЗЕЛЕНАЯ ВЕТОЧКА

Среди газетных статей, гостиних разговоров и кабинетных размышлений, между которыми тянутся дни петербургского журналиста, до меня дошли следующие строки с предгорий Тянь-Шаня, которые пахнули зеленым воздухом киргизских степей и принесли ту бодрость души, которую мне хочется передать и читателю. Я подумал только, читая эти строки частного письма: «Боже, — и там Русь». И подумал: «Да где же тогда нет Руси?..»

«Пишу тебе почти d'outre tombe*, чуть ли не с того света. Судьба забросила меня с братом, капитаном (такого-то) полка, к подножию Алла-Таусского хребта, одного из отрогов Тянь-Шаня. Живем среди необозримых киргизских степей, почти в пустыне, в 1200 верстах почтовыми от ближайшей железнодорожной станции. Вот уже пошел третий год, как здесь. Несмотря на страшную глушь, почта доходит из «России» — Петербурга и прочих центров на 19-й день, в распутицу же и на 25–26-й день. Я очень довольна сложившеюся жизнью, — как нашей домашней, на редкость счастливой и содержательной, так и окружающей нас, оригинальной своим *couleur locale*. По приезде сюда некогда было скучать: едва успев отдохнуть от дороги, тянувшейся три месяца, так как мы объехали почти весь Туркестанский край и захватили также и Кашгар, сразу же по приезде в Семиречье началась спешная работа уроками с офицерами нашего батальона и детьми здешней администрации; последних готовила в корпуса и гимназии Ташкента, Верного и Оренбурга. Летом отвезла учеников и учениц своих в Верный, для чего сделала 700 верст почтовыми, прожив в пути десять дней. Вернувшись, занялась

* из могилы (фр.).

хозяйством брата, в Джаркенте же, с будущего года, предполагаю заняться некоторыми техническими производствами и возьму на себя представительство некоторых торговых фирм Москвы, Харькова и Петербурга для торговли с Китаем. В Кульдже, на китайской границе, страшно вздорожал хлеб и скот. Китайцы энергично заселяют эту часть Монголии, строят крепости и укрепления, не пускают совершенно европейцев. Летом приезжал инкогнито в Кульджу китайский военный министр, рыскала масса китайских и японских офицеров. Ввиду всех этих симптоматических явлений наша охотничья команда получила приказание сделать рекогносцировку, и брат получил двухнедельную командировку в Джаркент. Городок наш представляет собою маленький посад, брошенный в степь, тянущуюся до Семипалатинска и огражденную с юга горным хребтом. Горная речка, здесь протекающая, которая не замерзает и зимою, вся разобрана на арыки для полива полей. Туземное население – киргизы, принадлежавшие к Колай-киргизской орде, ведут кочующий, первобытный образ жизни. Зимою они ютятся в земляных зимовках, летом отправляются с табунами лошадей и баранов на «джилуу» – пастбища, в горы. Домики в городке нашем саманные (глина, смешанная с коровьим навозом), с толстыми стенами, примитивным азиатским устройством, отсутствием малейшего комфорта. Леса почти совсем нет, он – в горах, за сто верст, и единственное топливо – это кизяк, коровий и овечий помет, да и тот стоит дорого, 10 рублей тысяча кирпичиков. Продукты дороги, кроме молока и мяса, фруктов нет совсем. Зимою свирепствуют бураны, – теперь снова задуло с Гнилого Угла, и вторую неделю нельзя высунуть носа из комнаты; почта – две тройки – на Алтын-Эгнели, в 150 верстах от нас, завязла в снегу, и ямщики замерзли. Местные плоды не выносят этих ветров, – зато в Верном масса винограда, дышеса и прочих милых изобретений матушки-природы. Русское население здесь – казаки, живущие в станицах, интеллигенция – администрация, военный кружок и ветеринарные врачи. Офицеры прекрасные работники, и только здесь, в Азии, я услышала впервые слова: «труд», «работа армии», «воспитание солдата», «обязанности гражданина», «любовь к России» и все, столь презируемое у наших петербургских штабных и гвардейцев. Военное собрание выписывает на 300 руб. газет и журналов, библиотека большая и серьезная. Гражданские лица нашли себе приют в среде военных, и только здешние дамы, представляющие собою, как и все женщины, консервативный элемент, стараются сохранить кастовое превосходство и вносят сепаратизм в эту маленькую горсть людей, брошенных волею судеб в песчаную пустыню. В прошлом году держали мы у себя тигра, которого киргизы привезли с Балхаша (озеро). Но через некоторое время он разломал железные штанги клетки во дворе, перескочил через высокий, трехаршинный забор и убежал, убив несколько туземцев. Он был пойман казаками и убит. Теперь брат, страстный любитель животных, держит лисиц и волков... Петербург и моя жизнь там представляется теперь мне каким-то чужим рассказом из прошлого столетия...»

Удивительным впечатлением пахнуло на меня это письмо: точно я прочел что-то из не дошедших до нас хроник римской истории, тоже, конечно, писавшихся где-нибудь в малоазиатских или сирийских легионах, в частных «эпистолиях», конечно затерянных. И подумал: «Да ведь и в самом деле Россия и ее роль в Азии – роль и судьба Рима. То же – оружие, та же первая переработка естественных, натуральных фактов этнографии, зоологии, ботаники, первое строительство, первая дорога». Как это хорошо выразил Ап. Майков:

И вековые бегут
В пустынях римские дороги.

Как это похоже на нас и наше!.. А Майков о России, писав стихотворение «Три мира», – не думал. Но сходство судьбы и задач породило сходство труда, техники и, может быть, характера: русские «римляне», конечно, не в Петербурге; большое дело России, ее историческое дело, делают русские офицеры и солдаты, делают чиновники, делали вот эти «заметенные бурanom» почтальоны – в Грузии, Кахетии, в Семиречье, на Амуре, на Волыни... Везде, где Россия «стоит фронтом» и «лицом к лицу» перед чужими странами и народами, где около человека идет пушка, где люди окапываются, как только останавливаются...

Тут дремать некогда.

Оказывается, слова: «вера», «служба», «наша Россия», «наш долг» – звучат там иначе, чем в Петербурге. Слава Богу! Да этого и можно было ожидать: *они* на своих плечах несут историю России. Посмотрим же с некоторым добрым завидованием на них отсюда, где так много разговоров и сна, где все выветрилось, похолодело и обездушилось. Но «Русь не в Фонтанке крещена», – и здоровье ее совсем иное, чем иногда представляется в больших кирпичных домах на Фонтанке.

КАК ДЕЛАЛИ ОДНОГО УЧЕНОГО...

Одного тупого человека хотели сделать профессором. Вот наставник и говорит ему:

– Чтобы изучать рыцарскую эпоху, не надо самому драться на турнирах.

– А как же? – спросил тупица.

Наставник продолжал:

– Чтобы изучить опиум или гашиш, не нужно самому становиться курильщиком опиума. Тогда сойдешь с ума, а диссертации не напишешь.

– Не понимаю, – сказал тупица. – А как же?

– Чтобы писать о сумасшествии, не надо сходиться с ума. Такого называют не «психиатром», а сажают в желтый дом.

– А как же? – твердил тупица.

– Ученый объективен: он имеет зрение, логику и воображительную способность представлять предметы и с помощью их создает науку...

– Не понимаю, – сказал тупица. – У меня воображительной способности нет, а логики... не знаю!.. Я думаю, что для того, чтобы писать о проституции, нужно быть проститутком, чтобы писать об алкоголизме, нужно быть пьяницей и, чтобы писать о сумасшествии, нужно быть сумасшедшим.

– Нет, из вас ученый не выйдет.

– Но я хочу быть ученым. Непременно я хочу быть профессором...

– А впрочем, – сказал наставник, – кафедры пустуют, кто-нибудь должен же читать студентам науку. И если у вас такое рвение, надевайте мундир министерства народного просвещения.

Так произошел один профессор в Москве.

Через четыре года после того, как была напечатана моя книга «В мире неясного и нерешенного», он написал на этих днях (кажется, в радикальном) «Утре России» ее разбор-очерк под названием «Мистическая порнография», где обвиняет лично меня как человека в преступлениях, караемых во Франции судом исправительной полиции. Почему? Потому что книга написана о поле и его феноменах. Автор с равным правом мог бы обвинить в том же Вейнингера за его «Пол и характер» и д-ра Фореля за книгу «Половой вопрос». И все основано на ошибке метода, формула для которого такая:

1) Он пишет о проституции,

2) Следовательно, он проститут.

Я соглашаюсь, что на наших профессоров не надо надевать смиренных рубашек. Они тихие. Но когда я опускаю монету в зелененькую кружку с этикетом: «Приют для слабоумных, калек и идиотов», – я думаю, что жертвую для некоторых и из этих профессоров и, может быть, кое-что даю для своих рецензентов.

ОБЕЩАЮЩЕЕ НАЧИНАНИЕ

Не дай ты мне идею, а дай осуществителей идеи, лицо человеческое. Это – первое во всяком деле, во всяком начинании, во всяком успехе.

Вероятно, многие, прочтя на днях в газетах сообщение о том, что пресвященный города Казани разрешил и благословил открытие богословских курсов для девушек и женщин, – зарадовались глубокою внутреннею радостью этому событию. Оно незаметно, о нем не зашумели газеты, но оно несравненно обещающее, чем шумный съезд законоучителей, собиравшихся это лето, которые поговорили о казенных квартирах для батюшек, блеснули наперсными крестами, снялись «группами» на фотографических карточках и разъехались, совершив «Божье дело»...

В черненьких скромных платьицах, одиночками, потянулись по казанским улицам, с их странными названиями – «Первая гора», «Вторая

гора» и проч., молодые девушки, чтобы впервые в России вкусить вершин от того древа знания, которое, естественно, должно бы было открыться для них первым, а открывается последним. Уже есть даже «архитекторские курсы для девушек»: в Петербурге молоденькие 24–28-летние девушки чертят планы многоэтажных зданий, изучают стойкость каменных материалов и железных скреплений, изучают в фундаменте всего этого высшую математику, дифференциалы и интегралы, – а в то же время глубокое вникание в христианскую философию и в судьбы церкви Христовой на земле для них было закрыто. Тут была ревность сословия, – духовного сословия, – к «своему делу», которое «мы одни умеем делать». Медицина, хирургия, наконец, юриспруденция, не говоря уже о древней и средневековой филологии и истории, – все распахнуло двери перед толпою девушек, молчаливо и терпеливо дожидавшихся «своего часа» у врат ученого святилища. Все распахнулось. Но вот, наконец, распахнулась и цитадель богословия.

Кто хоть сколько-нибудь приглядывался к жизни и к бродящим взглядам в обществе, тот не мог не заметить, что женская душа есть главный хранитель религиозного жара, религиозного энтузиазма, что коротенькими, обрывочными афоризмами с женских уст слетели самые глубокие, проникновенные слова о вере, о церкви, о Боге, – какие пришлось услышать каждому за свой век. Все мы чем-нибудь обязаны женщине в своей вере: старшей сестре, тетке, няне, но больше и чаще всего – матери. В житиях скольких святых записано, что первое благочестие дано им было замечательною матерью! Василий Великий на Востоке и блаженный Августин на Западе – вот примеры. Все мы видели плачущих на молитве женщин. На молитве плачущий мужчина – невиданное зрелище! Все эти факты много говорят своим собирательным смыслом. История церкви, история святых, наконец, то великое почитание, каким именно женщины окружили св. Серафима Саровского, а на наших глазах Амвросия, старца Оптинского, – давно и убедительно говорили о великой необходимости открыть именно женщинам свет высшего богословского образования. Уж кто-кто, а женщины не станут «пропускать лекций» по истории церкви и догматике, ни дремать на них, ни манкировать церковною службою, какая будет при их школе. Не они ли, – часто только они одни, – наполняют храмы и теперь, наполняли их всегда?! Иногда хочется сказать, в благодарность за великую и вековую их веру и жар в ней, что на земле религия пока и держится только женщинами и детьми; даже хочется дать этому метафизический оттенок: что Бог ради женщин и детей не отнимает у земли сокровищ веры, ни ее смысла, ни ее утешений.

Но обратимся к повседневному и практичному.

Женщины и девушки цепки и стойки, – как показала вся история женского образования в России. И везде, где им приотворяли немного дверь, они раскрывали ее шире. Несомненно, «богословские курсы для девушек»

в ближайшее десятилетие повлекут за собою выступление девушек–наставниц закона Божия в школах. Сюда и примыкают главные наши надежды. Пушкин, – Бог знает, что предвидя, – дал этот удивительный образ жены-наставительницы:

В начале жизни школу помню я.
Там нас, детей беспечных, было много –
Неравная и резвая семья.

Смиренная, одетая убого,
Но видом величаясь жена
Над школою надзор хранила строго.

Толпою нашею окружена,
Приятным, сладким голосом, бывало,
С младенцами беседует она.

Ее чела я помню покрывало
И очи светлые, как небеса...

Меня смущала строгая краса
Ее чела, спокойных уст и взоров
И полные святыни словеса...

Кто знает особое чувство женщин к Евангелию, жадность их к нежности и любви его, восторг их к евангельской нравственности, кроткой, прощающей, терпеливой, не буйствующей, не спорящей, полной уступчивости и огромной в то же время силы, – тот согласится, что женщина – наставница «закона Божия» – в этот пресный и черствый предмет внесет совершенно новый свет и волеет совершенно новую силу! Именно она сделает то, чего до нее никто не умел сделать. Сколько ни было призывов *размягчить* «преподавание закона Божия в школе», сообщить *жизнь* ему, сделать его *любимым*, самым *влекущим*, самым *занимательным предметом*, – все было напрасно, все разбилось о форму, черствость и чванство «старой семинарской закваски», приносимой наставниками на поле своих ряс... Сами наставники неудержимо преподавали «закон Божий» только как схоластику, какой сами выучились; только как форму знаний и отношений; только как зубрежку текстов и множества церковно-служебных подробностей; только как заучивание схоластических вопросов и схоластических словопрений, какие имели место много веков назад. И среди этой массы мертвого, непереваримого материала тонуло слово Христово, тонуло слово евангельское, как едва-едва заметная по малому объему крупица. Поистине, схоластика была теми самыми «сорными травами», заглушающими рост зерна, о которых памятную притчу сказал сам Спаситель. Сколько об этом ни говорили люди, сколько, наконец, ни напоминало правительство, – все было напрасно: рожденные, зачатые в схоластике и умели из себя рождать только схоластику.

В основе же лежало то, что *сами* они, т. е. наставники, не имели *нежно-го, любящего и чуткого* слуха к Евангелию! Вот и все, вот и главное! В душе их не было музыки Евангелия. Было только слово Евангелия, и даже только *об* Евангелии слово, «христология», «наука о Христе». Сочинилось же в семинариях и академиях такое чудовищное словосочетание!

Но все это кончится, когда войдет в школу

Смиренная, одетая убого,
Но видом величая жена!

К общей радости русской семьи, русских детей, всей России!

Большое, историческое спасибо преосвященному казанскому; большая задача лежит перед профессорами Казанской духовной академии, которые, без сомнения, будут первыми наставниками на женских богословских курсах.

НА ХОДУ КОРАБЛЯ...

Все противоположно и до известной степени несовместимо между кают-компанией трансатлантического парохода и между его командой, контрой, капитаном, матросами, всею «службою». В кают-компании льется музыка, поется ария, читаются стихи, ведутся интимные разговоры; целый мир душевных связей и душевных интересов живет здесь. Попробуй «ведущая команда» парохода вникнуть в эти душевные интересы – и пароход разобьется о камни или заблудится в туманах. Этого, очевидно, и не нужно. На самом деле «команда» должна знать только свою команду – ведение судна. Дело краткое, жесткое, суровое, ответственное и нимало не «душевное». Тут все – техника, знания, исполнительность, абсолютное повиновение каждого младшего каждому старшему; субординация и мундир, но проникнутые высоким одушевлением важности порученного или «вверенного» дела. Самое одушевление здесь другое, чем в кают-компании, другой категории, меры и характера. В кают-компании пассажиры тогда лишь и могут предаваться грезам, мечтам, интимности, музыке, поэзии, воспоминаниям, надеждам, расчетам, когда «наверху» все исправно, – «наверху», т. е. «в команде».

Отношение это вполне выражает отношения общества и государства. Корабль – это Россия; его «служба», «обслуживание» – это правительство; кают-компания – это все мы.

Вот уже век отношения между кают-компанией и «командой наверху» полны у нас вражды, недоверия, взаимного негодования, взаимного неуважения, чтобы не сказать более.

Доля основания для этого есть: кают-компания не может оставаться безразличною или спокойною, когда корабль виляет, сбивается с ходу, возвращается по временам назад, на пройденное место, когда его кренит без ветру, когда ход машины неисправен, когда есть признаки, что уголь дурно-

го качества, когда за него дана была высокая цена. Кают-компания вправе критиковать «ход корабля» в случаях осязаемой, очевидной, бьющей в глаза его неправильности.

Но только ход: кают-компания не вправе втягивать «команду» в свои интересы, в свою интимность, в свои беседы, в свою психологию. Требовать, чтобы «команда» была такая же, как они: «душевные люди», со всею «психологичностью»; чтобы матросы, капитан и «служба» заслушивались поэтов и вникали в мудрование мудрецов.

Напротив, «команда» именно не должна во все это «вникать»: еще прочесть ради отдыха что-нибудь – так; для забавы, поверхностно, послушать краем уха. Но начать «вникать» и «услаждаться» – это значит разбиться о камни.

– Тяни парус! Поддай в топку угля! В исправности ли барометр и манометры? Что говорит лот?

Вот ее дело, дело «команды».

И она нисколько не должна входить в «интимность» кают-компании; просто – должна едва знать о ней, может вовсе не знать; и уже отнюдь – не вмешиваться, не управлять, не направлять:

1) и по некомпетентности в этом;

2) и оттого, что тогда «свое упустит», – свое дело, свои обязанности, свою ответственность;

3) и по уважению к «господам пассажирам», между которыми есть дети, женщины, невесты, вдовы, коммерсанты, поэты, первоклассные ученые. Честно и благородно «команда» должна сказать: «Это не моего разума дело. Мое дело – тянуть парус, бросать в печь уголь, следить ход машины».

Значительнейшая доля вражды между «кают-компанией» и «командою наверху» проистекает у нас из неразмежеванности между ними, – размежеванности искренней, чистосердечной, убежденной, патетичной.

1) Государство во все вмешивается: в церковь, школу, литературу, нравы. Приход не может выбрать себе священника: его назначает государство (через духовенство, но предварительно поставив его в зависимость от себя). Родители не могут учить по-своему детей: государство выбирает для них учебники, назначает учителя, устанавливает программы. Оно и обучает, и экзаменует. Всякая шляющаяся проститутка «под окном» государства. Оно блюдет жизнь мужей и жен (зависимость развода от него, через посредство его органа, духовенства).

Таким образом государство задавило и вечно давит, везде давит область частного права. Давит личную жизнь, духовную жизнь. Оно всеобъемлюще; в новые времена – оно всеобъемлюще! Не сговорившись с социалистами, оно предвосхитило их задачу; усвоило их метод, дух, план. «Мы, община, коммуна, все; частный человек – только штифтик в нашей машине, социал-демократической машине». Но это старая песня старого правительства: «Вы стишки читаете – пожалуйста сюда на просмотр; с женой не мирно живете – изложите вашу историю». Социализм оттого и распространился,

оттого с гимназической скамьи каждому и понятен, оттого и сочтется из каждой книги, журнала, газеты, что не представляет собою ничего ровно нового, весь стар-престар, и являет только формулу давно *социализированного* общества.

– Нет души, интимного!

– Все принадлежит форме, целому, телу, массе!

– Коллектив – все, индивидуум – ничего. «Продукт общих условий», «среды» и «нашего повеления». Спрашивается, чем здесь «старый режим» расходится с «социализмом»? Вполне совпадают.

Отсюда его распространенность, усвояемость, понятность.

Поразительная вражда социализма к интимному, вражда к поэзии и философии, вражда к религии, вражда его к семье и глубокому, личному в человеке проистекает из того, что здесь навстречу государственности поднимается государственность же, но зародившаяся в самой «кают-компании», в самом обществе, путем потери в нем всего *личного*, «своего», всякого «святого святых» в себе. Гоголь никогда бы не мог стать социалистом, ибо он был гениально-личен. Но Ф. В. Булгарин? В нем была только «общая служба»: и Булгарин уже *по бесталанности* есть социалист. Все безличное, малоличное, все бесталанное, тусклое, без блеска и остроты в себе *eo ipso** – есть «социалистическое». Вот объяснение, что их так много. «Вобла идет метать икру»: идет стеной, загораживая всю Волгу; это и есть движение социализма. Уже на что «усвоимее», когда крестьянин или рабочий, побывав на 3–4 митингах, становится социалистом. Легче, чем «Богородицу» выучить. Это всего «Господи, помилуй» спившегося дьячка.

Но Гоголь социалистом никогда не стал бы.

Толстой – не стал.

Достоевский, вполне социализм усвоив, мучительно – даже проклиная, – разошелся с ним.

Потому что это редкая, дорогая порода человека. Потому что это не «вобла».

«Кают-компания» стала социализироваться, потому что она точно так же потеряла или начинает терять в себе то «интимное», что единственно должна бы хранить как свою особенность, как свое право, как «святое святых» свое. Государство спустилось в кают-компанию, подслушивает, вмешивается в личные и семейные дразги, в дружбу, в родство, в «интрижку», в стихи; общество, скучая кают-компанией, поднялось «наверх» с целью раскритиковать «капитана» и всю «команду», взяться за рулевое колесо, пересмотреть манометры, начать чинить трубы и котлы. Эта сумятица, это смешение вещей и есть «наше время», где так поразительно исчезла не только превосходная, но даже порядочная литература; и вместе пробудились политические страсти.

Но с одним дефектом «старого».

* тем самым (*лат.*).

Поднимаясь «наверх», покидая «кают-компанию», ее пассажиры, однако, несут тот именно дух, какой сложился у них положением, всем прошлым, навыками, воспитанием. Какой это дух? Человеческий, обывательский, дух толпы. Дух «гостиной» и «кабинета». Отсюда эти разительные требования поднимающихся к «команде» общечеловеков:

1) чтобы ружья не стреляли;

2) чтобы армия занималась приблизительно «непротивлением злу» или вообще толстовством. Чтобы она не умела держать ружья в руках и ни в каком случае не стреляла бы.

Стрелять – это ужас: «мы, барышни, к этому не привыкли», «курсистки – не привыкли»; «у нас в детской не стреляют, дитя может проснуться». Рассуждения кают-компании.

Но она перенимает теперь «команду» и требует:

3) чтобы приказаний вообще не было. Притеснения бы не было. «Все будем жить по-братски», – как Ваня и Надя, дожидаящиеся учителя в приготовительный класс.

Идиллия. Розовый цвет. И кисея. Вот элементы «государственности», с которыми кают-компания поднимается наверх. Здесь происходит удивительное недоразумение:

1) кают-компания клянется, как «ангел в Апокалипсисе», что именно *это* она внесет в государственность, – «кают-компанейские чувства». «Ни тюрем, ни оков – все школы»; «розог больше не будет, а только увещания». «Все будем только говорить и беседовать». И так как *до сих пор* кают-компания естественно только разговаривала, единственно разговаривала, то все верят, что в новой роли «распорядительницы» она, кроме слов, ласки, комплиментов и, самое большее, увещания, – ничего не будет делать... «Крови уже не будет, а будет только молоко и сахар». На этом и основан весь *кредит* ее.

Компанейцам кричат снизу:

– Идите наверх. Принимайте «команду». Ведь вы – сахарные. Нам будет хорошо, всем хорошо.

Но, разумеется, «сахарность» продолжится только до минуты, когда хорошо качнет корабль, когда задует сильный ветер. Несомненно, все элементы прежнего государства:

1) тюрьма;

2) казнь;

3) стреляющие ружья –

все это очутится в багаже кают-компании, как только она на самом деле примет «команду в руки». Включительно до «патронов не жалей», или тогда: «да не жалей же, мерзавец, патронов: видишь, толпа насела прямо на нос нам, твоему начальству». Так заговорят внуки Мякотина и правнуки Михайловского.

Но пока все за сахар. За мягкость. За будущий «непорочный строй». За «кают-компанейские чувства», которые должны быть перенесены «наверх».

В этом великом недоразумении и среди этого всеобъемлющего движения живем мы почти с пресловутого 14 декабря и во всяком случае с 50-х годов. Гаршин и его «Алый цветок», вся литературная деятельность Короленко, публицистика и беллетристика ряда радикальных журналов, – все это есть движение «наверх» кают-компаний; или обида и оскорбление, почему «наверху» не царит «кают-компанейская» психологичность и интимность, нрав и речи «кают-компаний»; зачем там «командуют». И с другой стороны, эпохи от давно прошлых до Сипягина и Плеве суть спуск «команды» вниз, в «кают-компанию», в намерении здесь всем овладеть и завладеть, все оказывать, обездушить, на все надеть форму, порядок и мундир.

ЗАБЛУДИЛИСЬ В ТРЕХ СОСНАХ

С таким жаром, кровью в сердце, ряд умных людей спорит несколько собраний по вопросу о том, чего требует высший христианский идеал: личного ли углубления и усовершенствования или работы над общественными формами, над политическим и национальным строем?

Это – тема последних собраний христианской секции, которая выделилась в старом Религиозно-философском обществе в Петербурге, не сливаясь и не отделяясь от него. Заседания этой секции более интимны, менее многолюдны. Она продолжает исключительно религиозную работу прежнего общества, как известно, отклонившегося к темам литературным и публицистическим.

Нужно ли думать о прекрасном обществе?

Или о прекрасном человеке?

Правда, это – старая тема всего русского общества, всей русской философской и религиозной мысли. В последнем собрании В. П. Протейкинский, постоянный посетитель секции, убедительно доказал длинными выдержками из Достоевского и Толстого, что оба эти корифея нашей религиозной мысли стояли не за личный и потому эгоистический, хотя бы и моральный, идеал; что им обоим предносилось «совершенное общество», а не совершенный только «человек»; оба говорили о «мире» как союзе людей, о «братстве человеческом»; мечтали они об общине, деревне, улице «морализованных», «преображенных», а не об отшельничестве и отшельнике как завершеном идеале. Это было ново относительно Толстого, у которого, как известно, прорывались и мысли обратного направления, но Протейкинский совершенно вразумительно, совершенно убедительно доказал это и относительно Толстого.

Все это интересно, все это так. Действительно, ведь и «толстовцы» собирались именно в *колонии, общины*, а не жили одиночками.

Заметим, что и Достоевский с его «всемирною гармонией», и Толстой с его новыми мыслями о «братской общине» встретили в 80-х годах прошлого века сильного критика в лице Константина Леонтьева. Последний вы-

ступил против них с брошюрой – «Наши *новые* христиане, гр. Л. Н. Толстой и Ф. М. Достоевский». Он указал, что идеи и стремления Толстого и Достоевского, идущих под стягом Евангелия и Христа, – вовсе не евангельского и не христианского *происхождения*, что Христос ни о какой «мировой гармонии» не учил и ее не предрекал. Напротив. Он предрекал, что «все будет хуже и хуже», что земля и все земное идут «к концу», что настанут болезни, мор, голод, вражда людей друг к другу, войны и ожесточенная распря среди людей, «пойдут народ на народ и язык на язык». Все это так, все это в Евангелии есть. «Проповедывать же и надеяться на мировую гармонию, на счастье еще на этой нашей земле, – говорил отчетливо Леонтьев, – есть безумие и богохульство, есть антихристианская и антицерковная мысль».

Леонтьев был точен, как счетная машина. Достоевский вскоре умер, среди жара недоконченной полемики. Но в «Записной книжке» его нашлись следующие строки:

«*Леонтьеву* на его мысль: не стоит добра желать миру, ибо сказано, что он погибнет. В этой идее Л–ва есть нечто безрассудное и нечестивое. Сверх того, чрезвычайно удобная идея для домашнего обихода: уж коль все обречены, так чего же стараться, чего любить добро делать? Живи в свое пузо; живи впредь спокойно в одно свое пузо».

Последние *личные* слова, обращенные к К. Леонтьеву, были несправедливы: он был идеалист лично, до трогательности добрый и мягкий, но с суровыми суждениями, капризно суровыми, «нарочно» суровыми. Он очень любил «горячить» общественное мнение и жег его парадоксами, иногда оскорбительными или, лучше сказать, всегда оскорбительными, когда было можно. Но, оставляя эту художественную привычку Леонтьева в стороне и обращаясь к делу, мы должны сказать:

1) Действительно, мысль о блаженстве человека на земле есть мысль апокалипсическая.

2) В самом Евангелии и в устах Иисуса Христа – ее нет, не было.

Достоевский, не давая себе отчета, все время во всей своей литературной деятельности, и тем ярче, чем ближе к концу ее, шел «на парусах» под апокалипсическим ветром, под дуновением из Апокалипсиса, а отнюдь не из трех синоптических Евангелий. В то же время воображая, что он комментирует, «разъясняет» Евангелие, «Лик и волю Иисуса Христа». Здесь поправка Леонтьева была совершенно точна, совершенно правильна. Как известно, до сих пор церковь не имеет ключа к Апокалипсису и не дала ему движения, применения в жизни: и «церковный идеал», который тоже защищал Достоевский, смешивая его с апокалипсическим, с «царством Духа Утешителя», – выразился вполне в византийском строе, в отшельничестве, в затворе, в замкнутости Афона и его киновий, дух которых знал Леонтьев, проживший там несколько лет, и в своей брошюре он его выразил страстно и язвительно.

Леонтьев был строг, сух и документален. Он был совершенно прав с точки зрения *прошлого* церкви.

Достоевский же... был прав с точки зрения *будущности* церкви на земле (Апокалипсис).

Спор не закончился за смертью Достоевского в самом его разгаре. Что касается Леонтьева, который был глух к Апокалипсису, как и все «сухие», недвижимые, как все *status quo* в составе церковном, то ему просто не пришлось на ум спросить: «Да откуда этот *новый* дух в христианстве? Откуда эти *новые христиане*, которых он так правильно заметил? *Сами* ли они сочинились, сочинили себя, и не дует ли в них что-то от времен же Иисуса Христа?»

Тогда бы он открыл Апокалипсис. И едва ли сам удержался бы в своей чертовой форме, в жестоком строе своих мыслей...

Спор был чрезвычайно обещающий, но он не был кончен. Вмешавшийся в него Влад. Соловьев ничьему делу не помог: он сослался на «гуманность», которую выражают Толстой и Леонтьев. Но это уже было привлечением к делу «посторонних документов», которое комкало и затирало все дело, весь вопрос, его сладкую и содержательную муку.

– Четвероевангелию ли нам следовать? Которое утверждает факт: «Было Лицо и учило тому-то». Далее следуют катехизические «тексты», Византия и весь *status quo*.

– Или следовать Апокалипсису: полному неясности, непостижимостей. Но в котором все роится, вот как роится улей пчел, и все вылетает новое и новое, из каждой строки, из всякой главы. Дует не ветер, а буря, вихрь, срывающий всякое *status quo*, вечно зовущий, толкающий, несущий куда-то вдаль, в бесконечную даль, к каким-то невероятным обещаниям, с невероятными надеждами и... полною верою! «Небо трясется», «звезды падают», «кружатся царства», «плачет земля» там, «ликует» здесь; белые одежды, пальмовые ветви мира, – все это среди грома и разрушения. Понять ничего нельзя в строках, отдельных выражениях, но ощущается с пронзительной ясностью буря, ярость, умиление, разлом и созидание... Вот все, чем так полна была психологическая стихия и Достоевского.

– Ну, чему же следовать? Тому? Оно – свято.

– Но свято и Апокалипсис. Он признан. Он – канон. Только «за семью печатями». Так не следовать ли ему?

Вопрос, к сожалению, не был доведен до этой ясности. До этой прозрачности. До всего величия этого церковного его смысла. Вл. Соловьев перевел его в публицистику и, можно сказать, утопил в сухих песках «Вестника Европы».

Но, устраняясь от этих далеких горизонтов и беря скромнее задачу, мы должны ответить членам христианской секции Религиозно-философского общества:

– Вы спорите о том, как быть нам в нашем положении? Следовать ли «Вехам» и отдельным призывам Толстого и начать строить в себе «внутреннего человека» или примкнуть к общественной работе, как она установилась во всей России, налаживается или разлаживается? Но поступать нужно каждому *по дару его*. И Спаситель говорил о «разных дарах» у че-

ловека, у человечества. Есть люди совершенно не способные к общественной работе. Неудержимо они уходят в себя, копаются в душе своей, слушают ее, слушают совесть свою, голоса в ней, призывы в ней и мучительную критику. Такие люди только бы испортили в общественной работе, не имея тех объективных даров, того внешнего уха и внешнего глаза, которых она требует. Зачем они здесь? Да их гнать отсюда надо! Какой же Кольцов «сельский староста», или Лермонтов – «правитель канцелярии», или... Сергей Радонежский мог ли бы быть думным боярином? Оставьте их в покое; принудительно оставьте, если бы по наивности или рассеянности они не остались сами. Мир пользуется ими с другой стороны, *особым их даром* (слова Спасителя), какой у них есть; душа их, утонченная и нежная, родит чудные слова, небесное учение; личная жизнь их представляет тогда что-то обаятельное, недостижимое для остальных смертных. Вот эти слова, вот эта личная жизнь, часто аскетический подвиг в пустыне, в пещере, в лесу – все это есть сладкий, редкий и питательный плод, какой берет от них человечество и исцеляется им от многих язв, хотя и не становится от него сыто, как от хлеба.

Есть лекарство и есть хлеб, и оба нужны.

Хлеб работают хлеборобы: люди дюжие, утилитарные, не рассеянные, в себя не уходящие, не мечтательные, не грезящие. Они делают всю общественную работу, которая так же насущна, как и личный подвиг святого затворника, как золотое слово поэта. Хотя вы стегайте в три кнута «общественного деятеля», он вам ни одной строчки стихов не напишет. Или напишет отвратительные, которых лучше бы не было. Но зачем же устраивать перекрестное сечение и такую взаимную муку принуждения каждого не к тому, к чему он способен? Пусть дары растут свободно. Пусть все дары растут свободно и всякий приходящий к Дереву Жизни берет то с него, что ему сладко вкусить, в чем он нуждается. Оно же, это Дерево, тем и отличается от садовых наших произрастаний, что дает всякие плоды, а не один, – «по двенадцати раз в год», как обещал Апокалипсис.

Люди, не мучьте себя, не сочиняйте себя, и вы будете счастливы, сыты и... спокойны. Последнее-то и есть самое важное.

«ПО ПРИЧИНЕ ОСТАВЛЕНИЯ ОДНИМ СУПРУГОМ ДРУГОГО»...

– Изложите, почему сие важно в-четвертых.

На уроке закона Божия

Пожилой, но не старый еще генерал встал и хотел попрощаться.

– Подождите, что вам минут пять-десять, – остановил я его. – Сядьте. Я не могу еще собраться с умом в вашем деле.

Я выслушал его получасовой рассказ о семейной жизни. Сейчас он не несет правительственной службы, а занимает частную должность, хотя хо-

дит в мундире и вообще «как следует генерал». Он занимал большие должности в Привислинском крае при Черткове и на Кавказе при Воронцове-Дашкове. Был обоим близок, был обоими любим и уважаем, нужен делу, нужен и государству. И от всего бежал, чтобы скрыться в безвестность частной службы.

Двадцать два года тянется его дело о разводе... Вскоре после брака жена его оставила, и через 2–3 года он получил осязаемые, документальные доказательства ее измены, т. е. что она живет с другим. Начал дело о разводе. По обычаю, оно затянулось. Прошло года два, и его жена подала встречный иск о прелюбодеянии и с другой стороны, т. е. также об его измене. У нее не было осязательных доказательств, а только голословные, «по слухам». Но интимно он мне сказал, что, действительно, через немного лет после оставления его женою он полюбил одну девушку и вступил с нею в связь, которая тянется до сих пор, восемнадцать лет. Детей от второго сожития нет, а от первого брака остались две дочери, которых жена его оставила у него на руках малютками. Обе они не помнят своей матери и относятся к теперешней его сожительнице хорошо, как к родной матери. Из дочерей этих одна вышла замуж, – отлично и видно; другая – еще в девушках. Обе они воспитаны его сожительницею-полуженою.

Дом как следует. Полон тишины и всего, что следует. Только он... не легален, «не узаконен».

Это и встретилось острою встречей с его видною, открытою, притом военною службою, где так строги «требования чести». Нужно было видеть сжатое, измученное лицо рассказчика, когда в изложении обстоятельств жизни и службы он доходил до момента, когда наместник или генерал-губернатор приглашал его «познакомиться с женою», и затем эта жена говорила: «Привезите ко мне ваших дочерей и жену: я слышала, ваши дочери такие воспитанные». Спина и плечи генерала в эти моменты рассказа так поводились, точно из него тянули жилы, и сейчас вся боль этого вытягивания снова чувствовалась.

– Страх, что кто-нибудь из присутствующих знает, что она – не жена мне...

– Нет, ее, бедной, вашей теперешней жены или любовницы, страх, что кто-нибудь знает, что она не жена вам...

В движении души мы почти обнялись. А он такой сильный, красивый. Я вижу его в первый раз...

Он выбирал поэтому службы не прямые; именно, чтобы «его документы», где прописаны имя и отчество другой его жены, – бежавшей, – находились или в «делах» канцелярии, у него самого на руках, или (не помню подробности рассказа) в другом месте, чуть ли даже не в другом городе. Но, во всяком случае, служба была вся сообразована с вопросом, где будут находиться его «бумаги» и чтобы в них никто не заглянул из его сослуживцев или непосредственного начальства. От этого он нес не прямую военную службу, а инженерно-военную, или стратегически-военную: именно –

распопьяжался передвипением войск по железным дорогам. Подробностей я не помню. Помню только страх и стыд, что он постоянно «скрывал свои документы».

– Черт знает что, – проговорил я. – Как беглый с каторги... Опасаясь, что схватят за руку и спросят: «Вы кто?»

«Кто» ваша семья? «Где ваша жена?» «Вы обманываете: его высокопревосходительство обманываете, да и всех нас». «Это – вам посторонняя женщина, а вы ее вывозите как жену и выдаете за жену». «Вы все, вся ваша семья, – беглые, безыменные, невеста кто и, в сущности, шушера и лжецы». «А носите эполеты и занимаете должность».

В этом кошмаре, среди этих слышащихся душевным ухом вопросов, вечно ожидая их, ожидая «разоблачения» и скандала, прожил восемнадцать лет, – восемнадцать, читатель! – красивый, сильный, служебный, вполне благородный человек.

– Да, ведь, это шантаж, – прошептал я. – Что такое «шантаж»? Угроза разоблачения какой-нибудь тайны и вымогательство денег путем этой угрозы. Тут только требования денег нет... Да, в сущности, и это есть, ибо из рассказа вашего видно, что вы отказывались «из страха быть изобличенным» от предложения более выгодных и видных служб, ближе к наместникам.

– Да, в сущности, вся служба моя разбита. И тогда была, восемнадцать лет. И нервы не вынесли, и я, еще в силах, вовсе оставил государственную службу.

– Шантаж полный. Ужас шантажа, психология шантажа – налицо. Но он идет не от лица, а от закона. Жена ваша пользуется законом, который налицо, и закон этот, в сущности, ничем не наказав ее за то, что она вас кинула, не помешав ей вас кинуть, не вмешавшись в это дело хотя бы распросом или советом в момент, когда вы остались одни, с двумя малютками на руках, – вдруг властно вмешивается в тот другой момент, когда вы исправляете свою судьбу, когда вы из лежачего, неестественного положения встали, поднялись, выпрямились, как следует нормальному человеку. Буквально, черт знает что такое, хуже, чем в цирке, несправедливее, глупее. Вас уронила, толкнула жена: полное молчание, «не мое дело», – говорит закон, власть... «Умываю руки», – говорит духовная власть. Но вы встали, попросту – женились, обзавелись семьей, которую любите, к которой чувствуете потребность, ибо семья есть потребность не только физическая, но и, еще гораздо больше, духовная, поэтическая, художественная: «не могу быть без семьи», «не могу жить холостяком», – это говорят лучшие люди, стойкие граждане и обыватели. Но едва вы стали «полным человеком», как закон вам кричит:

– Каторжник! Ты каторжник за это! Как ты смел подняться, когда тебя уронила жена, законная жена твоя, обвенчанная в церкви и которая, имея все права на тебя, бросила эти права и живет с любовником, но это все равно; ты обязан был лежать и смотреть лежа, как она счастлива с возлюбленным. А когда она кончит удовольствие и вернется к тебе... то ты соб-

ственно для того и должен лежать, чтобы вот в эту блаженную минуту протянуть к ней объятия и повторить трогательную сцену Евангелия: отца, принимающего блудного сына. Мы же, судьи, закон, духовенство, церковь вкупе с государством, полюбовались бы на это зрелище, воистину христианское и воистину евангельское! Но теперь все расстроено, ужасно расстроено: ты не захотел дожидаться восемнадцать лет, «претерпеть до конца» и дожидаться «торжества», а прозаическим и обыкновенным образом встал и снова женился... Не формально, но все-таки. Лишил нас зрелища, умиления. Так за это, ехидна, ты будешь есть землю до конца жизни, как проклятый змий, как Каин. Нет тебе благословения нашего, и проклинаем тебя, и твою женщину, и твоих выроdkов, если они у тебя родятся, всею силой закона и всеобщественного, всенародного презрения...

– Черт знает что такое... Тут «Каин» не тот, кто в самом деле «трясется» и боится, как бы кто не увидел его «документов», а кто его проклял и убил проклятием, тот и есть братоубийца Каин. Но оставим... Голова болит от подробностей вашего дела, которые вы и так быстро рассказываете, ибо мозг ваш наvertsелся в его перипетиях, а я никак их не могу запомнить и даже уловить. Мне ясен один смысл, – общий смысл. Восемнадцать лет тянется «дело», а в сущности – безделье. 1) Жене вашей ни лучше, ни хуже от «дела». Живет она с другим, и пресчастливо, – кроме того, что у ней есть забота – не дать вам развестись с нею. Но забота эта чисто из злобы ее вытекает, ибо как муж вы ей не нужны, и, в сущности, она только рассчитывает пережить вас и получить после вас пенсию на воспитание детей от возлюбленного своего. Далее, 2) вы совершенно измучены, служба ваша испорчена, вы изломаны как слуга государства и как член общества. 3) Измучена донельзя та женщина, с которой вы живете. И почти главное и самое бессмысленное: 4) целая орава чиновников, светских и духовных лиц, секретари консистории, столоначальники, протоиереи, архиереи ваш местный и вот здесь, в Петербурге, большие лица, вместо того чтобы думать о государстве и народе, приносить пользу государству и народу, – ну, хоть пахать поле и делать хлеб или прясть лен, делать полотно, – надев мундиры и ордена, копаются ручищами и умишками в каком-то, черт его дери, никому не интересном деле, в ссоре вашей с женой, – черт бы побрал эту ссору, – ни клеят, ни расклеивают, ни сшивают, ни расшивают... Да это черт знает что такое: ведь им всем деньги платят! Пребольшущие жалованья. А за что? Разбирают вас с супругою!.. Баба надурила, не хочет жить с мужем. Чем сказать бы: «Не хочешь, – уходи: муж свободен, ты его освободила», – так заместо этого они... восемнадцать лет пишут! Бедлам!! Караул!! Да сам Гоголь в «Мертвых душах» не выдумывал такой бессмыслицы, чудовищности и идиотизма. Никому в голову, никому даже в фантазии в голову не приходило построить такую ахинею, какая существует в действительности и называется «бракоразводным процессом у христианских народов». Восемнадцать лет кляузы! Замучено двое! Торжествует бессовестная! И всем этим занято сто лиц! С жалованьем! Господи, с нами крестная сила! Зачи-

таешь «Да воскреснет Бог», потому что мы в явном бесовском наваждении, во власти дьявола, который закружил нам головы и издевается над нами невыносимым издевательством. Спасибо за рассказанную историю. Идите. Ваше дело скоро уже кончится. Так и вы говорите. Вас наконец выслушал и обещал все сделать человек в силе и с ясным суждением. Но 18 лет жизни отравлены, а России этот чудовищный бракоразводный процесс испортил восемь веков жизни! Но скоро всему конец... конец этой сатанинской гоголевщине, именуемой «бракоразводным нашим процессом»... Вот уж поистине гоголевская ведьма в гробу, которая ловит живых...

ЗАВЕТЫ БЫТА И ТРУДА

Многие письма Эртеля, всю жизнь прожившего в реальной возне с народом, а с другой стороны находившегося в постоянном идейном общении с левыми кругами интеллигенции, дышат такой правдой, болью, признаниями, что было бы печально оставить без ознакомления с ними всю читающую Россию. Тут нечто такое, от знакомства с чем растешь. «Вы ругаете немцев и вообще тяготитесь заграницей, — пишет он Н. Я. Петрову. — Не знаю, дорогой мой, — что касается меня, то должен сознаться, что я почел бы за величайшее счастье отдохнуть от милого отечества, хотя, разумеется, не поехал бы для этого в Берлин, а поужнее или позападнее. Русский, в сущности, хорош только «на заре туманной юности», — это я говорю об «интеллигентах», — а с возмужалостью такая в огромном большинстве дрянь, что из рук вон. Народ же русский... лучше не говорить. Правда, он глубоко несчастный народ, но и глубоко скверный. Отсюда, конечно, не следует, что на него надо плюнуть, но следует то, что находиться с ним *в реальных отношениях* очень тяжело, иногда до нестерпимости. Правда, есть позиции, с которых он представляется интересным и симпатичным, это позиция этнографа и вообще наблюдателя, как был наблюдателем автор «Записок охотника», например. Но стоит только хлебнуть «реальных отношений», как, — увы! — сквозь поэтическую оболочку живо засквозит грубый и, главное, лживый, лживый дикарь. И не то плохо, что он груб и лжив с «баринством», а то, что он до сих пор оправдывает язвительные слова Котошихина или Крижанича: «Русские друг дружку едят и с того сыты бывают». Мужички именно едят друг друга с превеликой готовностью и самым подлым образом».

Тема книги, так шумящей сейчас, — «Наше преступление» г. Родионова... Кстати, об этой книге: я ее прочел. Но, прочитав, вспомнил следующее: буквально такую книгу, но не в беллетристической форме, у г. Родионова очень слабой, а в виде голых рассказанных фактов и небольших рассуждений, сопровождающих эти факты, лет десять назад прислал мне в форме рукописи сельский учитель, помнится — Золотов. Я прочел, ужаснулся, — написал автору письмо, что книга очень важна, но едва ли ее кто-нибудь напечатает, так как она слишком идет вразрез с духом времени, и особенно

его демократически-розовыми «упованиями». Тогда автор на свои средства (средства сельского учителя!) напечатал ее, выставив на обложке *текущий* год, когда книжка появилась в декабре! Через месяц она сделалась уже *старою*, «прошлогоднею». И, конечно, никто ее не прочел и не обратил внимания. Книга г. Родионова, «Наше преступление», подняла эту же тему: но она пришлось ко времени, и ее подняла волна общественного внимания. Но помянем добрым словом и Золотова, а кстати и Эртеля: все три говорят в один тон. Эртель оговаривается, что он «не сказал бы этого всего *печатно*», да и не сказал бы «даже устно *не близким людям*»: ибо только близкий может понять, как можно «ненавидеть любя», а посторонний или далекий человек этого не поймет и принял бы слова его в объективном холодном смысле.

«Нет, — продолжает он, — это — не объективно, но все равно глубоко мучительно, потому что тут не вся правда, но много правды. Во всяком случае, достаточно много для того, чтобы по временам усомниться в блистательной якобы карьере матушки Федоры. Тем более, что к карьере ведут ее ой-ой какие ненадежные людишки! И в довершение горя, поверьте, именно они-то и есть «излюбленные» — надолго! — а не те, которым мечталось бы вручить судьбы. Больше скажу: если бы волею богов российскому народу, т. е. мужичкам и «сословиям», предоставлено было въявь обнаружить свои политические вкусы, то, боюсь, каждая ныне действующая величина, вроде г. Победоносцева, приобрела бы объемы куба. Как ни страшно, но надо выговорить: какое ни на есть русское правительство, но оно гуманнее и просвещеннее — и стыдливее — массы русского народа. Правительство в лице Муравьева перевешало много поляков. Будьте спокойны, «подлинный народ» перевешал бы их в десять раз больше. Считают, что в царствование Александра II казнено и всячески погублено несколько тысяч молодых людей революционного образа мыслей. Я начинаю думать, что, если бы дали волю «подлинному народу», он расправился бы с этими тысячами на манер Ивана Грозного. А духоборы, штундисты... Разве, вы думаете, «святая простота» ограничилась бы теми репрессиями, которые теперь так возмущают нас?... Но, говоря все эти горькие вещи, я, однако же, далек от мысли утверждать, что какой бы то ни было «народ» лучше русского. Например, французы, немцы, англичане, пожалуй, будут еще похуже. Но эта хорошая основная ткань русской народной души (я допускаю, что она хорошая) так переплетена с навыками рабства, а на Западе ткань посредственная так скрашивается прочной, глубоко внедренною культурностью, что, разумеется, жить и действовать гораздо легче там, чем у нас... И все-таки, все-таки я не сомневаюсь, что при наличности таких-то и таких-то условий Русь действительно могла бы сделать блестящую карьеру, и «мальчик без штанов», какого нам начертал Щедрин, мог бы превратиться в нечто лучшее, нежели благонравный немецкий мальчик. Но горе-то в том, что «условия» редко являются со стороны, а больше вырастают изнутри, — изнутри же что может вырасти у камаринского мужика, или у его «сословий», или у

его беспочвенной и бессильной интеллигенции, в значительной степени зараженной «чеховщиной»? История, говорили еще недавно, делается идеями. Да, но еще более – навыками! *В русской истории идей и фантазий ужасно много, «навыков» же никаких, если не считать навыков к беспорядку решительно во всех сферах жизни»...* (стр. 369–370).

Последние строки подчеркиваю я. «Навыков нет на Руси»... Это как изваянные слова. Каких «навыков»? «Быту» столько, что хоть отваливай, – как ни в какой стране. А между тем «быт» есть именно «навык», есть «сегодняшнее», похожее на «вчерашнее». «Быт» есть устойчивая, привычная, вековая жизнь. О каких же «навыках» говорит Эртель? Он не раскрыл скобок, не пояснил формулы. Увы, весь наш прославленный «русский быт», такой красивый, художественный, мягкий, такой наконец добрый, – есть *пассивный быт*, а не *активный быт*. Мы *лежим* художественно: а как *пойдем* – то ковыляем, и вообще тут живописи – конец! Вот в чем дело, вот где горе! Все «киты» русской действительности, все острые углы, ее режущие, все ее «горя горькие» сошлись в одну точку, к упору в одну стену, единственную: *пассивный народ!!* Прекрасный, живописный, но – пассивный. Если, как говорят философы, «пассивное начало» в природе есть то же, что «женское начало» в ней, то вот и объяснение: замечательно мягкий, нежный даже, русский народ есть явно *женственный*; это острым взглядом заметил даже Бисмарк, недолго побывавший в России. Но если так, то из этой *женственности* русского народа вытекает и его пассивность. В то же время бабы бестолковы и терпеливы: поразительная терпеливость русского народа (некрасовское: «терпением изумляющий народ») параллельна с изумительной бестолковостью русского человека, единично и лично, но больше всего – в массе, в толпе. Толпа русская, громада русская – всегда «бабий базар» по потере всяких концов и начал. Но вернемся к «навыкам»: святых много на Руси, – как ни в какой стране; но, будучи золотыми частицами, они тонут в массе хаоса, безобразия. И «святые» русские учат, как «жить», а все-таки не как *работать*. У русских нет золотых «навыков» работать и золотых навыков «относиться» к среде, к условиям и к людям. «В избе» – хорошо (красиво), а «соседские отношения» – отвратительны; или еще: «одиночка» – святой человек, а как вошел в семью, обзавелся семьей – пошел сущий ад. Везде «скверно» идет по линии связей человека с человеком или по линии отношений человека к объективному миру, к работе, должности, службе. «Гениальные личности» есть; а «государственная служба» везде испорчена. Мужик, т. е. одиночка, богатеет, но до известного, и притом небольшого, предела: как рост богатства дошел до пункта, где оно требует для дальнейшего увеличения уже многих голов, требует связной и согласной работы, равномерно талантливой и непременно добросовестной, так начинается развал и провал, причина коего кроется в неизменном надувательстве кем-нибудь кого-нибудь («лживость» в указаниях Эртеля). На этом провалились громадные состояния в России. «Деревья в России высоко не растут». Такая этнографическая ботаника. И вот тут «святые Руси»

уже не помогают, не учат. Не умеют, не знают. На вопрос, «как работать, как *сообща строить*», вся святость Руси, ее бывшая святость, ее историческая святость – ничего не отвечают.

Молчат.

И никто не умеет сказать: «*Как же*»...

Вот *где* горе. Вот узел всех запутанностей России.

Музыки труда не началось в России. Мы жили, точнее, – *были*: и создали удивительный идеал *быта*, этой «были» своей, «былого» своего. Он удивителен, этот наш быт, у помещиков, у хороших крестьян, у многих в духовенстве. Пушкин, Тургенев, Толстой, Гончаров увековечили это святое «жили-были» русской земли...

Но русский человек в трудах, в обязанностях, в долге, в службе?..

Петр, один Петр, дал этому пример: но умер – и оставил пустое поле за собою. Опять после него пошло «жили-были»...

«МАТУШКА КАЗНА»

Что́ такое «государство»? Что́ оно такое по *народному* воззрению? Профессора, как известно, начинают с яиц Леды, поставив эту тему: в третьем томе они переползают к монархии Карла Великого, в седьмом сравнивают бельгийскую конституцию с германской; и умирают, обыкновенно не кончив труда и так и не ответив на вопрос: «что́ такое государство».

Народ слова «государство» не знает; он знает только «государственные *подати*»... И выражения «государственная служба» – тоже не знает; он говорит: «царская служба».

– Кому служите?

– Царю.

Но «государство» – этого слова нет, оно неупотребительно. Есть другое слово, его заменяющее, ему эквивалентное в народном воззрении: «казна», иногда сопровождаемое эпитетом – «*матушка* казна».

«Матушка» выражает силу, мощь. Обилие, необозримость, беспредельность.

– Казне нельзя противиться.

– Казну нельзя перемочь.

– Казна осилила.

«Казна», особенно «матушка казна», – все рождает от себя, что вокруг видит глаз; все объемлет собою; все собою обуславливает, держит все от себя в зависимости.

«С казной бороться нельзя!» Как с родной матушкой – сыну. «Родила – и шабаш». «Не было бы ее, не было бы меня». Сын тонет в матери, как обусловленное. Я, русский, все мы – тонем в «казне», как личное в чем-то безличном и огромном, в могущественном. Не совсем «безличном», но с каким-то темным, неясным лицом, неразгадываемым и немного грозным.

«Нельзя казну обидеть: убьет».

Еще выражение: «казенную копейку *надо беречь*». Тут уважение, страх и любовь. Перед последним польским восстанием, в Вильне или где-то, поляки, фланируя по улице, плевали на солдат. То в лицо, то мимо. Те стояли «в ружье» молча; но плевков упал одному на шинель.

Солдат озлобился:

– Что ж ты *казенную вещь* портишь?

И вытер. Полька прошла, чтобы плюнуть на следующего солдата.

«Казна» угрюма, молчалива, терпка в обидах, но встанет – убьет.

Вот народное представление о государстве, как его можно уловить в речениях. Что же это такое?

Необозримое хозяйство... беспредельная «экономия»... требующая работы, пота, раннего вставанья, краткого сна, бодрствования, неусыпности, ответственности. «Казенную копейку *надо беречь*» – это наше русское «*civis romanus sum*»*. В «казне» все тонет, «казна» все объемлет, «казне» надо пособлять. «Матушка родная» всем.

Ну, а «царская служба»?

– Кому служите?

– Царю.

Это что такое?

Далекое, туманное, сияющее... «славны бубны за горами»... сказка, полумысел, полудействительность... о чем слухом полна земля и чего никто не видал. Вернувшегося из Питера спрашивают:

– Видел царя?

И при отрицательном ответе – скучают. «Кто видел, того бы послушать». Это – «невидимый Китеж-град» русского народа до некоторой степени. Народ без поэзии так же не может жить, как без хлеба: и земную поэзию, сплетая земное с небесным, народ выразил в сверкающем угле алмаза – «царском лице».

О нем не должно бы быть истории; всякая действительная история была бы неистинна; а истинная история есть именно та, которая состоит из вымысла, преувеличений, иллюзий, надежд, упований. Очерчиваю дело, как оно стояло века, а не как есть сейчас. С точки зрения этого «земного мифа» Алексей Михайлович и повалил без всякого усилия умного и гордого Никона; опираясь на этот миф, Петр и вовсе «упразднил патриархов на Руси». «Патриархи» – греческая традиция; и ее победила русская сказка.

Если «казна» грозна и наказывает, то царь обычно «милует», как солнышко. Солнышко все осушит; солнышко прогонит зиму; на солнышке греемся; солнышко родит травку и хлебец.

«Без царя ничего бы не было. Самой *казны* бы не было».

Царь завел «казну» как порядок. Для народа, на пользу народа. Но с «казной» он не сливается. Царь – дальше «казны», за «казною». «Казна»

* «я римский гражданин» (лат.).

осязательна, вот здесь и теперь. О казну все трутся. «Царь» же неосязателен и далек. «Никто не видел», а «всем бы посмотреть».

Царь есть утешение народное. Просто тем, что он есть. Без всяких предикатов.

Как-то в детстве (ведь и простолюдины – дети, по крайней мере прежние простолюдины) я смотрел в окно на свадьбу... Кажется, венчалась далекая родственница, и «нас не позвали», и вот холодноватою осенью, уцепившись за карниз, я смотрел в окно. Глухо неслась «военная музыка», и пары в голубом, белом, зеленом важно и медлительно плыли по залу, так красиво держа голову и так вежливо делая полупоклоны друг другу. У нас же в доме все было грубо и не столько говорили, сколько ругались (старшие братья между собою, но и по адресу к младшим). Сколько меня ни звали «домой», от окна я не мог оторваться. И все стоял. Глядел. На что?

На чужую красоту и чужое счастье.

«Чужая красота и чужое счастье» именно оттого, что они *не рассмотрены*, что они *неведомы*, гораздо счастливее и лучше «своего счастья», естественно ограниченного и несовершенного. Повторяю, как «реальный гость» и «живой участник», я взрослым, присутствуя *внутри дома* на свадьбах, уже не испытывал того счастья, как в тот вечер детства, стоя *за окном*. «Военная музыка», я помню, меня трогала до слез; верно, играли марш «Невозвратное времечко» или «Персидский», если тогда был. Вообще – ничего особенного. Но я пережил «особенное и исключительное», и помню хорошо фанатичную мысль свою: «Ах, если бы уничтожили всякую музыку, кроме военной, – все эти пошлые гитары, гусли и фортепиано». За вставленными зимними рамами музыка, вероятно оглушительная внутри комнат, доносилась действительно глухо и красиво. Но я договариваю серьезную мысль: что для всего бедного, больного, скудного, малого, в том или ином отношении несчастного, – есть неудержимая потребность, есть великая нравственная нужда знать, всего лучше видеть или даже догадываться и верить в полное чужое какое-то счастье... «где несть печали и вздыханий».

Как для сиротливых земных людей умирающих – верить в загробную *вечную жизнь!*

Тут – мистика!

Тут – неудержимое «хочу», «верю», «уповаю».

И чем «смертнее» человек, тем «бессмертнее там, за гробом». Чем мы все, весь народ, – ограниченнее, безвластнее, беднее, – тем «тот один» должен быть безграничнее в счастье, в силе, в удачах, в богатстве, во всеобщей от него зависимости, – всего и всех.

Все желаем счастья. И не достигаем. Ну, так посмотрим на того одного, кто *«всего достиг»*, все «от рождения уже имеет», и непременно без усилий, без труда и пота, что есть страдание и удел ограниченного.

Мы бескрылы. Он – с крыльями. Тем *большими*, чем бескрылее мы.

Вот на этой мечте ли или нравственной потребности, но во всяком случае на чем-то метафизическом, в сочетании с темным и беспредельным

началом «казны», и держится вся «реальная политика России, все ее учитываемые возможности, провалы, надежды. Внутри ее, в фактах внутренней нашей жизни: ибо до «невидимого града Китежа» в Берлине, конечно, никому нет дела никакого. Никто с этим не соображается, никто с этим не считается. Но *мы-то*, русские, только с этим и можем считаться, *должны* считаться, *вынуждены* считаться. И уж лучше делать это «за совесть», чем «за страх». Ибо все равно каждый вынужден будет сосчитаться с этим, позже или раньше, «по страху» (народная воля, ярость народа за свою иллюзию, за народное – «чем мне жить»).

Воображаемая часть народной жизни так же реальна, как и действительная. Ведь и мечты – факт. Мечта-то, – ведь она *есть*?! От «мнительности» захварывают; а «вера в свое здоровье» – и *в самом деле* делает здоровым. Кому-то, приговоренному к смерти, провели кончиком мокрого платка по шее: он умер, в момент прикосновения *вообразив*, что это нож гильотины. Но и обратно: счастливая иллюзия делает действительно *счастливым*. Кто же у народа может отнять его «счастье»? Да и зачем? Кто даже больному раком говорит, что у него рак. Может быть, и *в самом деле* не рак? Или промолчим, или будем верить, что «выздоровеем». Будем, наконец, просто жить «так».

Иллюзия эта – огромный рычаг.

Сила пара. Кто же из паровика выпускает пар «на ветер»? Его надо сохранить. Им надо работать. Но надо уметь им пользоваться. Преобразовать «силу давления» во всю необозримость сложной машины; в «хозяйство», «экономия», в «казну».

Вот элементы русской «государственности». Не профессорские, а народные. И на которые ополчилась профессорская государственность: «монархия Карла Великого была устроена так-то», «а у французов и англичан – вот этак» и далее заключительное: «*а нам как быть?*».

ИСТОРИЧЕСКИЙ «ГЕНИЙ» ФРАНЦИИ

Сухая дружба на политической почве не принесет того плода, который может принести взаимное тяготение народов в целях высшей культуры. За Францией, обладательницей броненосцев и прекрасной армии, хочется вспомнить Францию Расина и Мольера, Декарта и Паскаля, «Национальной библиотеки» и «Академии надписей», Сорбонны, знаменитой старой «Политехнической школы» и «Нормальной школы»; наконец Францию Шарко и Пастера, Лагранжа, Коши и ряда других математиков, которые длинным рядом своим и великими заслугами в области математики, астрономии и физики не имеют себе равных во всей Европе.

Лишь во второй половине XIX века Англия и Германия начали уравниваться с Францией в области так называемых «точных наук», но в XVII, XVIII и первой половине XIX века Франция шла во главе всех народов во

всем, что касалось точного, по преимуществу математического, освещения тайн мироздания и земной природы.

Столько же в зависимости от голубого неба этой южной страны, как и в зависимости от кельтическо-романской крови французы всегда чуждались туманного, неясного, неосновательного в области мысли; всякой философии, приближающейся к вымыслу; всякой гипотезы с претензиями на достоверность. Француз Ламарк гораздо раньше Дарвина высказал основные его предположения, но удержался объявить, что они «объясняют мир»; «натурфилософия» немцев, эта «философия природы» без опыта и без наблюдения, построенная в мозгу теоретиков, никогда не получала во Франции ни гражданства, ни признания; так называемая «позитивная философия» Конта имела больше последователей в России, чем в самой Франции: классическая страна точных наук, она в лице лучших ученых не допускала этого нагромождения друг на друга таких не сродных, явно разграниченных наук, как математика и психология, механика и социология. Конт был французский инженер, ставший «великим философом» только для Петра Лаврова и русских студентов, но без всякого значения или с небольшим значением для Франции.

Оставим его.

Esprit* французов весь выразился в ясности, точности; в проведении везде твердых разграничительных линий; в синтезе и обобщении, который не есть смешивание, смесь, не есть куча разнородного. «Ordre», «порядок» — душа французского ума, французского управления, французских дел, французской речи и французской администрации.

Этим ясным и точным умом Франция долго светила всему человечеству, на ее писателей, на ее поэтов, на французское управление, на «вкус» и «ум», во всем этом разлитый, вся Европа долго взидала с завистью и удивлением. Кольбер также очаровывал, как Буало; Вольтер нравился одним не менее, чем Боссюэт другим: блеск как бы хорошо полированной стали, твердой и гибкой в одно время, казался недоступным для ума и вкуса, наконец, для самого языка других народов.

Французский язык стал языком всей блестящей Европы; всего, что в ней хотело не углубляться только, но блеснуть, гореть на солнце, сверкать.

Французский «вкус» покориł себе народы.

Этого фазиса культуры, который пережила вся Европа, все ее страны, от великих до маленьких, все ее дворы и высшее общество, она никогда не может забыть. Франция вошла кусочком в историю каждого народа; и, не упомянув «Франция», невозможно написать «Истории России», как и «Истории прусского двора», «Истории Бельгии», «Англии»...

Позолота Франции есть на всех народах. Старинная позолота, во многих местах уже стершаяся, полинявшая, но когда-то она ярко горела. И она драгоценна до сих пор... И по действительности, и по памяти.

Даже и до сих пор еще форма утвари, покрой платья, вид и убранство комнат, мебель имеет названия, взятые от эпох французской истории. Этого

* Ум, дух (*фр.*).

нет относительно Германии, Пруссии, Лондона. Вкус «Версаля» не то, что вкус «Манчестера»...

В более чем вековых усилиях преобразования политического и экономического строя, всего социального строя, Франция естественно несколько ослабела в этих вековых достоинствах своего духовного гения, – но будем надеяться – не навсегда. Ломка и наружное изящество несовместимы. Франция именно «ломалась» из одного строя в другой; все ее кости болели, кожа трескалась, и через нее лилась кровь. Никому это легко не достается. Но есть все основания верить, что еще через полвека, через век, когда «республиканский строй» сделается «старым добрым строем» Франции, при котором не только живут люди, но и родились при этом строе, и даже не лично только, но и в лице отцов своих, старый *esprit* Франции загорится прежним блеском.

Это будет. В это верует дружественная ей Россия.

ДРУЖБА НАРОДОВ

Несмотря на двухвековое сильнейшее влияние на нас западноевропейской образованности, – влияние это не просочилось в глубь народа, в глубь страны, задевая только верхний тоненький слой населения, «общество». Оно шло через гувернеров, через заграничные странствования родовитых аристократов, через переводные романы, стихи и популярно научные книжки, через командировки за границу будущих профессоров. Все это ложилось тоненьким слоем «общения», без массового влияния. Это было общение теоретическое, отвлеченное. Ему не доставало физики, наличности, наглядности. Оно ограничивалось «взглядом издали», не более, – чем-то бессильным и недостаточно благотворным.

«Союзы народов» – другое дело: не будучи личным делом вкуса одинокого аристократа, или одинокого профессора, или любителя литературы, они волнуют народную толпу, улицу, площадь. В деле ознакомления с чужой страной и культурой они действуют подобно «начальному обучению», которое перевешивает действие университета уже тем, что представляется мириадою школок, захватывающих все население. Не глубоко оно заходит, зато всюду распространено. Каждый, так или иначе, затронется им. Поговорит о чужой стране как «близкой», подумает о ней с «дружелюбием». И даже в случае «несочувствия союзу» найдет нужным мотивировать это несочувствие, т. е. все-таки говорить и думать о чужой стране. Но «несочувствий», естественно, бывает мало, потому что какой же для них мотив, зато масса сочувствия, охватывающего улицу, вызывает такой говор всей печати о «дружеской стране», который, поистине, равняется действию мириады начальных школ, преподавание в которых «окрашено известным образом». Франко-русский союз производит «окрашивающее действие», затрагивающее уже не аристократические дома, а всю страну, – с одной стороны, Франции на Россию и, с другой стороны, России на Францию.

Тут выступает идея мира, умиротворения человеческого, идея народного братства, во всем своем величии и гуманизирующем влиянии. Конечно, войны никогда не перестанут, – но войны всегда останутся *случаем* в жизни народов. Естественное нормальное состояние, это – мир. Это – постоянное состояние, лишь нарушаемое войною. Как «обыкновенная погода» нарушается грозой. Но «грозовой погоды», конечно, не бывает и нет ни в одной стране мира. Это было бы космическое сумасшествие, и война, как хроника, была бы сумасшествием истории. Таким образом, мир и все мирное, благоволящее, дружелюбное, это – самый центр всемирной истории и узел величайших ее идеалов. Все культурные идеалы растут именно в мире, и все они направляются к увеличению мира же. Мира – как спокойствия, доверия, уважения, как любви и любования человека на человека и народа на народ.

Но «кого выбрать» для этого, – это решает «союз». В который из возможных цветов «окраситься», – это определяет союз. Союз определяет точку прилива благоволящих, добрых сочувствий в народном сердце, – в общественном, но затем, по охвату улицы, и в народном. Вся страна широко раскрытым глазом и настроенным на добро сердцем взглянет на соседнюю «дружественную страну», опуская мелочи, останавливаясь лишь на общем, целом; на общей картине, на целом зрелище.

Из отвлеченного общения переходит в осязательное.

Эти дни приезда французских гостей в Россию, в Петербург и затем в Москву, были днями таких широко раскрытых очей России на Францию и Франции на Россию. И, конечно, много токов неувимого общения прошло между прекрасною тысячелетнею Франциею и огромною таинственною Россиею, с ее тысячею лет впереди и тысячею позади. Россия молода в культуре до детскости; в своей технике, в своих школах, во всем физическом прогрессе и устройении – она дитя. Только не дитя она в слове, в песне, в думах. И у старой Франции, так бесконечно ее опередившей в техническом прогрессе, ей есть чему поучиться, есть чем восхититься. Наконец, есть чем восхититься в ее старой науке, в ее великих sciences*, преимущественно точного, математического характера. С другой стороны, Франция первая во всей Европе, еще задолго до «союза», уловила красоту русского слова, молодые песни Руси. От Мериме до Мельхиора-де-Вогюз она познакомилась сама и затем ознакомила всю Европу с нашим прекрасным Пушкиным и далее от Пушкина – со всею литературой, до Толстого.

Эти две стороны человеческого духа, – великая техника и вообще улучшение физического состояния человека, и прекрасная песня, как некоторое утешение человека в его земном странствии, – образуют двумя сторонами своими великую цивилизацию. Пусть же обе страны, благородная Франция и великая Россия, крепко обнимутся и обнимаются еще долго в работе над этою цивилизациею, уча одна другую, помогая одна другой, заимствуя все без соперничества и зависти, с родственным чувством.

* науках (фр.).

ОПЯТЬ «ПРАЗДНИКИ»...

Православные «добродетели» торжествуют: мы распоясываемся, меняем сапоги на туфли, сюртук на халат и с большой важностью укладываемся на большой турецкий диван. «Все слава Богу! Над нами не каплет!» Устали за 1905–1906 год, и можно соснуть.

Самим... и дать другим соснуть!

Этот лозунг – «Ко сну!» – стал почему-то лозунгом наших «право-правящих» партий. «Чем сонливее, тем правее». Эта не столько человеческая, сколько тюленья логика возобладала в правых течениях Г. Совета, и, благодаря усилиям здесь, – законопроект о сокращении праздников решено «изъять из обсуждения» и «отложить» на неопределенное время.

«Поспим»... «Эй, Ванька: подай туфли барину»... «Да не забудь опра-вить пуховики для барыни». Сонное царство – православное царство. «Больше поспишь – меньше нагресишь» – бытовая поговорка.

Беру «свидетельства» об успехах своих детей, выданные гимназиею за минувший год, и читаю в них: «Первое полугодие: учебных дней 85. Второе полугодие: учебных дней 85». В нынешнем году, за первое полугодие, вследствие меньшего числа совпадений праздников с воскресеньями, учебных дней было только 83! Но беру большую цифру, 85 дней в полугодие, и нахожу цифру рабочих дней ученика за год: *сто семьдесят дней!* Т. е. ученики проводят *в праздности* более *половины года!!!*

Это ли не «цивилизация»...

В такой праздности мы такую «тройку» разгоним, что все народы задавим: «берегись, человечество, – едет Русь на турецком диване».

С малолетства, с 9 лет до 22–23 лет (окончание курса в университете), все русские *более половины года* не имеют *регулярных занятий, сидят дома, а не посещают места занятий и должного труда*: это такая воспитательная школка, что старому кабаку вровень. Наши «празднования» по своему развращающему действию на детей и подростков равняются кабаку, – и наши ученики словно проводятся через кабак!

Ибо ведь и в кабаке не один алкоголь составляет суть: суть его – в приучении народа к праздношатайству. Но в этом он совпадает «с праздниками».

«Поспим да погуляем. Потом умрем: и подымут нас ангелы в Царство небесное. Скажут: много спал, человек, мало грешил – и за то узришь Господа».

Совершенно не известная ни Евангелию, ни Библии религиозная концепция. Можно сказать, такое же национальное изобретение, как самовар. Как самовар и гармоника:

Мы пить будем,
Мы гулять будем.
Придет смерть –
Помирать будем.

Было бы в высшей степени поучительно выслушать насчет *обилия* (именно *обилия!*) праздников слова таких трудолюбцев Русской земли, как св. Дмитрий Ростовский, Тихон Задонский, Сергей Радонежский. Любопытно бы выслушать мнение о том и более новых, но авторитетных духовных отцов: митрополитов Филарета, Иннокентия и Никанора. Любили ли они столь обширное (даже до безумия!) ничегонеделание? Поощряли ли его под личиною «угождения Господу»?

Что-то сомнительно...

Из древности мы слышим *пророческое* слово: «Праздников ваших *не хочу* и жертвоприношениями вашими *гнушаюсь*... Так говорит Господь» (Исаия, I глава). Шло дело тоже об *установленных праздниках*, – *тысячелетней давности*; шло дело «о Божиих днях», – притом даже Самим Богом установленных.

«Если праздник *к разврату и вреду человеческому* – не надо его; не угоден он Богу», вот смысл пророческих слов.

В вопросе о праздниках духовенство наше не стало на должную высоту.

Ни у кого в России нет ни малейшего сомнения в том, что, выскажись оно иначе об этом предмете, выскажись только мягче, вздохни глубоким вздохом о народном, о юношеском, об отроческом безделии, – и вопрос об официальном увеличении числа рабочих дней в году прошел бы быстро по всем инстанциям законодательства, не встретив *ни с чьей стороны* препятствия, не вызвав *ни одного голоса* в защиту лишней гульбы! Кому она не надоела, кому *морально* не опротивела!!

И будь у нас перед лицом Филарет, Иннокентий или Никанор, – думается, что мы услышали бы совершенно другие речи об этом предмете, чем совершенно *случайные голоса*, теперь раздавшиеся. Настаиваю, что это *случайные голоса*, отнюдь не *голос* церкви! Какая же «святительская» или богословская ценность стоит за В. М. Сковрцовым, чиновником особых поручений при обер-прокуроре Синода?

Авторитетного голоса нет. И светские члены Г. Совета поспешили или спешат, не оглянувшись на тех, кто им подсказывает.

ГДЕ «БОЛОТО», ТАМ И «ЧЕРТИ»...

(К делу Ольги Штейн)

О деле этом гораздо более говорят, чем пишут; и больше им интересуются, чем можно судить по газетным отчетам. И не только сейчас, но и гораздо ранее, чем оно начало трактоваться в речах прокурора и защитников обеих сторон...

Около всего «сказанного» стоит много «невывказанного», и, вот, это-то и привлекает внимание, любопытство и, наконец, серьезный интерес. Тут есть даже интерес исторический. Мы читаем в летописях и древней и но-

вой истории о лицах, «ничего исключительного не представляющих», но которые сыграли исключительную роль... Они умерли. В летописи остался сухой рассказ, из которого ничего понять нельзя. «Личность ничтожная и порочная», как единственно может ухватить умом поздний историк, коему летописец оставил для «разжевывания» сухой перечень фактов, – пользовалась *в свое время*, «с живою душою и в живом теле», колоссальным влиянием на людей, несравненно более ее умных, гениальных, чистых, мужественных, героических... Пример – m-me Крюденер, без которой едва ли бы произошел «Священный союз» европейских государей, победителей Наполеона, – вот разительный пример подобного влияния. Что известно о гениальности Крюденер? Оставила ли она хоть одну замечательную мысль? Или великий поступок? «Ничего особенного»... Умерла, и все рассеялось. *Вспомнить нечем*. Да... но пока жила? Были «живое тело и живой дух»: и Александр I, даже не захотевший ее принять при первом появлении, – никак не сказал бы после 9-й, 10-й беседы с нею глаз-на-глаз: «Ничего особенного»...

Около молитв, интриг, крови, убийств и разврата византийских дворцов, около французских королей XVIII века – мы видим целую толпу «ничтожеств», пьющих, едящих, кутящих... которая смрадно и безлично умирает; но из них порою выделяется имя, *с виду* ничем решительно от этих «ничтожеств» не отделяющееся, но которое при жизни пользовалось огромным влиянием на императора или короля, – влиянием, которое, по необъяснимому характеру, хочется назвать «гипнотическим». Тут менее всего разума; полная «неосновательность»... Тут – много такого, почему жених берет в «невесту» одну определенную девушку, из ряда всех, – за нее стреляется, умирает, когда для всех, решительно, прочих она «не представляет ничего особенного», и никто за нее не только бы не «умер», но и не сделал бы шага ради нее. Я хочу сказать, что в этих связях есть что-то глубоко личное, вот как в браке: «гипнотизатор» берет в свой «гипноз» не всякого, не может взять всякого, но берет и имеет силу взять того, кто с ним вступает в какой-то «невидимый брак», «духовный брак», что ли, в глубочайше интимную связь, иногда без всего телесного, без подлинно брачной телесной связи. Мир психологии вообще совершенно не исчерпан, не зарегистрирован со стороны всех своих фактов в науке; гораздо больше, чем ученые, о нем знают романисты и поэты. Отшельники пустынь, жития святых открывают в себе бездны духовности и ее изгибов, неведомых психологии; и, с другой стороны... мир преступности и порока содержит в себе другие, нижние, части той же духовности, совершенно неведомые никому, кроме в ней «упражняющихся».

Тут – истерия.

Тут – гипноз.

Тут – степени притворства, совершеннейшие всякой действительности...

В человеке нет лица, – никакого: тогда он *совершенно натурально* и легко надевает на себя какие угодно лица, маски.

Серия лиц... И ни одного подлинного. Постоянный пафос, увлечение: и все – ложь.

Наконец, воля: неуравновешенный, вечно «падающий» человек вешается на крепкого, сильного, именно по контрасту вступившего с ним в «духовный брак», и топчет его в болоте своих пороков и безвольности. Факты, что безвольный овладевает волящим, слабый – крепким, наконец, безумец – разумным, казалось бы, совершенно невозможны по существу своему; каким образом «нет» овладевает «да»?! Но тут и получает свое место космическая мефистофелевщина: именно «нет», туман, призрак, ничтожество сваливает столпов воли, энергии, выразителей и представителей мирового «да».

Тут – туман, болото, болотные огни.

Тут – ничего разумного!

И – страшная сила!

Ведь в народе же и говорят про «наваждение», про «нечистую силу», – откуда-нибудь взялись термины. Их «так» не выдумаешь. Народ, в веках наблюдения, заметил эти необъяснимые, темные обаяния, эти «ночные чары», противоположные «дневной очевидности», где разумное охватывается безумием, порядочное и регулярное вовлекается в вихрь крутящегося порока и грязи.

Слово «разврат» решительно ничего не объясняет: мало ли молодого, красивого, что предлагает какой угодно разврат. Улицы полны им. Но почему с улицы поднимается одно, поднимается *определенное имя, один образ*, – который начинает «чаровать и волхвовать». Явно, что разврат здесь *осложняется* чем-то: и в *этом* осложнении и лежит разгадка всего. Но чем осложняется? Как? Никто не знает, кроме погибших, погубленных.

Вообразить, что Победоносцев вошел бы в первый попавшийся дом, потому что там ему предстояло бы вкусить некоторое щекочущее нервы удовольствие, – значит совершенно не иметь понятия о лице его. Он входил к покойному Полонскому. Принимал у себя для уединенных разговоров Достоевского. Но зачем он входил к Штейн? Омут... Омут, который тянет. Но мы ничего не поймем, если предположим, что тут причина лежала в коротеньком, сухом, вписуемом в протокол «удовольствии». А Пергамент? – Свежий, молодой, без старческой расслабленности?.. Если этот «омут» тянет двоих столь несродных лиц, если он тянет в себя Победоносцева и Шульца, – то уже эта гамма, это растяжение говорит о чем-то исключительном. И непременно – *не только* телесном.

«Ольга Штейн замечательно говорила»...

«Она была замечательно умна»...

Так мне приходилось выслушать в Петербурге...

Что такое «ум»? Это – не система мысли, какую найдешь во всякой книге. Живой ум, ум живого человека чарует без «системы» – какими-то недоговоренностями, обещанием, блеском догадок, каких не найдешь в «книге». «Ум» может «околдовать», будучи очень мало последовательным

и логичным. «Напечатать» мысли этого «ума», – получится чепуха: а слушающая, – заслушаешься. А «слово»? Его тайну выразил поэт, сказав:

Есть речи – значенье
Пусто иль ничтожно,
Но им без волненья
Внимать невозможно.

И в особенности это относится к «речам» женщины: тембр голоса, задушевность, интимность, – все это манит к себе, увлекает в себя, независимо от смысла речей. «Милая чепуха, без которой мы не можем обойтись». Разве Пушкин не подпадал очарованию этой «чепухи»? Не знал чар ее Гейне? Оба они были безумно увлечены какими-то «щебетуньями», которые ничего не понимали в поэзии одного и другого и даже несколько не интересовались этою поэзией. «Подруги жизни» того и другого были так далеки внутренне от сокровищ их ума и сердца, что одна из них называла своего мужа *по фамилии*, как совершенно далекого, совершенно чужого человека, а не по имени.

Все это я привожу как *пример*, без малейших аналогий с Ольгой Штейн. Аналогии не было в существе. «Омут» Ольги Штейн был совершенно другой, – опасный, грязный и черный. Но я привожу эти примеры для того, чтобы разбить то предположение, будто 1) притягивать человека может только разумное и добродетельное, притягивать гения, притягивать твердую волю, и что 2) Ольга Штейн, несомненно, начинала не с прямого действия на чувственность, но увлекала жертвы в сети своего ума, притворства, ловкости, где «натура» и «искусство», врожденные дары и их обработка, были смешаны почти гениальным образом. Опять вспомним: Победоносцев *вместе* с Шульцем.

Совместимость невероятная!

– Теперь эта шельма не ускользнет у меня...

И с этими словами судебный пристав, поднявшись в 8 часов утра, с исполнительным листом в руках, поехал описывать ее имущество. Она, разбуженная, вышла к нему в утреннем капоте, неглиже. И когда, в час дня, он уходил от нее, – он низко кланялся ей, говоря:

– Не беспокойтесь, утешьтесь, ничего не будет. Ваше имущество останется в целости, и сами вы не будете подвергнуты ни малейшей неприятности.

И затем погиб, как Пергамент, покончив самоубийством, разоренный и искалеченный в службе, в жизни, в семье.

Так мне был передан коротенький рассказ человеком, стоявшим близко к Пергаменту.

Другой человек, серьезный присяжный поверенный, мне передавал о присяжном же поверенном, что это был человек корректный, счастливый семьянин, отец нескольких детей. Но, не то что «сблизившись», а прикос-

нувшись к Ольге Штейн, – а всякое такое «прикосновение» вело и к «сближению», – он оставил любимую жену и детей, забыл долг и честь, разорился в прах, истратив до двухсот тысяч рублей, и кончил самоубийством же, несчастный и опозоренный.

Что это такое? Назвать голым образом это «развратом» – нельзя. Если это и назвать так, то нужно разуместь разврат какой-то духовный. Тут наступали пьянство души, отравы души, разврат души – прежде, чем доходило до разврата телесного.

Но кончалось и развратом телесным. Года за два до поднятия дела об Ольге Штейн, и потому вне связи с ее именно именем, ко мне приходит один из самых восторженных почитателей престарелого государственного человека и говорит:

– Поразительную новость узнал. Вообразите, у него была любовница...

Зная этого старца за влюбленного в свою жену человека, в жену молодую, властную и, действительно, красавицу, – я только рассмеялся:

– Не может быть. Сказки. Никакой нужды... Да, ведь, он под башмаком у своей жены-красавицы. Чего же ему еще нужно? Любовь, обладание любимой женщиною... Ну, и кроме того, ум и лета.

– Верно. Сын его друга рассказывал: «Отворяю я нечаянно дверь в кабинет отца и вижу – отец мой с этим старым чертом сидят, а перед ними ходит голая женщина... Я захлопнул дверь и плюнул».

Сомневаться было нельзя. Все имена были названы.

И сюда могли присоединиться цели шантажа: вдруг подобная сцена, секретно от участников, но по указанию главной виновницы, закрепляется фотографическим аппаратом. Да и не эта только сцена, а нечто большее, скрытнейшее, унизительнейшее. Мало ли что может быть «задокументировано» фотографией, письмами, записочками? Любитель «сладостей» после года «интимной дружбы» мог очутиться в полной власти, – до зареза, до петли, до пули, – в руках любой шайки шантажистов и, отдав сперва имущество за молчание, мог потом, в страхе разоблачения, покончить и с жизнью. Повторяю, об этом случае мне было рассказано вне связи с именем Штейн, и его я привожу только для примера, как делаются или как могут делаться эти черные дела. Вариантов, конечно, бесчисленное множество. Но мирному обывателю нужно показать хоть какой-нибудь пример, чтобы он мог развить его умом и воображением...

И, в конце-концов...

Все это сфера богатства, власти и «значительности». «Незначительные люди» сюда не попадают. Они не нужны. «Какой в них жир». Пауки ловят жирную муху и высасывают из нее весь сок. Мертвую шкурку бросают. Но общее условие этого?

Излишество средств, пусть даже временное, в виде «гонораров», – и незанятое время, по крайней мере, время *не регулярно* занятое, имеющее в себе свободные *промежутки*, – вот общее условие, питающее это «боло-то». Здесь разыгрывается фантазия, экстравагантные вкусы, как, с другой

стороны, в «пауках» здесь культивируются соответственные таланты, не одни физические, но и духовные. Вся атмосфера становится гниlostною, пряною и пропитанною своеобразным электричеством. В «рабочей атмосфере» ничего подобного бы не зародилось. Нет досуга. Ни таких лишних средств. Ни – самое главное – утонченных нервов, сплетенных из челюстей паука, бархатного пуха с крыла бабочки и из прозрачного крыла стрекозы, как это описывает Шекспир, – говоря о колеснице волшебницы-царицы Маб.

Процесс Ольги Штейн характерен для нашего времени, как процесс Стенель, как процесс панамцев, как страницы скрытых до времени хроник Версальского дворца и дворца Юстиниана Великого, который построил Софийский собор и около которого стояла куртизанка Феодора, – наездница в цирке и затем супруга греческого императора... Все эти вещи гораздо сложнее, чем они кажутся. «Простыми» они кажутся только тем, кто не барахтался в этом «омуте», кто видел со стороны борьбу мухи и паука: но в этой борьбе, в самом деле, проходят «тайны вечности и гроба», и они всегда любопытны. К сожалению, истинного, подлинного и подробного их изображения, с полным постижением дела, не было никогда дано. Имеем схемы и протоколы, показания полиции и усталых – врачей и судьи, которые рассматривают «очередное дело»...

БЛОНДИНЫ И БРЮНЕТЫ...

Какие разные впечатления приходят со страниц одних и тех же газетных листков... В маленькой дорожной тетрадке Пушкина, куда он заносил разные счета и проч., есть отрывок начатого стихотворения:

В славной в Муромской земле,
В Карачарове селе
Жил-был дьяк с своей дьячихой.
Под конец их жизни тихой
Бог отраду им послал:
Сына им Он даровал.

Отрывок этот, напечатанный впервые в «Отчете Императорской публичной библиотеки» за 1889 г., затерялся там и не был перепечатан ни в одном из изданий сочинений великого поэта, появившихся за последние 20 лет. Знаток Пушкина, Н. Лернер, составивший книжку «Труды и дни», т. е. подневную запись из всего того, что делал и писал Пушкин, извлек из названного выше «Отчета» этот отрывок и напоминает его любителям пушкинской поэзии, к которым принадлежит, конечно, вся Россия. Спасибо ему... Обращаясь к отрывку, удивляемся его тону... Впрочем, не обычный ли это тон Пушкина? Шутка... благодущие... и тишина... Что-то старое, без отрицания новизны; что-то в высшей степени широкое и общее, но без

упрека частному, местному, личному, особенному... Даже интерес ко всему местному и особенному, но с памятью об общем как о главном: вот наш Пушкин-море, Пушкин-гладь, отразивший землю русскую, как небеса отражают землю, воду и леса со всем, что есть на них. Опять вчитываюсь в отрывок и думаю: позвольте, позвольте, – да уж не поднял ли Пушкин ту оборвавшуюся нить «Слова о полку Игореве», еще языческой старой песни, которая была насильственно прервана распространением на Руси «греческия веры», и не есть ли «поэзия Пушкина» просто продолжение старинного народного песенного и сказочного творчества?.. Еще тех времен, когда русалки реяли в тумане рек, «лешие» заводили в лес плутающего паренька или девушку, «домовой» приводил в порядок избу мужика, Велес стерег и плодил его стада, Стрибог дул в ветрах, а Перун по временам гремел сверху строгим начальством. Неразумно, да добро зато. И под этими «добрыми богами» вырос народ наш, не очень разумный, да зато благодущный.

И по сей день мы им многим обязаны.

Русские – блондины; и «боги» у них были блондины. Волосом русы, глаза голубые. Сердце отходчивое и незлопамятное.

Из Греции пришли «брюнеты», – глаз строгий, волос черный и длинный, взгляд требовательный.

Забоялась Русь... «Эти будут строже, эти потребуют к ответу».

Попрятались народные праздники, попрятались песня, сказка и хороводы... Ну, не совсем: кое-что осталось собрать Рыбникову, Бессонову, Шейну. «Лешие» ушли глубже в лес, «русалочки» позднее стали вылетать к лунному свету...

Все стало тише и строже.

От Луки Жидяты и Серапиона до Симеона Полоцкого на целых 700 лет потянулись вирши и проповеди, и если бы мыши не съели большинства их в харатейных списках, то гимназисты наших гимназий решительно не могли бы оканчивать курса, ибо начальство, конечно, заставило бы их учить все «сии важные произведения». Так все «важно течет», что нельзя ничего пропустить. Вообще с «брюнетами» пришло ужасно много торжественной скуки, и нельзя сказать, чтобы припугнутая Русь все 700 лет не позевывала потихоньку, в кулачок...

С впечатлением от стихов Пушкина у меня смешалось известие из Саратова: «Панихиду, назначенную в соборе по скончавшейся артистке Коммиссаржевской, повелено отменить, а в Ташкент послан запрос: 1) о болезни покойной, 2) была ли она православной и 3) причащалась ли». Все по рубрикам... Запрос послан, конечно, через консисторию и деловую бумагоу в консисторию же...

Консистории переписываются о душе и жизни артистки; «допытываются»...

– Но она кричала от боли, когда умирала!..

– Не внимахом...

– Она задыхалась в черном гное!..

– Не видехом...

– Может быть, в перепуге, в смятении, когда болезнь неожиданно пошла к «хуже», и врачи растерялись, забыли пригласить священника... не забыли, а некогда было... Не было времени, минуты...

– А-а-а!..

– Ну, что же: и блудного сына отпустил Спаситель, и грешницу не осудил...

– Мы осуждахом...

– Не Он ли сказал: «Взгляните на лилии полевые, – они прекраснее Соломона в его ризах! Взгляните на птицы небесные»... Вот и Коммиссаржевская из таких птиц...

– Не подобает... Не подобает актрису сравнивать с евангельскими птицами, ибо в устах нашего Спасителя сии птицы были уже не живые птицы, а лишь к примеру сказанные, птицы словесные, яже не поют и не летают, а сидят благочестиво на одном месте... И лилии притчи – не из огорода, а прекрасные лилии словесного сравнения. И все сие, – и птицы, и лилии, – понеже нет в них живства и природы, – прекрасно и благоухает, а актриса – грех, соблазн и смятение души. Не можем и не должно... Не должно молиться о ней, разве что наведя строжайшую справку о том, исполнила ли она хотя наружно все, что требовалось.

Темные греческие лики...

Что это не случай в Саратове, – видно из того, что «в Москве запрещено духовенству служить панихиду по Коммиссаржевской в фойе Художественного театра»... Общество наше склонно видеть в этом случай, произвол местной власти и все относит к личности запретившего, а отнюдь не к *принципу*, притом *вековому*. Но почему же «случай» все клонят в эту сторону?.. «Вчера случай, сегодня случай: помилуй Бог, дайте сколько-нибудь и *разума*», – говаривал Суворов. «Разума», т. е. чего-то закономерного и связанного с целым. И мне хочется обратить внимание общества, что тут вовсе не «случай» и не «злоупотребление лица», а нечто общее, отдаленное и более грозное...

Ведь, *в чем дело?*

– Послабее характером местная власть, попокладистее, поблагодущнее, если меньше в ней формы и закона и больше личного начала, то «панихиду можно служить по Коммиссаржевской», как в былое время по «самоубийце» Лермонтове. Но как только на месте власть построже, позаконнее, поисполнительнее, наконец, просто *поревностнее*, – так «нельзя молиться об умершем грешнике». Не вообще, а вот об *актере*, – «служителе веселья и шуток», «забав и развлечения». В этом вся и суть: не в том, что «грех», а в том, что «весело». От этого служатся панихиды и молебны в очень и очень грешных местах, в местах даже зазорных, но не в *театре*, месте *изящного и счастливого веселья*. «С блудницей можно помириться и отпустить ей ее промысел, но с Гоголем, писателем *гениальных комедий, увлекательных и*

пылких, – нельзя. Это сказал о. Матвей Ржевский. Можно простить плохие, бесцветные, вялые пьесы Тредьяковскому, Сумарокову или Рафаилу Зотову, как можно было бы совершенно спокойно отслужить панихиду и по маленькой, бесталанной актрисе, без «принципа» в себе и без «призвания», у которой «игра» есть случай в жизни; но по гениальном комике или яркой актрисе, в самом таланте своем заявивших *принцип* и *упорство*, – нельзя.

В этом все дело, в этом нерв и секрет.

В саратовском и московском происшествиях не случай вовсе, а принцип, и театр – не единичное явление, а одно в целой категории *изящных удовольствий*. Наряду с хороводом, песнею, сказкою...

Как «возгремел» один духовный вития при открытии Пушкину памятника в Москве: он лишь едва прощал «грешного раба Божия Александра», упирая на «грехи» и «легкомыслие» великого поэта.

То же теперь в Саратове и Москве... То же было после смерти Лермонтова... То же у Гоголя с о. Матвеем.

Какой же это «случай» и «личный произвол»?

Темные лики Греции... Такие строгие... И такие скучные.

O statua gentilissima
Del gran Commendatore!..
Ah, Padroni...*

И светлые, белокурые, улыбающиеся «боги» старой Руси... Бывало, только пощекочут... Или поводят по лесу. Из этих старых «богов» был и наш Феб-Пушкин. И если бы они не ворошили наши сны и действительность, было бы слишком тоскливо.

С НАТУРЫ

– Бездарно, как и все в наше время...

– Что такое?

– Деньги. Представьте, отказываются брать новые «десятирублевые»...

– Брать деньги отказываются?! В России?!

– Сам несколько раз отказался – это во-первых. Но «не верил себе», пока не увидел на других. Стою у кассы гастрономического магазина Соловьева. Выкидывает барышня две этих ситцевых «тряпочки», новенькие «десятирублевые», а покупатель, возвращая их, просит обменять на другие. «Еще смешаешь», – говорит. И я, признаюсь, хотя был в университете и никогда пьян не бываю, тоже боюсь «смешать»...

– Смешать?! Деньги?! Но, ведь, там написано «10»!

* О благородная статуя великого Командора!.. О господин... (ит.)

– Даже во многих местах. Но, ведь, с извозчиком иногда рассчитываешься у фонаря; ведь, этими десятирублевыми будут платить по всей России, между прочим, и там, где нет никаких фонарей; будут платить и получать в полночь, при зажженной спичке, при лучине, в полусвете утра и вечера, мало ли когда, где и как. Иногда торопливо; ведь, всех случайностей нельзя предвидеть. Платить в толпе, в давке, платить иногда кучами бумажек. Тут наглядность, выразительность, яркость, *несмешиваемость* денег (до чего опасная вещь!) должны быть выражены так, чтобы смешать не мог даже подслеповатый, малолетний или почти выживший из ума старик. Мало ли какие случаи: деньги приходится считать всем. А вы говорите: «Ясно, ибо написано 10»... Тогда для чего же «10»-то пишут крупно?.. И в *нескольких* местах? Набирали бы «10 рублей» обыкновенным шрифтом книги.

– Чтобы видно было... Т. е. *виднее*...

– Вот то-то. Все дело в «*виднее*», а не *видно*... «Видна» строка книжного шрифта, но нельзя ею обозначать деньги, – их стоимость и разность. К тому же, ведь, какая часть народа неграмотна! Не знающая отличить «10», «5» и «3». Наши деньги берут инородцы, не знающие вовсе нашей грамоты. Старое правительство не гениальное, но «все-таки» создало почти исторический цвет бумажек: «красенькая», «зелененькая», «синенькая».

– «Красенькую» заработал.

– Получил «две синеньких»; иногда – «синицу».

Все это было понятно без названия цифры. И вдруг эта вековая «красенькая» исчезла. Просто даже исторически жаль. Читатели через несколько лет не будут понимать смысла тех страниц народных беллетристов, где попадаете слово «красенькая». А где, рассказывая о народе, не упомянешь о деньгах, и тем именем, как называет их народ. Но, главное, *сами по себе* глубоко бездарны эти деньги...

– Отчего?

– Похожи на ситцевую тряпочку. Если положить на купеческую подушку, в провинции, – то совсем не выделится на наволочке, сольется с нею. А сзади, как из старопечатной книги. Никакого определенного, одного цвета или даже преобладающего... И лиловое, и зеленое, и просто серое, и красное...

– Нет!

– Как нет, каемка... правда, узенькая.

– Старые «красенькие» оттого и упразднили, что они неприятно напоминали знаменитую «красную тряпку», которую одно время, всего на один день, с перепугу допустили... Ну, и тот красный морс, которым потом отмывали грязное пятно унижения. Теперь – розовая каемка, заметьте, – розовая, а не... крас-на-я!!!

– Да, и неопределенные цвета, «ни то ни се», «ни да ни нет», «и нашим и вашим»... Скверное время, как время неустановившейся зимы, неустановившегося лета, даже неустановившейся осени...

– И вы связываете это со скверными бумажками?

– Да, и с ними. Сколько народ *просчитается* потому, что гравер, смотря рябым глазом в мигающий глаз его превосходительства заказчика, изобразил вместо старой «красненькой», вековой и милой, что-то напоминающее хилую, вялую и нерешительную душу своего статского «превосходительства».

* * *

Важный человек от неважного в России тем отличается, что неважный живет просто, а важный живет «с канцелярией».

Делает с канцелярией, ездит с канцелярией, говорит непременно «через свою канцелярию»; и даже когда ничего не делает, то тоже «в канцелярии». Канцелярия окружает его существование, как воздух окружает существование нас всех. Без канцелярии он ничего «не может»...

На самом деле это не столько необходимость, сколько важность. Как Зевс скрывался всегда «за облаками», так русский важный человек скрывается «за своей канцелярией» – не допускает смертного посмотреть себе прямо в глаза, сказать ему прямо слово, услышать от него звук человеческого голоса, – увы, – обыкновенного голоса...

– Отнеситесь в канцелярию...

Это величественнее, грознее... «Канцелярия» есть то, через что все конкретные вещи становятся отвлеченными, из ярких превращаются в тусклые, из понятных в невразумительные... И, что особенно ужасно для смертных, – через «канцелярию» все достижимое и даже легкое становится не только трудным, но и совершенно недостижимым.

– «Подите-ка вы, ведайтесь с канцелярией», – этот вздох стоит по всей России. И отчасти – скрежет зубовой. Но совершенно бессильный.

Канцелярия имеет все свойства тугой, плотной резины. Предметы, ударяясь о нее, не издают звука. Без звука они отскакивают назад и падают к основанию стены. «Канцелярия» эластична, как резина, тянется во все стороны; не рвется; уступает давлению; но после всякого давления «опять становится на прежнее место», а давивший предмет оказывается оттесненным.

«Важного человека» вы могли бы обругать; но как он «с канцелярией», то вы его никак не можете обругать. «Канцелярия» все делает безыменным, безличным: «он *сам* – ангел, но его канцелярия – ужасна»...

А «кто» канцелярия? Правитель ее? Нет, столоначальник. Т. е. «кто же, наконец?!» – Иван Иванович 26-й.

В бешенстве, в безумии несчастный «зависимый человек» восклицает: – Иван Иванович, я вас бить буду.

У того на все готовый вид:

– Я что же, я – служащий, исполнитель. Это не от меня.

И вид до того скромный и унылый, что вам, конечно, не только не придет на ум драться с ним, но, если у вас есть залежные три рубля, вы дадите ему «на детишек».

А дело не сделано; вы погублены в деле своем, в предприятии своем, в имуществе, кой-как начавшем сколачиваться.

- Я до его превосходительства дойду.
- Его превосходительство за границей.

Или:

- На даче. Отдыхают.
- И, наконец, это последнее всегда:
- Но он уехал на заседание комитета.

А «комитет» тоже канцелярия, – высшего порядка.

И вот русские люди, трудящиеся, бьющиеся лбом об стену, потеющие десятым потом, только и видят скорбных и унылых «Иван Ивановичей», которые «ничего не могут», а «кто может», тех никогда вообще не видят, будучи отделены от них «канцелярией», где все тонет, все заглушено, голоса не слышно, стоны не слышно, зубовного скрежета не слышно.

* * *

«Доброе дело на Руси», превратившись, по свойству всех вещей XIX–XX века, во что-то отвлеченное, тоже обволоклось «канцелярией».

«Доброе дело – да, это хорошо. Но это гораздо важнее, чем полагают обыкновенные добрые люди, оно требует *канцелярии*».

Простые дела делаются без канцелярии, но как только дело поважнее, – оно обволакивается канцелярией. И, как все обволокнутое канцелярией, оно начинает в ней тонуть, перестает быть видимым и понятным.

* * *

Года четыре тому назад я поднимался на каменные ступени одной из таких канцелярий в Петербурге, на Сергиевской или Кирочной улице, – не помню. Сердце мое горело чисто литературным сухим горением, и, признаюсь, я был гневен.

Я боялся за успех дела, с которым шел, и заранее был не только раздражен, но разъярен за успех его. «Такое правое дело... Но откажут, непременно откажут. По крыльцу вижу».

В руках у меня было письмо *бабушки*. Так оно было подписано – «Бабушка». «Вам пишет 72-летняя бабушка, вдрызг разбитая горем и унижением, не о себе, а о двух своих внуках, гибели которых я не перенесу». Сама почти сумасшедшая от старости и отчаяния. Когда-то дворянка, жена чиновника, рано умершего от чахотки, чуть-чуть пописывавшего в журналах 60-х годов. Из дочерей одна – девица-учительница, 20 лет учительствует в петербургских городских училищах и дошла до того истощения нервов, что или плачет, или взвизгивает при малейшем шуме или прикосновении к плечу. «Ей, чтобы не дойти до сумасшествия, надо поехать куда-нибудь в глушь, в тишину, лучше бы всего, в монастырь. Каждый урок для нее – яд. А, между тем, этими уроками она кормит меня, бесполезную старуху, и двух племянников: девочку, 13, и мальчика, 11 лет». Поводом письма и были этот мальчик и девочка: «Вторая дочь моя захотела своего гнезда и вышла замуж. Муж же бы ничего, не дурной человек, но лишился ма-

ленького места и запил. Пьяный же, он не помнил себя, бил мою дочь, и раз ночью, в холод, выгнал ее из комнат на улицу». В результате всех этих, годами тянувшихся, историй дочь помешалась. «Зять где-то погибает в Нижнем, в притонах, дочь – в сумасшедшем доме. Но дети, особенно мальчик, прекрасных способностей». И вот я должен был выхлопотать прием их обоих, а если нельзя, то хоть одного, в среднее учебное заведение.

Все основания: тетка их всю жизнь положила на школу, на обучение городских ребят. Но «бабушка» в длинном и деловом письме изложила, что, куда она ни толкалась с указаниями на эту «тетку», везде она получила роковой ответ: «Так, ведь, – *тетка*; вот если бы она была *мать* им, то дети имели бы право на прием. А то *тетка*, что же такое, что тетка, это почти ничего».

И сколько она ни объясняла, ни плакала, что тетка эта заменяет им мать, что она больная и службы не оставляет только ради этих детей, уже теперь совсем бессильна, – резинка оставалась глуха к слезам. Мягко она отдавливала тезис возражением:

– Все-таки, не мать...

Старуха приступала с другой стороны:

– Но, ведь, они же погибнут... Уже теперь мы не покупаем булки к чаю, о молоке нечего и думать. А они – слабые. А главное: ученье! Уже 13-й и 11-й год; тихие, умные, всегда за книжкой. Если теперь их не отдать в гимназию, их вообще не придется в гимназию отдать.

Она просила о принятии хоть одного на полный казенный счет. И просила в гимназию одного филантропического общества, куда и принимались только на казенный счет.

– Если вы не принимаете во внимание, что их тетка всю жизнь учила детей, то примите их, как *сирот*... Ведь, вы принимаете сирот? Ведь, это гимназия филантропического общества, основана и существует для сирот?

– Для сирот. Но внуки ваши, сударыня, не сироты: у них есть отец и мать.

Вот этот-то пункт острым шилом и вошел мне в душу, как он был мотивом и горячности всего письма «бабушки»:

– Не сироты...

Когда мать в сумасшедшем доме? Когда отец переходит из трактира в трактир, выпрашивая пятаки на углах улиц?

– Однако же, они дышат. В них совершается кровообращение, пищеварение. И в то же время мальчик и девочка от них произошли. Нет основания принять в гимназию... поддержать... чтоб не упали.

* * *

Я гневался и гневно входил на крыльцо. Швейцар и все, что следует... Раздевальня... И

– Пожалуйста в приемную.

Но какая же это «приемная»: скорее это расширенная лакейская. Комнатка-линеечка... узенькая, в конце которой окно... И около стены диванчики, обитые клеенкой.

Никто, однако, не сидел на «диванчиках», кроме нескольких совершенно изнеможенных старух и стариков. Но, несмотря на старость и бессилие, и они что-то гневно шамкали беззубыми ртами, и с таким странным чувством – права. Стоявшие и ходившие по комнатке, вообще, толкшиеся в ней, – все зудно говорили и почти кричали:

– Третью неделю прихожу, и он не может меня принять...

– И все-то пособие 15 руб. в месяц: и не могу выхлопотать, вот шесть месяцев...

– Я полгода...

– Я год...

– Что же это такое...

* * *

Дверь отворилась, и человек тусклого вида и почти пожилых лет вошел и назвал мою фамилию. В руках его была моя визитная карточка с прописью, что я «сотрудник таких-то газет и журналов»... Я встал...

– Это вы?

И он интимно, как «свой своего», взял меня под руку... Но повел не тою дверью, где сам вошел...

– Мы пройдем ближе, через зал совета...

Т. е. пройдем в его «кабинет»... Кабинет помощника управляющего. Сам «управляющий» жил, конечно, на даче или за границей. Шел август месяц, первые числа.

Толпа «просителей», такая же буйная и не скрывавшая своего буйства, двинулась было к нам. Но «помощник управляющего» не обратил на нее никакого внимания. И открыл дверь, чрезвычайно высокую и красивую.

Вы знаете эти «двери», какой-то особой работы, и только немного не доходящие до потолка. Они всегда бывают в важнейших, парадных точках казенных учреждений. И не скрою, что я не только люблю входить в них, но и люблю просто видеть.

Тут и вкус, и сила, и достоинство.

Я вошел в обширный, удлинненный зал и обомлел. Он был полузатенен от опущенных штор. Но в те 1½ – 2 минуты, когда мы проходили между стеною и чудовищной величины столом, я успел все рассмотреть.

Прежде всего, этот стол, какой-то «государственный»: он шел во весь зал и был покрыт массивным, красивым сукном, помнится, зеленого цвета, с драгоценною шелковою бахромою «жгутами». Каждый жгутик мог бы заткнуть «дыру» в нищенском существовании, ну, хоть тех двух сирот на один день... Но странное впечатление: когда я вошел в зал, я всю свою «демократию» забыл и стал любоваться, как мальчик, как дитя, на эту дивную скатерть такого прелестного... успокаивающего цвета. И с золотом обои, и с лепкою потолок, и огромная люстра, – и особенно, особенно, хотя пустые, но какие-то значительные «в себе самих», стулья с такими высокими спинками, – говорили мне:

– Тише.

И я затих. Невольно и неодолимо.

– Вот, пожалуйста сюда.

И через одну из нескольких дверей, бывших в зале, мы вошли в кабинет. Ничего себе, но тоже хороший.

«Демократия» во мне проснулась, едва я сел. И, подавая письмо «бабушки», я сказал с волнением:

– Такое письмо, такое письмо... Такая нужда, такая нужда... Не очень красноречиво. И я вложил письмо в его руку.

– Вы все сделаете, если прочтете письмо.

Но он не читал.

Лицо его сделалось чрезвычайно ласково. «Как свой человек, совсем»... Мне было приятно. Он открыл портсигар и, предложив мне папиросу, сам закурил.

– Вы какого университета?

Оказалось, что и он, и я – мы были одинаково Московского университета. И почти одного выпуска; годы были, во всяком случае, почти одни. Все становилось приятнее и приятнее. Бабушка... она как-то странно была в моем сердце: чем больше я убеждался в близости ко мне и даже в сходстве со мною помощника управляющего, тем я яснее видел, что «дело удастся» и «бабушка будет в выигрыше»; но по мере того, как я это чувствовал, мне «вообще» становилось лучше, приятнее, мягче, и «шило в душе» как-то незаметно притупилось и стало «выдавливаться обратно», т. е. вон. И душа не болела.

– Послушайте, – сказал он совсем интимно. – Я не буду читать письма...

И потом с большим чувством:

– Сюда приходит, к нам, столько горя... Я читал такие письма, и столько... Что, знаете, я потерял всякое чувство к ним, всякую впечатлительность...

Лицо было очень интимно и безгранично устало.

– Поэтому вы лучше расскажите мне своими словами.

«Расскажите»... Но я так не красноречив. Путаюсь. Бессвязица. Я, однако, «рассказал», но весь нерв письма был выдернут. Осталась схема: две сироты, тетка, бабушка. «Сколько таких! Все такие».

Нерв, колорит и, так сказать, «лицо» письма задержались какою-то вуалью.

Устало он проговорил мне:

– Я напишу вам на визитной карточке два слова к директору этой гимназии, и если там есть места, потому что интернат там на определенное число лиц, то, конечно... О, конечно!

* * *

Я благодарил и через минуту летел к директору. Немец. Довольно старый и совсем усталый. Перед ним были тоже «просители», но едва он взглянул на карточку помощника управляющего, как отодвинул всех «просителей» куда-то в сторону и занялся только мною и моей просьбой.

Но его лицо было растерянно и бессильно.

– Так хотелось бы сделать, так хотелось бы сделать. Но, видите, действительно вакансий больше нет. Столько-то учеников сидит в классе, спертость воздуха, и было бы вопреки всем принципам школьной гигиены еще увеличивать число учеников. И в дортуарах кровати мы не можем поставить лишней, потому что кубическое содержание воздуха на человека должно быть столько-то. Вы сами образованный человек и понимаете. Совет (это в зале совета) в заботах о здоровье детей стро-жай-ше постановил, чтобы на одного ученика такого-то возраста приходилось ни-ка-к не менее столько-то кубических сажен воздуха. И потом...

– Потом?

– Все-таки закон: как хотите, – дети эти все-таки не сироты... О, знаю, знаю!.. Сочувствую. Но что вы сделаете: *закон*... коего мы только *исполнители*. Нигде не сказано о «матери в сумасшедшем доме» и отце-«алкоголике». Этого нет в законе. Сказано: «Если отец и мать *умерли*». А это другое дело: *умерли*. На это есть особенный фонд и оговорки... Но не можем же мы у круглых сирот, т. е. *без отца и матери*, отнимать...

Он не договорил. Договорил я: «чтобы дать *protégé* известного литератора».

Все так справедливо!

Но так убийственно!

Бедная «бабушка»... Ничего, ничего она не получит.

Только через полгода еще хлопот, девочку все-таки приняли, – не в *эту* гимназию, но в какое-то Семеновское училище... «На правах гимназии».

«Канцелярия»...

«ХИЩЕНИЯ» И НОВЫЙ СТРОЙ

Никогда не следует из-за «деревьев» упускать «лес», – и особенно это вредно в политике, где так же важно видеть отчетливо предметы перед глазами, как и озирая всю панораму местности и расположения и связь далеких и близких предметов и явлений. Молодой наш парламент, как и возбуждаемые им и шумящие вокруг него разговоры, устные и печатные, более и более зарываются в мелочную ежедневность, прикрепляются к «инцидентам» и треплются за каждым из таких инцидентов почти с характером бытовой и житейской сплетни. В нашей большой Думе появляются черточки, встречаются случаи, слышатся иногда речи, к тону которых печать и зрители привыкли в маленьких городских думах. И нельзя не сказать, что это явление не из приятных. Хочется и ожидается в большой Думе «державности» – как это ей совершенно прилично и совершенно принадлежит по прерогативам, ей данным, по задачам, к которым она призвана.

Счеты партий, отместка друг другу партий, наконец, – самолюбивые заявления и выкрики партий в лице их голосистых представителей, все это,

доставляя удовольствие невысокой части газетных читателей, не может не действовать довольно удручающе на всех, кто смотрит на молодой наш конституционализм с тем напряжением, какое обусловлено вековым ожиданием его. Хочется больше в нем «государствования». Стойкости, сознания достоинства своего. Хочется, чтобы в стенах Таврического дворца больше жила Россия, больше чувствовалась Россия, — ее внутренности и ее целое.

Но, без сомнения, все «инциденты» мелькнут в Лету забвения, куда им и подобает отправиться, и они не должны от нас закрывать главного. Главное Думы — не зал депутатов, откуда на всю Россию разносятся речи, и мы не уменьшаем их значения, — но все-таки главное — ее комиссии, где все вопросы рассматриваются и обсуждаются, где люди говорят более спокойно, и говорят не массе, а лицо к лицу. Это то же, что топка и машины на пароходе, в отличие от ее публики. Комиссии направлением «дел» и всех поставленных как в самой Думе, так и со стороны администрации вопросов и составляют душу конституционализма. И кто увлекается критикой думского зала и мелочей, которые там случаются, выпускает собственно главное из виду.

И общество, нервно-требовательное, и борющиеся партии, которые, осыпая упреками друг друга, не щадят и «третьей Думы», — будто бы слишком пассивной и податливой перед заявлениями администрации, — по широкому русскому размаху не удерживаются в границах и переносят критику или скорее обывательскую воркотню вообще на «новый строй», не удовлетворяющий их жадному и торопливому аппетиту к «новостям» и великим «новым событиям». Между тем стоит оглянуться несколько дальше вчерашнего дня, чтобы вполне сознать огромное значение этого строя, притом значение проникающее до подробностей управления. Каждое министерство, каждое ведомство, все директора департаментов и канцелярий целый год помнят и не могут забыть ни на один день, — что дойдет в Думе рассмотрение бюджета до параграфов, к нему относящихся, и придется в тихих комиссиях дать отчет о каждой сотне или тысяче рублей, расходовемых здесь, — причем никогда и никто не может предвидеть всех вопросов, которые будут заданы во время этого рассмотрения. Самая неопределенность и безвестность того, на какие вопросы придется отвечать, заставляет готовиться к ответу на всякие, т. е. упорядочивать и упорядочивать управление и денежную отчетность в каждой ячейке управления, в каждой его мелочи. А возможность «выноса сора из избы» самими же чиновниками, при относительной свободе печати, парализует надежду закрыть лаком щели и гнилые места департаментов и канцелярий. В общем, процесс думского рассмотрения государственного бюджета является сильнейшей вентиляцией, уносящей гнилой воздух из вековой бюрократической машины и ее глубоких подвалов, и если этого гнилого воздуха еще остается достаточно, то мы не должны забывать, сколько его было. Не можем забыть, что величайшие усилия по этой части русских государей, самые энергические их призывы и, наконец, положительные угрозы все-таки не приводили ни к

чему, кроме некоторой видимости улучшения, недолговременной и местной. Пуговицы застегивали, а красть не переставали. Эпоха Александра II, как мы знаем, дошла в этом отношении до величайшего цинизма, особенно к концу царствования. Хозяиничанье главного общества российских железных дорог, которому была отдана выстроенная на правительственные деньги Николаевская жел. дор., эпоха концессий, с одной стороны, и, с другой стороны, эпоха «совместительства», когда высокие служебные лица принимали за хороший оклад жалованья должности директоров и председателей в коммерческих, промышленных и железнодорожных предприятиях, — все это повело за собою развитие целой системы как бы насосов, приставленных к государственному хозяйству, которые перекачивали государственное и вместе народное богатство в частные карманы всероссийских «воротил». Зло сознавалось, но была какая-то рыхлость и расслабленность государства, отнимавшая у него самую волю бороться с этим злом. Наконец, эта воля пришла. В лице Государя Александра III на Престол вошла железная воля, ни перед чем не останавливающаяся, не считающаяся с лицами, не подкупная лести и угодничеству. В памятном манифесте 29 апреля 1881 г. были произнесены слова, которые, казалось бы, должны были заставить задрожать «хищения» на Руси. «Посвящая Себя великому Нашему служению, — было сказано там, — Мы призываем всех верных подданных Наших служить Нам и государству *верой и правдой*... к утверждению веры и нравственности, к доброму воспитанию детей, *к истреблению неправды и хищений*, к водворению справедливости и правды в действии учреждений, дарованных России благодетелем ее, возлюбленным Нашим Родителем». Таким образом, энергичнейший русский государь со всею силою и гневом, к которым вдохновляли его исключительные обстоятельства восшествия на Престол, — двинулся на «истребление неправды и хищений», и, конечно, у него не было недостатка и в некоторых помощниках в этом славном и давно необходимом движении. Никто и никогда не сомневался в личном идеализме, в личном бескорыстии таких людей, как гр. Д. А. Толстой и Победоносцев. Это были ближайшие к Государю лица, и, казалось, «всесильные». Но тут-то и оказалась вся разница между государством и частным хозяйством, между правительством огромной империи и домохозяином частного дома. Дом или хозяйство, конечно, может поставить «честно» глава дома, семьи и маленькой экономии. Здесь все видит свой глаз и до всего достает своя рука; посредствующих людей так мало, что они все видны, как транспарант через просвечивающую бумагу. Утаиться некуда, избежать наказания невозможно. Но совсем другое дело — государственность и государство, особенно как новый тип государств, обнимающих собою страны, и, наконец, как особенно Россия, включающая в себе шестую часть света, с сотнею народностей и со всеми степенями культуры. Здесь «свой глаз» проникает очень немного дальше стен кабинета, дома или дворца, и хорошо-хорошо, если видит еще что-нибудь и в городе. Все, кого должен был бы испугать гнев императора на «хищения и неправды», — на самом

деле нисколько не испугались этого гнева, чувствуя себя хорошо укрытыми в той сети учреждений, сквозь которую так же ничего нельзя рассмотреть, как нельзя видеть и транспаранта сквозь стопу бумаги. Обнаружилась во всей силе яркость бессилия личного начала, личного порыва, — самого великодушного, героического и, наконец, даже железно-настойчивого. Картина целого иллюстрировалась подробностями: Победоносцев не смог истребить «неправды и хищений» даже в собственных консисториях, и в ту же эпоху взяточничество процветало даже в одном из округов министерства просвещения. Все — в пору Александра III. Все, как сказано выше, застегнулись и даже многие перекрестились: но все только стали тоньше прятать паутину, обмотавшую казенный сундук. Опыт именно царствования Александра III с бессилием искоренить «хищения и неправды» не мог после японской войны, раскрывшей наши хозяйственные порядки, не привести к мысли о перемене самого *метода* борьбы с «хищениями и неправдою».

Нужно было не «ловить крыс» руками, а поставить на крыс автоматический действующую мышеловку, которая исполняет дело и ночью, в темноте, когда в доме все спят. Все делает сама, и машинно. Новый представительный строй есть, можно сказать, то же, что машинный способ книгопечатания сравнительно с «ручным способом» или с «рукописанием». Но элементарные задачи чистоплотности, порядочности в управлении, отсутствие мздоимства — решительно неосуществимы в новом государственном строе, если он построен на началах «усмотрения» и «доверия», — а не на правильном начале системы выборов от населения лиц, контролирующих, учитывающих, следящих и допрашивающих. Таковы и суть функции представительных учреждений. Государи наши получили в них то, чего им не доставало целый век, — и чего они искали другими путями, но безуспешно.

Идущие вот уже второй год всюду ревизии, — причем они коснулись и таких «заветных» уголков провинциального управления, куда раньше никогда не проникал «чужой глаз», — нельзя не связывать с новым строем, который и прямо и косвенно в подведомственных и даже в не подведомственных Думе отраслях управления всюду впускает свежий воздух «со стороны», требует чистки и ремонта и «гнилой воздух» выгоняет где насмешкой, где печатным словом, где прямо судом.

ШКОЛЬНЫЕ ТЕЧЕНИЯ НАШИХ ДНЕЙ

Отчего скучна жизнь? Между прочим, оттого, что ужасно мало нового. Бродишь-бродишь, читаешь-читаешь и видишь, что в разных книгах и в разных кружках собственно движется некоторое небольшое количество идей, чувств и желаний, ставших «общепризнанными» и «культурными». Наконец-то они победили, эти идеи. Но мне от этого не менее тошно. «Л. Н., великий старец и слава Русской земли», «Горький уял, но теперь живет на Капри», «Л. Андреев пишет новую вещь, — опять *Фауста*, в одиннадцатом переиздании»,

«правительство никуда не годно», «общество исстрадалось», «много повешенных и самоубийств», но «вероятно, все пройдет и будет новый подъем, так как русский человек есть первый человек в мире», а потому «будем страдать, но надеяться». Кроме того, в газетах постоянно появляются «новые кометы», Семен Венгеров издает Пушкина с картинками, на Востоке или на Западе грозит война, дипломаты никуда не годны, и выходит все новыми изданиями «отвратительная книга «Вехи».

И все это же и это же, куда ни пойдешь и что ни откроешь. Я ценю «Вехи» и даже писал о книге в положительном смысле, но когда сегодня увидел в газете 33-й фельетон о «Вехах», достал с полки эту книжку и буквально разбил об угол полка... Они сделались мне противны, как «Герцен, великий публицист», «Бокль, глубокомысленный писатель» и «Толстой, великий старец». Как 101-я рюмка водки или 101-я ложечка варенья...

* * *

И вот, скучая старцами, кометами и грозящими войнами, – я забрел на «старое пепелище», каковым не могу не считать для себя педагогический мирок. «Но тут избавлюсь от банального... Детский мир – до того *не наш мир*, – сама природа так отгородила его от нас непереступимую стеною неведения, неопытности, невинности, – первого взгляда на мир и на людей, – что, конечно, наши схемы сюда непреложны. Заходя в детский мир, мы как бы странствуем в отдаленные периоды еще невинной истории или в девственные страны, не затоптанные сапогом культурного человека. Отдыхаем, освежаемся и многому учимся».

И я пошел на одно из многочисленных в Петербурге «родительских собраний». Они повсюду теперь устраиваются, не только при гимназиях, но и при училищах всех степеней и ярусов; наконец, устраиваются разными общественными организациями. По идее такие собрания прекрасны: что может быть чище, благотворнее и деловитее этих встреч и собеседований педагогов, специалистов ученья, как техники, с родителями если педагогически и неопытными, то знающими зато детей во всей их «подноготной». И я пошел с большим интересом и ожиданием...

Два слова о школе наших дней, – именно о начальной и средней. Шум политики, речи в Г. Думе, «кометы» и «война» совершенно отодвинули в тыл школьный мир. Положим (по моему убеждению), ему и следует быть вечно в тени, в некотором безгласии и безвидности. Заметьте, до чего ребенок (или отрок, юноша) портится, когда о нем при нем много говорят или много им занимаются... Он начинает «ломаться» и «кобениться» – непереносимое в невинном ребенке зрелище. Итак, о школе стали мало говорить, – почти к лучшему: но все-таки, хоть полуголосом, следует заметить, что здесь, в школе, идет и уже совершается более прочное культурное завоевание, чем какое происходит у нас из борьбы партий снаружи. Уже не первый год приходится и видеть, и слышать, что тип учения радикально всюду изменился; что, начиная от низов и обнимая всю среднюю школу, выступил и

работает огромный контингент и наставников и наставниц, самозабвенно и с большим искусством отдающихся делу, – и о прежнем черством и формальном отношении к ученикам нет более ни речи, ни воспоминания. Если это даже и оазисы пока (а они-то уже несомненно есть), то это все-таки хорошая русская заря. Весь досуг детей вполне занят; ученики и ученицы вовлекаются в предметы и через 2–3 года начинают сами с энтузиазмом заниматься ими: явление неслыханное в старой школе! Учение скорее трудно, чем легко: но оно *активно* трудно, а не *пассивно тяжело*; и один этот переход учеников от пассивности в занятиях к активности кладет пропасть между прежнею школою и новою. Именно, чем страдала старая школа, – это тем, что учеников все семь лет тащили; или – гнали; но *ни к чему решительно учебному, ученическому, впору детскому и впору юношескому*, они не шли! «Сами шли» только к куренью, выпивке (изредка) и, затем, разделяясь с VI–VII класса, – или в веселые дома, или «в обновление России нашими руками, меланхолией и гением»... Из первых выходили «службисты», из вторых – революционеры. Но дальше этого и ни на какой третий путь «сами» не шли. Помню это и как ученик, и как учитель.

Слава Богу: все переменялось. Дети остаются детьми, юноши юношами: любят песни, любят игры; любят их учебный маленький спорт, без грубости и азарта. Любят свежий воздух. И при всем том много и охотно читают. И разбираются в читаемом.

Все это наскоро накидываю, потому что здесь хорошая и большая русская заря. Но вернусь к частному делу – родительским кружкам. И им вполне я сочувствую: насколько это здоровее, чем карты, флирт и гуляба по гостининому двору! Но самое сочувствие влечет к критике. И я скажу ее в тех несколько жестких тонах, к каким привык.

Прежде всего впечатление в родительских кружках не всегда бывает таким печальным, с каким, вернувшись домой, я сел на этот раз за бумагу. После резкой критики убийственного детского журнала «Задуманное Слово», с эффектными рассказами г-жи Чарской, одна из педагогичек предложила вниманию родителей доклад о выработке типа «идеального детского журнала», – так сказать, о схеме наилучшего здесь. После доклада, по обычаю, были прения. Говорили почти исключительно матери семейств, – но именно маленьких детей, так как само собрание было устроено кружком дошкольного воспитания. Таким образом, говорилось о журнале не для юношества и даже не для отрочества, – но именно о детском журнале как первой пище для чтения после обучения грамотности. «Что детям нужно? Что для них желательно?» Каждый видит, до чего в самом деле интересно, чего «родители желают своим детям». Отмечу прежде всего, что докладчице в первую голову возражала другая учительница, – именно русского языка, отринувшая вовсе нужду детского журнала, даже идеального. «Пусть будет литература детских книг; пусть дети читают книги. А журнала, ни худого, ни даже хорошего, – им вовсе не нужно». Докладчица возражала тем, что журнал объединяет чтение, возбуждает в детях разговоры и споры

об одних предметах и на одни темы; так сказать, фиксирует интерес их. Наконец, самую периодичностью своего появления, постоянством в появлении – журнал тоже приносит пользу. Книга – случайна: сегодня есть, завтра – нет; одни дети ее прочли, другие прочли совсем другую. Все это вносит беспорядок, анархию и случайность в чтение, устранить которые желательно, и журнал это устраняет.

Скажу два слова критики.

Докладчица, – жена умершего известного писателя, – сама деятельная и талантливая наставница, увлекалась, по-видимому, мыслью охватить всю душу ребенка... Едва ли, в данном случае, в ней не говорила более мать, нежели педагог; и притом мать ребенка именно дошкольного возраста. «Ни одна мысль его, ни одно душевное движение не выйдет из-под моего контроля; все, что будет происходить в его душе, должно – заметно или незаметно – но быть внушено мною. Я родила его тело, но хочу родить и его душу». Мне кажется, таков был невысказанный мотив, вдохновлявший докладчицу. Хочется, однако, ей сказать следующее: да, мать родила ребенка. Но он – не кусок ее существа, а новая тварь, новое создание, пришедшее в мир с новым лицом. Школа не только не может, но, наконец, и не должна быть всеохватывающею. Некоторые уголки души и вообще существа ребенка, некоторые частицы ребенка будут развиваться и должны развиваться, и не «по матери», и не «по отцу», а *по себе*, как оригинальные и самостоятельные. И, собственно, они ценнее черт, «противоречащих» родителей, – просто как новые: ведь история есть *творчество*. Школа, положим «идеальная», или чтение – тоже «идеальное» – тогда только будут *в самом деле*, а не по-видимому лишь, идеальными, если они преднамеренно и сознательно оставят некоторые частицы души ребенка «дикими», как бы «запущенный старый сад»; очень немногие частицы, соглашаюсь, но все-таки, чтобы они *были*, чтобы они остались не *зачерпнутыми* «универсальной педагогикой»... Нужно, чтобы другие стороны ребенка слагались благородно и рассудительно, – дабы эти «дикие», растя с ними в гармонии, не выросли в бурьян и порок, не выросли в прямой и решительный вред ему и обществу. Но *доля* (не более, чем *доля*) воображения, фантазии, мыслей, вкусов пусть растет совершенно в тени, без контроля даже и родителей. Журнал своей схемой, своим «готовеньким», – своим «предложением» раньше «спроса» и, наконец, «все-сторонне обдуманною программой» (особенно ею!) не может не задавить в ребенке очень рано всякой оригинальности, «своего лица»; задавить очень мягко, бархатистою лапою – но все-таки задавить. Ведь даже и взрослые с трудом одолевают влияние журнала; с трудом сохраняют «свой образ мыслей», свое оригинальное, характерное в чувствах, мыслях, пожеланиях. Даже больших, образованных людей, «граждан» журнал и газета *обезличивают*. Чего же вы хотите от ребенка?! какого сопротивления? А задавить *лицо* в ребенке, так *рано задавить* в человеке лицо – не будет ли это ужасом? Мне представляется так.

ЗАГАДКИ РУССКОЙ ПРОВОКАЦИИ

Очерк

I

Пройдут десятки лет, прежде чем будет разгадано существо, мотивы и все узелки и ниточки русской провокации... Да и то, раскроются ли они *все* окончательно, – Бог весть. Дело, очевидно, хорошо «законспирировано», как выражаются революционеры, но «законспирировано» против них. Выражение г-жи Жученко, что Зубатов остановил ее в желании служить «агентом полиции» словами: «Этому нужно учиться *много лет*», – многозначительно и со временем могло бы послужить хорошим эпиграфом в книге о провокации. Оно вводит в дело или, лучше сказать, развеивается флагом над делом. «Наука многих лет»... Действительно, нельзя не поразиться, что, ведь, о роли Азефа, о «существовании Азефа» в подполье русской политической машины никому даже на ум не приходило до разоблачений Бурцева–Лопухина... Таким образом, молчаливость знающих лиц или, еще правдоподобнее, крайняя ограниченность числа их – чрезвычайна. Знают два-три человека в России, самое большее – десять лиц... Может быть, *самое важное* знает всего один человек. И этим хранится тайна.

Из слов В. М. Дорошевича о провокации, помещенных в одном из недавних фельетонов «Русского Слова», нельзя не обратить внимание на замечание, что пора оставить деланную наивность, пора оставить вопли: «Как правительство могло допустить это». После 1 марта правительство допустило «все» с естественностью защищающегося и смертельно испуганного человека. В страхе все делается. А тут был смертный страх, дивившийся лично, и притом *десяtkи лет*... Возникла судорога. Возникло невероятное ожесточение. То ожесточение, которое не рассуждает, а казнит, которое не сражается, а грызет. Скажут: «Это – не политика, не мудрость». Конечно, но, ведь, и вся революция, и контрреволюция есть немало и ни в каком случае не «политика», о благоразумии здесь нечего и говорить. Она вся сплетена из ярости, из крови, из такого напряжения нервов и омута страстей, в котором «рассудочность» допускается только в качестве хитрости, лукавства, изворотливости...

Какая там «мудрость»... В преступлении – не до нее. А вся эта область, с одной и с другой стороны, сплетена из преступности.

Но общество и печать наша должны, в одном отношении, «научиться уму-разуму» через это дело и все сплетение этих дел. Именно – выйти из наивной археологии представлений о нашей государственности через призму Грибоедова, Гоголя, Щедрина. Колоссальные, яркие образы этих художников захватили нашу мысль, вселились в нас убеждением и установили точку зрения на все «русские дела»...

«Велика Федора – да дура». Это – о России.

«Ну, что они там, департаментские крысы. Своровал кусок сала – и убежал. Мыши в казенном погребе, грызущие казенное имущество. Несчастливая Россия».

«Недоросли».

«Все те же Скалозубы... Сквозники-Дмухановские».

В «Былом», в воспоминаниях революционеров и близких к революции лиц, сплошь веет взгляд, что «правительство» – это такое «дубье», такая сплошь «дубовая стена», что ее ничем не прошибешь... Везде у революционеров просвечивает мысль о высокой «разумности» своей и о тупости, ограниченности, формализме и черствости «чиновников», т. е. правительства. История «побегов» картинна «глупостью сторожащих» и необыкновенным умом, тонкостью и сообразительностью убегающих...

«Все там, у них, – Мертвые души... Фамусовы и Скалозубы»...

Чацкие преодолевали Фамусовых: вот, казалось, где заключен идеальный центр революции.

Только в передаче истории Дегаева, в *resumé* передатчика, я прочел мысль, но оставшуюся без дальнейшего применения: «В истории этой замечательна и любопытна не личность революционера Дегаева, человека неуравновешенного, без нравственных устоев, но, однако, совершенно обыкновенного, а личность Судейкина, с его темными замыслами»... Указывалось на замыслы его против министра внутренних дел графа Д. А. Толстого.

Очевидно было, что это уже не «Фамусов» или «Скалозуб», а что-то другое. Но что же именно, – этот вопрос остался для революционеров невыясненным, и они даже никогда усиленно не думали над ним.

«Негодяй, слуга правительства!»

«Чудовище, преступник!»

Но это – клички, а не «дознание дела», это – брань на улице, а не «судебное следствие». Революционеры никогда не умели произвести «судебного следствия» во всех его подробностях, со всею его инквизицией, со всем его нюхом, «следопытством», над враждебным лагерем. А не произведя его, – бесстрастно не произведя, – естественно, и не знали враждебного лагеря. Они знали мундир его, а не знали его души. О «душе» они были уверены: «Это все та же дура Федора... Типы из Щедрина, Гоголя и Грибоедова».

И вот им показала «дура Федора», – где «раки зимуют». Оказалось совершенно обратное тому, что вообще представляла себе печать и представляло себе общество о правительстве. С раскрытием дела Азефа полетели всюду известия из России:

«Это так темно, это так черно, как не бывало и в Венеции в мрачные средневековые времена... Это что-то дьявольское, демоническое».

Идиллия русской истории кончилась. Это нужно хорошо взвесить, понять и оценить. Россия вовсе не страна «наивных простачков» и беспредельного «благодушия», как ее рисовали патриоты и не патриоты, русские и иностранцы... Вовсе это не «генералы, закусывающие водку пятирублевой икрой» и проч., как, по памяти Щедрина и Гоголя, рисовали себе публицисты.

Весь ум русских, «себе на уме» русских, вся их способность к огромному обману под личиною благодушия, способность к многолетнему притворству, к спокойной игре среди огромного азарта, наконец, их закаленная в «рабской истории» имморальность, – все это выступило вперед и сплело чудовищный узор «провокации». «Поскобли русского – и увидишь татарина», – сказал, кажется, Наполеон. Но эту мысль можно прочесть и в обратном порядке: «Возьмите монгола, жестокого и хитрого, и отточите ум его всем просвещением Запада – и вы получите русского».

Ум, душа – циничны; способности, средства – изощренны.

Из этого-то аромата и вышел цветок провокации.

* * *

Два слова о Бурцеве... Я никогда не видал его... Но, по всем его действиям, по линии их, по тому «итогу», какой получается из его разоблачений, невольно давно я начал думать, что уж если кому «люба его деятельность» – то, конечно... зданию у Биржевого моста. Мне представляется, что «провокация» наша имеет два этажа. Нижний – физический, и он выведен до конца, исполнил свою роль и разрушается сейчас, как ненужный. Бурцев «ликвидирует» нижний этаж, предположенный на слом самим правительством или, лучше, теми одним-двумя человеками, которые «знают все». Он приканчивает физическую провокацию. Ну, *отчего он не ловил раньше провокаторов*, а изобличает их сейчас?! Не было средств, улик?! Для него-то, Бурцева?..

Но когда террористы все перевешаны, сосланы, когда остались «мародеры» и «хлам», с которыми можно управиться и обыкновенными средствами, – «чрезвычайное поручительство» провокации окончилось. «Чиновник особых поручений исполнил свое дело», и его можно – в отставку... «Отставка» ненужного больше слуги и совершается через посредство Бурцева. Он ликвидирует (полицейско-политический термин) физическую провокацию и провокаторов, – всесветно, громко.

Этим он возводит второй этаж провокации – духовный, главный. Смысл ее, – вообще весь и общий, – это *победить революцию*. «Кампания кончается» не выигрышем отдельных сражений, а когда «враждебное правительство почувствует и сознает полное поражение свое, отзовет назад войска и попросит мира». Вот что кончает дело. Поэтому аресты, казни, ссылки Гершуни, Фигнер, Брешковской и прочих были «стычками войск» без всякого определенного *исторического* результата. «Славна победа, много убитых, но враг – стоит». Вот – самая *идея* революции, *надежда* революции. Самый страшный враг, это – *идеализм* ее, *энтузиазм* к ней общества, высылающего все новых и новых сынов на жертву. Центральный удар – *прорыв идеализма*.

Какой?

Адский!

Здесь все – ад, нервы, чудовищное Монако; здесь ничего нет «в обычных размерах». На «белое каленье» революции и революционеров надо было плеснуть такой черной грязью, такой разъедающей кислотой, чтобы оно распалось в хрупкий песок всем составом, всем существом своим, *материалом* своим.

Нужно было России и обществу, надо было «идеальным молодым людям» показать, куда они идут, в чью берлогу, когда запевают революционные песенки, тянут старинную «Дубинушку», забываются «за Писаревым и Некрасовым» и, вообще, когда думают об «обновлении России», и притом «совсем на новых началах».

– Ваши учителя, руководители, кому вы верили и верите, с кем вы идете на правительство, – тайно передают ему вас... передают на виселицу и каторгу.

– В революции есть две линии: юношей, идущих на казни, и старших, которые всем руководят, указывают места, дают оружие в руки. Дети и отцы. Суть не в детях, они – энтузиасты. Суть в *отцах*, – но они-то и есть *Иуды*.

– Вы отдавались веяниям радикального лагеря общества: но именно *оттуда* я беру своих агентов.

Для юноши, «идеально настроенного», ничего нет унижительнее полиции. Именно этим специфическим полицейским ядом и решено было облить революцию. «Пусть разит», «пусть голова закружится».

«Христа» революции решено было победить «Иудою» от нее же... Но именно от нее, и еще лучше: распахнуть одежды Христа и показать под ними Иуду.

– Пусть шарахнутся в сторону. Пусть очумеют от ужаса. Вот когда из его «тела» посыплются трупные черви, тогда не будут больше целовать его. Христопоклонничества не будет, когда оно обернется в иудопоклонничество.

Мысль ясная. И, конечно, только она приканчивала революцию. Не казни, не ссылки, не аресты, не «изъятие единиц», а этот «шах и мат *идее*».

«Нечему служить. Нечему более. Все – *обман*».

Тогда и не станут служить.

То есть революция естественно умрет. Как засыхает дерево. Как плесневет и сгнивает комнатный цветок.

Вот этот-то «духовный свод» над провокацией, «коронку» ее, мне кажется, и делает Бурцев. Что он ее делает – бесспорно. Именно так все оборачивается. Что он ужасающе вредит революции, губит ее, – об этом говорили революционеры в Париже еще при первых его обвинениях в фазис азефовщины. Но Азеф – деятель почти международного характера, а не представитель русского общества. «Шах и мат» получался при набрасывании тени на само русское общество, радикальное общество, ультралиберальное общество, говорящее, пишущее, живущее. Бурцев не обвинил какого-то «члена Государственного Совета», которого он обещал обвинять это лето, а взял жертву совсем в другой среде – в земстве, в общественных кругах Москвы.

Поверить, что все «обернулось так» само собой, безотчетно, без чьего-либо намерения, – трудно. Все это дело, от «аза» до «фиты», слишком намеренно, сознательно, слишком расчетливо. Да и то странно: отчего Бурцев кричит на весь свет? Почему он не докладывает Центральному Комитету потаенно, конспиративно, дабы он «ликвидировал» предателя, но не разрушая самой идеи. Удар в идею – слишком очевиден.

«Разочарование в революции»...

Все мельчайшие детали, не только фактические, но и психологические, бытовые, – в высшей степени важны, когда идет дело о таком неразгаданном и чудовищном деле, как русская провокация. Борьба тигра со змеєю... Каждый укус, каждый извив, всякий вопль – все здесь важно и важно.

II

Фамилию «Серебряковых» я постоянно слыхал, бывая в Москве, в одной мне близкой семье, пошедшей по крайнему левому уклону. Судьба ее не была счастлива. Два старших сына, отлично учившиеся в университете, «стечением обстоятельств» переведены были на «нелегальное положение» и, не окончив курса, разбились в биографии. Молодые люди, без будущности, без заработка (кроме случайного) и без пристанища... Прочие удержались от «нелегалщины», но, однако, все очень левого направления, уже по связи с братьями и, может быть, в отместку за братьев. Но мне всегда было легко и приятно было бывать в этой семье: при некоторой наивности и неосведомленности, при некоторой несообразительности, при полном отсутствии психологичности, – веяло в ней чем-то здоровым, чистым, безукоризненно добросовестным во взглядах на вещи, на людей, на общество, на Россию. «Ах, если бы побольше ума и тонкости: что за люди бы вышли из них». Но безграничная безыскусственность и натуральность мешали образоваться этому «тонкому и умному». Они все были точно дети до грехопадения... Но все учились отлично и были очень способны обыкновенною формою человеческих способностей. Там-то услышал я песенку, которую пела затрудившаяся девушка, страдавшая переутомлением, неврастением и малокровием. Она пила железо, и ей впрыскивали мышьяк, но не о себе была ее песенка:

Россия, Россия,
Бедная моя.
Россия, Россия,
Как жаль мне тебя.

Я думал – она улыбается. Телеграфистка с 70-рублевым жалованьем убивается, как Ярославна по пленном Игоре, по стране с 140 миллионами населения! И в этом смысле я заговорил с нею. Она ответила так прямо, как всегда привыкла говорить:

– Ну, что же. Конечно, несчастная. Разве с Гурко и Лидвалем можно быть счастливой?

Я заговорил о ее положении:

– Надоели эти дежурства по ночам: работа круглые сутки. Зато я потом целый день сплю.

– И потом?

– И потом? – Ничего... В смысле «лучше» – ничего. Кроме одного...

– Чего?

– «Пролетарии всех стран – соединяйтесь».

И она рассмеялась. Но она была так очаровательна в молодости своей, в ясности своей, что ее любили и совершенно «правительственные» служащие: «Вы у нас – крамольница, но мы любим вас. Бог с вами».

Есть или бывает эта простота и доброта на службе.

Кавказские «думцы», Рамишвили и Церетели, были оба домашними приятелями ихнего дома. В «тревожное время» она носила им в Бутырскую тюрьму «что полагается», сборные пожертвования:

– Бывало, иду к его камере, а он, издали завидев меня, запевает песенку:

Коль она меня не любит,
На река-Кура пойду.

Дальше строки не помню, и заключительное:

И как рыбка поплыву.

Т. е. «утоплюсь, если не полюбит». Конечно, – все в шутку. Девушка эта, как и вся их семья, была чистейшей нравственности и стыдливости.

– Отличный народ. Особенно Рамишвили, такой серьезный всегда. К нам приходили оба они в те сумасшедшие дни. Обед был невесел, да они много и не спрашивали. Насмотрелась тогда ихнего народа.

– Каковы же?

– Молодец молодца лучше.

И она засмеялась добрым, приветливым смехом, в котором все было – юность и невинность.

Близость к хорошему человеку дороже капитала, и совершенно понятно, что эти люди года четыре тому назад «сбивались в кучу», полуголодную и веселую. Жизнь ведь не в деньгах. Жизнь – в жизни. «Пока светит солнышко – и ладно». «Стемнеет – зажжем свечи». «Заморозит – согреемся в толкотне».

Ни в чем не соглашаясь, ни политически, ни каковски, я отдыхал в семье этой и физически, и морально. «Воздух легкий»... Делиться, рассуждать, спорить было невозможно, но смотреть, видеть, слушать – одно удовольствие.

«Живут, яко трава»... И солнце. И воздух деревни. Леском пахнет. Совершенно как лесные ландыши: красивые, чистые, невинные, маленькие.

Когда стали печатать о «Серебряковых», я вспомнил мои московские побывки. Мне показалось, что «Серебряковы» – даже родственники им. Желая знать дело «прямо из источника», я написал и запросил эту девушку

и ее брата (легального). Приведу их ответы; они важны как дробь освещения дела с житейской, с бытовой стороны:

«Самый важный вопрос, – ответила мне девушка, – в данный момент в нашей жизни – это история с Серебряковыми. Однако ты ошибаешься, назвав их нашими родственниками. Серебряковы – это наши знакомые, но одни из самых первых, с которыми мы познакомились, переехав в Москву. Конечно, ты много слыхал от нас о них. Сам Серебряков – земский служащий, но теперь в отставке. Анна Егор., его жена, – дама из высшего круга, очень образованная и умная. У них трое детей, – одна дочь и два сына – товарищи моих братьев. Один из них, Борис, почти у нас вырос. Мы до сих пор еще не верим этим газетным сообщениям. Зорко следим за всеми известиями, но этого еще мало, чтобы обвинить человека в провокаторстве. Известие в «Русском Слове» ты, конечно, прочел. В «Русских Ведомостях» пока были только перепечатки. Спасибо за присланный номер «Речи» о том же, и, если будут еще сообщения в петербургских газетах, – вышли. Мы собираем все сведения. Я написала брату в Париж и просила его прислать вырезки из парижских газет. Там, наверное, будет все подробно, так как все разоблачилось в Париже.

Все мы прямо опешили от этого извещения. Узнали мы у них же об этом. Пошли к ним в гости в воскресенье, а сын Борис встречает нас словами: «Вы читали, какая ложь в «Русск. Слове»? Все нам рассказал и просил не говорить матери. Так как она сама читать не может, то они от нее все скрыли. Конечно, дети ничего не знали и они совершенно невиновны. Вся эта история один ужас, если это правда. Может, это провокаторство со стороны полиции? Нужно еще подождать и собрать все сведения. Обвинить же зря в провокаторстве человека – ужасно. Нам всем и всем знакомым страшно и больно: быть столько времени в близких отношениях с людьми и узнать такой ужас! Страшно жалко детей, особенно Бориса. Как могла она обманывать собственных детей в течение 24 лет? Как могла она быть с нами в таких хороших отношениях, если это правда? Всех нас по виду она страшно любила и была как родная мать. Нет, это такой ужас, так больно, так обидно! После этого вечера мы никто туда больше не ходили, Борис к нам не идет, и что там творится – не знаю. Теперь у меня явилось так много разных сомнений. Может, все несчастья нашего дома (т. е. с нелегальными братьями) зависели от нее. Вот увидим. Теперь все разоблачится, все будет в газетах, и от знакомых много узнаем. Первым сообщил все это один господин, который приехал из Парижа. В земстве очень много говорят об этом. Говорят, будто на земском собрании было заявлено во всеуслышание, что сам Серебряков провокатор, что он помогал своей жене и выдавал земских служащих. Говорят, что благодаря ему было много провалов. Сам же он поместил в «Русск. Слове» письмо, которое служит опровержением парижских сообщений. Но опять-таки земцы говорят, что все письмо его есть сплошная ложь. Вид у него страшно убитый. Ужасно, если это все неправда, так как обвинить человека в провокаторстве – все равно что казнить

медленной казнью. Еще хуже, если это правда. Тогда, конечно, слава Богу, что все раскрылось. Сколько бы еще могло погибнуть народу... Как они теперь будут, не знаю. Если это правда, то им придется скрыться. Детям же необходимо порвать с ними всякие сношения. Мне только одно казалось подозрительно, почему они от всех отклонились за последнее время. Как говорят газеты, она служила в охранном отделении 24 года и только последние года три ушла. Верно, что за последние три года жизнь в их доме сильно изменилась. Жить они стали много скромнее. Вся жизнь ее в газетах описана верно. Все занятия – это все так. Правда, за последнее время Бурцев много всего открыл, и пока все верно. Очень уж ему верят. Может, и здесь придется поверить. Вот проживем – посмотрим. Мы все в каком-то дурмане от этой истории».

Да, предательство «как бы родной матери» – это такой *бытовой, житейский* ужас, – какой еще не тряс доселе русской земли.

Вот письмо ко мне брата этой девушки, живущего в другом городе. Мне хотелось получить рассказ от разных лиц:

«Сестра мне пишет, что в московских газетах было напечатано несколько статей, обличающих Ан. Е. Серебрякову в провокаторстве, а равно и ее мужа, Павла Алексеевича, служившего в 1909 году в губернской земской управе (по страховому отделу). Говорят, будто он ей способствовал. Сестра говорит, что она, Сережа и Ваня (братья ее) опешили, но должны признать это как факт совершившийся, так как они верят в авторитет Бурцева, который первый и поднял это дело в Париже. Газетные сообщения ты знаешь лучше меня, я же могу сообщить только свое мнение и ответить на твои вопросы. Серебряковы не приходится нам никакими родственниками, а лишь только знакомыми, вначале – Константину и Петру (нелегальным), а потом, спустя время – и нам остальным. С 1896 года у Анны Сергеевны уже были «субботы», на которых бывали причастные к политике люди, соц.-дем. по преимуществу. На этой-то почве и познакомился с нею (Ан. Ег.) первый из нас, Константин, впоследствии втянувший туда семью будущей жены своей, – или наоборот, не ручаюсь. Но понятно мне, что квартира Анны Егоровны была известна всей Москве, – именно как квартира, удобная для собрания... «сходок». Константин и Петр, будучи под надзором, всегда находили себе спокойный ночлег в этой квартире. Я помню, сколько раз ни бывал у Серебряковых, всегда находил трех-четыре человека незнакомых. С достоверностью скажу, что у соц.-демократов квартира Серебряковых пользовалась такой популярностью, что обычно приезжие в Москву попадали непосредственно из вагона прямо в нее.

Ни одного ареста, и один только без всяких последствий обыск, несомненно, тянули в квартиру Анны Егоровны подобную публику. Все квартиры Серебряковой всем бросались в глаза своей уютной обстановкой в уютной части города. Сначала, в 90-х годах, она снимала квартиру в доме «Мишке», по Смоленскому бульвару, потом во Власьевском переулке, на Арбате, и последнее время в Полуэктовском пер., в д. Нем-

чиновой. Самовар не сходил со стола; помню, еще будучи гимназистом, я ел у Ан. Ег. Очень тогда понравившееся мне пирожное, да и сама она – гостеприимная, хотя и некрасивая с лица, – мне тогда очень понравилась. Несомненно, в доме Серебряковых хозяйном была всегда Анна Егоровна (только с прошлого года, когда она потеряла зрение, хозяйничал Борис, сын ее младший, студент Петровской академии); и голос, и поступь – все у нее мужское, и в гости приходили к ней, а не к ее мужу. Говорили, что она зарабатывает больше своего мужа переводами с французского. Я знаю, что Анна Егор. из аристократической семьи и, выходя замуж за Павла Ал., совсем разошлась со своими родными. Насколько подвижна Ан. Ег., – обратно ей, очень флегматичен П. А. (ее муж). Вся семья Серебряковых очень неудачна, и нет схожих характеров ни у одного. Несчастные Борис и Гавриил (юрист-пьяница, но очень душевный человек) оба не решились прочесть вслух своей слепой матери газетную вырезку, где она обличалась в «искариотстве». Сестра пишет, что она и братья не будут больше ходить к Серебряковым, и жалеет поистине несчастных ее сыновей; она ждет, когда Борис придет сам. Когда месяца два назад я был в Москве, то в день приезда пошел к Серебряковым; Лиза (сестра) сидела в нарядном платье, обнявшись с А. Е. Серебряковой на одном диване. Бедная Лиза: это ей еще больнее, чем мне. Она всегда чистосердечно относилась к Серебряковой. Блаженны чистые сердцем, ибо, кроме геенны, они Бога узрят».

* * *

Провокаторов в больших рангах, конечно, немного: так как в таком, например, положении, как описанное у Серебряковой, провокатор, естественно, узнает все нужное, все происходящее и замышляемое в данном городе. «Заяц не пробежит в поле», чтобы охотник не заметил. Все пути перекрещиваются в его доме, все дороги ведут в его дом. Установление *безопасности* в этом доме для конспирантов, и вместе *враждебности* его полиции, т. е. дружелюбия для революции, – не представляло для полицейской техники никакой трудности. Дутый обыск, фальшивый арест – и личность его хозяина «свята» в глазах юных и даже опытных.

Немногочисленность провокаторов обуславливает возможность очень высокой платы им. Психологическая личность провокатора, его совесть, его сердце, остаются большою загадкою. Но что мы знаем, вообще, о человеческих личностях? Они шаблонны. Вне этих шаблонов – «человека доброго и умного» или «злого и глупого» и их комбинаций есть, конечно, целая серия личностей с *изгибами*, почти неисследимыми, которых не коснулась история и не коснулся даже роман. Разве нет атрофии чувства, как есть бесспорно атрофия воли? Может быть совершенно атрофирована жалость при сохранении внешних форм ласковости, приветливости, внешней заботы о человеке, о соседе, о ближнем. Под видом «русской распушенности» может скрываться зоркий наблюдательный глаз. П. Б. Струве печатно рас-

сказывал о том, как целому кругу образованных людей и писателей не могло прийти на ум заподозрить присутствие среди них провокатора, потому что этот залезший к ним провокатор «был феноменально глуп». Это собственное выражение Струве. Нужно заметить, что провокатор не «сам себя сочинил», не сам избрал себе должность, а его «сочинила» и втолкнула в среду писателей полиция; спрашивается, *для чего же* полиции было ставить на это место, непременно, умного человека, когда он играл только роль ушей и глаз (донос), когда его дело было только *видеть, слушать и запоминать*. Эту физическую службу «совершенный дурак» мог сделать так же исполнительно, так же старательно и успешно, как и первый умница: но самая глупость служила ему превосходным покровом, и она «провела» таких умников, как Струве. Говоря же сложнее, полиция оказалась гораздо расчетливее, дальновиднее и хитрее, чем думавшие победить ее интеллигенты-журналисты. Полиция, очевидно, пользуется разными родами личностей для разных видов службы: и слова Зубатова, что такой службе «нужно выучиваться много лет», заслуживают самого большого внимания. Но наряду с пользованием «дураками» пользуются, очевидно, и способностями к страстной и опасной игре.

Есть «искусство для искусства» не в одном искусстве, но и в жизни; есть оно и в полиции, и в сыске. В самых затаенных частях и в самых верхних слоях сыск представляется мне некоторым духовным Монако, страстной, опасной и *затягивающей* игрою, где звон золота дает только первое опьянение, за которым выступают другие, более опьяняющие вещи. Азарт, ловкость, потаенность, двойная и тройная игра, ласкание жертвы, близость, осязательная близость к жертве, дружба с нею, многолетняя дружба, – все эти инстинкты, наблюдаемые у женщин, наблюдаемые у кошки, играющей с мышью, вполне возможны и в человеке. Дарвин же учил, что человек *завершил* собою животный мир и естественно атавистично несет в себе все и всякие его инстинкты. Есть инстинкт коровы или неуклюжего многокопытного, и есть инстинкт крадущегося в лозьях тигра. Все есть. И все это далеко не рассмотрено наукою. В Монако текут из разных стран всякие личности. Полиция также не отталкивает от себя ни поляка, ни еврея, и вообще это есть довольно «космополитический институт» высокой «европейской марки». Сюда сходятся на великую игру, кровавую игру, люди политического азарта, для которых «черное и белое», «доброе и жестокое», «честное и бесчестное» – не имеют большого значения, как и перед столом ловкого крупье, который разбрасывает лопаткою золото и кредитные билеты в разные стороны. Говорить обо всем этом и понимать все это так же трудно, как в мирной семье за чайным столом трудно войти в психику людей, проигрывающих состояние в Монте-Карло и затем пускающих пулю в лоб.

– Зачем? Зачем? Когда он был уже богат?!!

Бог знает «зачем». В крови был уголок такой, который жег, жег, – и залить его было ничем нельзя. Уголок этот древний, – еще от тех пор, когда Адам и Ева впервые вышли из Рая, вкусивши от Древа «познания добра и зла».

НА РОДИТЕЛЬСКОМ СОБРАНИИ

...На тему о «наилучшем детском журнале» вступили в прения родительницы... «Что нужно в журнале?» «Какие рубрики?» «Как их повести?...»

– Как излагать естествознание, историю? В каком объеме? Каким языком?

– Как излагать астрономию? «Дети необыкновенно интересуются звездами...»

– Также и кометой Галлея. «Все говорят...»

– Допустимы ли статьи о жизни и о смерти. «Дети постоянно задают вопрос о смерти...»

– Нужен ли «Почтовый ящик»? – «Нужен. Он живо занимает всех». – «Нет, не нужен: потому что один мальчик получит на свое письмо *ответ*, а другой не получит; он *обидится*, а это – ужас...»

– Но позвольте: теперь Г. Дума. Он слышит дома разговоры о Г. Думе, – о том, что говорят там. Должен ли в идеальный детский журнал быть введен политический отдел?

– Да, но до известного предела.

– Чем же вы ограничите его?

– Мне кажется, политического отдела не надо вводить, – сказала сдержанно учительница-докладчица.

– Значит, ребенок не будет понимать окружающего? Такого окружающего, от которого все зависит, зависит жизнь его родителей, жизнь его дома?

– Надо вести.

– Нет, и по моему мнению, политического отдела в детский журнал не надо вводить, – сказала одна родительница.

Но она была одна.

– Странно не знакомить с политическими партиями: мальчик или девочка слышат дома названия всех партий: *кадетская партия, октябристы*, слышат даже *эс-деки и эс-эры*. Можно ли допустить, чтобы дети не понимали значения слов, которые они слышат?!

– Нельзя с детьми жить *неправдивыми*: *скрывать* от них, что есть *политический мир*, которым живут родители, – было бы ужасною ложью и лицемерием! Было бы *притворством и деланностью*.

– Невозможно... Конечно, статьи, *разъясняющие политику*, должны быть!!

– Должны!

– Должны! (почти все).

– Но позвольте: а статьи касательно религии?

– Мир религии – глубокий и великий... Но здесь мы должны быть искренны: *первое правило* – не вводить никакой лжи в воспитание детей. Статьи о религии могут быть в журнале, – но с *субъективной точки зрения*. Мать не может сказать ребенку ничего, в чем *сама* не уверена: и может ему сказать... т. е. *изложить* свои религиозные убеждения, *если она их имеет*. Но *если имеет*: это надо твердо помнить.

– *Историю христианства* можно излагать и объективно: просто как известные факты.

– Да, но *историю*. И без мифов, легенд...

– Да. Но легенды поэтичны...

– Не спорю. Но это надо строго отличать от *истины*.

В живых речах все это было гораздо выразительнее, чем я пишу: было очень осмысленно, округленно, мотивированно, доказательно. Было *научно-образно*. Говорившие матери были все, видимо, очень образованны, – и едва ли только средним образованием, но, по всему вероятно, по крайней мере некоторые, – и высшим. Речь лилась хорошо, ясно, отдельно.

Да, но во всем этом не было ничего *оригинального*!

Не как мысли: но ни у одной матери не послышалось *оригинального материнского тона*.

Эти умные речи, которые я услышал, – я давно читал их *перепевы* в газетах и журналах... Где именно – не помню: кажется, – везде!

Произносились они, безусловно, как *свое*. И от этого было красиво: речи были *красивы*. Видно, что это все – давно вычитанное, наконец, давно *продуманное* всякою матерью и ставшее у нее «своим». Да, но от этого не лучше: *сюжета* своего ни у одной матери не было!

«Боже, – подумал я с ужасом, – неужели до такой степени у всех выросла одна большущая *газетная голова*. Из папье-маше... Не живая, не кровная... В сущности, в глубине – *не своя*».

– Мы тоже пережевывали все мысли... Всякие... Мы недаром учились, и в гимназиях, и на курсах, даже за границей. Мы знаем все, что знают и мужчины.

«Все», что знает «Русская Мысль», «Вестник Европы» и 1–2 газеты, получаемые «дома».

Но пусть это в гостиной, в кабинете. Неужели же это перенеслось и в детскую?!

В длинном заседании, таком тихом и скромном, я пережил то, что переживают зрители в «Театре ужасов», который, кажется, был на Литейной. «Как человека гильотинируют», «Как человек умирает от ужасной язвы» или «Нападение индейцев»... Здесь были эти же сюжеты: «человек с отрубленной головой», «умер от язвы», «напали индейцы». «Индейцами» оказались ужасные «культурные идеи», – «общеизвестные и общепризнанные», – которые съели живую душу у матерей: и эти матери показались мне ужасающе несчастными!

Как – не почувствовать *своего ребенка*!

Быть матерью только по внешности, а на самом деле не иметь вовсе *материнского содержания*, такого *особливого и оригинального в мире*!! Все «содержание» иметь «от «Вестника Европы».

Не заметно вместо вопроса «о наилучшем *детском журнале*» матери обсуждали собственно вопрос о *наилучшем журнале для себя*, для взрослой и образованной женщины, с «гимназией» и «курсами», для «гражданки».

В том и ужас, что это было совершенно *не замечено*, ни одной *не пришло на ум*, что это совершилось *неуловимо*. *Неуловимо* с первого же слова все стали обсуждать программу и устройство, идеалы и задачи *журнала для себя!!*

Поразительно.

Но никто не поразился.

Ни у одной матери не было представления о ребенке как о чем-то *другом*, нежели она сама. Точно они не видали *своих детей*. Не видали не только *души* ребенка, но и физического его существа: «Вот такой пузастый, с молочными губами, с вопросами то нелепыми, то трогательными. С миром мыслей и предчувствий, точнее, – *предмыслия* и *предчувствия*, – до того оригинальным, своим, до того особливым, что не придет на ум приложить к ним схемы из «Вестн. Евр.».

С миром невинности!

С миром наивности!

Где все сказка и религия. Все миф. Где есть предчувствия гроба, смерти, Бога, совести, греха... но до того в новых очертаниях, не в таких, в каких знаем *мы, взрослые*.

Все матери точно говорили залпом:

– Скорее превращайте его *во взрослого!* Вот как *мы...* Пусть не теряет времени: долбите ему астрономию, историю религий, о камнях и раковинах («естествознание»)... Обо *всем*, пожалуйста, обо *всем*. Пожалуйста, *поскорее...* Да чтобы *названия*-то все знал... И *понимал* чтобы все...

Во мне шевельнулся Вольтер:

– А ведь мамыши не знают, чего они собственно хотят. В Москве есть *универсальный* магазин «Мюр и Мерилиз». Этажей в шесть, и где все можно найти. Матери собственно задаются желанием приготовить из детей своих идеального «мальчика-приказчика» к «Мюр и Мерилизу»: малого шустрого, «на все руки», расторопного, «обо всем имеющего понятие» и особенно знающего «названия» всех вещей, а также *значение и употребительность* всякой вещи. «Мальчишка дока», – как называют «хозяева». Но неужели это не чудовищно, что обеспеченные, богатые и европейски образованные русские матери семейств не имеют никакого другого *идеала* человека, как «дока-приказчик» в магазине? Это до того прискорбно, это до того грустно, это так страшно...

В длинном трехчасовом совещании не было произнесено *ни одного слова* и *никем*:

1) О развитии *сердца* ребенка.

2) О *душе* его.

Ни одного слова:

3) О *невинности* ребенка, – о том, как к ней отнестись, как ее сохранить!

Ни одного слова! *Даже не упоминалось!!!*

Все рассуждения, *без исключения все*, двигались, толпились, летели залпом по одной колее, к одной цели:

1) Как можно *скорее!*

2) Как можно *больше* (знаний).

Пусть «все испытает», «все знает»; «да чтобы реальнее», «да чтобы правдивее». И «Почтовый ящик», и «как шел Гапон» (неужели скрыть от него, когда на улицах льется кровь», – был поставлен определенный вопрос).

– Боже... Да ведь они готовят или требуют от школы, чтобы она готовила каких-то кандидатов в будущие члены *клуба самоубийц*. Если мальчик «так скоро» пойдет по «всем знаниям», – к знанию эс-деков в 10–11 лет, то в 17 лет ему ничего не останется «нового», кроме как пустить пулю во «все-знающую голову». Ибо чем же жить от 17 до 60 лет?? «Уже все знает» и естественно «все скучно». – «В моей смерти прошу никого не винить»...

«Никого»?.. Но может быть, мать...

Я вышел из собрания с ужасом.

«БЕЗ ЦЕЛИ И СМЫСЛА...»

(О самоубийствах)

«Смысла в жизни не нахожу – и потому умираю» – это не только стоит в записке трех девушек, отравившихся цианистым кали после мирной беседы и за музыкой, но и в бесчисленных записках, оставленных русскими самоубийцами, еще начиная с памятной полосы самоубийств в 70-х годах прошлого века.

Эти самоубийства *без определенного одного* мотива выделяются в особую группу... Их не смешашь с самоубийством от нужды, унижения, семейного расстройства, от *определенной* неудачи в жизни, от неудачи в *определенном* стремлении и проч. По характеру мотива их можно назвать «беспредельными» самоубийствами, а по среде, по личности – можно назвать «культурными самоубийствами».

Самоубийцы – всегда образованные люди.

«Предела», т. е. вот *одного* мотива, – нет. Но «не бывает следствия без причины»: и, очевидно, в данном случае мотив самоубийства – бесpredелен, неуловим, неотчетлив, неясен.

Мы должны вполне верить искренности записок: «смысла в жизни не нахожу...». Только это – не мотив, а *описание*... Описание *состояния* самоубийц перед смертью и, уверенно можно сказать, – *задолго* до смерти. «Искал, искал смысла жизни... не нашел, и умер». Это Колумбы без Америки... Колумб, если бы ему не поехать в Америку «открывать ее», – наверное, умер бы, написав: «Не знаю, зачем живу»; «Умираю, потому что нечем жить...» Или, так как этого обычая еще не повелось тогда, – умер бы молча и *немо*, «непонятно» для окружающих. «Без *определенного* мотива...»

Все, конечно, давно заметили *возраст* этих «беспредельных» самоубийц: *никогда* позднее 28–27 лет. Большею частью эти самоубийства падают на

возраст между 17–23 годами у девушек и между 22–26 годами у мужчин. Отступления к более ранним годам объясняются легко преждевременным «развитием»... Но оставим эти ненормальные случаи 14-летних самоубийц и перейдем к *норме*.

Возраст самоубийства падает на промежуток между законченным или заканчивающимся образованием, которое, как понятно всем и понятно самоубийцам, – «готовит человека» к чему-то, и между *определением пути жизни, выбором жизни, выбором цели и «смысла» жизни*... «Меня *готовили, готовили...* а куда приготовили – я не знаю и не вижу. *Умираю*». Момент самоубийства в биографии самоубийцы всегда занимает то положение, какое в «плавании корабля» занимает момент отхода: от «пристани» (старый быт, старая семья) отстал, «отвалил», а «маршрута» не получил или не нашел. «Умираю». Мы должны поверить запискам. Они вполне точны, да и предсмертно вообще не лгут, не притворяются. Но эти «иероглифы» юных мы обязаны дешифровать.

Что же это такое?

Тянутся, тянутся годы... серые, тусклые... бесцельные... Талант бьется внутри, – но еще не «выключнулся из яичка», и он мучит, как непроросшее зерно, как энергия и сила «без приложения»... Самоубийцами являются не «бездарные» и «безвольные», – как пишут по понятным *педагогическим* мотивам публицисты (чтобы *удержать* от самоубийства, чтобы внушить *презрение* к самоубийству), а скорее в этот несчастный итог попадают даровитые... Талант всегда мучит, и именно тоскливою мукою... Талант всегда требователен, взыскующ, полон «недоверия к себе», «недоумения о себе»; талант всегда есть *строгий судья* поступков и мыслей, жизни и сердца и всего сокровенного в сердце у своего носителя... Насколько талант, *раскрывшись потом*, принес бы счастья, радости и даже восторга своему носителю, наполнил бы «смыслом», и большим «смыслом», его жизнь – настолько же *до раскрытия*, в «зерне», он всегда тягостен и закрывает тучами, облаками душу своего носителя, стоя упреком перед ним («ничего не делаешь»), судьей («и ни к чему не способен»), вообще неумолимым и часто *торопящим* требованием... Вот в этом *торопящем* характере его и беда... «Уже 22 года, а еще *ничего не сделал* и даже *ничего не задумал...*» «Как ты *презренен*: тебе нужно умереть...»

Талант – и конь, и скелет смерти. Или «мчись», или «умри». И умирают, не успев «вскочить на коня».

Пишу по некоторому опыту...

В Москве, с первого и до последнего курса университета, года полтора после университета и года тоже полтора до университета, в старших классах гимназии (я кончил ее поздно, два раза оставшись «в том же классе»), *желание умереть* было сильнейшим... И именно от сознания: «не для чего жить», «я ни к чему не годен», «из меня ничего не выйдет»... Еще: «я *ничего не умею*», «я только *отягощаю собою других*», – «без способности когда-нибудь *вознаградить* их». Даже это и не «сознание», а просто «так есть»,

уверенность всей *натуры*, не ума одного, не мысли... Точно сгнили все кости, вся душа: «ничего не умею. *Лежу*. Не для чего жить...». Еще: «хоть бы меня кто убил, у самого (убить себя) энергии не хватит... Или умереть бы *случайно, непредвиденно*» (без боли и предварительного испуга). Ощущение «самоничтожества» до того продолжительно, до того тягостно, что собственно останавливает *только* или *больше всего* болезненность известных способов умирания (утопиться, повеситься, застрелиться), – и – «эврика» безболезненного умирания от веществ вроде морфия, угара, цианистого кали не могла и не может не увеличить *чрезвычайно* числа этих «беспредельных» самоубийств. Но договорю: в университете товарищи прозвали меня за отражавшийся, вероятно, в лице дух мой – «кладбищенским». «А вот и В. (всегда звали по имени, ласкательно), *кладбищенский* идет...» Почему? Вероятно, по сближению самого лица, всего *вида*, всего *habitus'a* (медицинский термин) моего с мыслью о кладбище, о могиле. «Кладбищенский» могло означать только: «предсмертный», «кому скоро умереть». Но в смысле – «хочется»: потому что я никогда не хворал, и болезни ни одной у меня в университете не было, и товарищи это знали.

Тут проходит нечто органическое, нечто биологическое. *Цели*, и такие общие, как «цель жизни», – не вне нас, а внутри нас. И эти «цели» зреют, прорастают, бывают в маковое зернышко, в картофелину, в голову величиною, в гору (цель *всей* жизни). «Цели» растут буквально, как органы, и именно *из нас*. Колумб «в себе» нашел Америку, – как ни странно сказать: ибо он собственно «нашел» желание во что бы то ни стало «поехать на запад и что-то *открыть, увидеть*» невиданное и неслыханное. «Суть Колумба» в желании поехать, совпавшем со «встретившимся материком», – но последнее для *психики его биографии* – уже случайность. Нужно заметить, что самое *задание* вопроса о «цели жизни», или органическая *настойчивость* найти «в жизни своей *смысл*», – свидетельствует именно и непременно о врожденном *призвании*: на каковое «призвание», в неопределенной и незрелой его фазе, – и отвечает вопрос. Ибо *обычно* люди живут вовсе не для «цели» и не по «смыслу», а идут или «пробираются» по бахrome житейских обстоятельств, нужд, потребностей, самолюбия, желания обогатиться, «устроиться», найти занятия, жениться, выйти замуж, обзавестись семьей; немного общее – «стать музыкантом», «ученым», «членом Г. Думы», «знаменитым адвокатом», врачом или «генералом». Об *общей цели* жизни, о цели жизни «человека вообще», под каковым вопросом, однако, подспудно всегда лежит другой вопрос: «зачем я живу», «для какой цели мне *жить*», – эти вопросы или мелькают очень издали, *ни к чему не нудя*, не составляя позова к самоубийству, оставаясь только *философскою темою*, или чаще – не представляются и в этом виде, ни в каком. Вообще *самый вопрос этот и тоска: «я не вижу своего призвания»* – и есть *показатель наличности «призвания»*, еще не выяснившегося, не сформировавшегося.

Отчего *так*, по *этому мотиву* («не вижу смысла в жизни») и умирают только до 30 лет, чаще даже не достигнув 27 лет. По *этому мотиву* также не бывает 30-летних самоубийц, как зеленых страусов. Вне «природы вещей».

Помню, вопрос о *смысле жизни*, точивший каждый день меня, точнее, стоявший на душе, как туман, как какая-то сырость души, бессилие, изнеможение, – перестал даже *когда-нибудь* являться на ум, как только я сел (на много лет) за книгу «О понимании»... Тут совсем другие вопросы: «успею ли», «кончу ли», «доживу ли». Все наполнилось конкретным, ярким, *оживляющим*: «выходит», «дошел до такой-то рубрики», «кажется, кончу», «отложил на издание столько-то» (денег). И *никакого* вопроса: «зачем я живу?». Само собою, вопрос – «*для чего я живу*» не разрешился у меня *в ответ*: «для написания книги «О понимании»... Это было бы пошло и глупо. А просто *все само собою переменилось*, и вдруг стало *интересно жить*...

Возраст. Годы. Так береза покрывается не сразу «десятью слоями коры», – а по одному слою в год.

Горе с самоубийствами так велико, что позволительно по поводу их и говорить воспоминаниями, – и говорить, что «слышал и видел». «Кто как понял или испытал». Ибо оставшиеся в живых близкие самоубийцам люди, без сомнения, изнывают в муках и недоумении.

Еще: самоубийства естественно сокращаются, когда огромный и уверенный в себе поток исторической жизни естественно помогает *личным* поискам «цели жизни». «Цель жизни» лежит на улице: вышел из дому и нашел. В Западной Европе в эпоху великих географических открытий, в эпоху реформации и революции, в эпоху первого ознакомления с античным миром – вероятно, или не было, или было очень немного самоубийц. Каждый знал, «зачем он живет»: чтобы *помогать* реформации, чтобы *работать* для гуманизма. *Лицо* человека сливалось с огромным лицом общества. «Оседланный конь» стоял во дворе каждого, и не показывалась бледная смерть. Но *она* показывается, когда «коня» приходится искать, иногда долго, тоскливо, годами: «где *мое призвание?*» «Моему» не помогает «всеобщее»... Но следует сказать, что в этом случае «нахождения коня», – будучи труднее, зато и плодотворнее: скачет не конница, скачет не ряд, а – *один*. Жизнь в общем интереснее, будучи глубоко *личною* и *оригинальною*.

Мне хочется сказать в заключение юношам и девушкам, *вот еще сейчас, сегодня* задумывающимся о самоубийстве назавтра.

– Подождите! Не спешите! Отложите на неделю... Знаем, *трудно* вам брести «без цели и смысла»... Ноги тонут, как в песке пустыни, и не хочется вытащить отставшую ногу, чтобы переставить вперед...

Но подождите!

Кора нарастает, а пустыня – не без конца. *И именно ваша жизнь* озарится более ярким смыслом, чем многих и многих...

«...Роковая тройка наша несется стремглав, и может к погибели. И давно уже в целой России простирают руки и вызывают остановить бешеную, беспардонную скачку. И если сторонятся пока еще другие народы от скачущей сломя голову тройки, то, может быть, вовсе не от почтения к ней, как вообразалось Гоголю, а просто от ужаса, – это заметьте. От ужаса, а может быть, и от омерзения к ней. Да и то еще хорошо, что сторонятся, а, пожалуй, возьмут да и перестанут сторониться, и станут твердою стеной перед стремящимся видением, и сами остановят сумасшедшую скачку нашей разнузданности, в видах спасения себя, просвещения и цивилизации! Эти тревожные голоса из Европы мы уже слышали. Они раздаваться уже начинают. Не соблазняйте же их, не копите их все нарастающей ненависти»...

Этих слов Достоевского, вложенных романистом в уста прокурора, произносящего обвинительную речь против Мити Карамазова, невозможно не вспомнить, читая пространные телеграммы из Венеции. На тридцать лет *вперед* сказал Достоевский о том *смятении*, которое не может не испытать Европа, – культурная, успокоенная, урегулированная, – если когда-нибудь, по необходимости или случайно, перед нею разверзнется «требуха» России, с ее «святыми» нестеровского типа, кликушами, эпилептиками, слабо-вольными, безвольными, что все переваливает неудержимо и, главное, неуловимо «на другой полюс», где уже перед глазами нашими дрожит не венок «святого», а лезут чудища порока, грязи, извращения, разврата, в каком-то фантастическом танце подлинно адского характера. Ибо, поистине, этот особенный тип *судорожной* святости, святости как «припадка», святости как «болезни» (русское «юродство»), как-то органически, неотделимо соединен с особенным высвечиванием, с особенным колоритом русской порочности.

Омут, где вода идет *винтом*, туда, сюда, но, во всяком случае, *не прямо!* Главное, – *не прямо!* Вот это «все идет винтом», все «кружит» и все «топит в себе» – и образует коренную черту русской стихии. Венеция просто захлебнулась сейчас в ней. Да и вся Европа наглядится и передумает о России, по поводу дела Тарновской, больше, чем по поводу какого угодно романа Толстого или Достоевского.

О романе всегда можно подумать: «Это – вымысел» или: «Тут много прибавлено и сочинено». Но «дело Тарновской» не оставляет сомнения в подлинности.

Какова же эта подлинность?

«Дело Тарновской» до того во вкусе Достоевского, что снова нельзя не удивиться прозрению этого романиста, которого современники упрекали за «фантастичность» и «невероятность сюжетов», тогда как на самом деле оказалось, что подлинная жизнь воспроизводит вовсе не спокойно-прекрасные сюжеты и типы Толстого или Гончарова, не семью Ростовых или Обломова и Райского, а типы и сюжеты из «Бесов», из «Идиота», из «Карамазо-

вых». И не только в этой самой резкости и глубине, яркости и порочности, но часто далеко оставляя за собою роман!.. Да, даже роман Достоевского что-то бледное и несмелое около процессов Тарновской, Ольги Штейн, Гилевича...

А какое сходство!

Процесс Ольги Штейн... Но разве вы не помните «Подростка» Достоевского, где выведена целая компания шантажистов, мошенников, куда замешиваются и где «застревают и идеально чистые люди, как этот «подросток», и люди с положением в свете, князя, один – старый и дряхлый и другой – молоденький и безвольный; попадают в него или, по крайней мере, соприкасаются с ним и гордые красавицы света. Всех затягивает Ламберт, с его любовницей Альфонсинкой... В компании этой и содомит-мальчик Тришатов, говорящий, в пьяную минуту, удивительную речь о музыке, о грехе, о слабости, о раскаянии (конец романа). Вот-вот попадет в «нестеровские святы». Ведь такой «кающийся» юноша, с пониманием «всего высокого и прекрасного», со «слезой» во взоре... Но как все напоминает Шульца и Штейн, даже в нерусских именах главных действующих лиц. Точно Достоевский обладал ясновидением.

И, наконец, этот венецианский процесс, с его предисловием в Гомеле...

Помните Настасью Филипповну в «Идиоте», о которой ни один читатель не может решить, сумасшедшая она или здравомыслящая... Но ни у кого нет сомнения, что она – неестественная и ненормальная, как это воочию видят врачи, судьи и журналисты и в Тарновской. Настасья Филипповна – в вечном смятении, судороге; не остается минуты на месте и, что еще хуже, двух минут не бывает в том же психическом предрасположении и в одинаковом отношении к окружающим лицам, к окружающей обстановке, ко всем реальным условиям существования. И ее «с равным безумием» любят чистый и немощный князь Мышкин, «внушающий такую жалость», «явно больной», и мрачный Рогожин, в конце концов фантастически зарезавший ее во время объятий. Только Настасья Филипповна – страдальческий характер и «внизу положения», а Тарновская – «наверху положения» и властная распорядительница чужой судьбы. Но в прочих чертах характера удивительное сходство, особенно если осложнить Настасью Филипповну чертами Грушеньки из «Карамазовых». Грушенька и Настасья Филипповна – родственные, параллельные фигуры, только несколько варьированные и в разном положении. Но обе – «блудницы», с какой-то тоской, с влечением к «многомужию», с силой безумно привязывать к себе мужчин, которые ради них теряют все, разрушают около себя привычный строй жизни, «выходят из себя»... и, потому безумя, гибнут, еще раньше дойдя до преступления. Только и Грушенька, и Настасья Филипповна – миниатюры около Тарновской, но миниатюры, необыкновенно верно, необыкновенно точно наметившие или «напророчившие» роскошный тип... Тарновская богата, знатна с 17 лет... Тратит тысячи на туалеты, тогда как тем не давались и сотни. Вообще, от более «несчастливого» своего положения, – приниженного и зависи-

мого, – и Грушенька, и Настасья Филипповна не развернулись так широко. не полетели так далеко. Но это *одна* «Золушка» в наряде нищей и потом в наряде принцессы... Та же душа, полет, устремление, та же «тоска» и «ненахождение себе места» в чудовищной и обаятельной самке... Болезнь и жажда мучительства, себе и другому. Только «нищенка», естественно, причиняет более ран себе, а «принцесса» бережет себя и ранит других.

«Помучься, как я мучусь»... «Нет, лучше умри, как умерла бы я».

Смерть, кровь, отравы... и деньги, много денег, – вот окружение всех трех. Всех трех нельзя представить себе труженицами: неделя работы, – черной и тяжелой работы, – свела бы с ума всех трех. И не оттого, что руки их не приспособлены к работе, бессильны, изнежены, – вовсе нет. Но оттого, что работа, т. е. *принуждение* и *регулярность*, связала бы их воображение, помешала бы их фантастике, помешала бы их какому-то вечному «роману», в котором жила их душа и без которого ни на минуту, с ранней юности, она не обходилась и не могла обойтись. Черт знает, – около сумасшедших людей начинаешь произносить сумасшедшие мысли. Тарновская видом и поведением своим только-только вот не выговорила настоящее свое *profession de foi**:

– «Да, нужно было много денег, как редкой орхидее – драгоценная теплица, как таланту – обстановка и царице – дворец. Не могла же Клеопатра помещаться в лачуге Диогена, ни в скромной квартире честного буржуа. Якобы честного... Я не из «честных тружениц», «зарабатывающих себе хлеб». У каждого своя порода. У меня – брильянтовая. Из брильянтов не строят домов, а носят их на шее, в колье. Брильянт не так утилитарен, как кирпич, как честный и скромный кирпич, но все люди за этот «ненужный» и «блестящий» брильянт почему-то дают больше денег, нежели за целый воз и даже чем за целую гору кирпича. Вот когда вы убедите людей, что «за брильянт не надо платить дороже, чем за кирпич», тогда вы и меня убедите, что я – ненужное существо, что мне лучше бы не жить, что меня нужно спрятать в тюрьму, на каторгу или повести на казнь. И еще полнее: только тогда, когда вы *объясните*, гг. честные юристы и мудрые психиатры, *почему же* именно, по каким бесовским мотивам самые *добро-ро-де-тель-ней-шие* люди хватаются за брильянт раньше, чем за «служебно-нужный» кирпич, и платят в 1000 раз дороже за него, нежели за этот материал для своих уютных домов, для своих семейных домов, – только поняв это и объяснив это господам присяжным заседателям, вы получите и *верх* надо мною, *право настоящего суда* надо мною, не юридического, а, так сказать, *sub specie aeternitatis*, «под углом вечности»... Но вы никогда этого человечеству не объясните и ничего никогда ему не докажете. Потихоньку вы и сами любите брильянт больше, чем «утилитарный камень»; вы, как и все люди, живете «по вкусу», а не по благоразумию, и только это дело случая, что мне на дороге попались Наумов, Комаровский, Прилуков, до встречи буквально

* символ веры (*фр.*).

такие же «честные, тихие и трудолюбивые», как каждый из присяжных, как психиатры, врачи и судьи, обо мне судящие... Теперь я под замком у вас, а встретитесь вы мне в чистом поле, среди матушки-натуры, в зеленом лесочке, на купаньях, на паркетe гостиной, – и сидели бы на месте Наумова, Прилукова и Сталя, людей *comme il faut*. Все, ведь, люди *comme il faut* до встречи с «особенными обстоятельствами». Просто ваша биография бедна и «без приключений», но у русских, благодаря девственной натуре страны, «приключения» роем роятся и хоть отбавляй... Денег было много нужно для моей красивой жизни, и я их брала... где попадетсЯ. Как и все берут «где перепадет», не стараясь во что бы то ни стало «честно заработать», а только удерживаясь на границе «уголовного». И я удержалась: сама рук не марала. Все для меня делали, как вы же, ведь, заставляете рудокопов проводить годы в подземных шахтах, без света солнца, добывая вам «ненужные» брильянты. Так и для меня «добывали» юноша Тарновский, Сталь, Прилуков. Просто, мне отдавали все деньги, а я тратила... Рудокопы и красавица в брильянтах. Ведь они же *копались в руднике, хотели* этого, ползли туда, гибли там, – значит, я *стоила!* В этом «я *стоила*» все и дело и все мое оправдание. Если они *лезли* в рудник, то явно и не *стоили* ничего, были *врожденными рабами*, как я – *врожденная царица*. Вы бы их спросили, почему они лезли. Здесь и лежит объяснение, а не в вашем суде. Но мне все доставалось мало: какие-то десятки тысяч! Разве это деньги для «оправы брильянта». На «оправу» себе Клеопатра растратила Египет, а Помпадур – Францию. В моих несчастных обстоятельствах, в вашу пошлую мещанскую эпоху я и дошла до преступления, т. е. вы довели меня до него. Узкое время: на десять Клеопатр только одна губерния или на десять Помпадур – ни одного Людовика. Мы задыхаемся, я и такие, как я. Просто – мы красивы; не одним телом: мы занимательны; по нас «сходят с ума», как по вас не сходят ваши жены, ни вы не сходите по своим женам. Ни вы, ни г. председатель суда. Что же нам делать, когда мы так родились. Да и, знаете, есть какое-то *предначертание* в том, чтобы мы *были*. Зачем движется история, куда идет все? Все идет к какому-то шуму, к чему-то блестящему, «великому», – сами говорите. За «великую победу» жертвуют сотнями тысяч жизней. А что она такое? Шум, слава. И ни крохи «хлеба». Значит, «не о хлебе едином»... Мы, вот, и есть такие «сверх-хлеба»... Мы нужны просто как «украшение». Верьте, нами «счастливы» мир, как много были счастливы эти одурелые Наумов, Комаровский, Прилуков, да и еще многие, оставшиеся в тени... Много, очень много; могло бы быть и больше, если бы у меня был миллион... Или царство, как у счастливой Клеопатры. Не воспел же Пушкин, именно, в этих стихах не воспел, мещаночку из Выборга, уединенно вяжущую носки своему мужу. А Пушкин имел вкус, – уж, поверьте, не меньше присяжных, которые меня судят. О смысле истории никто не знает, но все тоскуют по какой-то красоте, по славе, наконец, все рвутся к движению, событиям, переходу из состояния в состояние. Ведь в этом состоит история. Поверьте, я – из центров ее, мистических центров. Оттого мне и слу-

жили все, ради меня умирали мои любовники, – как, именно, этот момент умирания любовника за час наслаждения и воспел Пушкин. А он был не без вкуса и ума. Это вы, пожалуйста, помните. Нельзя засудить меня, не осудив Пушкина, по крайней мере не зачеркнув у него «Египетских ночей». Но жаль всем зачеркнуть. Вот объясните-ка, почему всем жаль. Всем жаль, и грустно было бы, тоскливо было бы остаться при одной добродетельной поэзии, где все женщины вяжут носки мужьям и все мужчины ходят в должность. Скучно всем, всему человечеству! За что же вы будете судить Наумова, что он сорвался с цепи своей службы при канцелярии губернатора и вдруг побежал за мной? Или Прилуков ради меня бросил гражданские процессы? Бескорыстный человек: предпочел женщину деньгам, службе и карьере. Не преступник, а Дон-Кихот. Вам бы на него любоваться, а вы его судите. Давно исчезло «поклонение женщине», а было когда-то, было все Средние века. Вокруг меня вдруг поднялось оно, вихрем поднялось, мистически поднялось. Смотрите, как умер Сталь, мой «рыцарь бедный». Я сказала, и он умер, как раб по повелению того владыки, – которого опять воспел Пушкин, – пославшего собрать смолу смертоносного дерева. Последнее доказательство любви – смерть, и я брала ее, и мне хотелось брать ее, как вечно нужное доказательство того, *кто* я... А что этот бедный умер, в счастливой любви ко мне, то вы все, мещанишки, умираете же в своих мещанских тифах, туберкулезах, сходите с ума от идиотического «переемления» на службе и за работой... За работой, чтобы обставить обитую манчестером мебелью свои идиотические «приемные», куда решительно никто не ходит, и нашить безвкусных кофточек своим супругам, на которые ни один человек не смотрит. Сталь вкусил час царской жизни и умер поцарски. Хорошо. Возвышенно и мудро. Разве народы не ведут войны за «престиж и славу»? Дайте же «престижа» и женщине. Если люди, воины тысячами – и вовсе не глупые – умирают «со счастьем» за «честь родины», за «славу родины», – как вы помешаете и как вы осудите, что благородный и умный мужчина «умирает со счастьем» ради любимой женщины, за ее честь, для ее славы... да и для ее обогащения, наконец? «Страховые полисы» так естественны... Мне нужно было, действительно, много денег, и любовники чувствовали, что я из тех, которым деньги нужны сотнями тысяч, и умирали ради моего обогащения, как англичане в бурской войне умирали ради доставления «обожавшей родине» алмазных копеек Капштадта... Одно явление там и здесь. И, не судя англичан, не судя Англии, посылавшей «сынов» на смерть за алмазные копи, – как осудите вы меня за хлопоты о полисах Сталя и Комаровского, за смерть прекрасного юноши, моего деверя, который своею смертью удвоил состояние мужа, т. е. мое? Одно явление. Но что вы в истории одобряете, то осуждаете в биографии. Непоследовательно. Говорят, у меня есть «женская болезнь», и я ненормальна, «безумная». Но, ведь, медики знают всегда только факт, ищут фактов, «осязательного» и обычно не имеют никакой для этого теории, кроме глупых. Есть болезни красивые, к украшению: румянец украшает в ранних фазисах

чахотки, а бледность сообщает «интерес» лицу. Как украсился, одухотворился весь образ Гейне от спинной сухотки. Да и вообще мало ли мы знаем великих и прекрасных больных страдальцев: насколько красивее и «священное» был Дон-Карлос, чем его толстый отец?! А Гамлет: им все любят, все им «заинтересованы»; а он явно ненормален. Ведь Гамлет, со своею полубольностью, полусумасшествием, был тоже виновником смерти Офелии, «замучил» ее; да и заколол шпагою одного придворного. Преступник... и, судя меня, преступницу, вы как бы повторяете придворных датского короля, которые бы судили Гамлета. Болезни бывают к украшению; бывают к гению, – как болезнь вечно больного Паскаля. Да и у нас Гоголя «залечили» глупые медики, которые, вообще, кроме тифа и гастрических расстройств, мало в чем понимают. Медики знают слова, целый лексикон слов, и припиливают к явлениям только эти выученные ими слова. Они собираются посадить меня в отделение буйных больных, но я сама поместила бы их в камеру тихих идиотов. Да, я и больная; да, я и безумная, но тою формой болезни и безумия, которая, вообще, завита в самое ядрышко мира, почему он весь не рассудительно движется от строчки к строчке, от «а» к «б», а кружится, вертится, перелетает через пропасти, гибнет, возрождается и, вообще, скользит по краешку смерти и, однако, в целом – бессмертен... Смерть близко была около меня; я ее чувствовала постоянно, влеклась к ней, толкала к ней, играла с нею. Вовсе не тело во мне любило, – хотя и тело было хорошо, – но влюблялись в этот вихрь во мне, вихрь болезни, безумия, вечного движения, вечных переходов, контрастов и красоты. И я в нем сумасствовала, и сумасществовали со мною другие; и в 15 лет мы прожили, со мною прожили эти люди, мои любовники, столько, сколько без меня не прожили бы во всю свою скучную, бесцветную, глуповатую жизнь. За это платят, за это же дорого платят: и жизнью, и царствами, как говорит история, как говорит Пушкин».

* * *

Омут... истины, заблуждения, порока и... вероятно, каких-нибудь добродетелей, вызвавших у Прилукова одно восклицание, совершенно вне целей защиты: «Никогда я не встречал в моей жизни таких *несчастных* женщин» (как Тарновская). Чем?! Как?! – было бы любопытно услышать. Тут-то и лежит возможная разгадка всего. Мы воображаем, что, где сыплются тысячи, там не может быть несчастья. Мизерная демократическая точка зрения, по которой десятью целковыми залечиваются все раны. Не забудем также, что смертельно раненный гр. Комаровский прежде всего спрашивает: «Уведомлена ли Тарновская?» Воображать, что такие слова относились только к ее физическим «прелестям», – умирающему, конечно, ненужным, умирающему не могшим прийти на ум, – наивно. Что же влекло к ней? Явно – другое. Что? Она в «вихрь» своей психики и болезненной биографии вовлекала именно «душу» своих любовников, приковывая и красотою их, какою-нибудь «складочкой» этой красоты, «уголком» ее, до безумия, но еще более

захватывая их сочувствие, сострадание, жалость к безрассудно вертящемуся колесу всей своей личности и всей своей фортуны... Что-то иррациональное, и это ее «иррациональное» сокрушало в них рациональное – жизнь, быт, биографию, труд, службу и имущество.

В успокоенной, рассудительной и действительно слишком уж омешавшейся Европе «дело Тарновской» подняло старые воспоминания... И там бывало такое *прежде*, но все «быльем поросло». Клок русской действительности, ворвавшейся на Запад, сорвал эту «ковыль-траву» со старой могилы... и пробудил старого покойника, в золотом герцогском кафтане или в фижмах времен Помпадур и Калиостро.

– Ах, денег... так мало денег... и такая мещанская обстановка. Меня бы надо судить не здесь, перед присяжными, а в маленькой комнатке дворца дождей, наверху, где заседал Совет Десяти, страшный и романтический. Ну, пусть бы он рассказал меня... А то теперь – меня непременно отдадут под наблюдение гг. психиатров, и вообще будет все так научно и глупо. Угораздило же меня родиться в такую непрезентабельную эпоху...

К ПЯТОМУ ИЗДАНИЮ «ВЕХ»

Идти ли русскому обществу за универсализмом всей русской литературы, как она выразилась от Жуковского до Толстого, или ему, свернув с этой дороги широкого понимания и широкого сочувствия, перейти «на железнодорожные рельсы». От Маркса до Михайловского, попросту – погрузиться в социал-демократический интерес, в социал-демократические надежды, в социал-демократические законы и всю психологию, – вот практический вопрос, перед нами лежащий, вот вопрос, на который отвечают «Вехи»... «Сборник статей *о русской интеллигенции*», – таков подзаголовок «Вех», – статей критических в отношении своего объекта, статей, наконец, отрицательных. Возможно ли, однако, *образованным* людям какой-нибудь страны восставать против «образованности» этой страны?.. По существу, конечно, невозможно! Невозможно Англии восставать против «английской образованности», Германии – против «германской образованности» и Франции против «французской образованности». Хотя недостатки и односторонности, конечно, в каждой из названных «образованностей» есть. «Образованность» есть умственный дух страны, умственные наклонности страны, умственные вкусы страны; наконец, это есть умственные предрассудки, предрасположения, суеверия, привычки страны, как они выражаются преимущественно в литературе и искусстве, но также в нравах общества и даже в политике страны. Явно, что против «образованности» своей страны просто нельзя поднять голоса, не в силах поднять его никто почти в силу национально-физиологической своей природы. Как же написаны «Вехи»? Как могло случиться, что они появились? Общее правило о невозможности восстания против «образованности» своей страны имеет исключения. Ренан и Тэн после разгрома

Франции Германиию оба заговорили о преимуществах над французскою «образованностью» – образованности германской. О недостатках французской образованности *«века просвещения»* (XVIII век) заговорил ряд французских писателей высокого блеска после 1815 года. С падения Наполеона вдруг изменился характер и дух французской литературы, – и даже, общее, французской образованности. Вольней, Бональд, Жозеф де-Местр – умы совершенно другого порядка, *другого характера*, чем Вольтер или Дидро. Таким образом, критика «образованности» какой-нибудь страны возможна в этой же стране, но только она приходит не иначе, как после сильного потрясения, после большого «переживания». Так было везде, случилось это и у нас. Было бы совершенно невероятно, если бы после неслыханных испытаний японской войны и опыта нашей «революции» русская литература, что называется, не дрогнула. «Не дрогнуть» эта самая впечатлительная и тонкая ткань национальной организации могла бы в обществе лишь умирающем, старом, ни на что более не отзывающемся. Успех «Вех» произошел отчасти оттого, что никакая брань на книгу не могла переубедить общества в том, что здесь подали голоса свои самые чуткие, самые впечатлительные люди страны и что, после революции и войны, это впервые послышался новый, свежий голос, так сказать, в уровень с пережитыми событиями, по крайней мере *в связи с пережитыми событиями*. Ибо нельзя же считать духовным отражением пережитых ударов брань на Победоносцева, ропот на закон 3 июня и продолжающиеся надежды на японской войны и до «великой забастовки». Все это литература «еще при Сипягине и Плеве», и только. Но пришли новые события: неужели же литература *одна* прошла бы мимо них без всякого *впечатления*?

Таким «медным лбом» не оказалась литература. И появились «Вехи»...

В прекрасно написанном М. О. Гершензоном предисловии к сборнику высказана закругленно мысль его, мотив его, историческое его положение:

«Не для того, чтобы с высоты познанной истины доктринерски судить русскую интеллигенцию и не с высокомерным презрением к ее прошлому писаны статьи, из которых составилась настоящий сборник, а с болью за это прошлое и в жгучей тревоге за будущее родной страны. Революция 1905–1906 гг. и последовавшие за нею события явились как бы всенародным *испытанием тех ценностей, которые более полувека как высшую святыню блюла наша общественная мысль*. Отдельные умы уже задолго до революции ясно видели ошибочность этих духовных начал, исходя из априорных соображений; с другой стороны, внешняя неудача общественного движения сама по себе, конечно, еще не свидетельствует о внутренней неверности идей, которыми оно было вызвано. Таким образом, по существу поражение интеллигенции не обнаружало ничего нового. Но оно имело громадное значение в другом смысле: оно, во-первых, глубоко потрясло всю массу интеллигенции и вызвало в ней потребность сознательно проверить самые основы ее традиционного мировоззрения, которые до сих пор принимались слепо

на веру; во-вторых, подробности события, т. е. конкретные формы, в каких совершились революция и ее подавление, дали возможность тем, кто в общем сознавал ошибочность этого мировоззрения, яснее уразуметь грех прошлого и с большей доказательностью выразить свою мысль. Так возникла предлагаемая книга: ее участники не могли молчать о том, что стало для них осязательной истиной, и вместе с тем ими руководила уверенность, что своей критикой духовных основ интеллигенции они идут навстречу общесознанной потребности в такой проверке».

Таков голос времени, зов времени, на который ответила книга. Ее следует назвать настолько же подчеркнуто-славянофильской, как и подчеркнуто-западнической. В полном слиянии славянофильства и западничества, в *личном духе* ее авторов лежит лучшая ее черта, главная прелесть. Они не примиряют *идеи* славянофильства и западничества между собой, не построают для этого умственные комбинации за письменным столом, – но *сами* и *лично* они являются столько же русскими, славянами, сколько и западными германцами или кельтами. И. В. Киреевский, первый *славянофил* у нас, начавший литературную деятельность изданием журнала «Европеец», мог бы быть назван их прототипом и литературным родоначальником. Все грехи нашей личной и общественной жизни, грехи нашей государственности горят перед ними ярко, болят цемюще болью в их душе; но – в их *русской душе, в русском сознании*. Все преимущества западного духовного развития, западной дисциплины, западной школы не вызывают в них никакой зависти и только боль о том, отчего у нас этого нет. Они суть русские по крови, по духу, по заветам, по воспитанию; и западники – по вкусу или, точнее, по мерилу в них добра и зла, по оценке развития и прогресса.

Этот факт, вполне точный, тем удивительнее, что из авторов «Вех» трое (почти половина) – евреи.

* * *

Авторы «Вех» не вполне солидарны между собою, но солидарны кое в чем общем. В предисловии это так определено:

«Общю платформой соединившихся здесь авторов является признание теоретического и практического *первенства духовной жизни над внешними формами общежития* в том смысле, что внутренняя жизнь личности есть единственная творческая сила человеческого бытия и что она, а не *самодовлеющие* начала политического порядка является единственно прочным базисом для всякого общественного строительства. С этой точки зрения идеология русской интеллигенции, всецело покоящаяся на противоположном принципе – на развитии безусловного примата общественных форм, – представляется участникам книги внутренне ошибочной, т. е. противоречащей естеству человеческого духа и практически бесплодной, т. е. неспособной привести к той цели, которую ставила себе сама интеллигенция, – к освобождению народа. В пределах этой общей мысли между участниками сборника «Вехи» нет разногласий».

С симпатичными нам увлечениями и преувеличениями всегда хочется согласиться. И так хочется сказать «да» в ответ на этот положительный тезис книги. Но рассудительность и полная истина требуют здесь спора...

Англия или Афины променяли ли бы свою «Великую хартию», свой «*Nabeas corpus*», свой ареопаг и экклезию, своих Периклов, Кимонов, Алкивиадов, своего Питта и Борка на некоторую, позволю выразиться, прелесть сердечную, сказывающуюся слезами, молитвой, постом и аскетическими упражнениями, или на непрерывные споры и рассуждения на темы совести, личного поведения и вообще «небесные», каким, например, предавались в своих «нравственных колониях» толстовцы, предавался сам Толстой в пору разработки идеи о «трех упряжках» (три способа проводить свой день), предаются монахи в монастырях, предаются у Диккенса – его слезливые, молящиеся, угрюмые и желчные пуритане, пизтисты? Вот вопрос. Это со стороны зрелища истории, факта истории. Но затем и теория. Толстой однажды спросил: «Как нагреть воду в котле, не согревая каждой *частицы воды?*». Он хотел сказать, что нельзя получить «итога», не имея «слагаемых». Но на этот тезис можно написать разные иллюстрации... Гонимая за «слагаемыми» и полагая в них всю сущность, один хитрый немец предлагал русским простакам чудодейственное «средство от клопов», притом «совершенно верно действующее»: нужно клопа изловить, раскрыть ему ротик, положить в рот крупинку изобретенной им мази (или порошка) «и тогда клоп непременно умрет». «И когда вы, сударыня, – продолжал немец убежденно, – так поступите с каждым единичным клопом в вашем доме, тогда клопы совершенно выведутся и ваше жилище превратится из нечистоплотного русского в аккуратное немецкое». Против очевидности немецкого рассуждения совершенно нельзя спорить. Оно доказано. Но предпочтительнее просто выкуривать клопов серою или омыwać стены и деревянную мебель кипятком – *разом*. Что касается до согревания воды, то опять кто же черпает воду ложечкой, из ложки переливает в наперсточки, согревает каждый наперсточек и, слив в одно, получает такое великолепие, как «котел горячей воды»? Просто, наливают воду в котел, такого объема, сколько воды нужно в доме, и ставят на огонь. Так поступают, кроме философов, все кухарки и, кроме хитрого немца, все русские, да, думается, и заграничные хозяйки. Это – теория. Возвращаясь к истории, к Афинам и Англии, мы заметим, что помимо утилитарных соображений есть что-то неподражаемо-свежее и прекрасное в гармоничном, спокойном и оживленном общественном устройении, есть некоторая художественность в учреждениях: и о том мальчике, который с Марафонского поля прибежал в Афины и, вскричав: «Афиняне, вы победили», – пал мертвым от изнеможения, мы до сих пор учим в школах: хотя какова «польза» этого восклицания и что тут «исторически значительного»? Но поистине «не о хлебе едином бывает жив человек» – применимо вполне и к политике. Есть что-то красивое, прекрасное и благородное в одних учреждениях и неодолимо-антипатичное в других. И мы ненавидим вторые, даже если бы кто-нибудь нам вполне «дока-

зал» их утилитарность. – «К черту доказательства! Это просто – *гадка*, вот и все». Гадка страна, проникнутая рабьим страхом, пропитанная лестью, угодничеством, пролазничеством; и хотя бы страна такая «наслаждалась вечным миром», мы ее проклинаям; хотя бы тут «рабы все благоденствовали», например при господах таких благочестивых, как Чертков или Неплюев, – мы проклинали бы и отвернулись от зрелища, от сущности, от идеи. Дело в том, что в человеке и его *необыкновенно сложной натуре* есть нечто от красоты дикой лани, – и этой дольки дикой и неупорядоченной красоты нельзя уничтожить через учреждения, нельзя подавлять учреждениями, но нужно *принять в учреждения*, вставив так, чтобы красота оставалась красотой и только никому не вредила. Мальчик оттого прибежал в Афины, что он знал, что там есть кому его выслушать. Суть не в мальчике, а в афинской толпе, которая ждала вести о победе или поражении как о *своем – этой толпы – поражении или победе!* Если бы известие нужно было только сатрапу провинции и до него относилось бы, – мальчик так не поспешил бы: пришел бы угрюмый раб и с лстывой улыбкой передал бы письмо от победителя-полководца. Совсем другое дело, иное зрелище, – и учителю школы нечего было бы рассказать ученикам. Из таких грустных рассказов складывается некрасивая история; граждане страны с такой историей угрюмо помнят или совсем не помнят прошлого, и не интересуются им, и не рассказывают ее иностранцам, и рассеянно смотрят по чужим краям, и уезжают в чужие края без тоски и сожаления. Это – страшное дело. Чтобы заработать красивую историю, можно решиться много перестрадать. Итак, вопреки авторам «Вех», есть *самовладеющая* (это я подчеркнул важное у них слово) красота в учреждениях, в общественном сложении, или, переходя опять к теории, – в «способе нагревать воду в котле, а не в наперстках и истреблять клопов курением серы, а не через вкладывание в рот мази».

Наконец, по наивности можно не замечать кое-чего, и такое незамечание не будет безнравственно; но когда наивности нет, когда ум сознает некоторые вещи и это сознание не берется в расчет и деятельность совершается так, как бы его не было, т. е. притворно-наивно, тогда мы имеем дело с упадком нравственности, с грехом. К числу таких «грешных» вещей относится *в наше время* и равнодушие к политическим и общественным формам жизни, со стороны их утилитарности. Землепользование, обработка земли, ремесла, строй школы (а есть и «строй школы» помимо «хороших учителей») никак не улучшатся от наших молитв, от нашего личного нравственного совершенства, наших вздыханий, покаяний, слез и т. п. На вопрос, кого предпочтительнее иметь губернатором, *лично* ли прекрасного человека, доброго семьянина, благородного *gentilhomme**, но совершенно бездеятельного, тусклого, инертного, пассивного и вообще «невинного и наивного», или же «утонувшего в личных пороках», но гениально-деятельного, неусыпного, великую административную творческую силу, *сама губерния* ответила бы:

По мне уж лучше пей, да дело разумеи!

* дворянина (*фр.*).

Увы, личная нравственность и общественная неспособность так часто сочетаются! Увы, сочетается и порок с творческим гением. Для *народа, населения*, для массы «личные пороки» совершенно незаметны, даже не видны за стенами дома или дворца, и вообще, говоря искренно, – просто до этого никому дела нет, никому это не интересно; но личная *неспособность* к управлению поднимает вой боли в народе, да с нее часто начинается и крушение наций, государств, стран! Бисмарк поддержал бы такую падающую страну, как он поднял из «незначительного существования» Германию; но авторы «Вех» не оспорят, что сто добродетельных Чертковых при пособии всех авторов «Вех» не улучшили бы и уездного городка. Но статья в *лучшее* положение городу, уезду или стране – значит вообще начать испытывать меньше боли, – и всего, что с нею связано. А с нею связано, увы, и много безнравственного; с плохим питанием, обнищанием, голодом связано всеобщее *недовольство, злоба, гнев, воровство, насилия, убийства, алкоголизм*. Не всей массой они отсюда текут, но некоторой долей текут отсюда. Поэтому в «мировой гармонии» порочный, но даровитый, талантливый управитель «нравственное» добродетельного, но неспособного: при нем пороки уменьшаются, при добродетельном – растут. В итоге страны «добродетель» множит иногда пороки, а порок – увеличивает добродетели. Для того чтобы это увидеть, надо только перестать нагревать воду в наперстке, перестать интересоваться спальнями и будуарами правителей, – а веселым, свежим взглядом окинуть страну, поля, площади, улицы. Пусть все это шумит веселой, здоровой жизнью, хорошо торгует, хорошо танцует; пусть везде шумят разговоры, беседы, споры; ни у кого чтобы не было сонных, апатичных лиц... А куда они пойдут к ночи, – «к куме» или в церковь, право, *истории это неинтересно*. Человек вообще так прекрасен, что многие пойдут в церковь, без поощрения, без подсказывания. Дайте людям немного потанцевать, а помолятся они сами.

Но, затем, к словам авторов «Вех» мы чувствуем все-таки симпатию, даже и видя их односторонность. Ничего нет противнее человека и противнее общества, заглушившего в себе интересом к политике всякую внутреннюю жизнь, психологическую, совестливую, поэтическую, религиозную. В особенности, когда эта «политика» есть не творчески-созидательная, не спокойно-делающая, а критико-злая и критико-бессильная. Увы, в России только эта и была и только эта почитается, уважается, приветствуется. Если взвесить все то море злобы, человеконенавистия, человекоотвращения, человекогадливости, в последнем анализе *человекоубийства*, какое ежедневно и ежемесячно вливается в общество печатью и затем разливается по стране через мелкий говор на «правительственные темы», то поистине надо еще удивляться, как русский человек живет, существует и что делает, даже на что-то лучшее надеется для своей страны, или притворяется, что надеется. Потому, что какие же тут «надежды»... Вся жизнь русская, вся мысль русская, все нервы русские разделились на что-то «полицейское» и «антиполицейское», и умерло решительно все, кроме двух желаний:

удержаться самим в полиции – это «правительственная программа»; или выгнать «тех» вон и на месте их сесть самим в полицию – это «пожелания общества». Какой-то «рай», за обладание которым все спорят: квартальные, профессора, гимназисты, дамы. «Кому сесть в полицию, *нам или им*», – об этом написаны все повести, рассказы, много стихов, толстые печатные рассуждения. Когда однажды я несколько высказался в печати в сторону всеобщего успокоения и примирения, то в ответ получил письмо, очень характерное *по тону*: «Кого вы хотите обмануть вашей елейностью? Разве есть в мире общество, более загаженное полицией, чем русское? Правительство приложило все старания к тому, чтобы воспитать общество в духе полиции, полицейского сыска и шпионства, дать обществу полицейские нравы и настроение. Разве есть в мире общество более шпионское, умеющее находить *наслаждение в злословии и травле*, способное считать сыщика за человека, предполагать в нем человеческую душу? Полиция, этот заразный и злокачественный придаток, стала законодательницей выше Самодержца: она предписывает правила нравственности, правила поведения, правила воспитания детей и взаимных отношений. Разве мыслимо общество более омерзительное, чем современное русское, у которого образец, идеал – сыщик». Вот больной тон человека, отравившегося политикою. Автор уже не в силах обернуться на себя и заметить, что это *он сам* «находит наслаждение в злословии и травле» и подделжит *сам* убийственным определением своего письма. Куда же такого деть, как не посылать арестовывать, хватать, казнить? Казнь уже стоит в его душе как мечта, как идеал. И между тем, вместо того, чтобы писать мне это письмо, он лучше прислал бы другое с цитатой хоть «Птички» Пушкина:

...В долгу ночь на ветке дремлет,
Солнце красное взойдет...

и т. д. Право, на такую злобу только я умею ответить этим стихом.

Иногда кажется, что лучший спор с политикой и политиками – цитировать Пушкина, читать чаще Пушкина; после прочтения новой книжки «Русск. Богатства» взять да и переписать своею рукой что-нибудь из Пушкина. Переходя к серьезному тону, замечу, что если бы эти «полицейские пока без погон», которые думают и чувствуют *в тоне* приведенного письма, которые печатают целые газеты и журналы в этом же самом тоне, победили бы и выгнали из участка «тех полицейских», теперешних: то, конечно, ничего иного они и не в силах были бы принести на их место, сотворить на их месте, как возвести старое и крепчайшее здание подобной же полиции, например социал-демократической полиции. Только к этому и рвутся, никакого другого пафоса их писания и не имеют.

Поэзия освобождает.

Религия освобождает.

«Нравственная духовная жизнь», о которой говорят авторы «Вех», освобождает, улучшает, подымает личность. Только не надо тут специфически подчеркивать: «нравственная забота *над собой!*»

И если когда-нибудь мы могли бы надеяться на что-то похожее на «Англию» или «Афины» у себя, то не иначе и не раньше, как пройдя через успокаивающую зону поэзии, искусства, религии, внутренней духовной жизни. Для создания свободных учреждений нужна *освобожденная душа, независимая душа*: возможно ли ее получить в теперешней политике? Мне кажется, наиболее «прогрессивным личным движением» в настоящее время был бы выход из этого всеобщего омута, отстранение себя от него, отстранение его от себя, некоторое *временное* одиночество в целях «собрать что-то целое в себе»... Это и не так мудро, и в пределах сил каждого. Нужно освободить себя от наркотизма «последних известий»... Есть голубое небо, есть прекрасно написанная «История Греции» Грота, есть, к сожалению не переведенные, «Études sur l'histoire de l'humanité» Лорана, бельгийского ученого. Наконец, нам, русским, имеющим такую роскошь литературы в прошлом, лучше в 3-й, в 4-й раз перечитать «Войну и мир», «Анну Каренину», «Капитанскую дочку», «Мцыри», чем еще альманахи «Шиповника» или «Земли», и в них «Францов Венецианов» и «Великих рыцарей Гуаков», т. е. какое-нибудь «В провале», «Крушение» или «Бездна» Айзмана, Миртова, Андреева и проч. и проч. и т. п. и т. п.

ОБ ОТРОЧЕСКОМ И ЮНОШЕСКОМ ЧТЕНИИ

Всякая хоть сколько-нибудь оригинальная мысль не только долго помнится, — но и не забывается никогда. От всякой новой мысли мы богатеем, развиваемся, — и каким-то вечным богатством. Но так скучно жить на свете, потому что «нового» мало что попадает. Все и везде одни и те же «культурные приобретения»: как турниры в средние века. Скучно, однообразно и серо.

Такую «новую мысль» о детском и вообще об ученическом чтении мне пришлось выслушать лет пять назад в речи преподавателя русского языка и словесности, произнесенной на праздновании 25-летнего юбилея женской гимназии г-жи Стоюниной. Речь шла вразрез с общими представлениями об этом чтении. Очень вдумчиво, очень мотивированно, наконец, очень заботливо (в тоне) преподаватель предостерегал от «увлечения» чтением. Не от чтения, а от *увлечения* в нем: и в этом смысле предостерегал как родителей, так и заведующих библиотеками, и особенно ученическими маленькими библиотечками. Обычно они руководят чтением учеников; и, обычно же, подталкивают их в чтение, поощряют и, словом, стоя у «специальности», гонятся обычным мотивом всякой специальности: «больше!», «скорее!».

«Не торопитесь», — останавливал их всех вдумчивый, хотя и молодой еще, преподаватель словесности.

Интересны были мотивы его.

«Увлеченный» чтением (именно *увлеченный*), ученик очень скоро теряет чувство реальности... Оно затуманивается... Мысль и интерес ученика,

прикованные к прочитанному, – неделями, месяцами и, наконец, годами прикованные, – так сживаются с «прочитанным», что весь реальный мир становится для него каким-то призрачным, малоценным, необязательным, наконец, даже неинтересным. Он теряет с этим миром реальную связь, координацию, согласованность с ним. Сильнейшие воздействия на такого ученика доходят до него как-то глухо. Между тем, в возрасте от 9 лет до 17–18 ученик не только ежедневно, но *ежечасно* находится среди воспитательных и обучающих усилий, направляемых на него и родителями, и школой: усилий обдуманных, организованных и которые если «разрушить» или «притупить», – то вообще уничтожается всякое «образование» и «воспитание». Уничтожится самая «школа» и «родители», в зерне, в существе, в духе, в идее.

Наконец, ученик теряет, так сказать, *осязание, чуткость* к окружающим людям и предметам... Или видит их в фантастических очертаниях, сквозь призму «прочитанного». Сам он тоже не развивается нормально и натурально: душа его, натуральная, собственно *глохнет*. Естественно воспринимая все прочитанное *пассивно* (как же иначе?), он в собственных, врожденных дарах *тупеет*; но это скрадывается и от него, и от окружающих тем, что он носит в себе или, лучше сказать, носит вечно с собою массу *привитых* взглядов, точек зрения, наконец, сведений и знаний... Он *кажется* богатым, а на самом деле *беден*... Беден умениями. Беден реальными мотивами жизни. Беден реальными привязанностями... У него *у самого* и мало вкуса, и мало любви к кому-нибудь, к чему-нибудь. Но и это все *скрадано* от него привитыми и в сущности холодными, безжизненными суждениями и «почитаниями», взятыми из книг.

Чтение, именно *увлечение* чтением сыграло огромную роль в судьбах образованного русского общества. Она была двояка. До сих пор эта роль была если не всегда, то слишком часто и ярко благотворна; но иногда она бывала вредна, и в особенности она *в будущем* может быть вредна.

Все зависит от уровня школы и от уровня окружающей жизни.

Само собою разумеется, что если школа дика и безобразна (увы, еще так недавно мы имели только такую!), то «увлечение чтением», уводя мальчика из этой школы в мир хотя и фантастический, но *всегда* благородный, не низший, – *спасает его душу*. Так были «спасены души» тысяч русских мальчиков в пору ужасной толстовско-дедяновской гимназии: спасены единственно обильным чтением, «до самозабвения». Затем, не цветет и русская семья... В семьях разваливающихся, неслаженных, в семьях праздных, живущих на недобросовестные средства, кутящих или флиртующих – чтение тоже было «единоспасительно», почти как «святая католическая вера» для «души грешника». Все это понятно само собою. Все это обширно догворит в себе каждый читатель.

В семье Кабанихи («Гроза» Островского), Скотининых, Кит-Китыча и т. п., и т. п., само собою разумеется, что для мальчика и девушки начать «много и жадно читать» – значило спастись из омута.

Да: но если позади и ниже стоит *омут*.

Но если школа здорова и нормальна, если семья также чиста и светла, то разрывать с ними связь и переходить все-таки в довольно *случайное* руководство книг опасно; во всяком случае – не нужно.

Не нужно просто потому, что это – *не* природа, разумея слово это в обширном смысле. «Природа» – это не одна ботаника и зоология, не только стадо животных и лес. «Природа» – для каждого *своя*, во всякое время – *своя* и *особенная*. Для детей «природа» – это именно семья; и как продолжение и развитие семьи, как начальный шаг перехода от семьи к обществу – школа, училище, учителя и воспитатели. Всему этому мальчик и девочка должны отдавать не только *пассивное повиновение*, «послушание и внимание» прежних лет и кондуктных тетрадочек: со всем этим дети и отроки должны находиться в живой, *сочной* связи, т. е. постоянно ярко осязать все это, слышать все это, видеть все это, думать над этим. Но условие этого – свежая впечатлительность, незатуманенность головы. Т. е. прежде всего – незатуманенность ее «чтением *с увлечением*». Последнее все-таки есть искусственный мир; мальчик *читает* о вещах, а не *видит* их; читает о предметах, явлениях, событиях, – не имея с ними никакой реальной связи, никакого к ним реального отношения. Он читает *вымысел* и о *вымышленном*: и это чтение растит в нем силы вымысла, фантазии, воображения, в то же время подавляя реальную восприимчивость, заглушая и засоряя способности видеть, осязать и особенно *любить* реальный мир, *привязываться* к реальному миру...

На гения, как Пушкин или Лермонтов, на великий талант Жуковского или гр. А. Толстого, – такое чтение произведет благотворное влияние. В автобиографии последнего поэта мы можем прочесть любопытные строки о таком «запойном чтении». Но когда в деле воспитания мы говорим о «примере», то всегда должны помнить, что это именно «пример» и только «пример», чаще всего *противоположный правилу, общему закону*. Пример – это *единичность, один случай*. Странна и даже дика была бы гимназия, приновленная к тому, чтобы в первый класс «принимать все Жуковских». Явно, что каждой гимназии суждено принимать в первый класс «обыкновенных мальчиков», детей горожан, обывателей, духовенства, купечества, свободных профессий, которые приблизительно тем же самым будут заниматься и сами. Сын адвоката, вероятно, будет тоже адвокат: и странно было бы готовить из него, по рецепту Манилова, – «Фемистоклюса», или по другим рецептам – мудреца, воздухоплователя, поэта или общественного героя. Если есть *дар* ко всему этому, дар ко всем этим великим вещам и естественно сам *великий дар*, – то он прорвется через все условия, прорежется через всякую обстановку школы и семьи. Ну, и пусть прорывается, *одолевая* ее... Льву – и *препоны* львиные. А то у нас большею частью с силами и задатками ягненка рвутся к львиному положению, но как сил-то нет, силы – ягнячьи, то и охают и стонут на «препоны»... Нет, уж *продерись* через них, как лев... Продерись через *обыкновенную школу*. «Обыкновенная школа», т. е. все школы всей России, оставя мысль «воспитывать Пушкина», должны воспитывать *обыкновенного хорошего человека*, с упорядоченными

нравственными, умственными и физическими привычками, с добрым и положительным отношением к реальному миру...

Первый шаг к этому – доброе и *положительное* отношение ребенка и отрока к его «природе», к своей детской и ученической комнатке, к кругу семьи своей, родителей, братьев, сестер; к кругу товарищей своих, сверстников; к кругу наставников и наставниц. Вот его «природа», которую он должен почувствовать, понять и привязаться к ней.

Но если от 10 до 16 лет он все «странствует по горам Кавказа» (повести Чарской в «Задуш. Слове»), или с индейцами сдирает скальпы с «светлокожих», или погружается с Жюль-Верном на дно океана, взлетает на луну и опускается в потухшие вулканы: то его «комнатка», его родные, его уроки, все учителя и воспитательницы покажутся ему до того «неинтересными»... Раньше, чем что-нибудь в этих родных *понять*, он их мысленно отвергнет; начнет смотреть на них тем полувывсокомерным, полунебрежным взглядом, к какому все в России слишком привыкли от героев 12–14 лет... Ну, какой папаша-адвокат сравнится с капитаном Немо... Мальчику никогда не придет на ум, что и сам-то Жюль-Верн, автор торопливо написанных книжек, был тоже ужасно скучен сравнительно с Немо и его судьбой... В разгоряченном воображении мальчика капитан Немо – герой, и притом *живой герой*, пусть даже мальчик и знает о вымысле; но *через книгу* он узнает столько о капитане Немо, так знает его интересную черту и гениальные замыслы, сколько он никогда не узнает о жизни и о душе своих сереньких «папы и мамы», которые все трудятся то на кухне и в детской, то около письменного стола и на службе, и ни на какую «луну» не взлетают... Мальчик никогда не поймет *серьезно* жизни своих родителей, он никогда не почувствует *серьезно* своей школы, наконец, и это главное, он *сам* не проживает *серьезно* своей жизни, увы, для тысяч мальчиков «обыкновенной», будучи с детства отравлен гипнозом, в сущности *ложным и вымышленным*, гипнозом страшных преувеличений и «печатной» идеализации, которой ничто реальное вообще не соответствует и ничто реальное не может же сравниться с ним. Из мальчика вырастет «бумажный герой», сам бессильный что-нибудь сделать, даже сделать *обыкновенное хорошее*, например честно исполнить всякое дело: но с преувеличенной требовательностью ко всякому, с жестокой критикой людей, с высокомерным взглядом на все окружающее...

И... несчастный из несчастных. Что может быть столь жалкое, как «обыкновенный Иван», махающий бумажными крыльями, которые его никак не поднимают к солнцу.

А ведь весь русский юношеский героизм таков...

БЕСПРИУТНОСТЬ МОЛОДЕЖИ

В письме г-жи О. К., предложившей основать фонд имени В. Ф. Коммиссаржевской для вспоможения учащейся молодежи, особенно останавливает на себе внимание то место, где она говорит о *бесприютности* молодых людей обоего пола, и главным образом тех, которые приезжают из провинции.

«Некуда пойти»... «Некому рассказать»... «Не с кем посоветоваться»... Эти три формулы так жестоко стучат в молодом неопытном мозгу... И они-то более всего рожают отчаяние, а затем и связанную с нею гибель... Не только денег нет: нет указания, нет работодателя, нет советника. Не дай Бог свести «помощь» к «даче металла»: плохая будет «память Коммиссаржевской»... Собственно молодежь нуждается в дружелюбии к ней, в привете себе, в связи с нею других классов и единичных людей, уже окрепших на ногах, служащих, работающих. В Петербурге и Москве есть такая масса учреждений и контор, такая масса всяческих «предприятий», что гибель молодого образованного человека или девушки от нужды и даже прямого голода является чем-то совершенно диким, нелепым... Гибель, очевидно, происходит от неорганизованности всего дела, ненадуманности его... и, в последнем анализе, от лени и равнодушия... всех и каждого. Очевидно, что никогда никому не приходило на ум посвятить жизнь этому делу и во что бы то ни стало – разрешить вопрос, очевидно совершенно разрешимый при внимании к нему и настойчивости. «Помогать трудом» всегда нравственнее, чем помогать деньгами. И «фонд имени Коммиссаржевской» должен, думается, представить собою не просто денежный мешок, откуда «отсчитывается» нуждающемуся студенту или курсистке, а организацию вообще в смысле материальной и духовной поддержки молодежи, поддержки бытовой и служебной.

Раз помощь пошла бы трудом, – ответно молодежь должна бы начать вырабатывать в себе, и вероятно начнет вырабатывать, качества *трудо-способности, ответственности и гарантии*. Никто, как сама молодежь, не сознает так ясно, до чего она слаба в этом отношении... Помню это из молодых своих годов: «Некуда пойти», да и «к чему я способен». Тут-то вот и нужно подойти к ней с одобрением: «Ко всему способен, если немножко подучиться»... Молодежь наша ужасно идейна и теоретична, и пропорционально – не практична и слабо-работна... Уж что греха таить – так. Но не по неспособности и не по нежеланию делать, – а по глубокому и чистосердечному неумению. Неумелость же всякая застенчива, стыдлива: и вот молодой человек на краю отчаяния, вместо того чтобы идти к людям, – дальше и дальше от них уходит, хоронится от всех, пока его не найдут где-нибудь повесившимся или утопившимся... Из этого тупика нужно выбраться, выскочить, – разломать этот тупик. «Ничего не умеете: но через полгода будете все уметь, лучше другого. Давайте учиться».

Тепла и света сюда: и мгла рассеется.

Студентам же нуждающимся, как равно курсисткам, давно следовало бы организовать в ответственные артели, в гарантирующие артели, с ручательством за своего члена при исполнении известных обязанностей и функций, от «репетиторства» до занятий в департаменте, канцелярии, торговом предприятии или банке...

К практическому труду, молодежь, – к честному практическому труду, в помощь старшим.

И, гг. «старшие»: ни один молодой человек или девушка да не войдет в наши дома со смущением: «Куда я пришел? Зачем? Мне тут все чужие».

ПРОФЕССИОНАЛЫ «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ»

(К всероссийскому съезду
по благотворительности в Петербурге)

Все пьют холодную, прозрачную ключевую воду; в насыщение, здоровье и удовольствие. Химики разложили ее на два «элемента», и ни один из них нельзя проглотить без неприятности или вреда. *Натурально* они известны только в соединении между собою; и хотя в *лаборатории* можно их разделять, но горе было бы, если бы они начали разделяться в *живой природе*.

Без *доброй жизни* нет *доброго человека*, и во времена более простые и патриархальные, более грубые и здоровые – «доброго человека» и узнавали только по *доброй жизни*. А эта «добрая жизнь» сводилась к немудреному образу такого сочетания живой фигуры человека с его поступками, что всем окружающим около этой фигуры становилось как-то хорошо, было тепло, уютно, удобно, ласково. С «добрым человеком» все сживались, и он сам как-то сживался со всеми. Первый признак «доброго человека» заключался в том, что он во все окружающее входил с участием, не скучая и не тяготясь, входил сам и без зову, и в то же время без навязчивости, был практичен, трезв, реален, натурален. И вот это «вхождение во все» и образовало «добрую жизнь». Пока живет такой человек, его как будто и не замечают, но вот он умер, и по той разом увеличившейся жесткости и неприятности жизни, которую вдруг все начинают ощущать после его смерти, все оглядываются на могилу его с безмерным сожалением и любовью!..

Не отвлеченным только, но и практическим.

«Холоднее стало всем: нет этого *доброго человека* между нами»...

«Стало скучнее жить, *недоверчивее* стало жить»...

«Все люди нынче как *чужие друг другу*. Вот, бывало, покойник Николай Семенович»...

И пойдут воспоминания, примеры.

В примерах не говорят: «Он отпустил сотню рублей», «он дал столько-то на то-то», «был богат и делился». О *настоящем* добром человеке говорят, как он свою *личность* и свой *труд*, и уже на последнем месте – свое имущество, влил в общую жизнь кругом себя. Припоминают его «добрый совет» и «указание», – указание без корысти и подвоха, как это слишком часто бывает среди «людей недобрых»... И припоминают денежную помощь или, точнее, материальную. Сам весь в поту и труде, около себя он давал труд и кругом. Жил, и вокруг него жили...

Как именно *живой ключ воды* в пустыне: откуда она бежит, – место маленькое, невидное, но далеко-далеко кругом и стада, и человек наклоняются над его водою, и пьют, даже не зная, откуда она взялась, и «благодарят Бога»...

Так было по-старому и попросту. Но людям показалось неинтересно жить «без науки», и как они разложили воду на два безвкусия и вредные

вещества, так разложили *единую* «добрую жизнь» на два самостоятельных начала, и получилась «христианская благотворительность».

Это – жизнь без добра.

И добро без жизни.

Вместо того чтобы *входить* во всю окружающую жизнь, *взаимодействовать* с нею, попросту, быть ее *живым куском, живым мясом*, все чувствующим и о всем содрогающимся, теперь человек только...

Стыдно сказать, что он делает.

Он раскрывает портмоне, двумя пальцами вынимает из него кредитку, красненькую, серенькую или радужную, смотря по длине шлейфа стоящей перед ним дамы или по ордену на груди разговаривающего с ним господина, и, вручив и пожав руку «благотворителю» или «благотворительнице», когда тот скрылся, произносит:

– Черт бы его (ее) драл!

И так раза четыре в неделю: богатые – каждодневно; очень богатые – по несколько раз на день; умеренные в средствах – раз в месяц. Отравленные этим «водородом», так не похожим на живую воду, люди «со средствами» к вечеру надевают пальто и калоши и раздраженно кричат кучеру:

– В «Буфф»...

– На острова...

– К Палкину...

– Куда-нибудь, хоть к черту, но где бы я увидел лица без этих подтянутых губ и лгущих глаз...

– Как у этой княгини с какою-то нашивкой на рукаве...

– Или у этого молодого человека, с усиками и в узеньком фраке, который не лжив только до пояса и в котором все ложь поверх, выше пояса: и грудь, и гибкая тонкая шея, и подлые усы и эти пре-под-лейшие мигающие глаза...

На что я им «дался»?.. Да, кто-то «умер» два года назад, и «в память его»... Или кто-то «празднует юбилей», и «в честь 35-летней полезной деятельности» его... Кажется, «на школу» или «на две кровати в больницу», а может быть, и «на стипендию», – *не все ли мне равно. Мне, мне*, который никогда *не увидит* больного, лежащегося, якобы, на «мою» кровать, и *не взглянет* на мальчика, ходящего учиться в «мою» отчасти школу... Ну, и пусть их учатся или лежат, но мне до того холодно, до того на душе скверно от этих отвратительных лиц «благотворителей», ежедневно стучащихся в дверь моего кабинета, что я ничего другого не могу сделать, как отправиться к цыганам.

* * *

Мне кажется, самых «кроватей» и «школ» не возникает так много, как ожидалось бы, потому что, ведь...

Молодому человеку с усиками надо заплатить.

И дама «со шлейфом» не может обойтись без известной «обстановки».

Есть даже основание подозревать, что и тот, и другая в высшей степени *ап-пе-тит-ны* до морального и материального вознаграждения!.. О, «пря-

мо» они ничего не получают. Но, ведь, сколько есть «каналов», – в *сложной* культуре, – чтобы получить совершенно окольным и почти неуследимым путем, что нужно: во всяком случае, будучи вечно в хлопотах по делам «благотворительности», т. е. *прямо и для себя* ничего не работая, не зарабатывая *прямым трудом* ни одежды себе, ни съестного, ни квартиры, – молодой человек садится дома за обед не только с отличнейшим аппетитом, но и с отличнейшею сервировкою... Как и его сухонькая, с острым глазком, мамаша, и две методические и строгие сестрицы, девицы перезрелые и сдержанно раздраженные. «Молодой человек» аккуратно обедает, аккуратно отдыхает, а вечером уезжает опять «по делам», связанным с «благотворительностью». И так все это катится вечно и не останавливаясь у множества «благотворителей», на множестве колесиков, что невольно думаешь:

– Нет, там чего-нибудь *недостает*, – в этих школах, больницах и кроватях, потому что, ведь, откуда же берутся пойло и корм для всех этих хлопотунов, *не создающих трудом рук своих* ни квартиры, ни обеда, ни фрака со светлыми пуговицами... Каналов много в сложной цивилизации, и нельзя удержаться от мысли, что от каждой кроватки «в больнице» отломят кусочек и от каждой стипендии мальчику удержат рубль на содержание и обстановку и, наконец, целую жизнь собственно этой армии «благотворителей». «Деньги в стране» – это как «влажность климата» в ней: там больше – здесь меньше, при «одинаковом количестве» везде и всегда. «Богатство страны» – это *постоянная единица*, и от нее нужно отнять некоторую дробь, чтобы вот *содержать*... столько людей во фраках и со шлейфами и, главное, самое главное, с распрекраснейшими *натуральными* аппетитами.

Единственное *натуральное* в этом кругообороте довольно извращенных вещей – это и есть аппетит... Уж где «правда», так тут.

Желудок никогда не притворяется.

Ни человеческое тщеславие, гордость, славолубие... Ни вековечное желание комфорта... Маленького, – себе, мамаше и двум сестрицам.

«Мамаша»-то и придумала для молодого человека «*emploi*»: «Служить не можешь, на содержание – еще как удастся, а *это* – дело верное, и сейчас»... «И, главное, – *связи, связи*, через которые достигается все»...

К ОТКРЫТИЮ ОБЩЕСТВА ОХРАНЕНИЯ ЖЕНСКИХ ПРАВ

Сегодняшний день в Большом зале городской думы совершается торжественное открытие вновь основанного *Общества охранения прав женщин*. Личный состав общества и его деятельность, судя по «сообщениям», которые будут сделаны при открытии, не будут исключительно феминистическими, с ограничением от мужчин. Так как, очевидно, «охранять права женщин» и усиливаться к расширению и укреплению этих прав могут не одни женщины, а совершенно в такой же степени могут работать на этом поприще и

мужчины, общественные деятели, члены Г. Думы, ученые и писатели, то общество будет вполне *смешанным*, полуженским и полумужским, хотя и будет иметь в виду одних женщин, именно укороченные и частью обезображенные права их, *юридическое* их положение в государственном и социальном строе. Но, разумеется, пылкую и патетическую часть нового общества, по понятным и основательным причинам, составят все-таки женщины. *Им* больно... а нам только *жалко*: мотив, далеко не одинаковый, чтобы поднять голоса к крику, требованию, к настойчивости.

Все живое, движущееся, все надеющееся в русском обществе, без сомнения, будет или делом помогать этому обществу, или станет следить с горячим приветом за его деятельностью. Область работы его – необозрима: начиная от членства в Г. Думу и от права с кафедры университета читать лекцию и кончая поднятием с улицы слабой, жалкой, больной и оступевшей в несчастном «промысле» сестры своей. Если подумать, какую прекрасную и с какими великими обетованиями сотворил Бог женщину, – с какою великою ролью в человечестве; наконец, если припомнить все нежные и глубокие слова, сказанные о ней в наших священных книгах, – и со всем этим сопоставить живой и конкретный образ проститутки, как *наличность* возможного и *признанного* положения женщины, то из души не может не вырваться кровавый вопль об ужасном злодеянии, «мало-помалу» и «незаметно» совершившийся над женщиною, над целою половиною человечества... «Что было... и что стало!» Это «было сказано и предречено» и это «стало в действительности» и есть настоящий пафос к основанию и к деятельности нового общества.

Дай Бог ему успеха... Если обетования Божии о женщине не напрасны, Бог невидимо прострет над ними покров. Да этот «покров» разве и не чувствуется все последние десятилетия, когда женщины с такой изумительной энергией двинулись к само-поднятию и достигли уже бесчисленных успехов.

Перейдем от общих пожеланий к частностям.

- 1) Права имущественные.
- 2) Права семейные.
- 3) Права образовательные.
- 4) Права трудовые и профессиональные.

Вот, так сказать, «вехи», по которым пойдет деятельность нового общества: так как именно здесь укорочены права женщин, укорочены не столько злобою, сколько просто невниманием, забывчивостью, небрежностью. «Некому было *напоминать*», «не напоминали *часто*», «не напоминали с *настойчивостью* и *требованием*...» Вот и все.

Еще недавно, в заседании Г. Совета 15 марта, председатель Совета Министров в речи о законе 9 ноября высказался против поправки, внесенной некоторыми членами, – о *праве жены* препятствовать продаже выделенных отрубных участков их мужьями... Можно представить себе те бытовые условия, в которых совершается подобный «протест жен», как равно и те бытовые картины, в которых выразится «затыкание рта» женам, проти-

вящимся продаже земли и хаты. *Разногласия*, конечно, не будет между женою и мужем, когда продажа совершается ввиду покупки лучшего, когда это есть одна из ступеней развивающегося и крепнущего благосостояния. Разногласие мыслимо только тогда, когда это не ступень к лучшему, а ступень к худшему... Когда один держится за хату, а другой ищет не столько продать ее, сколько «спустить»... И мы все знаем главный мотив такого «спуска»... Это – «зелено вино». Жена, протестующая против продажи хаты и земли, – это «последний якорь», на котором еще держится полуразбитое уже суденышко крестьянской жизни, при запивающем, заглушающем отце и муже... Сколько таких... Сколько крестьянских семей, держащихся исключительно трудом и домовитостью крестьянок!.. Сказать, что «и они пьют», – не значит возразить против того, что мужики во всяком случае в десять раз больше пьют, чем бабы. И вот это как бы лишение крестьянских жен участия в *праве собственности* на «отрубной участок», – что и означает собою бесправие их протестовать против его продажи, – это превращение положения «хозяйки дома» в положение «гости в доме» – без прав распоряжаться, без прав поставить «*veto*», без прав поставить преграду разорения себя и детей – вот *тихо оно проходит законодательную свою фазу*... И оттого, что некому вовремя громко заговорить и зашуметь об этом. Для мужского же образованного слоя это естественно полувопрос, не интересный, не горячий. Не по злу, а по *положению и вытекающему из положения равнодушию*...

Так *тихо* прошли и другие законодательные ограничения женщин, – в сущности по одному мотиву: «*некому было вовремя напомнить*».

Этот месяц ко мне обратилась с просьбою «еще раз поднять вопрос о наследовании $\frac{1}{7}$ и $\frac{1}{12}$ имущества после смерти отца его жены – вдовы и его дочерей».

– Но ведь *завещанием* отец может исправить несправедливость закона, – сказал я.

– Наша семья дворянская. И как я, так и сестра моя, получившая после смерти отца по $\frac{1}{7}$ доле того, что получили братья, не могли получить более этого *и по завещанию отца*, так как имение родовое и завещание не может изменить нормы законного наследования. Между тем и у меня, и у сестры дети: сами мы проживем и безбедно. Но, спрашивается, почему *дети* наши, напр. *сыновья*, получают после своего деда в семь раз менее, нежели внуки того же деда от его сыновей? Почему дети *дочери* так обделены сравнительно с детьми *сына*?

Мне это не приходило на ум. Едва ли это приходило на ум и законодателю: ибо здесь «обделенными» являются уже мальчики, которых, по-видимому, так охранял закон. Но, признаюсь, я почувствовал прямо некоторый страх, страх перед чудовищной *обидой*, когда она сказала мне следующее:

– Вот мы скоро наследуем миллионное состояние нашей тетки... Но закон гласит, что «сестры при братьях не наследуют», когда наследство от-

крывается не прямое, т. е. получается не прямо от отца. Я опять не могу не думать о своем сыне и о сыне сестры, которые из этого миллионного состояния, – и тоже родового, – ничего не получают, а оно пойдет детям наших двух братьев, из которых один был взят в опеку тотчас по смерти отца за свое поведение, а другой хорош для себя и детей своих, а нас, сестер, и знать не знает...

Действительно, когда закон так щепетильно распределяет десятки и сотни рублей в других случаях, когда он никого не дает «в обиду», как по существу и задаче влияния закон есть «защита» и «сама справедливость», то каким образом из валящегося благосостояния в миллион рублей он не допускает ничего пасть *женщине и ее потомству*, потомству и женскому, и мужскому, и все отгребает, все до рубля, *только мужчинам* и их потомству мужскому и женскому?! Достаточно произнести эту формулу, сознать это, чтобы, схватившись за волосы, закричать:

– Это безумие... или грабеж... Грабеж слабых и беззащитных: и без малейшего мотива.

Вернее же: все это *старо!* У римлян женщина вечно была «малолетнею», то при отце, то при муже. Но ведь у римлян был «gens», «род» и могучее, ветвистое родовое начало, *совершенно обеспечивавшее женщину* во всех ее положениях. У римлян не было «старых дев» с их горькой, одинокою долей; у римлян гражданки не выходили «по безработице» на улицу, продавать свою душу и тело. У римлян не было полуголодных сельских учительниц. У них многого не было, что есть у нас и что у нас не забудешь... У нас и *народно*, как объясняют историки, было «общинное начало», а не «родовой быт»: т. е. у нас жизнь течет страшно индивидуально. Каждый опирается *на себя*, а не на *род*... Кого это, кого у нас «род держит»? Слухом не слышать, видом не видеть. «Каждый за себя, а Бог за всех»... При этом историческом и социальном сложении явно права всех должны быть уравниены, как способы держаться на ногах, устраиваться, ковать себе судьбу свою, – работою, умом, ученьем, всячески.

«Неравноправие» мужчин и женщин – остаток римского (и затем германского) «родового быта»: которого *с самого начала у нас не было*... И убрать эти юридические аномалии, перенесенные к нам из совершенно другого социального быта, конечно, своевременно.

В РОДНОМ ГНЕЗДЕ

Мотивов, по которым живут люди в старости и в пожилом возрасте, – вовсе не существует для молодого возраста. Все живут «привычками», но молодой человек еще ни к чему *не привык*... Как же спрашивать с него, «почему он не довольствовался *привычною жизнью*». Между тем у старших всегда есть этот мысленный полуупрек, полунедоумение; у посторонних взрослых это переходит в гнев, в осуждение, в досаду. «Жил бы, как *мы*», «как *все*»...

Но, увы: юный самоубийца никак не мог этого исполнить по отсутствию требуемой «привычной жизни». Он учился... повиновался старшим, «слушался»... и кончил курс: к чему же тут «привыкать»? Это – состояния, случаи, этапы на пути: а не то собственное «соизволение», в котором, «раскидываясь на софе», человек между 35–60 годами образует «привычки» и «привычную жизнь».

Ее нет у юноши, девушки.

Как и нет *жизни бытовой*.

В ней растут дети, она есть обстановка их жизни, чаще всего даже несколько стесняющая их и потому враждебная, «несимпатичная» и проч. и проч. Но *из себя* бытовой жизни дети, отроки, юноши никакой не развивают, а потому и не могут отнестись вообще к бытовой жизни *активно, любяще, привязчиво*. Понятна наша любовь (35–60 л. возраста) к быту: мы его создали, он вышел из наших «привычек», из нашего «всего», и в этот «наш быт» прелестным пейзажем входят *наши дети*. Но тут ужасная наша ошибка считать для самих детей *хотя бы чем-нибудь* «быт нашего дома»: для них он только несносен, скорее всего несносен. «Чем-нибудь» и даже «многим», «страшно важным» он станет для них только *в их собственной старости, по воспоминаниям*; но не раньше... Раньше – это просто «чужое», «не мое». И тут – закон природы.

Привязанность, любовь детей... Конечно, – «к нам». Но тут родители и вообще родные страшно иллюзионны. Мировой закон, что из двух людей, связанных взаимною заботою, тот, *который* заботится, – привязывается к предмету забот своих, и чем больше было забот, тем и привязанности больше. От этого не только несчастные дети, больные, неудачливые, но даже и дети порочные, «с которыми было страшно много хлопот и огорчений», – до болезненности привязывают к себе родителей, до «глупости», «муки» и «смешного»; до – «преступления». Счастливые дети, с которыми мало было хлопот, – любят меньше; очень талантливые дети, «преуспевающие» – тоже любят мало, любят с дурным привкусом тщеславия (родительское тщеславие детьми). Что же открывают эти факты? Да то, что любовь *сопутствует активности*. Который из двух «во взаимной заботе» *был активен* – тот и *любит*. Но отсюда выступает печальнейшее и роковое следствие, что «предмет забот», остающийся все время *пассивным, инертным*... совершенно ничего не чувствует к заботодателю... и смотрит *по сторонам*.

Там его интерес.

Там его привязанность.

Там его возможная любовь.

«Свой дом», который так горячо и страстно следит за детьми, их развитием, их ростом, их судьбою, – который вечно испуган за их сытость, тепло и одежду, – на самом деле, незаметно для родителей, все время остается «холодным домом» для детей. И тут просто – судьба, *без всякой вины детей*. Собственно, родительскую о себе заботу дети сознают и даже *тепло*

ее почувствуют лишь в своей старости, когда у них будут свои дети. И «благодарность своим родителям» они выразят *не прямо по адресу*, – а вот в заботе о своих детях, и во всех тех теплых и мудрых словах, которые скажут им. Может быть, в этом устройении механизма связи поколений, где так много приходится родителям страдать, – выражен старый и известный принцип *экономии сил природы*: ничего не расходовать *непроизводительно*. В самом деле, родителям, которые зрелы и сильны, которые твердо стоят на своих ногах, *для чего детская любовь?*.. Да, «приятно» было бы... Но природа «приятностей» не устраивает, а только *неизбежности и нужное*. Не расходуя детское чувство в юности, природа *целиком* его сберегла, чтобы бросить все и неизрасходованным по адресу беззащитных будущих их детей, которые без оберегания этим чувством *не проживут*, не выжили бы. Вот и все... Детям – вечная любовь, и всякая. Родителям кое-что...

Вот отчего, когда произошло одно из «юных самоубийств», – или вообще произошла *трагедия* с детьми, не спрашивайте родителей: *почему* это случилось? как? *Менее* всего они знают об этом... Именно для них это «полная неожиданность», – совершенно чистосердечно. В подобных случаях самая жгучая, самая соленая капля капает именно на родительское сердце... о которых самоубийца в момент смерти *менее* всего думает и редко когда вспоминает. Разве что явилась надежда вернуться к жизни, и тогда он (или она) зовет «маму»... зовет как сиделку, как силу, как помощь, – как пособие и средства, но, увы, *не как друга*... Это ужасно, но все это нужно сознать. *Кто же* знает «обстоятельства и причину» смерти? Непременно – *возлюбленная*, если есть; будущая «жена», возможная «жена», – теперь просто девушка. А если нет ее, – «друг»... Товарищ по учению, по мечтам, по развлечениям. Как ни странно и до известной степени ни страшно, *школьное товарищество* стоит ближе, *интимнее* к юноше или девушке, нежели родители, день и ночь о них думающие.

Исключения из этого закона бывают, – ибо все органическое и живое не бывает единообразным: но именно – *исключения*, и только, не больше.

Юность имеет психологию, глубоко отличную от старости и зрелого возраста. И главная черта этого возраста – необыкновенная жажда *саморасширения*...

– Нет, что́ слава, даже всемирная... Народы умрут, история прекратится – и с ними исчезнет вместилище моего имени... А я хочу вечно жить... хочу тоскливо... Вот если бы которая-нибудь планета или звезда самым *путем своим*, от века установленным и имеющим вечно продолжаться, вычерчивала на небесах мое имя... как *вечное и неумирающее*... никогда, никогда...

Так вовсе не в фантазии, а в действительности мне пришлось подслушать одно совершенно молоденькое желание...

А сил-то нет...

Уменья – никакого...

И юноша (или девушка) живет, раздираемый между этою страшною жаждой расширения, собственно связанною с созревaniem организма, – и между полным бессилием. Отсюда, из этой коллизии, и рождается чаще всего в юных *отчаяние*. Как отсюда же рождаются и поступки героизма, необыкновенной смелости («отчаянная» смелость) или, напротив, преступления. «Показал себя», «изведал свои силы» (с сомнением о них): это очень часто стоит единственным мотивом за спиною преступника.

Этой зимою мне пришлось пережить кое-что потрясающее в здешнем окружном суде. Пришел по делу, конечно, – скучая и тоскливо. Хожу по тамошним бесконечным коридорам: и вдруг, встречно, прошли два солдата с саблями наголо.

– Кого же здесь они рубить будут? – скучая спросил я себя.

И вернулся... «Они» сидели перед камерою судебного следователя, и между ними «в арестантском» мальчик-юноша...

Пройдя мимо, я спросил служителя судебного:

– Это что? Кто это?

Он со страхом шепнул мне:

– Убийца.

Убийца! Мальчик!! И я вернулся и опять прошел мимо.

С лицом не озлобленным, скорее ясным и счастливым, но «удалым», – сидел отрок лет 16–17... Он был так красив, так одухотворен, с таким «идеальным оттенком» продолговатого, стройного лица, – что бери кисть и пиши...

А я-то думал, по Ломброзо, что это «выродки», «врожденные» преступники, с лицом угрюмым и низким, с неразвитым лбом... С тусклым и подлым взглядом.

Но, конечно, и *последние* есть; но есть и эти вот исключения, «пишущие на небесах свое имя»... или идущие в пустыню «стать светочем христианства»... поднимающиеся первыми во время штурма на крепостную стену неприятеля... или уходящие с «бубновым тузом» в каторгу...

Тут кровь кипит, тут сил избыток...

Старые турниры, даже старые русские кулачные бои, какие вспоминает Лермонтов в «Купце Калашникове», или война – приводят в *определенное русло* эту силушку сильную, силушку зеленую...

Но когда есть только «латынь» и «карьера» (непереносимое для «героя» понятие) – эта «силушка» разливается в обществе и народной жизни, без форм, по всему пространству... И то течет мирно, то вскидывается каскадом. Где, как – ни изловить, ни измерять невозможно... Невозможно предугадать и предусмотреть...

Но естественно и понятно, что этих каскадов тем больше, чем все в обществе больше застоялось, закисло, зачерствело...

АПРЕЛЬСКАЯ КНИЖКА

Дм. Кайгородов. «Наши весенние бабочки».
С красочными таблицами и рисунками
по акварелям с натуры Т. Д. Маресевой.

Спешите, дети, запастись к апрелю «Весенними бабочками» нашего старшего и юного, ученого и простодушного профессора Д. Н. Кайгородова, друга отрочества, матерей семейств и, вероятно, тех старых дедов-пасечников, что вынимают соты из ульев голыми руками, и их не жалят пчелы, так как они «знают слово» (заговор). В прелестной сиреневой обложке, с двумя вербами по бокам и шестью белыми бабочками, сидящими на прутьшке, книжка так и манит глаз, и хочется побежать в магазин и купить книжку раньше, чем прочитал содержание. Но, отвернув обложку, находим, что внутри книжки еще вкуснее, чем снаружи: начиная от бедных украшением «белянок», «желтушек» и «голубянок», переходим к знаменитым красотою (по-моему) «траурнице» (Vanessa antiopa), «павлиному глазу» (Vanes. sa io) и «с-белое» (Vanessa c-album). Сколько воспоминаний, как замер я, лет тринадцати, увидав медленно пролетающую «какую-то особую бабочку»... И вот она села... и медленно перебирает ножками по пруту... а на двух поднятых, средней величины, крылышках я увидел широкую «траурную» кайму, *настоящую* траурную: белая лента по темному, почти черному фону... Но не *черному*, почему-то *черных* цветов у бабочек нет, у жуков есть (почему? Боже, почему это?!). А когда я ее наконец поймал в сачок и, нежно взяв за тельце, рассмотрел крылья, я был ошеломлен красотою этого темного и не черного цвета, оттененного «трауром»... Создал же Бог... Поймать «павлиный глаз» и «адмирала» я не надеялся никогда... Но поймал... Но как настоящим волшебством я был поражен, увидав у «какой-то бабочки» в низу крыла белоснежное «С». и... *с точкою!!!* Прямо, точно из Кюнера и из наших гнусных «экстемпоралий», за которые я неизменно получал «2». Но как противен был весь латинский алфавит в тетрадках и в Кюнере, так одно-единственное «С» на крыле бабочки поразило меня почти религиозным страхом... Не меньше... Центром моего увлечения бабочками был сон: мне привиделось в грезах о не пойманных еще бабочках и жуках, что я ночью сижу у костра в лесу: и вот ко мне начинают слетаться (я знал, что «на огонь» летят «они»...) великолепные жуки... и из них один, дровосек, с такими длинными усами, как я и не мечтал. И такое счастье: летят, ползают, не боятся меня, и я разглядываю все их великолепие форм и цветов...

Сон был до того «явен», что поутру я не верил, что этого «не было».

Потом же я всех поймал: и изумительного красотою махаона, и чудесного полидария, и громадного белесоватого аполлона... Аполлонов даже несколько: они умирали и почти не «убегали» от ловящего, и я их брал руками, почти без сачка, дивясь, что они так медлительны в полете?! «Жизни бабочек» я тогда не знал, «Кайгородова» еще не было.

Прелестные воспоминания: и вот как-то ночью я поймал даже случай-но влетевшего в комнату сфинкса. Этот, как теленок: столько тела и так он не похож *по типу* на «легкокрылую бабочку». Толстое коническое тело, узкие, очевидно сильные, крылья. «Бука»... *Пропорционально* другим бабочкам, в сфинксе есть что-то странное.

Сфинксы все редки и чудесны. «Мертвой головы» я никогда не видал иначе, чем в сухих коллекциях.

Не собирайте, дети, коллекций, не убивайте и не засушивайте бабочек... Просто, это скверно: но, поймав в сачок, нежно, нежно дотрагиваясь, изучите, что нужно, «по Кайгородову» и выпустите. И так поступите со всеми бабочками и жуками «своей местности» и «текущего месяца»... Коллекция же пустое тщеславие, ей-ей не стоящее жизни «легкокрылых». Я убивал, составлял коллекцию и чувствую до сих пор это как грех перед природой. «Ну-ка, живого человека бы посадить на булавку». А все животные, все до человека, суть «неразвившиеся люди», и ива «дремлет», а к Пасхе пробуждается. Точно кивает с ив: «Христос воскрес»...

Спасибо Кайгородову; спасибо старцу-юноше: своим прелестным языком и, главное, необыкновенно свежим чувством природы и интересом к «ежедневному» в ней, к «теперешнему» и «здешнему», он дал неисчерпаемое удовольствие русским семьям...

Кстати, совершенно «к стилю вещей»: проф. Кайгородов «православный из православных», и, между прочим, ужасно любит «праздники», и не только не хочет их сокращения, но хотел бы еще увеличить число их. Я говорю: к «стилю вещей»: ибо ведь и самое-то дело его, работа и жизненный труд какой-то праздничный и воскресный. Я люблю все «выдержанные вещи», «хорошего стиля» и хотел бы увидеть третий сон, где убеленный сединами проф. Кайгородов, накинув на голову белое покрывало, как древние жрецы, совершает курение Аполлону, богу Солнца, и Деметре – Матери-Земле, и так как ему много лет и он совершенный «дед» (это я все вижу сон), то путает гимны языческие и христианские и то читает «Богородицу», то Деметре: «Ты, Мать всяческая твари»... Но кончим сновидения. Дети, бегите и покупайте сиреневую книжку, с великолепными рисунками в красках.

ОБЩЕСТВО ОХРАНЕНИЯ ЖЕНСКИХ ПРАВ

В вечер Благовещения, – того дня, в который у народа есть добрый обычай выпускать на свободу заключенную в клетке птичку, – открылось в Петербурге «Общество охранения прав женщины». Громадный зал городской думы был переполнен до духоты; но аккуратные и заботливые хозяйки вечера не допустили до давки и предупредили ту форму оживления, когда она начинается переходить в беспорядок. Явление, нередкое всякий раз, когда «собираются русские»... Былолюдно, жарко, но не было шумно.

Я люблю видеть, когда собираются женщины в большую массу, чтобы защитить «свое высочество» или протестовать против «былого и настоящего своего унижения», – с этой смесью надежд, гнева, разгоревшихся лиц и блистающих глаз. Всякое оживление хорошо, особенно в сонной России... Наши потомки уже не увидят этих вымирающих зрелищ поры «освобождения», как мы в свою очередь не видали уже сцен «крепостного права» и «чтения» по деревням знаменитого манифеста 19 февраля. Всякий век имеет свои специфические неудовольствия и удовольствия. Будущая «свободная гражданка» будет мирно вязать чулок или варить кофе мужу, тогда как «бесправная женщина» наших дней так красиво и шумно поднимает крылья, напоминая вещей Валькирий в опере Вагнера. Пестренские, голубые, пунцовые, желтые кофточки, и множество «реформ» (покрой платья) всех оттенков шумит, движется в «своем царстве», оглядываясь на гостей и поднимаясь общим подъемом куда-то вверх, в «надежду». Старые лица здесь выглядят моложе, чем обыкновенно, а самые молоденькие озабочены и приняли на чело ту «думу», которая завершает естественную прелесть их возраста. И все хорошо, и всему сочувствуешь, и на все радуешься...

Особенно потому, что находишься в точке средоточья движения, которое, конечно, во всем «успеет», и успех уже недалек. «Женское движение», которое я хотел бы в мысли своей всегда осложнить «детским движением», воспитательным и учебным, – есть самое оптимистическое движение последнего полувека. Оно не имело в себе «поворотов назад», этих жестких, безумных и бессмысленных «реакций», которые загрозили и изуродовали столько других «движений». Женщины переходили от успеха к успеху, от расширения одного права к расширению другого права. Женщины, действительно, долго были задавлены, «права» их совершенно бессмысленно были изуродованы донельзя, до очевидного преступления: и именно от того, что все это было совершенно для всех очевидно, – потом, когда наступила пора сломки «старого забора», он ломался шумно, весело, безостановочно, и в нем все приняли участие, почти включительно до детей. «Мала куча» шумело в воздухе... И «куча» сломанных вещей росла и росла. Шиньоны, кринолины, запуганная жена, избитая жена, выдаваемая насильственно замуж дочь, старые «свахи», «салопницы», пухлое «приданое», зятя Подхалюзины, женихи Подколесины и Кречинские, противные «тещи» – все сносилося в «великое кладбище прежнего домостроя», и на верху высоко насыпанного холма появилась новая девушка, в скромном простеньком платьице, с пучком книжек в руках, смеющаяся и радующаяся, потому что ни в ком она не видела более шелкающего зуба на свое счастье... Не видела презрения к себе, недоверия к себе.

– Мы все тебе радуемся. Мы все верим в твою натуру. Выбирай себе счастье: книги, труд, любовь, семью, деятельность...

Так, кроме уродцев и исключений, заговорили отцы, матери, мужья, женихи, сыновья...

И под доверием женщина счастливо расцвела. И посмотрите на гору труда и деятельности от сестер милосердия турецкой компании до учитель-

ниц деревенских школ, которую она построила вторым этажом на могиле бывшего своего унижения.

Вера все здесь родила. Когда «поверилось» в женщину, женщина ответила любовью, верностью и долгом.

Вот короткая и прекрасная история.

* * *

Новое общество именуется обществом «охранения женских прав», а не обществом «женского равноправия». Разница в названии, которая может промелькнуть мимо внимания читателей, но на которую нужно обратить внимание. Оно не собирается хлопотать о *расширении* женских прав, о завоевании *новых прав*. Задача его гораздо скромнее, но зато она совершенно практична. Общество будет практически, – *советом* и *помощью*, – охранять женщину в пределах существующего положительного законодательства. Оно будет устранять женское «бесправие», поскольку оно вытекает из темноты женской, неосведомленности ее в правах существующих. Такового, конечно, очень много, особенно в крестьянской и низшей городской среде. В речи председательницы, г-жи фон-Кубе, это и было выражено. Она, в заключение своей речи, прочла письмо, полученное ею из деревни, полученное по одному слуху, что возникает общество «охранения прав женщины»... Не имея – к кому прибегнуть, не зная – у кого спросить совета, – крестьянка жалуется председательнице на такое свое «положение». Она – замужняя; муж, загуливавший уже давно, теперь совсем отошел «на сторону», попросту «бросил жену», переставшую ему нравиться... Дело обычное и без мала что массовое... Но от «загула» муж не позаботился об одном: он не оставил ей «письменности», как в народе называют паспорт. Она сидит в деревне с детьми и старухой-матерью. В новом положении она могла бы, оставив детей на мать, пойти в город «в услужение» и зарабатывать средства на детей и мать. Но, значась «женою при муже», не может никуда выехать из деревни и остается без средств пропитания. Случай, действительно, чудовищный и, вероятно, частый по деревням. При уродливой нашей паспортной системе остаться «без паспорта» – значит остаться «без движения». А на месте какие же заработки? Вся деревня кормится «отхожим промыслом». Но как «отойти», когда во всяком месте, при первом же ночлеге, у несчастной «замужней женщины» потребуется «вид на проживание», выданный владельцем «жены», мужем. И сидят на деревне мать-старуха с покинутою мужем дочерью. И никто участия в ней не примет, прежде всего, по незнанию: «Как же тут поступить»? По незнанию... Да и кто будет хлопотать в «чужом деле»?

Госпожа фон-Кубе, – простая, добрая и отзывчивая женщина, без особенных умственных и общественных претензий, до сих пор полагавшая жизнь на заботу о содержащихся в тюрьмах, – года четыре назад пришла к мысли основать общество, которое подавало бы *практическую юридическую помощь* женщинам во всех случаях, где женщина оказывается в невозможно тяжелом положении по *незнанию* своих прав или по *неумению*, бес-

силую защитить их. Судебная помощь, юридическая помощь и, наконец, по обширному развитию у нас быта, обычая и администрации, где нужно, – помощь административная и просто житейская, – такова, по крайней мере, первая задача нового общества. Каждому ясно, до какой степени она нужна. Есть медицина и есть «пособия в несчастных случаях»: последнее может дать и фельдшерица. Вот исполнение таких «фельдшерских обязанностей», но не медицинского, а административного и судебного характера, – в случаях бытовых «ушибов», «поранений» и «отравлений», и примет на себя общество. Главная сфера его деятельности, поэтому, будет не в Петербурге, а по городам и весям Руси: везде будут основаны «консультации», т. е. попросту пункты, куда всякая женщина «в обиде» могла бы обратиться за разъяснением, советом и помощью. Конечно, все это бесплатно. У деятелей нового общества есть мужья и братья присяжные поверенные, есть, наконец, связи в адвокатуре, – и через все это оно надеется всюду разбросать такую судебную помощь.

Но «фельдшерство» самым делом и самою нуждою приводится к медицине, к углублению в тему и расширению темы: и новое общество, нет сомнения, очень скоро будет поставлено перед необходимостью от «охранения прав» перейти к хлопотам и заботам о «расширении прав». Юристы-советники очень часто будут поставлены в тупик перед «существующим» законом:

– Что же я сделаю, когда таков закон?

Это им придется выслушать не раз от губернатора, от исправника, от полицеймейстера, от урядника. Увы, в бездне случаев женщина, «по существующему закону», все еще есть вещь, а не лицо. «Вещь» при отце и матери, «вещь» при муже. При первых хоть до совершеннолетия, но «при муже» – до могилы или развода. Куда мы ни ткнемся в среде женской жизни, женского права или пока «бесправия», мы всюду наткнемся на эту тоскливую тему развода, – тему, никак недвигающуюся и точно парализованную. Семья, естественно, есть главная сфера жизни женщины. Школа, адвокатура, педагогика, врачебное дело, ученость, писательство – все это есть «случай» в судьбе женщины; «случай» в судьбе женщин особенно одаренных. Но «семья», это – общая судьба их, кроме вот именно только исключений. Между тем, – что не все замечают, – в каждой стране и у всякого народа, наконец, во всякое время и эпоху, – «каков развод, таков и брак», «qualis est divortium, talis est matrimonium». Давно следовало бы это взять в юридическую поговорку; давно следовало бы это намотать себе «на ус» духовным консисториям. Наконец, следовало бы это вдальбивать в голову будущим священникам на семинарских и академических скамьях, как и в университетах, на лекциях по каноническому праву. Буквально, развод есть тот руль, которым корабль семьи, во всей стране, направляется или в тихое плавание, в мирную пристань, или на подводные хитрые камни и потаенные мели, где он разбивается и гибнет... среди воплей и отчаяния «пассажиров», т. е. семейных людей.

– *Страшно* вступать в брак... Ведь развестись никогда нельзя, какова бы ни выпала жизнь в семье, каковою бы ни оказалась жена, наконец, каковою бы она ни сделалась уже в супружестве, после венчания, в зрелых или в старых годах...

Так говорит католик и договаривает про себя:

– *Подожду* делать предложение, хотя и надоела холостая, безобразная жизнь, холодная, бесприютная. Ведь из этой холостой жизни я *всегда* сумею выскочить: обвенчаться долго ли. А как повенчаешься, – *никуда* уже не выскочишь. Никуда и *никогда*.

И совсем шепотом, про себя:

– Брак – могила. Не вечность, это ошибка фразеологии: брак *вечен*, как могила. А холостая жизнь хоть и безобразие, но какое-то переменчивое, зависящее от меня: туда, сюда, такое, иное...

– Во всяком случае, *подожду* жениться...

– Или уж только *при очень большом приданом*: когда на средства жены можно премило устроиться, потихоньку и в стороне от жены...

– И чтобы в имуществе, которое будет мне принесено в приданое, она – эта будущая жена моя – нисколько не участвовала. Это дар мне за великий отказ быть свободным от ее поведения, от ее нравов, от ее сварливости, от ее безнравственности – до могилы. Я раб ее отныне по положению, по социальному положению, но зато буду господином ее кошелька. У жены – *никакой собственности*.

– Ни на приданое.

– Ни на наследство от родителя.

– Ни даже на плату за личный труд.

Жена работает, учит, шьет, лечит, но *плату* за это *получает ее муж*... Возможный гуляка и развратник, возможный деспот и грубиян.

Она лишена всяких прав – за право иметь от него детей, даже (в некоторых случаях) именоваться только его именем. Он на всю жизнь лишается права какую-нибудь девушку открыто назвать «своею», «подругою», «любимою» и за это отречение берет все имущество жены.

Любви, при этом насильственном, несвободном отношении, при отношении взаимного утеснения одним другого, не может быть иначе, как случайно и ненадолго. И у французов сложилась поговорка: «*Le mariage est tombeau de l'amour*» – «любовь умирает в браке», «брак – могила любви».

И как ни у кого, у них широко раскинулась холостая жизнь... Женятся под старость. «Жениться – перейти на пенсию», т. е. на процент с капитала жены.

Не имея капитала, девушке из общества невозможно выйти замуж. «Законный брак» – мечта каждой девушки, самой юной, красивой и богатой. Но «законный брак» уже давно во Франции не выражает ни любви, ни привязанности, ни даже уважения. Это – только положение. Положение «законного права» иметь «законных детей», оставя им имя и то же положение. Таким образом, это есть легализованная форма, единственная легализованная, осуществить для женщины свою натуру и назначение. Казалось бы, –

«назначение», указанное Богом... Но на самом деле оно глубочайше запрещено, кроме этой узкой двери с железным, вековым запором и около которой всякая ошибка смертельна, ибо она неисправима до могилы.

Мужчины не желают входить в эту дверь. «Опасно».

Женщины рвутся в нее. «Наше назначение!»

И красавицы, юные, с богатством, – выходят за пожилых, иногда за стариков, не любящих их, обещающих им только разврат давно изношенного тела... и «situation».

В результате – чахлое потомство, все более вырождающееся. И уродливое сложение нравов и нравственности целой страны.

Но в основе такая маленькая вещь, как «нерасторжимость брака», и выражаемая столь ласково и обещающе:

– Вы любите друг друга... Прекрасно... Но любовь вечна. Это священное чувство *не должно* никогда угаснуть. Мы вас благословляем, и притом навеки: вы до могилы *не можете* расстаться друг с другом.

Вставлены только слова «не должно» и «не можете»... Но когда все слагалось, когда история только еще начиналась и люди, наивные и свежие, действительно влюблялись какою-то «смертной любовью», – эти слова «не должно» и «не можете» даже и не заметили.

Между тем, они имели не нравственный смысл, а юридический. И когда юные пробуждались от угара первой любви, когда наступало трение жизни, показывались ее шипы и тернии, наконец, когда в истории самые натуры познались и способности к героической любви стало меньше, – «мужья и жены» увидели себя запертыми в крепкую клетку – о, куда более жестокую и неумолимую, чем в какую сажают тигров, пантер и волков! Бывали случаи, что тигр вырывался из клетки, но из католического «брака» еще никогда никто не вырывался.

Даже властительнейший английский король Генрих VIII смог вырваться из ненавистного брака с Екатериной Аррагонской только ценой реформации... Т. е. не раньше, как разорвав совсем связь с Римом.

Он разорвал эту связь. Англия стала протестантскою. И когда она сделалась таковою, – развод, этот знаменитый «divorlium», стал допускаться в ней легко. И вот результат: английская семья есть лучшая, самая крепкая и счастливая в Европе. Нравы английские, нравственность английская стали лучшими же в Европе. Рождаются в этом любящем и *свободном* браке дети самые здоровые, обещающие и талантливые.

Как и в Германии, и Голландии, – странах протестантских.

Тогда как на Францию точь-в-точь похожи по вырождению и разврату Италия и католическая Бельгия. Совершенно «французские нравы» сложились и в Польше, ко времени ее падения, хотя тут были совершенно другие язык, кровь и племя!

Но не торжественные католические службы, не звук органа, не отдающая тень «всблагословляющего» или «всепроклинаящего» папы тут играла роль, а два закона социальной *католической* жизни:

– Страшно вступить в брак! Ведь он нерасторжим!

– Но нужно же нам, женщинам, осуществить свое назначение. Сделайте нас матерями и затопчите за это в нас личность, отберите наш кошелек!

Эти два течения или два веяния, две тенденции, два позыва и убеждения – действуют в каждой семье, каждый день, во всяком городе, от Севильи до Варшавы. И что «тень папы» перед силой, властью, влиянием, значительностью!

Вообразать, чтобы *лично* французы, итальянцы, бельгийцы были ниже, грубее и циничнее англичан или немцев, – конечно, ни малейшего нет основания. Они не грубее, не ниже. Но дьявольская формула, к которой вообще у католиков свелся брак: «возьми мое тело и отдай кошелек» (мужчины), «на, бери мою честь и счастье – и дай мне situation» (женщины), – эта формула не могла не свалить всякую твердость, не сломить гордость, честь всей страны. «На заре туманной юности» купля-продажа, в самый первый день семьи – цинизм и торговля: поди, устой в последующей жизни...

* * *

У нас брак – средний между католическим и протестантским, как и все православие, уже по наблюдениям славянофилов, в фактическом, реальном своем содержании, как дух и жизнь церкви, есть колебание между формулами католичества и протестантства. «Не так твердо и резко, как у католиков, – но все-таки»... «Не так свободно, как у протестантов, – но науки не стесняемся, да и гнать в жизни никого не желаем». Вот два «православных» исповедания...

И развод – средний... До Петра Великого он был совершенно свободный, не по принципу, а по практике: *всякий священник* имел право написать мужу и жене «разводное письмо», – собственно, по библейской формуле, – в силу которого брак их становился расторгнутым. В России, вообще, «следовали друг за другом факты», а не «развивались идеи». При Петре Великом церковь централизовалась, и старое право священника было перенесено на «духовную коллегия» или Синод, который чисто практически и под действием неразумных государственных пожеланий и требований «перестал писать разводные письма».

Перестал – и просто! Никакого ответа за это, ни рассуждения об этом.

Поднялся вой... Нужно очень различать *боль* индивидуального существования, «разбитой жизни», которая вытекает из закрытия развода, и *социальное разложение*, отсюда получающееся. Последнее никакой боли никому не причиняет и никогда не приписывается той или иной постановке развода:

– Браков в стране стало меньше.

– Поколения, как будто, все хилеют.

– Женятся не в молодых годах, а больше в средних летах, а то и под старость.

– Старых дев много.

– Повышается приданое.

– Шумят трактиры. Улицы переполняются проститутками.

Но никому не придет в голову:

– Все это оттого, что развод страшно стеснен; доступен избранным и богачам; тянется годы.

Связь эта только в последние годы начала усваиваться обществом; когда она войдет в головы духовных, – и консисторий, и канонистов, – и представить нельзя. Они слишком мало заинтересованы в *понимании* всего этого дела. Между тем, практическое положение развода зависит, конечно, от них, и только от них. И, вот, здесь «юридическая помощь женщине», – именно помощь ей, как *семьянине*, – может разбиться, да и будет непременно разбиваться о глухую стену. Здесь нужна не «осведомленность о своем праве», но переработка самого права.

И новое общество от пассивной роли «согласования жизни с законом» вынуждено будет самую жизнь перейти к роли активной, творческой. От «охраны прав женщины» оно перейдет к «охране женщины», – и станет возбудителем отмены прежнего, в законах утвержденного, бесправия.

ПОЧТИ НЕПОПРАВИМОЕ ДЕЛО...

Если какой воз никак не умеет «сехать с места», то это – развод. Еще в царствование Александра I, во вторую его половину, когда везде был дух и направление Аракчеева и Фотия, члены тогдашнего Государственного Совета, конечно вполне «правительственного», высказались однажды по поводу развода, почти вовсе переставшего даваться после усилий в этом направлении известного кн. Голицына, обер-прокурора Синода и министра духовных дел. – «Что же делать, – говорили убеленные сединами старцы-государственники, для себя *лично*, конечно, не нуждавшиеся ни в каких разводах, – что делать мужьям ввиду все более и более увеличивающегося распутства, мотовства и во всех отношениях отвратительного поведения жен и вообще женщин общества? Став под защиту закона о нерасторжимости брака, они повели себя так, что от родовых накопленных состояний их мужей скоро ничего не останется, а семейная жизнь общества превратилась в посмешище. Девицы так подготавливаются родителями и так ведут себя, чтобы какими бы то ни было способами, но только выйти замуж, как и за кого – почти безразлично: потому что нерасторжимый по закону брак *тем самым* по закону никого не связывает в поведении. Раз она замужем, муж ничего не в состоянии с нею сделать: кроме как убить или избить ее. Но за первое он ответит, а ко второму никто неспособен с женщиною, притом избранною им же, по естеству человеческому и почти всеобщему. Что же делать мужьям? Они отъезжают от жен в другое имение, если есть оно; а нет, уезжают куда-нибудь. Жены же, вполне обеспеченные отданною им половиною состояния, наслаждаются привольною жизнью, имея честное и уважаемое поло-

жение замужней женщины и не стесняемые маленькими детьми, число которых при отъехавшем муже не перестает расти. Ныне все роды и семейства перемешались, – так как при законом установленной нерасторжимости брака жена может иметь детей от кого угодно, – и все потомства перемешались и не удержи́мо все более перемешиваются. Сие положение кажется быть невозможным*.

В браке Пьера Безухова с красавицею Елен, дочерью «князь Василья», в «Войне и мире» Толстого, нарисована картина этого тогдашнего брака, начала XIX века. Но как положение брака не изменилось и «повод к разводу» все тот же *один*: «застать *со свидетелями на месте преступления*», то брак и к середине XIX века остался тот же: и Тургенев в «Дворянском гнезде» опять нарисовал ту же картину. Жена Лаврецкого уезжает в Париж, где кутит с актерами и художниками; а «закон» насмешливо указывает мужу: «Что же, возьмите свидетелей и поезжайте в Париж. Если, на ваше счастье, вам удастся, но только прихватив этих свидетелей, застать вашу жену *на месте преступления*, то мы расторгнем брак, *оказавшийся прелюбодейным*. И разрешим вам вторично вступить в брак, а прелюбодейную жену вашу приговорим к вечному безбрачию».

И хотя все это было похоже на насмешку, и даже прямо содержало в себе насмешку, но...*как же и кому об этом скажешь?*

Единичный человек – всегда бессилие, слабость; слаб «skonфуженный человек», каковым не может не чувствовать себя всякий обманутый и осмеянный муж. Тут дай Бог сил дотащиться до суда или обо всем этом «рассуждающего» учреждения... А «учреждение» – в 2–3 этажа, громада, внушительность и представительность. И там «сонм» лиц, «уполномоченных» от государства и действующих «по закону»...

Только по закону: что же было тут делать Лаврецкому или Пьеру?

– Не запрещаем-с... Рекомендуем-с... Ловите, но – *только со свидетелями*. Дайте *протокол*: и будете счастливы.

– Но ведь в Париже... Где тысяча гостиниц... За запертою дверью. Замок, сторожа; в комнате всегда две двери. Нельзя... Не могу... Невозможно!

– В сии подробности мы не входим. Как угодно. Но *без свидетелей и протокола* – нельзя.

Мужья стали утирать слезы...

Потом догадались: просто перестали жениться, когда брак есть явно «вовлечение в невыгодную сделку»... И в «Крейцеровой сонате» тот же Толстой описал, как девицы, эта определенная, им описанная, и вообще все, помощью джерсеек, выставленных бюстов, оголенных плеч, а то так кокетничая умом и «душою», доводят кого-нибудь и вообще кого угодно до этой «явно невыгодной сделки»... после которой женщине «все открыто и возможно», и вполне безнаказанно.

* Мнение подробно приведено мною в моей книге «Семейный вопрос в России», том второй.

«Нерасторжимость брака», или сведение к *фикции* его «расторжимости» через требование свидетелей и протокола – это и есть открытие полной *ненаказуемости* в браке собственно преступлений против брака же, против жизни брачной. И притом через это устанавливается ненаказуемость не только судебная, юридическая, но и нравственная, в виде «суда общества»... Только бы «повенчалась», а там «кто же будет судить?»... Могут быть слухи, разговоры: а так как «обо всех идут разговоры», – ибо *всеобщее положение таково*, – то, естественно, они идут в тоне извиняющей шутки. Кому, *кроме одного мужа*, неудобна такая жена? М-те Лаврецкая на отъезде?... Елен Безухова? Напротив, всем «приятна»... *Мешать она решительно никому не мешает*.

Муж одинок... Всем смешон. Он, естественно, старается прятаться, уходит от общества. Потому что и в самом деле *он обществу глубоко не нужен*.

Совершенно противоположно своей жене!

Какие же идиоты из мужчин находятся еще, чтобы жениться? Находятся... верят... надеются... увлекаются. И не всегда обманываются: объявите в стране, что все люди могут *безнаказанно* резать друг друга: и все-таки большинство не будет резать, – огромное большинство, почти все те, которые теперь не режут. Преступность – в нервах, а не в законе. И хотя закон сказал: «Только повенчайтесь, а там живите как угодно и хоть все вповалку», все живут парами, и даже вообще верно, потому что это врожденно.

Поставлена, законом, перед всеми помойная яма: «пейте». Но все проходят к колодезю и пьют оттуда.

Эта-то *фактическая* верность и скрывает все, всех людей обманывает некоторою формою благочестивого и благородного обмана. «Столько семей верных, – и люди продолжают и продолжают вступать в брак, совершенно не видя, что *юридическое* положение брака в стране, его законодательная постановка такова, что, собственно, из *мужчин ни один не должен бы вступать в брак*.

Верят *лицу* (невесте): и не приходит на ум, что, повенчавшись, она становится в такое положение, что лишь при *нежелании* может не зарезать морально и всячески мужа, а «по закону» может сколько угодно «полосовать» его.

«Нерасторжимость брака», по закону и принципу, есть введение карамзовского «все позволено» в брак; т. е. это есть упразднение, разом и в одном слове сказанное, в одном учреждении сделанное, всей нравственной атмосферы брака, всякого его этического смысла, даже всякой его бытовой, практической возможности. Только «лица» спасают... Николай, Марья... В законе же не только всякое «спасение» уничтожено, но уничтожена самая возможность его найти, его начать отыскивать.

Еще иными словами: «нерасторжимость брака» в слове, принципе и законе есть своеобразно выраженная формула уничтожения самого брака... подрыв всех его идеальных, идейных основ и столпов.

Подвинуть вперед «воз» развода *никому* не удастся оттого, что это вовсе не «афоризм» какой-то, как многим кажется, а часть и член духа и *системы*. «*Не надо брака вообще и никакого, не надо семьи*», – это внутренний, *чистосердечный* голос аскета, голос самому себе, голос о самом себе, не внешний, не для мира и народа. *Внутреннейшее* убеждение самой природы; ведь если бы этого инстинктивного, в крови и нервах содержащегося, *отвращения* к «касанию женщины» не было, то вовсе не родилось бы и самого аскетизма. *Откуда* же ему взяться?.. Но никто через тень свою не может перескочить. *Аскеты*, праведные, великие, совершенно не могут смотреть на брак иначе как на гадость; таков их *вкус*, таково и их *убеждение*. Но раз это «гадость», которой «зачем быть», то «клади в него всякую мерзость, и чем больше, тем лучше». Вот психология, вот вся психология борьбы против развода. «*Никакого* выхода, какая бы мерзость ни творилась... *Задыхайтесь*». Просто они не могут иначе ни постигнуть, ни поступить. И глубоко искренно, наконец, *совершенно честно в отношении своей* личной природы. «Ну, что же делать, если *чувствую*, что это отвратительно: касаться женщины, иметь детей, прилепляться к жене. Как *чувствую*, так и поступаю. Мужья коснулись, не устояли. Пусть и глотают эту гадость, какую им принесло гадкое дело, вообще *все* гадкое и *в основе* своей гадкое. Кто полез в муть, не ищи спасения; кто надел веревку на шею, не жалуйся, что давит. Мужья и жены приходят к нам и говорят, что давит, но ведь они *сами ее надели*, не послушались наших предупреждений. И против *своей природы* мы никак не можем пойти и не можем с них снять веревки».

Вот логика. Ее надо постоянно держать в уме, чтобы понимать здесь частности, понимать «текущее», в законах, словах, в усилиях борьбы с одной и другой стороны.

В свете этой логики чувства как понятно вчерашнее известие, принесенное газетами («Нов. Вр.» № 12232): «Св. Синод, при рассмотрении проекта о поводах к разводу, *не согласился с предложением особого совещания, чтобы* не только прелюбодеяние одного супруга, но и *обоюдное прелюбодеяние супругов можно было признавать достаточным основанием к расторжению брака*».

Гниет дерево с обеих сторон... На это жалуются государство, общество. Но слышат в ответ: «И пусть *с обеих сторон*... Скорей дойдет до сердца, и тогда оно *совсем упадет*»... Голос пустынь еще Сирии и Фиваиды, в духе которых воспитавшись, выросши, только и можно было повторить этот принцип. «Не нужно его, вовсе не нужно, ни в корне, ни в ветвях. Рубить его нужно, не спасать; не поливать, не отрезать гнилые части. Чем больше тут гнили, именно больше в этом одном дереве, в проклятой осине семьи, нам по *духу* и *вкусу* отвратительной, по мозгу и крови нашей, тем лучше. Мир должен кончиться, сгореть в грехах, отравиться в миазмах натуральной нечисти. Не мы же станем заливать пожар и освежать воздух и разгнать смрад. Не для этого пришли в мир»...

Тут споры напрасны... И глубоко бессильны.

Г-н Н. Морозов замечателен четырьмя вещами: 1) тем, что он 20 лет просидел в Шлиссельбургской крепости, 2) тем, что, выйдя из нее, он немедленно женился, о чем говорил весь Петербург, 3) что он нелепо объяснил Апокалипсис и 4) что Репин написал с него изумительный портрет, но *сбоку*, так что *глаз* не видно, «глаза» портрета ничего не говорят... Этими четырьмя поступками он составил себе быструю репутацию колеблющегося смысла, но настолько громкую, что куда бы ни появился, что бы ни написал, все бегут смотреть или спешат читать: «А, да ведь это Н. Морозов», «который 20 лет просидел в одиночке, вышел и женился». Признаюсь, репутация его мне не нравилась, и в особенности казалась нескромною явная претенциозность в науке, которую он хотел «переворотить и обновить»... Он о чем-то совещался и что-то оспаривал и у Д. И. Менделеева насчет его периодического закона элементов, и тоже «не соглашаясь», «оровергая» и «открывая новое». — Но вот однажды я увидел его на одном литературном чтении, в память умершей Марии Добролюбовой, — сестры милосердия, мечтательницы и радикалки, — девушки редкой духовной красоты, судьбы и странности. Тут «сверх программы» он прочел «новое свое стихотворение»... о том, что «птички умирают зимою, и если бы зимы не было, то и птички бы не умирали». Ничего в стихотворении не было, но публика хлопала ему до одурения, как «шлиссельбуржцу». Вдруг пристав встал со стула и «запретил дальнейшее», так как прочитанное «не было обозначено в программе», в сущности же потому, что уже тогда началась реакция и в публичных чтениях все «времена года» были объявлены «недопустимыми»: весна «как обещание», зима — «как застой», лето — «потому, что оно очень жарко и напоминает революцию», а осень — «как ни то ни се», т. е. жалоба на правительство. Распорядители вечера, конечно, подчинились... произошло волнение, смущение, грусть... и тут, выйдя, в прихожей или аван-прихожей я увидел совсем лицом к лицу Морозова, который извинялся, что все произошло по его вине, совершенно непредвиденной...

Ах Репин, Репин... Вот «судебный следователь» в портрете!..

Он посадил его так, чтобы не видеть и не рисовать *глаз*. В *портрете*??!! Вероятно, единственный случай в истории, что, *страстно* захотев рисовать портрет, великий портретист отказался рисовать *глаза*. Репутация огромная... биография мучительно любопытная... и *нисколько не любопытные глаза*, да и все «en face», именно то, что *упустил* Репин, *выпустил* из портрета. Но отчего же он *так* захотел его рисовать? За его *глубоко-прекрасное* «все»... кроме «en face». «Стрелы» нет в глазе... да и никакой «стрелы», вообще... Это — лицо самого обыкновенного человека, но действительно изумительно прекрасного в том очерке «обыкновенного и простого», что, кажется, составляет сущность буржуазии и вообще «жили-были». Тут я понял, отчего он сейчас же женился, как вышел из Шлиссельбурга: он сделал лучшее дело жизни, и даже такое, к какому и 20 лет назад его вела

«путеводная звезда», но он тогда оступился, по рассеянности и наивности, и попал не «под венец», а в крепость. Но по покорности, доброте души и опять же наивности просидел все 20 лет, даже ни разу не рассердившись (что более всего старит человека), и вышел... молодым, все так же неопытным, и начал «разъяснять Апокалипсис».

Но вот однажды, разрезая новую книжку «Вестн. Европы», я увидел «Письма из Шлиссельбургской крепости» и, прочитав несколько строк, так был обвеян нежным и благородным тоном их и весь захвачен ласковою, любящею душою автора, что читал дальше как лучшую, мне попадавшуюся, беллетристику. Все письма – к матери, написанные с 1897 г., когда ему разрешено было писать ей два раза в год и получать от нее ответы. Двадцать лет назад выхваченный из семьи, он оставил отца и мать еще свежими и брата «Петю» и положительно бесчисленных сестер – маленькими девочками. И вот теперь, получив право письма, он с необыкновенной жадностью бросается к ним с вопросом: «Как? Что? Какие перемены?»... Получает от них письма и фотографические карточки... отца – уже давние, выцветшие, и догадывается, что он умер. Догадка подтвердилась из дальнейшей переписки. И мать ослепла: «Это то мелькание у вас в глазах, мамаша, которое уже тогда мне внушало опасение, когда я был с вами». Остались сестры и брат: он требует себе фотографию молодой жены брата и отвечает, все любяще, о впечатлении. Затем сестры – я упомянул только «Груша», «Варя», «Тоня», «Верочка», «кузина Маша» – но, верно, есть и больше, без числа – они все вышли замуж, у них родились дети, и вот один слаб здоровьем, другой рассеян в учении, у третьей сестры умер муж, и она осталась бездетна – и он погружается в жизнь их и интересы с такими подробностями, что дух захватывает. И около них – старые родовые «Борки», и пруд, на котором «вместе с братом мы учились мореплаванию», и воспоминания общего детства, все одно за другим, цепляясь друг за друга. «Более всего, – пишет он овдовевшей сестре, – мне грустно, что у тебя нет детей, для которых ты теперь могла бы жить. Если бы они были, и тебе было бы несравненно легче. Когда я подумаю о том, что во многих семьях прямо бояться иметь детей, мне всегда кажется, какой это безумный страх! Ведь, рано или поздно, придет старость, и тогда, а может быть и несравненно ранее, в каждой семье наступит время вечной разлуки, и что же останется тогда тому из двух, кто переживет? У меня была маленькая дочка, умершая от скарлатины»... Напротив, другая сестра вышла плодородная: «Как твоя семья, милая Катя, по числу детей походит на нашу! Воображаю, что за чудесная лесенка выходит, когда поставить рядом всех твоих детей – Тоню, Шуру, Маню, Колю, Мишу, Петю, Катю и Андрюшу. Ты пишешь, что с маленькими детьми много хлопот, но зато сколько и радости, особенно когда подрастут! Мне всегда нравились семьи, в которых много детей, и, когда мне приходилось в них бывать, я всегда любил возиться с детьми, и дети меня всегда любили. Раз, качая одну пятилетнюю девочку на руках, я...» И т. д. Тоня – на протяжении уже писем (по два в год) вышла замуж, и у нее роди-

лась дочь Леля. «Теперь я и Петя – мы превратились в дедушек», – пишет Н. Морозов, т. е. превратились через роды племянницы. И когда я читал об этом чувстве *рода* и *родовитости* (не в смысле аристократизма, никому не интересного, а *племени*, что всем нужно) у шлиссельбургского узника, я подумал: «Ну, русские еще постоят за себя – у нас этого не меньше, чем у древнего Израиля». Увы, только *бывает* не меньше, а не то, чтобы *есть*.

С этим связывается чувство «своего места», – к своим «Боркам», и маленькому городку Мологе, и «старому пруду», ко «всему своему». У шлиссельбургского затворника, у которого «нет своего», кроме этой тюрьмы-могилы, развертывается с величайшей жадностью и... *поэтичностью* чувство *своего* – «у вас, милая, дорогая мамаша», и «брат Петя», и вы, «сестры». То, что умерло у социалиста, в этой омерзительной слякоти «всеобщего», – вдруг родилось, столь ярко и *свято*, когда он ушел почти в могилу и выглянул глазом в этот свет, *наш*; для него почти – «в *тот* свет», как бы обратно – загробный. Это удивительно читать; может быть, это единственный, до нас дошедший, клочок литературы по *поучительности* в известном отношении. Письма, в их *необычайной* свежести, напоминают мемуары и дневник «Робинзона Крузо», который тоже был отрезан от всего света; напоминают и тоном доброты, беззлобности, – мне хочется сказать, – благочестия. Ибо так чувствовать, будучи запертым в безнадежный каземат, – благочестиво в лучшем смысле слова. И вот спрашиваешь себя: за что же, за какую ерунду этот прекрасный и всесторонне способный человек, способный не умом только, но и сердцем, душою, отдал свою жизнь, свою биографию на раздробление?

Страшно...

В сущности, он отдал ее за *могилу*; за это вот «всеобщее»; за оранье о каких-то «общих условиях существования», «для всего человечества», и которые на самом деле нужны только свинье, а не *индивидуальному человеку*.

Человек есть *лицо*, т. е. каждый человек есть *единственное в мире, однажды* рожденное на землю; и это лицо может удовлетвориться только «своим», т. е. индивидуальной обстановкою, индивидуальными условиями жизни, индивидуальной биографией. Да вот Морозов: прожил же такую *индивидуальную* жизнь, написал такую *индивидуальную* книгу... А *общей* жизни, хотя бы спокойной и удобной, ему было *не нужно*.

Но он никогда этого не поймет. Недаром Репин написал его без глаз, в профиль... в сущности *без лица*. «Индивидуальное» Морозова лежит в его сердце, душе... и как оно прекрасно!! «Мысль» же шаблонна, обща: и от этого он ушел в обобщающий «социализм».

И книжку писем он издал едва-едва... Сказав о ней в предисловии, что «ведь кому это не интересно – может ее не читать». Страшно его разочаровывать и сказать, что «Письма» его будут *вечно читаться*, как один из прекраснейших цветков русской литературы, тогда как «Апокалипсис» («Откровение в буре») и «Физико-химия» читаются только из вежливости к «шлиссельбургскому узнику», который вместо того, чтобы с ума сойти, как, вероятно бы, и со многими случилось, над чем-то копался и что-то писал...

Необозримые воспоминания о своем детстве, страницы об Англии, и особенно та, где, прощаясь с нею, он кивает головою девушке, стоявшей на высоком утесе, рассказы о страсти «куроводства», охватившей шлиссельбуржцев, о посещении их 77-летней Дондуковой-Корсаковой, и множество других – все читается с захватывающим интересом, и сердце бьется. Но пусть читатель перечтет сам. Я же на прощанье кину только четверостишие, сложившееся у него, когда тронулся лед на оковавшем крепость Ладожском озере:

Лед идет, и холод свинский,
Тучи мрачны, ветры злы,
И сбежал домой Демчинский,
Растеряв свои узлы...

т. е. «лунные узлы», предсказывающие не столько натуральную погоду, сколько «погоду Демчинского». В крепости, оказывается, о всех научных и литературных новинках знали.

ДВА «ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА»

Депутаты в Таврическом дворце, особенно первых двух созывов, выслушали много упреков себе в том смысле, что они не умеют «государствовать», а все литераторствуют, т. е. не более, как отражают в себе и своих «партиях» бывшие разделения русской журналистики на левых радикалов, с «Современником» и «Русским Богатством» во главе, правых – во главе с Катковым и Победоносцевым и, наконец, центр, от октябристов до кадетов, которые выражают собою славянофильство, с Аксаковым во главе, и западничество с главами от Герцена до Стасюлевича... Но и эти слова, которые были упреком, приходится взять назад, как похвалу, не идущую к лицу. Можно ли с былыми передовицами «Московских Ведомостей» эпохи Каткова и Леонтьева сравнивать какие бы то ни было речи «правых»... Что же касается до выходок Пуришкевича, то до них все-таки не доходил даже Асоченский. Асоченский был остроумен. Убийственную сторону бессарабского депутата в Таврическом дворце составляет то, что он груб и зол, но нимало не остроумен. И, в сущности, давно утомил своей монотонностью и единообразием.

Но оставим его. Говоря о всех и говоря, наконец, о «работе» в ораторском зале и в самих «комиссиях» Таврического дворца и сравнивая ее с работою *печати*, насколько она выразилась и принесла уже *пользу*, – нельзя не прийти к выводам довольно печальным. Печать все время работала под страшным давлением цензуры; Таврический дворец работает без всякой цензуры. Печать была стеснена, угнетена; имела над собою кары и тюрьмою, и штрафами, и «запрещениями», и «закрытиями» целых органов своих. Над депутатами никакой кары не висит. Наконец, печать о всяких вопросах говорила лишь

«по отмеренному», т. е. по отмеренному администрацией, насколько та позволяла и хотела: она была буквально «лошадью в поводу», не имевшего никакой возможности оторваться от повода. И все-таки...

Энергией, ловкостью, приспособляемостью, – приспособляемостью не в своих видах, но имея в виду единственно, как выражается официальный язык, «драгоценную родину», ее нужды, ее потребности, ее благо, – печать достигла невероятных результатов как в направлении *освещения* действительного положения России, так и в направлении *поднятия множества вопросов* колоссальной важности и, наконец, понуждения администрации заняться этими вопросами и некоторые из них разрешить. Работа печати, до такой степени угнетенной, несравнима с работою Государственной Думы, совершенно свободной. И именно в смысле важности поднятых вопросов, поставленных задач... Крылатая печать, бескрылая Дума – это само собою говорится в душе. Это есть истина.

И между тем уже одно то, что «слова и мысли» Думы могли бы быть «делами» ее – как должно бы одушевить ее... Если бы у печати что-нибудь подобное! Но печать всегда была в положении повинующегося, а не в положении властительного существа.

Кропотливость, медлительность, «еле-еле» – решительно это присуще шумной Думе, как было присуще и тихим, безмолвным департаментам. Только в департаментах всегда много писали, а в Думе с самого ее пресловутого «непорочного зачатия», каковое ей приписал первый ее председатель, столь же много говорят. Но далее этого различия между устной и письменной речью дело не идет. Но еще глубже упрек идет к мелочности Думы: по сравнению с *важностью* тех вопросов, какие подняла печать, с *принципиальностью* их для всей жизни, с *многообъемлемостью*, – что значат «пожелания» Думы, увы, такие же платонические и словесные, как и пожелания печати, но сказанные несравненно менее страстно и талантливо...

Например, хоть эти тихие наши департаменты, с их многописанием, неповоротливостью и формализмом; с их бездушным, мертвым отношением ко всякому просителю, ко всякой нужде, ко всякой возникающей инициативе. Тема, над которою печать глаза выплакала, – начиная с Сумарокова, преследовавшего «крапивное семя» канцелярий и коллегий. Но Дума, по видимому, не подозревает о таком зле русской жизни, с которым имеет дело каждый русский человек, и даже не «пожелала» ничего в этой области. Каждому, кто не только что служит в департаментах, а даже когда-нибудь *входил* в них, хорошо известно «перепроизводство» чиновничества, из коего большой процент просто сидит без дела, манкирует даже посещением службы и, приходя с большим опозданием на краткие «присутственные» часы, от 12 до 6 дня, а в старших чинах – от 2 до 6 час., ухитряется и эти немногие «рабочие» часы проводить в приятных разговорах, воспоминаниях о вчерашнем вечере, в предвкушениях сегодняшнего вечера и в чтении газет или книг. Мы не говорим о всех министерствах, среди которых есть и перегруженные работою, но есть много и таких, которые перегружены только лич-

ным служебным персоналом, а не делом. Обычное зрелище, что периферические части министерств, нижние ярусы службы и провинциальные отделы перегружены работой до «неисполнимости», а центральные и петербургские предаются сладкому *far niente** и напоминают неаполитанских лаццарони, греющихся на солнце... Но эта вещь, решительно всем известная, не дошла, даже как слух, до Таврического дворца. С большим глубокомыслием там «ревизовали» бюджет всех министерств: для казначейства сберегли едва ли не меньше, чем во сколько обходится тому же казначейству содержание мрачных по виду и невинных по существу ревизоров. Между тем достаточно им было копнуть вопрос, тревоживший Сумарокова, Капниста, Грибоедова, Гоголя, тревоживший тысячу русских журналистов, и сокращение расходов государственного казначейства выразилось бы в других цифрах.

Но что знает и что интересуется каждого надворного советника, может ли надвинуть морщины на высокое чело Родичева или Милюкова?.. Это орлы, помышляющие о борьбе со львом, а не то чтобы о сбережении цыплят какой-нибудь курицы... Это не то, что печать, кричавшая о всякой мелочи. Россия в Государственной Думе не имеет своего «сторожевого пса», берегущего добро своего хозяина. Опять эту истину некуда скрыть.

Властная и на хорошем жалованье, Дума даже не позаботилась о своем старшем брате – печати: не оградила ее твердым законом, охраняющим здесь свободную мысль, свободу умственного исследования. Увы, «судебные кары» за якобы «свободное слово» – довольно ощутительны, и хотя у нас «слава Богу, конституция», но печи судебного ведомства нередко нагреваются сжигаемыми печатными произведениями, притом отнюдь не порнографического и бунтарского характера, а историческими и философскими. Но на Таврической улице это менее интересует, чем то, подает ли повар к завтраку хорошую кулебяку в парламентском буфете. Так иногда героические лица и героические позы преображаются в простые житейские, и не один только помещик у Гоголя кушал осетра, начиная с головы, и останавливался занедолго до хвоста... Закон, его же «не преjdeши» в России.

А сколько бы она могла за эти годы... И сколько обещала... И как все надеялись... Но, по-видимому, России навсегда суждено оставаться «при надеждах...» Счастливая страна, никогда не впадающая в разочарование...

ИСКУПИТЕЛЬНЫЕ «ЖЕРТВЫ» В ИСТОРИИ...

Искупительная сила жертвы, – вот чему научает сегодняшний день и человека, и человечество. Если материальное благосостояние покупается только трудом, то и самого труда мало, чтобы купить благосостояние душевное, улучшение нравственного состояния, прояснение ума, укрепление шатаю-

* ничегонеделание (*ит.*).

щейся воли. Эти великие вещи приобретаются только *жертвою*, к ним ведет *страдальческий путь*.

Истине этой научается всякий человек из личного опыта. Опыт этот состоит не в одной работе; гораздо более он состоит в жизненных перипетиях, увлечениях и разочарованиях, слагается из доверия к людям и недоверия к ним, в самообмане и прояснении зрения. Сюда уходит не мускульный труд и не простейшие выкладки ума, — сюда входит сердце каждого человека и необоримый мир, включенный в это сердце. К зрелым годам и старости человек делается «опытен умом и сердцем». Но чего это стоит!.. И здоровье расшатано к этим годам, — расшатано не столько трудом, сколько «испытаниями». И ум, и чувства бывают «потрясены».

Биография народов, т. е. *история*, есть только широчайшее повторение биографии лица. И народы переходят от наивности к зрелости только этим же путем увлечений и разочарований, доверия и недоверия, самообмана и прозрений ума. Кровавый и слезный путь, венцом которого является седая мудрость. Путь этот неволен и фатален... И хотя бы кто-нибудь и сказал, что он предпочитает остаться младенцем, нежели путем слез и кровавых обид и падений приобретать опыт старости, — он все равно не может не войти в этот «опыт», не может в свое время не «состариться», не может ничем предохранить себя от обид, унижений, ударов судьбы, — которые, не постигнув его в юности, могут постигнуть в старости. Но с большою разницей в исходе. «Удар судьбы» потрясет мужа и юношу, а старика он может свести в могилу.

Таков результат «запоздалого опыта». И он одинаков в частной биографии и в биографии народов.

Мы заканчиваем первое десятилетие XX века: и не было другого века в нашей истории, который бы начинался столькими ужасами, стоил бы стольких слез и крови русскому народу, как начало этого XX века. Но слава Богу, что эти удары постигли нас в возрасте крепком, отнюдь не в старости. И Русь уже поднимается, да и совсем поднялась, перенесла невероятные муки как в целом своем составе, так и в разрозненных лицах. Унижение достоинства, имущественное разорение, потеря былой славы, славы «непобедимости» во внешних столкновениях, и, наконец, страшная, разделившая всех внутренняя вражда, лютое ожесточение сословий и классов, «партий» и «фракций», на которые Русь поделилась, — все это склонило до земли и выю, и голову русскую.

Не было такого кровавого испытания в русской истории, не было никогда...

Но, оглядываясь сейчас на обстоятельства и заглядывая всего в завтрашний день, мы можем сказать, что и духовные приобретения, купленные этою «жертвою», немаловажны. Каким молоденьким и незрелым кажется нам теперь весь XIX век и самые первые годы XX века, до японской войны. Вернуться к этой психологии мы никак не можем: ни к розовой уверенности в своих силах, ни к голубой мечтательности. Вся наша революция, или

псевдореволюция, летевшая с такой отвагой на семи крылах вперед и вперед, — сейчас представляется каким-то кошмаром в одной части и каким-то самопровоцированием в другой части. Если и был мифом «самовзрывающийся жандарм», сам себя укокошивший, чтобы «подвести» революцию, то является несколько не мифом, а самой реальной очевидностью «самовзрывающаяся революция», где она на свободе и без препятствий проделала все, чтобы стереть разницу между понятием «политического» и понятием «уголовного», — «уголовного» на оценку всех законодательных кодексов цивилизованного мира. От знаменитого дебатирования вопроса: кому следует уступить и «посторониться», железнодорожному ли поезду, нормально следующему своим путем по собственным рельсам, или толпе, собравшейся аномально на митинг, и как раз нарочно на рельсах, — с решением в пользу, «конечно, митинга», — и до разгрома имений, грабежа поездов, казначейств, а под конец и простых лавочек — были пройдены все фазисы угара, иступления, помешательства и порока, явившие перед русским обществом, конечно *в массе* и не думавшим сходить с ума, такую поучительную картину, зрелище которой много превосходит воспитание в самой лучшей школе, обучающей «правам гражданина» и «обязанностям человека». В русской «революции» русский народ целую своею массою, даже и безграмотный, как бы прошел «юридический факультет» лучшего европейского университета: наука, за которую можно много дать...

Между тем к этому «опыту» и его непременно испытанию русское общество рвалось весь XIX век; и рвалось с такою неудержимою силою, с такими розовыми надеждами, что всякая логика и все рассуждения были совершенно бессильны. Именно «слезами» и «кровью» должна была быть куплена эта наука, вводящая народное и общественное сознание в государственную зрелость. «Государственность» ничего другого не обозначает, кроме «упорядоченности» народных, массовых отношений: и что это именно так, все увидели из зрелища, которое настало, когда «государственность» была временно устранена из всех соображений, когда она потеряла какую бы то ни было принудительную и нормирующую силу.

«Государственность есть благо»...

«Народность есть также благо»...

Как коротки эти два афоризма! Но сколько надо было пролиться крови, скольким слезам надо было выплакаться, чтобы образованное русское общество приняло их в свою душу, приняло с уважением и любовью, наконец, — с некоторым внутренним и добровольным страхом. Ибо целый век оно положило весь свой талант, весь энтузиазм на то, чтобы истребить до корней в русском человеке эти два почти врожденных у всякого, кроме русских, инстинкта:

Любовь к *родине*.

Любовь к *порядку* в ней...

Революция была *пароксизмом* русской души и жизни, после которого все пошло в обратную сторону тому течению, которое охватывает весь XIX век русской истории.

Великое «испытание», великая «жертва»... Еще немногие сознают, что, только выйдя из революции, только перейдя через ее испытание, мы двинулись к чему-то действительно *новому*, что это *новое* стало возможным. Без *нее* мы были бы все так же юны, самонадеянны, так же доверчивы ко всякой книжке в заграничной обложке, ко всякому заезжему к нам проповеднику и агитатору, от Лассалья до Редстока. Без реального дела в руках, мы переживали только книжные увлечения; без ответственности, долга и страха перед хаосом, – мы были в этих увлечениях беспредельны и, можно сказать, беспечальны.

«Тугою покрылась русская земля», – как говорит «Слово о полку Игореве». «Тугою»... т. е. нет дома и двора, где не «тужили» бы, не плакали, не жаловались.

И общая «жалоба» всей земли создала такое могущественное течение, которое разбило в щепы и унесло вековой корабль русского недомыслия, русского легкомыслия... Разбило и унесло этих «русских без России», – странствующих космополитов, вечно «отрясающих прах отечества» от ног своих... Сколько под всем этим было *личного* тщеславия «умом» своим, «просвещением» своим, которое, не пройдя через всеочищающее страдание, всегда оставалось только полупросвещением и «умом» размеров самых скромных...

«ВОСКРЕСЕНИЕ» В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Все живые, органические явления протекают несравненно сложнее, чем явления механические; еще сложнее и неуловимее их протекают события душевные; и, наконец, до неисследимости сложно текут события исторической жизни. В мертвой природе мы всегда видим повторение одного: что-то «толкнуло», и то тело, которое восприняло толчок, – «подвинулось». «Толчок» – «движение», «толчок» – «движение», в эту линию, однообразную, мертвую, скучную, томительную, вытягивается вся природа до души. Но вот перед нами «душа», – древняя «психея»: «толчков» и «движений» и здесь много, в виде «ощущений» и их «переработки» душою. Но это ее мелочная, ежедневная, будничная жизнь. Душа «пробуждается»: этот термин мы все знаем, он понятен нам; она «возбуждена», «возрождена»: это – язык о душе, понятный душе. Или, еще удивительнее: душа «засыпает». Ну, хорошо: «пробудилась» она от «толчка»; но «заснула»? «Сон» есть удивительнейшее явление, не существующее до «души». Механическая природа, – вот та, которую мы называем «мертвою», – она никогда не спит. Всегда она деятельна, движется, но каким-то безучастным движением, именно мертвым. Но как только появилось движение «живое», – сейчас же появляется его спутником и «сон». Только одна душа может «спать»: эквивалент ее «творчеству». Мертвая природа как не знает «сна», так не знает и «творчества». Скука ее и происходит от однообразия: напротив, весь «интерес» духовной жизни про-

истекает из ее способности к чередованию этих величайших напряжений, которые мы называем «творчеством», и полной бездеятельности – «сна».

«Сон» – «творчество», «сон» – «творчество»: из этих двух моментов или, точнее, двух *фаз* так же состоит вся живая природа, как из «толчка» и «движения» состоит вся мертвая природа. «Сон» и «творчество» – это уже наши будни; будни нашего тела, *живого* тела, – и тех маленьких дел, каким мы отдаем себя каждый день. Но что такое *история всемирная*? Увы, только это же...

– История *бодрствования человеческого*... История *сна человеческого*!

Вот к какому элементу *живого бытия*, решительно всякого, от букашки до человека, подходит великий праздник, который мы сегодня празднуем. «Воскресение»... поистине, это праздник не человека только, но всей живой природы, – не одного *духа человеческого*, но всей *одушевленной природы*. Только в человеке, как венце живой природы, этот космологический момент засветился вдруг *религиозным светом*. Ибо «воскресение» – это, конечно, только вершина «*бодрствования*»; как смерть недаром называется *вечным сном*. Механическая и мертвая природа так же не знает «умирания» и «смерти», как она никогда не «засыпает» и не знает «сна».

«Сон» и «смерть» присущи только духу и всему одушевленному; как ему же одному присущи «творчество» и ...«воскресение»!

Это «наше», – может сказать маленький человек, оглянувшись на бесконечное мироздание. Это – сокровище микрокосма, «малого мира» человека, каким не владеет большой мир вокруг него, «макрокосм».

Велик и *беден*...

Мал и *содержателен*... –

Вот отношение чудовищного по величине и силам механического мира, если сравнить его с миниатюрным миром человеческой души и нашей «родной» поэзии и истории. Вот и «родного» тоже не знает механический мир; там все друг другу «чужое»...

Как *сон* естественно завершается в смерти, – этой своей *границе*, своим *пределе*: так *пробуждение* и *творчество* самым *бытием* своим говорят о *воскресении*... Раз «пробуждение» есть *фаза* души нашей: значит, она должна и *воскреснуть*.

Ровно столько же как *умереть*... Если умираем, *то* и воскресаем; а если бы не *воскресли*, *то* и не *умерли бы*... Но как мертвый камень, безжизненная гора, или потухшие тела небесные – существовали бы вечно... безжизненно, холодно, мертво и... бессодержательно.

Таким образом, *воскресение* есть самый интимный момент бытия человеческого...

И вместе – *космологический*...

Есть в мироздании сокровище: это – человек. Но у человека есть тоже главное сокровище: это – что он воскреснет.

«Воскресение» есть глубочайшая истина и величайшая ценность, *завечно* схороненная в самом центре мира; но именно схороненная, *запря-*

танная, чтобы никто, до кого она не относится, не знал ее... Чтобы ее не растоптали, над нею не заглумились... Сверкающий алмаз, но до времени сокрытый в середине каменной горы.

Ею весь мир живет... Но как листья дерева, видные, бесчисленные и в общем количестве огромные, – ничего не знают о питающем его невидимом корне: так и человечество, живя тайною «воскресения», ничего о нем не знало...

Пока пришел Христос...

Тайна «пришествия» здесь вся и выражена: «алмаз» был скрыт в горе, его никто не видел. Жизнью Своею, «смертью» Своею и... наконец Своим «воскресением», показав все это вяже людям и человечеству, Христос как бы провел это человечество внутрь горы, к самому центру основания мира – и показал «то, чем все живы» и «чем все кончится»... «Сошествие в ад» – как это знаменует именно схождение к основаниям земли, к основаниям самого космоса... «И отвалили камень от входа в пещеру»: это почти совпадает с тем, как если бы кто, взяв лом и заступ, – проломил стену скалы, внутри которой, никому не видимый, сверкал и горел чудный огонь и свет.

Тот огонь, который грел всю землю.

И тот свет, который светил всякой душе.

* * *

Поразительно следующее.

Кто внимательно читал Библию, т. е. книги Ветхого Завета, не мог не поразиться, до какой степени там *мало* говорится о «будущей жизни», о «загробном мире», о «воскресении после смерти»... *Мало* до того, что это – почти *ничего*. Это дало повод Спинозе, философу и еврею XVII века, написать трактат, отрицающий совершенно хотя бы *упоминание* в Библии о всех этих «посмертных» вещах: что вызвало против него негодование синагоги и вошло одним из мотивов его *отлучения*, «херема»... Конечно, «не зная дела», – не зная *буквы* священных книг – Спиноза не мог бы так писать. Но *почему* же синагога на него вознегодовала? Тоже был *мотив*, – как явно был мотив и для *Спинозы*. Да дело явно заключалось в том, что у евреев, – среди многих разных *тайно* и *традиционно* сохраняемых истин и знаний, – была и *эта*: но в букву Библии она не вошла, из текста ее была исключена... Это – именно «гора», в которой *скрыт* свет и которая свет *должна скрывать*.

Равным образом и в древних религиях, начиная еще от египетской, были «тайнства», «мистерии»: в *разных* местах они были приблизительно одинаковы... Но вот сведения, в отрывках, донесенные к нам от очень позднего участника знаменитейших из этих мистерий, именно элевзинских: «Счастливы те, кто в них посвящен: ибо посвященные умирают с лучшей надеждою, чем прочие люди, и имеют веру в загробную жизнь». Так записано у Плутарха. Таким образом, идея «загробного воскресения» или, точнее, *знание о факте* «будущего воскресения мертвых» была бережно хранимою тайною, по крайней мере, во многих религиях древности: но тщательней-

шим образом сохраняемую от всех людей. Тайна эта, интимная сама по себе, интимная в природе своей, интимно и носилась... в глубочайшем *безмолвии!* Какая была причина этого, – в высшей степени любопытно, но совершенно нельзя этого понять. Что людей удерживало разгласить эту истину, так радовавшую «посвященных», дававшую им силу жить и «с лучшей надеждою умирать», – почему ее было не понести народу, не возгласить на площадях и улицах – совершенно непостижимо. Но что-то такое было...

Напротив, когда мы читаем Евангелие – полоса «воскресения» до того ярка, до того *видна* всем, что, собственно, все Евангелие как бы и служит только этой идее «Воскресения»!

О чем-то шептались в древнем мире: о чем – никто хорошенько не знал...

Слухи, догадки, «надежды» были... И, может быть, от *неуверенности* и боязни быть *опровергнутыми* никто их и не высказывал вслух...

Мерцание света было: но света не было.

И вдруг все ярко осветилось: «Христос Воскрес!» «Христос Воскрес!»

И пошло по улицам... Разлилось в народах. Все, встречая друг друга, незнакомые, громко приветствуют: «С Воскресением Христовым!!»

Упразднена смерть... каким-то гибким *диалектическим* упразднением. Не просто «порублена», вот «нет более смерти». Такая *механическая* над нею победа была бы только введением живых существ в область косного, вечного существования, по образцу наших гор, по образцу бездушных тел. Такая победа над холодною смертью была бы в сущности только торжеством смертного же холода. Нет, «челюсти смерти» раздвинуты иным способом, именно душевным, а именно: «душа» победила смерть, своим особым способом – «пробуждаясь» и, наконец, «воскресая».

«Умрем и... *воскреснем!*»

Это несравненное с тем, как если бы мы вечно *жили*... т. е. *были* только, *существовали* только. Бедно и бессодержательно!

* * *

«Спаситель мира», – сказал о нем человечество. Но «грядущее воскресение» Он соединил еще с чувством «греха», страдающей человеческой совести, которой нужно «очиститься» и «искупиться». «Воскресение» неразрывно с «покаянием»; так это у нас и связано, в нашей религии. Грех – смерть души; если тело умирает от ножа, то «режет» душу – грех. Каждый из нас знает, что чем более он в грехах, тем менее живет; точно тонет и захлебывается в воде. Нет дыхания, «умираю»: так тоскует его душа, когда отягощает ее грех, хотя бы тело при этом и процветало.

И только есть одна защита против этого ужасного ножа: это, как говорит народ и его совесть, – «чистое покаяние». «Покаяние», «раскаяние» есть поразительный феномен души, аналогичный «пробуждению» и «творчеству» и столь же чудесный, как они, после которого душа опять «выздоровливает», как бы «хватает воздуха» и получает способность жить. Покаяние – обновление души; ее частичное и временное «воскресение». Можно

сказать, феномен «покаяния» и замечаемого *обновления* души при этом, увеличение ее сил и *жизнеспособности*, – точно так же приводят к вере в бессмертие, как и размышление о бодрствовании и сне, о смерти и... *воскресении*! Через «покаяние» душа «воскресает»... частично и временно: отчего же ей вообще не воскреснуть, когда она, по-видимому, «умерла вовсе»?! «Смерть»... всего живого и духовного, и только его одного *во всей природе*, есть последняя печать *греха*, последний *камень* его, *тяжесть* его... «Надавило и раздавило». Но *все* ли кончено? Как от частичных грехов мы избавляемся частичным покаянием, так в страшный момент смерти душа с такою скорбью, из такой глубины, с такою болью о себе произносит исповедание о всем своем ничтожестве, о «своем неправом», о своем «злом», что в тот момент, когда она как бы «сгорела в слезах и муке», – она и воскресла, к Богу, в «вечную жизнь».

Таковы соотношения, которые «мерцают» нам и из обыденных фактов.

Не будем только коснеть... Не будем как камни, как «гордые» скалы. Сегодняшний день более, чем когда-нибудь, вспомним, что у нас, людей, все меры иные, измерения иные, гордость наша иная, слава наша в другом: только человеку присуща *совесть* и чувство *вины* своей. Никто в мире этого не испытывает. Вот на этом-то сокровище, нам данном Богом, и остановимся... Оснуем на нем все наши надежды...

Что же? Как же?

Безмолвно, не рассказывая, не крича, сознаем *каждый* в душе о себе, что он есть воистину *последний* и *жалкий* человек и что «все-то, все должно быть лучше меня»...

Вот наше *человечное*...

И кто это воистину исполнит, в тот же момент почувствует, как все люди стали *подниматься* вокруг него, и в сердце его откроются источники уважения и любви к этим людям... А с ними придет и радость, текущая и неистекающая, вечная...

«*Вина* моя»... вот сознание, откуда рождается *мягкость* моя. То свойство, которым измеряется достоинство человека. Без *мягкости* – нет человечности. А без сознания «моей вины» – нет этой мягкости и, следовательно, недостижима и настоящая «человечность».

Никогда ее не дадут науки и искусства, ее дает только религия.

Без этого-то великого учения «о *вине* *моей*», при всем громадном развитии искусств и философии, древний мир не мог дать народам *человечности*.

Человечность принесена на землю впервые христианством; вот этим «растворением» души его, которая сама собою вышла, когда ему были показаны Христом все тайны греха, совести, муки, искупления, смерти и... *воскресения*.

Он влил железные души древнего мира в котел... и переварил их в нем Своим пламенем...

И души вышли оттуда новые... Без прежнего упорства в себе, без этого железа и камня, отличавшего древний мир, античные цивилизации.

Правда, несколько более слабые... Но пронизательные, нежные, чуткие, восприимчивые, мечтательные. В пламя Иисусова «вения» вошло железо, а вышел из него воск... И вся наша цивилизация, так страшно отделенная от античной, есть восковая, мягкая, уступчивая, тягучая, текучая. Затекающая во все уголки, во все щелочки мира: пронизательностью, сочувствием, под конец – властью...

Гибкий прут, а обнял весь мир... и связал собою весь мир...

Вот последствие раскрытия тайн мира, какое принес Христос, и показало человечеству Его *воскресение*. Из него родились мы, им счастливы и несчастны, им живем и даже им властвуем.

ЧУДО ВОСТОКА

Удивительно, что страны света имеют нечто однородное с тою историею, которая в них развивается... Материки и судьба народов, на них живущих, как-то связаны. И так как никому не придет на ум, чтобы материки обуславливались в строении своем историею на них живущих народов, то приходится думать, что история народов находится под каким-то давлением материков или, пожалуй, под их «вдохновением»...

Прекрасная и маленькая Европа, с изящно выгнутым Апеннинским полуостровом (кто не *любовался* на то, как он *изящно* выгнут?), с разветвлением береговой линии Эллады, которое невозможно не назвать художественным, без исполинских горных масс, без зноя в климате, с растениями такими обыкновенными, от апельсинов до ели, с средней величины реками, – создала «рассказ о судьбе своей» или историю, художественно-расчлененную, благородную, подвижную, вечно изменчивую и... невеликую. Нет «беспамятства», которое овладевает человеком, напьется ли он индийской конопли, китайского опиума, заберется ли в чащу лесов Цейлона, или поднимется на вечные снега Гималаев... или, наконец, задумается о биографии пророка из Мекки и над судьбами Израиля от Иисуса Навина до другого Иисуса, день смерти и воскресения Которого мы нынче празднуем. Что-то именно отражающееся во впечатлении головокружением, непонятностью, восторгом до исступления, испугом почти до смерти... Могучая Азия, это ее дыхание – безмерной, чудовищной, необозримой. *Под этими событиями* исключительного значения, исключительной силы лежит величайшее скопление массы земли, ее материи, ее тела... хочется на этот раз сказать – *священного* тела.

Маленькое промежуточное объяснение, и читателю будет понятнее и вразумительнее моя мысль.

Россия – уже не совсем Европа, или, – чуть-чуть переставив слова, – совсем не Европа. «Изящных выгибов» не отыщешь. Велика, пространна: с явным «переходом в Азию»... Реки больше, могучее. Но, вот, неуклюжесть: самая большая и «нужная» река течет во внутреннее озеро-море, по бере-

гам коего или никого не живет, или живут какие-то «иомуды», о которых даже такой географ, как Щедрин, не знал, что это такое, — люди или не люди. Или еще нелепость: наиболее длинная береговая линия и все-таки несколько расчлененная — на полгода оковывается непролазным и непрорубным льдом. «Черт знает, что такое? И в особенности: черт знает, почему это и зачем?» Так во впечатлении. Но вот что поразительно: что и история русская, читать ли ее по Ключевскому, думать ли о ней «от себя» или просто приглядываться к ней, как на выставке к картине, дает точь-в-точь это же впечатление, разрешающееся в вопрос: «Я совершенно не понимаю, для чего это происходит, и что тут нарисовано, и кому все это надо». Начало неуклюжести и бестолковости, именно как *переходной формы* («от Европы к Азии»), выражено и в географии, и в истории нашей. Даже «история Аравии» как-то цельнее и яснее «русской истории», как и Аравийский полуостров есть «сама ясность» сравнительно с безбрежной и безбереговой Россией, которая буквально «ни туда ни сюда» и «ни то ни се». Но слушайте дальше, и вы совершенно заинтересуетесь: «бестолковость» сама по себе совершенно неинтересна, между тем, Россия в высшей степени интересна. И даже есть что-то в ней, чем она, положительно, любопытнее и значительнее Европы, несмотря на все ее «расчленения»... Ну, я возьму уродство, но гениальное и страшное: приходило ли кому-нибудь — ну, Галилею, Гуссу, Кромвелю, Франклину — на ум: взять и отрезать мало-помалу у всего человечества те органы, из которых рождается, действительно, много «греха», рождаются сладость, «соблазн» и «прилепление к миру», дабы убить грех в корне, убить Медузу космоса. Согласитесь сами, что эта мысль Кондратия Селиванова так же отличается от «обыкновенной европейской мысли», как гашиш от крапивы. Тут, именно, Индией пахнет, которая тоже знает свои чудовищные и страшные мысли. Ведь буддизм с нирваной, ведь факиры и йоги, во всяком случае, Селиванову ближе или Селиванов к ним ближе, чем что-нибудь «изящное и умное» у Галилея или Франклина...

«Странно... голова кружится... не понимаю... и чаруюсь».

Это начало впечатлений Азии.

Но Кондратий Селиванов — исключительность. В песне русской, в прелестьях русской поэзии, русского рассказа (литература), в разных черточках быта русского и, наконец, русских лиц, — из народа и «из общества», — вы найдете многое такое, что вдруг вас обвеет таким родным, таким «своим» (для каждого человека и народа), как вы этого не найдете нигде в «изящно расчлененных» странах... «Задумчивость» русская, русский «милый человек», — часто незаметный вовсе, — заставит привязаться к себе такую привязанностью, какую вы не можете привязаться к «корректному» и «утилитарному» немцу или англичанину. Я всему этому маленькому отступлению подведу итог, сказав, что история и география наша есть «сама неуклюжесть», но с каким-то странным «привкусом», который мешает «махнуть рукой» на эту нескладницу, и безобразия, и бессмыслицу и, в конце концов, страшно к ней привязывает и ею заинтересовывает.

Не гашиш, – но начало гашиша. Не Азия... но «веяния» оттуда. Т. е. другого типа, склада, происхождения. Но я вернусь к Европе.

Все прекрасно, но ничего головокружительного. «Головокружительное» в Европе, может быть, содержится только в католицизме; но он имеет зерно в себе все-таки не европейское событие, а галилейское. Строго же европейские и чисто европейские события, все без исключения, – еще от древней Эллады и до новейших пертурбаций в английском парламенте – имеют размеренный красивый вид, имеют благородный характер, в высшей степени воспитательный и поучительный, – как бы школьный, но без того «безумия», за которое смертный человек с бессмертными залогами в себе всегда готов был променять жизнь.

Цицерон и Демосфен... Как они малы перед «пророком из Мекки»: таким святым, таким простым, таким трогательным.

И... имевшим столько жен, от 40-летней Хадиджи, в которую он влюбился 17 лет, до ребенка Айши, которую он взял в жены, когда ему было около 50 лет.

Скажут: «А Людовик XI и его приключения с крестьянками», «Генрих VIII с его женами – от Екатерины Арагонской до Анны Болейн»...

Да, но все это – сюжеты для Декамерона. Смех, анекдот, сало. Что же здесь общего с «пророком», около имени и *существа души* которого нельзя ни произнести, ни вспомнить существа *анекдота*.

Анекдот не покоряет полмира; анекдот не воспламеняет народов к войнам. Анекдот есть анекдот. И анекдотическое есть анекдотическое.

«Синяя Борода» Востока на самом деле не имел в себе ни одного волоска из бороды его...

Он весь был чист и свят. Был «бел» со своими женами, как не умел быть «белым» Кондратий Селиванов, хотя и отрезал у себя известные органы.

В этом-то и заключается тайна Востока и «новое, другое очарование» могучей Азии, что там все *иначе*, чем в Европе... Другаяковка человека. И самые понятия «греха» и «святости», «правды» и «зла» совершенно иные, ничего общего с европейскими не имеющие.

Я еще раз эти лица сблизю: Цицерон в тоге «*civis romanus*», образованный, писавший «*De natura deorum*»* и ни в одного бога не веривший, кроме бога своего самолюбия.

И «пророк», уже владыка Аравии, который, умирая, спросил: «Не остаюсь ли я должен кому-нибудь несколько монет, если да, – уплатите после моей смерти».

Это не предсмертный «Фэдон» Сократа или Платона, «доказывающий», что душа бессмертна, ибо она «не может умереть потому, во-первых», и «потому, во-вторых»; но когда в простом учебнике истории мы читаем об этой простой смерти Магомета, то, и не будучи его последователями, мы плачем и верим, что есть на земле вечная правда и вечная красота, а что

* «О природе богов» (лат.).

«душа бессмертна», – верим через то, что *как* же может «умереть» душа столь прекрасная, тихая и ясная.

Или еще смерть Моисея: «И взошел на высокую гору, чтобы посмотреть издали на землю обетованную, и умер». Не вошел сам в ту землю, о которой столько думал, к которой всю жизнь вел народ свой; однако это стадо буйных и неудобных людей довел до нее.

И пало буйное стадо, и превратилось в «покорных» после его смерти, и нарекло «законодателем» того, кого при жизни не хотело слушать.

Как все это не похоже на Европу! Могучие, другие веяния...

* * *

«Христос воскрес! Христос воскрес...» «Да обымем друг друга все...»
И белые одежды на всех.

И звон колоколов на целую неделю...

И красные яички: «символ того, что грех наш омыт кровью Спасителя».

Вот Пасха... Как белая, усыпанная цветами лоза, проносимая по стране... при ликовании народа.

Это в наши темные боры, угрюмые сосны, в наши северные мхи занесена душистая ветвь Азии.

Ее тайна. Ее открытие. Ее восторг.

И, наконец, – ее могущество.

Проносимое в коротенькой, «слишком умной» для чуда, Европе...

День, в который Европа «отрицается своего разума» и поклоняется «безумию Востока».

Его «безумным» известиям, «безумным» событиям. «Невероятному и невозможному, что *стало*!»

«Верим! Верим! Боже, – мы верим, что Ты воскрес!»

В этом *вся* Пасха.

«Верим, что Ты *победил* смерть...»

Ту ужасную смерть, которой мы все боялись. *Неизбежную* смерть. Ты раскрыл ее челюсть и вырвал ее жало.

Вот *вся* Пасха.

Принесенная нам из Азии.

Ну, и где же около этого «Перикл и его век»? Даже и не хочется усложнять: «Век Людовика XIV, Корнеля, Расина и Буало»?

Народы, при таком сравнении, с *яростью* воскликнут:

– Как вы смеете *грешное* придвигать к святому?

Моменты величайшей славы рациональной (но «маленькой») Европы кажутся *самой Европе* как что-то слабое и даже *грешное*, придвинутое к великим моментам Азии...

«Даже и сравнивать нельзя! Пустое, грех».

Такое впечатление самих европейцев... Рационально выраженное, это – «антоновское яблоко» и «гашиш». Что такое «гашиш»? Состав мал и прост, а принял каплю, – и потекли видения.

Текут, текут, бесконечные... Человек забывается в них... не чувствует боли, голода, холода. И, очнувшись, только желает еще другой такой же капли.

Но это – рациональное сравнение, и мы его бросаем, как негодное. Почва Европы нигде и никак не умеет родить *святого*.

Кроме Руси, где уже начинается «другое»...

И католицизма, где заложена иная ветвь...

Почва Азии одна рождает *святое*.

Что такое *святое*? Определить не сумеем. Да и всякое определение суживает предмет.

Святое, – от чего люди плачут.

Плачут и бывают счастливы, как не бывают от хлеба, от сладкого, от пьяного.

Не бывают так счастливы от друзей и родных.

Кроме как, может быть, от «родной матушки», от которой дети бывают «свято счастливы».

«Святое» вообще есть неразумное, есть безумие, но за которое люди променивают разум и всякую выгоду. Человек говорит о нем: «Это – особое, это – от Бога».

Вот сила Азии, что она вообще открыла человечеству порядок божественных вещей. Открыла Небо... Даровала Бога...

И вокруг пустыня... Как около Магомета Аравия... Какая *вообще*-то история Азии? Или никакой, или чудовищная. Двигание каких-то первозданных камней. От Шакиа Муни до Тамерлана. Все страшно, огромно. В сторону жестокого, это – пирамиды черепов; в сторону умиления – «снятие греха с мира». Лед и пламя.

Но от того и другого дух захватывает, голова кружится. Пугает, как гибель, или поднимает душу, как... воскресение.

Не понятно ли, не совершенно ли понятно, что в «цивилизованной Европе», такой ровненькой, где течет благоразумная река Рейн, за которую столько веков боролись французы и немцы, никак не мог прийти «Спаситель мира»? Не понятнее ли становится география Его рождения? И даже то, что Тот, кто возвестил «победу над смертью», родился невдалеке от вод страшного озера, прозванного единственно во всей географии Мертвым.

Мертвое озеро, – вот оно... И невдалеке Вифлеем. И наше «Христос воскрес».

Никто не бывает по-настоящему благоразумен, кто не умеет измерять величину свою. Европе, при всем ее гении, при всем великом и прекрасном развитии ее сил, следует помнить, что есть нечто ограниченное и конечное,

лежащее на всей на ней, на всех делах ее, ее мыслях, «убеждениях»; по все-
му вероятно, – ограничение, происходящее просто от небольших размеров
ее массы; от слабости «тяготы земной», как обмолвился Святогор-богатырь.
Европа – взгляните на глобус, – ведь только полуостров Азии, слишком да-
леко протянувшийся на запад; но полуостров, почти отделенный от масси-
вов Азии обширной плоскостью России. Россия «запала» между Азией и
Европой; соединяя их, она их и отделяет. Дорожка пройти в Азию – есть; но
уже «сила Азии» не проникает в Европу, не имеет силы держать ее.

Европа в отношении Азии – это как *кисть руки*, соединенной с тулови-
щем: но *кисть* так далеко лежит от туловища, что *вся* развилась во что-то
особое и новое, по своему *плану и типу*, – не одному с большим и сильным
туловищем. Кисть вся развита: вот – пальцы, ноги, суставы, их гибкость; и
«талант игры на струнах», и еще другой талант – взять кисть и рисовать.

И делать тысячи мелких поделок.

Но в *кисти* руки нет сердца и дыхания. Ничего вообще *внутреннего*.
«Души» нет, – хоть и разбросаны снаружи, в коже, таланты музыки и
живописи. Душа же лежит в сердце...

А сердце и дыхание – в большом, тяжелом туловище... таком «нераз-
ветвленном» и неразукрашенном. В массиве нашей планеты и общем рас-
положении материков громадная Азия и занимает роль туловища...

И без нее ничего нет.

Так Европа во всех своих «успехах» не должна, однако, забывать, что
она вся состояла бы в своей истории и «цивилизации» из красиво сложен-
ных мелочей, если бы в нее не вошли новым зерном чудовищные (по ог-
ромности) мысли и факты, рожденные Азией... Ее чудеса, ее магия, ее свя-
тыни...

И спаслись, поистине «спаслись» народы Европы тем, что забыли сво-
их Периклов и Августов, когда с узенькой полоски земли между Мертвым
морем и Лобным местом Иерусалима поднялось облачко – маленькое-ма-
ленькое вначале, но скоро закрывшее собою все небо. И закрывшее преж-
ние звезды и солнца... И явившееся само Новым Солнцем и мириадами
других звезд, – новых звезд...

И как прежде, и в *будущем* Европа должна быть скромна. Чудеса – не из
нее. Кроме технических, – но эти не в счет, как лишь *подобия* настоящих
живых чудес. Родиной настоящих живых чудес была и останется Азия, где
есть «тяготы земные». Европа жила и будет жить и должна жить этим пуль-
сом, идущим в нее из далеких и непонятных стран Азии...

* * *

Сегодня он особо высоко поднят. Отдадимся ему полно. Глотнем воздуха...
Этого особенного, живящего, – не воздуха Эдиссона и парламентских ре-
чей, интендантства и политических свар. И пойдем по улицам, говоря всем:
«Христос воскрес! Христос воскрес!»... «Побеждена смерть: ибо Он был
естеством, как мы, и сошел в ад, и победил, и разрушил его»...

РОЗОВАЯ ПОВЯЗКА НА ГЛАЗАХ

(К съезду для борьбы с проституцией)

Мне стало жаль Анрепа...

Мне стало грустно за Анрепа...

Речь которого в Г. Думе о *национальности* в русской школе я слушал когда-то с таким уважением...

Теперь, в качестве председателя «съезда» – *первого, всероссийского* – «по борьбе с проституцией», он вдруг начал повторять слова красного по-пугая... красного с зеленым. «Зеленый цвет» – это цвет надежды, а красный – «известно какой»...

– Нужда и голод, – говорил он, – вот естественные поставщики проституции.

А Тарновская в Киеве, Венеции, Вене, везде?.. С Прилуковым, Наумовым, Комаровским... и... Но пусть доскажет Пушкин: «О каких любовниках здесь идет речь, – *perché la grande regina havéva molto?*...»

Пушкин говорит о Клеопатре, исторически проституировавшей. Но ведь не все же с таким устройством темперамента суть непременно царицы... И тогда как распорядится г. Анреп с «клеопатрами» из прачек, кухарок и так «баб» просто... и «девиц» просто. Если, положим, из 1000 исторически царствовавших женщин 999 были добродетельны, как Дездемона, а одна все-таки... «называлась Клеопатрой», то ведь нужно предположить, что из 1000 и других сословий, классов и положений *одна* тоже есть Клеопатра, а из 1 000 000 их – тысяча, а со всей России – 140 000! Почти «весь состав» или близко к этому; ну, половина состава. Мы должны твердо установиться в этом факте, что по крайней мере *половина* проституток суть «своеохотные», отнюдь не «жертвы сострадания», взывающие к нам о слезах, помощи и съездном красноречии.

«И бороться с нею, – продолжал Анреп, – нужно теми же способами, как борются с вырождением и другими социальными бедствиями: широким развитием народного образования, поднятием экономических сил страны... Улучшение быта рабочих, подъем заработной платы, всемерное содействие со стороны правительства устройству рабочих кооперативов и организаций»... и проч., и проч. ...

Но, Боже мой, где же тут *специальное* такого важного съезда, как *этот*. Бедная проститутка, жалкая проститутка: она *забыта* во вводной речи председателя первого съезда по борьбе за лучшие условия ее существования...

Мне кажется, самый съезд, собравшись «на тему», заработал с первого же шага «не на тему». Это ужасно, потому что может случиться, что весь съезд «пролетит мимо цели», даже не задев ее. И речи Плансона и академика Бехтерева... Ну, что такое говорит де-Плансон о «дорогах, по которым провозят» из России их на Восток и в Америку. Об этом все читали, и не раз читали, в журналах: он сказал бы что-нибудь новенькое. Съезд продлится

дней пять: разве же можно его *драгоценные часы* тратить на устный пересказ напечатанных статей?.. Напечатанных и слушателями *прочитанных*: ибо кто же из «заинтересованных», т. е. *всех* участников съезда, не читает естественно всего, что в журналах на эту тему печатается...

Или Бехтерев: «Нужно (мужчинам) сохранять невинность до брака». Вот удивил новизной. Представьте, никто об этом до речи Бехтерева не догадывался. И хоть бы профессор «по-академическому» связал такой силлогизм:

– Средства жизни добывать трудно...

Приобретаются они устойчиво годам к *сорока*. В 40 и женится такой-то % населения (вот эту цифру важно было бы *точно* знать, и именно в связи *со средствами жизни*).

– А *до сорока лет*...

Тут я представляю себе поседелого и многоопытного, притом же члена стольких академий, профессора, который говорит с интонацией классной дамы Смольного института:

– Хотя от двадцатилетнего до сорокалетнего возраста человека осаждают девицы... певички... натурщицы... на Невском... в садах... везде... И девиц сих больше, чем в «Искушении св. Антония»: но все мужчины, от 20 до 40 лет, во всей России столько-то миллионов, могут пребыть крепче св. Антония и служить – как говорится в молитве перед учением – «церкви и отечеству на пользу», а Бехтереву и всему съезду «на утешение».

Наивность... или (конечно) *притворная* наивность... Но для чего же она в таком жгучем, болящем, в таком *омертвелом* деле, которое, вот, как «антонов огонь», все подымается по тканям больного организма и убивает все на пути своем, все, до чего «дошло», до чего «коснулось уже»...

И тут... риторика, пышность речей... и вид, как у «классных дам», которые «ничего не понимают».

Проституция «хлещет через борт корабля» и может все затопить... Все можем захлебнуться в ее мутных водах.

Тут вопрос не в том, чтобы «победить океан» («Съезд для борьбы с проституцией»), а чтобы хоть сколько-нибудь *ограничить* его, *отграничиться* от него... Я произнес два выражения, в которых, кажется, содержится некоторая *новая мысль*:

– Не хотим!

Этим резким ответом 50 проц. проституток отвергают и навсегда отвергнут филантропическую помощь себе, которую им, по-видимому, готов предложить съезд ценою *отказа от образа жизни и ремесла*. Пусть съезд сделает «анкету»: в Петербурге, где все «зарегистрированы», это так легко исполнить. Но съезд, наверное, анкеты не произведет, боясь потерять главную тему речей своих и сладкого существования, как это ни странно выговаривать, потому что «заботиться о погибающих» – это, конечно, не трудно и для сердца сладко...

Но проституция... это именно гангрена социального организма; и нужно ли говорить, что съезд затеняет, вуалирует ее страшную угрозу...

«Вот собрался съезд и *что-нибудь* сделает», – подумает каждый про себя и несколько успокоится. Между тем как съезд *навверное* ничего не делает, да с приготовления к «ничему неделанью», в сущности, и начались зеленые и красные речи, эти шаблоны и шаблоны, закрывающие *специальное* мучительного вопроса.

Проституция *своеохотна* – это раз. Ведь мужчины *почти все* ею пользуются. Ведь не ведут же «на аркане» «несчастных юношей» к проституткам: так точно и им выходят навстречу девушки с этою же *охотою*, никак не «утирая глаз от слез» «в таком несчастном положении».

Нет! Снимите розовую повязку с глаз и наденьте черную.

Проституция есть порок или, точнее, порочный образ жизни, порочный быт, *совершенно одинаковый с обеих сторон*.

Почему это о юношах до сорока лет проф. Бехтерев сказал, что они «до брака должны быть невинны»: *а вот о девушках-проститутках этого не говорит!* Образовалась у самих членов и, наконец, вождей съезда странная мысль, но с перегибом теперь в сторону, противоположную прежней:

«Юноша – *не смей!* Но девушке – *ничего*». Мысль, что проституционный акт не есть порок девушки-проститутки, каким-то странным образом проскользнула в сознание общества и со страшной силою укрепились в нем. Между тем это не так.

Проституция есть жадный порок обеих сторон, расползающийся со всею силою этой жадности; *зовущий* к себе новых участников, вот этих «невиненьких»; защищающийся, готовый наступать и биться.

Со своею «головой». У солитера, безглазого и элементарного, есть «головка», которой пока вы не выгоните из тела больного, вы не уничтожите в нем и солитера, сколько бы «члеников» его ни убили. Вот об этой «головке» проституции нужно бы подумать. Где она? В чем?

Победить проституцию, конечно, никогда не удастся, раз она имеет защитницу и защиту себе в каждой проституирующей особи и в ее «госте», гуляющем и зашедшем к ней. Их миллионы: кто же победит их? Разбежавшись из «домов», они станут *одиночками*; гонимые – из явных станут *тайными*.

Непобедимость проституции – хотя о ней все догадываются и втайне знают – есть для печати и громких, открытых речей такой новый факт, что, если бы съезд утвердил только его, он совершил бы огромную услугу. Ибо это страшно *далеко продвинуло бы вперед* начало «речей», отправную их точку. Оставили бы пустые слова, декорации, ширмы... и, напр., съезд назвался бы не «для борьбы с проституцией», а для выработки *лучших условий ее существования*.

Совсем другая тема...

Например, отнимающие у жалких, темных и действительно в *этом отношении* несчастных проститутки все деньги, их *хозяйки*? Вот, чем «бороться с проституцией», что *ни для кого* не посилено, задайтесь лучше задачею «победить хозяек» их, что возможно и достижимо. Результат «в пользу

улучшения и даже уменьшения проституции» сейчас получится огромный: ведь теперь несчастная захлебывается в «работе», чтобы насытить алчность «хозяйки». «Нужно работать, больше, больше»... т. е. нужно звать, умолять «зайти к себе» еще и еще человека, до упада... Через что «жертв» проституции, уже не девушек, а мужчин, естественно становится больше. «Гангрена растет»... Какой благодетель (может быть съезд? его делегатки?) подорвал бы для проституток *необходимость* в хозяйках, тот разом на $\frac{1}{4}$, а может, и на $\frac{1}{2}$ уменьшил бы ужасную практику и болезнь эту? Но кто за это возьмется? Нет *такого самоотверженного человека*, и перед этою задачею побледнела бы героиня и «святая», покойная княгиня Дондукова-Корсакова.

А между тем пока не порвана связь, не перерезана «пуповина» между проституткою и ее «хозяином» или «хозяйкою», до тех пор эта ужасная гнилая яма будет издавать то же заражающее, оглушающее зловоние на всю страну, во всяком городе.

ФИЗИКА И МЕТАФИЗИКА ПРОСТИТУЦИИ

(К 1-му всероссийскому съезду
борьбы с проституцией)

Каждое явление имеет свою *физику* и *метафизику*. Физика, это — тот *внешний вид*, под которым мы знаем его «сегодня» и «у нас», и, наконец, та *обстановка*, те *обстоятельства*, в которых оно существует и растет. В отношении ботаники это, например, «вид нашего сада» и «грунт земли», на котором сад разведен. Но само собою разумеется, что кроме «фотографии сада» и «грунта земли» есть другое в ботанике: строение цветка и листа, опыление растений, их тычинки и пестики, дыхание через лист, питание через корень. Всему этому лишь *служит* почва; всего этого *не передашь, не выразишь* в «фотографии сада». В ботанике так ясно это разделение на внешнее и внутреннее. Но есть оно и везде, есть также и в социальных и исторических явлениях. Везде есть «обстановка» и скрытая за нею «сущность дела». В явлении «проституции», на «борьбу» с которою выступил 1-й всероссийский съезд, есть также эта физика *зла* и *метафизика* его. Мы их не должны смешивать; не должны уже в силу реальных мотивов: чтобы успеть, чтобы победить или ограничить.

«Внешний вид»... ну, это есть то, что мы все знаем: что неопределенный, колеблющийся контингент девушек «отдают себя этому» и что их «посещают», «пользуются ими», просто как товаром, с ужасающею краткостью, бездушностью и внешностью отношения. «Пришел, купил и взял вещь», «пришла, предложила, получила деньги». Из этого основного элемента развиваются его подробности: «дома» и «кустарный промысел» одиночек; наконец, международный торг, сложение и условия внутреннего «рынка». Над этою собственно *физикою* работают медицина, статистика,

полиция, ее описывают роман, повесть, «бытовой очерк». Но все это, очевидно, физика и физика... «Перенесут растение с места на место», «постригут его», «прикроют его, откроют его», «заболеет, – вылечат, а то и так пропадет». И проч.

Одна физика.

Где его метафизика? Выразимся яснее: где та общая почва, духовная почва, та властвующая в душах и умах идея, от присутствия которой...

От присутствия которой сложился основной элемент *проституции*: что заспавшийся парень, студент или «юнгерочек» (жаргон проститутток), которому некуда пойти вечером и у которого есть трещина в кармане, выходит на улицу и, узнавая по виду «предлагающую» себя, берет ее на час-два... И другой, встречный факт: что анемичная, вялая, неразвитая девушка, думая: «Чем я стану день-деньской маяться в мастерской, под окриком мастерицы, не зная покоя, не имея никакой независимости и никакой своей воли, век в нужде, недоедании и бедности, – выйду-ка я лучше на улицу, предложу покупателю свой пол – и за это стану жить на свободе, при своей воле, иногда с нарядом, всегда с едой, чаем и пивом. В мастерстве или работе – 16, 20, 25 рублей дохода; здесь от 30 до 40, 50, 60, 80, 100 и 125 рублей»; «случается даже до 200 руб. дохода в месяц: доход невообразимый ни на какой женской работе и службе – без требований образования, школы и даже грамотности».

Так вот откуда же взялся этот основной факт:

– Пойду, куплю...

– Пойду, продам...

Этот «цветочек» проституции, черный цветочек, каких *в природе*, блаженной и чистой, не бывает. В природе *не бывает, нет* черных цветков, как, очевидно, в *природе* пола, в *существо* пола не содержится и этого ужасного факта, ужасной мысли:

– Продам за рубль свою ночьку...

– Куплю за рубль себе ночьку...

Нет этого! И явление проституции есть вполне *противоестественный факт*, «залетный» в сферу пола: вот как комета Галлея готовится «залететь» в солнечную систему.

По существу дела проституция есть *невозможный, немыслимый, невероятный факт*, коему *правдоподобия нет*...

«Правдоподобия» нет; а *налично* он везде есть... Заливает нас, тонем, захлебываемся. Взгляните на Невский.

Явно, тут – метафизика. Именно от того-то, что факт этот противоречит самому существу пола, враждебен пылу его, идеализму его, тому, что он считает себя «лучшим из лучшего», «драгоценнейшим из драгоценнейшего», что «награждает» высшую любовь, полную преданность (мужчины девушке), – что «венчает» собою долгое сближение, «узнавание» друг друга, уважение взаимное, восторг друг к другу...

Ведь, как бывает *нормально, всегда?*..

– Вот, я нашла человека, в котором осуществились *мои лучшие мечты*; человек *бескорыстный*, твердый в слове своем; не лукавый; на которого можно положиться; пройти с ним весь путь жизни, до могилы; и умереть бы вместе, разом, никак не переживя его (всегдашняя мысль в любви)...

– О, как люблю я его! Он наполнил мою душу...

– Мечтою, счастьем...

– Я вся горю... им, для него, в нем...

– Он уже во мне, и я в нем, хотя мы еще не близки, физически – он там, я – здесь. Но это – только физика, и временная, скоро тающая...

– Мы ближе и ближе друг к другу; неодолимо, фатально; рок... В любви нашей есть Рок, Небо: и оно тянет, сближает; никто из нас двух не в силах остановиться, задержаться в сближении. Каждый день – ближе, ближе: и слаще, слаще, томительнее и томительнее... И страшнее и лучезарнее.

Ибо любовь полна бывает необъяснимых страхов. Нет настоящей любви без какого-то смятения в себе...

И вот настал час, последний день: «Милый, я отдаю себя тебе всю... Без остатка, без задержки... Потому что ты есть *высшее мое доверие* (всегда эта мысль), есть *венец* всего, о чем я думала, воображала, мечтала. И вот я приношу тебе, чего не приносила ни одному в мире человеку; чего ни один человек в мире не видел, не знает; что есть моя тайна и где вся женская тайна скрыта; за одно прикосновение к чему я убила бы каждого; чем я живу метафизически, в небесном смысле: ибо будь это разрушено, отнято, загрязнено, – и я погибла вся, есть погибшее существо, Бог весть почему, – но погибшее. И вот это, чем я живу, – возьми ты, но свято возьми, для вечной и исключительной жизни с ним, до гроба. И мы срастемся в этом, как два дерева независимого корня срастаются в один ствол: мы будем таким одним стволом, деревом жизни новой: ибо от нас произрастут еще поколения и поколения, которые назовут нас «отцом-матерью», «дедом-бабкою», в роды и роды...

– Потому, что ты – мой идеал...

– Потому, что тебе я верю...

– И по этому существу моей абсолютной веры, ты мне ближе, роднее матери, отца, братьев, сестер... Целого мира...

– Ты один, и я одна...

И вот о таком-то сокровище, чего «за цену мира купить нельзя», а берет его «даром тот, кому я поверила», и, значит, самая-то «вера» или, точнее, «вералюбовь» выросла с солнце величиною, – больше, огромное всей земной планеты, жемчужнее царств и престолов: о таком сокровище вдруг выросла чудовищная, страшная, злая, насмешливая, мефистофелевская мысль:

– Сем-ка, надену платочек... Выйду... Может, кто сто пятьдесят копеек даст... Целых полтора рубля...

– Фу, чудовище... Фу, гадина... Фу, дьявол...

Девушка ничего не понимает. Таращит глаза...

– Дьявол; да понимаешь ты, что тут подкопан самый корень земли. Что если это не дорого, – ничего не дорого... Тогда ничего нет... И хлоп о зем-

лю шапку, и пойдет кутить; прокучивать царства, престолы, честь, славу, имя родителей, смысл родства, потомков и предков... Кутить так кутить... Если девица...

– Нет, если *девушка вообще*, мыслимая, воображаемая, мечтаемая, которой мы, мужской пол наш, и полководцы, и поэты, поклоняемся, – вдруг задерет подол...

Невозможны дальше речи. Плач. Отчаяние. В самом деле, «погибла земля»; и если девушка, мечтаемая и воображаемая нами, нашим мужским полом, «задерет ноги», то мы, мужчины, в самом деле, раскроем в крохи престолы и царства, которые сколачивали горбом своим, трудом своим, – раскроем «дьявольскую, мефистофелевскую цивилизацию», развеим по ветру мудрость... А вместо поэзии...

– Станем писать куплеты Баркова.

Погибла женщина... И с нею погибла красота мира... Высшая, – духовная и физическая. Несомненно, в основе духовная: но тем-то и дивная, что она воплощена, видима, сияет, осязаема; влюбляет в себя; преклоняет нас; и мы божимся перед нею, обещаем ей себя, служим для нее, умираем за нее...

Да самые-то царства мы основывали, и приобретали себе славу, и закручивали весь «смысл» в историю мира оттого, что эту историю мы мечтали вместилищем красоты, чести, добродетели, «должного», «бывающего», «осуществляющегося», все «нарастающего»... до слез и вдохновения. Но все эти именуемые и отвлеченные вещи мы, мужчины, всегда облекали в образ «прекраснейшей женщины», какого-то единого туманного идеала, но всегда и для всякого *воплощенного* уже в «любимой женщине». Да, это чудо; нет мужчины, – кроме самых пошлых, *последних*, – который не *любил* бы хоть однажды в жизни: и вот в «любимой женщине» ему всегда мерцает образ «единой великой женщины», в сущности – «святой», в сущности – почти «божества»... Так что «подлинная любовь» награждается видением или иллюзией видения «подлинной женщины», какой-то всемирной и вечной, от Беатриче Данте до «нас» и «наших жен» или «невест» и потом жен...

И вдруг:

– А вот я себе вместо Беатриче – Маню с Невского...

Раскроем весь мир. Камня на камне не оставим, если так...

Но чудовищная физика заключается в том, что, ведь, действительно, «так»...

Где же *метафизика*?

Умерла *любовь*...

И в секунду, как умерла любовь, родилась *метафизически* проституция.

О, еще не физически: никто никуда не «пошел», и девушка не «вышла» на улицу.

Но родилась *возможность* этого... Завтра, послезавтра, когда-нибудь, – все равно... Через век, через два, – все равно.

Вдруг это стало *возможно*.

Чудовищное, «небываемое» стало возможно... Даже легко... «Очень просто».

Как случилось «очень просто» с «задери ноги», – так в эту секунду и спустился на землю черный дьявол, настоящий, подлинный, не которого играет Шалапин, а на-сто-я-щий, с рогами и хвостом, заматающий кометы и звезды в свой хвост.

Померкла женщина.

И пали звезды с нашего неба. Те звезды, на которые мы смотрели и по ним направляли жизнь.

Идеал наш. Мать наша. Сестра наша. Невеста наша. Жена моя.

Все пали, все пало... как только вообще хоть в одном уголку земли, пусть где-то и невидимо, сложилось сочетание: «задери ноги», «получи рубль».

Плунуть. Отвернуться. И раскрошить все.

– Но, ведь, *везде так*?

– Да, потому что самая цивилизация умирает, и земля идет к концу... Знаете ли вы, что при очевидно померкающей женщине померкают народы, царства, мудрость, поэзия... Потому что померкает вообще *идеализм людской*...

Погибла мечта души, а уж долго ли проживет династия Гогенцоллернов, это даже и неинтересно. Час-два, век-два, – в сущности – наплевать.

Если «задери ноги» возможно стало приложить и вообще *прилагается* вот к тому существу, тому, по выражению Сократа, «бесперому двуногому», которое мы знаем в своей матери и сестре, если «может быть» это случится с *моею, собственной моею пра-пра-правнучкой*, то в секунду как это «может случиться» вызрело до осязательности для каждого из нас всеконечно, – каждому из нас судьба «династии Гогенцоллернов» стала ровнешенько «наплевать». И если мы и хлопочем о подобных сюжетах, то как бы «спяну», в угаре и от нечего делать: «пописываем» в прессе или другие пишут служебные «отношения», но с тем же сердцем и умом, как Мармеладов, у которого «своя Соня» на панели, все-таки и всеконечно, с соблюдением буквы «**ф**», писал бы бумаги в канцелярии, если бы его оттуда не выгнали за пьянство. «Дело делом» и «бумага бумагою», – хоть весь свет вались.

«Дело», конечно, на «панели» и в «Соне», но уже так все обернулось, что это считается пустяками, а, напротив, «делом» считается вложенный в синюю обложку лист министерской бумаги (по 6 коп. лист, толстая и глянцевиная), с «**ф**»-ями и «Вашими Высокопревосходительствами». И в том, что «так обернулось дело», – тоже один из метафизических корешков проституции. Человека не жалко. Вот бумага: если испортишь такой лист, – жалко. А если *не так* написано, то прямо *беды* произойдут.

Но кто же первый виновник проституции? Неужели он есть? И один?

Но если *все зерно* проституции заключено в чувстве и мысли, что «это очень просто», то, конечно, был кто-то один и первый, кто положил этой мысли основание, кто ее первый высказал. Кто-то сказал и научил людей:

– Роман, любовь, грезы... Сочинение поэтов, и притом дурного поведения... Ничего этого *на самом деле* нет, или это вымысел, подогреваемый

дурным чтением. Нужно воздерживаться от чтения и стихов, а уж особенно романов. Стихи, *воспевающие* женщину, – это *преступление!*.. Какая она «воспеваемая...» Цена ей совсем другая. Все проще...

– Господин Барков не ошибся: он только слишком откровенно выразил истину, которую полезнее скрывать или, точнее, полезнее *не печатать*, а держать просто в уме как очевидность. Роман, стихи и «упоение женщиною» готовят все-таки в конце концов вот это коротенькое, барковское... извините за откровенность – «задери ноги». И только. Значит, какая же цена стихов и повестей? В половине – это обман, завлечение слабого и глупого в сети; в половине – Барков, да еще упрощенный и огрубленный до степени, непереносимой даже для Баркова. Барков, обрызганный духами. Так уж лучше без духов.

– Жениться можно. Но читать стихи и романы нельзя. Непозволительно и грех.

– А жениться?..

– Можно. Вполне. Это Барков без духов, но с приданым. Мысль о приданом все-таки скрашивает... «участие в общем преступлении», как выразился Толстой в «Крейцеровой сонате». Но он взял слишком резко и до непереносимости откровенно. Он увлекся. Века практики выучили нас спокойному отношению: мы всегда берем приданое. Обручение, т. е. полгода влюбленности, ознакомления друг с другом, мы выкинули. Теперь просто: сошлись, обыкновенно, с родителями невесты; сосчитались, условились о вещевом приданом – материями и мехами – и ударили по рукам... И когда главное кончено, «очень просто» невесту приводят, жених тоже «приходит», ставятся рядом, простоят $\frac{3}{4}$ часа или час; ну – послушают, ну – на них поглядят. И, затем, «очень просто», – барковский момент. Без стихов и прозы: этого решительно не надо. От этого душу нашу воротит...

– И рыцарское поклонение женщине?..

– Душу воротит!

– Стрельба на дуэли за оскорбленную честь женщины?

– Что вы: даже запрещено законом! Явное преступление!

– Нежное, деликатное отношение к женщине?

– Да можно, конечно. Но пустяки. Не в этом дело: дело в крепком условии, крепком обязательстве, в ядренном здоровье женщины, хорошем приданом. Чтобы с нашей каши не чахла, со шей не тошнило. Чтобы послушлива была, – это важно. Хозяйка и мужняя спальница...

– А влюбление?

– Ни-ни. *Главное*, – его-то и не надо. Всему злу корень. Тут она занорвится, загордится, поднимет голову. Ни-ни. Разрушение всего. Нет, «очень просто...» берегла бы кошель мужа, его копейку: и была здорова, вынослива в родах, на лекарства бы лишнего не брала. И вообще... кухня, кладовая со скарбом... и спальня. И пожалуйста, без песни, пожалуйста, без сказки. *Главное зло.*

Кто это *подсказал*... нет, кто это *напел* человечеству, в бесчисленных присказках, на «семейных советах», в интимные минуты жизни, в роковых трагических коллизиях семейной жизни, по каменным городам, по деревянным селам, под соломенными крышами деревень, тот и создал мысль:

– Да, вообще, это *не дорого стоит*... Какая *цена женщине?*.. Цена хорошей рабочей силы и удобной постельницы, всегда одной и всегда здоровой, не больной. Вот и только.

Ореола нет. Ореол спал. «Цена», вообще, стала учитываема. Стало все рационально и «очень просто вообще»...

Мистический корень подрубился...

Тот, которым питалось, в сущности, все человечество. И порознь каждый питался, каждая девушка.

«Это» будет венцом любви моей...

«Этого» нельзя купить...

«Этого» я не могу продать.

Но когда ее стукнули по затылку, стукнули «старшие», стукнул отец, стукнула мать, стукнули в присутствии священника, и все трое *согласно* (от «согласия»-то и великий авторитет) заговорили:

– Что такое? Какие разговоры?.. Породнимся через тебя *с богатым*, породнимся *с сильным*, породнимся *со знатным*...

Тогда у девушки не могла не мелькнуть мысль:

– Да я лучше *сама себя* продам, чем меня *другие* продают... вот и в присутствии батюшки, с его благословения. Я и малолетняя, и глупая, и темная. Но когда все решили, что я – продаваемая вещь, то уж верно: *так* не ошибается столько людей и столько времен. Верно, на том свет стоит, что все можно купить и все можно продать. Поплачу...

– Поплачешь перед венцом. А там «стерпится – слюбится». Народ-то умнее человека: можно и не с любимым жить. Любый человек – молод, да гол; а этот – стар, да с мощной. Хозяйство.

Так женщина, – всемирная, – и дошла или доведена была до мысли, что пол ее есть вещь в хозяйстве; капитал. Ну, а «капиталом» торгуют; с «капитала» проценты получают; «капитал» недвижимо не лежит. «Шевелись», капитал, и «питай свою владелицу». Одевай. Капитал этот, – как только дошла мысль до данного пункта, – оказал в себе бесценные свойства: 1) у каждой *есть*, наследственный; 2) не тает, похож на неразменный рубль: вышла на улицу, – и через час рубль в кармане; два раза сходила, – два рубля; в урочный день – три, пять, наконец, даже десять рублей. «Аладинова лампа»; кто ее ни «потрет» со словами: «Появись!», «Исполни!» «Дух», – на этот раз «дух проституции», – высказывал каждый раз, говоря темной, невежественной, младенчествующей девушке: «Что угодно?»

– Угодно поехать на извозчике. Никогда по городу не ездила (деревенская девушка).

– Угодно в булочной кофею со сливками выпить.

– Угодно сладкий пирожок в кондитерской купить.

В России желания дешевле аравийских. И, наконец, это – поистине аравийское желание:

– Мне, деревенской девушке, безграмотной, немножко рябой, на которую никто особенно не заглядывался, угодно соснуть с молоденьким юнчерочком из хорошей семьи... С образованным дворянином в синем мундире, что «студентами» называются...

«Дух» все исполнил.

И потекло...

Кольцов пропел последние песни романтизма: о том, что «милую» отнимают, о том, что «до милого» не допускают. Но духовенство сказало:

– Это – грех. Любить, это – грех. Надо выходить замуж.

И когда девушке сказали о первой ночи, первая мать сказала:

– Экая невидаль. Поспишь и с нелюбым!

Сказала, однако, уже *по традиции* и по «напеву веков», то девушка договорила в себе:

– В самом деле, можно и с нелюбым спать. Эка невидаль...

То она и была первою проституткою. Пала – метафизически. А назавтра – и физически.

Но кто же, кто все-таки был *первый* основатель. О, и «батюшка» поет не свою песню, а ему «напетую», тоже по традиции.

Да, первое основание положено было в мысли: пол – отрицательное, пол – грешное, пол – не святое.

«Не святое»...

Как это было сказано, и понеслось гулом по истории, по цивилизации:

– Значит, *нечего его беречь*.

Монах. Черное его одеяние. Темный куколь. И этот заунывный тон:

– Все кончается и кончится. Мир должен сгореть, мир не вечен. Не женитесь, не выходите замуж, не имейте детей: ибо это только плодит грех в мире и укрепляет в нем грех. Крепче рождение, – крепче мир, крепче любовь, – крепче рождение. А должно все слабнуть, расседаться, рушиться...

ГАЛЕРЕЯ ПОРТРЕТОВ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ г. ПАРХОМЕНКО

Очерк

С длинными волосами и женообразным бледным лицом, с семинарскими манерами, Пархоменко так и ходит около своих «портретов». Ими занята уже целая стена до потолка большой, очень высокой мастерской, – в далекой, дьявольски далекой части Петербурга.

– Какой вы неуклюжий, батюшка: хоть бы написали в письме маршрут в вашу мастерскую. Тут всего две линии, – трамвая и конки. Времени сорок минут, и вагон останавливается против вас. Чего же вы не написали. Я и ехал, и шел, и проклял свою судьбу, что поехал к вам. Как вы будете писать

с меня портрет, когда я злой. Портрет должен быть «добрый», потому что я добрый. Но сейчас зол, и виной этому вы.

– Портрет будет такой, какой нужно. Времени терять нечего, и садитесь.

– Точно «по телеграфу». Нет, это черт знает что – писать портрет «по телеграфу».

– Дайте сперва посмотреть, – сказал я недоверчиво.

Половина лиц знакомых, половина, даже больше – незнакомы. Которые знакомы – похожи. Всего лучше, по-моему, Морозов (шлиссельбуржец); хорош, но не «великолепен» (как писали и как думает Пархоменко вслед за семьею Толстого) портрет «в. п. з. р.». Изумительно взят Флексер (Волынский), сухой, черный, в какой-то гимназической куртке, без воротничка и, словом, аскетом. «Может же человек так засушить себя». Точно трава в гербарии, потемневшая и ломающаяся. Ни росинки сырости и мягкого. Благородные лица Альбова и какого-то «народного писателя», – живописное и прелестное. Но всех выразительнее – Баранцевич: с морщинами, где-то шишечкою-прыщиком в лице; и следами «опыта жизни» во всем сильном выразительном лице. Чудовищно опухлое темно-красное, «бочкой», лицо Мамина-Сибиряка. А вон там – Ясинский, тут П. Б. Струве.

«Здравствуйте», – говорил я мысленно.

– Ну, похоже. Ну, ладно, берите кисти и рисуйте.

Кисти были уже в руках у Пархоменко. «Телеграф»... Как не «телеграф», если он рисует в 4 приема большой поясной портрет, масляными красками. «Черт знает, что такое». Год назад, совершенно не доверяя возможности такой быстроты и хоть каких-нибудь «качеств» в портрете, – я отказался. Но теперь на настойчивую его просьбу – согласился. «Пушай будет портрет в галерее». «Только надо сесть как писатели: позадумчивее». И я слегка опер голову на кисть руки, будто задумался.

– Так нельзя. – И он опустил палитру и кисть.

– Почему нельзя?

– Это будет картина, а мне для галереи нужен портрет.

«Ах, черт возьми: еще говорит умно! В самом деле, это будет «картина», а не «портрет». Вот переумнил меня!» – и я сконфуженно поправился и сел «в позу», как в фотографиях. Неестественно и несколько неудобно.

Сейчас же кисти заходили ходуном.

Я повернут был к стене, занятой портретами. Чем далее я глядел на них, тем более они мне нравились, – и не отдельно, а массою. Без рам, этих несносных золотых рам, кричащих о рынке или выставке, – они являли собою что-то тихое и умное, комнатное или кабинетное. «Так любитель литературы украсил бы свой кабинет или дворец». Мне показалось чем-то невозможным разрознивать галерею. Каждый отдельный портрет мало говорил бы собою; но, собранные вместе, они являли зрелище и любопытное, и будящее много мыслей. Я стал входить во вкус Пархоменко, в мысль его, план.

— Это несносно, что вы всех вызываете к себе. Есть лица, которые никак к вам не поедут, а между тем они непременно должны быть в «Галерее русских писателей»...

— А я никак не могу уступить и рисовать их на дому: я хочу сделать все портреты при одном и том же освещении и по возможности в одной и той же позе или, лучше сказать, — без позы.

«Ах, черт возьми: опять умно».

— Только взятые под одним углом зрения, при том же свете, в одной обстановке для рисующего, наконец, только взятые одним и тем же живописцем, лица писателей дают большой материал для сравнения, и даже больше — открывают свою истину. Я всеми мерами избегаю случайного и момента: мало ли писатель может быть в каком моменте, и он интересен для живописца. Нужно пожертвовать эгоизмом и писателя, и живописца, и рисовать не то, что «интересно», а что *есть*. Нужно зарисовать писателя, каким он *бывает*, а не каким ему *случится* быть...

«Все верно и верно», — думал я.

— Вот я вас посадил так, — обыкновенно. Я уже лет десять читаю вас, знаю многие ваши книги. Предполагаю ваши капризы и своеволия. Но всего этого мне не надо. Я сделал усилие забыть все, что вы писали, забыть ваш литературный портрет...

— Странно...

— И рисовать то, что *видит мой глаз в вашем лице*, а не что я знаю в вас духовно, не что думает о вас мой ум или воображение. Мне нужна натура; писателей я взял в натуру. Но естественно, с мыслью, что потомству будет особенно интересна эта именно натура. Интерес вытечет уже из моего намерения, плана: дать «Галерею русских писателей». Из сюжета, содержания. Но я не хочу «интересничать» перед зрителями своей кистью, или своим воображением, или своими догадками.

«Все умно. Есть какая-то догадка у этого семинариста, — с такими длинными, бабьими волосами».

— Я зарисую всю русскую литературу, добьюсь полноты «Галереи». И ни за что ее не разрозню. За портрет Толстого мне уже предлагали из Москвы несколько тысяч (много тысяч), но я не согласился его отдать. Купит «Галерею» кто или не купит — от решения этого вопроса я не пропаду, но я не испорчу своего дела и ничего не стану продавать враздробь. Поеду по России, буду устраивать выставки; на них все пойдут, все приедут. Но мысль моя простирается дальше. Естественно, мне хочется, чтобы «Галерея» была куплена государственным учреждением, где она сохранится прочнее и цельнее. И вот я мечтаю, что и после моей смерти явится другой живописец, который продолжит мое дело, которое я рассматриваю как начинание; он пополнит «Галерею» портретами других выдающихся писателей, какие со временем будут появляться мало-помалу. И таким образом соберется полная, вполне полная «Галерея русских писателей», начиная с нашего времени...

– Да, вы несколько опоздали. Лиц Островского, Гончарова, Тургенева уже не вернешь... Не вынешь из могилы «к одному свету и под угол одного зрения». Но мысль в самом деле великолепная: только тогда вам нужно ее несколько переиначить или, вернее, дополнить. Какая же «Галерея русских писателей» без Ключевского? Я называю для примера; а таких очень много. В вашей «Галерее» есть ужасный, режущий недостаток.

Он рисовал не отрываясь, но слушал.

– Вы рисуете собственно журналистов, а не «писателей» как духовных вождей страны, как строителей ее исторического ума. Вот в этом смысле ваша «Галерея» могла бы быть бесконечно нужна, содержательна, в полном смысле слова была бы исторична. Но этого нет, и этого я даже не вижу начала. Из некоторых якобы «писателей», вами нарисованных, есть такие, которые написали несколько рассказцев, никому не известных, несколько бесталанных стихотвореньиц; и наконец, есть в собственном смысле «газетчики», о которых вы знаете только потому, что они галдели чуть ли не каждый день в течение двух-трех лет и галдением составили себе имя, почти скандальное. Но вы же сами хорошо знаете, что ни одной художественной строчки из-под их пера не вышло и они не оставили ни одной мысли, которая бы запомнилась или ее стоило бы помнить. Почему же они «писатели»? Они *печатались*, но это уже машина, типография. Они ни строки не дали в сокровищницу русского ума и русского искусства.

Мы остановились на одном имени и, почти не споря, согласились, что было непростительною ошибкою вводить его в «Галерею». Он вечно печатался. Вечно шумел. Вечно всех обличал; но каждая строка «обличала» его в том, что он вовсе и никакой не «писатель», а только присосался к литературе, как черная пиявка.

– Нельзя же рисовать человека с пиявкой, приставленною к десне большого зуба. Это «неверно» в отношении человека; ибо его существо – без пиявки. Так ваша «Галерея», прекрасная в замысле, – именно в этом-то замысле и испорчена «торчащею из рта пиявкою», каковую роль играют некоторые газетные сотрудники, люди в прессе необходимые, но в литературе не играющие никакой роли, к литературе вовсе не принадлежащие. Литература, в конце концов, есть прекрасное, сильное, умное, – и должна быть ограничена тем, где это есть в наличности.

Он согласился.

– Запомните же это хорошенько и непременно исполните; в самом деле вы попали на замечательно счастливую мысль. Но ее нужно хорошо провести в отдельных приложениях и непременно раздвинуть с «литературы» и на «науку». Какая литература без науки? В частности, наша русская литература мыслима ли без университета? Да и не только. А духовные академии? Дорисовывайте свою великолепную мысль и дайте России и, особенно, потомству текущего поколения...

– О нем-то я больше всего и думаю. Я думаю не о теперешних зрителях: а что моя «Галерея» будет в высшей степени нужна и интересна для следующих поколений...

– Вот видите. Мысль у вас вполне умная, точная и верная. Но что вы делаете? Кому в «потомстве» будет интересен портрет этого «публициста», обличавшего купцов с Сенного рынка. Самое имя его не удержится ни в малейшей памяти «потомства». Вы же, раз Бог родил у вас такую мысль, должны выразить «в портретах» русскую духовную жизнь, с ее сумятицей, тоской, противоречиями, бурями. Тут все у вас «либералы»; так разве же из них одних состоит литература и русская умственная жизнь? Где у вас Ламанский? А это – имя. Где основатели высших женских курсов, или горячие их деятели – В. И. Герье – для Москвы, профессора Александр Ив. Введенский и С. Ф. Платонов – для Петербурга? Странна русская «умственная, духовная жизнь» без них. Где Бехтерев? Чечотт? Профессора Отт и Феноменов?

Он с удивлением посмотрел на меня.

– Да неужели маленькая повесть в журнале, которую «прочли с удовольствием», – умственно важнее, духовно важнее, чем Бехтерев или Феноменов, к которым тащатся люди с Кавказа и из Сибири и на них смотрит вся Россия, их видит целая Россия. Наконец, они сделали успех в науке, двинули дальше науку. Как же вы их исключите из «духовного образа» России: тогда этот «образ» будет довольно туповат; неполон и искажен. А вы рисуйте полно, тогда это и интересно будет «потомству». А то вы захватываете на полотно, с небольшими добавлениями, лишь то, что уже захватили иллюстрированные приложения к газетам: очень нужно видеть сто первый раз лицо, надоевшее в «Приложениях». Вы берите, преимущественно берите то, что зритель увидит впервые у вас; что без «Галереи» вашей вовсе пропадет для потомства. Непременно берите ученых. Возможно ли не зарисовать Глубоковского, Бриллиантова, еп. Феофана и Каринского в Петербургской дух. академии, Алексея Введенского, М. М. Тареева, П. А. Флоренского, проф. Спасского – в Московской дух. академии? Историков литературы – Н. А. Котляревского, М. О. Гершензона, проф. Овсяннико-Куликовского, вдумчивого Леонида Галича? Почему все «Арцыбашев» и «Каменский»? Что за Фаусты русского духовного сознания? Вы берете то, что несет улица, чем шумит площадь. И это отнимает главную прелесть, возможную прелесть вашей «Галереи»: ее тихий домашний дух, ее умную бесшумность.

Позже, когда кончился «сеанс» и я встал, я увидел у г. Пархоменко целый список лиц, которых он предполагает писать; и он вообще старательно ищет имен и адресов, прислушивается, кого и почему следовало бы написать. Нельзя не видеть в его «Галерее» нашего русского национального дела. Мысль ее действительно очень удачна, но все зависит от исполнения. Нельзя усомниться в его желании взять все самое серьезное; но можно опасаться другого: что очень занятые люди, – у иных, правда, каждый час занят – откажутся поехать к нему. Это будет ужасно жаль, – просто в социальных целях, в общерусских целях. Нескольким «упрямств», нескольким важных «упрямств» может расстроить всю «Галерею». И здесь нельзя не посоветовать

мягкости, уступчивости; нельзя не пожелать устранения литературного и ученого «снобизма», который есть, который встречается.

Мысль его взять писателей «в обыкновенном» – положительно умна. Портреты схожи, некоторые чрезвычайно схожи и удачны. Не все: например, у Ремизова не передана, или мало передана, замечательная бледность лица, белизна кожи. У И. И. Ясинского лицо взято уже, чем есть. Это – возможные промахи, каких, я думаю, вполне не избегает никакой живописец. Но от написания уже множества, – до пятидесяти, – портретов, и глаз и рука г. Пархоменко уже приспособились к быстрой, энергичной и точной работе. Во время сеанса я услышал еще подробность, очень ценную.

– Завтра последний день, и я буду рисовать *глаза*.

– Почему так поздно? Ведь глаза – главное.

– Именно оттого, что главное. Портрет должен быть схож *до глаз*: а то «с глазами», раз они удачно вышли, он будет схож и без сходства или удачи в остальных частях лица. Удача глаз все затушует, заменит неудачу остального. Обманет и художника, и того, с кого он рисует. Этого не надо. Пусть портрет будет похож в менее духовных своих частях, и уже тогда можно завершить его в главном, – в *глазах, взоре*.

– Вот... А Репин говорит, что нет настоящего сходства в портрете, пока не вышли *губы*. «Схватить бы губы, положение рта, тайну рта – и тогда портрет выйдет».

И я мысленно перенесся в «Пенаты» его (имя дачи его в Куоккале), все зарисованное изумительными портретами. Изумительными в проницательности... Преступников, гениев, дураков, наглецов, драпирующихся, иногда удачно, перед человечеством, – я всех повел бы в мастерскую Репина для разгадки. Репин «проявляет» внутреннее человека, как «проявляются» фотографические пластинки в какой-то кислоте. Его едкая, внутренне едкая душа разлагает внешность человека, устраняет «вздор» его, прикрасы его, манеры его, и требует в суду зерно его. Все портреты Репина суть «судящие» портреты... Как ужасно иногда он судит, жестоко... Но всегда истинно, может быть, только немного преувеличивая, подчеркивая. Но подчеркивая то, именно то, что *есть*, что лежит «в натуре»... «Тайная карикатура»... Это иногда мелькает в уме при взгляде на его портреты. Но что же, если вообще «карикатурно» это Божие создание – человек... Его портреты Морозова (шлиссельбуржец), кн. Паоло Трубецкого, доброго и милого Гинцбурга (скульптор), г-жи Яворской, не говоря уже – Толстого, наконец, Гоголя (сжигающего «Мертвые души») и Пушкина (гуляющего, во вдохновении, по набережной Невы), Менделеева, графини Паниной, г-жи Северовой, – все это работы великого, изумительного мастерства, о которых можно бы написать том... Тут каждая черта важна, характер посадки в стуле, поворот фигуры... Некоторые портреты взяты со спины, сбоку: нужно же догадаться, – но злой гений Репина догадался, что есть люди, которые всего выразительнее сзади или сбоку; что у них мало «лица» в лице, а «лицо» вылилось в сгибе фигуры, если на нее смотреть сбоку, или в сутуловатой

спине, согнувшейся на стуле. «Неумного» человека он возьмет так, что не видно глаз, ибо «глаза» ничего у него не говорят, у него нет «взора»... Удивительно. В гении Репина есть что-то родственное с Гоголем: тот же пафос преувеличения и внутреннего смеха, то же недоброе и мрачное. И – ни луча пушкинского солнца.

РАССКАЗЫ И. Л. ЩЕГЛОВА*

Скромно изданный томик рассказов И. Л. Щеглова прочтется с удовольствием и широкою публикою, и записными любителями литературы. Вторыми – как просто восемь рассказов из «нашей жизни», – той жизни, которая и коротка, и бесполезна, и пуста, и глубокомысленна, и скучна как будто... а однако, все-таки «жизнь», т. е. такое, лучше чего нет ничего из сотворенного. На всех рассказах есть налет мысли и грусти, – и вместе все они «рассказаны» если не «сквозь смех», то сквозь легкую улыбку человека, имеющего вкус к шутке и понимающего ее жизненное значение. Рассказы – просты, ясны. Щеглов – из прежних писателей, которых гнетет декадентская «запутанность» и которые удержали ясность и простоту, – завещание еще античного мира, – как высшее мерило красоты, ума и порядочности. Недаром вместо эмблемы и эпитафии И. Л. Щеглов поместил на обложке книги снимок со статуи эллинского бога: это идет, и это верно. Наконец, это не одно притязание.

Любители же литературы с уважением поставят на полки своих библиотек первый томик рассказов того автора, который когда-то дал нашей литературе такие chefs-d'oeuvres, как «Убыль души» и «Около истины». Щеглов – правдивый писатель: и все изломанное и фальшивое, всякая подделка и личина ему претит органическим образом. В рассказе «Около истины» он дал убийственное изображение «колониального толстовства», т. е. толстовцев, собиравшихся в «колонии»... Рассказ, может быть, немногими помнится, но его поучительно было бы перечитать сейчас. В свое время он вызвал бурю негодования, и, что остроумно, в рядах отнюдь не «не сопротивляющихся злу»... Бог весть почему поднялся ураган злобы против тихого изобразителя добродетелей Черткова. Кто читал дивный «Дневник Дьяконовой в Париже», увидит, что и у этой правдивой и беспритязательной курсистки Чертков очерчен так же, как у И. Л. Щеглова: а поехав к проповеднику почти «на поклонение», она не имела мотивов ни лгать, ни преувеличивать. Помнится ее пометка: «Все говорили (у Черткова в гостях) о мужиках, о земле и труде земледельческом: но из разговаривавших никто не сумел бы отличить колоса ржи от колоса пшеницы». Впрочем, Бог с ними: история все унесет и все пронесет, одно золото останется...

Тон рассказов Щеглова – добрая, прощающая шутка; неверие в героизм и, пожалуй, нелюбовь к героизму; все «наше», «обыкновенное». В

* Иван Щеглов. Рассказы. СПб., 1910.

некоторых рассказах, как «Тетя из Витебска», звучит скептицизм, пожалуй чрезмерный. Жизнь, конечно, не удержалась бы в известной колее и даже не имела бы силы идти вперед, если б она вся и до дна была так мелочна и ложна, как кажется автору. Поверим в абсолютный порок, и наряду удержим восторг и *полную веру* в абсолютную добродетель. Есть один, есть другая; *точно* есть, не в фантазии, не в оптимизме. Кроме шуток и смеха есть горе, есть слезы; благороднейшие человеческие слезы и *настоящие*. Без примеси *настоящего* вообще жизнь была бы невозможна. Да вот пример: я упомянул о Дьяконовой. Ее «Дневник», ее изумительная смерть от безнадежной любви к человеку, которого она даже хорошенько и не знала, – ее душа, такая прелестно-девичья и до того русская-русская, – разве все это не *настоящее*, без прогаров, без фальши, без притворства?

...И сколько таких *настоящих*... И чем была бы наша русская жизнь, если бы не эти *настоящие*... В рассказах И. Л. Щеглова и их преувеличенной грусти сквозь шутку, печали сквозь забаву есть эта односторонность или недостаток, что как будто судьба-мачеха не дала ему никогда в жизни встретиться с *настоящим*... И он никогда не содрогнулся, не удивился и не передал в своих рассказах вот *этого*, от чего бы он содрогнулся или чему удивился.

К ПАМЯТИ М. А. ВРУБЕЛЯ

В апрельской книжке издающегося в Киеве, под редакцией С. П. Яремича, журнала «Искусство и печатное дело» началась обширная биография покойного художника Врубеля, принадлежащая даровитому перу А. П. Иванова, автора обширного этюда об операх Р. Вагнера в «Мире искусства». Автор имеет в своем распоряжении обширный неизданный материал в виде писем художника к друзьям и родным и воспоминаний о нем людей, с которыми была так или иначе связана его жизнь. О жизни Врубеля, как и его взглядах на искусство, до сих пор ничего не было известно. Но в Киеве прошла молодость его, а близ Киева, в смежных губерниях, его лучшая, цветущая пора жизни. В работах для тамошней Кирилловской церкви впервые выразились и его великое чувство красок, и мастерство в них. Очень естественно, что там же ранее всего собираются и материалы о его личности, трудах и всех подробностях жизни. Биография задумана в обширных размерах. Письма будут печататься целиком или в обширных извлечениях. Текст иллюстрируется превосходно наполненными снимками, частью в красках, с картин и рисунков Врубеля. В четвертом номере замечательный по экспрессии набросок карандашом «Голова Богоматери» из собрания Е. А. Праховой и рисунок из альбома, тоже карандашом, – мальчика, заснувшего сидя. Первые эти рисунки полны силы и яркости и не имеют еще того, не всем нравившегося, оттенка и наклона мысли и воображения, который стал у Врубеля господствующим под конец его жизни.

К ПОЛОЖЕНИЮ ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКИХ УЧИЛИЩ

Училищный совет при Св. Синоде, духовенство в иерархических его слоях, как равно и рядовое, делает чрезвычайные усилия, чтобы удержать церковно-приходские школы в своем ведении, или, скорее, – в своей власти, и не допустить объединения их с народными школами м-ва народного просвещения. Около этого вопроса загорается горячая борьба. Вопрос этот осложняется множеством побочных соображений, часть которых молча хранится про себя. Нападения делаются и прямые, и косвенные; при ответе на нападения часто имеется в виду не выставленный мотив, на который *не отвечается ничего*, а мотив предполагаемый, подспудный, который подвергается разгрому. И т. д. Все это в высшей степени запутывает и затемняет вопрос. И очень важно привести его к первоначальной и простой ясности.

Церковно-приходские школы суть вероисповедные («конфессиональные» по западноевропейской терминологии) и вместе с тем замкнуто-сословные школы, причем учащие и учащиеся – не одного сословия, но разных. Вот их главная суть. Обучает – духовенство, обучается – крестьянство. До сих пор нет вопроса: так как кто бы ни приносил *свет учения* темному пока народу, это пробуждает мысль только о благодарности. Но если на этой отвлеченной высоте не поднимается никаких вопросов, то они тотчас же возбуждаются, как только мы спустимся ярусом ниже, ближе к почве, к земле, к действительности:

1) Конфессиональность, т. е. неперемнная вероисповедность, исключительная вероисповедность в направлении и духе преподавания, и главное – в *содержании* преподавания, т. е. в программе и курсе школы, есть ли что-то *нетерпеливо* требующееся в России?

2) Нет ли другого чего, что именно в *России* гораздо безотлагательнее?

3) Духовенство как *сословие* выказывает ли расположение к достижению этих других *безотлагательных* целей?

Ответом на это служат следующие бесспорные истины:

Население деревень и сел наших страшно темно. Это – первое. И, вторых, – это население нищее. Бедность и темнота – вот область, куда вносится школою свет. Достаточно ли он энергичен? В распространении этого света какую роль играет именно конфессионализм?

Здесь выступает многолетнее наблюдение, которое никогда не было *прямым образом* ни оспариваемо, ни опровергаемо, ни даже не было разъяснено и оговорено учащим духовенством: что церковно-приходская школа есть страшно вялая школа, маложизненная, пассивная. Говоря упрощеннее и по-русски: это есть ленивая школа, небрежно ведущаяся, с небрежным преподаванием и очень малому выучивающая. Иногда – почти ничему не выучивающая.

Когда в одном селе стоят школы церковно-приходская, земская и министерская, крестьяне говорят: «В церковно-приходскую отдать мальчика –

все равно что никуда не отдать. Только будет попусту ходить. Грамоте и письму еще научится, а больше ничему не научится». Это вызвало в свое время известное домогательство и требование духовно-училищного совета: чтобы в селах, где уже существует церковно-приходская школа, не были допускаемы к открытию ни министерские, ни земские училища. Страх соперничества слишком ясно сказывался в этом домогании; но сказалось здесь и худшее: «Мы палец о палец не хотим ударить, чтобы сравнять свои училища с училищами других типов. Это трудно и противоречит нашей лени; а потому соперник пусть просто уберется с глаз долой, уберется из сферы нашего действия и власти».

Это совершенно отвечало тому, что писало само же духовенство в самом начале открытия церковно-приходских школ: что множество *треб* и множество *переписки* по делам прихода, в виде *отчетов* и *ответа* на запросы разных ведомств, совершенно не оставляет им *времени* заниматься прилежно училищным делом.

Вообще духовенство никогда не отвергало, что церковно-приходская школа есть вялая, малодеятельная школа в чисто учебном отношении. Малопрограммная, слабопрограммная.

Т. е. ее свет тускл, не ярок.

«Но зато – добр», – настаивало духовенство.

Против этого нельзя возражать. Нужно признать, что конфессиональные, т. е. вероисповедные, школы, отлично поставленные и действующие в духе старой *историчности* каждого народа, у которого они есть, конечно, суть нормальные народные училища. Они дают *цвет* тому естественному духу, тому строю и направлению жизни, какую народ начал жить и прожил века. Но это именно – *цвет*, *верхушка*. «Приходские» и «церковные» школы естественны и плодотворны в Англии и Германии, где, даже и помимо школы, пастор есть средоточие культурного света, теоретического света для целой округи. «Пастор» на Западе морально соединяет качества трех наших служебных лиц: проповедника, врача, судьи и наставника. Он не только всегда и безусловно есть наставник, но, по уставу, он обязан уметь производить даже легчайшие операции. Ничего подобного нет, и *традиционно* нет, у нас. Наш священник традиционно есть совершитель божественной службы и исполнитель *треб*. Учительская функция выпала на его долю вновь и неожиданно. А между тем, как и всякая, она требует векового привыкания, векового приспособления к себе ума, способностей и внимания. Ничего этого пока нет. Церковно-приходская школа есть слабая школа. И на Западе она является, так сказать, высшим лоском школьного дела, нежною бархатистостью на старой культуре страны, – *после того* уже, как все элементарные, грубые и безотлагательные нужды населения выполнены типами других элементарных школ, по преимуществу практических, деловых, ремесленных, реальных.

Вот что более всего нужно народу: самая интенсивная грамотность, арифметика, маленькая география и маленькая история родной страны... *После*

чего пусть придет и конфессиональность. Русский народ, слава Богу, крепок в вере отцов, нимало в ней не шатается, и никакой *торопливости* укреплять и расширять эту сторону его души – нет... Но он нуждается в том, чтобы лучше жить, чище жить, хоть несколько сытее жить; нуждается в ремеслах, в уменье лучше обращаться с землею, лучше пахать, лучше ходить за скотом. Культурный немецкий и английский пастор давно двинулся бы навстречу этой вопиющей народной нужде. Позванный в школы, позванный с высоты Престола, как это было у нас, он *сам и первый* указал бы на эти стороны школы, как необходимые и первенствующие... Увы, ничего подобного не произошло в русском духовенстве: позванное в школу, оно поняло только, что зовется к *управлению* школою, к *власти* в ней, и притом без всякого ответа за власть и всяких обязательств перед страной и населением. Обычное русское мышление... Оно создало не только ленивую школу, но и сухую, узкую, именно *сословную*, но не *народно-сословную* (по ученикам), а *духовно-сословную* (по учителям)... Народ остается к этой школе безучастлив, несмотря на большой энтузиазм, с каким она была *встречена на первых шагах*. И теперь вина самого духовенства в том, что поднялся вопрос об изъятии этих многочисленнейших у нас школ и передаче их в другие, более интенсивные, более рабочие руки... Лучше бы *делало* духовенство, не было бы вопроса этого, не было бы *основания* поднять его. По пословице: «От добра добра *не ищут*». Нужно было духовенству *в свое время* напрячь все силы, чтобы угасить всякое желание у кого бы то ни было видеть его отстраненным от высшего авторитета в сельской школе. И теперь оно должно думать не о механическом отстранении соперничества, но о том, чтобы *наряду* с другими и *об руку* с другими работать достойно на этой обширной ниве, где работы хватит *на всех*. Нам кажется, надо не переводить церковно-приходские школы в ведение м-ва просвещения, но поставить их *под педагогический контроль* и земства, и министерства.

В ТЕАТРАЛЬНОМ МИРЕ

(К гастролям московского
Художественного театра в Петербурге)

Древние любили пощупать «богов» руками. Барон Н. В. Дризен, редактор «Ежегодника Императорских Театров», задумал и выполнил в эту зиму нечто вроде свободной театральной академии: он устроил небольшие собрания у себя на дому из деятелей театра и представителей литературы для обсуждения разных тем, связанных со сценою, ее жизнью, ее настоящим и будущим. На последнее, девятое, собрание он пригласил Вл. Ив. Немировича-Данченка и г. Станиславского, устроителей московского Художественного театра. «Нужно богов посмотреть вблизи», – подумал я и, бросив все «безотлагательные» дела, отправился на собрание. Говорит, смотрит и удивляется вся Россия; должен видеть и я.

«Боги» опоздали: вместо «непременно к 8 вечера», — час, усердно выпрошенный г. Станиславским, — он пришел в 9^{1/2}, а Вл. Ив. Немирович-Данченко и того позже, кажется, уже в 11-м... Конечно, сердились, задыхались в «кометной» жаре, которая стояла весь апрель в Петербурге; не утешала наступившая «белая ночь». Ни чая, ни разговоров интересных. Сидят угрюмые, малознакомые между собою литераторы, и, верно, каждый строит про себя «донос на гетмана-злодея», т. е. перебирает желчные слова, которые он не может сказать вслух и охотно сказал бы в печати про знаменитых «опоздавших гостей», «черт бы их побрал» на этот раз.

Но когда, ласково здороваясь со всеми, появилась среди гостей белая голова, на высоком, стройном корпусе Станиславского, я забыл ожидание и желчь, я простил ожидание, как и все прощается «богам». «На таких не сердятся... уже, прежде всего, потому, что он сам ни на кого и никогда не сердится». До сих пор «в натуре» (не на сцене и в роли) я видел г. Станиславского всего один раз, это — на представлении Айседоры Дункан, в петербургском Малом театре, когда он сидел в первом ряду кресел. И тогда я любовался, *как он сидит*:

Куда бы ты ни поспешал,
Хоть на любовное свиданье...

скажу я словами Пушкина: невозможно, за каким бы торопливым делом вы ни шли, не фиксировать свой взгляд, а фиксируя, и не задуматься при взгляде, просто на то, *как он сидит*. Будь я английским королем Эдуардом VII, я уступал бы из четырех недель одну г. Станиславскому: просто для удовольствия «доброего английского народа», которому было бы приятно видеть на троне такую исключительную фигуру... Ах, если бы мы были мудры, мы давали бы в жизни немного места опере, короли бы разыгрывали шекспировские пьесы и на это время давали посидеть на своем месте какому-нибудь Каррику, Сальвини, Мюнэ-Сюлли, Поссарту, Станиславскому... Ничего худого от этого не произошло бы, а «доброму английскому народу», наверное, жилось бы веселее. Немного шалости, а то все серьезное и серьезное.

Черт бы его побрал, т. е. это серьезное. Я думал, следя за фигурой Станиславского: «Тут что-то особенное, тут было что-то преднамеренное, нарочное у природы. Ведь все русские, вообще, так некрасивы, по крайней мере в наше «декадентское» время... И рост невелик, а *вида* — совсем никакого... Князья же и графы, в особенности, до того тусклы, до того подчеркнута безвидны, что просто грусть берет... Князья и графы решительно сходят на линию парикмахеров или рассыльных: «Эй, братец, подай мне пару чая», — хочется сказать иногда носителю огромной, знаменитой на всю Россию, исторической фамилии. Может быть, натура-родительница, в упрек этим историческим фамилиям, так грустно потускневшим физиологически, и сотворила нарочно Станиславского, и даже довела его до театральной сцены, чтобы показать на всю Россию: вот каков должен бы быть *настоящий барин*.

Настоящий господин себя...

Себя и окружающего...

Уже когда прения завязались, я, желая передохнуть, вышел в соседнюю комнату и, увидав здесь несколько литераторов с папиросками, все тоже грустного вида, не мог удержаться, чтобы не сказать, обращаясь более к комнате, чем к малознакомым литераторам:

– Он не может быть очень умен.

– Кто?

– Станиславский.

– Отчего?

– Оттого, что он так красив. Природа не может дать сразу двух даров одному человеку. И раз она дала ему столько внешности, она не могла, *не смела* не обделить его внутренне...

– Да он вовсе и не красив: с чего вы взяли? Нос, подбородок...

– Ах, черт возьми: я ничего этого не заметил. Кто же смотрит на «нос» и «подбородок», когда *целое* поражает *видностью*... «Красивый нос» нужен уроду, чтобы чем-нибудь скрасить его размазню вместо физиономии, но для чего «красивый нос» человеку с обаянием, человеку, который только один и виден в зале с минуты, когда вошел в него, которому вы извиняете все, что бы он ни сказал, на которого вы не сердитесь, даже когда он опаздывает и заставляет вас ждать... Король, и только. Короли, как и важные бары, оттого, должно быть, и некрасивы теперь, что они замечательно умны, а г. Станиславский, для уравновешения, при всей своей красоте... не может быть умен.

Я говорил в волнении и почти в досаде, что человек до такой степени виден. Но, на самом деле, когда я слушал речи, и в них я заметил у Станиславского... красиво умное, картинно умное. Но о речах – потом. Теперь же, под возражением, «какой у него подбородок», я стал обдумывать *частности* его лица и отмечу следующее, для потомства. Так как основатели Художественного театра, конечно, суть исторические лица, и о них нужно все знать. Действительно, лицо у него, скорее, некрасивой лепки: ничего «смазливого» и «хорошенького»... Но, ведь, это же в мужчине – *безобразие*: все «смазливое» и «красивенькое». Это – тип женщины, тон женщины: *уродство*, когда встречается у мужчины. У Станиславского крупное, очень видное лицо, немного неправильных, неизящных линий, именно: *мужское*. «Повелитель и господин», которому нет дела «до мелочей»... Украшением головы служат собственные белые волосы, немного взъерошенные и короткие, небрежно поднятые «пятерней», что ли, но едва ли гребенкою. «Гребенкою пусть чешутся женоподобные мужчины, а я король и буду чесаться пятью пальцами». Волосы эти совершенно белые, без единого черного, или темного, или серого. И, между тем, под волосами лицо еще совершенно свежее, почти молодое; чуть-чуть красноватое; необыкновенно жизненное и ласковое.

Все это – на высоком росте; на высоком без излишества (не «дылда»). Все пропорционально с широтою плеч. Ничего выдающегося; ничего, что

бросилось бы в глаза, кроме «общего». Ничего выдающегося... кроме того, что «этот человек сразу же всеми замечается», едва вошел в зал, и еще, – что все другие, даже женщины, даже очень молодые и красивые, вдруг перестают замечаться с момента, как он вошел в зал. Еще: я не видел и не умел бы представить его сидящим в кабинете (маленьком) или присевшим на подоконник, на угол стола, – и «болтающим» с приятелем. В «маленькой компании» он мне не представим. Почему-то я не думаю, чтобы он мог быть интимен, задушевен. Лицо его, фигура его *требуют* зала или большой гостиной; ему неудобно на стуле: нужно подать кресло, и, чтобы «договорить» или выговорить тайный голос Природы, ему нужен – трон... Ну, на сцене, ну – театральный, какой-нибудь, но что-нибудь вообще ближе стоящее к трону, более напоминающее трон...

Стали говорить... Поились речи... Станиславский быстро и скоро одушевился. Ни тени позы, деланности, эффекта. Ни тени любования собою и вообще «сознания своего значения». Заговорил вдруг художник, полный увлечения. И тут выступила черта тоже физическая, но которая положила грань и венец на всю его замечательную физику: в одушевлении – он улыбался иногда, как бы моментально задумавшись; и когда (по ходу речи, спора) ему приходилось улыбнуться раза три подряд, – последняя, третья, улыбка была совершенно детская. Это – поразительно, но я точно заметил, и тоже записываю это «для потомства»: ведь на портретах не передается улыбка человека, т. е. главное в человеке, или начало главного. Вся вообще улыбка, видная улыбка Станиславского содержит что-то очень доброе, приветливое в себе, дружелюбно расположенное к спорщику; это что-то в высшей степени деликатное и нежное, – на лице столь типично мужском. Но когда он очень увлечен и говорит уже долго, – он улыбается в третий раз, и вы с изумлением замечаете что-то наивное и детское или страшно-страшно молодое, отроческое в линии, появившейся в губах. «Вот он, прервав спор, сейчас присядет к полу и заиграет со спорщиком в детские игрушки, да так весело и беззаботно». Его речь, художественная и поэтическая, наконец, умная, – носила последний чекан еще и этой прелести – беззаботности!

«Счастливым человек! – подумал я. – Нет, это *непременно* очень счастливый человек... У него не было разочарований; он не плакал над недостигнутым; никакого томления, грусти. Никогда – отчаяния».

Станиславский – удачный мастер великого театрального ремесла.

* * *

При слове «ремесла», однако, он затопал бы ногами. Здесь я приведу не буквально, но очень точно отрывки его речи, объясняющие многое и в нем, и, вероятно, во Вл. Ив. Немировиче-Данченке, и, вообще, в Художественном театре: он возражал г. Евреинову, вместе с бароном Дризенем, основавшим в Петербурге «Старый театр».

«*Театральность*, сценичность пьес... Так называемая их *сценичность*, т. е. соответствие тем шаблонам актерской игры, к которым они привыкли,

традиционно привыкли... Здесь говорят, что я предан театру. Но ни минуты, ни одной тысячной доли минуты своей жизни я не пожертвовал бы тому, что называют *театральностью*. Если я что ненавижу всеми силами своей души, к чему питаю неодолимое отвращение, что, наконец, презираю всеми способностями ума и борьбу с чем я считаю своим призванием, то это – с театром».

Я слушал изумленно. Все тоже разинули рот.

«Театр – враг мой. Щепкин был гениальный актер, но то, что вынесено из гениальной его натуры, эти «щепкинские приемы игры», – запомнились и увековечились на сцене. И тысячи актеров, уже вовсе не *Щепкиных*, повторяют в своей игре его приемы, нимало не связанные с *их натурой*, теперешних актеров, которая, однако, есть у каждого актера своя... Но она убита, затерта: на место этой своей натуры актера выступила *традиция сцены*, дьявольская и деспотическая традиция, шаблонная и деревянная. И зритель, приходя в театр, только и видит скопище этих деревянных форм, этих заученных интонаций, ужимок, традиционных движений около будки суфлера, около занавеса, в глубине сцены. Будьте уверены, что ничего подобного не говорится и не делается в жизни, что говорят актеры под приподнятым занавесом, среди поставленных крашенных своих декораций... Ни этих любовников, ни этих героинь и героев, ни этих якобы «бытовых лиц», – все другое... Жизнь убита на сцене; сцена стала... чем-то *an und fur sich*, каким-то «искусством для искусства» или, скорее, каким-то самодовлеющим, самодовольным ремеслом, самоуслаждающимся... Все начала и концы которого, корни и цветы находятся исключительно на сцене и дальше ramпы не простираются... Вот, эту театральность, этот театр я ненавижу всеми силами души и уничтожению его служу»...

Мы стали понимать: он хочет вернуть театр к его первоначальной мысли: *повторить жизнь, воспроизвести жизнь*.

Действительно, на подмостках театра накопился *слой*, накопился толстый *пласт* традиционности собственно *сценической, театральной*, «по примеру Щепкина», «по примеру Садовского», «по примеру Шумского», и проч., и проч., и т. п., и т. п., – который совершенно разорвал единство и общность *сцены и жизни*, сломал между ними *мостик*. Сцена стала отвлеченною, стала «академическою» же, как бывает «академическая литература», только своеобразно, в своем особом роде и жанре; сделалась высохшею, несмотря на смех и прыжки, и беганье актеров и актрис по сцене, и кажущуюся «веселость» публики... Все это высохло, превратилось в мумию.

Эта мумия – театр, «как он есть».

Смыть этот слой исторической «затоптанности»...

Сломать будку актера, самую ramпу...

Сорвать бы самый занавес, если можно...

И пустить на сцену «жизнь, как она есть»... Не всю, не всякую, ибо это был бы хаос. Не случайную и минутную, ибо она может и не представлять

интереса. Но кусочек, избранный кусочек жизни, с наибольшим интересом и значением в ней, отразившийся в уме и понимании художника-автора, художника – «творца пьесы».

Вот и все. Так просто.

Отсюда – слияние двух восклицаний:

– Я так ненавижу театр, как ничто на свете!

– Потому что я так его уважаю и люблю, как ничто на свете!

* * *

Среди иллюстраций Станиславского мелькнула одна:

«Как-то, в бытность в Италии, я сидел в лесу близ Флоренции. Я сел на траву и стал перебирать в уме все те пьесы, которые хоть какою-нибудь подробностью, хоть частностью и на минуту оставили во мне впечатление... По афишам это легко сделать»...

Дальше речи я не помню, не слушал. Я так был поражен этою страстною влюбленностью артиста в свое дело. Это, действительно, «выбрать дело на всю жизнь»...

Еще об актере:

«Режиссера, который вздумал бы *учить актера играть пьесу*, заставил бы его *так-то играть свою роль*, – такого режиссера... такой режиссер никуда не годится. Задача режиссера совершенно другая: он должен видеть, так сказать, внутренний узор (это выражение буквально) души актера и назначить роль ему в соответствии с этим узором. Но актер не может, *не должен* удаляться от логики игры... Всякая страсть, им выражаемая, имеет свой закон действия и проявления. Вот, этому закону он изменить не может, не должен. Как и всякое положение, разыгрываемое на сцене. Когда актер уклоняется от внутренней логики своей игры, соскальзывает с внутренней закономерности ее, – дело режиссера напомнить ему об этом, указать случайное и фантастическое в его игре и вернуть его к действительности. Не волею, но своим лучшим и более цельным и проникновенным пониманием пьесы, которую *он ставит*. Но и в этом случае отнюдь он не должен расправляться актером: он обязан *убедить его*».

Опять это совершенно не то, как представляется дело публике и некоторым критикам, что будто там Станиславский «играет вместо всех актеров», которые только «пешки»... Ничего подобного!

Станиславский говорил одушевленно... Все дело «так просто», а, между тем, слушателям показалось, что они слушают что-то необыкновенное и совсем новое. Отчего это впечатление? Да очень просто. Одно дело – прочитать в книге страницу о мореплавании, и другое дело – *совершить* мореплавание. Станиславский «совершил мореплавание». Он и Немирович-Данченко, молчаливую и угрюмую, страшно скромную фигуру которого никак нельзя забывать за блестящею и «впечатлительною» фигурой Станиславского, вдвоем решили вернуть театр к естественному и простому. Эта естественность и простота, как известно, составляют сущность и нрав-

ственное достоинство всей русской литературы. Поэтому, можно думать, что, ранее или позже, преобразование именно *русского театра* в указанном направлении совершилось бы. Это – ход всего дела, движение целой русской культуры. «Только правду»... Но инициаторы Художественного театра первые «полетели»... Они сделали «весну», как первая ласточка, за которою дальнейшее «движение птиц» есть уже только дело труда, старания и внимания. Убрать «театр» из театра – значило изменить в нем все, переработать (и правильно, и законно, в сущности, лишь *очистив* от наслоений) натуру актера и все малейшие подробности сцены... Они назвали с правом, и гордым правом, театр свой «Художественным». Ибо искусство, ведь, и всегда – только *правда*, без «прикрас». Но чего это стоило? Это значило переменить все от *основания*.

И от этих усилий *действия*, усилий *творчества*, от этих годов и годов *работы*, речь одного из инициаторов нового театра лилась как что-то новое и необыкновенное. На суровом мужском лице, пожалуй, некрасивой, «нехорошенькой» лепки, появлялась эта улыбка «во всем счастливого человека» и на «третьем разе» переходила из просто ласкового и деликатного во что-то нежное, почти женственное, почти даже детское...

– Счастливый!.. Редко счастливый человек, – думалось.

Вл. Ив. Немирович-Данченко сидел в дверях и молчал. Его не было видно, или никто не знал его, мало знали. Когда он вошел (так опоздавши), я – по приему хозяина – подумал, что это «особенно важный князь». Ибо наружно он вовсе не выделялся, даже ничем ни от кого не отличался. Но почему-то, все фантазируя, я, как от наружности Станиславского сделал (и ошибся) вывод к душе его, так сделал и здесь вывод: этот молчаливый человек должен быть полон внутренних речей... и, может, – криков, огня под наружной сдержанностью.

Может быть, я и тут ошибся? «Богов» я видел «в натуре» впервые. И, как смиренный древний грек, передаю читателям (и истории) свои «осязания». Что видел, как слышал.

СОЮЗ ЦЕРКВИ И ГОСУДАРСТВА В СФЕРЕ НАРОДНЫХ УЧИЛИЩ

В исторических судьбах русская церковь развивалась слиянно с государством. И этот тысячелетний факт перешел и в теорию: русское духовенство всегда выставяло своим преимуществом перед духовенством других исповеданий то, что оно было постоянно национально, что оно не вступало ни в какое соперничество с государством. Напрасно некоторые усиливались видеть в этом запуганность духовенства, его подавленность или, наконец, угодливость. Это подозрение и оклеветание опровергается такими святителями, как Сергей Радонежский, митрополиты московские: Алексий, Петр и Иона, как Тихон Задонский и Димитрий Ростовский, как, наконец, Серафим Саровский. Было бы совершен-

но дико обвинять этих затворников, пустынников и постников в политической угодливости или заискивании перед властью. Они ни в чем не нуждались, кроме ломтя хлеба при жизни и могилы после смерти. Итак, клевета на них бессильна. Между тем они все, без какого-либо исключения, благословляли государственную власть, указывали народу покоряться ей и никогда на нее не роптать. И этим постоянным отношением безмерно укрепили государственную власть, которая обратно чувствовала и чувствует себя обязанной перед церковью, покоряется ей во всем, что касается ее особых уставов и учреждений, ни в чем их сама не нарушает и охраняет их от чьего-либо посягательства и оскорбления всей мощью государственной физической силы. Таковы отношения, веками сложившиеся. И кто не увлекается мальчишеским желанием видеть всюду непременно борьбу, во что бы то ни стало борьбу, тот не может не признать в этом вековом мире, нарушенном только отнюдь не «святым» Никоном, великое благо, великий залог крепости, силы и благоденствия.

Это факт и это теория русской духовной власти. Основание ее очень просто. Когда еще вся Русь была сплошным младенчеством, когда киевские князья не помышляли ни о какой «государственности», а безмятежно и беспечально пировали в стольном городе Киеве, – в эти почти былинные времена пришли из Греции первые священники, архимандриты и архиереи, первые наши крестители, и кроме духовных истин и духовного «чиноначалия» принесли на Русь понятие и о светском «чиноначалии», – понятие, и дух, и закон. Первыми нашими «государственниками» именно и были святители Русской земли, сперва киевские и затем московские, в крепком единстве духа между собою. Льстивыми они не были, но для «порядка во всей Русской земле» они строго указывали князьям и государям править землею по порядку, закону, правде и милости, но «милости» без послабления и распушенности... Именно святители-то Русской земли и выпестали Русское государство, вскормили и вынянчили его, как мать или кормилица кормит и пестует малое дитя. Так они поступили, всему научив, все указав, о всем «наказав» князьям, государям, боярам в тот век младенческий, когда на Руси и не было другого научения, кроме духовного, и иных наставников, кроме священников, архимандритов и архиереев...

А выкормив дитя, они навеки сохранили и любовь к нему, даже когда оно и выросло; даже когда оно иногда ненамеренно обижает или вообще неловко поступает в отношении этой матери или кормилицы.

Вот простая история единства духовной и светской власти в России. Это не история подчинения или завоевания, интриг и одоления; это история жизни «в одной клетке», т. е. в одной комнате; история одного корма; история взаимного «питания», и только, не больше.

Но это удивительно крепко и органично. Этого факта не одолеть никаким теоретикам...

Возьмем его в основание суждений о теперешних временах.

Духовенство теперь уже не то великое, которое когда-то выпестало Русь. Оно ослабело и значительно поотстало от государства, в особенности во

всем, что касается школьного и книжного поучения, его разнообразия и его энергии. Это – наличный факт, которого нельзя оспорить, который очевиден. Что же диктуется духовенству его былой историей, этой историей единства со светской властью? Все это ведь не на словах, а на деле; все это лежит не в одном благозвучии проповедей, а в самом сердце. Таковое расположение сердца диктует духовенству не только с миром, но и с любовью принять помощь светского государства в делах, в ведении, в наблюдении и руководстве школьным делом, – даже в его собственных церковно-приходских школах. Как государство зовет духовенство в свои специально светские школы для преподавания Закона Божия, а в высших заведениях – богословия, нисколько не вмешиваясь в постановку этого предмета, так точно светские предметы, арифметика, русский язык, география и история и желательные начатки ремесел и вообще технических знаний должны быть подчинены светскому контролю, наконец, светской постановке вообще в самих церковно-приходских школах. Ведь духовенство в большинстве случаев если некомпетентно в этих предметах, то совершенно невольно и неодолимо остается бездейственно в них, апатично к ним; оно было и *навсегда останется* совершенно равнодушно к тому, как эти *светские предметы* поставлены в церковно-приходской школе и ведутся в ней. Тут-то вековой союз церкви и государства на Руси, как особенность русской церкви и ее старая слава, и должен продиктовать *теперешнему духовенству* мудрое решение, великое слово и святую предрасположенность: отдать под контроль государства то делание, которое оно делает лучше духовенства, успешнее, прилежнее, талантливее; к чему у государства есть призвание, а у духовенства нет призвания. Пусть церковно-приходская школа разделится: и все, до церкви и духовности относящееся, останется под ведением, контролем и наблюдением духовенства и его «чиноначалия», восходя до Синода; а то, что к церкви не относится и составляет светское преподавание, *научное, предметное*, отойдет под контроль «чиноначалия» светского, как земского, так и министерского. Архиерей всегда есть высокий, почитаемый и авторитетный гость в гимназии; пусть инспектор народных училищ или член земского училищного совета станет таким же авторитетным указчиком в церковно-приходской школе. Вот решение вопроса, которое ясно, просто и справедливо.

О НЕОБХОДИМОСТИ ВТОРИЧНОГО СЪЕЗДА ПО БОРЬБЕ С ПРОСТИТУЦИЕЙ

Съезд для борьбы с проституцией окончился, удивив Россию своею бесплодностью. И нужно *горячо и теперь же* отметить, что в высшей степени необходим и желателен второй съезд для этой же цели, но при совершенно другом составе участников и деятелей. Именно – менее торжественных по орденам, сану и возрасту и более живых, деятельных, простых, в *дело* вникающих. Нужен не *пассивный*, а активный съезд, мучительно жаждущий ввести в русло и ограничить это зло, а не «констатирующий» только его положение,

давно всем известное из печати. Вся бесплодность минувшего съезда сказана в его младенческих «резолуциях», которым улыбнутся с одинаковым правом врач, судья, полицейский, обыватель и решительно каждый, кто прочтет крошечную брошюрку с этими «резолуциями».

Резолюция 1-я: «Ходатайствовать перед правительством о безотлагательном закрытии домов терпимости» (предложение М. М. Боровитинова, принятое съездом «единогласно без прений»).

Резолюция 2-я (предложена А. И. Елистратовым): «Квартиры и дома свиданий чтобы были закрыты, и содержание их преследуемо уголовным порядком».

При этом, «секция выносит глубокое нравственное осуждение как торгов, так равно и купле женского тела в целях разврата».

«Врачебно-полицейский надзор за проституциею отменить, как оскорбляющий человеческое достоинство» (предложение от *Клуба женской прогрессивной партии*, от *Лиги равноправия женщин*, от *Московского женского клуба* и многих других женских организаций).

Ну, казалось бы, покончено с проституциею?

Каково же удивление читателя, когда он читает о принятии предложения А. С. Милюковой:

«Одновременно с этими мерами необходимо увеличить количество лечебных пунктов для больных сифилисом и венерическими болезнями, сделав лечение общедоступным и бесплатным» (стр. 11).

И:

«Предложение секции, чтобы возраст, до которого обращение к услугам несовершеннолетней в целях разврата должно быть наказуемо, определен в 16 лет, — было отклонено на баллотировке общего собрания большинством 34 голосов против 29 (*почти поровну!*), и предложение о повышении этого возраста до 17 лет было принято большинством 42 против 23 голосов».

Вот вам и «крышка»! Чему же верить:

1) Тому ли, что съезд негодует даже на объявления в газетах?

2) Или что съезд благословил проституировать каждой 17-летней?

Во всяком случае мы имеем:

3) Дома терпимости и свиданий закрыть.

4) Больницы для дурных болезней увеличить.

Между тем перед съездом была простая, возможная, вполне исполнимая задача, которую он просто *проспал*.

Читатель, знаете ли вы, чем отвечает женщина из логова, подошедшая на улице с коробкой сладких леденцов к 11–12-летней девочке, даже к девочке 10 лет, и угостив ее, и заманившая в условную комнату, где дверь запирается, а дожидаящийся там господин совершает над заведенной девочкою акт, которому имени нет.

Я спрашивал образованных семьянинок об этом. Испуганные, они отвечали:

– Казни на такую тварь нет.

– Каторги мало!

– Повесить мало!

Выражалась степень негодования, ни с чем не сравнимого. Ну, а вы, читатель, как скажете? Что скажут семьянинки? матери и отцы девочек в этом возрасте? Ведь все возвращаются из школ, и не всякую девочку есть кому проводить из дома и вторично пойти и встретить у дверей училища. Между тем в районе Загородной улицы всю минувшую осень и зимой какой-то господин встречал идущих маленьких учениц и ласково заговаривал с ними, провожал их и проч., что вызвало жалобу родителей начальству школы, обращение начальства школы к полиции, вслед за тем субъект этот не столько «исчез», сколько, вероятно, перенес свои «начинания» в другой район столицы.

Ну, так чем же такая женщина, заманившая девочку и предавшая ее на растление, наказывается *по закону*?

Вся Россия не угадает... кроме этих старух-сводней, мировых судей и законодателей старого Г. Совета, – людей дремливых и все преклонного возраста:

«Арестом *не свыше* (!!!) одного месяца или денежным взысканием не свыше ста рублей» (44-я ст. Устава о наказаниях).

Если же гнусность совершена при пособии опекуна или родственника, в охранении которого ребенок находился, то мера наказания увеличивается: «Опекун подвергается заключению в тюрьме от двух до четырех месяцев и сверх сего навсегда лишается права иметь за малолетними и несовершеннолетними надзор» (статья 993 Уложения о наказаниях уголовных и исправительных, часть I, стр. 285).

Д-р Б. Бентовин, в ужасной книжке которого «Дети-проститутки» приведены эти два закона (глава VIII), приводит и конкретные случаи ужасающих в Петербурге случаев разбирательства в суде (мировом и окружном), причем судьи, несмотря на всяческое свое возмущение, не могли ничего сделать: ибо *высшего наказания в законе не положено!*

Это... просто никому не известно, кого «дело не коснулось». «Касается» же оно, естественно, бедных, жалких, темных; городской нищеты и прислуги; касается швейцаров, дворников, дети которых играют на улице; прачек... Касается всякого вида сирот...

И вот «случилось»...

Какой ужас! В ужасе бежит мать *в суд*...

Мы... христиане. У нас 8 университетов, 8 юридических факультетов, с Демидовским лицеем – 9.

Такая тьма-тьмушая науки.

Прачке-вдове, стиравшей на стороне белье, отвечают:

– За надругание твоей дочери 11 лет старуха, ее заманившая и передавшая господину, который уже скрылся и его отыскать нельзя, ибо он нанял старуху неизвестно откуда придя, – эта старуха отсидит два месяца при полиции.

Старухе-нищей это два месяца казенных хлебов и казенной квартиры. Сытого корма и теплого угла. Но она разом заработала 25 р. (может, красненькую?). Выйдя из теплого угла, она, конечно, повторит свой поступок, для нее и в ее обстановке, вечном полухолоде и полуголоде, *вовсе не наказуемый*.

И если *по закону* «нипочем» растление 11, 12, 13-летних девочек на Руси, а всероссийский съезд о проституции, очевидно, о законе этом даже не знал, ибо о нем не обмолвился и против него не протестовал... То какая тут борьба с проституцией?

Живем, свиним и благодушествуем. А если кто и утирает слезы, так ведь «в стороне»?..

Кого же из «углов» или швейцарской пустили бы на съезд?

Г-ЖА МИЛЮКОВА О СЪЕЗДЕ ПО БОРЬБЕ С ПРОСТИТУЦИЕЙ

Г-жа Милюкова в пространном и пылком ответе защищает съезд по борьбе с проституцией... Об общей защите – потом, а сперва отвечу на любопытный вопрос, ею предложенный мне: кто из нас двух *спал*, я или она, когда проводилась в закон защита малолетних от заманивающих их обманом, в целях насильственного растления, женщин... разбойниц (не могу иначе назвать этого поступка). Она говорит:

«Не съезд, а г-н Розанов *проспал* новый очень важный закон, прошедший через Думу и Г. Совет и вошедший в силу 25 декабря 1909 г., – тот именно закон, который и Р. предлагает выработать будущему съезду. Пусть г. Розанов поищет в стенографических отчетах Г. Думы новые статьи уголовного уложения, совершенно отменяющие пресловутые статьи 44 и 993. Эти новые статьи – №№ 524, 526, 527 и 529 назначают за *сводничество и всякого рода вовлечение в разврат* и торговлю женщинами – заключение в тюрьме и в исправительном доме *или без указания срока, или устанавливая максимум в три года*».

Ее слова, г-жи Милюковой... Вы ничего не замечаете, читатель? И сама г-жа Милюкова ничего не замечает в своих словах? Вполне удивительно: да ведь это тот же самый закон, «пресловутые 44-я и 993-я статьи» (интонация презрения у г-жи Милюковой), только переставляется номерами.

Только!!

Какая разница между «арестом при полиции на срок двух месяцев» и между «заключением в исправительном доме *без указания срока, но не свыше трех лет*»... «Не свыше» – значит столько или меньше; а «без указания срока» комментирует и *во всяком случае оставляет на свободу решение* задержать под арестом именно *на два или один месяц*.

Как же не так? Конечно, – *так!* Судьи сердобольны и обычно назначают «меньшую кару наказания»... Старухе, полунищей, темной женщине,

каковыми являются подобные чудовища (по жестокосердию над детьми), – конечно, дремливый судья, усталый за «делами» и разбирательством чужих «оказий», назначит, конечно, «минимум наказания». Каков он? *В законе не указано!* В этом исключительном, чудовищном случае, когда 11-летняя девочка заманена леденцами в квартиру к «доброй женщине» и там изнасилована, – закон не сказал *«не менее такого-то наказания»*, а *оставил все в неопределенности*, да еще прибавив кивающие в сторону смягчения слова: *«однако не более такого-то»*...

Раствлена малолетняя, обманом, за которым с ведома и при пособии (не физическом, а квартирном) старухи последовало и изнасилование... Разбита ее вся жизнь, потрясена душа, испорчена судьба (не берут таких замуж)... Да конечно же это уголовное, а не гражданское преступление... И за это ответ не больше, чем за шулерство, воровство или «нецензурную статью и книгу».

Бог их прости, этих «членов Г. Думы» и «Г. Совета», которые клевали носом в пюпитры, когда «проводился» (верно, без обсуждения и прений) подобный чудовищный закон...

И что характерно, именно для Руси характерно, – «получил силу закона 25 декабря». Угостили к празднику Христову!

Господь родился...

Ну это – там, 2000 лет назад, в знойных странах.

У нас, в холодном и вялом Петербурге, в день памятования этого события разрешили насильно растлевать малолетних. Ибо подобная видимость наказания, кажущееся, а не реальное наказание есть, конечно, *разрешение, позволение*.

Ну, а дальше читатель ничего не замечает? И г-жа Милокова тоже?

Пренаивный народ. А еще взялись «искоренять проституцию»!

Закон объединил, слил в одно совершенно несоизмеримые между собою вещи, несоизмеримые так же, как шулерство в карточном клубе и убийство на большой дороге, – заманивание обманом малолетних в комнату с последующим их растлением – с простым соблазном, шушуканьем взрослой девице или вдове, что вот ею «интересуются» и «ведь ее не убудет» и проч.; словом, – *со словесным влиянием, притом обращенным к взрослой, сознающей себя, женщине*... Ужас, поистине ужас закона заключается в том, что он *совершенно пропускает* завлечение малолетних в квартиры в целях растления... И судьи, не имея об этом *вовсе закона*, подводят чудовищное уголовное преступление под простое «сводничество» и приговаривают к наказаниям, естественно легким...

Потому что простое «сводничество», как пособие, как облегчение встреч, наконец, как убеждение и влияние, производимое *взрослым на взрослого*, – конечно, нельзя иначе судить. Это уже сфера мнений, культуры, взглядов на вещи, – чего-то малоуловимого.

А там ведь было физическое насилие, через обман совершаемое.

Ну, а еще чего-нибудь третьего не видит тут читатель?

Подскажу.

Да старуха-то, заманивающая леденцами малолетнюю, – и есть настоящая растлительница ее, а не господин, полусумасшедший, дожидющийся в комнате. У того это – болезнь, припадок, «извращенный случай; вообще если где, то тут нельзя отрицать физиологических аффектов», и медицина (Крафт-Эбинг, проф. Тарновский) свидетельствует констатированными фактами, что подобные вещи совершаются под влиянием «периодических приступов», причем во время «приступа» полубольной или полусумасшедший субъект действует «в исступлении», нередко – «в беспамятстве» и при полной потере *личной, сознательной* воли. Читайте об этом – и вы увидите, что так.

Но старушка? Заманщица? Поставщица жертвы больному зверю? О, она холодна, спокойна, расчетлива. И избрала «промысел», как есть «профессиональное нищенство». За изнасилование – каторга. Но старуха и есть профессионал изнасилования, – на это живущая, как на постоянный доход. Д-р Бентовин в «Проституции малолетних» пишет, что «в последние годы сделалось чем-то повальным изнасилование малолетних», попытки к нему – неисчислимы: и справедливо приписывает это *пустому наказанию пособниц*; пустому, между прочим, и в поновленном (по-моему, же совершенно старом) законодательстве, которое он тоже приводит, но не смотрит на него так наивно, как г-жа Милюкова.

Кому же из нас двух проснуться, мне или ей?

Ну, после этой частности, мне кажется, можно и не переходить к съезду *вообще*, о котором она пишет, будто там говорили, думали и совершили чрезвычайно многое «видные специалисты, которые из вопроса о проституции и борьбе с нею сделали дело своей жизни, и, наконец, целый ряд общественных деятелей и деятельниц, придавших *работам* (??!!) съезда большой подъем и одушевление». Слава Богу, что утешаются; я же помню присказку русского народа о «гречневой каше».

Съезд должен быть второй. И непременно – из другого состава людей. Собственно судьба проституции лежит где-то в узеньком поле между тремя спорящими и философствующими сторонами:

1) Медикам, насколько они могли бы возвыситься до чести быть названными *биологами*.

2) И – духовенством; прибавлю с грустью – насколько оно тоже «возвысилось бы» до права назвать себя священниками, т. е., по терминологии, *священными, праведными людьми страны*.

И как совершенно подчиненная, пассивная *в данной теме, сила*:

– Государство, общественная и политическая власть.

И, пожалуйста... без дам, шлейфов, 80-рублевых шляп со страшными булавками, *horribile dictum**, – без г-жи Милюковой.

Женщины, как г-жа Покровская, действительно всю жизнь посвятившая исследованию проституции, как покойная кн. Дондукова-Корсакова

* страшно сказать (*лат.*).

(ведь и теперь есть такие же, но безвестные в этой сфере труженицы), – конечно, должны быть в составе мудрых советодателей, в сонме совещающихся. Вообще матерям семейств – здесь место. Но ведь это же другая категория, чем «дамы».

Да, еще: конечно, на съезд должны быть позваны проститутки, и их показания, рассказы, автобиографии должны быть протокольно записаны. Это поважнее «словесного преферата» между гг. Боровитиновым, Милюковой etc., etc.

НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ

М-во народного просвещения составило план объявить как бы «небывшими» и «несуществующими» все экзамены, какие ученицы Высших курсов целой России держали в установленном порядке, также и те, которые они выдержали в средних учебных заведениях разных наименований: и при особой комиссии, образованной в С.-Петербурге при самом м-ве, выдержать экзамен... *не государственный* (о чем слушательницы молят), а *по предметам и курсам за все 4 года*, с дополнением *полного испытания по курсу мужских гимназий* из новых языков, из латинского языка, из алгебры и физики.

Т. е. уже все везде пройдя, окончив и среднюю и высшую школу, – переждать при комиссии заново все экзамены, какие они держали за последние пять лет своей жизни.

Сейчас я приведу самые правила. Но пока отражу те возможные возражения, какие представляются.

Кому это угрожает? Ведь *не ленивым, а самым прилежным, старательным. Остатку трудоспособной русской молодежи*. Больше никому!!

Именно «академичкам», только! Ибо кому же не ясно, что 1) ни малейше это не угрожает политикам – эс-дечкам, эс-элкам, марксисткам etc., etc. Ибо что им экзамены? Такие толкутся в аудиториях, «уловляя умы» и ни до каких экзаменов не доходя, никаких экзаменов не дожидаясь, никаких экзаменов не пугаясь.

Кто не экзаменуется, тому чем же это страшно?

По тем же мотивам это не страшно гуляющим, праздным, флиртующим (с печалью слышал, что есть такие на курсах).

Никому вообще, кроме бедных, ищущих заработка после 4–5 лет ученья, желающих стать к работе в 24–25–26 лет.

Вот самые правила:

«Ст. 1. Для испытания лиц женского пола в знании ими курса наук, преподаваемых в университетах, учреждаются на основании сих правил *особые испытательные комиссии*.

К экзаменам в сих комиссиях допускаются лица женского пола, представившие: а) свидетельства о знании курса мужских гимназий или

свидетельство о знании курса средних женских учебных заведений и дополнительных из курса мужских гимназий сведений, программа которых определяется мин. народного просвещения, и б) удостоверения в прослушании на высших женских курсах или в ином высшем учебном заведении цикла наук по одному из утвержденных профессорами плану».

Статьи 3, 4, и 5 не касаются учащихся.

«6. Каждая экзаменуемая подвергается в комиссии испытанию в знании *всех предметов, которые, согласно уставу мужских университетов*, входят в состав преподавания того факультета или отделения, который избран лицом, подвергающимся испытанию.

8. Экзаменующиеся могут разделить все предметы на 2 группы и соответственно сему подвергаться испытанию в два срока с промежутками между ними не более года.

9. Успешно выдержавшим испытания и представившим удостоверение в этом за подписью попечителя учебного округа, председателя надлежащей комиссии и за скрепою правителя канцелярии попечителя учебного округа выдаются сообразно обнаруженным познаниям дипломы 1-й или 2-й степени по испытаниям в комиссии историко-филологической и физико-математической.

11. Лица женского пола, получившие диплом 1-й или 2-й степени, буде пожелают приобрести право на звание учительницы гимназии по одному из предметов, поименованных в дипломе, подвергаются в одной из испытательных комиссий дополнительному экзамену по педагогике, истории педагогических учений, по методике избранного ими для преподавания предмета, а также по логике и психологии, – если эти науки не входили в общий экзамен. Выдержавшие удовлетворительно это дополнительное испытание и представившие свидетельство об успешном ими выполнении учительских обязанностей *до* или *после* испытаний в течение не менее 6 месяцев – получают от попечителя учебного округа свидетельство на звание учительницы гимназии.

12. Выдержавшие успешно испытание в знании университетского курса (ст. 9) могут приобретать от советов университета ученые степени магистра и доктора. Дипломы на степень магистра и доктора выдаются по правилам, определенным в уставах университетов для лиц мужского пола, и с присвоением прав, предоставленных сим званиям на ученую и учебную деятельность, а также и на службу в учебных заведениях согласно их уставам.

Примечание. Получившие дипломы 1-й или 2-й степени не пользуются правами и преимуществами служебными и сословными, предоставленными лицам мужского пола уставами учебных заведений».

Все изложенное в этих правилах вполне основательно и целесообразно в том отношении, что кладет «последнюю перекладину» на давно воздвигаемое здание полного уравнивания ученых и учебных прав обоих полов.

Но:

Ведь студенты университетов не держат же *заново* всех своих *семестровых экзаменов*, какие они держали *в течение 4 лет*, по окончании университетского курса *в новой министерской комиссии*? Они держат только *государственный экзамен*, отнюдь не повторяющий собою полной суммы всех уже выдержанных ранее экзаменов. Это совсем другое дело, несравненно легчайшее.

Каждый экзамен полон такими *мелочностями*, наконец, по существу своему каждый экзамен требует такой *отчетливости* знания и изложения, что выдержавший его отлично – через месяц не может выдержать его и удовлетворительно. Все тут требуется «с иголочки», как говорится у портных. Что же значит сдать в комиссии экзамен, уже сданный в первом семестре *три года назад*? Значит, почти заново приготовиться к нему и вторично сдать.

Цель прохождения наук – общее научное развитие ума; от этого экзамены, удостоверяющие о фактическом, часто очень мелочном знании предмета, – и не повторяются. Кому нужны и для чего служат эти «календари сведений», эти «энциклопедии фактов»? Они подспорье, фундамент, а не вершина. Они, для каждой специальной цели, в специальное время возобновляются и пополняются еще в библиотеках. Но такие фактические сведения никто не держит и не усиливается держать вечно «в кармане». Это не наука, а зубристика, собственно противоположная идее науки. Всех экзаменов, как я сосчитал, на курсах и в комиссии девушек придется держать более 50 (с дополнительными гимназическими). В таком виде девушка явится «вот-вот перед практикою» совершенно измороженою, высохшею, – но *вовсе научно не развитою*, явится собственно *духовно убитою* тем портфелем сведений почти календарного характера, который объемом своим почти непосилен и для ношения профессора. Ведь можно совершенно, абсолютно поручиться, что *полного экзамена*, сдаваемого такою девушкою, с отчетливостью как бы «вот-вот с иголочки», не выдержит ни один профессор-экзаменатор. Он выдержит только «по своей науке», по которой экзаменует: но по другим наукам, соседним, *из которых девушка сейчас пойдет экзаменоваться*, всеконечно, он не выдержит. Не смешно ли это? Почти не забавно ли?

К чему же *само* министерство уже ранее устанавливало такие-то и такие-то серии экзаменов на курсах? Что́ это вообще за «поделки» и «переделки»; – «не доделали вчера и доделываем сегодня», – и все на чужих спинах?

Что за неуважение к экзаменаторам-профессорам, которые уже этот экзамен производили и которые все сплошь суть профессора университетов, читающие совершенно тот же курс девицам, как и студентам. Мне, напр., известно, что на экзаменах по русской истории, – сдаются *как учебник*, т. е. выученные почти «от сих до сих», – *четыре тома* «Лекций по русской истории» В. О. Ключевского, сверх других менее объемистых пособий. Соответственно сдаются огромные томы (переведенные с немецкого) по средневековой истории, по средневековой литературе, с поименным изложением песен множества трубадуров, миннезингеров и проч., – о чем 25 лет назад еще и

помина не было в мужских университетах. Вообще все это совершенно серьезно. А при недоверии к экзаменаторам министерство теперь и прежде могло бы командировать на экзамены своих депутатов-наблюдателей. Но каким образом всю эту многотомную махину, с знанием каждой страницы «как с иголки», – сдать разом через четыре года после того, как они уже медленно сдавались, при упорном труде, в течение четырех лет.

И знаете ли, что тут самое печальное?

Неуважение к труду... Как это ни странно, но именно в этом требовании «пересдать все заново» есть неуважение к долгим *ночам усидчивого сидения за книгою, целых зим, проведенных с книгами*, в возрасте самом цветущем, который мог бы ведь быть отдан и на другое...

Девушки, частью очень бедные, с последним напряжением родительских средств, съехались в университетские города.

И здесь, в увлечениях большого города, не все удержались в русле: часть отдалась политике, часть удовольствиям.

Никто их не гонит. Ничем никто им не грозит за это.

Но некоторое малое число их отделилось, и, не увлекаясь ни направо ни налево, занялись тем, зачем приехали: наукою, серьезным образованием. *Только для них ведь и существуют экзамены, – в угрожающем смысле.* Ни политиканшам, ни веселым вообще никакие экзамены не страшны, потому что они никаких экзаменов и не держат, не оканчивая курсов, уходя до окончания – с первого, второго, третьего курса.

Вдруг удар: ваши занятия – говорят серьезным – ничтожны; мы им не верим. Переделайте все заново, у нас на глазах, вторично.

Как удар среди ясного дня... Не должно ли бы было министерство просвещения именно этих естественных «академичек», академичек по натуре своей, без ярлыка и партии, внимательно высмотреть среди массы молодежи, приливающей в университетские города, – сберечь и все им сделать такое, что отвечало бы их благородной, серьезной натуре.

Мы имеем дело с чем-то случайным, слепым и жестоким. Невероятно, чтобы это так осталось. Есть «судебные ошибки»: о них горько сетует суд. Всегда, конечно, возможны и «административные ошибки»: но насколько есть в администрации не ложной гордости, не чванства, а настоящей, хорошей гордости, она должна также уметь оплакать и сознать грубую административную ошибку.

ВАРВАРА АЛЕКСАНДРОВНА РАЧИНСКАЯ (Некролог)

Умерла *Варвара Александровна Рачинская*, сестра Сергея Александровича Рачинского, знаменитого педагога, автора «Сельской школы», положившей фундамент церковно-приходской школы. Покойная принадлежала к числу образованнейших русских женщин. Имение Татево, Смоленской губернии,

Бельского уезда, где, оставив профессуру, начал обучать крестьянских детей ее брат, принадлежало покойной. В то время как Сергей Александрович занимался школою и, для лучших успехов воспитания и обучения, переселился в ее тесное помещение, имея там всего одну комнату, Варвара Александровна вела все обширное хозяйство старого барского дома, всю его экономию. Она обладала спокойным и твердым умом, совершенно отвечавшим положению хозяйки и владельницы больших угодий. Но это – летом, когда сеялся, рос и убирался хлеб. Зиму же посвящала чтению и, в часы отдыха, вязанью толстых шерстяных фуфаяк для чернорабочих (уходивших в город на промыслы крестьян). Она не скучала одиноким Татевым, лежавшим вдали от городов и других имений, и проводила в нем лето и зиму. Понятно, как много оставалось у нее досуга для чтения. Зная в совершенстве новые литературы, она не удовлетворилась ими и, взявшись уже в зрелые годы за древние языки, усвоила их вполне и читала Гомера в подлиннике, как мы – Жуковского или Гнедича. В уровень с этим стояло и ее научное образование или, вернее, самообразование. Около брата она вообще стояла одинаково и вполне независимо умственной величиною, не увлекаясь его педагогическими взглядами и признав их только тогда, когда они дали плод и результат. Характер ее, в противоположность братнему демократическому, был скорее аристократический, – суровый, повелительный и распорядительный. Это очень шло к ней, и, составляя с братом контраст, они образовывали красивую пару. Все смягчалось присутствием в доме старой их тети, умершей в 90-х годах прошлого века, – женщины необыкновенной доброты, ласковости и памяти о всех близких. Ближняя татевская церковь и недалекий погост (кладбище), где были похоронены все предки Рачинских, все «закругляло» во что-то целое и прекрасное жизнь и обитание этих тихих и ученых людей. Я всегда мысленно называл Татев с его парком, чудною библиотекою и богословием русским «Порт-Роялем».

Но все мне более нравилось у русских. В моем воспоминании, уже теперь давнем, Варвара Александровна рисуется показывающе свое хозяйство... Среди хлебных полей, в ранний утренний час, она шла вперед крепко хозяйскою походкою, и зоркий глаз уже 60-летней женщины все видел, замечал, угадывал погоду ближних недель и рассчитывал осень. Я хотел видеть скотный двор, так как не видал коров иначе, как в «розницу». Она провела меня куда-то наверх, на какие-то перильца, и я увидел буквально «арену», как *Circus maximus* в Риме, – наполненную мирными животными (не выгнанными в поле за стельностью) и навозом в такой массе, как я никогда не видывал. На мое восклицание она объяснила, что для навоза-то и держится ими более ста коров, ибо иначе невозможно удобрять землю. Молоко свозилось на сыроварню, но это не было мотивом и вообще не было значащим в хозяйстве. Она еще что-то объясняла своим строгим и тихим голосом, но я не слушал, любуясь 60-летней девушкою, повязанною деревенским платком и в прочем пла-

тье, как у сельских матушек. Вся она была проста, сера, умна... и красива умным, хорошим светом.

– Если бы сорок лет долой – совсем бы Навизкая, – вспомнил я Гомера.

Мир им обоим, и брату и сестре, служившим истинным украшением русского общества за последнюю треть XIX века.

ЕЩЕ О НЕЯСНОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ЯЗЫКА

Каким неясным, запутанным, двусмысленным и тресмысленным языком написаны наши законы, а также пишутся обычно всевозможные регламенты, правила, уставы и проч., можно судить из следующего: в бытность учителем гимназии, я неизменно наблюдал следующее. В мае и начале июня происходят педагогические советы, обсуждающие успехи учеников в течение года и на экзаменах и определяющие: 1) кого допустить и не допустить к экзаменам, 2) кого перевести или оставить в том же классе, 3) кого подвергнуть переэкзаменовке или проверочному испытанию. Все это – на основании «Правил об испытаниях в мужских гимназиях», изданных в министерство гр. Д. А. Толстого, коего «Устав гимназий» и все к нему «Объяснительные записки» написаны вообще превосходным языком, вне всякого сравнения с предшествовавшими уставами и правилами. И, однако, не было случая, когда бы в совете не возбуждалось горячих споров о том, как поступить «на основании этих правил», книга которых всегда лежала на зеленом сукне стола, за которым заседал совет гимназии. Совет состоял из 15–17 преподавателей, окончивших курс в университете. Однажды же, по поводу полууспехов-полууспехов одного ученика по немецкому языку, совет не только «разделился» в понимании «правил», но хотя текст их, строк в 20, был несколько раз прочитан тут же вслух всех и директор, и все учителя приложили все старание выяснить себе «мысль законодателя», но так ни к чему и не пришли. Восемнадцать зрелых людей с полным университетским образованием не понимали, что «хотел», какую «волю изъявлял» составитель «Объяснительной записки» и «Правил об испытаниях». Помнится, трудность, сомнительность и, наконец, неразрешимость вопроса происходили оттого, что неизвестно было – к которому слову, *подлежащему* или *дополнению главного предложения*, относятся глаголы нескольких придаточных предложений, запутанных и переплетенных таким образом, что их невозможно было расчлениить. Совет, проспоров до часа ночи, так и разошелся, не зная, как поступить с данным учеником. И поступили с ним «по произволу», – вложив в закон «одно из возможных толкований».

Позднее, служа в контроле, я тогда из любопытства брал который-нибудь том «Свода» и начинал читать, «где открылось»: и до сих пор сохраняю впечатление необыкновенной запутанности языка... Он местами и часто казался таким, как будто кто-то *пытается выучиться языку*, пытается

выражать свои мысли на бумаге: и для опыта «пишет на бумаге, но не умеет» – и вот получились «статьи закона». Я не помню случая, чтобы закон был *сразу* по прочтении *ясен*. Фраза всегда длинная; всегда множество придаточных предложений, – с «который», «если», «когда», «дабы» и «в случае». Первая статья, – тезис, – всегда отрицается следующими («ограничения», «изъятия»), – но к этим «следующим статьям» всегда сделаны «примечания», иногда два-три примечания, в свою очередь вводящие еще «ограничения». Я помню, ассигновки, мною ревизуемые, я подписывал текстом: «Утверждается на основании примечания к статье 32 Временных правил о ревизии» того-то и того-то. Меня поражало во время этого многолетнего писания: почему я действую на основании «примечания», а не самого «правила»; и почему это – «Временные правила» (кажется, с потопа существующие), а не просто «Устав о ревизии».

Сколько я испытал и видел, все русские чиновники (часто люд очень хороший) действуют «по науке от товарищей», – а не «по законам», которые, должно быть, кто-то первый «разобрал» и уже потом, применив, научил этому других. «Читать же законы» (самому) – значит запутаться и перестать что-нибудь понимать в том деле, которое делаешь. А оно безотлагательно и «непременно».

Поэтому, когда, лет пять назад, г. Унковский, действительно очень почтенный и, главное, остроумный юрист, любезно принес мне свою «Записку о *методе* написания законов», т. е. их *редактировании*, их *фразировке*, их *выражении*, *ясном и отчетливом*, – я не мог не подумать: «Эврика», «наконец-то». Именно то, что всего *нужнее нам*... Ибо как «жить», т. е. в гражданском обществе «действовать» или «повиноваться», не разумея оснований и сущности ни своего действия, ни своего повиновения, «согласования закону». Прочитав при нем же 2–3 страницы, я не мог не сказать г-ну Унковскому: «Боже, до чего все это *нужно*... И как все у вас изложено просто и наукообразно, рационально».

Неуспех (практический) г-на Унковского я объясняю его скромностью: когда я его спросил, «по каким же мотивам он принес мне эту записку», – он ответил: «Для ознакомления» – и ничего не прибавил. Мне казалось необходимым обратить на это внимание «кого следует». Но... «кого же следует»? – Явно, членов Г. Совета (старого) и министров. В этом смысле я заговорил ему. Он смущенно и недоверчиво молчал. Обратить внимание на это в печати?.. Но *как*? Ведь это не книга, разбор коей можно напечатать. Это – мысль, идея, изложенная в «записке» для личной раздачи.

Как поступить – я не нашелся. Добавлены эти несколько слов к статье М. О. Меншикова, который с обычною умелостью нашелся, «как поступить». Г-н Унковский, собственно, сделал то, что правительство *за себя и от себя* должно бы сделать; но чего оно *отнюдь не сделало*; что ему даже *на ум не приходило сделать*. Прибавлю маленький совет: преподавание *тех указаний и приемов*, какие содержатся в «Записке» г-на Унковского, очевидно, должно составить веточку в юридическом образовании, т. е. сде-

латься дисциплиною, *предметом* на юридических факультетах университетов. Оно может войти, напр., в курс «Энциклопедии права», преподаваемого везде в первый же год факультетского учения. Отчего г-ну Унковскому не сделать записку свою предметом ученой диссертации? И во всяком случае ему непременно надо *издать ее*. Втихомолку или открыто по ней будут учиться все, «как писать законы», – все, кто их проектирует, члены неисчислимых наших комиссий, как равно члены Г. Совета, Г. Думы, сенаторы, и вообще вся высшая администрация.

ВОЗРАЖЕНИЕ «РОССИИ»

На статью «Несправедливость», где я указывал, что в м-ве народного просвещения предположено считать небывшими или ничтожными все экзамены, выдержанные до сих пор слушательницами высших женских курсов в установленном порядке, и заставить их передержать те же экзамены снова в специальной министерской комиссии, последовало редакционное возражение в «России» (№ 1381 от 22 мая) – «Ответ г. Розанову». Против *фактического* моего изложения газета не возражает: действительно м-во составило эти новые правила о вторичном испытании слушательниц и внесло их как законопроект на обсуждение и утверждение Г. Думы.

Факт правилен, но неправильно, что я нападаю на него, – говорит газета официозным тоном.

В чем я не прав?

«Г. Розанов не замечает самого главного, что заключается в столь резко критикуемом им законопроекте, а именно: по проекту экзаменам в особых комиссиях будут подлежать не все женщины, кончившие и кончающие высшее образование, а только те, которые *пожелают получить права, одинаковые с мужчинами* (курсив «России»). Так как каждое женское высшее учебное заведение имеет свою особую историю, организовано на свой лад, вообще представляет учреждение *suí generis**, то очевидно, что государство, раз оно дает известные права, не только вправе, но и обязано требовать, чтобы условия получения даруемых прав были одинаковы для всех, кто к этим правам стремится».

Это – *центральное* и, в сущности, *все* возражение, какое делает «Россия». Оно схематично и представляет общее рассуждение на не оспариваемую никем тему: «*одинаковые права – одинаковые требования для получения их*». Но возражающий не вникает в ту конкретность, о которой идет речь, и «общим рассуждением» запутывает ту кровную и слезную несправедливость, какая содержится в проектированных правилах, так же схематично, отвлеченно, по-видимому канцелярски, построенных. Разберемся.

* в своем роде (лат.).

Да ведь слушательницы (об этом у меня упомянуто) ничего другого и не желают, ни на что другое и не надеются, ничего другого и не просят у министерства, как чтобы они подвергнуты были для получения служебных прав тому самому испытанию, какому подвергаются слушатели университетов. Какое же испытание? – *Государственный экзамен* перед правительственной комиссией, вместе со студентами мужских университетов или отдельно от них, но *в том же самом объеме и точь-в-точь по той же программе*, уже давно выработанной министерством и получившей силу закона в уставе 1884 года.

Слушательницы этого требуют, а «Россия» говорит, что они от этого уклоняются.

Перед читателями «Россия» затушевывает разницу между *государственным экзаменом*, который производится *вовсе не по всем предметам*, читанным на факультете, а по некоторым *основным в факультете наукам*, по очень обширной и фундаментальной программе, что вполне разумно и естественно требовать от будущего судьи, от будущего учителя и проч. Этот разумный и натуральный экзамен газета спутывает и сливает в одно или сливает в *подобное* с совершенно бессмысленным (мне кажется) требованием передержать вторично уже выдержанные на семестрах экзамены и по главным, и по вспомогательным предметам, без средоточия в мысли, без главенства факультетской науки, как сплошной зубреж.

Если бы счастливые предположения или теории «России» были правы, зачем бы министерству не внести в Г. Думу вместо нового множества дробных правил, приведенных в моей статье, один простой законопроект:

«Слушательницы высших женских курсов, удовлетворительно их окончившие, буде пожелают получить служебные права, обязаны сдать государственный экзамен в правительственной комиссии в объеме и по программе, министерством утвержденной для университетов, и дополнительный – до программы мужских гимназий – экзамен по латинскому языку» или «по латинскому языку и математике».

Но если тон отвлеченного рассуждения «России» кажется чистосердечным и произнесенным «с верою», то нельзя того же сказать о ее взгляде на курсы: эти курсы «*sui generis*», в изложении газеты представляются так, как будто они заведены были какими-то папуасами на не посещаемом европейцами острове и теперь силятся ворваться в Российскую державу; или как будто их основали не В. И. Герье и проф. Бестужев-Рюмин, а тот страшный Махов, который в 1904–1905 годах хозяйничал в пермских лесах. Ведь это же иллюзия... М-во просвещения отлично знает, что такое курсы; ни один камень в их организации и *программе* не был положен без долговременных переговоров с министерством, переговоров подозрительных и недоверчивых со стороны м-ва, в высшей степени критических и осторожных. М-во только не хотело включать их в свой состав и отказывалось принять на свое иждивение, подчиняясь давлению мнений, враждебных вообще высшему женскому образованию. Теперь, слава Богу, м-во, по-видимому, готово сравнять вполне

высшее женское образование с мужским. К этому клонятся и правила, нами обсуждаемые, правильные в конечной своей цели. Но оно как-то раздвоилось не то в мысли, не то в желании. Вместо того, чтобы просто выразить это в назначении государственного экзамена ищущим прав женщинам, и, *главное*, в спешном, безотлагательном уравнивании программы мужских и женских средних учебных заведений, оно остановилось на мысли о каком-то втором передержании всех выдержанных экзаменов!!!

Главный вред здесь в схеме, отвлеченности, канцеляризме; м-ву лень было проработать одну маленькую работку:

1) Затребовать от всех *высших женских* курсов (их немного в России) программы как постоянно читаемого там (лекции), так и программы испытаний (экзаменационные), равно список читавших профессоров.

2) И потребовать *дополнительно* таких испытаний при министерской комиссии, какие являются *недочетом* в курсах сравнительно с нормальными семестровыми экзаменами в мужских университетах.

Это – разница, вычитание!

Зачем же м-во потребовало *суммы, итога?!*

Неужели оно право было, «справедливо» было, подумав: «Э, девушки выдержат все *сплошь*», «*пусть не ленятся*», «*пусть стараются*», – и все это во избежание и с ленью «произвести вычитание» у себя, в департаменте м-ва, в ученом комитете м-ва?

Господа: вам по 40, по 50 лет, и тяжело везти пустую тележку на пригородок. Как же вы говорите, что не будет тяжело везти на гору целый обоз русским девушкам, в возрасте 24–26–28 лет?

Побойтесь Бога... Нравственные явления в обществе таковы, что все мы невольно и испуганно обертываемся на забытый завет: «Нужно бояться Бога».

ДЕ-ЛАССИ И ПАНЧЕНКО

Кто теперь самый несчастный человек в России, – гораздо несчастнейший, чем находящиеся в бессрочной каторге, без надежды выйти на свет дня?

Их трое. Миллионеры. Из них двое еще в цветущем возрасте. Год назад совершенно счастливые, – пока не пришла «мысль»... Месяц назад свободные еще физически, но уже один из них подпавший страшной «мысли».

Мысли – вместо миллиона (пишут «имения», «дома») иметь два миллиона. На что? Чтобы жить еще шире, чем жил; или, правдоподобнее, – закрепить, сделать неколеблемую ту привольную широкую жизнь, какого жил до 30–35 лет.

И, вместо этого, комнатка в три квадратных сажени, из которой никогда не выйдешь. Да что комнатка: темнее, чем в ней, – в душе...

Что творится, что настало в душе де-Ласси?.. Что творится в душе его молодой жены? Что творится в душе их отца, старого генерала? Обо всех этих духовных ужасах нельзя думать без страха. На одну минуту перенес-

тись в их положение – значит начать сейчас холодеть. Значит – просто начать сейчас умирать. Вот начинаешь понимать, что такое «духовная смерть», в отличие от физической. Насколько она тяжелее, страшнее физической.

Кто из троих несчастнее, – муж-преступник, жена преступника, уже с ним связанная в «одну плоть и кровь», или старый отец, который уже перед недалекою, естественно, могилою видит такой ком черной крови, родной крови в своих белых, старческих, слабых руках?

Ужасы, ужасы...

Горе ни одного из них не уступает горю другого. Преступник отнюдь не есть самый несчастный из всех.

И какой мотив? Самый ничтожный. «К миллиончику – еще бы миллиончик. И вот *тогда* совсем хорошо. О, тогда уже *окончательно хорошо*. Долги бы уплатил, имения выкупил. Собственно, остался бы на прежнем миллионе, но *укрепился бы в нем*; а то, в сущности, миллион этот уже растрачен, и осталась от него одна видимость. Долги, ужасные долги...

Но не могу же я продать лошадей и ездить на извозчике. Так, пожалуй, кто-нибудь скажет, что я должен ездить в трамвае. Вот *новости!*

Но денег ни у кого, нигде нет... Не могу же я работать, трудиться, как *все*... Да и захотел бы, – не сумею. Нет, с этой стороны нет выхода.

Есть маленький, косой, неприятный выход... Второй миллион получился бы, если бы я один был наследником после тестя. Но замешался... фуй... брат жены: человек молодой, пустой, женившийся «по увлечению» на актрисе сомнительного театра и теперь ведущий какую-то буржуазную смиренную жизнь. Тусклое пятно, без интереса и значения... этот мой *beau frère**. Ну, вот, если он, человек, впрочем, слабого здоровья, умрет... Но умереть-то ему нужно вовремя, пока еще не родился у него ребенок от этой неинтересной его жены. Тогда, пожалуй, этот сумасшедший тесть привяжется ко внуку и завещает большую часть состояния внуку. Тогда все уплывет из рук.

Вот если бы он *теперь* помер, до внука и без внука... Но нет, не умрет: все-таки молод, хоть и слабого здоровья. И непременно народит внуков... И тогда все мои закладные так и останутся закладными, т. е. все имущество, которого я никак не могу поправить собственными руками, – перейдет в руки хищников... кулаков, вчерашних наших крепостных».

Вот рассуждение, сложившееся из обстоятельств... У де-Ласси, вероятно, даже не было мысли... Но обстоятельства так сложились, что «мысль» уже стала весть над ними; и де-Ласси только пропустил в себя этого духовного микроба, не защитился от него... Не был защищен, – ни «здоровою натурою», ни через «прививку».

Жизнь праздная... Лошади, экипажи. Который был, «похуже», – продал; и купил, который показался «лучше». Беда, что ужасно много есть вещей, которые «получше»... И такая бесовщина: все «лучше» и «лучше», так что нет вещи, которой не было бы «еще лучше».

* брат жены (шурин) (фр.).

Вечно манило... Душа обратилась в сосок, который вечно что-то сосет. И это полутоскливое, полувеселое настроение, тоскливое, когда в руках вещь «похуже», и веселое, когда удалось приобрести «получше», составило настоящую душевную обстановку и несчастного и дурного Ласси. Между «получше» и «похуже», между тоскою и весельем, он был всегда как бы полупьян, нетрезв мыслью и душою, некрепок на ногах. У него все тряслось, и он весь тряся, – в руках, в ногах, в корпусе, больше всего в голове.

Микроб и пристал, прилип... Невидимый, маленький.

«Так очевидно, что все закружится, если этот мой beau frère, такой абсолютно неинтересный и никому решительно, кроме своей ничтожной жены, не нужный, – умрет... Но вовремя, вот сейчас, пока нет... Но если ребенок... тогда все пропало, и я, и моя Нини (жена, – или как ее зовут, – все равно), и наши дети, весь наш род. Старый род де-Ласси, – предки которого бились в войсках Елизаветы и Анны Иоанновны.

И Бутурлины – исторический род. Как де-Ласси. Последние отпрыски орлов XVIII века».

* * *

Так все преступление выросло не из *нужды*, не из *горя*, не из захватившей человека *опасности*, избегая которой он обернулся и совершил преступление...

Но как электричество берется «Бог его знает откуда», а образует грозы, молнию...

И ливень проливается, потому что земля «потела», и пот поднимался вверх, и образовались облака...

Так и все это злодеяние, поразившее страну, в сущности, образовалось из какой-то «отсырелости почвы», «нездоровости воздуха», не более, не ярче...

Еще вчера ничего «не предвещало», а сегодня «случилось». Ведь, будь у Бутурлина не один сын, а два, – и преступления бы не было. Будь еще дочь, – тоже бы не было. Для преступления, собственно, образовалась маленькая, узенькая шелка. Микроб и пал туда.

* * *

Вспомнишь речь Церетелли в начале второй Государственной Думы, – да и вообще часто повторяющиеся речи левых депутатов юного и неопытного нашего парламента: «Преступления создаются *нуждою*, преступлений не было бы, если бы не было *бедности*».

Причем всегда держится в уме схема голодного, крадущего у торговца с лотка калач... И дальше воображение не идет. Ни воображение, ни мысль.

Между тем, сколько «политических убеждений» держится на этой схеме, на этой мысли... Оно лежит в основе «разграничения партий».

«Ах, если бы не голод и нужда: мы расцвели бы в рай»... «Не противясь *злему*», – говорит и Толстой, разделяющий также надежду, что при отсутствии физического нагнетания человека на человека если и не *сейчас*, то *мало-помалу* прекратится всякое на земле зло, всякая в людях злоба.

Отодвинуты были в сторону, да и просто не поняты были мрачные предвещения Достоевского... Он учил, что зло и злоба, злодеяния и пороки, гной и кровь человеческие... есть плод укуса тарантула. Ну, не физического, не того, что обитает в прикаспийских пустынях, а другого, и страшнейшего. Замечательно, что великий мистик и психолог, человек идей и идейности, не только не представлял зло *схематически*, но даже и не хотел смотреть на него как только на «духовную сущность», «духовный феномен», «состояние нашей психики» и «пертурбации» в ней... Зло приходит, преступление приходит «во сне», когда на него «не оглядываешься», его «не видишь»; но «во сне», т. е. в высшей степени безотчетно; оно приходит почти как живое существо, с физикой, с телом, отвратительным и ядовитым. Его «Преступление и наказание» и «Подросток» написаны до открытия микробов, – до всех открытий Пастера, преобразовавших природу в наших глазах; но Достоевский только не произнес слова «микроб», а открыл его раньше Пастера, как крошечное физическое существо, родящее *все болезни в человечестве*, и вот эти самые страшные болезни – духовные. В бреду одного действующего лица в «Подростке» он описывает приключения этого человека и бессильную борьбу его с «ужасным насекомым», бегающим вокруг него, по стенам, по потолку, и все приближающимся к несчастному, которому, казалось бы, «встать и раздавить его». Читая страницы, думаешь: «Да почему он не встанет и не раздавит насекомое, имеющее вершок длины – к тому же мягкотелое, с легкой скорлупкою, на гадких длинных ногах». Но насекомое умнее человека, сильнее человека, – человек уже в его власти, но как-то не прямо, а косвенно и вот (приходится сказать)... как-то мистически. Как де-Ласси «во власти» наших глупых обстоятельств, что «привык уже покупать все лучше и лучше экипажи», что имения заложены, а у жены – наследницы после тестя – всего один брат... Да в Петербурге шатается какой-то алкоголик Панченко, – «совсем опустившийся врач», которого бьет женщина, притом не жена и не любовница, и который... без бутылки водки с утра так же не может обойтись, как де-Ласси без шикарного кабриолета...

Вот обстоятельства, клубок их, из которого родилось насекомое – мысль:

– Панченко совсем пропащий человек... занимающийся темными делами... среди которых, если он *полечит* «не так» Бутурлина, то, ведь, серия этих «темных дел» даже почти не удлинится.

– И во всяком случае, я ничего не делаю, не буду делать. Ничего решительно, кроме того обстоятельства, вовсе от меня не зависимого, что если молодой, некрепкого здоровья, человек помрет вовремя... то мои дела закружатся и окрепнут. Но, ведь, это – положение вещей, из которого вытекает моя естественная мысль, волевая мысль, мысль-желание, мысль-ожидание, чтобы молодой человек не долго жил... Т. е. умер бы скоро, поскорее, до ребенка... Мысль, невольная и «сама-собою», которую если я скажу вслух, то что тут прибавится...

– Все – Панченко. Я – ничего. Но Панченко уже пропащий человек. Не то, что я, отпрыск знаменитого рода, один из лучших дворян Виленской

губернии. Которому решительно невозможно ездить в трамвае, ходить пешком, обедать не в лучшем ресторане и уплачивать «человеку» за подачу чашки кофе менее рубля. Всякой птице свои крылья, и у всякой птицы свой полет. Я – орел, а Панченко...

Длинное, склизкое насекомое, уже раздавленное своей судьбой, положением, пакостями. Ходячая пакость. Но вот, как именно насекомое, – он «прилипнул к сердцу» де-Ласси. «Все с ума не идет»... «Думаю о том, думаю о другом, – а все возвращаюсь мыслью к Панченко»... «Думаю о жене; но образ ее потускнел, и на месте его стоит заплеванная фигура Панченка».

«В самом деле, если Панченко... начнет лечить Бутурлина, я могу года через три получить миллион. Важнее закладных и всяких текущих долгов... Важнее всех текущих дел... Главное дело, первое дело. Единственное сейчас настоящее дело».

Насекомое из «вершка» выросло в версту. Давит... Сосет душу.

«И главное – только теперь, сейчас почти. Будет ребенок у Бутурлина – все пропало».

«Насекомое» обнимает мысль несчастного пламенем. Он и так-то шатается, всегда шатался. А теперь в вихре... и уже несется, куда несет его этот вихрь.

«Пусть Панченко впрыснет, а я получу... Просто, может впрыснуть загрязненным шприцем».

Панченко объясняет, что у здорового человека от загрязненного шприца могут появиться только нарывы...

«Ну, не шприцем загрязненным, а впрыснуть какое-нибудь загрязнение... Ну, что-нибудь. Ну, не яд, конечно! Зачем яд, так бурно и опасно и... преступно. Но «привить» болезнь... опасную, смертельную: это лишь косвенно будет преступлением, а прямо все-таки это не то, что хватить обухом по лбу или перерезать горло. Опустившийся человек этот Панченко: ему все можно. И... все равно. А я ему потом дам на водку».

– Заплатите?

– Поблагодарю... Жалкий вы человек... и нуждающийся. Мне жаль вас, и я вам помогу.

Есть слова ясные, и есть слова неясные. Есть слова полные, и есть полуслова. Наконец, есть слова окольные, для третьего не имеющие никакого значения, не заключающие никакого смысла и понятные только в данную минуту, в данных обстоятельствах и... данным лицам, – говорящему и слушающему. Сыск напрасно искал «письменных документов», преступного условия, назначения крупной суммы...

Ничего не нашли. Да, без сомнения, ничего и не было...

И Панченко, даже пьяным умом, понимал, что труд, риск и применение науки не остаются без вознаграждения. Обеспечивало «слово благородного человека». Никогда без обчитывавшего партнеров, не «обижавшего» ему служивших людей...

Сырость... Мгла... Темь... Грязное потение Земли-планеты.

Все мы не воспитаны. Русские все растут «дичком», без традиции, кроме «славных преданий рода», без навыков детства и отрочества иных, как дать слуге «не менее столько-то» и не завтракать в ресторанах средней руки. «Держись яруса высоты, на который поднялись твои предки, и не опускайся ниже; Боже упаси опуститься ниже!»

Вот завет, фанатичный, один. Побочно около этого кой-какие науки, что-нибудь из «образования» в училище правоведения, в лицее, в привилегированной военной школе. Параллельно всему этому и заливая все это, — рысаки, экипажи, хорошая любовница в одни годы, выгодная жена в следующие годы. И дети, тоже с этою «традицией», все более «укореняющиеся», чтобы не «опускаться», а если можно, то и подняться еще вверх.

И — никакого труда.

Ни шепота голосов в душе.

Ни «страха Божия», старого, деревенского, заветного, народного.

Страх человеческий... да, вот перед шепотом и язвительными улыбка-ми: «Де-Ласси *опускаются*... Продам конюшню... Неужели будет продавать мебель?»

— Сам не продаст, — кредиторы продадут.

— В таком случае мы приедем на аукцион...

Микробы мысли густою толпою летели за ослабевшим... облепили его.

И уже не было доступа ни свежему воздуху, ни крепкой мысли. Пока пал... в какой-то сумасшедшей фантазмагории.

Что же думает, как чувствует его жена? Его тесть? Неужели у де-Ласси есть дети? Неужели на голову его пало еще и это несчастье? Кошмар ужасов...

А мы-то думали и думаем, что наша Русь так тиха и безобидна; и, кроме «Нравов Растеряевой улицы», описанных Глебом Успенским, да «Река играет» Короленка, ничего и нет у нас. Пейзажи Тургенева и «быт» Толстого... Не наивничают ли наши художники-беллетристы?

В ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРАЧЕШНОЙ...

Ах, эти литературные прачки, перемывающие чужое белье... Иной литератор десять лет пишет, двадцать лет пишет, наконец, тридцать лет пишет: и кого вы ни спросите, однако, что же именно такой литератор пишет, никто вам определенно на это не ответит, потому что нечего, в сущности, и ответить. Пишет по разным «поводам», о разных «случаях» и о разных «лицах»: пишет «в обыкновенном направлении». За все 10, 20, 30 лет он не высказет ни одной мысли, не защитит горячо и страстно ни одного тезиса... И ни «мыслей» у него нет, ни «тезисов» нет: а просто есть пять пальцев на руке, из которых не вываливается перо, как из «деревянной вставочки», в кото-

рую тоже можно вставлять разные перья, – и тогда эти перья будут писать или с прописей «моральные сентенции», или стишки, или политику на «текущие темы».

К числу таких «деревянных вставочек с пером» принадлежит г. Слонимский из «Вестника Европы»: муж поседелый, давний, старый, коего я читал в «Вестн. Евр.» уже будучи студентом, – тридцать лет назад, но который с тех пор никуда не подвинулся, ни в чем не переменялся, не вырос и не уменьшился – и, словом, не представляет в себе жизни или «движения» даже вытягивающейся резины, но именно коротенькой и вечно «той же» вставочки. За неимением темы, мысли и тезиса, – он все перебирает «чужое белье», и собственные статьи его несут ту муть-осадок, которая образуется около заношенных «принадлежностей костюма», если их опустить в тепловатую воду...

Некрасивая литература... Бог знает, зачем она существует.

В статье «О свободе полемики» («Вестн. Евр.», июнь) г. Слонимский пишет о разных литературных историях, о которых можно написать и столетий, а можно и ничего не написать... и пишет тут о полемике в «Северной Пчеле», в «Отечественных Записках», о полемике Н. Я. Данилевского и Н. Н. Страхова; о «всенепременном» Н. К. Михайловского... И я, зевнув, хотел уже закрыть статью гробокопателя, когда неожиданно наткнулся «на себя»: «Покойный Владимир Соловьев изобразил тип литературного Иудушки в лице В. В. Розанова, выступавшего тогда в печати с такими рассуждениями о свободе и вере, которые были бы уместны только в устах щедринского Порфирия Головлева. Автор этих рассуждений, по словам Соловьева, проявляет подлинные качества Иудушки своим «елейно-бесстыдным пустословием»: «по натуре своей он еще более лжив, чем скотоподобен; свой готентотский субъективизм он фальшиво привязывает к универсальной и объективной истине христианства; он лжет и клеветает на православную церковь, выставляя себя говорящим от ее имени». Этою характеристикой взглядов г. Розанова, как совпадающих с понятиями и приемами Иудушки, Вл. Соловьев несомненно задел самую сущность духовной личности критикуемого писателя; но превысил ли он пределы законной полемики? Нет, потому что он разбирал исключительно высказанные в печати мнения г. Розанова о веротерпимости и дал им вполне подобающую, хотя и резкую, оценку. Лучший судья в этом деле, сам В. В. Розанов, не признал этой характеристики за личную для себя обиду, что видно уже из того, что он *старался сохранить хорошие личные отношения с Соловьевым*».

Я не стал бы возражать на этот кусок текста, не содержащийся в первых отмеченных мною курсивом словах г-на Слонимского уже *взгляд самого Слонимского* на мою «духовную сущность», – притом, без сделанной оговорки о времени, явно относящуюся не к эпизоду только, имевшему место 13 лет назад, а и *к теперь*... Согласитесь, что получить в лицо повторение: «лжив и скотоподобен», – и от человека, всегда при встречах мирно беседовавшего с вами, довольно удивительно, а для литературных нравов как буд-

то и ново. Но Бог с ним. Затем в последних подчеркнутых мною словах он пишет фактическую неправду, – с таким видом, однако, как будто что-то знает. На Соловьева я действительно не сердился за его статью: ибо, будучи поэтом (и прекрасным, на мою оценку), он не был ни капли художником-писателем, умеющим схватить «лицо действительности» в своих писаниях; и не только моя «характеристика», но и вообще все характеристики, какие делались покойным рассеянным философом, – были верхом нелепости, неуклюжести и «ни с чем сходства»... Конечно, меня можно и *есть за что* больно уязвить: но только для Соловьева-то это осталось навсегда скрытым. Но что было только неумелой шалостью у поэта-философа, в устах прозаического Слонимского получает вид необъяснимой злобы, беспричинного укуса. «За что вы кусаетесь? Что я вам сделал?» – хочется его спросить...

И, наконец, в последних подчеркнутых словах содержится грубая ложь, с видом знания. *Я считаю, что Влад. Соловьев отрекся внутренне от своей статьи:* «Порфирий Головлев о свободе и вере», – где он напал на меня, так как через год после этого он приехал *сам и первый* познакомиться со мною, что совершенно немыслимо, если бы он не сознал сам свою статью обо мне ошибочною в литературном смысле и особенно в психологическом. Скажите, пожалуйста, г. Слонимский, зачем я поеду знакомиться с человеком «лживым и скотоподобным», с «Порфирием Головлевым»? Может быть, такие «знакомства» на роду написаны Слонимскому, но Соловьеву они несомненно на роду не были написаны. Он был из хорошего православного рода, внук деда священника и сын знаменитого историка, и никогда не плавал грустного плавания между «нашими и вашими», дружа со всеми и обманывая всех. Прямой человек и прямая судьба. Дальше, он дружил с «Порфирием Головлевым», чему свидетельство – в его надписях на книгах, которые он мне дарил («Оправдание добра»). Позднее, после его статьи, мне показавшейся *оскорбительно-несправедливой* в отношении Пушкина («Судьба Пушкина»), где он *морально* обвинял Пушкина за весь тот ужас грязи, среди которого погиб поэт, – мы разошлись с Соловьевым: но причиною был я, написавший резкий и насмешливый ответ на эту его статью о Пушкине. После статьи этой он перестал у меня бывать, мне кажется, по мотивам некрупного самолюбия. Вот и все. Но ни о каком «старании моем сохранить личные хорошие отношения с Соловьевым» г. Слонимский, конечно, ничего не знает, потому что ничего такого не было. «Хорошие отношения», увы, наступили после смерти Соловьева, когда я как-то внутренне «ахнул» и пожалел, что не стал к нему гораздо ближе при жизни, что было вполне для меня возможно. Потому что *личное его отношение ко мне* всегда было более чем безукоризненно; оно было тепло и, думаю, – имею повод думать – рвалось к задушевности. Произошло это по моему «некогда» и тоже рассеянности. Эпизод этот многие задевали в печати, и все остра острою Соловьева: «А, Порфирий Головлев! Ха-ха-ха!» Что делать: литературные прачки не имеют другого материала. Скажу в заключение: дружили ли мы с Соловьевым, ссорились ли, причиняли ли боль

друг другу или сладкое (бывало и это) – все это *наше отношение*, до которого ей-ей никому нет дела. Я во многом (в полемике) сознаю себя виновным перед покойным; как о человеке – я о нем теперь лучшего мнения, какое вообще можно иметь о человеке; как поэт – он всегда мне чувствовался прекрасным, благородным и глубоким; к философии его я, правда, не имел и не имею вкуса, может быть по безвкусию. Что же еще сказать? Все «счеты» – наши... Я старался заглазить «вины» свои перед покойным многими статьями о нем, по его смерти – которые, думается, написаны тепло и, во всяком случае, с мыслью поддержать свежою его память. И думаю, что если отношения наши имели около себя «шипцы», каких около себя не чувствовал Слонимский вблизи Соловьева, то были и розы, которых он тоже не чувствовал...

«Вставочка» все писала... Ну, Господь с нею, со «вставочкой»...

ПОСМЕРТНЫЙ ТРУД ГЕНРИ ДРУММОНДА

Г. Друммонд. Идеальная жизнь. Сборник бесед. С портретом автора. Перевод с английского. Издание киевского Религиозно-философского общества. Киев, 1910.

Природный и нравственный идеализм англичан глубоко отличается от умозрительного и кабинетного идеализма немцев. И если он не принес таких пышных плодов в теоретической области философии, на этом важном, но ограниченном поле, – то зато непосредственно и на большую массу общества он влиял самым благотворным образом. Англичане не заносились за облака мыслью. Но зато ходящая по земле толпа их имела нравственное, здоровое и углубленное представление об этой земле, по которой она ходила, о самой себе и о тех туманах невысокого английского неба, за которыми она всегда чувствовала Бога. Страна Карлэя и Диккенса всегда была серьезною, несколько угрюмою, набожною и в высшей степени трудоспособною. Цинизм никогда не смел в Англии произносить своих дерзких слов о Боге, о религии, о душе человеческой, о совести, об обществе, родной стране и долге.

К числу лучших нравственных философов Англии принадлежит Генри Друммонд, – одновременно натуралист и спиритуалист. Рассматривая природные явления, – рассматривая их трезвым глазом естествоиспытателя, он везде в природе находит «душу», «смысл», – а не комбинацию только атомов и физических сил.

Киевское Религиозно-философское общество (параллель нашему петербургскому, с этим же именем, и московскому) перевело и издало сохранившиеся в рукописях Друммонда статьи его, не опубликованные им при жизни. В самой Англии, изданные сейчас же по смерти Друммонда, они выдержали одно за другим десять изданий; на русском же языке появляются теперь впервые. К сборнику их, озаглавленному общим именем – «Идеальная

жизнь», приложен очерк жизни и трудов Друммонда и прекрасно выполненный портрет его.

Темы сборника – исключительно нравственные; но изложение отнюдь не состоит в сухом и голом поучении: поучение, правда, получается, но как венец и результат разбора Друммондом разных состояний человеческой души, разных «переживаний» ее, разных падений совести и озарений совести, какие случается каждому испытывать в жизни в более или менее тяжелой форме. От этого характера и состава книги она читается как что-то близкое и в высшей степени интересное: читатель, вместе с Друммондом, «копается» в душе своей, «пересматривает» вторично все пережитое – и приходит к выводам, к которым подводит его Друммонд. Без таких «оглядываний на себя» и «без анализа себя» жизнь была бы слишком скучным явлением и, пожалуй, очень малодостойным, у многих людей – малодостойным. Жизнь как нравственная борьба, как вечное усилие к героизму – может напомнить те 40 лет сознательного бытия, ответственного бытия, какие отмерены человеку, высоким внутренним интересом.

Пожелаем полезной и в высшей степени популярной книжке хорошего успеха. Да пожелаем, что до сих пор не собраны «воедино» разбросанные рассуждения нашего русского Друммонда – Платона Ал. Кускова, скончавшегося в прошлом году и прошедшего в русской литературе так незаслуженно незамеченным. Его «Разговор на пристани», «Наше место в вечности» должны бы стать «книжками-спутниками» русских размышляющих людей. Но все умное в России как-то туго прививается, и только пошрое и наглое бежит на Руси с поспешностью и быстротой «сороконожки».

МОЛОДЫЕ ПОЭТЫ

I

Критики, как и все смертные... ленивы. Этим только и можно объяснить, что они вечно пишут: «Еще этюд о Леониде Андрееве» или «Что хотел выразить Л. Андреев в своей новой драме» (повести, очерке), – что можно сделать и не читав «новой драмы», а припомнив старое и что-нибудь добавив от себя на этот раз. По этой же причине людской слабости, новые выступающие писатели переживают «участь горькую»: критика о них молчит, т. е. лень было прочитать их действительно новые произведения гг. критикам, а потому и читатели... просто даже не узнают о самом их *существовании*.

Передо мною два сборника стихотворений: «Стихотворения» Валериана Бородаевского, с предисловием Вяч. И. Иванова, в издательстве «Оры», – и большой том «Стихов и сказок» Сергея Гедройц, с картиною в красках и серию иллюстрирующих рисунков пером художников Клевер – отца и сына. Остановимся сперва на первом. Автор уходит от переживаемого времени, с

его смутными, волнующими событиями, в страны древнего Востока. В стихотворении «Маги» художественно верно передано самоощущение магов-царей, которому ничего подобного не сохранилось в новой цивилизации:

Мы – цари. Жезлом державным
Крепко выи пригибаем
Своенравным.

Нашей воле двигать звенья
Цепи мира вправо, влево –
Наслажденье.

Корабли несут нам дани:
Амбру, золото и пурпур.
Взмах лишь длани, –

Мерно в бубны ударяя,
Хор плясуний легких вьется...
Девой рая
Будет та, что перст укажет:
Улыбнется
И к ногам владыки ляжет.

Мы – цари. В венцах, с жезлами
Мы идем в пустыню грезить
Под звездами.

И столицу забываем,
Забываем блеск престольный,
И внимаем

Речи праведных созвездий,
Головой склонясь на камень:
Нет в них лести!..

Там короной драгоценной
Из ключей черпаем воду –
Дар бесценный.

И, торжественные маги,
Пьем свободу,
Как забвенные бродяги.

Строки, прямые и упрямые, как палки, – без всякой в себе гибкости и бегучести, без всякой пахучести и испаряемости (знаю, что нельзя так говорить...), чудесно «стилизуют» горячий, сухой Восток, где бродили эти чудовищные царьки маленьких стран, убежденные, что они «как боги» на земле, «равны богам», и что прочие смертные не имеют с ними никакого подобия... Тяжелая поступь, тяжелые неповоротливые думы, «яко стол-

пы»... «Черт с вами, – хочется сказать в страхе, – хорошо, что вы провалились». Демократия бегаёт хоть и без подштанников, зато легко на душе. И ряд подобных стихотворений, из которых нетерпеливо хочется привести «Херувимов». В комментарий замечу, что наше православное слово «херувим» не византийского происхождения: в самую Византию оно перешло через посредство греков и евреев – из Халдеи. В клинообразных надписях попадает слово «*керубу*» (Keroubû), относится к каменным изваяниям громадных быков... Эти быки стояли во дворцах царей Вавилона, Ниневии и Персеполя... В XIX веке их выкопали из-под земли, – в мусоре развалин этих городов, – ученые Ботта, Лэйярд и друг., и теперь они перевезены в Лувр и Британский музей. Бородаевский посвящает им следующее стихотворение:

Херувимы Ассирии, боги крылатые,
Бородатые,
Возникают из пыли веков.
Железо лопаты, как резец ваятеля,
Чародателя.
Возрождает забвенных богов.
Херувимы крылатые – камень питания

Высшего знания –
Из пыли веков
Двинулись ратью на новых богов.

Вашу правду несете вы, пращуры древние,
Херувимы Ассирии,
Ответ человека на пламенный зов Божества.

Был час, – и на камне
Почила рука и руку искала;
Вы – встреча двух дланей,
Вы – их пожатье.
Привет вам, быки круторогие,
С лицом человечески-хмурым глядите!

Опять это – негибкие, стучающие стихи: и поэт, обладающий тонким ухом, передал в них точно звук железной кирки, разбиравшей новый камень над древним.

Пусть это все – «стилизация»... Наше время, очевидно, имеет какой-то вкус к ней. Тут и богатство и бедность. Очевидная бедность *личных* творческих сил, личных порывов, личных надежд; и богатство *образованности*, – не личной, а общей, пробуждающей вкус и влечение к могилам, к изжитым эпохам. Замирает жизнь в центре; и начинается оживление на периферии.

Г-н Бородаевский не обещает большой литературной деятельности. Ум его слишком пассивен для этого, недвижим... Но он прекрасно образован, обладает изощренным вкусом и страстным вниманием в чужое творчество.

Вниканием вдумчивым, многолетним, тихим... Русская литература может ожидать от него со временем получить такой сборничек изящных стихов... Но, разумеется, это неизмеримо ценнее, нежели «Полные собрания сочинений Анатолия Каменского», от которых прохода нет в магазинах: до того их много... И все еще появляются новые и новые, как поросята от блудливой хавроньи... «Когда же конец», – думаешь.

II

Совершенно противоположен Бородаевскому другой, только что начавший поэт – Сергей Гедройц, книга которого – «Стихи и сказки», с рисунками художников Клевер – сына и отца, лежит перед нами. Бородаевский точно выкопал из катакомб древний светильник, влил туда масла и вставил фитиль и, зажегши его, пишет при тусклом и недолгом его свете свои стихотворения... Они короткие, их немного. Читая книгу Гедройца, вспоминаешь стих Державина:

Алмазна сыплется гора
С высот четыремя скалами...

На вас сыплются стихи, из которых в каждом – трепет минуты, горячий, знойной, иногда очень хлопотливой, всегда необыкновенно оживленной. Как первый поэт тих, так этот – шумен, подвижен, пожалуй, разнообразен. «Не хочется», – говорит задумчивая и, пожалуй, немножко ленивая муза первого. «Не терпится», – говорит молодая и энергичная муза второго. Почти все стихотворения подписаны именем тех мест, где были написаны (поместье Орловской губернии, Мукден, Царское Село), и, очевидно, относятся к реальному моменту, пережитому автором.

Отсюда их живость, нежность и теплота, местами раздражение и гнев. В книге совершенно отсутствуют стихотворения на «мировые темы», т. е. отсутствуют схемы и обобщения, отвлеченные идеи «зла», «добра», «человечества», «страдания», которые у людей, как Байрон, Гёте или Пушкин, выходят великолепны, а у людей поменьше похожи на болтающиеся без ветра очень большие паруса... Много вида и мало силы... Но С. Гедройц, как видно из книги, прожил завидную жизнь, полную мысли и движения, порывов, и не бесплодных, какой-то острой муки и головокружительных восторгов. Все это придает полноту и осязательность его стихотворениям, – качество, уже ставшее редким в наш век символики и отвлеченностей.

Стихотворения посвящены природе, любви и труду. И, как это и понятно, наиболее трепещут жизнью стихотворения, посвященные той «чаровнице», источника которой и существа которой никто не постиг. Все, конечно, знают, что «любовь» образует как бы «венчик будущего» и загорается, в сущности, над колыбелью младенца, «которому надо прийти в мир»... Да; но это – «вообще», а подите-ка разберитесь в частности, разбе-

ритесь в «неудачной любви», в «недостижимой любви», в любви «односторонней», – где «другая сторона» ничем не отвечает на чувство первой, и в других подобных случаях, где никогда никакого «рождения» не последует, а между тем, любовь горит так долго, ярко и прекрасно. Нет, любовь «связана» с рождением; но, по-видимому, стоит около него самостоятельным феноменом, с каким-то особым сосредоточением в себе.

Но любовь всегда рождает вдохновение; и даже не есть ли любовь «вдохновенное переживание» нашего организма? С. Гедройц, вечно влюбленный, хорошо передает и сущность вдохновения:

Касалась земли, – природа расцветала,
Смотрела в небеса, – смеялись они.
От звуков струн твоих гроза, смирясь, смолкала.
И пели ручейков волнистые струи.
Касалась сердец, – и, искру зароня,
В них пламень вспыхивал, как вешняя заря,
Мечтою светлую всю душу наполняя,
Ведя на подвиги, о жертве говоря.
Касалась прошлого, – безмолвно открывались
Зеленые холмы запущенных могил...

Действительно, даже *наука*, даже *история* и *археология*, невозможны без вдохновения... Без него и она превратится в скучную хронику профессорских будней и писания никому не нужных диссертаций. Но явится «вдохновенный» Бругш, «вдохновенный» Масперо, – и под их «горящим» взглядом тысячелетние обелиски и пирамиды заживут новою, второю жизнью. Мне признавался один талантливый хирург, очевидно глубоко вникавший в свое дело: «*Без вдохновения невозможно быть хирургом*. И знаете, что вдохновляет? Сознание, что за час операции жизнь больного всецело находится в ваших руках, что вы этою текущею операциею спасете ему жизнь. Это такой подъем чувства... и я могу отказаться от друзей, от родных, от материального достатка, предпочту, наконец, быть обиженным и оскорбленным; но не отнимайте у меня возможности ежедневно производить несколько операций. Не оперируя, я не живу, задыхаюсь; операция меня всего поднимает – и за минуты до нее, и на сутки после нее, но, главное, – во время ее, когда разрезаешь мускулы, ухватываешь пинцетами жилы, и горячая кровь течет по рукам, и вдыхаешь ее запах. Спасаясь и усталости не чувствуешь!»

Все это – ты, святое вдохновенье,
В венце из истинных лучей.

Во всемирную лирику любви С. Гедройц вложил несколько стихотворений, которые не забудутся по глубокой деликатности чувства:

Если непогода вьется над землею,
Мелкий дождь осенний в окна застучит,
Зарывает ветер жалобной мольбою
И тоску в больное сердце заронит;
Закипит в груди тяжелое сомненье,
Изнеможет ум твой в жизненной борьбе, –
Прошепчи лишь слово, и в одно мгновенье
Друг твой издалека прилетит к тебе.
Пред тобой предстанет, весь доверья полный,
Окружит заботой, ласкою любви,
Далеко прогонит твой недуг безмолвный;
Только его имя тихо призови.

Но испуганное воображение рисует другое: что «друг» отвернется от него и, замкнувшись в душе своей, не пожмет ответно руку. И тогда «ничего», – говорит поэт, – я не дам упасть «укору» с твоих уст, и «начну за тебя думать и страдать», и никогда тебя не покину. Да, любовь только та настоящая, которая не умирает, вся исстрадавшись, вся израненная. Любовь – «автономна» от взаимности, если можно так выразиться.

В книге много воспоминаний, уютности, много вообще теплоты, личной жизни, личных переживаний. Многие из них подписаны названием местностей, где были написаны, и чувствуешь, что это – необходимо. Я позволю себе привести только одно стихотворение, где автор говорит уже не о личном, не о минуте, а об «общем» и зрелище:

Улица узкая, улица темная;
Тускло горят фонари.
Где-то завывала собака бездомная;
Крики звучат до зари.
Возле забора, ютясь, пробирается
Путника позднего тень.
Песни нетрезвой припев обрывается,
Будто и петь его лень.
Скорбью, развратом, слезою страдания,
Улица, вся ты полна!
А в вышине голубое сияние
Льет безмятежно луна.

Наши уездные городки... кто не узнает их в этом кратком, пластическом очерке... с их тягучей, однообразной, томительной жизнью... жизнью бездумной. И нужно ею *пожить*, чтобы столь точно охватить картину; и отойти потом от нее *в сторону*, чтобы сказать о ней этот суд, сожалеющий, любящий и прощающий...

СРЕДИ ГАЗЕТ И ЖУРНАЛОВ

В «Русск. Мысли» г. Валерий Брюсов напечатал первоначальную редакцию вступления к «Медному Всаднику», отметив ее варианты сравнительно с общеизвестным текстом.

Всем памятно, например, те стихи, которыми «Вступление» начинается теперь:

На берегу пустынных волн
Стоял *Он*...

Из печатаемой нами редакции видно, что это смелое «*Он*» поставлено Пушкиным совершенно сознательно: первоначально он назвал своего героя по имени:

Стоял, задумавшись глубоко,
Великий Петр...

Заметим, что в рукописи эти стихи читаются еще в иной редакции:

Однажды, близ пустынных волн,
Стоял, глубокой думы полн,
Великий муж...

Далее характерны два стиха, при обработке повести откинутых и замененных другими:

Отсель стеречь мы будем шведа,
И наши пушки заторчат...

Интересно также, что знаменитое сравнение двух столиц с «новою царицей» и «порфиносною вдовой» пришло к Пушкину не сразу: раньше у него Москва поникала «*пред младшим братом*». Наконец, не лишены значения и более мелкие разночтения: «*всемирны* флаги» вместо «*все* флаги», «*незнаемые* воды» вместо «*неведомые* воды», «*вечный ропот* о гранит» вместо «*береговой* гранит», «*бури* зимних вечеров» вместо «*прозрачный сумрак*» и т. д.

Знать самый процесс творчества у Пушкина чрезвычайно интересно, а для нынешних зрелых гениев и очень поучительно.

ВИТТЕ И ПОБЕДОНОСЦЕВ

(К недавнему юбилею гр. С. Ю. Витте)

Две фигуры, Витте и Победоносцев, ярко выделялись на тусклом и суетливом фоне петербургской и всероссийской «государственной службы» в последние двадцать лет. Я помню восклицание одного умного, идейного, энергичного, но «по судьбе» маленького чиновничка одного из петербургских департаментов в 1895 или 1896 году:

– Это черт знает что... Витте сговорился с Победоносцевым... И теперь, когда они действуют вместе...

Он остановился. Разговор был на улице, «возвращаясь со службы».

– Ну? – спросил я.

– Это черт знает что, – повторил он еще энергичнее и плюнул. – Вместе делают, что хотят. Что задумают, то и проводят в правительстве. Теперь другие министры – только пешки около них. И так как Победоносцев ничего не делает...

– Ну? Отчего?!

– Как же?! Только «охраняет», т. е. стоит при «делах минувших», и ни шага дальше. И выходит, что «все новое» в правительстве делает один Витте.

– Может быть, другие не хотят?

– Не могут. Не в силах. Витте всегда сумеет ответить о всяком новом начинании, которое, естественно, нельзя привести в исполнение без ассигнования, что на ассигнование нет денег в казне. Кто же его усчитает? Он сам считает все деньги! Он и «приводит в исполнение» только то, что *им* задумано или по его *совету, указанию*; во всяком случае, задумано не иначе, как *предварительно* «поговорив с ним».

– Зачем же ему нужен Победоносцев? Все лежащий на одном боку и даже не переворачивающийся никогда на другой бок. Кит и ноль – что общего?

– Оттого и нужен, что «кит». Это у вас удачно случилось. Витте – молодая сила в правительстве. Он только что свалил Вышнеградского. Но свалить другого и самому утвердиться – большая разница. Витте умен, ловок, предприимчив... Может лететь далеко, очень далеко... Теперь-то явно, что он и полетит далеко, заручившись союзом с Победоносцевым. Но до «сегодня» было совершенно неясно, куда и далеко ли он полетит, потому что, именно как молодая сила, он не имел никакого авторитета в осторожном правительстве. Всякое правительство осторожно, – большая ответственность... Т. е. осторожно, если не гениально... Но у нас давно не было гениального правительства. Но теперь и Витте полетит, и Россию понесет за собою. Союз с Победоносцевым – гениальный шаг, но только это черт знает что такое...

И он опять плюнул.

Он был радикал в церковных вопросах и либерал-националист-земец в государственных, и потому, естественно, «союз Витте и Победоносцева» казался ему «крышкой» на всякое движение вперед России, на всякое улучшение ее дел и положения вне «личных видов Витте».

Эти «личные виды»: Бог весть откуда, как и почему, но с первого же выявления Витте на государственном поприще, как только произносилось его имя, где бы оно ни произносилось, кем бы ни произносилось, непременно за именем следовало и упоминание о «личных видах» его. С первого же шага и, кажется, до сих пор Витте был всегда окружен этою глухою подозрительностью и недоверием, и именно в отношении *личном*... Для всех как будто было «очевидно и доказано», что «этот человек» все прине-

сет в жертву личному своему эгоизму, «звезде» своей, государственной или служебной, судьбе своей, и что в этих счетах «большого игрока» судьба России не особенно много значит. Передаю, как слышал, и много раз слышал; передаю стоуюстую молву вокруг в пору наибольшего блеска «звезды Витте»... Ни на чем не настаивая, ничего не прибавляя от себя.

– Посмотрите, – говорил в департаменте, держа две бумаги с подписью «Витте», на великолепной толстой бумаге, на которой пишутся «отношения» только от министров и на имя министров и которая в магазинах так и именуется «министерскою», – вот Сергей Юльевич подписал «за» Вышнеградского, в пору, когда был еще его товарищем; а вот когда он сделался министром финансов.

Действительно, нельзя было не поразиться разницею в психологии писавшего, которая всегда передается в почерке. Как «товарищ» или «заведующий министерством», он писал имя свое на бумаге резко, с большим нажимом и с некоторым росчерком... «Мало! Мало!» – так и говорил почерк захлебывающегося в энергии человека. «Мало воздуха, задыхаюсь!» «Мало дела, ничего не делаю, в сто раз больше хочу делать». И вдруг Витте – «министр финансов». Тогда «Витте» на бумагах стало ложиться мягко, успокоенно, как красавица лежит и качается в тысячной коляске на совершенно мягких рессорах.

– Нисколько не качает! Какие рессоры...

«Росчерк» вовсе исчез, вобрался внутрь и атрофировался, как «хвост» у головастика, когда он превращается в то, «чем ему должно стать». Ничего, кроме букв «В», «и», «тте». И так мягко, без задора, без спора... «Отныне верь, Тамара», и

Здесь я владею, я люблю...

– припоминались разрозненно стихи из лермонтовского «Демона».

Может быть, и не без причины: с Витте в старую рухлядь нашего «правительственного механизма», с его ужасною наивностью, засорением, бессилием, сном и покоем какого-то уездного захолустья, ворвалось, в самом деле, что-то демоническое, случайное, громадно-личное, ворвалось как ураган, как ветер, и ломающий, и обновляющий, и грозящий, и обещающий:

«Нового будет много... Только как бы голову не сломать».

* * *

Мне по приезде в Петербург захотелось увидеть «всю министерию», и так как где же ее увидеть, то я пошел в Исаакиевский собор в один из «высокопраздничных дней» и стал на спуске той стороны, откуда «будут выходить особы».

...С кем-то разговаривая, Витте, не торопясь, выходил и стал спускаться по ступеням, весь расшитый в золото. Молодой, огромный, сильный, с какою-то хорошою гибкостью в спине и неустанностью в ногах.

– Этот конь не устанет...

– Эта спина принаровится ко всяким обстоятельствам...

– Он если прямо не поборет, грудью, то поборет каким-нибудь «американским приемом». Потому что, очевидно, все другие министры суть только «тайные советники» и такие «русаки», точно ни о какой «загранице» никогда и не слыхали. Этот, наоборот, точно «приехал в Россию» искать «судьбы своей»... В ней для него ничего нет родного, и этот не в идеях «западник», а по натуре «западный человек» вступит в «союз» или «mesalliance» с чем и с кем угодно, глядя по моменту, выгоде и ходу «звезды своей»... И только. Способный человек, и совершенно новый!!

В департаментах говорили завистливо, ненавидя, шипя:

«Сергей-то Витте» (без отчества). «Ну, посмотрим»... «Новоиспеченный действительный статский советник, и уж министр»... «Поглядим»...

В ту пору был взрыв против него в директорах и вице-директорах департаментов, ни с чем не сравнимый. Если бы можно было, – его съели бы в виде крошки. И на «невысокий его чин» указывали именно либералы, казалось бы презиравшие всякие чины.

Когда, однако, я рассматривал его лицо, меня неприятно поразило следующее: безыдейность, невыразительность. Фигура – да, «говорит»; спина, руки, корпус «полны речей». Но лицо безмолвно или говорит и может говорить только шаблонные слова «в общем духе», «в общем течении».

Буквально – конь.

Который рыскает.

Но не говорит.

«Деловой министр». И хотя я чужд совершенно финансов, но я, признаюсь, любил Витте отвлеченною любовью за его вечную предприимчивость, вечно «новое и новое», что у него «само рождалось» под руками. За его неугомонность, предприимчивость, вечный полет.

Боже! В нашей сонной жизни до чего это нужно!

Но мне было в высшей степени антипатично его безыдейное лицо. «Черт знает что; по делам, по кипению – вулкан, а лицо как у счастливейшего преображенца или семеновца, даже не офицерских чинов, а у поручика и, может быть, даже фельдфебеля. Здоровое, сильное, молодцеватое, без следа мысли. Точно его ничего даже не заботит, не «омрачает». Совершенно непонятный человек.

Министры финансов не покупают дружелюбий личными пожертвованиями. В тот самый год, когда маленький и зоркий чиновничек, плюясь, говорил о «союзе Витте с Победоносцевым», – личный друг Победоносцева, бывший на «ты» с ним, Рачинский, говорил мне:

– Вы знаете, Витте оказался прекрасным человеком... прекрасным русским человеком и, несмотря на молодость, зрелым и дальновидным государственным мужем... Он ассигновал четыре миллиона на вспомоществование церковно-приходским училищам.

«Пассия» Победоносцева, «дитя сердца» Сер. Ал. Рачинского. Вместе, в уединении Татеева (имение Смоленской губернии), куда приезжал Побе-

доносцев отдохнуть от дел к своему университетскому товарищу, они задумали эти училища и «решили» их как естественную и историческую, как народную и охранительную школу для России. Сказав «четыре миллиона», может быть, я ошибаюсь в цифре. Витте, во всяком случае, могущественно поддержал советом, одобрением и рублем «церковную политику» Победоносцева...

Это не было, как Рачинский передавал, «холодное» ассигнование денег. Нет, в Совете Министров, в Государственном Совете, везде, где мог и ожидалось, Витте идейно поддерживал «школьное дело» Победоносцева, говорил за него, говорил о нем. А в противоположность личному у меня впечатлению, Витте, оказывается, говорил хорошо: сжато, мотивированно, молодо и... так «зрело»... «Зрелый государственный муж с дальновидными взглядами».

Рачинский, лично не знавший Витте, мог взять эту фразу только из уст Победоносцева.

Победоносцев же и по возрасту, и по высокому образованию, и, наконец, по своему служебному прошлому, по своей государственной деятельности, заключающейся в государственной бездеятельности, был, конечно, «в высшей степени зрелый, опытный и осторожный государственный муж». Так если с кем можно было не опасаться «головы сломить», кто не напоминал собою «ветра» и «урагана», то это – Победоносцев... любитель Пушкина и Рёскина, стихов и философии.

* * *

И пронеслись годы... И «ураганы», развитые Витте, унесли и Победоносцева. Унесли тот вековой «стул» в консистории и Государственном Совете, на котором он сидел.

Когда, – мне рассказывали очевидцы, – у гроба Победоносцева, на Литейной улице, столпились сановники государства, давая «последний поцелуй» своему сотоварищу-другу-врагу-кумиру, то между ними, естественно, был и Витте. Все шли, немного теснясь, «гуськом». Вдова покойного обер-прокурора Синода, которая сама стояла двух обер-прокуроров и была гордее и властительнее своего мужа, стояла тут же, склонив уже сидящую голову. Когда Витте, которого раньше она не замечала (на панихиде), поднялся на ступеньку и протянул губы с «последним прости» к лицу усопшего, она случайно подняла голову и увидела его.

– Ах! Убийца!! – вскрикнула она на весь зал и, кажется, повалилась на руки окружающих или впала в истерику.

Историческая минута, историческое восклицание. Конечно, Витте, проводя «17-е» октября, ронял все, над чем стоял стражем Победоносцев до 17 октября. Конечно, он убивал все «сердечные радости» Победоносцева, лишил его старость «покоя и утешения». Но не совершенно ли дико представлять себе, что Россия существует для сохранения «добротного здоровья» Победоносцева, который сам палец о палец не ударил и не пожертвовал ни одним часом своего покоя для сохранения «добротного здоровья» России. Победоносцев был великой интеллигентности человек, но, как многие

люди с «перепроизводством ума», он был ленив, бездеятелен, притом самоуверенно-бездеятелен, и варился в меду своей золотой мысли и золотого слова, как гурман-любитель и сладкоежка.

Всегда в мысли своей я сопоставлял эти две фигуры. Всякий раз, когда я упорно думал об одной, около нее тенью становилась и другая. Они поясняли друг друга.

Грустную сторону Витте составляет то, что он вовсе не интеллигентен. Именно, как математик (по образованию) и финансист (по призванию). Это вещи вовсе не идейные, не духовные. Витте вовсе не духовен. Это – бронза, «бык», «столп», что угодно, как угодно, но, вероятно, он даже «Птички Божией» Пушкина не читал никогда или забыл, что она есть; и едва ли он мог бы, не заснув, прочесть хотя одну страницу из Паскаля, Канта, Эмерсона или Рёскина. Точно философия и поэзия не рождались при нем, или он не рождался при поэзии и философии. «Не заметили друг друга».

Это вполне в нем отвратительно. Мне кажется, Россия, давшая от Пушкина до Толстого столько поэтов и мыслителей, несмотря на все недочеты, есть великая духовная страна, велика идейная страна. И «Витте в России» есть какой-то случай и недоразумение, в конце концов и распавшееся на свои элементы: «Россия» осталась одна и пошла в одну сторону, а «Витте» тоже остался один и пошел в другую сторону.

Безыдейность отвратительна. Но энергия?

Здесь беспристрастный зритель должен сказать, что за весь XIX век он не находит в русской истории фигуры более интересной, более привлекательной, наконец, более способной вызвать восторг и восхищение, как Витте. Совершенно он не знал усталости!.. Совершенно не знал неудач, разочарований, страха, недоумений, растерянности. Тут, нельзя оспорить, помогала ему и «безыдейность». Он, скажу, немного преувеличив дело для яркости, не «двоился в мысли», потому что у него не было и «одной мысли». Или, во всяком случае, никогда не умещалось в голове более *одной мысли*, которая от этого становилась упорной, дьявольской, работоспособной в высшей степени. Вообще же говоря, Витте весь стихийен, слеп, силен; «прет», «ломит»... В нем был осколочек Петра Великого, тоже над «философскими мыслями» не останавливавшегося. Во всяком случае, ни один человек в России за XVIII, за XIX и вот за десять лет XX века так не напоминает Петра, так не родствен ему по всему составу даже костей своих, нервов своих, мускулов своих, как Витте...

Все – новое... Каждое утро всякого дня что-нибудь новое.

И все с успехом. Доводя до конца.

Это – небывалое зрелище в нашей русской истории. Со времен Петра еще небывалое. Нельзя было 15 лет не восхищаться им.

Все время прибавляя в душе:

– Ах, если бы он был и образован. Развита, духовен.

Но этого не было.

Константин Петрович Победоносцев, будучи юристом по образованию, не преобразовал даже духовных консисторий, совершенно чудовищных, не заменил чем-нибудь «Устав духовных консисторий»... Вместо нового «Устава духовных консисторий», который он обязан был дать по должности, он дал вне должности «Московский сборник», собрание изречений своих и переводных из Эмерсона, из Карлейля, из Рёскина и проч. Книга поэтическая, вдохновенная, но которая подобна сахару, а не хлебу. За всю свою долгую-предолгую жизнь он ничего не делал и только останавливал всех, кто еще что-нибудь мог бы сделать. Даже к церковно-приходским школам толкнул его Сергей Алекс. Рачинский, а практически провел их в дело Владимир Карлович Саблер. Победоносцев есть именно тот человек, о котором сказал Фридрих Великий мудрую притчу: «Если бы я хотел разорить страну, я отдал бы ее в управление философам». Весь период русской истории, который можно окрестить именем «время Победоносцева», – весь этот период, в той части, в которой он зависел от Победоносцева или был под давлением его, говоря словами поэта:

...Достоин слез и смеха...

Но вся эта глубокая бесполезность и даже прямая вредность Победоносцева для государства скрадывалась и затушевывалась его великою интеллигентностью. Можно без преувеличения сказать, что за весь XVIII, XIX и тоже десять лет XX века в составе высшего нашего правительства не было ни одной подобной ему фигуры по глубокой духовной интересности, духовной красивости, духовной привлекательности, но оказывавшейся только «здесь в комнате». Это был комнатный человек, комнатный ум, но не площадной, не казарменный, не канцелярский, не городской: требования *политики*. Он был именно не политик, поставленный судьбою на совершенно ошибочное место *политика*. Поставленный сюда естественно, так как у нас все зависело от «личного усмотрения», от личного «нравиться», а не вытекало из сознания государственной нужды и сообразования с государственною нуждою. А на вопрос, «нравится ли», чарующий ум Победоносцева отвечал в высшей степени утвердительно. Обычное представление о Победоносцеве: «строгий, сухой чиновник», «враг всего нового», «беспощадный гаситель света» – совершенно обратно действительности. Имей он немножко «интриги» в уме и душе, немножко «пролазничества» или сколько-нибудь «царедворства», – конечно, он сумел бы посредством самых нетрудных манипуляций и безвредных для себя слов, речей, изречений получить и популярность в обществе, и захватить наверху гораздо больше власти, и, главным образом, власти *продолжительной*, чем это было, чем сколько он имел. Иногда мелкий факт убедительнее длинных доказательств. В самые первые годы XX века (до японской войны) он хотел устроить от должности зарвавшегося в денежных манипуляциях чиновника сво-

его ведомства; чиновник этот был антипатичен всей России, и об его взяточничестве громко везде говорили. Но, – смелый и дерзкий взяточник, – он пригрозил Победоносцеву, что, в случае отставки, он опубликует письма к себе Победоносцева с теми отзывами обер-прокурора Синода об епархиальных архиереях и вообще о духовных особах, какие в этих письмах содержатся. Победоносцев вынужден был оставить его на службе, притом в той значительной близости к себе, в какой он состоял ранее. Можно представить себе всю тяжесть подобной близости и отчасти зависимости от презируемого человека... И ради чего? Почему? Ради того, что в служебной торопливой переписке он не удержался употребить выражения, характеристики, мнения, очевидно совершенно несовместимые с официальными отношениями и «казенной бумагой». Вот вам и «сухой, строгий чиновник»...

На высокой, худой (но *не сухой*) фигуре Победоносцева был узкий петербургский мундир, не особенно расшитый золотом. Но зоркий взгляд мог заметить, что не все пуговицы его застегнуты и что через мундир проглядывает узорный бухарский халат, шитье которого – целая поэма... Сам Победоносцев отрицал бы это. Он любил мысленно сравнивать себя с Иосифом при фараонах (записочки его к г. Тверскому, по поводу духовоборов в Америке). Но это не так. Никакого в нем «Иосифа» не было, и ни при каком «фараоне» он не состоял: все было «по-русски», и эпизод с Ольгой Штейн показал, что в нем скорее бежала кровь неудержимых сынов Турана и Ирана... под старость лет.

* * *

Я всегда любил физику замечательных людей. И когда на каком-то торжественном представлении в Малом театре мне сказали: «Здесь, в ложе, сидит Витте, – хотите видеть?», то я выразил радостное согласие и захватил бинокль. Он был в это время уже «поверженным львом». Я прошел немного назад, чтобы долго насладиться зрением, не беспокоя тех, на кого смотрю. Витте сидел в глубине ложи, почти не видный публике. Впереди сидели дамы и «кто-то» из военных или штатских. Я навел бинокль... и, лишь с небольшими перерывами, просмотрел на него весь антракт. Раз два, может быть, под гипнозом, он повертывался в сторону моего бинокля, но я уже бесстыдно продолжал глядеть на него, думая: не выскочит же он из ложи и не закричит мне: *оставьте*.

Я думаю, уверен, что ухватил его в творческую, вдохновенную минуту. Как уже я сказал, он был «незаметен» для публики, а «гости в ложе» все смотрели в партер. Поэтому он был один... Театром он, конечно, скучал, и как он «вечно в работе», то, очевидно, и отдался какой-то внутренней работе, ушедши глубоко в кресло.

Грузен... почти толст. Нос маленький, с перешибленностью посредине... некрасив, Боже, до чего некрасив!..

Но я лучше стану продолжать словами, которые говорил жене, вернувшись домой, и которые помню как вырвавшуюся формулу:

– Что красота, пластика, эти гладкие щеки и не нужные никому «греческие носы». Как все это пусто и... ничтожно, неинтересно. Ты знаешь, у меня никогда не было завидования к людям, но, когда я смотрел сегодня на Витте, у меня душа заняла впервые каким-то темным завидованием, – представь, к лицу его, представь, к красоте его. Я весь смущен и взволнован, как девушка, увидевшая великана. Великан подавил бы девушку массой своею. Вот так Витте подавил меня массой своего духа, огромностью своего духа... И прямо я взволнован... Такого прекрасного человека, прекрасного лица, прекрасной фигуры я никогда не встречал... А нос с «перешибленностью»... Черт с ними, и с носом, и с «перешибленностью»... Разве в них дело: дайте Витте «греческий нос», – и все испортите. Витте, как есть, и должен быть безобразен; это у него «таран» сломался, как у броненосца в сшибке, от мин, от атак, от подводных лодок. Что такое красота? Сегодня только я понял, что красота не в линиях, не в пластике, что для человека красота – в силе. Просто – в силе. И Витте закружил мою душу, как не закружили ярые красавицы с открытыми бюстами. Все это были горничные, старавшиеся понравиться госпоже своей, своей публике, а он, как темный монумент, стоял в стороне и не замечал ничего...

В самом деле, он будет жить века в памяти... Ведь он покачнул всю Россию; один человек покачнул всю страну. Попробуйте, господа, попробуйте кто-нибудь.

А все остальное, бывшее в театре, как снежинки в воздухе... Принес их на пальто в комнату, и нет белых сверкающих искр, а только видишь перед собою мокрое пальто.

«ЕДИНОЕ СТАДО» И НЕУГОМОННЫЙ ВОЛК...

В «Современном Мире» напечатана полностью история о том, как посорились «Иван Иванович и Иван Никифорович», – разумеется, из-за слова «гусак», неосторожно употребленного одним из соседей... Таким «гусак» оказалось, в сущности, невинное обвинение К.И. Чуковским редакции «Современного Мира» в том, что она, обещав поместить у себя на страницах «вещи» корифеев литературы, с Анатолием Каменским во главе, – на самом деле в течение года их не дала читателям. Боже мой, что из этого вышло... Редакция «Современного Мира», явившись *in ripeno** в редакцию «Речи», потребовала, чтобы редактор своеручно надавал шлепков своему сотруднику, Чуковскому; в случае же отказа сей редактор должен драться на дуэли с Иорданским, который кроме кадила, оказывается, умеет держать в руках и «сам пистолет»; и, наконец, только после долгих уговоров и юридических «разъяснений», отступила до согласия все передать на третейский суд. Рассуждения сего третейского суда и его

* благочестиво (лат.).

«постановления» и напечатаны полностью в последней книжке «Современного Мира», заняв в журнале целый печатный лист, который читателям, вероятно, приятнее было бы увидеть занятым каким-нибудь рассказом Мопассана или даже старой повестью Поль-де-Кока.

Вечерний звон, вечерний звон.
Как много дум наводит он...

Что такое произошло? Отчего такая ненависть к Чуковскому? Говорят, в одной московской газете, сейчас после «инцидента», т. е. указания Чуковским, что журнал «обещал и не исполнил», появилась за подписью кроткого Батюшкова (критик и профессор) такая статья, которую Чуковскому даже не удалось прочесть: она была наполнена такою оскорбительною бранью, что близкие люди скрыли от него номер и не допустили прочтения. Так передавали в литературных кругах; и передавали также из всей статьи один еще наименее оскорбительный термин, будто «Чуковский является в литературе, до сих пор бывшей порядочною, нововводителем *желтой прессы*»... Содержит ли это намек на «желтую опасность» и указывает на «китайские, дикие, азиатские» приемы Чуковского, – или же это имеет в виду «желтые билеты» известных девиц и уравнивает «тлетворное» влияние Чуковского с деятельностью сих дев, неизвестно... Но поразительно: каким образом добрый и мягкий Батюшков мог так рассвирепеть, возненавидеть и изругать?

Поразительно. Все поразительно. Что такое случилось? Я стал вдумываться в *историю русской литературы*, чтобы из «корней» ее что-нибудь понять в этой по существу глупой и пустой истории, истории из-за имени «гусак», которая до такой степени подняла нервы столько литераторов...

И, кажется, нашел «причину»... И «причина» эта переводит меня от сочувствия Чуковскому, на стороне которого я ранее стоял, к сочувствию Иорданскому, Батюшкову и вообще всем, которые хотели бы «поколотить» Чуковского...

Чуковский (как мы видали все его на лекциях) – страшно молод; юноша, даже без бороды, чуть-чуть с усиками... И, как все юноши, страшно самоуверен, дерзко самоуверен... «Мне *никого* не надо; без *всех* проживу».

Так думают гимназисты, студенты, недавно кончившие курс... Думают так «вольноопределяющиеся»... Это – *общественный индивидуализм* как стремление оторваться «от своих», полететь *от* центра, а не *к* центру... Начало дезорганизирующее, антисоциальное.

И он полетел каким-то камнем и стал бить старые горшки... не взвесив, сколько стоило труда *установить* их и даже еще раньше – *сотворить* эти глиняные горшки...

Взглянем далеко назад и взглянем как можно дальше в будущее. Боже мой: ведь нужен же какой-нибудь *мир* людям, вот этот вифлеемский «мир и благоволение в человецех»... Нужно же на чем-нибудь *согласиться* и *установиться*! Не вечная же «революция», т. е. смятение, сомнение, тревога; и вытекающее отсюда разрушение старых миров и создание новых миров...

Нужен же покой, радость, отдых. Нужен венец после победы. И кто критикует этот «венец», кто критикует *праведность* «праведника», признанного, канонизированного, установленного, – тот вводит смуту и муку в душу и... поистине есть «враг общественного порядка».

Мучитель общества, враг толпы, массы.

Чуковский, с такими маленькими усиками, просто не мог понять и, вероятно, до сих пор не понимает, что он собственно делает. Не понимает, как «юнкер» и «вольноопределяющийся». Что он написал *вообще*?

Есть речи: значенье –
Пусто иль ничтожно...

Ничего значительного, важного. Не положил в литературу никакой жемчужины, за которую ему можно бы «простить остальное». *Того* задел, *о другом* написал 2½ страницы; и все о писателях мелких, которым все равно и без Чуковского придет завтра смерть и забвение... Он как будто тешится в литературе, тешится с огромным чувством «сегодня» и «разбивает горшки» с чисто детской радостью. Но это – глубоко антикультурная, антисоциальная работа. Ребенку это не видно: но кто уже седеет, не может не ахнуть при виде этих проказ; а когда они длятся долго и не обещают остановиться, не может не вознегодовать, наконец, – не позеленеть от злости.

Чуковский смутил покой русской литературы. Именно *русской*, и именно *литературы*. В чем дело? Как все случилось?

От Белинского и до наших дней были положены некоторые «основоположения»... Воздвигнуты «стропила», выстлан фундамент некоего духовного, общественного, идейного «здания». Как это трудно! О, до чего трудно, это может оценить только тот, *кто строил*. Чуковский никогда ничего не строил и *духа* «строительной работы», *пота* «строительной работы» он вовсе не знает... В том его трагедия и комедия, неправда его в самой правде... Белинский начал; продолжали «Современник», «Русское Слово», «Отечественные Записки», – и вот кончилось «Современным Миром». Продолжали *линию* после Белинского Добролюбов и Писарев, потом Михайловский, – и вот наконец Иорданский и Батюшков. Скверно, но приходится повторить термин о молодых аристократах: он «держался за хвост тетеньки». Но, в самом деле, всякая *история* идет к установлению *аристократизма*: и в долгих и трудных родах «русской духовной жизни», «русской идейной жизни» установился «второй этаж» огромного и сложного дома, *bêlêtage*, в котором поселялись естественно наследники тех, кто все начал и кто с таким трудом строил, возводил здание...

И долгие годы неслышно прошли...

Гиганты строили фундамент: но, естественно, последующие были слабее их... да и история *теперь* несколько не требует геркулесовских сил. Белинский горел и пламенел много лет; Добролюбов имел замечательный

стиль; Чернышевский был неутомим, разнообразен, смел... Но для чего все это Батюшкову?

Иные дни, иные силы...

Совершенно *достаточно*, исторически достаточно, если Семен Венгеров издает «с примечаниями» сочинения Белинского; а Батюшков... просто будет жить в бельэтаже.

«Я в нем *родился и живу*».

Совершенно основательно: уже *родители* его были «из стаи славной» и снесли цыпленка не где-нибудь, но в одной из уютных комнаток бельэтажа.

– J'y suis et j'y reste*.

Что же такое *новенький* Чуковский делает? Он тоже вошел в бельэтаж; но не *по традиции*, а потому, что, видите ли, «у него такой образ мыслей». «Я всегда был 1) бедняк, 2) либерал, 3) люблю словесность – и потому 4) мне место около могил Белинского, Чернышевского и около кресла Михайловского».

Основательно, но не совсем: каждый этаж имеет дух, строй, традицию; имеет невидимую дисциплину как закон «принятого» и «приличного». Чуковский же вошел уже слишком свободно и как дикарь («желтая пресса»), задавая совершенно неприличные вопросы:

– Вы только имели труд *родиться* в хорошем этаже (Батюшкову).

– Почему вы собственно издаете Пушкина: ведь вы едва умеете отличать стихи от прозы, и когда же и в чем вы проявили литературный вкус (Венгерову)?

– Правда, вы происходите из семинаристов, как и Чернышевский: но *кого и что* вы разволновали, возмутили? Вы скорее курица, чем публицист (Иорданскому).

И, наконец, всем:

– Господа, да вы только держались «за хвост тетеньки», как питомцы наших привилегированных училищ: и вошли «в прекрасное положение», «победное положение», не трудясь в победе и ничего не завоевывая.

Так говорил дикарь.

Но ведь он нарушал *строй, дух, систему!!!*

Для чего же «одерживать победу», когда она одержана? Но, с другой стороны, когда она одержана, то почему же не пользоваться положением?

Вокруг дикаря пронесся шепот:

– Но мы все честного образа мыслей!! Это и есть условие, лозунг и традиция!!

* * *

Разберемся.

Жить в анархии невозможно. Жить можно только «в каком-нибудь порядке». В литературе этот порядок «и мир» наконец установился. Он состоит в

* Я здесь стою и остаюсь здесь стоять (*фр.*).

принятии некоторых тезисов, некоторых положений, с трудом и долго устанавливавшихся еще от времен Белинского... Ну, устанавливавшихся *активно*; но когда это все уже совершилось, то естественно осталось только *пассивно* сохранять их. И поэтому Венгеров, напр., отвечает за себя:

– Я издаю Пушкина не потому, что умею отличать стихи от прозы, а оттого, что я ненавижу чиновников...

И Батюшков:

– Я есть прогрессивный русский писатель оттого, что печатаюсь именно в прогрессивных журналах, и только в них.

А когда Чуковский спрашивает:

– Но что такое, господа, прогрессивный журнал?

То ему отвечают хором:

– Журнал честного направления... Или, конкретно: в котором печатаемся все мы.

«Наш этаж» и «наше положение».

Чуковский, по молодости и неопытности, начал вдумываться во все это. И, тоже по молодости и задору, стал возражать на все это:

– Все-таки я не понимаю связи между чиновниками и Пушкиным. Я согласен, – оттого и в вашем этаже, – что чиновники гадки и все воруют. Но независимо от этого я все-таки думаю, что Пушкина нужно издавать тому, кто *любит поэзию* Пушкина, кто *чит* его светлый лик, и все это, – как «любит», так и «чит», – не шаблонно, не на словах только, но в смысле вообще, что «Пушкин есть великий поэт», но любит особенно, индивидуально, по какому-нибудь *сродству души своей*, по крайней мере в слезах ее, по крайней мере в мечтах ее, *с душою и поэзией Пушкина*... Нельзя же, напр., составить протокол о воровстве в интендантстве и на этом построить право свое читать эстетику в университете...

– Он ничего не понимает, – раздался шепот кругом.

– Нет, хуже: он *зол* и сознательно ничего не признает в литературе, в нас...

Чуковский продолжал недоумевать:

«Напр., Батюшков отрицает значение *стиля* в писателе: и в то же время вся его литературная деятельность состоит в разных статьях о разных писателях. Но ведь если для него незначаш и невыразителен *стиль* в сочинениях, то как же он вообще-то занимается писателями, о которых Бюффон еще определил: *le stile – c'est l'homme**. Значит, он не чувствует, не осязает, не ощущает *самого предмета*, о котором между тем пишет *всю жизнь*, уже долгую и почти седую... Не понимаю».

– Желтая пресса... Шкура и душа не то китайца, не то проститутки... Как же он не понимает, что я пишу о писателях... тоже потому, что ненавижу чиновников. Соотношение очевидное: чиновники ненавидели и *теснили* писателей; а я, ненавидя их, – естественно, тем самым *люблю писателей*, люблю *всю вообще литературу*. А любовь открывает мне душу писателей,

* стиль – это человек (*фр.*).

помогает мне *понимать* их. И я пишу... и я думаю, превосходно пишу... по крайней мере – недурно.

Чуковский все так же скучно и однообразно недоумевает:

«Наконец, вот вы все говорите – «честная литература», «единственные честные писатели»... Ну, хорошо, верю: но отчего вот один журнал, обещав, что он даст читателям «Еще Санина», дал только повесть Каменского, и то неконченную. А был обещан и Каменский и Санин. В других этажах водится так, что «неисполнение обещания» называется приблизительно обманом... А если в декабре перед подпискою – то «зазыванием публики»: что в Гостином дворе практикуется, а в литературе... в порядочной литературе...

– В «честной», не смешивайте...

– Ну, в «честной»: как будто «честность» и явный обман несовместимы...

* * *

Тут-то он и выступил против культуры («представитель *желтой прессы*»). Культура есть *условность*; есть *сохранение* некоторых условий, с великим трудом достигнутых и на которых «все согласились». Разберемся.

Белинский, Чернышевский и др. были мечтатели и идеалисты; они жили в эмпирее честных идей и «в сей земной мир» не спускались; не спускались осязательно и практически. Если о «сем мире» они и говорили, то лишь в смысле «полного его отрицания», полного «от него освобождения», частью как древние стоики и частью как монахи. И они завещали «идеи», и даже, в сущности, одну идею: «освободиться от мира действительности, такого пошлого и низменного, где все одни интенданты и чиновники, да грязные купчишки: и вместо этого погрузиться в мир повестей, романов, стихов, критики... и (прибавка после) экономики в той форме ее, которая состоит в отрицании всяких форм. И – точка и аминь».

Но «традиция Белинского» ничего не говорила о торговле. О «купеческих делах» она ничего не говорила.

Поэтому когда «идеалистам» случилось вместе быть «издателями журнала», то, естественно, они писали «горячо и честно» в духе Белинского: но «торговлю» устроили вне этой «традиции» и вообще «всякой традиции», которая у них и отсутствовала: и взяли образцы с Апраксина рынка.

– Где традиция? – спрашивает Чуковский.

– Вот! – ему отвечают. – Мы печатаем статью Венгерова о Белинском, Батюшкова о Л. Андрееве и еще «Письма Энгельса к Марксу».

– А подписка?

– Белинский об этом наказа нам не оставил. Мы остаемся «честными людьми» и «идеалистами» не в каком-то *новом* смысле, вам, Чуковскому, нравящемся, – и не в смысле космополитическом или универсальном, что все неясно и недостоверно: мы остаемся «честными писателями» в *каноне русской литературы*, который заключается в трех ожиданиях:

– Ненавидишь ли ты правительство?

– Уязвляешь ли ты чиновников?

– Занимаешься ли ты романами и повестями как самым священным делом на земле, читая их, взвешивая их, критикуя их, обещая их, помещая их как можно больше?

«Все это мы исполнили. Помещаем много и обещаем еще больше. Требованиями замучили Каменского и Санина. В новом году всему этому дадим новое направление... еще неожиданный изгиб мысли... который смутит критиков. Вот и все. Еще через год еще постараемся. Спешим и не утомляемся... И будем спешить, и бегу нашему не предвидится конца... Пока не наступит конец российской державе... Тьфу: т. е. *России, русскому народу*. И до конца истории русской все будут читать «нас», а мы будем писать «для русских». И будьте покойны, г. Чуковский, не вам нас остановить и не вам с нами справиться. Мы хоронили и не таких».

* * *

И еще два слова, и опять в оправдание Иорданского.

А ведь, и в самом деле, это – *добрая традиция*. Просто либерализм и либеральный дух. На чем же nibудь надо *согласиться*. Не вечно «перестраиваться». Что взъелся Чуковский на такие пустяки, как что Венгеров или Батюшков «не имеют вкуса»? Очень нужно! Вот выискался эстетик. В обществе, во всяком благоустроенном обществе, нужно *главенство, власть и авторитет*. Как трудно достигнуть этого... Но вот наконец оно достигнуто, есть:

– Батюшков.

– Венгеров.

Эти имена *уже стояли*, когда Чуковский пришел в литературу. Стояли еще тогда, когда он, может быть, только рождался... И он обязан был им поклониться. Просто – как существу, как видному, как значительному. «Несть власть, аще не от Бога»: на этом покоятся история и порядок истории. Но он спросил «таланта»: «талант» всегда бывает только у первых, у победителей: а «последующее» держится только положением. Вот этого-то нервного узла истории он и не понял. Он не понял, что есть и *везде* должны быть, *всегда* должны быть «сущие положения», просто как «занятые места»: как родовые или идейные, духовные «кресла», стулья и скамьи. Он все это потревожил своим вопросом о «таланте», которым вообще смещается все, все ввергается в анархию, дикость и первобытность. И, наконец, он просто как будто не русский: разве славянофилы уже не подметили эту склонность русских – давать первенство значения во всем *нравственной стихии* в человеке, а не «гордому уму», искать выше всего «сердца в человеке», а не каких-nибудь пустых западных качеств, вроде силы, энергии, героизма, блеска. Батюшков и не блестящ: но зато имеет честные убеждения; пусть Венгеров не остроумен: но зато же он хорошего образа мыслей. Разве они все не шептали вам на ухо, когда у вас мутилось сердце при взгляде на них:

– Шш... шш... Талант? – Пустяки! Гений? – Вздор! Энергия? – Седая мудрость народная говорит: «Укатают сивку крутые горки». Шш... шш... не поднимайте шума. Западная затея и ничего из нее не выйдет. Киреевский и Хомя-

ков учили: «Христианское прощение»... ну, там *убогостей* разных, что вот «не понимают стиля» или «не различают стихов»... Доброе соседство, милая общинность жизни, вот как у мужичков на деревне... с круговой порукою. Все будет кругло, и все будет тепло, и все будет хорошо; не надо только поднимать шума. Сила – в *единении* сил; мы же давно едины и через единство и общность всех и одолевали постоянно. И раньше не все были таланты у нас: но и *обесталанных среди нас* «наши» никогда не проговаривались, и через это сохранили «единое стадо». В «едином стаде» великая сила, и к этому вообще ведет всякий прогресс и вся история. К единству, силе и авторитету. Это уже завоевано. К чему вам талант? Что за каприз? Вы страдаете, что падает литература? Это эстетика-то? А черт с ней. Писали бы повести, а какие – все равно. «Капитанская дочка» или «Санин» – все равно. Была бы вообще литература как вместилище, как объем. Талант не нужен: нужно направление, «идея». Нужно у русских русское: вот это милое единство душ, которое ценнее Шекспира. А «милого единства душ» мы вполне достигли: и, напр., у нас за 80 лет никто не выругал «своего» и не похвалил «чужого». Что-то вроде «церкви», литературной церкви, притом вполне «канонической» – создалось на месте той старой и ненужной церкви, народной. И у нас – певчие, иеродиакон... и отдаленные архиереи, «надзирающие область». Михайловский – недавно умер, Белинский – вдали, «патриарх всему». Так все сложилось. Это – история, культура. В России это единственный духовный авторитет. Который мы охраняем бережно, осторожно, благоразумно, удаляясь «пьянства и блуда». И вы сами, конечно, видите в нас, что

Они немножечко дерут,
Зато уж в рот хмельного не берут.

«Пьянство – черт с ним. Задушим. Нетрезвого гения мы скрутим и вытолкаем. У нас любовь... и мир... и, кроме всех добродетелей, и некоторые благодатные обилия, вот и «фонд», и «касса взаимопомощи»... Так что вы можете и любить нас, и конечно, и мы вас, и кредитоваться. Сказано: «Где два и три соберутся», там и «пирог на столе».

Чуковский же ничему этому не внял и стал топтаться, как дикий человек на благоразумных пажитях. Это-то всеми и почувствовалось как антикультурная агитация.

ПОСМЕРТНЫЙ ТОМ «ЖИЗНИ И ТРУДОВ ПОГОДИНА» Н. П. БАРСУКОВА

I

Брат покойного Николая П. Барсукова, Александр Пл. Барсуков, автор монографии: «Род Шереметевых», издал к Пасхе этого года 22-ю книгу «Жизни и трудов Погодина» – с приложением подробного *Указателя ко всем двадцати двум книгам* громадного труда своего брата. Без «Указате-

ля» трудно пользоваться книгою для справок; между тем на «Жизнь и труды Погодина», как обширнейшее фактическое и биографическое изложение истории русской словесности за три четверти XIX века, невольно будут ссылаться все ученые, которые станут писать о том же предмете; вынуждены будут справляться о подробностях в ней все, кто только возьмет перо, чтобы что-нибудь написать о ком-нибудь из духовных вождей русского общества за этот век. «Указатель» был совершенно необходим. С появлением же его работа покойного «историографа русской словесности», так сказать, получает себе надмогильный правильный «крест», т. е. конец, завершение и указание «идушим на могилу». И как хорошо, и соответствует делу и духу почившего, что том этот появился «к Светлому празднику», «все православному», как и всегда было у Барсуковых...

«Указатель» занимает 385 страниц. По обширности его следовало бы разделить на указатель *личный* и указатель *предметный*, так как в него кроме указания имен авторов всевозможных книг входит и указание на все сколько-нибудь важные политические события во внутренней и внешней жизни России. Так, под словом «Комитеты» делаются ссылки на всевозможные комитеты, действовавшие в России за XIX век: Главный комитет по крестьянскому делу, губернские комитеты по тому же делу – московский, нижегородский, рязанский и пр. и пр.; комитет лондонский революционный; комитет негласный (наблюдавший, сверх цензуры, за книгами). Указатель очень подробен, в чем и заключается главное качество подобных работ; напр., ссылки на страницы, где упоминаются «*res gestae*»* гр. Серг. Сем. Уварова (бывший министр просвещения и вместе ученый-эллинист), занимают четыре столбца довольно мелкой печати. Есть ссылки и... на Тмутараканское княжество (по поводу похождения тмутараканского камня с древнею надписью), и на Грузию, равно на маленькие княжества и города Германии. Погодин, – живой человек, – всюду заглядывал, всюду ездил, со всяческими людьми знакомился, хлопотал о всех вещах «мира сего»: и его биографу невольно пришлось тащиться за ним всюду же...

Однако 22-й том состоит не из одного «Указателя»: литературное содержание его составляют *шесть глав* собственно рассказа о Погодине, о лицах, имевших к нему прямое или косвенное отношение, и о выдающихся событиях, ему современных. Все это – в рамках 1862 года. Центральным лицом здесь является цесаревич Николай Александрович, его путешествие за границу, образование, впечатления, чтение разных книг, с отметками о всем, что из читаемого на него производило впечатление; его неясная и тяжелая болезнь и, наконец, преждевременная и неожиданная кончина, так всех поразившая. Покойный Н. П. Барсуков воспользовался для этих глав материалом исключительно высокой цены. Преподавателем к наследнику-цесаревичу был приглашен графом С. Г. Строгановым, его воспитателем, наш известный ученый, Б. Н. Чичерин. Оказывается, под конец жизни он

* «подвиги» (лат.).

писал «Воспоминания», и часть их, относящуюся до этого времени, вдова покойного, Александра Алексеевна Чичерина, предоставила в распоряжение Н. Пл. Барсукова. Следуя своему методу и плану, он в этих шести главах делает обширные извлечения из этих рукописных «Воспоминаний», и каждому понятно, до какой степени все это интересно.

Здесь я мог бы положить перо в качестве библиографа (и библиофила), но читатель не посетует, может быть, если я перейду дальше и скажу несколько слов о покойном Барсукове, как человек, лично его немного знавший, а также и о замечательном его труде «Жизнь и труды Погодина». Дело в том, что с первого же моего знакомства с первым томом его «Thesaurus'a» русской литературы я почувствовал к автору приблизительно то же, что он испытывал к памяти Погодина, кн. П. А. Вяземского и других лиц, о коих говорит в предисловии к I тому... А как он говорит о них, – этого невозможно не цитировать уже ради языка, изумительного в великолепии, теплоте и точности определений:

«От дней моей юности три мужа, достопамятные в летописях Русской Истории, наполняли мою душу и вызывали в моем сердце неудержимое желание начертать их жизнеописания, в поучение и разум грядущим поколениям.

Митрополит московский Филарет – это более чем за полвека руководитель церковной жизни и мысли России и всего Православного Востока, величавому слову которого внимали и благочестивые цари, и вселенские патриархи, и государственные сановники, и бояре, и простолюдины.

Князь Петр Андреевич Вяземский – это носитель исторических и литературных преданий почти за целое столетие, переживший много эпох в мире политическом и в литературном. Много видел он колебаний в том и другом: политические и литературные светила перед ним восходили и заходили; но на все это смотрел он как мудрец, поучающийся в делах Божьего мира. Это поэт, дышащий глубиной чувства и блистающий красотою слова, тонкий мыслитель, прозорливый политик, освещавший события в их неотразимом значении для будущего и, по признанию Гоголя, обладавший всеми качествами, которые должен заключать в себе глубокий историк в значении высшем. Знатный боярин, проникнутый преданиями своего древнего рода и в то же время с братской любовью и христианским смирением относившийся к своим соотечественникам по литературе, не обращая внимания, к какому званию и состоянию принадлежал каждый из них, и к нуждающемуся брату дружелюбно простиравший руку помощи, – он умел привлекать к себе возвышенным умом, простодушием и, по меткому выражению другого поэта, *добрейшим взглядом под строгую бровью*. Одним словом, князь Петр Андреевич был средоточием всего возвышенного целой эпохи, и сочинения его, издаваемые графом Сергеем Димитриевичем Шереметевым, послужат, по счастливому выражению Плетнева, «в назидание тем, которые некогда полюбят размышление и истину».

Павел Михайлович Строев – это человек, принесший в жертву *вся красная мира сего* смиренной области Русской Археографии и ради ее проведший лучшие годы свои в монастырских и соборных хранилищах нашей Древней Письменности, в кладовых и подвалах, недоступных лучам солнца, куда, по его же словам, «груды древних книг и свитков снесены были как будто для того, чтобы грызущие животные, черви, ржа и тля могли истребить их удобнее и скорее», и таким образом посвятивший свои дарования и жизнь сохранению и обнаружению источников нашей Древней Письменности. *Но не жалейте о том*, – сказал, славный в историках, Леопольд Ранке, – *кто занимается этим, по-видимому, сухим трудом и через то лишает себя житейских наслаждений... Правда, эти бумаги мертвы, но в них тлеет остаток жизни. Смотрите пристальнее: в них возрождается жизнь столетий...*

Заветная мечта моя осуществилась только отчасти: мне удалось представить очерк *жизни и трудов П. М. Строева* в книге, вышедшей в свет в 1878 г.; митрополит же Филарет и князь Вяземский остались для меня неприступными идеалами.

Когда, будучи в 1890 г. учителем в Бельской прогимназии, я выписал эту книгу, только что тогда появившуюся, для ученической библиотеки и, едва раскрыв ее, наткнулся на приведенные слова предисловия, – то вдруг почувствовал, будто встали из гроба Шафиров, Посошков и Татищев, эти сотрудники Петра Великого и основоположники русского образования, встали митроп. Евгений, автор «Словаря русских писателей, – светских и духовного чина», и сам Погодин, и заговорили все передо мною «в духе и доблести русского слова», коего, увы, уже и тени не осталось в литературе текущей, в литературе журнальной и газетной... Теперь вот пошла «стилизация», т. е. восстановление словесного стиля давно исчезнувших эпох. Это – нравится... Но это явно искусственно и, как все искусственное, нездорово и притворно. Читатель моментально оценит весь мой восторг, когда я ему скажу, что за 20 лет до теперешней «стилизации» я встретил в лице Барсукова «стилизацию» же, но совершенно здоровую, нормальную, ни в тени не притворную и состоящую просто в том, что, оказывается, не вся старая Русь умерла, а живут среди нее и теперь люди как бы петровского времени, екатерининского или «дней Александровых благословенного начала»... И как «стилизуются», совершенно невольно, не только почерки и слог, но *и люди*: то под впечатлением том за томом потом прочитываемой «Жизни и трудов Погодина» я наконец «стилизовался» сам под цвет Барсукова и, как он описывает неоднократно о Погодине, однажды издали с четверть часа простоял на Николаевском вокзале, не отрывая глаз от «достопамятного творца *Жизни и трудов Погодина*», который в обществе двух господ что-то ел и пил, должно быть бифштекс и пиво. Видеть его, осязать его и, разумеется, в особенности «поговорить бы» с ним для меня сделалось мечтою, по приезде в Петербург. На вокзале, где он был мне показан, – я видел его издали, и хотя он мне нравился явною «русскою складкою», – но подробностей я рассмотреть не мог.

В ближайшие же 2–3 года жизни в Петербурге я, однако, с ним познакомился... Раз – на его чтении новых глав книги о Погодине и другой раз случайно утром.

Едва я переступил порог его квартиры, Морская, д. 21, как я моментально забыл и «гостей» в ней, и не слушал самое чтение «новой главы», а все разглядывал своего любимца и его обстановку... живой – необыкновенно; небольшого роста; борода клинышком, или вроде этого; рус с проседью, тип чего-то московского или подмосковного, например, я мог бы думать, что он из Ярославля, Нижнего или Калуги. Петербургского «чиновного» или «литературного» в нем ничего не было, он весь был «от земли» и полз по земле, вечно к ней принохиваясь. К лицам, с которыми он разговаривал, он несколько «приноровлялся», но тем умным, вместе и «сочувствующим» и «насмешливым» приноровлением, которое, я думаю, еще от Калиты водилось на Москве и оттуда с тех пор расплодилось на всю Русь и есть свойство только русских. «Я умнее тебя, но черт с тобой – думай, что ты умнее меня». Но нужно взять все это мягче и деликатнее, чем я говорю. Барсуков мне понравился: я именно ожидал, что он такой. Ожидал не «столпообразного», подобного «столпообразным руинам Грузии», о которых упоминает Лермонтов, – а живого, деятельного, умного и уклончивого русского человека, страшно упорного в труде и который горит «про себя» сжигающим энтузиазмом. Такого и нашел.

Вся обстановка археографа вытекала из его сущности. В комнатах, и не тесных и не обширных, не было ничего, что не относилось бы до литературы и памяти о ней. Не только кабинет, гостиная и зал, но и какие-то комнатки «в стороне», как равно и «проходные» комнатки, наконец, – коридорчики, были все увешаны в каком-либо отношении замечательными портретами разных ученых, «сюда относившихся», литераторов, журналистов, профессоров и вообще достопамятных деятелей духовной жизни России в два последние века. Никогда я не видел квартиры с таким умным светом в себе. Вся она была точно пропитана жизнью и трудом Н.П.Барсукова: а жизнь эта была лампадою с чистым маслом до краев, горевшею неугасимо перед «образами» русской истории и словесности... Все было в величайшем порядке: ни пыли, ни дезорганизации... Точно здесь жили тихие монахини, но давшие обет нового послушания: не выпускать пера из рук и писать, писать... Все – славя, все – сохраняя от забвения.

«Теперь пойдемте в патриаршую», – сказал он гостям, когда чтение «новых глав» было окончено и все достаточно поговорили.

Гости прошли в столовую.

– Я ее называю «*патриаршей*», потому что вот видите...

И он обвел рукою, указывая на стены.

Довольно большая и высокая столовая от потолка до полу была завешана портретами значительной величины – духовных лиц, почти исключительно монашеского чина. Сейчас я не могу вспомнить, были ли это «все русские духовные писатели», или это были «все русские иерархи»; может

быть, даже «все русские архиереи»... Николай Платонович только объяснил, что «тут все собраны, до одного», что в коллекции или галерее нет пропусков, ни недостатка. Однообразие темных колеров, торжественные позы фигур – как всегда у духовных; множество бледных, худых лиц и, конечно, очень много выразительности и мысли – все обдавало вас чем-то новым и поразительным. И поднимало в какой-то «торжественности», но и вместе несколько угнетало вас.

Ни пошутить, ни очень громко рассмеяться, ни – уж особенно – рассказать какой-нибудь «анекдотец» с солью здесь не могло и прийти на ум.

Но все *было и могло* быть, конечно, весело. Все оживленно говорили и болтали по поводу только что выслушанного и разных дел житейских.

* * *

По какой-то житейской или практической надобности мне непременно нужно было спешно увидеть Ник. Плат. Барсукова; и, чтобы не упустить застать его дома, я пришел к нему в начале 11-го часа утра. У него, однако, был уже гость – старый-старый член совета по делам печати, лет шесть назад умерший и коего я тоже несколько знал. Как и Барсуков, он был тоже русского и тоже исторического настроения, современник и сотрудник по учебному делу еще Муравьева-Виленского. Оба вышли ко мне навстречу. Я так и ахнул...

Около грузной, квадратной фигуры члена совета быстро двигалась почти тщедушная фигура моего любимица, вся заливаясь улыбкой, радостью и смехом. Никогда я его не видал таким оживленным и так «в таланте». На нем была ермолка, бесспорно татарского происхождения, и бухарский халат пунцового-зеленого-голубого цветов, из легчайшей шелковой материи.

– Не могу здороваться. Отойдите. Хочу видеть фигуру.

Он отошел и также весь рассыпался в смехе.

– Отчего же вы не сниметесь в этом халате и не приложите портрета к «Жизни и трудам Погодина». Без него издание не полно и даже не понятно. «Жизнь и труды Погодина» мог написать только академик в халате, вышитом красавицами из «Тысячи и одной ночи»...

– Я не академик, – продолжал он смеяться.

– Как, неужели вы не член Академии наук по отделу словесности?

Я был изумлен, смущен и уже заранее негодовал: пятнадцать томов «Истории русской литературы за XIX век», – и неужели энтузиаст, их написавший, не введен в состав членов нашей тощей Академии, в сонм этих Сухомлиновых, Пекарских и др. библиографов и копунов.

– Нет... Даже и не просился и не надеялся: члены Академии наук ставят ни во что мой труд, говоря, что он «ненаучен» и «не по методу» исполнен. Но я стар и уже теперь никак не могу научиться ни их «методу», ни «научности». Да и некогда: для окончания «Жизни Погодина» нужно по крайней мере еще 15 лет без передышки проработать.

Я вспомнил диплом на звание «почетного члена Академии наук», подписанный академиками государственному контролеру Третью Ивановичу

Филиппову: и никак не мог понять, какая есть или может быть разница в «методе», по коему работали оба, Барсуков и Филиппов? Но почему же один не только «академик», но даже «почетный», – а другой... возбуждает лишь улыбки тех же академиков...

Я был неопытен; в Петербурге – новичок; и не понимал, что в Академии тянется та же «служба», и даже с прилагательными вроде «подслуживаться», как и в других петербургских «ведомствах», «учреждениях» и «департаментах». «Нас Гельмгольцами не удивишь, Либих нам не к лицу; а вот если его высокопревосходительству NN захочется сразу сидеть на двух креслах, министерском и академическом, – то мы можем подвинуть ему второе».

Мертвая Минерва все «увенчает»...

II

Труд Барсукова, конечно, не «ученый» в смысле тех мертвых украшений, какие на себе несет наша мертвая наука, сплошь переводная, подражательная и копирующая. Это так называемый «criticus apparatus», «критический аппарат» или еще «ученый аппарат», коим в виде многоязычных «примечаний» снабжаются наши магистерские и докторские диссертации. Как-то проходил раз я по аудитории Московского университета. Ожидалась лекция профессора-юриста. Аудитория была почти пуста. Кое-где были группы разговаривающих студентов, да на партах лежали изредка книги, принесенные с собою слушателями, которые вышли покурить и «заняли места» книгою. Книги – конечно, только что взятые из университетской библиотеки: иначе как же они попали в аудиторию. И вот я вижу: лежит толстая книга, величинной с Библию или словарь Макарова, и на ней тоненькая. Я взял сверху лежавшую тоненькую и по интересному сюжету долго ее всю рассматривал. Это не был «Курс лекций» или общее изложение науки, а специальное сочинение на специальную интересную тему, – положим, «Налоги во Франции во вторую половину XVIII века» (т. е. перед революцией). Книга была известного и хорошего русского профессора, достаточно хорошего. Конечно, она сопровождалась отличным «ученым аппаратом», в виде всяких примечаний, ссылок на литературу предмета, на «предшественников» и проч., и проч. Окончив просмотр, я взял в руки следующую, лежавшую под нею книгу, – величиной с Библию. Едва я поднял крышку переплета, как увидел точь-в-точь то же специальное заглавие, – (положим) «Французские налоги во вторую половину XVIII века». Сверил года, и русская книга была лет на шесть моложе иностранной. Не составляя перевода, ни (конечно!) заимствования, она была как *труд*, как *работа*, как *задача* и *тема* повторением чьей-то немецкой работы; она была *самостоятельна* как «везение воза»: но куда его провезти и *какою дорогою провезти* – это все уже было повторением. «Какой-то немец раньше провез»... Провез «то самое» и «тою же дорогою». Русский ученый «ехал вторым возом» за ним... Вот вся русская наука и едет таким «вторым возом», – за немецкой, французской и английскою литерату-

рою, заключая оригинального в себе только русский язык и фамилию на «ов», «ев» и «ский» автора. Исключения из этого, конечно, встречаются, — но как они редки...

Книга же Барсукова не есть этот несчастный «научный труд» едущего десятым воза: она есть вполне русское произведение по духу, по замыслу, по вдохновению. Особенно — по вдохновению. Ведь что было замечательного в двух книгах, русской и немецкой, лежавших друг на друге: что у немца шевельнулось *вдохновение*, а у русского вдохновения *не было*; не было «веры, надежды и любви»... Суть книги и ученого, а наконец и суть всей науки, заключается в *линии вдохновения, в вековой научной* — с перерывами — *вдохновенности*, по коему один, и другой, и, наконец, десятый ум горячо и страстно поднимают вопрос за вопросом, обсуждают одну сторону за другою — в данном предмете; обсуждают, например, в революции XVIII века и «патологию страсти», и «финансы», и «нравы улицы» и «нравы двора», до подробностей, до мелочей, до анекдота и приключения включительно: чтобы потом кто-нибудь один и последний все связал в полную и поразительную и, наконец, вполне понятную «картину целого». Труд Барсукова, конечно, не заключает в себе никаких «теорий словесности», ни рассуждений — всегда проблематических — о том, «отчего помер Гоголь» или «что значила в культуре русского общества — его «Переписка с друзьями» и проч. и проч. Он не щеголяет ни философией, ни «блестящими страницами». Барсуков был монах, презревший «суегу мира», в том числе и научное тщеславие. Он допустил в книгу только добродетельное. Это «добродетельное» заключалось в 22-летнем жаре, оригинальном русском жаре, с которым он, «былое воскрешая» (слова Хомякова), восстановил в одной книге, около одной личности, полную картину умственной, духовной, сердечной и частью бытовой жизни русского образованного общества за $\frac{3}{4}$ девятнадцатого века, т. е. за время, когда русская литература проходила почти весь свой «золотой период»... Эта книга прекрасна и многозначительна уже единством духа, единством освещения; прекрасно, что в одной постройке все связалось...

Ее не перестанут читать не только ученые; лучше и больше — ее не перестанет читать общество. Барсуков сделал гораздо больше, чем «написал ученую книгу», чего от него бессмысленно ожидала мертвая Академия наук. Он написал *живую русскую книгу*, вполне новую и оригинальную, вот именно по духу, вот именно по освещению. Он «продолжил» и «сделал вклад» в словесность русскую, как Плутарх «сделал вклад» в историографию древнюю своими безыскусственными и тоже «ненаучными» жизнеописаниями. Я не без намерения привел большую выдержку из его предисловия. Духом этого предисловия проникнута вся книга, все 22 тома. Нужно вполне удивляться силе, самостоятельности и крепости Барсукова, что, окруженный со всех сторон «взбаламученным морем» нигилизма, этого отрицания, всего коснувшегося, этой насмешки, всех пересмеявшей, — он ни на минуту не ослабил «Аполлоновых струн» и выдержал до конца и последнего своего издыхания тон торжественного, великолепного, серьезного изложения ве-

щей действительно важных в русской истории, действительно прекрасных в самих себе... Нельзя забыть, что предметом его повествования служат действительно лучшие люди и самые высокие умы, какие были у нас и украсили нашу историю. Поэтому торжественный его тон, немного героический или «ироический» (по начертанию начала XIX века), вполне соответствует предмету. В то же время книга написана языком совершенно новым, нашим теперешним, и читается легко, приятно, безостановочно, без утомления ума читателя, без противоречия его теперешнему словесному вкусу. Собственно, археологична в Барсукове *душа* его, его образ мыслей, его способ чувствования всех предметов, как бы «от Рюрика пошедший» и застывший у подножия бронзового памятника Карамзину в Симбирске, *рука* же его – т. е. вся фактура слов, слога, стиля – вполне наши, теперешние, привычные и обыкновенные.

И если бы наше м-во просвещения не было тоже похоже на «тоненькую книжку, лежащую на толстой немецкой, того же заглавия», оно давно двинуло бы книгу Барсукова в читальни, в библиотеки, в «награду за успехи и прилежание» ученикам и ученицам школ всех разрядов и направления. Нет книги, более способной предупреждать в юных умах прививку всяческого отрицания, прививку насмешки, прививку издевательства, увы, столь распространенного у нас в литературе и обществе. Книга Барсукова в высшей степени *культурна*, т. е. образовательна и воспитательна, по обилию любящего чувства, редкого, наивного и чистого, в ней разлитого. Автор стал выше мелочных свар, мелочных дрызг времени и целого века; он презрел смотреть на дурное и *мелочное* в духовенстве, в иерархическом строе церкви; он не заглядывает и не ищет заглянуть в щели и ямы администрации, не вникает нервно в мотивы ссоры славянофилов и западников. Великолепно! Тоги историка он не запачкал в грязи анекдота и сплетни. Мимо *мелочного* он переступил крупным шагом крупного историка. Панорама русской истории пронеслась перед его духовным взором только в громаде своей, и он в этой громаде равно и бесстрастно рисует друзей и врагов, напр. отдавая все должное, безусловно все, «западникам», хотя явно сам более приближен к теням Карамзина, Жуковского, Киреевских, Аксаковых, Хомякова... Но Герцен, Грановский, Белинский не несут от него ни одного слова хотя бы косвенного порицания, как «славные сыны Русской Земли». Это – великая черта книги. Как бы ни была даже *гениальна* насмешка, все же она принадлежит к отвратительному роду человеческого создания. Если даже она убивает и *микроба*, то все-таки, однако, *убивает*. Никогда она не *творит жизни*. Великолепный и *творческий* характер книги Барсукова заключается в том, что она непрерывно одушевляет читателя, и одушевляет *к лучшему*... Всегда и везде зовет *к созиданию* и нигде к разрушению.

По этим качествам она должна бы давно стать и когда-нибудь непременно станет любимейшею читаемою книгою в России. Из нее *как с живыми лицами* познакомят русские с безусловно *всеми* творцами русской умственной истории, – поэтами, беллетристами, критиками, учеными, фи-

лософами, историками, публицистами, государственными деятелями. По-знакомятся с основаниями государственных направлений, с мотивами этих направлений. Познакомятся, в общем, – с необозримым *конкретным материалом русской истории*, без знания коего ничего нельзя начать ни думать, ни делать на Руси... Без чего можно строить «воздушные замки», но по *реальной русской земле* нельзя шагу ступить вперед...

ИЗ ЛИТЕРАТУРНЫХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ

В Религиозно-философском обществе

В петербургском религиозно-философском собрании С. Л. Франк прочел очень интересный доклад о книге Джемса: о религиозном возрождении нашего времени. Справедливо заметил С. А. Аскольдов, начиная свое возражение докладчику, что сам Джемс, присутствуя он в этом зале, – не мог бы не поблагодарить докладчика за такое изящное, разумное и убедительное изложение своей книги, – изложение, наконец, вдохновенное. Это не была диссертация или отрывок из диссертации; это было свое слово, – творимое на канве прочитанной книги.

Религия... связь человека с небом... Отчего эта связь так упорна, неотвязчива? Уйдя от человека, заглохнув, почти умерши, она возрождается опять потом с такою силой, как бы только что вот-вот родилась. За религию умирают: за нее умерло гораздо больше, чем за науку. Да и достаточно открыть глаза, чтобы увидеть очевидность, что *зеленое* дерево веры, такое старое и все-таки *зеленое*, – куда могущественнее, ветвистее, многообъемлюще, нежели веточки и разветвления науки. Религия – как океан: она приемлет в себя все реки жизни, все ручьи ее. Это что-то народное, что-то громадное, что-то от века, *от изводов* человечества существующее. И посмотрите, она приемлет в себя мудреца и «дурачка», слабоумного, – даже не разня особенно сильно своего взгляда на них. Какое-то чудо, какое-то всемогущество...

Что же это такое?

И еще обратите внимание: религия – это и *народное*, и глубочайше – *личное*. Она так же *удовлетворяет* личность, как и *просвещает* народ. Даже более: есть *личные религии*, просто исповедуемые только *одним человеком*, вот «самим собой»... У меня, когда я слушал доклад, даже мелькнула мысль: «Если религий не столько же, сколько людей, то я не понимаю, что значит это слово». Положим, это чересчур индивидуально и субъективно, но и для такой мысли есть основания: ведь, в сущности, лишь *кажется*, что мы все (или многие из нас) *одной веры*, а на самом деле каждый верит «с оттенком». Без «оттенка» решительно нет веры. Как только без «своего оттенка», так начинается шаблон, общие поклоны, общие взывания, линейные, фронтовые, над которыми острил Вольтер. Попробовал бы он над «оттенками» состричь: осекся бы! Да и просто бы *сам* не захотел, по благородному существу предмета.

Что же такое религия? Я волновался, слушая доклад. Да что такое замирающий «позитивизм»? Вот, поистине, другой полюс религии. И из определения «позитивизма» лучше всего постигается сущность религии. Позитивизм мне представляется в образе тупого мальчика, который стоит перед забором и говорит: «Это – забор. Вот забор... деревянный... серый... На нем разные объявления, и я буду читать их все; буду их изучать... Объявления связаны с забором, потому что они всегда на заборе. Сущность забора и сущность объявлений связана: потому что мой глаз всегда их видит вместе... Забор – это что такое? Дерево. А объявления? Они на тряпичной бумаге, которая из льна, а лен – растение. Вот уж и *открытие!* Единство объявлений и забора коренится в том, что субстратом для обоих служит одна и та же *растительная масса*. Это я вижу. Это я щупаю. Это слышит мой нос, если я понюхаю. Если я растворю это в кислоте. Если я сожгу на огне. В пепле, в золе – единство забора и объявлений доказывается явно через химический анализ...» Но позитивизм не всегда идет так далеко: в человеческой массе он останавливается просто на счастливом убеждении: «*Nihil est in intellectu, quod non fuerit in sensu*»*, «идея забора возникает от стояния перед забором», а «идея колокольни возникает тогда, когда остановился перед колокольнею». И, не стараясь быть критичным, можно сказать, что «позитивизм» сконцентрировал в себе все, что от века лежало в человеке началом косным, тупым, смертным, бескрылым, началом вялым и безжизненным. Иногда капризно хочется добавить, что «позитивизм» и «тупость» суть разные названия одного и того же. В обществе всегда именовали тупыми людей без догадок, без воображения, без фантазии, без предчувствий, без тонкой и дальновидной сообразительности; но в 50-х годах минувшего века тупость надела университетский значок, купила цилиндр, стала требовать себе хорошего оклада жалованья и казенной квартиры, и тогда стали говорить: «Нет, – это не тупость, – это его превосходительство позитивизм».

* * *

А религия? Вся – порыв, воображение, мечта, полет; огонь и воздух. Ничего тяжелого, тяжеловесного. Никаких «землистых частиц»... То тяжеловесное, что ее начинает окружать много времени спустя после возникновения, – учреждения, законы, формы, «мундиры», – есть смертный пепел на ее существовании, сбрасываемый обыкновенно при новом взрыве. Что же она по существу своему? Говорят: «Касание *мирам иным*, чувство *иных миров*». Но откуда оно и *есть ли* объективно «иной мир», – или это только игра нервов и фантазии, притом субъектов «не совсем нормальных» и умов «явно расстроенных», как уверяют позитивисты?

Пожалуй... может быть... но ведь «ненормален» и всякий истинный поэт, и уж особенно «ненормально» вдохновение его. Что, очевидно, оттого, что «не все люди суть поэты» и вдохновение «не так ежедневно и всем прису-

* «Нет ничего в уме, чего бы не было в ощущениях» (лат.).

ще», как пищеварение. Между тем, таковы любимые доводы против религии позитивистов: *«Не все люди религиозны»* и *«не во всякое время цветет религия»*... «Бог взял семена из миров иных и насадил на земле сад свой... и соприкосновением с мирами иными бывает жив человек»: в этой знаменитой формуле Достоевского, разъясняющей происхождение религии на земле лучше, чем все философии, нам кажется, есть маленькое отступление от правильной филологии, и вот если его устранить, то и станет вполне все ясно: «Бог взял семена из миров иных и насадил на земле сад свой: и вот это-то семя из иного мира, откуда вырос человек, и не дает душе забыть о горнем мире». Тогда является полное торжество формулы Достоевского с известным стихотворением Лермонтова («Ангел») и с идеями Платона, страстно сказанными в «Федре», – о ниспадении душ на землю, о их сломанных крыльях, об отрастании у них крыльев при созерцании на земле прекрасного, прекрасных форм, прекрасных тел и проч. Люди и тогда нам представляются *полнорослыми и неполнорослыми*: «позитивисты» – неполнорослы, те, у кого душа не выросла; но когда душа вырастает в полный рост, то и «горизонт религии» открывается, – сам собою и без усилий. Все – видно, все – очевидно. Это уже не «забор» позитивиста, но «дали», которые так же *есть*, как и «забор». Зрение – расширено, одушевление – поднято; слух слышит и менее осязаемое, чем слышит обыкновенный слух. То же «существование», как и у позитивиста; но только полнее, счастливее, выше, прозрачнее, воздушнее. Отношение между ними – как между птицею и амфибией. Но *чем же, чем верующий верит, откуда течет в нем религия?*

Каждая косточка «поет Богу», каждая кровинка, мускул, нерв, все... Душа ли из тела, тело ли из души? Неразрешимо, но они *связаны*. И вне *узлы* этой связанности, изолированными – мы их не знаем. «Non est corpus nisi spirituale», «только *одушевленными* мы знаем тела», как и душу мы знаем только «в телах». Тело, организм – никак не менее мистично, чем душа. Лейбниц говорил о «смутных», «темных» представлениях, какие имеет душа наряду с «ясными»; Джемс говорит о сфере «темного сознания», которая окружает собою сознание ясное. Инстинкты (человека и животных), суеверия, предрассудки, предчувствия (из которых некоторые бывают разительными) – вот наудачу несколько указаний из сферы этого «темного» сознания. Нужно заметить, что самое это «темное сознание» имеет ярусы, расслоения; все становится в нем «темнее», нерасчлененнее, чем мы спускаемся в нем ниже, глубже. И с тем вместе – все делается увереннее, тверже. «Убеждения» меняются, но вот «суеверия» – почти никогда. Вера в «дурной глаз» (благословенно разделяемая мною) непоколебима при всякой учености: и много «систем учености» пройдет через голову мыслителя, а «дурной глаз» все мерцает через все рушившиеся наслоения. Однако что такое это «темное сознание». *Ближайшая к нашей физиологичности психика*, уже прямо касающаяся *нервов, крови*, «косточек», – как бы их испарение, как бы их запах, «дух». Простонародное слово «дух», коим именуется «запах», совпадает с именем самой темы, самого предмета психологии, и не напрасно. «Дух» простонаро-

дья и есть в самом деле основной, древнейший, фундаментальный «дух» науки психологии; «первая душа», *proté nux* сложного состава человека. *Всеобщность, распространенность, универсальность* религии, ее *прочность* и вечная *возрождаемость*, ее полная *неуничтожимость* проистекает из того, что она коренится в этом «темном сознании», и в сущности – в *физиологии человека*, в *живом* способе происхождения его; как и поэзия и гений, с которыми ведь «рождаются», но которым «научиться» невозможно.

ПОГРАНИЧНЫЕ ЗАПАХИ

Второй раз переезжаю через коротенький мостик, переброшенный через широкую канаву, вырытую между Deutschland'ом и Россиею, и то же впечатление...

Приложитесь лицом к отверстию большого мешка с заношенным бельем, которое отдается в стирку, и вдохните всей грудью воздух: это Вержболово... Я все ходил по его сложным коридорам, каким-то ненужным, пустым комнаткам и, наконец, по большому залу, где в семь часов утра пассажиры в последний раз пьют «русский кофе». Этот «носильный запах» немытого белья, какой-то потный, какой-то удушливый, какой-то неприятный, все время преследовал меня...

Лица тусклые, серые, недовольные... Перед поездом стоят огромные, красивые жандармы. Через поезд проходит, отбирая паспорта, жандармский офицер в клеенчатой накидке, – быстро и энергично совершая окрики и жесты...

– Ваш паспорт?..

Это он обратился к пассажиру, ночью влезшему в наше купе и сейчас же улегшемуся на верхнюю лавочку. Теперь от этого пассажира, из-за шерстяного одеяла, виднелась только спина.

– Эй, вы... – повторил офицер.

Не оборачивая спины, пассажир протянул руку с паспортной книжкой. Возвращается. Пассажир все так же спит.

– Возьмите ваш паспорт, – говорил желчно офицер.

Тот не шевелится.

– Вам пора вставать, – говорит он досадливо, видя перед собою вместо человеческого лица опять ту же спину.

Из-за спины этого господина слышалась скороговоркой громкая брань, в которой можно было разобрать только слова: «Это черт знает что такое. Легче готтентотскую границу переехать, чем русскую...»

Офицер прошел дальше. Пассажир не шевелился... Между тем ведь «сейчас выходить из поезда»... И все пассажиры, даже дети, стоят в пальто и шапках, в шляпах, у дверей, у окон, в проходах, встречая Германию и прощаясь с Россией.

Короткий свисток. Кондуктора встали на «подножки», и поезд тронулся. Переходим из России в Германию.

По сторонам мостика два белые столба, наш «казенный» и тамошний «государственный». «Наш», как все верстовые, имеет черную, свившейся змейкой, кайму на себе. Но вот мост пройден: и «их» столб, короткий, белый, квадратный, – являет совсем другой вид.

Может ли быть «дух» у столба? У казенного, пограничного столба? Вообразите, – есть! Немецкий столб, именно – короткий и белый, без закругленностей и выгибов, – являет прямой дух, вместе с тем хорошо промытый и без запаха.

– Staatsrechts*...

Наш...

Я обернулся назад, к убегающей родине...

«Лукавая и грязная страна»... «без границ, без определений»... «без концов и начал»...

Поезд стал. На другой стороне подан германский поезд. Встречают пассажиров уже немецкие «Träger»'ы**. Совсем другие лица, чем «наши». Совсем другая компоновка мяса, фигур, другая живопись движений. И на станциях... совсем другие надписи на вагонах.

Ругавшийся пассажир наконец слез с постели-лавочки. Это был рыжий еще молодой еврей, и такой худой, точно волк, которому несколько суток ничего не попадало на зуб.

* * *

Таможенный досмотр...

Раскрывают чемоданы, сундуки. «Träger»'ы очень милые. Но перед высокой конторкой стоит и что-то записывает со строгим, взыскательным видом человек в форме, лет 40–45, огромного роста и красивый, с усами, как у императора Вильгельма. Совершенно такие же! И оклад лица, молодцеватый и без выражения, напоминает известное всем нам лицо, воинственное и без маски. Как это ухитряются немецкие супруги рожать мальчиков, в огромной пропорции, все «на одно личико», – я не знаю. Но вспомнил из Грибоедова:

А оттого, что патриотки.

Немцы, очевидно, не ревнуют своих жен к этому «мысленному искушению», которое, наверное, есть...

Мы перешли на другой поезд.

«E y d t k u h n e n».

Как и в первый раз, лет шесть назад, меня обрадовали и удивили эти совершенно не встречающиеся на русских железных дорогах широкие, будто двойные, окна... Точно отодвинута часть стенки вагона, и воздух, полевой-лесной, врывается широкою струей в вагон.

Все чисто, легко дышать. Как легко вдруг стало дышать!

* государственное право (нем.).

** носильщики (нем.).

ДНЕВНИК ТУРИСТА

Вот и старость... и болезни... и может быть...
Может быть, – подлечимся и еще проживем.

I

В столовой «Carlton-Hôtel», в Наугейме, на небольшом отдельном столике, стоит торжественно красивый томпаковый самовар... «Вот прелестно... Можно напиться чаю», – подумал я вслух.

- Нет, – ответила русская старожилка отеля. – Его никогда не ставят.
- Почему?
- Не умеют.
- Я их научу.

Действительно, я люблю ставить самовары: удовольствие для меня, сходное с ездой на велосипедах. Сперва трудно и неприятно (пока руками катят велосипед, – до вскакивания), зато потом продолжительное удовольствие.

Самовар должен не «кипеть», а вскипеть, т. е. фыркать паром...

И тогда длинная беседа, милые разговоры... воспоминания, признания – все льется «около самовара» так легко и красиво, как этого не может выйти за обедом, где все утоляют голод, т. е. озабочены и работают ртом, сознаюсь, довольно некрасиво.

– Я им поставлю самовар, – сказал я, готовый «споспешествовать» русской культуре.

– Невозможно.

– Отчего?

– У них нет угольев... в городе, в стране, кроме каменного угля, которым топят паровозы, нет обыкновенных угольев из печи.

– Да, в самом деле, тогда невозможно. Самовар есть, вода есть, чай есть, сахар есть, но невозможно «поставить самовар».

Теперь я понял, отчего не «распространяется самовар» на Западе, где уже давно его знают и, конечно, не прочь бы перенять, как все хорошее и удобное.

– «Нет углей!»

Собственный их чай омерзителен. Это что-то теплое и недоваренное. Именно не «вскипел самовар»... Прелесть чая – не столько вкусовая, сколько художественная.

Бедные русские покупают здесь кастрюльки, жалким образом кипятят в них воду и пьют «кое-что», а не чай.

И сахар у них отвратительный. Вообразите, желтоватого цвета, – и рассыпчатый, как склеенный песок. Нашего белого, крепкого, кристального – и в помине нет.

II

Уныло тянутся больные... Какой грустный вид... Многих везут на двухколесках. Молодых очень мало. Преобладающий возраст от 50 и до 60–70 лет; немного – среднего возраста; совсем немного – молодых, изредка, однако, попадаются подростки – мальчики и девочки. Красивые, улыбающиеся, – они там «везутся» в двухколесках наемными служителями и служительницами.

– Это не безногие. Но во время лечения тяжелым больным запрещается всякое движение, даже ходьба. И они «гуляют» лежа...

Так пояснили мне.

Какие есть странные и... благородные болезни. Большинство лечащихся в Наугейме страдают так называемым «утомленным сердцем», «усталым сердцем». Сердце не имеет никакого порока, у многих не перенесло даже никакой болезни и вполне нормально и здорово по своей структуре и анатомии. Но в жизненной заботе, в жизненной тревоге, наконец, в домашних «хлопотах», «беспокойстве», – или на тяжелой, хлопотливой и ответственной службе – оно переутомилось просто от того, что долгие годы было усиленно и тревожно.

И я смотрю с немножко богомольным чувством на всех этих старушек и старичков. Полные, спокойные. Много очень благородных лиц, по очерку, по окладу. Все «усталые сердца», «усталые от жизни».

И, встречая взглядом их на тротуарах, на аллеях, я мысленно говорю: Не бойтесь! Отрастут крылья! И опять полетите в возможную заботу и труд.

III

Не понимаю, отчего немцы не едят нормальных кушаньев нормальным образом.

Напр., картофель: ясно, что «молодой картофель» надо есть с свежим сливочным маслом... разрезая горячую, очень горячую картошку и покрывая каждый кружок ломтиком твердого холодного масла. Так вкусно, что ничего лучше не придумаешь.

Но немцы подают... тоже молодой и рассыпчатый картофель, чуть тепловатый и вымазанный в чем-то коричневом.

Яйцо: что может быть прелестнее яйца «в мешочке», яйца всмятку, – особенно если выпустить 2–3 яйца на кусочки разломанного черного хлеба, и все это посолишь и перемешаешь... получается объединение.

Наконец, – яичница с кусочками ветчины и ломтиками прожаренного в масле хлеба.

Сам Бог так устроил...

Но немцы все переиначили: они на большом блюде подают не то яичницу, не то просто выпущенные яйца, с чем-то зеленым и мокрым...

Мясо: что яснее рубленых котлет с сладким зеленым горошком или с картофельным пюре. Не догадаются... Котлет совсем нет. Не имеют по-

нятия «рубить мясо». И подают все какие-то кусочки, непременно замазанные.

У них все замазано.

«Суп» ихний – это тарелочка, в которой чего-то намазано на доньшке или разлито 5–6 ложечек. Цыпят нет *жаренных*, а какие-то моченые.

IV

Вечер... Большая толпа гуляющих. Мы еще только идем «на музыку»... Передо мною в двух шагах идет старушка, маленькая, тонкая и прямая. Видя, что она идет уж очень изящно, я стал вглядываться в подробности: волосы не белые, но всею массою серые, т. е. на два седых волоса один темный. Около тонкой шеи ажурный воротничок, – «мое почтение». Кофточка, черная, шелковая, вся вышита. На голове сделана прическа, с ихнею «подкладкою» что ли. Вся мала, вся стара: а идет молодо и прямо великолепно.

Я шепнул своим:

– Обратите внимание: ей не меньше 65 лет, а как одета!

Старожилка наугеймская ответила:

– Еще в Германии так и этак, но во Франции и Англии нет старух.

Я изумился. Она продолжала:

– Вы нигде не видите старух. Старые женщины одеваются совершенно так же тщательно, с таким же изяществом, как молодые...

Передо мною шедшая старушка была «совершенно молодая». Вместе с тем она была безупречно скромна, в движении, походке. Ее одежда, очевидно, вытекала не из желания или надежды нравиться (65 лет), но... я думаю из нежелания чей-нибудь взгляд оскорбить зрелищем старости *как усталости, как небрежности, как неряшества.*

Это не гениально, но красиво.

V

Как же все это произошло?.. Иду мимо огромного пруда с завитами, с заливами, среди огромного парка.

Глаз любовался на широкую гладь вод.

Сколько бы жаркое солнце взяло дани с этой глади вод, в виде паров, которые потом свернутся в дождь. Конечно, *этот* пруд ничтожен в смысле обещания дождя. Но его масса охлаждает воздух кругом. И вспомнил я знойные поля в безлесном Елецком уезде... Три недели, месяц ни дождя, ни росы. Даже ночью воздух дышит жаром. В комнате развешивают мокрые простыни: нет возможности заснуть без этого. В деревне измороженный скот и обессиленные крестьяне. Какой-то колодезишко в конце села.

Все задыхается.

И связал это с окружающими господами на «Дне» Горького. Вот незабываемый «барон», идущий с корзиной чего-то краденого на базар; выдаю-

щийся Лука; лежащий на нарах «алкоголик»; и еще несколько господ, обрывающих добросовестного огромного татарина. Не знают, «куда преклонить головушку», к чему «приложить рученьки».

Ну, господа: если «рабочая республика», то «все за работу». Сразу всего не осуществить, а по частям можно и давно бы пора начать. Всем этим господам со «дна», потерявшим себя собственно по безволию и по без-«путию» (потеряли «путь» жизни), нужно давно предложить работу не мудреную, не сложную, но в форме довольно усидчивой – копать глубокие и широкие пруды-озера по засыхающим, знойным местам России. По Звенигородской улице, где я живу в Петербурге, вплоть до Загородного проспекта стоят в расстоянии 10–15 сажен один от другого ряд пареньков-нищих, до того здоровых и сильных, что хоть куда. Стоят и протягивают руки прохожим. Настоящие женихи: не только сильны, но и красивы. И почему-то ни одного старого, все лет от 16–23. Все Адонисы «с ручкой». По утрам, видишь, полицейские по всем направлениям конвоируют молодой и крепкий люд: кажется, для бесплатной высылки «до Любани», оттуда они возвращаются «зайцами» в Петербург, а Петербург опять их «высылает». Что-то глупое, непонятное, всероссийское.

Почему бы им не копать пруды? По всей России таких «неопределенных» людей наберется до 500 000. В год тысяча человек выкопала бы «агроматных» два пруда. Все – 1000 прудов. Через 50 лет Россия имела бы 50 000 таких прудов: и гладь вод дала бы солнцу питье, а земле – благодетельную влагу дождя.

А живы – и следовательно, *кормятся*, и следовательно, *одеты*. Сыты хлебом с мужицкой нивы, одеты в лен с крестьянского поля.

Этим можно было бы «предложить с настойчивостью»; но есть следующая степень социального состояния, где положительно должен быть создан обязательный труд. Почему совершившие «вину» против общества, «отбывающие наказание», отбывают его таким способом, что становятся пенсионерами жителей, против которых «вина» совершена? Что такое за государственное сутенерство? Государство берет себе в каких-то «любowników» всех преступников и «содержит» их, в последнем анализе конечно, на народный счет, на счет трудовых людей.

Ведь конечно же это так! Ведь, конечно, таков именно кругооборот государственного колеса.

Пока работаешь, никто тебе не поможет.

Как украл, пырнул ножом, сейчас принимается на казенное содержание.

Странствуя по России, живя в России, где бы вам это ни случилось, вы везде встречаете «лодарничающих людей»... Это – народное словцо; народ их так окрестил: «лódари». Это – люди без дела, слоняющиеся, ни к чему не приставшие, от всего отставшие.

Без пути, без воли и только с аппетитом.

Государство должно им дать путь и волю: и поставив под залог этого обеспечение аппетита.

VI

Одна из отличительных особенностей «заграницы» есть полное исчезновение этих «слоняющихся» или «стоящих по стенкам и по заборам» людей, с ленивым и толстым лицом, с неопределенным взглядом, с повислыми руками. Зрелище это до того отсутствует по переезде Вержболова, что наши «трутни» представляются каким-то «дурным сном на родине». Кажется этот факт невероятным... За границею он неуместен: просто не нашлось бы угла, не нашлось бы места, не нашлось бы помещения для такого.

Как можно «стоять» среди улицы, когда все по ней идут твердым шагом к определенному делу? Идут непременно *за чем-нибудь*.

Как это детина в 20 лет «задумался», «ковыряет в носу» и «никуда не хочет»...

И какой черт ему скажет: «Бедненький, может быть, ты хочешь покушать».

Не в Наугейме... не в Германии... Вся наша «пенитенциальная» система, якобы научная, выросла из какого-то дурного и больного юродства. Ее родина – не наука, но те рвы около Московского Кремля, где еще во время Иоаннов и Василиев собиралась «нищета убогая», которую кормили царь и бояре «Бога для»... Пока не пришел Петр и не погнал всего этого дубиной... Не погнал на верфи, в казенную работу, к обязательной грамоте. Но после Петра Русь опять размякла и раскислась.

VII

Не могу не привести о Наугейме одного замечания, мною услышанного. Конечно, – от русской:

– Я видела много курортов. Но Наугейм выдается тем, что вполне *законченный курорт*. Неряшливость, небрежность, недоделанность, недовершенность раздражает глаз и ум, хотя бы она к вам и не относилась, вас не задевала. Эта же законченность сообщает больному уверенность и твердость жизни, дает покой. Знаешь и видишь, что уже лучше ничего нельзя.

Нужно заметить, что сердечные больные, – не по душе и характеру, но от болезни, – страдают все раздражительностью, волнуемостью, повышенной впечатлительностью. И покой – главная составная часть лечения.

Тропинка идет с таким медленным подъемом вверх, что только на большем расстоянии глаз замечал, что это неровная дорога. Это для упражнения ослабнувшей мышцы сердца. Неужели этот «медленный подъем» – природа? Отчего же *именно такого* я никогда не встречал? А если то же сделано или «прибавлено» (к природе), «приноровлено» (в природе), – то опять чего это стоило!!

«Все мало-помалу», «все кусочек за кусочком»; «рано вставали, поздно ложились»; «хлебец не даром ели», – как будто отвечают те утихнувшие хулиганы, которые без этой работы, может быть, «свернули бы голову» маленькой немецкой землице, с ее когда-то маленьким правительством, маленьким войском, маленьким князьком.

Задыхаясь от усилия и страшно ударя копытами о камень, – пара лошадей подымалась по узкому въезду в замок Фридберг, с поседелыми от древности стенами и с огромной красивой башней, уносившейся ввысь. Все говорило о войне, страхе; об упорной защите против кого-то; о врагах, не знавших пощады; о крови, оружии и о воинах, закованных в железо с головы до ног.

Такова нахмуренная наружность и замка, и дворца, где наша Императрица провела свое девицество как гессенская принцесса.

У входа вас встретила девочка лет 15, – прелестная, как Гретхен, по скромности, миловидности и манерам; ее – во время осмотра – незаметно сменил ее отец, огромная фигура, с красивым, свежим, почти молодым лицом, и с таким его выражением, будто счастливее его никого нет на свете. Впрочем, почему это и не так! С женою, – некрасивой пожилой женщиной, – и прелестной дочкой он один живет в старинном замке, охраняя его и там и здесь производя неторопливый ремонт.

Благополучие его, однако, основывается не на одном удобстве занимаемой должности. Это – само собою; это «хлеб»; но «не о хлебе едином жив бывает человек». Поэзия его, размолодившая его лицо, – это воспоминания «о русской теперешней Императрице, нашей маленькой принцессе Алисе, которая провела в этом замке детство и девицество».

Он поступил сюда, когда ей было три года, и, естественно, носил ее еще на руках. Об этом он первым делом упомянул. Ее лицо и детские слова – за разные годы возраста – точно врезались в его ум и память: и он непрерывно говорит о ней, и только о ней одной. Я спросил его имя. «Obst», – ответил он. Хочется сохранить имя человека, до такой степени преданного, до такой степени верного памяти.

Полы некрашенные, деревянные, тесаные... В спальнях и кабинетах они закрыты коврами скромного достоинства. Потолки очень низки, ниже, чем даже в обычных наших помещичьих домах. К скромности обитательницы относится то, что нигде нет ее портрета.

Все удивляло простотой и скромностью. Мы еще более удивились, пройдя во второй этаж, «в комнаты для гостей», т. е. для приезжих. Не будучи так правильно расположены, даже имея в расположении нечто дикое (какие-то переходцы, сенцы и потом комнаты), они простором, свободой и, наконец, высотой своей более нравятся, чем «великогерцогские комнаты» внизу. Здесь развешаны идиллические сцены, то из Средних веков, то из Библии. Вот одна из классических «Юдифей», а вот «Неаполитанка, плачущая на развалинах своего дома» (должно быть, после извержения Везувия); немного далее – «Семья неаполитанского рыбака»... Гравюры превосходны.

Грозная видимость замка, когда к нему подъезжаешь, находится в полном контрасте с идиллическим миром внутри. Это, в сущности, большой, просторный помещичий дом, духом, видом и величиною напоминающий русские барские дома старинного пошиба. Комнаты очень просторны, но

ни одной огромной. Даже «приемная зала герцогов», в сущности, просто большая зала, без всяких «герцогских» признаков, кроме портретов. Они везде развешаны, эти портреты: и членов нашего Царствующего Дома здесь почти так же много, как Гессен-Дармштадтского. Семьи Александра II и Александра III, – все в молодости, в цветущем возрасте – представлены здесь. Вот «принцесса Дагмара», Императрица Мария Феодоровна, в бытность ее невестой великого князя Николая Александровича, и он сам, ее жених, до брака угасший... Вот Александр II, скачущий верхом на коне по полю, в грозной позе и с ласковым лицом. Изображения, очень схематичные, скорее мифологичны, чем историчны. Вот совершенно молодой, почти юный, Франц-Иосиф, император Австрии; и самая первая красавица из всего собрания гравюр – его супруга Елизавета, убитая ударом шила анархистом в Швейцарии. С прекрасной, немного лукавой и насмешливой улыбкой в губах могла ли думать юная красавица о таком грубом, жестоком и бессмысленном конце своей жизни?

Мы спустились в сад. Он дает впечатление уединенных задумчивых прогулок и чужд возможности шалости, игры, резвости. Происходит это от его странного устройства. Отступя сажен пять от стены дворца-замка, идет глубокий ров, и сад в одной половине своей занимает длинную и узкую полосу земли, примыкающую к стене дворца. Она естественно разработалась в чрезвычайной длинную аллею. По другую сторону рва есть также сажен пять ширины – это земляной вал, примыкающий к каменной стене с крепостными зубцами. Вал этот также занят аллеею и еще параллельной ей дорожкой, ничем не обсаженной. Таким образом, весь «сад» представляет собою две старые, вековые аллеи, с кучами цветущих кустов возле деревьев, но аллеи эти разделены широким и глубоким «военным» рвом. По ту сторону зубчатой стены открывается вид на весь город Фридберг, уездный городок Гессен-Дармштадтского герцогства, с его старинным, XIII века, готическим собором. Замок собственно расположен на каменном утесе, господствующем над городом и всею страной. Отсюда старые воины-герцоги держали в страхе и повиновении городских бюргеров и окрестное крестьянство. В саду, в первой аллее, стоит несколько прислоненных к стене замка надгробных плит; надписи их уже тусклы, но могли бы быть разобраны археологом. Однако и я прочитал на них цифры XIV и XV веков. На этих плитах из буро-красного камня изображены и бывшие «владыки» замка, рыцари в латах, шлемах, забралах, точь-в-точь каких описывает Вальтер-Скотт.

Все прошло... Двери везде растворились. Никто никому не грозит. Крестьяне и бюргеры исполняют «в силу судьбы», «безработицы» и «голода» тяжелый труд гораздо тщательнее, чем когда-то они исполняли его вследствие «крепостной зависимости». Бывшие феодалы танцуют, путешествуют, предаются спорту, служат, и когда «служат», то тоже с аккуратностью бюргеров и крестьян, – иногда ради «креста», «ордена»...

Боже, как изменилось все... К худшему? к лучшему? Итоги истории знает только будущее.

Еще испорченный памятник

Наугейм поставил памятник виновнику своей славы, богатства, – а главное, конечно, наблюдательному врачу, который облегчил страдания сотен тысяч больных. Это – Бенеке. Наш врач торопливо оканчивал «выслушивание» и «назначение номера ванн», говоря, что он спешит, в составе других своих коллег, не опоздать «к открытию памятника»...

– Бенеке был профессором патологии и, таким образом, не был специалистом в той области, в которой сделал открытие. Он первый сделал опыт – посадить больного сердечною болезнью в углекислую ванну. К удивлению, – опыт удался. До него никто не решался на это, полагая, что возбуждающие углекислые ванны для сердечных больных могут быть только убийственны. Опыт Бенеке указал, что никакого ухудшения в положении больных не бывает, а, напротив, наступает улучшение сердечных функций... Начались опыты, наблюдения, – комбинации ванн, диеты, движений активных и пассивных... И, наконец, создался целый «наугеймский метод лечения сердечных болезней», – новая ветвь науки и практики.

Уж, конечно, кому человечество должно бы ставить памятники, и не щадя средств, – это врачам. Они борются и поборают самым прямым и непосредственным образом главного и язвительного мучителя всех людей, – болезни. Сколько побед! А какой длинный путь труда, забот, науки, наблюдений, изысканий, опытов под этим... И все наблюдения – в душной, мучительной атмосфере и обстановке стенаний, охов, бледных, изможденных лиц. Кажется часто, что нет науки выше, нет деятельности священнее...

* * *

Каково же было мое удивление, когда, выйдя на прогулку часа два спустя по уходе доктора, – я заметил в 60 шагах от своего отеля небольшую толпу явно «еще не разошедшихся людей», и когда протеснился через нее и взглянул на то, что она закрывала собою, то не мог сомневаться, что это и есть «вновь открытый памятник»!! Он стоит совершенно незаметно на незаметной улице, vis-à-vis с шалашом, где продают ягоды и фрукты, под деревом или около дерева, но во всяком случае на месте совершенно невидном, затемненном и где никого даже не бывает, кроме «проходящих» в другие, и красивые, и наполненные народом места Наугейма!! Что за фантазия – непостижимо! Какое громадное и чудное место, занятое лаун-теннисом... Сколько есть красивых мест по берегам озера-пруда... Например, остров среди этого озера, со всех сторон видный! Сколько есть удобных для этого полян в парке, осененных чудно подобранными деревьями, с разными отливами в окраске листьев. Наконец, в верхней, поднятой части города есть небольшие площадки, застроенные великолепными отелями. Самое же естественное было – поставить памятник посредине того огромного квадрата из зданий для ванн, на котором бьет источник «Sprudel» и где,

дожидаясь очереди, сидят сотни больных со всего света... Вот кому нужно видеть этот памятник и, естественно, что-нибудь знать о лице, которому он поставлен...

Его же поставили почти в луже... Seriously: это – самая сырая, низкая, угрюмая и неприглядная часть Наугейма. Его именно только «проходят», и никто сюда не «приходит».

Глупо, плоско и совершенно не «по-германски». Но мысль памятника еще бедственнее места, которое для него избрано. По-видимому, тут была «ученая мысль».

Как известно, в древнем мире «богом исцелений» был Эскулап, в греческом наименовании – Асклепий. У него был женский двойник. Это – богиня Гигиейя. Атрибутом, постоянно сопровождавшим как Эскулапа, так и Гигиейю, была змея, в античном мире почему-то олицетворявшая здоровье. У Эскулапа эта змея обвивается кругом его жезла; а Гигиейя кормит змею из чашечки, причем змея вьется по руке богини. Оба изображения – одни из самых частых в греческой и римской скульптуре, и из двадцати древних монет непременно одна попадется с красивым изображением или Эскулапа, или Гигиейи, всегда в одной позе и всегда с неразлучною змеею. По этому-то атрибуту чашечки и змеи я сейчас узнал в памятнике Гигиейю, «богиню здоровья», но в таковом виде и позе, как она вовсе в древности не изображалась. Неизменный ее вид – в длинном одеянии и стоя. Но наугеймские эскулапы и зодчие представили ее совершенно нагой и присевшей к земле: в позе женщин, полюющих грядки или чего-то ищущих на земле! К довершению скандала, возле ее ног они сделали четыре отверстия и провели из городского водопровода воду в пустоту, скрытую в массиве памятника. Все, прямо с чувством позора, разглядывали эту голую огородницу, с висящими грудями, из-под ног которой льются тоненькие струйки воды, наподобие которых уличные мальчишки пускают изо рта фонтаны... И как место именно «проходное», то, пример, всем едущим с вокзала кажется, что бьет, падая вниз, одна струйка...

Но где же Бенеке?!

Под Гигиейей, на пьедестале, на котором она сидит, есть дощечка, величиной ладони в две, много-много – в четыре, и на дощечке – лицо Бенеке.

Весь «памятник» похож на куколку: он так миниатюрен, что толпа его действительно закрывает.

Что это такое? Карикатура? Бездарность? Но во всяком случае глубокая неблагодарность наугеймских или, точнее, баденских властей (заведывавших делом постановки) к памяти человека, уже на самую грубую оценку прошедшего в Баден и Наугейм неистощимую золотую реку...

Откуда такая скудость воображения? Неужели не умеют вообразить и оценить, «что выйдет, когда памятник будет готов?». В таком случае почему не делают предварительно большой, «в полный рост», модели на месте

из дерева, окрашенного в цвет будущего памятника? Тогда бы все было видно и безобразие кинулось бы в глаза... Почему такая неудача в памятниках, как оказывается, везде? Тут что-то общее есть... Почему не только в Москве, в Петербурге, но и в Наугейме? Гаснет великая способность олицетвора, – разумно и благородно олицетворять.

Наугейм

Дневник туриста

В канун св. Ольги вспомнил, что у меня в Петербурге две именинницы завтра и, кроме того, произошло нечто дома, за что следовало «поблагодарить Бога», – и я отправился в русскую церковь...

Ее не видно... и даже подходя с улицы, издали я все еще не узнавал русской церкви. Как слышал, она переделана из католической, должно быть купленной, хотя я не знаю и немножко не понимаю, можно ли вообще «покупать» или «продавать» церкви. Как будто что-то невместительное. Но Бог с делом и историей. Мне было досадно, что я не видел издали сияющего на все стороны креста, не видел золотого или зеленого купола... Что-то бедное и как будто загнанное в сторону. И только вот-вот совсем подойдя, я над входом увидел изображение Николая Чудотворца, в том его оттенке изображений, где он представляется более чем всегда старым, – с волосами редкими и как бы развевающимися в воздухе и лицом крайне гневным, строгим до гнева.

«Это – так, это – наше», – подумал я, увидя образ, и уже без колебания вступил «в свой храм».

Какое чувство... но оно в самом деле есть. Везде, ходя по Наугейму, я чувствовал, что хожу по чужой земле, среди не наших деревьев, брожу в какой-то дальней и не родной культуре... Но еще я поднимался только на первые ступеньки узкого и неудобного входа, еще не слышал пения, ничего, – как начал ступать с необыкновенной твердостью, сапоги точно стали срастаться с землею, и ощущение, гордое и свободное, совершенно независимое «от них», охватило меня... Еще шаг, два, три... В дверь, в лицо гудит навстречу «Господи, помилуй!», «Господи, помилуй!» и сейчас протяжно – «аллилуйя, аллилуйя – слава Тебе, Боже!»... И я вошел как властелин к властителям же (молящимся), с таким чувством собственности, какого и представить нельзя...

«Наше!! Стоим и не уйдем... И никто нас не тронет, не смеет тронуть. Тут мы в своем царстве, тут мы на родине».

Лица великолепные, как в Москве и Петербурге (в Петербурге тоже есть великолепные лица)... И эти наши, именно наши плечи, каких не рождается у немцев... Седая грива у одного, «с хитрецей» взгляд у другого... И барыни, высокие и неуклюжие, – все «наше»... А вот и милые, прелестные подростки, такие деликатные и образованные, – все «наши». Нигде еще *такого же; именно* такого, точь-в-точь – нигде решительно!

Тут у меня родилось другое: «наша порода»... Есть разные породы в природе: гранит, кварц. То же у людей: «наша порода, может быть и худая, – но *единственная* и ни с кем не сливающаяся». И опять это важно, как факт, как вывод, как начало бесчисленных выводов...

Церковь, однако, ужасно бедна. Она вся из серого («дикого») камня, и как снаружи ее – серый камень, так и внутри он являет этот же скучный серый цвет. Как стена снаружи и внутри одного цвета? Неблагообразие. Что-то не «жилое», «не живое»... Стены и потолок, очевидно, должны быть зарисованы, и «русские в Наугейме», из которых многие есть и очень богатые, должны, очевидно, увеличить «лепту» на блюдо и в кружку... Можно бы подумать и о «братстве», вообще о более тесном единении...

Молящихся много... Потом только я догадался, что назавтра много Ольг, но сперва понял это бескорыстно, и сейчас от этого стало теплее. И хорошо молятся, стоят. Все было хорошо, очень серьезно, очень усердно.

Священник – лет 50, как будто несколько греческого типа (очень смугл)... Очень жаль, что волосы, очевидно, подстригает. Бедность храма сказалась и в том, что риза, очевидно, не по нему: сшита на средний рост «вообще», тогда как он ниже среднего, и риза едва не касается пола... Это нехорошо. Но так как риза «больше чем по росту», то она пышно раздувалась при движениях священника, и как он сам был достойного и гордого вида, несколько властного, то все в общем давало оттенок великолепия. Все пело и говорило (почему-то) о власти, силе, достоинстве...

«Хвалите имя Господне, хвалите, раби Господа...» – любимый мой момент во всенощной...

И все такое наше... костромское, московское, нижегородское, петербургское. Просто точно «опять на родине». Да ведь и в самом деле так!

– Какие наивные посланники, – шептал я в себе, – воображают, что они «представляют Россию»... Ее «представляют», конечно, поп, и дьячок, и вот все молящиеся...

И Серафим Саровский... вот он, точь-в-точь как в Петербурге... на большом образе, в деликатном сложении рук и склонении головы...

Божия Матерь – в васнецовском оттенке, который, кажется, становится господствующим в церковных изображениях (и вероятно, скоро вытеснит другие), – *когда Она изображена в полный рост*. Однако усердствовать в этом распространении не следует: должно непременно сохранить около них и привычное русскому глазу и русской молитве поясное и грудное Ее изображение. Образ Васнецова – хорош, очень хорош. Но не идеал, не завершение. Даже старое и обычное (поясное) – выше его уже потому, что не утомляет, будучи постоянным и повсюдным. Напротив, если бы случилось на десяти иконах «подряд» увидеть «все Васнецова» – все сейчас почувствовали бы утомление и... приторность, что ли. Значит, тут *вечно* нет.

Какая мысль у меня мелькнула на богослужении... Конечно, главное великолепие его и *жизнь* состояли в горящих, зажигаемых свечах и лампадах. У меня вдруг мелькнуло: «Боже мой, если бы это из Москвы». Сложность пережитых чувств, должно быть, родила эту мысль: «Не зажигать бы огней православных здесь, в Наугейме, этим их наугейским огнем, должно быть от спичек (как же иначе?!), а этот огонь как-нибудь в поездах, ну а, конечно, лучше «в руках» и «пешком» (год ходьбы) принести из Москвы, от Иверской или из Успенского собора»... А потом разлилась мысль и дальше, на предположение: «А отчего бы вообще *всем* в России церковным огням не родиться от *одного источника*, например, Киевских пещер, или еще естественнее – от того самовозжигающегося света (в Пасхальную заутреню), какой появляется в Иерусалиме в Храме Гроба Господня»... Но – Иерусалим далеко... Да и лучше иметь свой огонь. Но гуще и сплоченнее, наконец, одушевленное мы почувствовали бы себя в Наугейме, если бы все знали, что зажигаем «вот эту свою свечу» от огня, «непрерывно рожденного из Москвы».

И как просто этого достигнуть. Сто «ходебщиков» понесли бы такие свечи, зажигая одну от другой и меняя их, – и донесли бы до Наугейма, Карлсруэ, Лондона, Парижа; да и в Руси хорошо бы церковным светом зажигаться от одного или от немногих «родоначальных»... в Новгороде, Киеве и Москве.

Помянули, после «Святейшего Синода»... «и господина нашего Владимира, епископа кронштадтского». Это – новизна: все заграничные церкви, т. е. духовенство их, объединены теперь под «управлением» одного епископа. Но сердце иначе выслушало бы в Наугейме слова: «и господина нашего митрополита московского»... Отчего бы не подчинить заграничные церкви московской митрополии? «Дела много у Москвы?» Но ведь *по существу-то* это – дела канцелярии, а там – «умножай столы» (столоначальства) – и дело с концом. Между тем вся «заграница» почувствовала бы иное, услышав голос из Москвы или о Москве.

Зазвонили «к Достойной»... Но и звон некрасивый. Раскосый какой-то и путаный. «Не наш» и ничей. Этого таланта здесь нет. И колокола малы и невыразительны.

Хор тоже беден. Три-четыре человека, среди них одна барышня. Поют так себе. Как это слабее великолепного женеvского хора, какой я слышал лет шесть назад. Про тот хор мне рассказали удивительную вещь: по нотам, где написаны русские слова (молитвы) латино-французскими буквами, пели любители и любительницы из французского женеvского населения, с примесью только небольшого процента наших («закваска»), и пели великолепно, безукоризненно в произношении, стройно... вовсе не понимая слов, смыс-

ла, ничего! *Почти* – ничего. «Как же это произошло?» – я спрашивал. «Ужасно любят наше богослужение, – разъяснил мне псаломщик, – и сами напросились в певчие. А так как нельзя же и долго бы их учить славяно-русскому языку, то между линейек нот им и вписали молитвы французскими буквами».

Он рассказал мне потом, что еще недавно (тогда) умер старый-старый католический священник, уже «на покое» живший, больной (не мог ходить): он не пропускал ни одной русской службы и говаривал, что теперь, в старости и болезни, нигде не чувствует себя так хорошо и «дома», как слушая и созерцая русскую службу, – хотя и полупонятную ему. Нужно сказать, может быть в объяснение, что священник (грек родом) был большой художник, и может быть не без «хитрецы». Когда я его слушал, мне показалось, что он в последней чахотке и что вот-вот месяцы жить. Голос до того слаб, совсем замирает: но в маленькой церкви вполне слышен. Каково же было мое изумление, когда псаломщик сообщил мне, что он совершенно здоровый человек, мне «сходить бы к нему» и что там, дома, он говорит совершенно здоровым голосом! «Нет, просто боюсь идти. Я мнителен – а вдруг он сейчас умрет?»

Никогда такого служения не слышал. Как при «соборовании» (около умирающих), – что действительно есть самая художественная, самая трогательная служба или треба из всех сущих... Католик-священник не мог не плакать (кажется, псаломщик мне сказал, что он даже плакивал), и ему, в такой старости и болезни, конечно, все показалось «своим» и «родным». «Единым на потребу»...

Богомольна Русь. Но и с «хитринкой» везде.

* * *

В Женеве меня поразила красота службы, – *всей сплошь при открытых дверях*. На удивление, мне объяснили, что это везде делается так за границей: царских врат не затворяют. Канонично это или нет, не знаю; но виден тут московский дальний взгляд: «Пусть бусурмане позавидуют: ведь ничего подобного у них нет».

Действительно, нет. Любопытно это отражалось на поноmarях.

В Наугейме он имел вид Ранке или Вагнера... С сильною проседью, лет 50–55... Среднего роста. Превосходный сюртук, брюки как сейчас сшиты, без пятнышка, без складочки. Безукоризненная рубашка и манжеты. Никогда я так не уважал человека. С «видом Вагнера», с ти-пи-чней-шим немецким лицом, какие бывают только на старых портретах, в «век немецкого классицизма», – он все делал, двигался, принимал от молящихся свечи и ставил их перед образами, подавал кадило священнику и все прочее с выпученными от страха, торжества и гордости глазами... Кстати, волосы и борода у него были чудно расчесаны и, редкие, длинные, волокнистые, – являли действительно «седую красоту». Он был самый серьезный и самый напряженный человек в церкви. Есть, кажется, выражение: «топтал ногами» (не «топтал») о моменте страха, готовности, желания и только от невозможности сейчас куда-то бежать. Это вот и выражало его, – в лице, фи-

гуре, в действительно выпученных глазах и готовности точно съесть кого-нибудь (если бы он не благоговейно стоял) и вот сейчас умереть тут на месте за эту службу, за этого священника, за всех молящихся тут, за детей, стариков, и только за них одних во всей Германии.

А священник, короткий и толстый, с красивым полным лицом, в золотом пунцовом облачении, повертывался немного так и этак, медлительно и как господин вяло. Риза оттопыривалась, – и все выходило еще великолепнее.

Немного в стороне, на аналое, тоже в золотом облачении, лежал чудный, очень большой образ св. Ольги. Чудное, тонкое письмо. Лицо одухотворенное, идейное, – и святой, и дикий (по тому первобытному времени), и княжеской красотой... Тонкие губы, мудрый взгляд.

Я приложился.

Все хорошо, что хорошо.

В театре «Deutsche Kunst»

I

Грусть, тоска... какое-то задыхание в груди, страшное разочарование и желание «схватиться за что-нибудь», – вот глухие, темные чувства, с какими я ехал после четвертого дня «Кольца Нибелунгов», в «Deutsche Kunst», по мюнхенским аллеям-улицам. У меня было намерение писать и о театре, и о многом в связи с ним, но волна ощущений, поднятых «последним днем», вдруг раскрошила в куски все намерения, и я возвращался чем-то убитый и в отношении себя, и «всего, всего». Огромная и страшно нарядная толпа, наполнявшая театр и теперь разбежавшаяся по всем направлениям, мне представилась чем-то ненавистным, убогим и отвратительным. Хотелось сорвать эти кружева и шелки, обидеть эти «счастливые физиономии», ничего не выражающие. «Неужели они ничего не понимают?» «Что это настало за время?» Но мысль пулею переносилась от «них» к «себе» и, не находя здесь удовлетворения, – вырастала в страх, тревогу, тоску, какую-то внутреннюю и вместе всеобщую. Светились две точки:

неизбежность

и другая мысль:

ответственность.

Припоминалось то мелкое и безобразное, мышинное и заячье, что есть во всякой личности и биографии, и так хотелось, чтобы этого не было... И так невозможно было, чтобы его не было! «Случилось», «было». И слова эти, – огромные слова:

ответственность.

Перед кем? Перед Богом? Перед людьми? Скорее всего, – перед Судьбою, которая есть какой-то синтез и «Бога» и «людей», есть проекция Бога

и людей, «на меня проложенная» и в которой я барахтаюсь совершенно бессильно; и не могу ничего, и понимаю очень мало...

«Но все взыщется»... «Все замечено, что было, – и свяжется неизбежно с тем, что настанет»... «И тогда уже поздно будет ахать и вздыхать»...

Таково действие музыки. Этих громадных волн звуков, которые поднял Вагнер и которые катятся на вас из невидимого оркестра, подавляя, подчиняя, убеждая в чем-то грозном и страшном, что есть, но чего вы не видели в дневном освещении и что давно забыли «в суете». Вагнер будит страшно серьезное, с чем мы родились, «пришли на землю», но что сейчас же после рождения потеряли или забыли. Он будит страшно ответственное и сложное:

я человек,

с пробуждением чего мысль не может успокоиться, то маленькое «животное», в которое мы все перерабатываемся обстоятельствами, что ли, но в основе, конечно, просто легкомыслием... своим, моим легкомыслием.

Жалость... Жалко человека, меня, «наших», всех... Музыка Вагнера раздавливает личную гордость – это главное ее действие. Ту гордость, в которую мы все, в сущности, страшно погружены, делаем ради нее $\frac{3}{4}$ своей «жизни», когда, в сущности, ради нее и совсем ничего не стоит делать, потому что самый-то «божок» этот такой маленький и призрачный... Вагнер вдруг обволакивает эту «гордость», это «я» такими звуковыми «обстоятельствами», среди которых оно теряется и исчезает, чувствует полную свою беспомощность, разбитость, утлость...

* * *

Переворачиваясь с бока на бок, я не мог заснуть всю ночь. К Вагнеру идет прямая соединительная нить от Канта: это все «германский дух», «протестантский дух», с его страшною нравственною серьезностью; с такими католическими мифами, как вот «о св. Грале». И, наконец, этот длинный, сложный, «в немецком духе», миф о Нибелунгах и «золоте Рейна», которое Бог его знает что значит и выражает. Я все дни, как живу в Мюнхене и брожу по его галереям и церквям, думаю: «Все-таки у нас никогда не возникало вот такой легенды, как о «Св. Чаше» (св. Грале), непонятной, притягательной, очаровывающей, главное – воспитывающей. Между тем, это легенда не книжная, ее никто не «сочинял»; это – забродившее как-то и почему-то в народе представление, которому поклонились рыцари и простолюдины, задумались над ним девушки и старцы. И «задумались» и «поверили», потому что в основе «хотелось» и думать и верить... Это – страшно многозначительно. Все русские песни очень хороши, но уж как-то очень коротки и ясны. Нет «дали»; нет загадки для мысли и нет приманки для подвига. Но главное: нет того запутанного для мысли, над чем «просидеть бы жизнь», но только «разгадать бы»... Таким образом, уже *народно и издревле* мы народ не мыслителей. Это страшно жалко.

От этой «чаши св. Граля» и нравственной философии Канта, которая гонит всякую улыбку, – идет и музыка Вагнера. Она не имеет в себе тех арий и «местечек», какие в итальянской опере заставляют таять всех слушателей; вообще она имеет мало «соловья». Род ее, происхождение ее – совершенно другое. Она страшна и потрясающа. Она человечна. Она – хочется сказать – религиозна, хотя и имеет сюжетом мифологию. Но и в мифологии есть религиозные задатки, религиозные веяния; особенно же в мифологии германской. Она есть, родилась и возможна только у народа, который когда-то потряс всю Европу негодованием и войнами из-за «папских злоупотреблений» и в другое время, еще гораздо раньше, пронес «знамя креста» от Рейна до Иерусалима.

II

«Prinz-Regent Theater» построен и существует, при поддержке целой компании капиталистов-меценатов, по вдохновению и замыслу принца Луитпольда, который, за душевной болезнью короля, постоянно окруженного врачами и лечащегося, управляет Бавариею. Судя по портрету его, во весь рост и очень хорошей работы, в «Военном музее», он очень стар и очень устал. Более всего – устал. Он приходится дядею больному королю Оттону, портрет коего чеканится на баварской монете. Принц Луитпольд всеми любим и уважаем здесь, и теперешний Мюнхен чрезвычайно много обязан ему своим духовным, художественным процветанием. Без усталости он возводит музей за музеем, улучшает прежние и не жалеет средств и усилий для доставления всяких пособий любимому и почитаемому «немецкому искусству». Так возник и театр, о котором я говорю, полный вкуса и предусмотрительности.

Он стоит почти за городом; подъезжая к нему, даже проезжаешь мимо какого-то «пустыря», незастроенного и заросшего травой. Но так как весь Мюнхен очень невелик, то это все-таки близко ото всех частей города, и проехать к нему гораздо ближе, чем к Мариинскому театру с угла Литейного и Невского. А так как едешь наполовину великолепными улицами и наполовину (ближе к театру) прохладными аллеями, возле реки Изара и Английского сада, то поездка положительно приятна. Между тем время проезда естественно освобождает несколько душу от «домашней будничности», как и побыв в театре – тоже не сразу возвращаешься к «домашней будничности». Впереди и позади ложится по получасу времени, отдаваемому мысли о музыке и впечатлению музыки. Каждый оценит, как это обдуманно, сколько здесь уважения к музыке и деликатности к ее слушателю.

Театр невелик, хотя и не очень мал. Значительно меньше Мариинского и меньше Большого зала Консерватории, где у нас слушается итальянская опера. Лож и хоров нет. Театр весь состоит из одного партера, но поднимающегося греческим амфитеатром, так что перед вами сидящие зрители приходятся головами на высоте вашей груди, даже чуть-чуть ниже. Вследствие этого происходящее на сцене видно каждому с такою полнотою, как

если бы он был единственным зрителем в театре. Таким образом поднимающиеся дугами сиденья доходят задним рядом до высоты $\frac{1}{2}$ зала. За задним рядом – редкие колонны, и за ними – «места за колоннами» или «ложи» – я не разобрал, но боковые стены, хотя украшены балконами и над ними деревянными балдахинами, – сидений не имеют. Вообще – лож нет; как и никакой «галереи» или «балкона» вокруг театра.

Сиденья автоматически притягиваются к спинкам, и, когда хоть на одном спуске кто сидит, нельзя пройти «дальше». «Вход», – минут за 8 и затем за 5 до поднятия занавеса, – трубится военным рожком, что очень красиво. Публика входит почти разом: и постоять, пока проходят, приходится минуты четыре, не более. Все и стоят, дамы и «высокопоставленные». Кресел нет, и вообще никакого различия между сиденьями первого и последнего ряда. Везде эта дощечка «нужной человеку ширины и глубины», со спинкою. Все мягкое (заглушающее, поглощающее звук) убрано. Ни подушек, ни драпри.

Цена всех мест одинакова, потому что отовсюду видно и слышно одинаково, и «удобств сиденья» никаких также нет, или, лучше сказать, везде они есть те же. За два билета на четыре представления (т. е. восемь билетов) я заплатил 160 марок. Билеты выписываются по почте: некоторые русские «заказали места» из Наугейма, за месяц до «использования»; а в нашем пансионе две шведки получили по почте билеты в Стокгольме. Общество в театре совершенно международное, всесветное. Вокруг театра-партера идет широкий, с колоннами, коридор-зал, дугою; за ним громадное фойе и затем выход в небольшой, но чудно разработанный сад. Поэтому в свои «места» публика и не входит иначе, как минут за пять до начала; тем более что вход прост и ясен в каждое место, и не может образоваться «беганья», «суеты» и «искания своего места» или недоразумения, «по которой лестнице идти» и «куда надо повернуть с площади, направо или налево». Отсутствие «верхов» и «ярусов» устранило «смятение перед представлением».

Раз за разом, долго и резко, военным веселящим зовом прозвучал рожок. Все на местах... Почти. Но еще есть «оазисы», между тем как театр вообще весь полон, и дирекция знает, что «пустых мест нет»: поэтому капельдинеры по сторонам «дуг» амфитеатра зорко выглядывают, – и ожидают немногих «запоздавших». С нами был казус: рассчитывая на извозчика и что «королевский театр, конечно, в центре», мы вышли из пансиона за полчаса. Все ехало, автомобили и лошади – в одном направлении: но – *ни одного пустого*. Все в большей тревоге, ужасно спеша, мы идем улица за улицей, вот и Английский сад (край города), и «памятник Победы» (совсем – край), а встречные все показывают «дальше»... Задышаемся; тревога до последней степени. Встречный извозчик: вскакиваем в него, кричим «Prinz-Regent Theater». Он кричит: «Auto!» – и не поворачивает. «Auto» – значило: «возьмите автомобиль; опоздали». Но я не сообразил и решительно приказал ехать, и скорее. Но их лошади «скорее» не бегут (запрещено, что ли), и он поехал чуть-чуть скорее обыкновенного. С ужасом видим, что едем еще очень долго, со многими заворотами, и на извозчике. Поминутно он смот-

рит на часы и качает головой. Мы в страшном страхе: «первое представление – смысл всего» – и разрушить такую гармонию»... Театр в виду, видим, что «он», извозчик, с милым, за нас радующимся лицом (никогда не забуду), повертывается и успокоительно кивает головой. «Не опоздали!» – восклицаю я радостно. Действительно: это и были те «пять минут», ровно пять, во все четыре представления не больше, которые в культурной Германии любезно дают для «несчастно и опрометчиво запоздавших».

Но затем – роковой миг – дверцы (уже при давно потушенных огнях залы) закрываются, исчезает свет даже как мерцание... И затем эти дьявольские дверцы ни для кого не открываются. Ни разу и ни одной за все четыре представления. Очевидно, «и подумать нельзя». Между тем однажды перед нами два места остались пустыми: чета очевидно, слишком запоздала и, конечно, впущена не была.

Так в сущности и следует: почему «запоздывать»? Совершенно глупо. Если же «лень было вовремя выехать», то «сиди совсем дома, где приятнее». Совершенно естественное следствие.

Каков же был наш испуг за «опоздание», когда все четыре действия «1-го дня» оказались слитыми в одно: и с пяти часов дня до 8^{1/2} не был впущен в залу ни один человек и не был выпущен из залы ни один человек. *Шесть* минут опоздания лишили бы нас совсем представления, – совсем лишили бы этого дня. То-то честный извозчик кричал «auto» и так обрадовался, когда увидел, что «поспел». Но труд высидеть все четыре акта, не встав с места, – чрезвычайен. Зато как звучали воды Рейна, катясь... Уже интродукция захватила меня всего... Какая благородная, спокойная и величавая музыка!

Небольшой театр наполнен звуками не только оркестра (скрытого), но и голосов. Отчетливо слышно каждое слово: совершенно уничтожена или, вернее, не допущена сюда эта противная манера тянуть «ноту», не выговаривая слова или выговаривая его небрежно, сминая во что-то... Затем, все голоса, в сущности, одинаковы в качественном отношении: нет слабых и сильных, «похуже», «получше» и «совсем хороших». Эта художественная мешанина, постоянно слышимая у нас и в Марининском театре, и в Консерватории (итальянцы), совершенно невыносима для слушателя тем, что держит его в постоянном ожидании, минутами в недовольстве и вообще в *нервном* настроении. А спокойствие, т. е. ровность, – условие наслаждения.

Театр «Deutsche Kunst» действует всего сорок дней в году и существует специально для вагнеровских опер. Это не нужно приписывать преувеличению... В Мюнхене как для «цикла вагнеровских опер» существуют сроки и театр, так точно дано место и время специально и для Бетховена, и другое, тоже специально, – для Моцарта. Музыка всех трех великих композиторов, которые действительно представляют собою «Deutsche Kunst» в его удавшейся и ставшей всемирною форме, – идет «циклами», чтобы дать полное выражение каждому лицу, каждому стилю, каждой школе. Это в равной мере воспитательно и художественно.

Совершенно ровный подбор голосов в вагнеровских операх достигнут тем, что кроме значительных сил мюнхенской Королевской оперы к участию приглашены: два певца из Берлина – г. Краус (Зигфрид) и г. Задор (Альберих), одна певица из Вены – г-жа Вейдт (Брунгильда), одна из Петербурга – г-жа Збруева (Эрда) и один певец из Киля – г. Грифт (Доннер). Остальные – мюнхенские, нисколько, однако, не уступающие приглашенным. Наша Збруева пела – к сожалению, небольшую роль – с тем великолепием, какое хорошо известно Петербургу. Но не были слабее ее и другие голоса. Вообще звуковая, певучая волна, не досягая и далеко не досягая тех чудес, какие дают мировые певцы, – великие Мазини и Зембрих, – была везде прекрасна, могущественна, чиста и давала полное удовлетворение...

Суть Вагнера, однако, в музыке, а не в певучести. Суть в мысли и действии на мысль. Суть – в могучем вдохновении творца, который есть не только звуковой виртуоз, но прежде всего – могучая поэтическая и нравственная натура, натура религиозная и философская, которая выбросила свой поток «на струны»... Там и нет для голоса таких «вещиц», как «птичка» в Кармен или песнь умирания в «Травиате». Нельзя и вообразить... Совсем другой стиль, совсем разные роды искусства.

В музыкальной трагедии или музыкальном мифе Вагнера игра певцов так же почти важна, как и качество их голосов. В этом отношении не был силен Зигфрид-Краус (Берлин)... Толстая мягкая его фигура, к тому же довольно массивная, мешала впечатлению; три дочери Рейна более цвели здоровьем (изумительные тела), чем являли вдохновения; Фрикка (г-жа Преузе-Матценауэр) и Зигмунд (г. Кноте) – были обыкновенны; были бесцветны и невыразительны, в их небольших ролях, Доннер, Фрох и Фазолош... Но здесь и оканчивается «так себе»... Игра Мима (г. Кун из Мюнхена), Локе (г. Гунтер-Браун из Мюнхена), Альбериха в «Гибели богов» и также в «Гибели богов» Брунгильды (г-жа Вейдт из Вены) – была изумительна и по непосредственному вдохновению, и по глубокой обработке роли. Смотря именно на «игру» здесь, – думалось: «Да, это Deutsche Kunst», и тут нет преувеличения. Недоумевающая и не понимающая, «что творится», Брунгильда; Альберих – когда у ног сына Гагена он нашептывает ему советы, до которых тот и своим умом дошел, Мим – все время, Локе – все время – это была сплошная победа пластики и жеста над душою зрителя. Эта душа задыхалась, плакала, изнемогала от отчаяния – вместе с душой могущественного актера.

Сидя и мысленно сравнивая с игрою Шалыпина, – я не понимал, почему это ниже. Думал и думаю, что это – равное мастерство.

Вотан (г. Фейнгал из Мюнхена), имея чудесный голос, был обыкновенен в игре. Кстати, сделаю замечание: для чего в первых действиях он одет как воин, – и в шлеме с крылами птиц по сторонам его? Он – царствует, тогда как вечно воюет – Марс, которому Вотан вовсе не соответствует. Вотан есть Зевс германской мифологии. Этому соответствовало бы не специальное воинское, но торжественное царственное одеяние... Заметка Вагнера, что Вотан, являясь под видом «странника», одет «в голубое платье», – в

сущности, должна быть отнесена к Вотану на всем протяжении его роли: ибо, конечно, у Вагнера не могло быть мысли, будто «странники» непременно ходят в голубых платьях. Этого нет, и это нелепо. Но «богу Неба» Вотану вообще приличествует небесный, голубой цвет; это естественный его символический цвет. В более развитых мифологиях, как египетская, боги имели определенные цвета, т. е. их статуи было запрещено окрашивать в какой-нибудь цвет, кроме одного, канонического. И Фта, бог Неба, там имел именно голубой цвет. Это так величественно... Добавим, Валкириям, по мифологии – девам-птицам, совершенно шли бы воинские шлемы, украшенные птичьими крыльями (шлем Вотана), как и телам их следовало бы иметь перистое одеяние. Но в Мюнхене им даны почему-то шлемы греческого, коринфского стиля. Это ни из чего не вытекает и ничему не соответствует. Мне кажется, в «Deutsche Kunst» не должно быть и этих ошибок, которые хотя и мелочны, однако режут глаз недоумением...

Световые эффекты театра – удивительны, как и его технические средства. Последние чувствуются, когда одна сцена, после 3–4 минут «клубящихся облаков», переходит в совершенно другую сцену, ничего общего с первою не имеющую. Далее, небо «течет», как и в натуре, с тою же страшною медленностью, когда его почти не замечаешь. Только начав специально смотреть, я заметил это уже во «второй день» драмы, относя облака к неподвижным точкам перспективы и сцены. Как и в природе – они медленно приближаются, совпадают – и затем медленно расходятся, например, с вершинами деревьев, с горами. Все это для «живости представления», очевидно, не нужно. Слушателю, зрителю не нужно: ибо, повторяю, зрительному залу вообще кажется, что «небо совершенно неподвижно». Но это нужно «Deutsche Kunst'у», которое, как всякое искусство, – «бескорыстно»... «Пусть будет все как в природе»: и в Мюнхене исполнено это с умом, заботливостью и рассуждением, как это умеют только немцы, и особенно умеют именно здесь.

Спасибо доброму старому принцу; по международному космополитическому характеру представлений «цикла Вагнера», как и «цикла Бетховена» и «цикла Моцарта», он доставляет наслаждение и вместе воспитывает все европейское общество. Сразу кидалось в глаза, что баварцев здесь небольшой процент: главная масса была – англичане и французы. Затем много шведов, итальянцев, русских. В высшей степени приятно, что среди исполнителей участвуют и русские силы. Для ознакомления с их качеством – нет лучшей арены.

В Cristlische Hospice

По рекомендации, наскоро мотивированной, я остановился в Мюнхене в Cristlische Hospice*, «ввиду ее дешевизны и прекрасных качеств хозяина». Она оказалась битком набитою жильцами, и оставалась свободною одна только комнатка, где-то совсем под крышею. Но надвигалась ночь, мы были

* христианский приют (нем.).

страшно усталы, – и взяли «с благодарностью» что было. Все было неудобно, не приспособлено, прислуги не дозовешься, ужин подали через час после заказа, и какой-то жесткий и грубоватый... Я вздыхал и открыл старую огромную книгу, лежавшую на столе. Оказалась «Библия», и с рисунками. «Верно, кто-то забыл», – подумал я, – и заснул с мыслью перейти назавтра куда-нибудь в другое место.

Утром, часов в семь, я пробужден был прекрасным пением, несшимся в открытое окно. Прислушиваюсь... И по мотивам, всемирно общим, узнаю церковное пение. «Что такое?..» Я не связал это с книгой, которую нашел вчера на столе, и, признаюсь, ничего не понимал. Спустился вниз, к ихнему «завтраку», – что соответствует нашему «утреннему кофею», – и несколько больших, но совершенно простых комнат нашел уже наполненными народом.

Ничего не понимаю... Оглядевшись, я рассмотрел на стенах, деревянных и незакрашенных, несколько большого формата и превосходных, тонких гравюр, изображавших великие события германской истории или великих личностей этой истории... Выбор сюжетов не оставлял сомнения, что все это сделано кем-то с большою любовью, с большим вкусом, с подробным знанием германской культуры. И все это, развешанное по темному, по хорошо сработанному дереву, являло какое-то радующее душу изящество. «Не пахнет гостиницей».

Между тем казалось, что это «гостиница второе»... Сколько народу!.. И все выходят и входят. Накануне, когда я вошел и в полусенях, полукомнате ожидал с полчаса ответа на вопрос, есть ли свободная комната, заказанная с дороги по телеграфу, – я был удивлен гурьбою валившим сюда народом и несколько раз расслышал: «Nein, Herr Professor», «Ja, Herr Professor». И по лицам, выслушивавшим эти ответы, узнавал, что это в самом деле «Professoren», и никто другой быть не может. Теперь утром я видел немного этих прекрасных седых волос, этих полных мысли лиц; общество было моложе, но как будто дух «Herren Professoren» разлился и на них всех. Из такого множества я не видел совершенно ни одного лица тупого, дряблого, апатичного, как и ни одного жуирующего.

«Кто такое? Кто их подобрал? Или кто их собрал? И отчего так много и все в движении?»

Действительно, движение составляло главную прелесть того, что было передо мною и что начало меня «захватывать»... Уже выехав из Hospice, я узнал, что и другие русские, бывшие со мною, испытывали то же впечатление, но, как и я, молчали о нем. Меня же «захватило» и увлекло, что все эти люди, среднего возраста и молодые, иногда пожилые, иногда дряхлые, иногда мальчики и девочки, но никогда дети – куда-то спешат с невероятной свежестью лиц и движений, которых усталость как будто не коснулась и не смеет коснуться, лень не коснулась и не смеет коснуться, «дурная мысль» тоже не липнет к ним – и все они будто летят или собрались полететь в какой-то в высшей степени благородный, воздушный и чистый полет. Все

одеты очень просто; ни одного «туалета», как везде в отелях и пансионатах; ни одного даже «нарядного платья» и, наконец, ни в одном лице никакого кокетства или хотя бы подавленной «занятости собою». Будто они «о себе не думают», а «о чем-то другом», в высшей степени интересном... И невольное уважение закрадывалось к этой непонятно куда торопящейся, занятой толпе.

«Что такое? Кто такой?»

Мне не хотелось оставлять так скоро «Hospice». И на завтра я перешел в другую комнату. Комнаты поминутно «оставлялись» и «опять занимались», и всегда свободною оставалась только «одна»... К удивлению, и в ней я нашел Библию.

.....

По вечерам, да и днем, я спускался в комнату «внизу», полуприхожую, полуприемную: с несколькими столами и плетеными стульями, она была между входною дверью Hospice и «бюро», где «принимались» жильцы и записывались, где они получали нужные «ответы», брали приходившие им (во множестве) письма и вешали ключи от комнат, когда уходили. Оказалось, что то, что я делал, делали и другие мои спутники, повинувшись безотчетному влечению и любопытству, но, как и я, молча.

Никогда в жизни на одном месте и в недолгий промежуток времени я не видал столько лиц... не красивых – это бедно, но истинно прекрасных. Пожилые и некрасивые – все равно были прекрасны; хотя, мне кажется, они были и красивы, многие бесспорно были красивы. Много, очевидно, было художников и художниц; много музыкантов; были гг. Professoren; но масса состояла из учащего и учащегося люда, всех ярусов и наименований, – из учителей, учительниц, студентов (без формы и значков «корпораций»), но, очевидно, «на выбор», – из самых деятельных и предприимчивых представителей профессий и положений. Это был пункт, где случайно встретился и пересекся действительно «цвет» германского образованного общества: все молодое или с неиссякаемыми в себе силами (в случае преклонных лет), любопытствующее, любознательное, все вместе с тем физически бодрое и от соединения этих качеств изящное. С серыми, синими и коричневыми мешками за спиною, где, очевидно, положено «немного хлеба и немного белья», с длинными заостренными палками в руках, иногда с предметами художества или маленькой музыки, иногда с книгою, – они сами были до того изящны в фигуре и движениях, в большом и смелом шаге, в быстром повороте, в голове, крепко и красиво сидящей на плечах (бывает «повиснувшая» голова или «излишне размышляющая»), а главное, в этом прекрасном «образованном» свете в лице, до того здоровом, до того ясном, до того чудом «сантиментальности» и «истерике» (наше образование), злобе или затаенной насмешке (тоже наше образование), что я дивился и дивился и прямо здоровел, выздоравливал только оттого, что вот второй и третий день все вижу их и их...

Я стал догадываться, а потом и совсем разъяснилось, что это было «Христианское убежище» (Cristlische Hospice), нечто вроде «Странноприимного дома», основанное духовной организацией, и вероятно в специальных целях «обращения», пропаганды, а может быть, и просто приюта... Отсюда – Библия на столе в каждой комнате, слышавшееся мне пение... Отсюда же чисто «отдельные» неудобства и неуклюжести. Но, очевидно, цель или отошла на второй план, или ее «пересекли» и «захватили» другие... Hospice имеет *благородный* характер, чуждый «гостиницы» и «отеля», т. е. все-таки несколько трактира, и к тому же страшно дешево: и сюда кинулось, как в пункт стоянки и отдыха, все бедное, но не очень, со «средними средствами», что в то же время захотело «осмотреть свою страну», «свою Германию», осмотреть бесчисленные художественные сокровища Мюнхена и наконец ползая по недалеким Альпам... Цепь Альп и альпийских озер начинается всего в двух или трех часах железнодорожного пути к югу от Мюнхена. Но, очевидно, «альпинистов» здесь была только часть, и не главная; даже вообще «туристов» – не главная часть. Очевидно, это был училищный люд, воспользовавшийся каникулярным временем, чтобы «смотреть», «видеть» и «изучать»: но опять же не исключительно он, а сильно разбавленный людьми просто «общества», но с этими же духовными стремлениями и интересами. От разнообразия состава, при единстве цели, и получился этот поразивший меня цвет людей, цвет лиц, цвет фигур, о которых я твердо говорю, что, видя их, – я видел все лучшее, что рождает Германия.

Свет Наугейма вдруг погас для меня. Да, там все культурно, доведено до высокой степени совершенства: но слишком богато, чтобы могло быть изящно. От богатства происходит некоторая лень если еще не движений, то в «цвете лица» или вот в «постановке головы». Наконец, решительно не изящны эти изысканные платья. В Hospice все были одеты в «несколько рублей», – и это совершенно необходимо для красоты человеческой, для достоинства человеческого. Шелк и камни Наугейма вдруг показались мне возмутительным мещанством. Я вспомнил Грецию, вспомнил, ей-ей, сквозь слезы: ибо здесь, в Hospice, я увидел кусочек ее же, древней Эллады, но в христианском преображении... И здесь профессор и гимназист, девушка и юноша, бедняк и «со средствами человек» все соединились в одну толпу под благородным одушевлением, совершенно одинаково одетую, одинаково едящую, одинаково беспритязательную, потому что она одинаково образована. «Как в Греции»... где Перикл и его Аспазия, философ Анаксагор и с ним полемизирующий Сократ были одеты равно в полотняные хитоны и туники и не было на них печальных и гробовых мундиров, орденов, чинов и «положений».

Из русских каждому советую сходить туда и хоть «для виду» на денек-два поселиться там. Впечатление незабываемо, и его нигде не сыщешь. Небольшая вывеска «Hospice» (без «Cristlische» – это имя стоит только на печатных бланках «приюта»), и находится он на Matildenstrasse, недалеко от вокзала, в маленьком переулке, – неподалеку от Sonnenstrasse.

Все немецкие лица какие-то бесформенные, неопределенные, безлинейные, бесстильные... Точно Бог начал что-то творить, но бросил, не закончив, за какую-то безнадежностью...

Похоже, как над одною гробницею Медичи во Флоренции – неоконченная скульптура Микель-Анджело... Корпус вышел, фигура вышла, но лицо недоработано: тусклое, неясное...

Сам цвет их, в общем здоровый, – не имеет решительности... Что-то красноватое, но с прослойками белого или с проступающим сквозь кожу белым... Бык, но «с малокровием»... Ужасно странно.

Это все их немецкое пиво. На некоторых улицах Берлина самый воздух улицы пропитан пивом. Это противно.

И вообще, противного много в Германии. Это не юг и его стиль...

Пошел в Берлине посмотреть университет. Ведь там училось много и русских. Берлинский университет – почти русский университет: туда входили с прекрасной, волнующейся душой Грановский, оба Киреевские, Тургенев. Помните, тургеневское в предисловии: «Мне нужно было окунуться в Немецкое море». Это он писал об университете.

Вход, однако, «посторонним лицам запрещен». Из дверей его выходили и студенты, и барышни, очевидно «курсистки». В противоположность впечатлению прежней поездки, когда я видел группу студентов в Зоологическом саду, – на этот раз лица студентов были прекрасны «наукою», мыслью, одушевлением. Может быть, я взял их в хорошую минуту: ведь они только что выслушали лекцию. И еще то: ведь это летний семестр, шел их «июль месяц», и, очевидно, на лето остались заниматься самые лучшие. Но нужно сделать *nota bene*: в Германии, в университетах, лекции не прерываются и на лето. Много работают и не жалуются, что «жарко» или «устали».

Да ведь и все мы летом работаем. Вот и я пишу же.

* * *

Университет немного наискось от монумента Фридриху Великому и против дворца. Он отделен от улицы небольшим двором, посаженным деревьями. Выходя на тротуар улицы, стоят перед ним два великолепные памятника братьям-ученым первой половины XIX века – Вильгельму Гумбольдту, знаменитому лингвисту, и Александру Гумбольдту, творцу «Космоса», естествоиспытателю. Оба памятника из белого камня (мрамора?); ученые – в сидячем, свободном положении, полном естественности. Я долго рассматривал лица, – и что касается Александра Гумбольдта, лицо которого известно по множеству превосходных портретов, то сходство и выразительность лиц в камне достигнуты вполне. Лицо Вильгельма Гумбольдта еще выразительнее, изящнее и одухотвореннее, чем Александра. Оно вполне прекрасно, и не хочется от него отойти.

Посреди двора – белый мраморный памятник Гельмгольцу, величайшему натуралисту второй половины XIX века, обогатившему открытиями своими почти все области естествознания, между прочим такие далекие друг от друга, как физика и физиология. Ученый стоит в докторской мантии; лицо еще не старо и полно одушевления. В глубине двора, уходя влево (если идти с улицы), – совсем закрытый деревьями, памятник-бюст Моммзену. Совсем около стены университета – черный бронзовый памятник Трейчке, в позе говорящего пылкую речь оратора (стоящая на пьедестале фигура). На фронтоне университета надпись, которую, к сожалению, я не списал. Она отличается тем, что содержит в себе *личное и любящее* отношение к университету построившего здание короля. Приблизительно смысл ее: король Вильгельм (или: Фридрих?) посвящает (или: жертвует? дает?) это университету (или: музею университет?). Во всяком случае, что-то личное, а не шаблонно-казенное...

Цвет наук в Германии сыграл большую роль в порыве германцев к единству... И «железный канцлер», сев верхом на это ученое одушевление, выковал стальную империю, под тяжелыми доспехами которой задохлись музы... Таково кругообращение времен... Глядя на беспримерно тупые и вместе счастливые и торжествующие лица «квартильных» на углу улиц Берлина, вглядываясь в нарядную толпу берлинских буржуа, коммерсантов и «статских советников»,двигающихся в роскошных автомобилях по чудно мощенным улицам, наблюдая отсутствие какой-либо мысли в этой массе с плещущимся в утробе ее пивом, не умеешь провести никакой соединительной мысли между «порою Гумбольдтов» и «теперь»... Как будто той «поры» даже и не было никогда... Как будто «Universitas» и трогательная ему надпись еще скромного «короля Пруссии», – скромного короля скромного королевства, – есть какой-то счастливо приснившийся сон, который прошел, и от него ничего не осталось...

Проснулись пруссаки в «великую империю», которой трепещут французы и побаиваются англичане... Но, Боже, – что из этого? Кому это нужно?

А Гумбольдты, и Моммзен, и Гельмгольц были всем нужны. И о них можно сказать то, что история сказала о кротком императоре римском Тите: они были «утешением рода человеческого».

Не по зависти, не из страха о копье, мече и щите тевтонов говорится и думается: «Это решительно никому не нужно и даже решительно никому не интересно».

Из «пивной» Германии явно никакого «второго Рима» не выйдет... Постоит... погрозит кулаками на все четыре стороны... и повалится, как огромная глиняная бесформенная масса.

И когда она повалится, «музы» Германии засияют опять для мира прежним вечным блеском.

СЛАДКОЕ И ГОРЬКОЕ НА РУСИ

(К истории проф. М. М. Тареева)

I

Иногда трагедия лучше всего разглядывается в свете комедии и даже водевиля.

Несколько лет назад пожилой и скромный ученый рассказывал мне, сидя в партере театра, в антракте между двумя действиями:

– Удивительно... Я замечтался и перенесся на пятнадцать лет назад... Эта же публика, эти же стулья и занавес, только поменьше, похуже, погрязнее и подомашнее. Я жил тогда в городе Б., куда меня занесла служебная нужда. Скука, мещанство и одиночество. Но в глухую провинцию я унес горячую тему из университета, – и *мне* не было скучно. Окружив себя всяческими пособиями, я пять лет проработал над своею «Фотосферой солнца»... И верите ли, когда вез свое сочинение издавать в Москву, то все боялся отойти от ручного чемодана, в котором лежала огромная рукопись... «Похитят – и с рукописью похитят и *жизнь мою*». Это было буквально и верно: из этого же страха я не сдал чемодана и в багаж. Всю дорогу до Москвы я или не выпускал из руки ручку чемодана, или не спускал с него глаз. «Мое сокровище! Мое сокровище!...»

Он был серьезен и грустен.

– Деньги на издание уже были готовы, и все пошло вперед без задержек. Друг в Москве держал корректуры. Печатание продолжалось целый год. И вот, к 10 августа 18** года, я получаю ящик, в котором, отломав стенку, увидел *первые красивые экземпляры* моей «Фотосферы солнца». Неопишуемое чувство... счастья, гордости. Самосознание, ощущение своего «я» – страшно углублено и расширено. Самые жилы точно полнее наполнены кровью, мозг страшно прояснен и ярок... Все существование полно и легко...

Опять задумался.

– Стоял чудный летний вечер, почти южный, дела не было... И назавтра или послезавтра я отправился в наш маленький, почти «домашний» театр, устроенный при клубе, где шла, – в залах рядом, – жадная провинциальная игра в карты... Проходя, я с презрением посмотрел на заношенные сюртуки «обывателей», их красные от азарта лица и кучи кредиток, лежавшие посередине столов... Все еще я был полон сознания своего «я»... Конечно, и раньше я знал, что тогда как все «эти» играют в карты, я – «занимаюсь наукой»... Имена Уэвеля, Гершеля, Лапласа, Лаверрье горели в моем мозгу... Это было *всегда*, повторяю; но когда я увидел томики моей «Фотосферы солнца», я почувствовал, что мое *внутреннее* самоощущение теперь вышло наружу... и я не просто «миллионер в кредите», а «миллионер *въяве*». Это разница... которая налагает некоторые внешние обязательства. Все играющие в карты оглянутся на входную дверь и, увидев меня, не могут не

подумать: «Вот идет наш Уэвель, написавший книгу такую же глубокомысленную, чистую и вдохновенную, как Уэвель». В душе же я сознавал, и ей-ей не без прав, что книга моя гораздо лучше уэвелевой, — смелее, самобытнее и оригинальнее... и... больше «против течения».

Но когда я вошел, никто не поднял головы над картами. Все так же шелестели сдаваемые колоды... И я прошел к «кассе», к барышне...

Тут мне впервые представился вопрос: «Куда же я сяду?» Всегда я сидел в шестом или седьмом ряду нашего крошечного партера, где было всего не более 25 или 30 рядов, — и, разумеется, без всяких «лож» и «галерей». Театр занимал просто большую залу при клубе — без всяких приспособлений. «Я не только не могу и не хочу, но я *не вправе* сесть не в первом ряду... *не вправе* перед своею милою и дорогою книгою». Да и, наконец, общество не могло бы тогда не улыбнуться ехидно внутри себя: «Посмотрите, вон наш Уэвель сидит в *седьмом* ряду»... «Явь» обяывает к некоторой *явности*: раз я напечатал огромную книгу в Москве, чего с основания этого древнего города не сделал *ни один* из жителей этого города за все века его существования, я не могу по самому «приличию», по «принятому» сидеть за спинами этих жителей...

По «принятому» где?..

Отчетливо мне представились в эту минуту Лондонский королевский театр или парижская Grand Opera, и никак я не мог вообразить, чтобы Спенсер или Шарко, отдохновенно заглянувшие туда, сидели где-нибудь «в публике». Если для театра наступило такое счастье, что в стены его вошел Д. С. Милль или Спенсер, то, конечно, их все видят, все рассматривают украдкою в бинокли, — как я рассматривал их карточки у себя в альбоме, — и, просто, они не могут «затеряться в публике». Вы поверите, что все эти сложные чувства пробегали у меня не от тщеславия, а от того, что «таково положение вещей» и «иначе быть не может». Ученый — первый свет в стране: как же свет может быть *не виден*? Или может быть *позади*? «Естественный порядок вещей» требовал, чтобы я взял билет в кресло первого ряда.

И я решил, и уже держал 5-рублевую бумажку в пальцах, почему-то нервно ее сжимая и теребя.

Почему «нервно»?

Я не привык.

Я решительно смутился спросить у «барышни» билет первого ряда кресел, потому что за всю мою жизнь я никогда не сидел в театре в первом ряду. И «почему» не сидел — тоже не понимаю: в провинции это так дешево и ничего не стоит. Но в первом ряду «сидят другие». Но теперь, с изданием книги, я стал *впереди* решительно всех этих провинциалов... их каменных домов, их галантерейных магазинов, содержимых ими кокоток и их тупоумных жен. Переменилось *положение*, и...

— Я *обязан* взять билет первого ряда.

Наискось от меня, к тому же окошечку «кассы» подходил наш толстый и милый генерал... единственный генерал в городе... человек мягкий, об-

разованный (артиллерийская служба), живший со старушками-сестрами и в связи с женою своего подчиненного, полугенерала, которая, впрочем, была в связи, кроме него, и со многими другими... Обыкновенная провинциальная жизнь... Генерала этого все уважали и все любили за его мягкий характер, и оттеняли в уважении, что он «образованный», «начитанный человек»...

Не торопясь, он подошел к «кассе» и, шепелявя заикающимся своим языком, произнес:

– Б-б-б-илет мне...

Барышня подала билет 1-го ряда.

Вторым подходил я. Еще публики не было.

– И мне билет, – сказал я, почему-то нетвердо.

– Которого ряда? – твердо и с неудовольствием спросила барышня.

– Шестого... Пятого...

– Пятого или шестого? – переспросила она резко и с неудовольствием, которого нельзя было скрыть.

– Пятого, – ответил я дерзко. Как будто я сражался с невидимым врагом.

Она выкинула билет и сдачу... Пошел я и сел... Я не видел ничего на сцене... В мозгу моем стучали молотки: как *смел* я сесть в *пятом ряду*... унижить Д. С. Милля, Спенсера... Разом разрушить всю европейскую науку... Дело тут не во *мне* вовсе, а в том, что я *изменил* «своим», изменил целому сонму светоносных ангелов человечества, бьющихся с тьмою его... Все они чувствовали в себе, говорили от себя, да и *о них написано в истории*, что это суть первые люди человечества, вожди его, полководцы его, «боги» его... Написано, напечатано, явно, огромными буквами, и никто в целом человечестве этого не оспаривает... Кроме меня. Меня, так безмерно любившего их... Я вдруг все скомкал, смял. Я из их числа... По силе идеализма, энтузиазма, да, наконец, и по определенной научной заслуге я не уступаю ни которому из них: почему же, почему, когда встретился грошовый практический факт, такой презренный, такой ничтожный, без всякой «души» в нем... я пошел и сел *позади* всех, не решившись сесть, – нужно сказать кровавую правду, – между генералом и кокоткою «как им равный». На деле, на факте, пусть мизерном, – *я не осмелился стать в один ряд с ними*... Между тем, это в точности кокотка и обыкновенный генерал, и я в точности то же, что Уэвель.

Никогда я такого смятения в душе не чувствовал. Такой смеси оскорбления, гордости, гнева... Чувств, буквально разрывавших душу... Мне казалось, я все перестал понимать: все, чему учился в университете, все, что знал, о чем читал... Все стало вверх ногами. Буквально, светопреставление... Я пережил настоящее «светопреставление» в душе своей; и вы ничего в этом ощущении не поймете, если хоть что-нибудь в моем переживании отнесете на счет моего самолюбия, моего личного самолюбия...

Вскоре мне пришлось перевестись в другой, тоже провинциальный город... И мне непонятно было, отчего товарищи по службе встретили меня враждебно, отчужденно, с какою-то миной не то сожаления ко мне, не то

лукавой насмешки надо мною... Я был со всеми добр, ласков, предупредителен и, конечно, первым делом подарил им по экземпляру своей «Фотосферы солнца». Впрочем, в карты со мною играли и звали в гости. Я играл плохо и обычно проигрывал в вечер рубля по три, – не жалея и думая: это я заплатил как бы за *место* в театре. Но случилась раз вечеринка, у кого-то на именинах: все пили, шумели. Когда многие гости разошлись и осталась более интимная и, естественно, более «дружеская» компания, то один из гостей, взяв у хозяина с полки мою «Фотосферу солнца», положил ее на пол и сделал такой жест, как бы он на нее... Тут я не могу описывать буквально, за неприличием... Я был поражен, но было так стыдно, что не мог не сделать вида, что я не понимаю. Хотя не понять было невозможно... Товарищи смеялись и удерживали расхोлившегося товарища, они говорили ему слабые порицания и мне некоторые деликатные слова... Но я всем существом моим чувствовал, что внутри себя они все согласны с «зашедшим далеко» товарищем и что, под винными парами, он исполнил то, что и они все охотно бы сделали, но только не у меня на глазах... Он «раскрыл карты»... Я вдруг почувствовал, до чего не нужен, враждебен всем этим «товарищам»... До чего одинок... И никому, кроме себя одного, не нужен и не интересен...

«Зашедший далеко» товарищ, нужно заметить, был самый образованный, начитанный, а в обыкновенное время и самый тихий между всеми... Только с обилием тайного смеха в себе... «Смех» же этот и скрытая вражда ко всем вызывались, я знал, тем обстоятельством, что никто не уважал его домашней жизни, холостой и вместе в высшей степени грязной, именно «дома» грязной... Но он был начитан и в древних, и в новых литературах и был положительно, определенно талантлив.

– «Душная провинция», – думал я, – и опять зарылся на годы в книги. Но вот судьба перевела меня в столицу. Свое «узельство» я также нес в душе, твердо, неуступчиво, фанатично. «Ведь я-то внутреннюю цену своей книги знаю... Что мне, что она не прочитана, не замечена... Не сам ли я писал об «истинах геометрического характера», что «даже и тогда, когда они *никем не сознаются*, когда ни один человеческий ум не держит их в себе, – они остаются *истинами*, где-то вне сознания человеческого, как это было в средние века с теоремами Эвклида и Аполлония»... Если *так*, – все же я остаюсь нашим русским «Эвклидом или Аполлонием», и во всяком случае, – Узелем.

Издание свое я передал «на продажу и распространение» в один большой книжный магазин и, как приличествует «Узелю», написал серьезным тоном несколько строк владельцу книжного магазина о поступлении к нему моей «Фотосферы солнца» и что условия продажи – такие-то. К удивлению, он мне ничего не ответил... Я почему-то не написал ему второго письма. Впрочем, первое было послано «заказным», и, конечно, он получил его. Но отчего он ничего не ответил?

Годы шли. Я старел. И теперь с улыбкою рассказываю вам все это. Годы, длинные годы, прошли, прежде чем я убедился, что моя «Фотосфера солн-

ца» решительно ни для кого не существует, кроме меня одного. Что целый мир мысли и знания и множество, как я думаю, «открытый», там содержащихся, – может быть, прочтены несколькими десятками таких же *одиночек*, как я... Прочтены, запомнены, восхитили их, как они восхищали меня во время писания моей книги... Но и только. Что такое эти «одиночки»? Тоже боящиеся сесть в первый ряд кресел, как и я... Что-то забитое, скромное, в сущности, убитое на Руси. Как-то в Публичной библиотеке я занимался в крошечном ее отделе, где хранится личная библиотека Вольтера... И, копаясь в книгах, разговорился с ее умным и образованным «хранителем». Когда первые речи прошли, я спросил его, отчего моя «Фотосфера солнца» не получила никакого отзыва в печати, никакой оценки. Знаете, что он мне ответил? Нужно заметить, – свой вопрос я предложил этому ученому оттого, что несколько лет назад был уведомлен из Петербурга сообщением, будто он с величайшим интересом читает мою «Фотосферу» и собирается о ней писать. Меня интриговала мысль, отчего же он не написал? И вот он ответил мне: «Отчего? Очень просто. Книгу вашу, в сорок с лишком печатных листов, нужно читать полгода. Но ее нельзя читать, а нужно изучать. Чтобы о ней писать компетентно, нужно ее *изучить*... Нужен на это год... И вот это сделано. Нужно о ней написать. Куда? Из журналов может поместить разбор вашей книги один «Журнал министерства народного просвещения», имеющий читателей сто и платящий за печатный лист сорок рублей. Если разбор книги выйдет в два печатных листа, то автор получит *восемьдесят рублей за год усидчивой, трудной и ответственной работы*... Если бы наши ученые были вельможами, – они могли бы так щедро работать. Но наши ученые – все бедняки, к тому же с семьями, и все живут помесечною своею работой. Какой же бедняк может посвятить год работы чужой книге, ему не родной, и остаться самому и свою семью обречь на голод?... Да хуже: на голодную смерть. Такого энтузиазма вы не можете предположить и требовать. И вот отчего о книге вашей не появилось никакого отзыва, кроме как в беллетристических и публицистических журналах, где, вы знаете, отзыв был дан на 2–3 страницах, через месяц после того, как ваша книга появилась, но авторами, вашей книги не читавшими, а написавшими о ней по впечатлению от предисловия к книге... и для заработка 10–12 рублей, полученных за 2–3 часа «ознакомления» с книгой и о ней «писания». Вот и все»...

– «И *все*»... Да, ужасная правда! Из теснин которой не вырвешься. Ученый этот раскрыл мне глаза. А весь мой жизненный опыт привел меня к грустному убеждению... Но тут я вам должен передать мое впечатление от книги Ренана «*Averroès et averroïsme*»... Ренан рассказывает, что в эпоху господства арабов в Испании интерес к физико-математическим наукам и к философии Аристотеля и его великого комментатора, Аверроэса, разгорелся так сильно, что охватил города, и спорили чуть не на площадях о том, как понимал Аверроэс и как понимал Авиценна то или иное положение греческого мудреца... И вот, – продолжает Ренан характеризовать время, –

время XI–XII веков по Р. Х., за триста лет до книгопечатания: «Если умирал кто из ученых и у родных оставались на руках его книги», – т. е. пергаменты, – «его ли сочинения или просто его библиотека, то они быстро и жадно покупались тут же, на месте, около его дома или в его городе. И ничего не было труднее и реже, как чтобы книги ученого из Кордовы попали в Севилью или Кадикс»... Эти-то слова и пролили в меня грусть... Русские ученые почти рассовывают, и почти даром, свои книги, но они не находят не только покупателей, но и читателей. Книги берут «из уважения к автору» и ставят на полки... И нисколько не автор делает честь, что «подарил книгу», но почти читатель «делает честь», что взял... *согласился* принять книгу у автора и дать ей место в своей маленькой, жалкой, грошовой библиотеке, нечитаемой к тому же. Положение это до того убийственно, с тем вместе оно до того точно, что...

Я посмотрел на лицо собеседника. Оно было необыкновенно грустно. Но он вдруг рассмеялся:

– Будем смотреть пьесу. Занавес поднимается!

* * *

В самом деле, что значит *горячая* судьба Галилея, сказавшего о земле «а все-таки она вертится» на дворе суда инквизиции, где он отрекся от своих сочинений, – перед *холодной* судьбой русского ученого, русского мыслителя, русского «открывателя»...

Отрекается ли он или не отрекается, сделал ли он открытия или не делал их, горел ли энтузиазмом или нет, – на все это даже и «глаз никто не подымет»... от карт, от флирта, от служебного дела...

Для всякого явления «нужны его условия», – учат физика и философия. И чтобы «горел огонь», нужен воздух... Нужны не фитиль и масло только, но воздух.

И вот фитиль есть, масло есть... «Зажглось бы... Сейчас зажгу». Безумец не разглядел, что он сидит в затхлом погребе. Он чиркнул спичкой, – сыра. Взял извне пламя и поднес к фитилю, но пламя потухло с вонью, а «фитиль и масло» являют просто «загрязненную в масле тряпку», от которой воняет и которую стоит только выбросить...

Ничего невозможно!!!

Как это ужасно... Как ужасно сознание, что в России, в сущности, *ничего невозможно* в сфере умственной жизни, на попрание умственной жизни, умственного риска, умственного энтузиазма, умственной «надежды, веры и любви».

Если это тихо...

О, скандал, – другое дело. Если «полетели стулья», «раздалась оплеуха», что-то «затрещало», – совсем другое дело. «Вся Россия сбежится».

Но «сбежится», ведь, на скандал, а не *на мысль*. В том и ужас, что *на мысль* невозможно никого созвать, даже некого позвать. Никто не придет. Будьте уверены, – никто не придет.

Никто не придет на вашу мысль...

Сердце холодеет, если произнести это серьезно и вдумчиво. Сердце холодеет за Россию. Сердце холодеет в России...

В «галилеевых условиях» тысячи русских схватились бы за борьбу; ну, не тысячи, а сколько есть *мыслящих*... А они есть. Но если никто даже «не подымет глаз от карт»?

Чье сердце не остановится, не заледенеет, не смутится?

– Кому я себя отдаю на растерзание? Чему отдаю? Родине? Но родина есть у солдата. А у русского ученого нет родины. Отдаю *вере, церкви, науке*, что ли, или *философии*... Но, ведь, всего этого у меня на родине есть только *имена*, есть *названия*, а самих-то *вещей* вовсе нет.

– Играют в карты... Служат... Копаются за печкой со своими любовницами... И произносят торжественные слова, если кто-нибудь их укорит в дикости. Да, забыл: и еще сбегаются на скандал. Но я – тихий человек и никак не могу произвести скандала. Не умею, если бы даже и хотел.

– Да, такого, как вы, задавят без шума. В России, прежде чем задавить человека, к нему подходят бочком и, если видят, что он может «произвести скандал», то опасаются, выжидают момента и даже, может быть, ничего не сделают. Хотя вероятнее, что, в конце концов, задушат же. Но если косою глаз ловца подметил в жертве тихость и бесшумность, тихость и безъязычность, то длинными пальцами он немедленно ухватывает глотку жертвы и, надавив коленом на грудь, шепчет:

– Что же ты не пишиши? Пишиши, если тебе больно или я не прав... Православные, он не пишшит... Знает вину свою и не пишшит... Знает, что гаду гажья смерть, – и не сопротивляется. Рученьки опустил. Тело похолодело... У, змея! Гад!!

* * *

Рассказ моего приятеля о том, как он *психологически не смог* сесть в первый ряд кресел после того, как смог написать и отпечатать замечательную научную книгу, – при всем своем комизме дает лучше всего возможность понять, как и почему совершилась поблизости к Москве, в Троице-Сергиевом Посаде огромная, жгучая трагедия, которую издали и не рассмотреть.

Я говорю о профессоре духовной академии, г. Тарееве, авторе четырехтомной книги: «Основы христианства». Краткое сообщение хроникера о том, что он «отрекся от своих сочинений», «обязуется принять меры, чтобы они не распространялись до исправлений», и «исправить все места в них, какие ему укажут», – прилетело сюда, в Наугейм, естественно несколько поздно... Автор хроники добавил от себя: «Не знаешь, чему больше удивляться: странным ли требованиям духовной власти, так безмерно притязательной, или ученому профессору, согласившемуся на требования, слишком унижительные и не для профессора»...

Удивляться можно... только России.

Фитиль может гореть только на открытом воздухе... В погребке он потухнет. Дома нельзя построить, не заложив фундамента... Позвольте: как же вы хотите, чтобы светло и высоко вспыхнула, хотя бы и горькая, страдальческая, судьба ученого, судьба мыслителя, сгорающая в пламени борьбы, сопротивления, отстаивания своих убеждений... когда *предварительно* решительно ничего для этого не построено, не сделано...

Ничего даже не начато...

Русскому ученому указывают на судьбу Галилея, воскликнувшего: «А все же она (Земля) движется!» Указывают на Джордано Бруно, сгоревшего на костре.

Но не замечают, что был кто-то трогательный и прекрасный около Галилея, который подслушал это его слово, и записал его, и сохранил для потомства. А когда горел Бруно, вздыхала вся Европа. Вздыхала и проклинала его судей. И проклятие это не умерло в веках.

Все дело в том, что гораздо раньше и Бруно, и Галилея была история «об аверроизме» в Испании, у тамошних еще арабов, задолго до книгопечатания: когда «рукописи, оставленные ученым, раскупались у вдовы его на вес золота», тут же, сейчас...

Вот эта-то «история книг и рукописей» и была фундаментом, на котором создались биографии и Галилея, и Бруно...

Как жадные нищие или как благородные скупцы, толпились «у ворот» ученого, мыслителя, открывателя новых истин, творца новых идей – ученики, – и юноши, и мужи, и, наконец, даже старцы, – ожидая, не вынесет ли и не выкинет ли он им нового намека, новой мысли, нового объяснения какой-нибудь проблемы физики или механики, какого-нибудь нового толкования непонятной главы Аристотеля. «Хоть чего-нибудь» и «будем ждать всю ночь»... как у «кассы Художественного театра»...

Но театр – зрелище, и сразу понятно. А книга?

Увы, ее еще *надо читать!* Т. е. *трудиться*.

Конечно, Горький взволновал Россию... *рассказом*; взволновал «Песню буревестника», в две страницы объемом, которые прочитываются в две минуты. А книга?

Увы, ее *надо читать!*

Это так ужасно. Не для читателя, который не читает, а для автора... который что же такое без читателя?

Что такое автор без читателя? Пусть задумываются во всей России.

Во времена Аверроэса читали не романы и не «Песню буревестника», а огромнейшие трактаты, истолковывавшие отдельные главы «великого, но непостижимого почти Аристотеля». Кстати, на русский язык и до сих пор не переведенного, кроме жалких и немногих отрывков. Но это в сторону. Что же такое автор без читателя? Мыслитель без ученика? Что такое скрипка, плачущая в небо, – гениальная скрипка и под смычком гениального скрипача, но... которого ни единая человеческая душа не слышит.

Да, русские, и, вот, может быть, тот же самый Тареев, умерли бы от счастья, задохлись бы от счастья, если бы им в 1910 году дано было вступить «на линию Галилея» и даже на страшную стезю Джордано Бруно. Разве русские не умирали в других случаях, в других положениях, для *которых был фундамент*? Фундамент в том, что о них вздыхали, их знали, оплакивали...

Это воздух, на котором «горит фитиль»; и *красивое здание*, построенное на заложенном фундаменте. Но по тем же мотивам в «далекие остроги» не уходили ни при Алексее Михайловиче, ни при Михаиле Феодоровиче. По другим мотивам – уходили, но по *этим*, по *политическим*, – не уходили.

Не было *политики*, – и не было политического *страдальчества*, политической *жертвы*.

Уходили из-за двуперстного сложения, т. е. по-нашему и, кажется, поистине, из-за *суеверия*. Да, *суеверием* была полна Русь, и из-за суеверия страдали. Была *жертва* суеверию.

Но, вот, почти на днях, эти месяцы, отменили законы свободы вероисповедания. Это уже не суеверия, это – *религия*. И никто не встал за них и не пострадал. Говорили много, писали тоже много, но *жертвы* никто не принес. Отчего? Фундамента не было. *Суеверий* в России и сейчас бездна, а *религии* вовсе нет.

Как же вы хотите, как же кто-нибудь может потребовать, чтобы было «страдальчество за науку», «страдальчество за мысль», когда еще самой *науки* и самой *мысли* в России нет иначе, как прихоти каких-то «одиночек», а «вообще» и «всем» даже прочесть что-нибудь длиннее и тяжеловеснее «Буревестника»... не хочется, не может, косточки разбалчиваются...

Гораздо раньше, чем проф. Тареев дошел до своего позора (действительного позора), он шел очень долго к нему узкою, тернистою, колючею тропкою... путем удушливым и который становился удушливее с каждым шагом... и никто на него не оглянулся даже! Никто не сказал: «Брат мой, не тяжело ли тебе?» Нет, кто хотя бы понукнул его: «Ты должен дойти до конца» или: «Иди и крепись». Лютеру было очень хорошо, очень *легко* идти на вормский сейм, чтобы произнести великие слова, с которых началась реформация: с крыш города кричали ему люди, не могшие уместиться в улицах: «Иди, брат наш Мартын, и да поможет тебе Бог».

Как счастлив был Лютер! Как легко было ему! Летел, как райская птичка к райской веточке.

Но русский ученый? Даже русский священник?..

Все они «служат»...

Все они «ревизуются»...

Все они «носят форму»...

«Получают ордена»... Даже на Менделеева, когда уже он открыл Периодический закон и стал европейскою знаменитостью, какой-то Акакий Акакиевич повесил ленточку и крестик. И Менделееву ничего не оста-

лось, решительно ничего, кроме как взять и поблагодарить. Нет: встать, взять и поблагодарить. Нельзя же ему было закричать, начать шуметь и произвести чуть ни революцию из-за такой рядовой, очередной, обыкновенной вещи, как что ему «через три года после предыдущего повесили еще орден». Революции начинаются из-за голода, из-за страдания: а тут даже «удовольствие».

Менделеев, говорят, только «кричал на товарищей» при совместной работе; «срывал сердце»... Но «по службе» ему решительно «не было к чему придаться». Все было «в очередь» и все «с наградою».

И он, наш Менделеев (как мне приводилось слышать от близких ему), стонал, изгибался... но не мог переложить даже спички. «Все в порядке».

Условия, фундамент. Но Менделеев был европейское имя, завоеванное такой определенной вещью, как открытие нового и чрезвычайно важного химического закона. Есть, однако, области науки, где такие осязательные вещи невозможны, и навсегда невозможны. Такова и была... несчастная область, в которой трудился проф. Тареев.

Что-то «обреченное» в самом месте, где он трудился. Это – духовная академия. Не все отдают отчет себе в том, что это такое.

Все четыре академии – это четыре наших археологических института, но – со специализацией. Обыкновенные археологические институты трудятся над эллинами и римлянами. Академия – только над христианскими древностями. Все копаются в катакомбах и пещерах, все – над манускриптами, и преимущественно – пергаментными. Уже рукописная книга, если она на писчей бумаге, – кажется там нова; печатная – совсем новшество. Все это глубочайше призраемо, ненавидимо. Напротив, обрывок пергамента возбуждает величайший интерес.

Все академии – существенно филологические. Суть археологические институты по предмету древнехристианской письменности. И – только. И – точка. Ни вправо, ни влево. Новейшая власть оттого и задалась грубою и довольно элементарно-учебною задачею: потребовать, чтобы духовные академии вырабатывали *хороших священников*. Ибо это, все-таки, что-то *живое и действительное*. Дело в том, что академии не имеют и никогда не имели, вообще, никакого *живого* объекта, никакой *живой действительно-сти* предметом своей деятельности.

Например, каноническое право? Это – *история канонического права*.

Литургика? – *История литургий*, какие они составлялись на Востоке, какие на Западе.

Философия? Это – *история философии*.

Т. е. везде – *археология*. «Тезисов» (у академии) не было: были только «истории» тезисов.

От этого *метода* все вообще профессора, как и студенты академий, были всегда... если не атеистами, то религиозными индифферентами. Что духовная власть знала и чему удивлялась, не понимая, что самым *методом* всего дела, всей постановки академий, она сама это устроила.

Дозволяла только «археологическое», *в методе* археологии, *под углом* зрения археологии.

Но когда же археология вдохновляла к вере? Сколько «эллинизмом» ни занимайся, – не поверишь в Зевса Олимпийского.

«Пусть просто будут священники»... «Науки не надо». Вот простое и довольно практическое решение вопроса, к какому пришла новейшая власть. «Науки» как некоторого действительного постижения действительных вещей – там никогда не было. Но видимость, или, говоря духовным языком, некоторый «докетизм», – был. Власть сняла призрак, и осталось ничто...

«Священники так священники, – нам все равно», – решили индифферентисты-профессора, которые и прежде больше «казались», чем «были», профессорами и которым шли очередные кресты, «статские советники», «коллежские советники» и проч.

* * *

Вдруг в эту кашу замешался профессор Тареев. Он написал четыре тома «Основ христианства». Он написал и изложил некоторую мысль... чего никогда, от основания, в академиях не было. Он взял предметом не *археологию* христианства, а само христианство как мысль, как истину, как факт... притом (как объясняет в предисловии) на основании личного опыта, личных сердечных переживаний, личного отношения к Неисповедимому Лицу Христа.

Этим не только в академиях, этим и архиереи никогда не занимались. «Личное отношение ко Христу»? Это даже страшно... Они «служили»... вдовели, и поступали в монашество, и тогда становились архиереями... которых же удостоивал обер-прокурор, те возводились в митрополиты... «Все по порядку».

Но Христос? – Странно...

Вдруг явился человек с целью, с полной мыслью о христианстве. С глубокими тревогами о нем... с жгучими вопросами и недоумениями, которые, после годов размышления, вылились в стройную систему... около которой «велеречие» Филарета московского казалось отныне просто ученической выделкой.

Самое время Филаретово было *в этом отношении* глубоко наивно... Самое время наше слишком созрело после Филарета в других отношениях и, между прочим, в этом отношении.

В Германии и Италии, во времена Лютера, Галилея, Бруно, даже в Испании в эпоху «аверроизма» – мысль Тареева, его четыре тома облетели бы страну и стали бы «всеобщей мыслью» и предметом «всеобщих споров»... как «Песня о буреветнике» у нас, они легли бы всеобщим «впечатлением» на Россию, вызвали бы всеобщую «впечатлительность»...

И, чувствуя ее за собою, Тареев заговорил бы с каким-то ревизором, «его же имя Ты, Господи, веси», – так, как подобало бы:

– Вы прочли мою книгу?

– Что же вы скажете о ней? Против нее?

Великая трагедия... и комедия и, наконец, водевиль заключался, конечно, в том, что всеконечно книги Тареева «ревизор» даже и не понюхал; а «в Петербурге пошли слухи, что какой-то Тареев осмеливается, еще всего в чине надворного советника, судить о неподобающих вещах, ставя вопросы: что есть христианство и каково его отношение к личной свободе, к общественному устройству, к семье, браку и труду? На что все давая ответы не благолепные и переписанные из Отцев, а живые и от своего дерзкого разума». Остроумие дела заключается в следующем. «Ревизующий» был, всеконечно, монах: в книге же Тареева на все вопросы, жизненные и жгучие, дан именно монашеский, аскетический ответ, совершенно отвечающий учению всех подвижников христианства, всех пустынников и отшельников, но *с заключительным отсюда выводом*. После долгих размышлений, годов размышления, наконец, после тончайших ощущений собственной души, Тареев пришел к выводу, что Христос берет *только душу человека*, в нашем смысле – *только одно сердце человека*, его *единственно: все же* остальное на земле если и не откидывает прочь, то проходит мимо него равнодушно, как проходил равнодушно мимо кирпича иерусалимских стен, мимо его торгова и политических связей, мимо его уличных нравов и проч. Он брал только *единичную* совесть, непременно *личную* совесть. Отсюда – его «прощение грешницы», вкушение «с мытарями», его «воздайте Кесарю – Кесарю, а Божие – Богови». Едва я изложил это, как читатель понял, что это, конечно, *так*, и даже скажет, что ничего тут нового нет, что всегда всеми это так и понималось. Но Тареев – твердый и последовательный ум. Одно дело – сказать афоризм, и другое дело – развить систему. У нас – афоризм, у всех афоризм, у «ревизующего», как и у Филарета в «велеречии», стоял афоризм; Тареев же из *исключительности* нужды Христа в душе человеческой вывел *ненужность* для Христа всех областей собственно мирской, собственно земной нашей жизни. Но и до сих пор он с аскетами. «Ненужность» он почти словесно преобразовал и получил из нее тезис: все земные материальные условия и проявления жизни христианских народов должны и вправе протекать совершенно вне христианского воздействия и влияния, без вмешательства сюда церкви, которая, имея совсем другой корень в себе, чем на каком корне держится реальная жизнь, – может только ей повредить, помешать, замутить ее чистое природное течение...

Тогда духовенство закричало: «Караул!»; «ревизующий» закричал: «Караул!»; большие чиновники в Петербурге закричали: «Караул!» Совершенно не видя, что перед ними лежит чистое аскетическое учение.

Но со всеми из него выводами.

Если бы книга Тареева была написана в пору Петра Великого и его борьбы с «длинными бородами», то великий преобразователь России не Лейбницу бы протянул руку, а ему, с тем же чувством, восхищением, с тем же сознанием нужды, полезности и благодарности. И если бы Государственная Дума наша хоть сколько-нибудь «продолжала дело Петрово» на Руси, то в борьбе своей с теми же «длинными бородами», какае у нее есть, была

эту зиму и зиму предшествовавшую, она оперлась бы на того же Тареева. Тареев дал целую систему мысли, чисто философской, чисто психологической, – но страшно важную с государственной точки зрения, с общественной точки зрения, с утилитарной, практической точки зрения. Эта система мысли дает все, что нужно монаху: возвеличивает его, удовлетворяет его, что самое важное – очищает его, очищает от приставших к его рукам частиц золота, власти, притязаний. Но, это сделав, – она стальным образом *ограничивает* монаха. И, как вольную стрелку, пускает реальную жизнь в бесконечный полет вперед. Это система поистине гениальная, и только потому, что она проста и строга...

Но... она длиннее «Песни буревестника»: та написана на двух страницах, а эта в четырех томах. По *преобразовательному* своему духу, наконец, по духу, прямо ломающему, революционному, она выше не только этой ребяческой выходки Горького, но и всех его «повестей» и «рассказов», не уходящих далее призыва ремесленника «поколотить прежнего хозяина» и даже «разнести самое ремесленную управу». Но самая «революция» в ней выражена спокойно, ясно, твердо, без визга и лома, а как указание путей бесконечной работы, бесконечного совершенствования...

Но все разбилось о факт: никто не читает, никому не известно. «Куда же это читать четыре тома»!!

III

Есть явления *сверкающего* порядка, и есть явления *копящего* порядка. И то, что возможно в порядке *сверкания*, совершенно невозможно, неисполнимо в порядке медленной копоты и всего того удушливого, темного, невидного, что сопровождает ее. Все почти явления Западной Европы совершились в порядке сверкания, в законах сверкания, в психологии, мотивах и надеждах сверкания; у нас, на Руси, все почти происходит в порядке копоты.

Английский король, давней средневековой поры, был разгневан упорным методическим сопротивлением кентерберийского архиепископа Фомы Бекета. Монах решил вернуть духовенству и церкви высокое, независимое и гордое положение, какое, по его мнению, им принадлежало. Король был раздражен, и раздражение все нарастало... Раз, на какой-то охоте, при сообщении о новом «неуступчивом» поступке архиепископа, у него вырвалось восклицание: «Боже! Кто же меня *избавит* от этого несносного попа». Восклицание – как момент, как движение языка и сердца. Ни слова не говоря королю, трое рыцарей отделились от его свиты и куда-то ускакали. На другой день всю Англию облетело известие, что трое рыцарей, прискакав в Кентерберии, закололи Фому Бекета чуть ли не во время самого богослужения.

Народ пришел в смятение... К гробу умерщвленного стали собираться тысячи народа... Истерика, волнение... Начались «исцеления»... «чудеса» около гроба. Могучий голос народный назвал погибшего «святим». Король, испуганный, смущенный, принес покаяние, в разодранной одежде и посы-

пав голову пеплом перед телом врага своего, – и спешно отменил все свои постановления относительно духовенства и церкви и дал им еще неслыханные новые привилегии. Все, чего при жизни не мог достигнуть Фома Бекет, он достиг минутою своей страдальческой смерти.

Это – сверкание.

Каждая минута ярка, каждый жест виден; все осталось на память векам, для рассказа историкам.

Митрополит Филарет московский умом, ученостью, благочестием и, наконец, желанием поставить церковь на высоту положения тоже... производил некоторое раздражение. Его чтילה вся Россия, – и он уже при жизни имел то, что Фома Бекет получил только после смерти. Все шансы торжества и победы на его стороне; много шансов...

Да. Но с ним никто и не боролся. В Св. Синод был вдвинут обер-прокурором ген.-адъютант Протасов, человек без всякой учености, но упорный, добросовестный и неутомимый работник: и теперь «делопроизводство» синодальное, в котором ни одна бумага, т. е. никакая воля, никакое желание, никакое распоряжение, – не могут идти к исполнению без «скрепления и пропуска» обер-прокурора, стало все течь по желанию не Филарета, а ген.-адъютанта Протасова. О. Филарет мог *оспаривать* взгляды Протасова, ставить ему *возражения*, ссылаться на *каноны* и историю церкви. Но Протасов, по необразованию, всего этого даже не понимал!! Не понимал ни основ ученого, ни доводов логика: открытыми глазами, с ясным кавалерийским сердцем, он смотрел в глаза говорившему Филарету и поступал... по здравому смыслу. По здравому военному смыслу. Например, он перевел духовные учебные заведения, семинарии и проч., в ведение исключительно обер-прокурорской канцелярии, изъяв их из ведения собственно Синода как иерархического собрания. Так это и до сих пор: преподаватели «богословия» и «толкования книг Ветхого Завета», как гомилетики и арифметики, – все назначаются «приказами обер-прокурора», по всей России, – без малейшего сношения с местными архиереями или со Св. Синодом, с митрополитом петербургским или каким другим.

Митрополит Филарет рассердился и перестал бывать в семинариях, – даже своей московской епархии. Да, но «перестал бывать» – это не история. Наконец, он редко стал посещать и заседания Синода, говоря, что «шпоры обер-прокурора путаются в моей мантии»: но что же и тут рассказывать историкам?

Так как он стал «мало бывать», – то его «перестали приглашать», т. е. на сессию, и митрополит московский просто перестал, на это время его жизни, быть членом Синода.

Не о чем рассказать. Ничего не видно. Да: еще он «возражал». Но заседания Синода происходят в торжественном зале, торжественной обстановке и, естественно, без зрителей и слушателей. И что он «возражал», – никто не слышал и «по сей день» осталось никому не известным. Не вошло ни одной чертой, ни одним звуком в «Собрание отзывов и мнений высокопре-

освященного митрополита московского Филарета», напечатанных в нескольких томах уже при Победоносцеве. Это «отзывы и мнения» рукописные; «пометки» его на бумагах, на книгах. Из «устного», т. е. из возражений Протасову, ничего не вышло.

Было или не было... Если и *было*, – то как *не было*.

* * *

Это – копать, чад... Просто безвестность, безмолвие. Таков *метод* русской истории.

Еретиков за еретические мнения жгли. Нет, справедливее: в суде инквизиции предварительно *изучали* книги, например того же Бруно; находили, что *пантеистические* взгляды философа, его ранняя *натурфилософия*, противоречат учению и догматам католической церкви. И предлагали отречься от этих взглядов философу; а при упорстве сжигали его и сочинения его.

Да, мучительно. Но ярко. Все видят; все знают, в *чем* обвинен; все, целая Европа, во всяком случае все ученые всей Европы, обсуждают тезисы Бруно и критику инквизиции.

Памятно ли это? Да, это история науки, история мысли человеческой... за которую, ей-ей, стоит сгореть. Ведь кончают же самоубийством вовсе даже из-за неважных мотивов: на поле битвы солдаты, т. е. мужики, умирают за отдаленное, за отвлеченное «отечество» и ради «воинской чести» своей части, своего полка, своего корпуса, в котором «мужичок Иван» имел каждый день щи и кашу. За науку, за истину, за новое в мысли человеческой, право же, не трудно умереть, не тяжело умереть... ни Бруно, ни было бы Тарееву.

И Бруно умер: было ярко, да и отстаивал определенный тезис против определенного отрицания.

Есть берега, есть определенное...

Но... «в Петербурге пошли слухи»: ради чего я буду умирать тут? за что?

Далее, из Петербурга прислали ревизора, – вроде Протасова, – который все смотрел «вкось», в нижний левый угол комнаты, в которой стоял, и ходил около всех профессоров «бочком», чтобы кого не задеть. А задевая, язвительно извинялся: «Я, кажется, задел вашу милость? Прошу прощения». Что же тут, кричать, что ли? От боли? Да, ведь, ее нет...

В том и ужас, что ее нет!!! А уже все профессора чувствовали, что они, в сущности, съедены – и правые, и виноватые.

И специально – Тареев. «У вас, кажется, есть напечатанные труды. Позвольте полюбопытствовать».

«Любопытствует»... Отмечает ногтем сбоку все, что напоминает «слышанное» в Петербурге...

«Сие невразумительно»... «А сие кажется быть и подозрительно»... «Сие же окончательно негодно».

Как? Что? Отчего? – никому не известно.

«Монах есть затворник» (Тареев).

– Истинно (ревизор).

«Вне затвора, по ту сторону двери, жизнь и течет, как есть: дерево растет, как дерево, коровы плодятся»... (Тареев).

– Плодятся? Неодобрительно (ревизор).

«Коровы плодятся ежегодно... И когда люди достигают возраста»... (Тареев).

– Люди? Но они под благодатью... (ревизор).

«...Достигают возраста, соответственного размножению, – то тоже плодятся, и, приблизительно, тоже ежегодно»... (Тареев).

– Вот сие-то... самое сие и ересь... На которых страницах? Где? Как сказано? Позвольте мне книгу в руки.

* * *

Встретилась каменная стена с мыслью личной, утонченную, которую чтобы усвоить, – нужно трудиться. Встретились *лицо человека* и просто *стихия природы*. И стихия победила, стена задавила.

* * *

Вот и все. Никакого «суда» не было. Сложились так обстоятельства, сложилась, – говоря термином Милюкова, – такая конъюнктура обстоятельств в «благодатном царстве», в царстве «не от мира сего», что сделалось возможным задавить человека выдающегося, даровитого, самостоятельного, – и задавили...

И только...

«Обыкновенная история», говоря словами Гончарова. Боже: да разве все не такие же «истории» повседневно совершались тысячу лет в этом царстве ладана и труп.

Молитв и муки.

«Обожаемых» останков... и зарываемого заживо в землю живого, дышащего человека...

Теперь, как и тысячу лет... Тысячу лет было все равно то же, что теперь: только, за «дымкой лет», все кажется голубоватее, лучше.

«Конъюнктура», между прочим, совершилась вразумительно для историков. Тареев унижен унижением, еще не слыханным в России... И унижен в те самые дни, когда идет «распутинская история», т. е. история о сибирском мужичке, которого и иерархи церкви, и всемогущие светские люди принимали за «учителя веры и благочестия», следовали ему... не сумев узнать в нем хлыста. При всех средствах «расколоведения» и несмотря на В. М. Скворцова, гг. Булгакова и Айвазова, сочли обыкновенного хлыста за «столп православия».

Все это – нити одного узла: Тареев низверженный и – прославленный за «святого» обыкновенный хлыст...

Острую и ослепительную муку и принял бы Тареев. Она бы увековечила его мысль, осталась бы в истории. Но ему было...

Предложено выйти в отставку. Историей «отставок» историки не занимаются. Да и никто ими не занимается. Это просто дым, копоть...

Сырость, смрад. Кто же ими занимается. Это не история, а отрицание истории. Это – *недопущение* истории, *недопущение* до исторической важности, интереса и значительности.

«Профессор» просто и «профессор в отставке» – почти все равно.

А под этим что? Та темница, описанная в дантовском «Аде», – где мятежный Уголино умирал с голоду вместе со своими сыновьями. Никто не «морил голодом» Уголино: никто даже не являлся к нему, не трогал его пальцем. Он «сам умирал», как раки «сами варятся» в котле воды, поставленной в печь. К Уголино не «пропускали» хлеба: действие безболезненное, и даже никакого действия.

Духовная власть знала, что делает. Она не была в «неведении», что Тареев имеет сыновей, мальчиков еще маленьких, только вошедших в пору учения. Может быть, у него есть дочь, девочка. Духовная власть знала, что «отставка» выкидывает все это «зараженное (отцом) гнездо» на улицу, – где «мужского пола» лицам предстоит нищенство, голод, сума, а лицам «женского пола», может быть, и более тяжкое...

Что такое ученый богослов, отшельник, схимник науки среди торжища наших дней? В Испании времен арабов он понятен и возможен. В век Фауста – понятен, всем нужен нарасхват. Не отбился бы от учеников. Увы! Наука и мысль страшно *сузились* с тех пор... высохли. Это уже не материк, а остров. «Ученый духовной академии» только и мыслим в духовной же академии, к которой он не только приспособился, но вся его жизнь, деятельность, мысль и занятия, вся его возможная работа и выросли из *приспособления к ней, в соответствии с нею*. Есть *зов и ответ*: и когда нет «зова», что будет с ответом?

Семинария и духовная академия *родили* Тареева, выткали его кровью и нервами своими. И вне этой «утробы» он немедленно задыхается.

Все это духовная власть усчитала.

Трудиться? Литературничать? Но он только ученый, – по предмету, весьма мало интересующему вообще всех. «Получив отставку», стал бы писать в газетах? Вообразите берлинского Гарнака, издающего вечернюю политическую газету; представьте Фауста, редактирующего какую-нибудь из наших провинциальных газет...

Конечно, оба не имели бы подписчиков. Судьба Уголино – у обоих.

Бесспорно, не раз в долгих ночах последних двух лет, и может быть, в которую-нибудь ночь с страшною остротою и мученическим сиянием, знаменитый профессор простаивал часы у двери в спальню своей семьи, ре-

шая вопрос между личною своею гордостью, диктовавшей «отставку», и между тем, чтобы разбиться самому как ученому и человеку, разбиться даже как просто «уважаемой личности», – сохранить сон, покой, еду, школу этим еще детям, но которые *одни, одни* во всей России знали, любили, жалели своего «папу».

«Отставка», – и дети погибнут. Россия ничего не заметит.

Унизиться унижением, страшным и не для ученого, – *и единственные в России существа, его любившие и понимавшие*, останутся жить.

Он справедливо решил, что здесь выбор идет между судьбой целой группы детей и его *тщеславием*, а не великими фактами «нужды России», «нужды науки». Если бы России он был нужен, – Россия и заступилась бы за него. Если бы он был нужен «науке», – «наука», олицетворенная сонмом ученых, и заступилась бы за него. Но Россия не заступилась. Ученые не заступились. Глухо кругом. Да, он был бы Иуда, предающий единственно «родное себе», если бы хоть на минуту поколебался в таком выборе и отказался подписать позорную бумагу, позорную для личности его...

Без опоры на Россию, без опоры на науку – тут только тщеславие. Мелочное самолюбие мелочного человека. Именно, как только он отказался бы подписать бумагу, его оплевывающую, его позорящую, – он вдруг и показал бы, что он «бумажный профессор» и что вся его великая и *новая* концепция христианства есть вовсе не «личное переживание», как он писал в предисловии, а игра слов, типографской краски и бумаги. Самая книга его, в четырех томах, открывается рядом глав на тему: «Уничтожение Христа»... Провиденциально и характерно. Именно, униженный, оплеванный и оскорбленный образ Христа привлек Тареева с такою пронзительною силою, *личною* силою, что он к подножию этой Главы в терновом венце сложил свою философскую мысль и бурные идейные ристания... К подножию этой Красоты, Скорби – он все положил. И вдруг он, написавший все эти чудные, трогательные главы, сказал бы:

– Не хочу страдать. Сам не хочу... А дети... пусть будут, как знают.

Конечно, тут его христианство и провалилось бы в бездну. А Тареев – христианин. Тареев – глубочайший из христиан нашего времени. Это – не тот юродивый, перед которым ползали на коленях петербургские палатцы...

Конечно, он непременно должен был пройти «путем Христа» не этими «семью неделями поста», когда мы кушаем рыбку без мяса, а вот подлинным путем настоящего «заушения и оплевания», громкого, явного и пронзительного, почти как в Галилее...

Эту сторону его концепции христианства не знают люди, не читавшие его книги. Христос его привлек не мудростью, не могуществом, не чудесами, а единственно нравственною красотою. Центр же красоты этой – «уничтожение Христа», дни Его страдания и как бы отречение от всех божеских сил и проявлений.

Ведомство ладана и гробов, с выжиданием «конъюнктуры обстоятельств», – кроме всего прочего, – пугливо, робко... Косное, не умеющее отличить хлыста от православного, – оно вдвойне робко, чистосердечно не различая «правого от левого»... И уж если оно, приседая, чуть не извинялось перед Илиодором, поносившим здесь высоких лиц, если оно чуть не танцевало хлыстовский танец с «блаженненьким» только потому, что он был «принят как дорогой гость» в разных палаццо, – то, конечно, оно не посмело бы ничего сделать и с Тареевым, имей он какую-нибудь... защиту. Защиту в обществе, в печати, в собратьях-ученых, в привязанности студентов...

Но Тареев был одинок.

Он был настоящий, серьезный ученый, без забеганья перед студентами. Без «кумовства» с профессорами-сослуживцами... Я начал нарочно с рассказа о судьбе ученого, написавшего «О фотосфере солнца»... Как ни поднимался Тареев мыслью, – в «реальной обстановке дней» он оставался что-то «статским советником», ненужным для товарищей, которым «сесть бы лучше на его место», неинтересным и для студентов, для коих его томы были «трудноваты».

В общей печати и для обширного общества, стоусто гремевших именем Пуришкевича и запрещением «Анатэмы», – он был безвестен... Сравнить запрещенные «Анатэмы» и то, что случилось с Тареевым; сравнить, по мысли, по глубине, «Иуда Искариот и другие» и «Основы христианства»...

История проф. М. М. Тареева есть страшная и черная рана на теле нашей интеллигенции...

Наугейм

ИЗ ДЕЛ НАШЕЙ ШКОЛЫ

«Когда назначили Шварца, все обрадовались. «Слава Богу, – говорили все, – наконец-то нашли живого педагога». И действительно, было с чего возлагать на него надежды. Ему ли было, с его опытом, не знать и *не любить юношество*, ему ли было не знать школы: он был ведь и директором гимназии, и ректором университета, был попечителем округа, – и на последней должности не раз был»...

Кажется, – *ректором* университета он не был: это – выборная должность, а на *выборной* должности г. Шварц ни на одной не был. Он двигался единственно «по назначению», – от директора гимназии до министра.

«Выбор им товарища себе, в лице Георгиевского, бывшего директора лицея Цесаревича Николая в Москве, живого педагога, сразу показал, каким он будет. Я помню мою часовую беседу с ним. Он меня очаровал; и, между прочим, говоря о средней школе, признавал респект Государя Зенгеру выражением именно ее нужд. В его речи слы-

шались вера и звуки сердечного настроения. Но затем проходит месяц, проходит другой, третий, четвертый, пятый, шестой, год проходит, — и все, обрадовавшиеся назначению Шварца, с печалью задают себе вопрос: «Да что же с ним? О нем ничего не слышно, кроме войны с университетскою автономиею и с евреями и усиления уроков французского языка... Слышно, что он среднюю школу подготавливает совсем не в том виде, в каком собирался это предпринять вначале, когда признавал для себя обязательным следовать указаниям Государева рескрипта; слышно, что он не посетил ни одного университета и с учащеюся молодежью никаких жизненных отношений не имеет; слышно, наконец, что вся эта многотысячная *русская молодежь*, увы, по-старому, *существует для министерства только на бумаге*. Вот что слышно, и вот что зловеще»...

А в самом деле, чины *центральных частей* министерства просвещения знают «гимназиста» и «студента» только приблизительно, по тем «проектирующим рисункам», какие министру, без сомнения, представляются в моменты перемены формы:

— Так, ваше высокопревосходительство, будет одет гимназист...

— Хорошо.

— А вот это, ваше превосходительство, студент.

— Хорошо.

Но будем слушать:

«Чем же объяснить такую роковую метаморфозу человека, когда он стал министром? Увы, все тем же: злыми духами, пребывающими в министерстве народного просвещения...

Тем, что в нем говорится, я принимаю за смелость объяснить страшный рост самоубийств среди учащейся молодежи.

Они брошены в школу учиться на произвол судьбы, как в чужую среду, где не слышно никогда сердечного зова начальника к тому, у которого есть скорбь, есть гнет на душе, есть минута уныния, сомнения, отчаяния. Таким образом, значительная часть молодежи находится, в самый впечатлительный возраст, между семьею, к ней равнодушною (?!), и между школою, где *всякий учащийся знает, что ее главному начальнику так же мало до него дела, как до всякого уличного мальчугана*. И это в какое время?...

Следуют дальше слова, ради которых я делаю эту большую выдержку и которые останутся или должны остаться историческими:

«Я обращаю особенное внимание на нынешнее время и потому ставлю в тесную связь страшное *учащение самоубийств в учащейся молодежи с министром народного просвещения* (не с министерством, а именно с *лицом министра*, — говорит автор заметки), что в данную минуту начинается, хотя в слабых еще размерах первых сумерек утренней зари, самовольный протест некоторых молодых душ против поклоне-

ния кумирам революции. Да, этот протест слышен, и есть молодые души, рвущиеся на свет и на волю, чтобы быть сынами своего Бога и своей родины... Это есть, это факт; а если это факт, то можно ли мириться с предположением и с зловещею догадкою, что *единственное лицо, которого это пробуждающее в молодежи стремление к Богу, к родине и к Государю вовсе не касается, есть министр народного просвещения?*

«Вчера еще он мог, хотя неосновательно, махать рукою на молодежь, под предлогом, что с нею ничего не сделаешь, *но сегодня грех большой берет на себя министр народного просвещения, не признавая себя лично обязанным перед Богом, перед страной и перед Царем вступить в борьбу с духовною эпидемиею самоубийств и всю душу вложить в эту борьбу.* Для этой борьбы нужно, во что бы то ни стало, прежде всего, чтобы министра видели в университете и в гимназиях постоянно, чтобы дом его был открыт для всякого учащегося, чтобы он закрыл свои уши для уст разных ставленников около себя, отравляющих его духовно, и открыл их для детских и юношеских душ.

И все думается: если бы министр народного просвещения, вместо того чтобы *целые дни тратить на мертвые бумаги и доклады*, предоставил это дело своему товарищу, а *сам отдался бы весь сближению ежедневному с молодежью в школе*, он не стал бы ей близким и родным и не получил бы от самой молодежи чудотворной силы доверия для действия на ее душу и для помощи каждому в минуту отчаяния или тоски? Ведь уж потому самоубийств было бы тогда меньше, что *из десяти идущих на самоубийство больше половины вспомнят, что есть человек, в котором можно найти сочувствие горю или отчаянию*, понимание горя и отчаяния, и к этому человеку пойдут прежде, чем решиться на последний выход. И пойдут. И *выйдут от него ободренные, и этим человеком мог бы быть министр народного просвещения.*

А теперь больно, жутко и грустно. Наша школа – точно пустыня аравийская».

Автор этих строк – князь Мещерский... *enfant terrible** нашей печати, не раз говаривавший возмутительные вещи на страницах своего «Гражданина», но который имеет мужество иногда сказать и сверкающую правду.

В данном случае он сказал последнее... Он сказал ее, как старец-мечтатель... и, собственно, без всякого знания *конкретного положения* вещей в министерстве просвещения. Положение это, увы, гораздо хуже и нравственно гораздо отвратительнее, чем предполагает кн. Мещерский. Дело не в «равнодушии»; оно не действует так активно, как, во всяком случае, сейчас «действует» министерство и лично министр. Дело в чувствах и отношениях совсем другого порядка.

* ужасное дитя (фр.).

Пожилые москвичи помнят бывшего помощника попечителя учебного округа Кон. И. Садокова: в раннее зимнее утро он выходил, бодрый, свежий и умный старик (было ему уже за 60 лет), в гимназию, и громкий, отчетливый, уверенный голос его раздавался среди учеников, которых он любил живую, очевидную любовью и которые около него теснились и хотели тесниться. Выстаивал он долгие часы церковных служб, когда говел, – тихо, один, в маленькой приходской церкви. Он был «как Шварц», – раньше помощника попечителя директором нижегородской гимназии; и еще раньше, там же, простым учителем латинского языка и существовавшего в 60-е годы «законоведения». Вся жизнь его прошла, собственно, на службе в провинции, и в Москве он уже «увядал», прежде всего, по преклонному возрасту и, что столь же важно, по положению совершенно независимому. Ибо «помощник попечителя», естественно, своей инициативы не имеет и не может никак проявить свою личность в *управлении*. Ему оставалось одно: привет, ласка к окружающему миру. Ее он дал. Но в годы зрелости он показал себя удивительным человеком в *управлении*. Что такое «директор гимназии» в составе губернских властей, наконец, в губернском обществе? Тусклое имя, а для общества – антипатичное лицо. Ни власти, ни значения, – кроме как над гимназистами. Но Садоков сумел, удивительным умом и тактом, необыкновенно поднять авторитет гимназии, всего гимназического, всех забытых ее учителей – и делая добро этим учителям, додумываясь активно и сам, *как и какое* каждому сделать добро, – и управляя всем без крикливости, гнева, без мелкой злобы, без тени мести, властительно, гордо, с оттенком какой-то благородной и прекрасной гордости. Между прочим, у него в Нижнем Новгороде не было ни капли робости, заискивания перед наезжавшими из Москвы ревизорами и сановниками: и ученики, как и учителя, подозрительным глазом замечали все это и не могли не уважать своего великолепного директора. Около него был какую-то тенью, без значения и интереса, барон Розен – директор дворянского института в Нижнем же... Он, бывало, или говорил глупости, или молчал на редких «общих советах» обоих средних учебных заведений в Нижнем...

Между тем, чему просто не верилось, Садоков даже не был в университете. Он был семинарист, из старой «бурсы» Помяловского. И раньше директорства он был чем-то вроде инспектора народных школ в уезде и потом в губернии; может быть, год-два даже был простым сельским учителем где-нибудь в Макарьеве или Мискове.

Город Нижний, с его огромным, богатым и, естественно, самолюбивым купечеством, с его многочисленным дворянством, выбрал его городским головою. И городские дела он взял в свои руки, твердые и прекрасные. И везде, где бы ни появился, он «правил», а не разваливался на кресле. Встает рано – и все работает. И все с песенкой. У него был прекрасный голос, сильный и приятный, и, бывало, приходя в гимназию часов с восьми утра, он, идя по нижнему коридору, около учительских квартир, запевал громко

что-нибудь и будил учителей... Или уже со вставшими заочно здоровался этим собственным способом.

И никогда никто его не видал не только злым, но и унылым. Происходило это просто от напора энергии, творческих сил.

Не будь он «зависимым и ничтожным» лицом в Москве, около глупого и равнодушного графа-начальника, – несомненно, в 5, 8, 10 лет он великолепно «организовал» бы московский учебный округ. Именно *организовал* бы. В призвании к «организации» и был его талант. Но, поди же, никогда не вспомнят солнце над Русью. Как сделать «попечителем учебного округа» человека, в сущности, без образования! Как поставить «над университетом» семинариста, не бывшего в университете!

Между тем, изумительный такт и ум, да и чувство достоинства своего, наконец, достойное и горделивое поведение никогда никому не позволили даже подозревать, что он человек без университетского образования, и это знали только сослуживцы гимназии по послужному его списку.

Как сумел бы он поклониться таким старцам науки, как тогдашние Буслаев и Тихонравов, как теперешний Ключевский; сумел бы деликатно дать университету свободу, без безобразия, и «автономию» (на деле) без ссоры с Петербургом. И все бы сорганизовал, и все бы одушевил. Конечно, он не дал бы студентам, «своим бывшим гимназистам», умирать с голоду, доходить до отчаяния.

Но печальна Русь. Замечательный человек был позван на Москву, чтобы умирать... Умирать в тени, собственно, совершенно глупой пешки, над ним поставленной, но с титулом, красивыми бакенбардами и университетским дипломом, ни о чем особенном не свидетельствовавшим...

Бог с ним. Я увлекся воспоминаниями. Вернусь к кн. Мещерскому.

Г-н Шварц «тоже прошел все ярусы службы»... и, будто бы, от этого «всех любит и понимает». Так мечтает 78-летний князь Мещерский, всего полчаса видевший министра просвещения... Но мы его студентами видели в Москве в 1878–1882 годах: около блестящего талантом Ф. Е. Корша, всегда окруженного студентами, знавшего (так говорили) около 12 мертвых и живых языков, – уныло проходил в аудиторию А. Н. Шварц, и за ним следовало 5–6 студентов, «издателей лекций», которые уже приняли на себя работу всех слушать и все слушать; записывать, литографировать и продавать...

Заработок... Род «уроков»...

Но никто решительно из студентов этого «любимого профессора» не слушал... На первую лекцию собралось много, весь курс. Назначена была к годовому чтению «Речь о венке» Демосфена. Мы знали, конечно, что Демосфен был соперник Филиппа Македонского, и ожидали на первой лекции освещения эпохи, в которой поразительный оратор Афин столкнулся с жестоким и хитрым политиком-тираном северной малоизвестной области... Какие судьбы, какой перелом истории, какие таланты столкнулись...

Голосом, почему-то напоминающим ненамышленную мочалку, т. е. сухим, дерущим уши и не дающим ничего ласкового душе слушателя, лектор,

прочитав по-гречески строк 13 по тексту немецкого издателя Демосфена, остановился на следующем... Передаю вполне точно и с извинением за подробность. Демосфен употребил в первый же строке глагол в неопределенном наклонении: «acroastai» (аорист), но по смыслу мог бы употребить и «acroastai» (настоящее), и таковая, именно, форма в части из сохранившихся манускриптов его речи значилась. Но в части рукописей имелась еще и форма будущего времени: «acroastai»... Запомнил же, врезалось в ум... Да и всем студентам, я думаю, врезалась: потом припоминали с год. И вот сухая мочалка начала тереться около трех форм: «...astai» или просто «...tai». Трудится немец: т. е. трудились их два. Один – настоящий и большой, в Берлине, который, конечно, и изучал все рукописи, и открыл три надписания, и, приставив палец ко лбу, едва ли, однако, гениальному, задался вопросом: нельзя ли открыть и догадаться, которую единственно форму употребил Демосфен 2300 лет тому назад? «Что тогда прозвучало в Афинах: acroastai, acroastai или acroastai?»... И другой немец, совсем небольшой, директор московской гимназии, допущенный и к чтению лекций студентам, – который, все взяв у берлинского немца, начал излагать это юношам-москвичам.

И излагал не три-пять минут, а с четверть часа... И еще два-три таких же пункта, все грамматического разбора.

Ни Афин... Ни лица Демосфена, ни лица Филиппа... Ни величия исторического перелома.

Трет немецкая мочалка наши голые спины, с волей довольно нетерпеливой.

«Ну, издатели пусть слушают... А мы по изданным лекциям к экзаменам приготовим перевод и комментарий».

Но произошел единственный и исключительный случай за все четыре года, с 1878 по 1882 (и по всем курсам, по всем наукам): сбежали с лекций даже издатели!!!

Это все помнят, все могут меня подтвердить, в том числе теперешние профессора Московского университета: М. К. Любавский, А. Е. Грузинский, Матв. Н. Розанов, слушатели тогдашнего курса. Мы ахнули всем курсом, к ужасу узнав весною, что «лекций проф. Шварца не будет издано, так как издатели часть их не посещали, а остальные части – клоки бумажек – куда-то девали и вообще потеряли». Мы явились гурьбою к проф. А. Н. Шварцу и заявили, что никак не можем сдать ему экзамена, иначе как в виде простого перевода текста Демосфена, который приготовим сами, но без всякого к переводу комментирующего дополнения, т. е. без самой сути лекций, ради которой они и читались.

Мы тогда объяснили себе, что наши издатели «закутили»... И «манкировали» обязанностями, в сущности, очень ответственными. Однако это было наивно: отчего издатели лекций *никакого другого профессора*, решительно *ни одного*, за четыре года не «загуляли»? Явно, дело заключалось не в этом, а в такой нестерпимой скуке и, наконец, поразительной бессодержа-

тельности лекций, их безыдейности, что даже связанные обязательством перед товарищами, да и гонимые нуждою (годовой заработок издающих студентов не удержал их, не сманил их), они разбежались.

Так мы все до весны не имели духа прийти на лекцию Шварца... Шестьдесят минут, и все: «acroастай», «acroсастай», «acroсестай».

Конечно, этого слишком разительного случая не забыл и сам А. Н. Шварц. «Как не запомнить»...

Нет, конечно, что тут ломаться. Ни мы его не любили, ни он не имел причин «любить» нас...

Кн. Мецкерский ничего, в сущности, не понимает в А. Н. Шварце. Он видел «схему» карьеры, человека, министра; слышит говор вокруг и с изумительной точностью «телеграфирует» читателям своей газеты его статьи, точный смысл. «Все раздражены и поражены деревянностью»... Он, наконец, мечтает, как старец и человек, никогда не видевший министерства народного просвещения. И, как старый публицист, верно указывает: «Тут дух апартаментов»...

Ах, эти «апартаменты» около Чернышева моста. Но о них когда-нибудь потом. Договорю о Шварце.

Да, суть «увеличения уроков французского языка» (нужно же такое выдумать), к чему свел *творческую* деятельность министра народного просвещения А. Н. Шварц, — заключается, вообще, в полной безыдейности его... Нет мысли. Нет идеи. Ничего не «выдумывается». Во «французских уроках» не коварство какое-нибудь, а полная чистосердечность. Почему «французские уроки»? Сам он преподавал в гимназии и в университете греческий язык. Наконец, по природе или предкам он — делец, и уже скорее бы ожидалось «увеличение уроков немецкого языка». Но, как известно, все немцы немного конфузятся немецкого своего рода, зная, что на Руси немцев считают «тупоголовыми», и от этой застенчивости, вероятно, и не появилось циркуляра об «увеличении уроков немецкого языка», что естественнее ожидалось бы, так как немецкий язык для русских практичнее и в университете нужнее. «Французский язык» просто с неба свалился, — чтобы «что-нибудь выдумать».

— Ничего не выдумывается... Сажу три года и думаю, но ничего не идет в голову.

— Тогда не попробовать ли французский язык?

Слишком просто для государственного человека и государственных отношений. Не могу не сказать этой легкой критики. Как бывший слушатель и ученик, не могу не добавить про себя: «Боже, да это те же наши acроастай, acроасестай и acроасастай... Ведь и тогда ничего не выдумывалось... И было не по злому умыслу затомить нас, а по невольному и страдальческому положению, когда ничего еще не вылезает из головы»...

Так о Химере сложил какой-то древний поэт:

Из уродливого чрева вышло уродливое чудовище.

Как известно, Химера – мифическое существо – состояла из козы, льва и змеи. Ее все пугались, и вместе с тем она ничего не могла сделать. В таком «химерическом» соединении сливаются и у нас, изумляя публику: 1) сокращение автономии, 2) изучение французских слов и 3) не пускать жидов в школу. Что может быть и основательно, но в каком же порядке это находится и с которого конца тут читать сначала?

В ВОЕННОМ ЛАГЕРЕ РИМЛЯН

Молитва и удовольствия – вот единственное, остатки чего сохранились нам от древности. Таковы Колизей и Пантеон, храмы Пестума и руины театров в Помпее и Сиракузах. В целом виде или в обломках, наконец, в виде совершенно раздробленных камней, – это все игра и игра или все жертвоприношение и жертвоприношение (эквивалент нашей молитвы) старого, умершего и почти уже непонятного язычества. Поэтому я чрезвычайно обрадовался, узнав, что неподалеку от Гамбурга сохраняются развалины римского военного лагеря.

«Римский военный лагерь!» – это уже не игра и не «молитва» холодного и, по существу, не религиозного, хотя и благочестивого, народа, а его мировая «служба»: то, ради чего сохранено его имя в истории. Сто Колизеев, с ревушею от озверения толпою зрителей, не составили бы ни малейшего мотива произносить богомольно имя «Рима» полторы тысячи лет спустя после того, как умерло все «римское»... Колизей, это – *decadence*, грязь и смерть Рима; напротив, «военный лагерь на берегу Рейна», это – свежесть и молодость Рима, та его «*virtus*»*, и гражданская, и военная, коею он держался еще долго, когда внутри его, на берегах Тибра, уже все сгнило, рушилось и издавало одно зловоние. Сердцевина дерева сгнила, а кора и наружные слои все еще были крепки. Мне предстояло увидеть «подлинную кору» «подлинного Рима» – без следов интимности и индивидуальности, о которых всегда говорят останки молитв и удовольствий, – но с могучим выражением безличного «дела», безличной «работы», которые у этого именно народа и сыграли мировую роль.

Пусть эллин хвалится цитрой и мрамором...

Пусть еврей выразил себя в псалмах...

Рим выразил себя в том, о чем у нашего Майкова вырвались удивительные строчки:

И вековые бегут

В пустынях римские дороги.

Все умерло, рассыпалось с пришествием Христа на землю, но и с этим пришествием на опустелой и перекореженной новыми событиями поверх-

* «доблесть» (лат.).

ности земли продолжали стоять неразрушенными остатки римской цивилизации, как цивилизации не песен и вдохновений, а труда, заботы и разумного управления народами. Так насыпи и мосты наших железных дорог переживут остатки вдохновенных созданий Растрелли и др. До Рима история говорила стихами... короткими, обрывающимися, прекрасными, вечными. В *Риме* первая история заговорила прозой: о *деле*, о *нуждах* человеческих... И это пережило собою все.

* * *

До лагеря долго нужно ехать местностью, до сих пор несвободною от лесов... Нужно же представить себе эту местность две тысячи лет назад, когда и в помине не было тех городов, какие украсили теперь правый берег Рейна. Уже поездка дает впечатление ухождения куда-то вдаль от цивилизации, шума, суеты и гама окружающего... точно зарываешься в глушь куда-то, и вместе все свежее кругом первобытною свежестью. Нет ни деревень, ни сел. Местность, однако, все поднимается... не круто, едва заметно, но поднимается. Зоркий глаз римского полководца, сохранявшего «границы республики», выбрал для постоянной стоянки сторожевого легиона местность, не заливаемую разливами рек, не топкую, сухую и как бы господствующую над окружающими низинами или скатами. Наконец, въезжаешь в лес. Совершенно глухо. И неожиданно открываются глазам «*Castra Romanorum*»*... каменная твердыня, выдерживавшая 2000 лет назад натиск рокотавших волн варварства.

Это – Германия, дикая, Бог весть откуда пришедшая из Азии, белокурая, со страшными топорами на длинных древках, с дубинами, стрелами и луками, со своими колдунами и «куколками»-богами, бородатая, плечистая, грудистая, – лезла на худощавый, стройный, сухожилый, смуглый Рим, с его гордостью победами и властью над миром. Только здесь, в глухом лесу Германии, воочию видя перед собою «римскую кладку стен», ту самую, которую видал в фундаментах храмов в Риме, Байях и пр., оцениваешь всю неизмеримость мощи, охватившей такое действительно неизмеримое количество земель. Кажется, и голос не долетит, и весть не дойдет отсюда до Рима... И самая мысль и воображение отказываются «соединить воедино» горячий уголок Италии с маленькою мутной речкой, с «такими обыкновенными человеками» на его форумах, с этою сырою, холодною лесистою страной... Ничего «единого», ничего «общего»... И тут только, на этой почве Германии, оцениваешь, что «сухие, черноволосые человечки» на форумах Рима были на самом деле вовсе не «обыкновенными людьми», а какими-то действительно «духами-гениями» истории, с Фаустом в каждом *civis****, с Мефистофелем в каждом *civis*... Веришь в «духа земли», которого позвал Фауст и так испугался, когда он появился на зов.

* «Римский лагерь» (лат.).

** гражданин (лат.).

До телеграфа, до железных рельсов, до почты... как могла «шумная толпа на форуме» перебраться сюда, на Рейн? Не только мыслью, воображением, но и властью и «силою законов»...

Вот она где впервые сказала, «сила законов», и дала почувствовать себя миру... Раньше чувствовали прелесть арфы... Или власть деспота, насильственную, нелепую, ломающую, но и ломкую. Рим обнял все мягким железом «договорного начала», тягучим, умным, нигде не рвущимся, то истончающимся, то утолщающимся и везде непрерывным. Он все связал с собою; всех привязал к себе. Вечно выступая покровителем бессильных, он одолел всех сильных. Вторые были сломлены, а первые стали естественными подданными Рима.

И все это протянулось, наконец, от Рейна до Евфрата: никогда ни Наполеон, ни Карл Великий, ни халифы Востока не соединяли под своею властью столько земель!

А даже не было ни простой почты, ни телеграфа, ни железных дорог. Как же все уместилось в маленький мозг черноволосого, бритого, со стриженной головою римлянина, — одетого, вместо «платья», в белую простыню, с узлом на плече?

Но «уместилось»... В сущности, *государство*, в полный рост и в полный *гений* его, и было только *римским*. Потом были «этнографические группы» и удачные завоеватели.

* * *

Мы подъехали... Но это не «военный лагерь», как мы его себе представляем и как это у нас есть в действительности, а настоящая крепость, только небольшого объема. Стены невысоки, но страшно толсты и, конечно, могли выдержать какие угодно удары наивных орудий варварства. С внутренней стороны к стене примыкает вал, — как бы улица, на которой густою толпою, многими рядами вглубь, стояли защитники-римляне. От лезшего на стены врага их отделял невысокий, в аршин высоты, краешек стены и подымавшиеся до человеческого роста зубцы ее. За этими зубцами и стояли, конечно, римляне, недоступные стрелам германцев, и из-за зубцов поражали их копьями, мечами и метательными орудиями. Стена, сама по себе невысокая, со стороны осаждающих представляла значительную высоту, потому что под нею был глубокий ров, из которого земля, очевидно, и была выбрана на внутренний вал, за стеною, по которому ходили римляне. Его предварительно германцы должны были засыпать своими телами, чтобы уже по телам товарищей, «как по ровной земле», живые могли дойти до стены и, наконец, взобраться на нее...

Но их было море, этих варваров... А римлян — небольшая горсточка. «Лагерь» в конце концов был взят и разорен. Т. е. римляне были убиты, замучены и уведены в плен. Но стены и здания, ни на что не нужные «варварам» и более не страшные им, остались в глухом лесу... И благодаря отсутствию поблизости городов и каких-либо селений, жители коих могли

бы брать кирпич и камень для своих домов и построек, – он весь в материальной своей части сохранился в целости до нашего времени.

Это такая же прекрасная, волнующая и интересная руина древности, как и храмы Пестума, древней «Посейдонии», сохранившиеся на берегу Тосканского моря. Даже душу они волнуют еще более.

Это «труд» Рима; это «пот» его; это «оправдание» его в истории. О, как это благороднее Колизея!

А так просто все... Крепость образует совершенно правильный квадрат, с четырьмя воротами посредине каждой стены и двумя «сторожевыми башенками» над каждым воротами: точь-в-точь как это видим мы на монетах Константина Великого, построившего *Urbs nova** (Константинополь) и по этому случаю приказавшего изобразить на обороте монет этого времени часть городской стены, примыкавшей к «воротам», и вот с этими сторожевыми «башенками». Над воротами «нового града», «Царя-града», виднеются две звезды: «путеводные звездочки», или «звездочки-покровительницы» его в истории; так выражена идея «судьбы» и «вера» в эту идею первым христианским императором, впрочем поклонявшимся еще в то время Митре...

Мы вошли в ворота... В немногих саженях за ними простое и тесное здание, все из того же плоского и тонкого дикого камня («римская кладка»), видом напоминавшего наши «вафли». Это – *quaestorium*, «казначейство», первый признак «дела» и «работы», «ответственности» и «начальства». Все здание было мало, потому что представляло собою «ящик для денег», как и «казначейства» наших дней. Далее шли «жизненные части» всякой крепости, подвергающейся осаде: колодцы, с крышами над ними, бадьями и блоками. Черная вода виднелась глубоко. Но римляне, хранители цивилизации тех давних веков, именно отсюда черпали и пили воду: ведь это было тысячею лет раньше, чем Владимир Святой крестил русских в новую веру! Вот они, колодцы, старейшие, чем вся Германия! Какие новенькие перед ними Гегель, и даже Лютер, и даже сам седой легендарный Карл Великий!

Все ново... Все, как младенчество... Все, как «пошедшие потом дети». Это – «прашур» всего. Здесь, в штурме варваров, блеснула впервые заря «европейской цивилизации», этой новой и характерной культуры, так непереступаемо отделенной от античного мира.

Далеко по сторонам квесториума, почти подходя к стенам крепости, виднеются несколько глубоких квадратных ям: это «купальни», где освещались воины в жару...

Проходя в глубь крепости, находим небольшой крытый «плац», где в зимние месяцы когорты (роты) упражнялись в военном строе и обращении с оружием. Далее следует «преториум» – место торжественных государственных служб: это как бы общая, коллективная «душа», которою жила маленькая горсточка римлян, заброшенных, «куда ворон костей не заносит».

* Новый город (лат.).

сит», – нашей живописной терминологии. Здесь римляне дышали тем воздухом, тою атмосферою понятий и отношений, какою они дышали и в самом Риме. Здесь, между прочим, собраны военные орудия, найденные в останках лагеря: видишь преобразование... лука и стрелы в пушку! В самом деле: это целая машина, с рычагами и блоками, которая «натягивает» чудовищную тетиву лука, древком которого служит почти ствол целого дерева. «Спущенная тетива» бросала тяжелый камень на далекое расстояние вперед, в кучу врагов...

Это «ядро» древности, каменное ядро, – с которым начал и Бертольд Шварц, монах-алхимик, набредший случайно на состав пороха...

Наконец, как последнее, – «атриум», алтарь, с прекрасно сохранившимся митрианским памятником. К концу республики, в помпеянское время, быстро распространился по всему протяжению римского мира непонятный культ Митры азиатского, – может быть, персидского, – божества, которое энергично стало вытеснять чисто римских, капитолийских богов. Предание говорит, будто победители – солдаты Помпея – усвоили это божество у побежденных ими пиратов, по крайней мере, до войны Помпея против пиратов о культе этом ничего не было слышно в Риме, с этого же времени он впервые появляется и отнимает алтари у всех старых богов. Учение поклонников Митры было тайное, как тайное было и «богослужение», происходившее в пещерах и вообще не над землею, а *под* землею. В чем оно заключалось, – никто не знает. Но не может не волновать душу митрианский памятник, всегда стереотипно повторяющийся в местах, где происходило это тайное служение. Митра, юный бог во фригийском колпаке, с которого совершенную копию представляет теперешний монашеский остроконечный куколь (остроконечная шапочка), умерщвляет могучего быка. Бык пал на передние колени. Юный бог держит его левою рукой за ноздри (всунув пальцы в ноздри), тогда как правая рука по самую рукоять вонзила нож в правое плечо, на границе туловища и шеи. Левое колено Митры упирается в бок быка, правая обнаженная нога поставлена твердо (упираясь же) на землю. Но что характерно и что волнует душу, – Митра смотрит вовсе не на быка, борьба с которым и победа, казалось бы, должны были поглотить все его силы и внимание, а куда-то назад, вперед, вверх, как бы забыв о быке и отдавшись какой-то своей мысли, другой и новой... Изумительная в живости и вдохновении, его поза увлекает зрителя. Можно долго простоять перед памятником, не отрываясь. Памятник именно полетом вдохновения очаровывает. Это при полном еще непонимании *смысла* памятника, и можно представить себе, как он увлекал «посвященных», которым было шепнуто разъясняющее слово жрецом и учителем. На Митре короткий хитон, вроде полотняных кофточек католических патеров; но, как бы развеваемый ветром, за спиной его широким полукругом поднят плащ, весь испод (подкладка) которого виден зрителю (в древности – молящемуся), и этот испод плаща усеян звездами. Так во всей древности, в Египте, Сирии, у греков, *везде, решительно везде*, бык (Апис) служил символом,

олицетворением и выразителем плодородия и вообще животной, половой силы, страстей плотских и страстей кровных, и это совершенно бесспорно и совершенно исключительно, что я никак не умею связать стереотипный «митрианский памятник» и с ним всю «религию Митры» иначе как с первым и вместе пламенным появлением на земле монашеской идеи, скопческой идеи, аскетической идеи. Иначе никак нельзя его понять, раз что бык есть символ «половой силы». Тогда вдохновенное лицо Митры и его плащ, усеянный звездами, есть только вдохновенное ранее слово: «Суть скопцы... ради Царства Небесного». Но если это так, то совершенно понятна победа Митры над Юпитером: монашество и до наших дней *как-то и почему-то всегда побеждает!* Никогда и никто не разъяснит, почему и как... Казалось бы, противоречит оно природе, противоречит оно науке, разуму, даже противоречит явному, очевидному завету Божию («плодитесь», «размножайтесь») – всему противоречит, а идет и идет, побеждает и побеждает, «против разума и натуры». В нем содержится какая-то неодолимая привлекательность для душ, влечет их именно «преодолеть природу», «выйти» из природы и унести... куда-то вдаль, к звездам (митрианского плаща), в несбыточное и мечтаемое. Торжество *мечты* над действительностью, *идеала* над нею же, торжество *подвига* над «естественностью» – вот суть «аскетического», «монашеского» и (я думаю) митрианского. Но закончу о памятнике. Все его многочисленные аксессуары говорят о том же, и ни один не противоречит изложенному мной: метнувшийся пес (презренное животное, принадлежность домашнего очага и друг хозяйства) один только лижет жалобно падающую потоком кровь быка. «Она нужна только псам, эта кровь, источник животной силы...» Ту же идею доканчивает плоская, бессильная змея (это подчеркнуто на памятнике), опустившая голову в сосуд, куда стекает семя быка... «Жратва для змеи, олицетворения зла и гибели». Внизу – уснувший лев, другой представитель в древнем мире жизненного огня и силы. Убит бык, уснул лев – «вот когда мир успокоится». Позади, «прощаясь», стоит юноша, тоже в монашеском куколе (фригийском колпаке), с опущенным вниз погасшим факелом. «Все кончено! Прошла слава мира, суeta его». Впереди же стоит такой же юноша, все в том же куколе, но факел его поднят и горит. «Отныне будете как ангелы на небесах, с небесными радостями»... Все, вся сцена, включено между двумя лестницами: «нужно подниматься, восходить»; «Царство Божие берется с усилием»...

Во всяком случае что-то такое побрезжилось древнему миру раньше христианства. В век Антонинов Митра стал всепобеден, а образ мысли, а характеры, а домашнее поведение и, словом, *весь* духовный облик этих императоров и внутренний уклад их семьи, – есть уже глубоко не языческий, а типично христианский, кроткий, идеальный, не мстящий за обиды, прощающий обиды... Таков Антонин «Благословенный» (Pius), таков Марк Аврелий. Тогда понятен и источник новой веры: солдаты, морские разбойники, одни и другие – на низинах общественного положения, грубые, не-

образованные и простые души. «Сих есть царство небесное». В другой стране, у другого совсем народа, аналогичная (и высшая, конечно) «благая весть» появилась тоже среди «детей», «женщин» и «рыбаков» и также одолела «книжничество и фарисейство», науку и формальный обряд.

Я стоял перед памятником, не в силах будучи оторваться и от красоты его, и от судьбы бродящих в истории идей... Так русское скопчество, сколько ни «опровергают» его миссионеры и ученые, все ползет и ползет, находя восторженных последователей идеи «умертвить в себе быка» и обратиться или хоть уподобиться «безгрешному агнцу», «кровью искупившему грех мира»...

А суровая твердыня Рима стояла передо мною. Его сокрушили «варвары» и подточили вот такие «мистические бредни». И Антонин, и Марк Аврелий – уже не римляне, хотя по форме и продолжали «числиться» язычниками. Весь Рим крушился извне и подтачивался внутри... Таял, как холодный снег при восхождении нового солнца. Чары Востока сокрушили его...

Особенно внутри, в семихолмном городе, на берегу Тибра...

Но еще крепка была кора и зелены последние листья тысячелетнего дуба. Всего несколько сотен квадратных сажен земли да 5–6 тысяч крепких черноволосых мужчин, без жен и детей, несли свою «военно-монашескую службу» – без метафизики, реально – на границах неизмеримого царства и вместе безмерной по смыслу и качествам цивилизации... И долго разбивались об эту крошечную твердыню усилия народов и племен, массою так же превосходящих эту горсточку людей, как море превосходит ковш воды. Но «virtus» римская стояла. Не уступали сухожилные воины, за спиною которых, от этого Рейна до Евфрата, хранилось все ценное, все мудрое, все поэтическое и нежное, что выработали четыре тысячи предшествовавшей истории: от песен Анакреона до псалмов Давида, до сокровищ Александрийской библиотеки.

Выходя из porta Decumana (входные ворота «лагеря»), я заметил над ними безвкусную надпись:

GUILELMUS II FRIDERICI III FILIUS GUILELMI MAGNI NEPOS
ANNO REGNI XV IN MEMORIAM ET HONOREN PARENTUM
CASTELLUM LIMITIS ROMANI SAALBURGENSE RESTITUIT*.

Это понятно для посетителей, но древние никогда не писали «сын» и «внук» всеми буквами, а только обозначали инициалом первого звука. Надпись императора Вильгельма, очевидно, копирует титул Германика, знаменитого победителя тевтонов при Тиберии: он был «усыновлен» Тиберием, который, в свою очередь, был «усыновлен» Августом, – и об этой двойной связи на монетах, выбитых в честь его сыном его Каем Калигулою, чеканилось: GERMANICUS CAESAR TI (BERII) F(ILIIUS) DIVI AUGUSTI N(EPOS)... и т. д.

* Вильгельм II сын Фридриха III внук Вильгельма Великого на 15-м году правления в память и честь родителей восстановил Зальцбургское укрепление римского рубежа (лат.).

М. Г. Среди любезности, предупредительности и, наконец, прямо доброты, какие на каждом шагу встречаешь за границею и в лицах, и в учреждениях, – поражает и оскорбляет грубость, невнимание и, наконец, какая-то заплеванная неряшливость поступков, на которую наталкиваешься, обращаясь к лицам и учреждениям на родине. 3 августа московское отделение С.-Петербургского Международного банка получило поручение перевести деньги в Мюнхен на мое имя. Вместо того чтобы *прямо* исполнить это поручение, т. е. перевести сумму в который-нибудь из многочисленных и громадных банков Мюнхена, Международный банк поступает так, как бы он никогда ничего не слышал о Мюнхене и принял его за несчастное местечко, куда ни почта, ни деньги *прямо* не ходят: он переводит деньги в *Берлин* на банк Мендельсона, с просьбою дослать деньги в это несчастное местечко Мюнхен. Деньги переводятся уже Мендельсоном на имя «Bayerische Hypotheken Wechseln Bank» («Баварский Ипотечно-вексельный банк») ... И в результате этого нелепого перевода *углом*, «через комиссию», а не *прямо*, – я не мог получить денег еще даже 10 августа!! Bayr. Hypoth. Bank не получает от Мендельсона «avis», «уведомления» ... Чтобы ускорить получение, он взял у меня переводный чек и переслал его заказным письмом в Берлин, в какое-то дисконтное учреждение, с просьбою навести справку у Мендельсона и немедленно ответить по телеграфу. На вопрос же мой, почему «Баварский ипотечный банк» не переслал его прямо самому Мендельсону, мне ответили: «Nous n'avons pas affaires avec Mendelson»*, чем, может быть, и объясняется замедление Мендельсона. Но все это «С.-Петербургский Международный банк», – раз он решился переводить «углом», – должен был знать, предвидеть или предполагать, – и не делать вредной нелепости. Каждый легко может представить себе, в каком положении может очутиться русский за границею, а в особенности русский торговец, сам обязанный вносить *срочные платежи*, через подобную *просрочку* в получении на пять дней!!! Турист может измучиться, больной вынужден будет прервать лечение, которое прерывать невозможно, вредно; но купец решительно может понести большие денежные потери, не уплатив сам *в срок*. С разными лицами и в разных положениях от этого выйдет неприятность, неудобство, страдание, денежная потеря: и так как даваемые банку поручения – бесчисленные, и он самым бытием своим говорит: «Идите и давайте мне поручения», то представляется общественно-важным спросить в печати: *вправе ли* банк не переводить прямо, а переводить косвенно и через поручительство, когда есть возможность *переводить прямо*, т. е. когда в городе лица, коему деньги переводятся, *есть самостоятельный банк*?

* «Мы не ведем дела с Мендельсоном» (фр.).

Опускаю почтовую тоже любезность: на конверте с *большим пустым полем* красный почтовый билетик со словами «Moscou. № 68. R» и затем печатный кружок поставлены по сторонам моей французской фамилии, и, таким образом, в Мюнхене могли прочитать только: «osano». Буква «R» заклеена билетиком, а «ff» – покрыто черной краской. И это на «заказном письме» с *денежным переводом!!*

От почтарей до банков в России стоит что-то злое и глупое! Поле, не занятое писаньем на конверте, имеет почти вершок ширины и во всю длину большого конверта (сохраняю и сохранию его). Приемщику в Москве, очевидно, хотелось, чтобы в Мюнхене «помучились, разбирая адрес». Интересная психология, как и в банке!

ПОЛУПОНЯТНЫЕ РУИНЫ

Во Фридберге я посетил две «готики» – христианскую и еврейскую. Христианская, это – собор XIII века. Он не чрезмерен, но все-таки очень велик, а его размеры наружные и внутренние прекрасны и гармоничны. Он состоит из «нефа», т. е. средней части, и двух «абсидов», боковых «аллей». В самом деле, разделенный двумя рядами готических колонн, со стрельчатыми сводами над каждой, готический храм представляет собою, в сущности, три древесных аллеи, с перекрещивающимися суками не то высоких пальм, не то суровых сосен Севера. Что за идея его? Говорят: «Это – устремление души кверху», «полет ее в небо». Наверное, можно сказать, что все эти позднейшие объяснения искусственны. Соборы строились народно. Это – «готика», работа «готфов», варваров или полуварваров. Что они хотели выразить этими стрельчатыми линиями? «Душа устремлялась кверху» у восточных аскетов не менее чем на Западе; даже более: ибо на Востоке христианство было созерцательно, на Западе – практично. Но на Востоке строили купол и не знали никаких стрел.

Я бы не упоминал о Фридбергском соборе, ничем особенно не замечательном, если бы не увидел на нем одной подробности, которую знал только по описаниям у Гюго «Собор Парижской Богоматери».

Это – химеры, волки, гады и чудища, «демоны» и «грехи», символизированные фигуры, окружающие его купола. Как возможен обман позднего наблюдателя. Мы знаем, конечно, что это «изгнанные из своего места духи» или что это «демоны, не смеющие переступить ограду храма». Но каждый третий, каждый наученный, каждый чуждый нашей культуре и ее понятиям человек не без права мог бы заключить, что это есть «место, где люди поклоняются демонам, безобразные фигуры которых одни, естественно, они выставили на его фронтонах, около купола и по стенам».

Русские, у которых на этих самых местах стоят «святые угодники», непременно так бы подумали и были бы прямо испуганы видом старого католического храма.

Когда я заказал извозчику повезти нас в «старую еврейскую купальню», он улыбнулся.

Экипаж, слегка поднимаясь по камням, въехал в совершенно узкую улицу, застроенную бедными жилищами, старого и местами чуть ли не архаического стиля. Очевидно, это было старое еврейское «гетто», т. е. определенное, ограниченное место, отводимое в средневековых городах евреям, вне которого они не имели права селиться. Улица и называется «ludenstrasse», «Еврейская улица», хотя сейчас в ней живут немцы. Экипаж остановился скорее перед лачугою, чем перед домом. На стук в дверь вышла смуглая еврейка лет 35, за спиной которой виднелась худая и совершенно рыженькая девочка лет 13, явно ее дочь. Мы сказали, что нам нужно. И она ввела нас в древнее святилище своего народа, полного смысла которого и сама, вероятно, не знала.

Они есть везде, эти потаенные святилища еврейского народа, где только живет хоть какой-нибудь клочок их племени. Ни одна еврейская семья без него не может обойтись, — как не может обойтись христианская семья без крестильной купели. Евреи держат в секрете эти купели свои; о них иностранцы ничего не знают. Это — семейная, субъективная тайна Израиля, о которой так же не разглашают и так же не показывают, как чужим и внешним людям не показывают семейные спальни, семейного ложа и, вообще, следов и проявлений супружества, девичества и деторождения.

— Вот, — сказала еврейка, введя нас в сенцы с деревянным помостом.

Это была совершенно тесная комнатка.

— Спускайтесь по ступеням, — проговорила она.

Было полутемно. «Куда тут спускаться», — не видел я. И заглянул за перильца, за которые инстинктивно схватился. Узко, тесно, немного страшно. Снизу, однако, шел свет. Если бы не этот нижний свет, невозможно было переступить шага. Но он был ярок и шел из какой-то световой розетки внизу, т. е. из яркого, белого, воздушного кружка, казалось пересеченного нитями. Я начал ступать, все еще ничего не понимая и будучи совершенно убежден, что эта страшная яма, куда мне предлагали идти, внизу имеет выход куда-то в светлую преисподнюю, с огромным, могущественным источником света в себе... И, главное, с воздухом, воздушностью: насколько не хватало воздуха, настолько снизу, казалось, шли потоки его...

«Свет» и «воздушность», «возможность дышать» смешивались в этой преисподней.

Спутники мои, перешагнув несколько ступеней, остановились. Я пошел вперед, мнимый любопытством и некоторым волнением. За мною, с тускло горевшей свечою, шла еврейка.

Лестница шла винтом по кругу. Ступени огромные, т. е. очень высокие, и нужно было широко «разевать ноги», чтобы переступить с одной ступени на следующую или подняться с одной на следующую. В то же время могли установиться на одной ступени человека четыре, но не более, и, во всяком

случае, двое. Несомненно, это место «в действии» выражалось в том, что по ней вились две ниши человеческих существ – одна, спускаясь вниз, и другая, поднимаясь ей навстречу, вверх.

«Смелей! Смелей! Дальше, дальше!» Все к светлому кружку в страшном дне.

В местах «сгиба» лестницы стояли, на больших друг от друга расстояниях, серые колонны. Поднося к ним свечу, еврейка объясняла:

– Это – древний вид колонн, перенесенных из Соломонова храма. Вот это – миндальные цветки.

Она указала на капитель, серую, обшарпанную: действительно, она являла вид тех «чашечек цветка», какие я знал по серебряным сиклям Симона Макковей и которые у нумизматов именуются «цветком гиацинта»... По нашему бы просто – «колокольчик», «чашечка цветка».

Опять, через несколько ступеней, она подняла свечку к серому камню:

– Это – гроздь винограда...

Да, гроздь и листья.

И, наконец, совсем низко:

– А вот – фиговые листья.

Я едва-едва узнал форму листов, прикрывающих «известные места» на гипсовых статуях в залах Академии художеств.

И, едва сделав еще шагов пять, – я остановился...

Передо мной сверкала черная вода. Я присел и опустил в нее руку. Холодна чрезвычайно. С волнением я рассек раз, и другой, и третий эту воду... Она очень чиста и свежа. Боже, сколько веков прошло! И сколько еврейских женщин погружали в эту самую воду свои тела и прошли вот по этим самым ступеням, и таким мертвым по числу усопших, когда-то по ним ходивших, и вместе таким живым: ибо в каждый год, положим XVI века, евреи знали, что по этим самым ступеням, никак не минуя их, пройдут их внуки, правнучки, и так «из рода в род»...

Страшная встреча жизни и смерти.

«Миква», или «купель Израиля», представляла собою очень тесный и неглубокий бассейн, в который каждая еврейская женщина должна была погрузиться с головою три раза и, дабы очистить и внутренность свою, должна была сделать три глотка воды. Объяснявшая женщина говорила, что погружаться должны были только «женщины».

Но это только теперь мужская половина уже не исполняет древнего закона, и она, очевидно, ошибалась, имея в виду современную, небрежную практику. На самом деле в четверг, в дневные часы, погружалось все мужское население, а в сумерки – все женское: и это было приготовлением всего Израиля к встрече «Небесной Невесты», «Царицы Шабас» сходявшей во все еврейские дома, в каждую хижину семейного еврея, в вечер пятницы, с появлением первых вечерних звезд. Эти «погружения» были наше разлитое «крещение», пульсирующее во всю жизнь еврея и еврейки. Их значение – такое же, как нашего «крещения»: оно очищало от «скверны», «нечистоты»

и «греха» еврея, тело его и душу его... Как это в формуле «очищения от скверны» удержалось в нашем крещении до сих пор. Наше «крещение» есть обрядовое и вместе таинственное, сакраментальное, священнодействующее «погружение в воду» еще евангельских времен, но в евангельские времена и в Иерусалиме, вообще в Палестине, и у евреев не было других «погружений», кроме как это, которое я теперь рассматривал в Фридберге.

Бесшумною струею человеческие тела вливались в бесшумные черные воды, с ярким серебряным кружком посредине, – «звездой» Израиля, «солнцем» Израиля... В каждой религии есть или, точнее, попадают, случаются, «выходят» световые, звуковые иллюзии, которые верою верующих поднимаются к особенному смыслу и на всех производят особое очарование. Таков «вечерний звон» православия. Этот «свет внизу», «из земли выходящий», тоже должен был производить на фридбергских евреев особое впечатление. Войдя в воду, по ритуалу неглубокую, чуть-чуть выше пояса, они (по ритуалу же) должны были низко присесть, «так, чтобы на поверхности воды не остался сухим ни один конец волоса», и, повторив это три раза, – выйти. Вне сомнения, одевание происходило уже наверху, – при массе народа невозможно было допустить никакого замедления в движении сюда и отсюда, а это непременно произошло бы, если бы внизу же и одевались. И другою сторонкою лестницы, нежели какую произошел спуск, освеженная и как бы «воскреснувшая» или «выздоровевшая» вереница тел подымалась вверх, навстречу спускающимся. Вот каждое к каждому подходит, сближается, почти коснулось, расходится, разошлось и, разойдясь с одним, с десятком, с другим, или одиннадцатым, опять сближается, почти коснулось и опять расходится.

Два как бы блока, параллельные, друг возле друга, движутся непрерывно, но оба, и притом в каждой точке, с психеею в себе, с неразгаданной и молчаливою душою.

Грубые камни. Такие большие. Холодные камни. Но горяча душа по этим камням идущих.

* * *

Мы стали подниматься. «Откуда же это белое пятно?» – спрашивал я еврейку. Она что-то говорила, чего я не понимал. Наконец, она подняла руку вверх. Я взглянул туда же. Простое стекло-потолок, круглое, вставленное над бассейном. «О Господи, как просто!» – подумал я и немного рассердился. На большом расстоянии и ярко освещенное солнцем, оно, «как зайчик», сияло светом внизу.

«Все просто на свете». Для идеи «миквы» (еврейские ритуальные омовения) во Фридберге все удачно соединено. Вода, по закону, должна быть не нанесенною искусственно, не налитою в бассейн, а почвенною. Это важно. Но весь Фридберг лежит на каменном массиве. Пришлось прорубить его до почвенных вод, т. е. очень глубоко. В то же время Фридберг находится в виду Наугейма и его целебных источников. Из камня брызнул ключ,

холодный, в 8 градусов температуры... И евреи, и еврейки выходили из него с тем чувством, как русские богомольцы, искупавшись в «источнике св. Серафима Саровского». То же чувство, и психология, и все...

Освеженные, они входили в свои дома в вечер на пятницу, за немного часов до встречи «Царицы Шабас»... И она входила в их домики, к этому часу тщательно вымытые, выметенные, без крохи «кислого» на кухне, в щелях, в соре. «Кислое» – окисляет собою все, производит брожение... Коснувшись крови, свертывает ее. А еще особенностью и «чудом» древнего храма было то, что, – по легендам раввинов, – в его атмосфере, в его дворах и стенах, кровь никогда не свертывается, не могла свернуться, т. е. оставалась вечно живою. «Все – к жизни, ничего – к смерти» – таков закон, дух и традиции. Отсюда – вражда евреев к окисляющему (т. е. свертывающему кровь).

На дне я задумчиво водил рукою в холодной и черной (вблизи) воде, вспоминая веру всех евреев: «Бог очищает душу евреев, как миква очищает тела. Бог – миква Израиля».

ЕВРЕИ И ХРИСТИАНЕ

Очерк

«Госпожа Н. своей внешностью и говором совершенно походила на добродушную русскую барыню. Я был удивлен, когда, после довольно продолжительного с нею знакомства, узнал, что она еврейка.

Оставшись восьмью лет круглой сиротой, она нашла приют в христианской семье. В этой семье все относились к ней с добротой, а потому и в дальнейшей ее жизни знакомые и друзья у нее были христиане.

Она мне рассказала, как однажды ее девятилетний сын, после смерти мужа бывший ее единственным утешением, задал ей такой вопрос:

– Мама, правда ли, что меня аист принес к тебе?

– Да, он нашел тебя в поле и принес ко мне.

– Отчего он не принес меня к христианам? Тогда я был бы христианином.

Эти слова, наивно сказанные сыном, огорчили ее. Она ему ответила:

– Будь счастлив тем, что ты еврей. Бог любит евреев. Мы – избранные Его.

– А разве христиан Он не любит? У них в церкви так хорошо, и они такие добрые. Ведь и ты их любишь?

Он выговорил это с такою детскою наивностью и таким жалостным голосом, что у матери навернулись слезы, а, увидя их, мальчик расплакался.

Выслушав этот рассказ, я сказал:

– Почему бы вам не крестить вашего сына? Вы же сами дали ему такое воспитание, что ему хочется быть христианином.

– Я желаю воспитать его так, чтобы он был хорошим человеком, но не хочу делать его христианином. Иудейская вера наиболее угодна Богу.

– Имеете ли вы на каждый день молитву, соответствующую нашей «Отче наш», в которой бы вы обращались к Богу как к отцу всех людей?

– Я ношу на груди серебряную пластинку. На одной ее стороне изображены скрижали Моисея, а на другой – прекрасные слова молитвы, славящей единого Бога Израиля.

– Мы тоже славим единого Бога; но Бога не одного какого-либо народа – такого Бога нет, – а Бога всех народов, всего мира. У Него все люди равны. Его надо славить не молитвами, а добрыми делами.

– Если Бога не славить молитвами, то, что же вы делаете в церквях?

– В церкви, глядя на совершающееся, слушая пение и громко произносимые слова, мы объединяемся в общей молитве о том, что внушает нам любовь и сострадание к ближним. А у вас, в синагогах, о чем молятся?

Прямого ответа я не получил, но, как бы оправдываясь, она заговорила о том, что ее все любят и уважают.

Желая ей сколько-нибудь выяснить значение христианства, я сказал:

– При всяком веровании могут быть и добрые и злые; но только христианство внушает людям видеть в другом человеке как бы самого себя, прощать всякое причиненное зло, и только оно ведет людей к нравственному совершенству. Уже в настоящее время мы видим, что христианство все более и более влияет на народы всех верований, и придет время, когда не будет ни единого человека, который бы жил и действовал, не подчиняясь учению Христа. Вы сами по убеждениям и поступкам – христианка.

Тут у моей собеседницы глаза засверкали, и, как ужаленная, она сказала:

– Евреи должны держаться заповеди Моисея: «Око за око, зуб за зуб», потому что они у христиан не пользуются равноправием; а это – страшная несправедливость.

На это я ответил:

– Меня поражает такая ужасная заповедь, когда я слышу ее от вас. Она нехороша уже тем, что усугубляет зло. Какое же равноправие, когда часть людей, благодаря заповеданным внушениям, отвоевывает изловченными человеческими способами несоответственную долю благ у того народа, среди которого она пребывает паразитно, враждебно, нисколько ему не сочувствуя. Если немногие действуют против многих, то многим остается действовать против этих немногих.

Утешительно, что, независимо от людей, время сглаживает понятия, подчиняя все истине, и залечивает даже упорнейшие язвы; слабее и слабее действует зависть, злоба и мщение; утверждаются прощение зла, согласие, добро и любовь к людям; узкие понятия и стремления уступают место широким взглядам, при которых возрастает благо отдельного человека и всего человечества.

Придет время, когда, согласно с христианами, евреи, магометане и люди всех верований обратятся к Единому Отцу всех людей с такою общео для них молитвою: «Пошли, Господи, всем нам мир и здоровье». От этих двух благ зависят все остальные».

* * *

Это короткое рассуждение, которое я привел до конца и не выпустил ни одного слова, — есть самое сжатое, мягкое и благородное исповедание русского взгляда и, почти наверно, европейского взгляда, христианского взгляда на отношение двух вер и двух племен, которое представляет такую загадку и такую муку. Нежные слова, идущие от сердца, так манят. Так не хочется спорить с автором, даже если бы мог. Великий лозунг мира, примирения таков, что сжимаешь голову руками как в тисках, велишь молчать уму и протягиваешь руку, говоря: «Предпочитаю быть глупым, предпочитаю быть несправедливым, но только бы *быть в мире*».

Замечательное (по *тону*) рассуждение это было написано автором после тяжелой, почти смертельной болезни, — в месяцы долгого выздоровления. Весь потрясенный только что перенесенным испытанием, готовясь жить вновь, он с содроганием посмотрел на старые вопросы, раздиравшие его ум и сердце, и сказал себе ответы и на них этим новым, душевным словом, каким владеют только выздоравливающие.

Собрание 38 коротеньких рассуждений на вековые темы составили небольшой томик, который, под несколько неверным заглавием «Душа и тело», был выпущен автором в 1899 году. Я тогда же прочитал его; и в нем рассуждение о еврействе и христианстве так поразило меня, что я решился когда-нибудь воспользоваться им для обширного суждения о христианско-еврейских отношениях.

Дело в том, что здесь вкратце выражена *вся суть* взглядов русских на евреев...

Со сколькими лицами мне ни приходилось рассуждать о еврейском вопросе, они все тянули к этой схеме мыслей, утверждений и отрицаний. Ничего — *еще*, но это — *абсолютно*!

Светские люди, ученые, литераторы, люди церкви, богословы, — все говорили в *лучшем случае* именно это. Когда не говорили этого, начинались грубые слова, которых я не хочу повторять, чтобы не испортить гармонию приведенных чистых, великодушных слов.

Но умиленная, растроганная душа не плачет ли от этой гармонии, как в муке? В самом деле, выделим основные все-таки *тезисы* чарующей мелодии:

— Я христианка, до того христианка, что родной сын не выделяет меня из толпы христиан. Больше: я до того слилась с христианами душою, что самая наружность моя ассимилировалась с ними, стала как у «добродушной русской барыни». Это редко, когда, повинувшись потоку мыслей и чувств, наконец изменяется и таинственная структура тела, лепка тела: черты лица,

поступь, манеры, речь и обороты ее. И я жила мирно, никого не ненавидя, полная такого покоя, который поистине считала даром Неба. Но вы, только что выздоровевший, подошли ко мне и тайной беседой, с души на душу, взволновали мою мысль, убили покой души, все замутили во мне, все смутили во мне.

– Как тяжело теперь мне, до невыносимости. Я так счастлива была своею любовью к христианам. Но своею таинственною, странною какою-то речью, по-видимому так ласкающею, нежащею, – вы убили, расстроили мою эту любовь, и я так несчастна, так несчастна без нее. Почему, не знаю, – но я сейчас уже не люблю христиан. Пожалуй, люблю вас, *как человека*, как только что *выздоровевшего*, чему ужасно рада; но как христианина – нет! нет!

– И «нет» потому, что вы отняли у меня покой.

Зачем вы пришли за ним? Что вам нужно от меня? Какая странная ваша речь: как будто исполнена любви, но такая мука от нее, – и вот я уже больше не люблю. Я не учена и не понимаю, *как* и *что* это, но передаю, что испытываю. Я не люблю больше вас, христиан, и потому, что в ответ на всю мою любовь к вам, за столько лет и такую любовь – вы измучили меня, и ради самого мелкого мотива, который привел вас к этой речи.

– Что вас привело? Чтобы я окрестилась? Но для чего вам, кроме 100 000 000 уже крещеных, иметь еще 100 000 001-ю окрещенную? Вы будете тогда славить вашу веру, сказав: «Вот еще окрестилась». И хотя «одна» сверх «ста миллионов», очевидно, ничего не значит в славе, – ибо не пошлете же вы об этом телеграмму в Париж, – но для того, чтобы мысленно вы *лично* пережили буквально всего один день удовольствия ко славе своей веры, вы смутили и разбили всю мою душу, всю мою биографию, так хорошо и небесно сложившуюся. Как это дурно, и дурно потому, что так жестоко! Что я для вас? Вы наступили на мое лицо сапогом и страшно надавили гвоздями каблука на лицо мое, совершенно не спрашивая, совершенно не задавшись *предварительно* вопросом, что я чувствую, что я могу почувствовать от вашей тайной беседы. Это ужасное ваше равнодушие к моей душе после того, как я так любовно и *столько лет* приняла вашу душу в себя, – меня пугает и ужасает! Под ласковыми словами я вижу такую ночь отчуждения. Вы, христиане, вы, благодущные русские, – милы для нас, евреев, милы не на торгу, не на улице, для вида, – но в тайных грезах воспоминания, припоминания. Мы любим вашу походку, ваш склад бороды, любим вашу брань, грубость, пьянство даже – хотя вообще оно и противно; но что-то влечет нас к вам даже и в грязном, бестолковом вашем виде. Конечно, мы вас эксплуатируем, когда вы пьяны и слабы, – но это уж жесткость условий существования, где всякий рвет кусок у всякого и вырывает его у слабого, бессильного. Это дьявольский космический закон, под властью которого и мы. Но вне этого торгового соперничества, естественно обращающегося в нашу пользу по вашей нетрезвости и шаткости, – вне его мы чувствуем к вам как к *племени* неудержимое влечение, даже неприятное нам,

когда мы *оглядываемся на себя, сознаем себя*. Влечение это опасно; для нас, рассеянных, — оно опасно, как огонь для бабочки. Мы сгораем *как евреи*, едва начинаем располагаться к вам, любить вас, художественно воображать вас. Вот и я ассимилировалась и почти сгорела, догорела как еврейка, но беседа с вами заставила меня очнуться. Что же вы даете за эту бескорыстную к вам любовь? Одно неуважение, одно презрение; полное невнимание, до слепоты, до ужаса, к душе нашей. Вы просто нас *не замечаете*, и это гораздо хуже, чем если бы вы только нас ненавидели. Я плачу, и горько плачу. Потому что никакого слияния между нами не может быть, а может быть только наше исчезновение. Вы только этого хотите.

— И еще раз спрашиваю — для чего? Ни для чего. Чтобы к «ста миллионам» христиан: Петров, Иванов, Елизавет, Екатерин — прибавилась еще одна, «*Екатерина Хойкен*». Даже фамилия не меняется, только имя, с индивидуальной смертью исчезающее: т. е. буквально *ничего* в интересах вашей веры. Правда, мой мальчик, приняв христианство, народил бы вам тоже *христиан* же: но ведь это даст через сто лет 50–80 человек, при лучших условиях. Что значат 50–80 человек за век среди 100 000 000 христиан, которые к тому времени превратятся уже в 200 000 000?! Совершенно ничего! Уж если вы так жадно ловите «хоть сколько-нибудь» себе в христианство, то лучше раскассируйте ваши воспитательные дома, уничтожьте подкидышей, уничтожьте тайные родинные приюты, вроде Скублинской, — и, дав здоровье и жизнь тысячам погибающих у вас собственных детей, вы получите гораздо больше «новых христианских душ», чем через крещение моего сына и вообще через крещение всегда естественно немногих евреев. Но вы своих детей не бережете, а чужих хватаете: в этом я вижу не только что-то темное, злое, но и чудовищно-нелепое! Я не ученая, но это так явно. Между тем, прося у меня моего сына, вы потрясаете мою душу: как я отдам его, не крестившись *сама*? Ведь это значило бы ужасно, чудовищно от него отделиться, — отделиться не земным, а каким-то вечным разделением. Это страшно. Зачем вы меня пугаете? Вы скажете: «Креститесь и сами»... Креститься «самой»... Может быть, я и сделала бы, думая, что иду к друзьям своим: но это, что вы до такой степени не оценили, не поняли, не пощадили моей души и *просто даже не заметили ее* — наполняет меня испугом: *к кому я иду, куда иду?* Моя душа вам вовсе не нужна: вам нужен только отчет — 100 000 001-я к 100 000 000. Я тону, как в море; а у нас всякая душа — считана, и считана *лично*, как *особая*. Ибо у нас есть слово о тяжко прегрешающих: «душа того *истребится*»... Вот я и боюсь такого «истребления души»: у вас попаду только *в счет*, а у себя пропаду *лично*. Это смерть, а я ее боюсь. И я боюсь всего у вас; боюсь после того, как вы подошли с такою ласкою, а сказали такие ужасные слова. Мне все представляется теперь у вас два лица, — одно светлое, улыбающееся, протянутое далеко вперед и всех завлекающее, а другое лицо темное, угрюмое, «про себя», и оно задвинуто и скрыто. Этого второго лица я ужасно боюсь. Оно проглотит меня, для цифры. Проглотит, и не пожалеет, и не вздохнет, не вспомнит.

«Отдай нам малютку своего, единородного сына, вот которым ты утешаешься, как единственной *ценностью* в мире, как единственным *своим* в мире, из твоих недр, из твоих кровей вышедшим». Как это ужасно, особенно если для цифры и чтобы полюбоваться день: «Вот нас стало больше на единицу». У меня же все будет взято для этой вашей одной единицы. Как вы об этом *предварительно*-то не подумали, недобрые души! Да я, встретить в поле птицу, у которой один *птенец*, – хоть бы умирала с сыном от голода, не взяла бы у нее этого птенца. А если бы не удержалась и все-таки взяла, душа моя ужасно грустила бы, – я знала бы, что сотворила страшный грех, который с меня взыщется вот именно «око за око». Я бы не взяла у птицы птенца именно потому, что «око за око», и эта заповедь заставила меня бояться, что, если я возьму этого у нее птенца, Бог возьмет у меня моего сына, он не останется жив, а умрет в болезни, от несчастья. Наше «око за око» заставляет ужасно бояться греха, а вы совершенно его не боитесь, и не тоскуете, и не испуганы, что попросили у матери души ее единственного сына. Это, что вы не боитесь греха, что вы закрыли глаза на то, что с неба было сказано: «Око за око, за всякий грех – возмездие, за все взыщется», – делает вас какими-то ужасными и делает все темным в вашей вере. У вас все позволено. У нас ужасно много запрещено, и запрещено под страшными угрозами: то «душа истребится», то «око за око», последуют несчастья, быстро, скоро, *непременно в этой жизни, с тобою, с ближними, с детьми, с мужем*. Мы богобоязненны; вы же *Бога не боитесь*, у вас все как-то *легко* и все за все *прощены*. В этом «всеобщем прощении» вы все и шатаетесь, нетрезвы, пьяны, ленивы; и вас нельзя не эксплуатировать, как нельзя не тащить к себе в дом палое дерево, валежник или не положить в карман потертую вещь.

– Вы в истории и в быту ежечасно и повсюду ужасно похожи на потертую вещь, и хоть вас ужасно жаль, но нельзя вами не пользоваться, потому что это по естественному течению вещей. Мы слабы – нами пользуются, вы слабы – вами пользуются. Но как у вас есть чудовищная подлость в том, что вы хватаете хоть одного нашего ребенка «для увеличения числа христианских душ», в то же время не бережа и позволяя умирать сотням собственных детей, так и в этом случае вы вместо того, чтобы *самим* подбрататься, укрепиться,осоюзиться, стать один к одному и дружно жить и работать, вздумали «ограничивать нас», которые берем у вас заработок и имущество. Не замечая, что, чем сильнее вы давите на нас, тем плотнее мы становимся, – по стиху вашего поэта, который вы любите применять к себе, но который применим ко всем народам:

...так тяжкий млат,
Дробя стекло, *кует булат*.

Ох, как разволновалась. Когда сойдет опять мир в мою душу? Я так хотела бы любить вас и, наверно, опять вернусь к этой любви. Но любить как *соседнее*, не переходя в вашу веру и оставаясь в вере отцов. Она так

стара, почти от начала мира. И как мне переменить ее на что-то более новое и менее верное?

Слова Бога Аврааму, что он сбережет *каждую душу* в нашем племени, если мы будем верны ему, соблюдаем Его заповеди, – ведь эти слова суть такие, о которых и вы не спорите, что они даны с Неба. Как же нарушить небесное слово? И вот его свидетельство: от Авраама и до моего сына прошла одна нить и не порвалась, нить чистая, без примесей! Чья душа не задрожит при звуках струны такой длины! Все это неисповедимо. Наша вера неисповедима. Я счастлива жить в этой неисповедимой вере и никуда из нее не уйду. Я не перерву струны, которая пела Богу пять тысяч лет, все в одном тоне, одними словами. Нет, я божеской струны не перерву, я боюсь Бога, «око за око». Если я забуду Бога, Бог меня забудет, и «душа моя истребится». Мне хорошо, спокойно. И вера отцов не мешает мне несколько любить и вас: ибо Бог один, и над вами тот же Бог, что и надо мною, несмотря на ваши слова... Так что я-то не ваша; но вы-то – наш, в любви одного Небесного Отца, в Которого мы веруем, и нам не надо других богов и иных суеверий...

Еще случай

...Дверь комнаты моей немного приотворилась, и, как всегда на цыпочках, подошел наш швейцар Осип.

Он подходил на цыпочках от излишней деликатности. Все в доме у нас уважали его. Уважали за начитанность, тихость и скромность. Он выписывал 4-рублевую газету, не скрою – либеральную; а уголок около двери, какая-то впадина за второю деревянною дверью, которою на ночь прикрывалась стеклянная, была занята целою кипкою, почти горкою, небольших книг, брошюр и проч., которые он непрерывно читал, сидя около двери. За всем, что происходило важного в Петербурге и России, он следил, – и я часто, за скукой читать газеты, спрашивал его: «Что нового?».

Не скрою также, что либеральному он радовался, а при «надвигающейся тьме» морщился, имел неприятное лицо.

Он был моложав. Всегда в чистом сюртуке. У него была жена, постарше его, дочь лет 11, мальчик «от рождения глупый», лет 7, и ребенок на руках у жены. Все они были тихие. «От рождения глупый» мальчик, очень большого роста, но страшно бледный, всегда стоял перед стеклянною дверью и смотрел на улицу. Он произносил немногие и неясные звуки, никогда не улыбался. Он именно был «глупый», но не лишен вовсе разума. У него был туберкулез, – теперь, к счастью, остановившийся. Его все очень жалели.

– Что вам, Малиновский? – спросил я, увидя его.

Это было в 1902–1903 году.

– Вы, барин, очень много пишете о незаконных детях; а священники вам возражают. Так вот я пришел попросить вас, не вступитесь ли вы за мою племянницу, очень уж ее обидели. Девушка она деревенская, совсем

глупая, ничего не смыслит и пришла сюда в Петербург, искать какой-нибудь работы. В кухарки, – да какая она кухарка: деревня темная, ничего не может и не умеет. С места на место и переходила, нигде подолгу не держали. А сирота, и деваться ей некуда. Кто-то воспользовался ее темнотою, и случился с ней «грех». О ту пору, как обозначилось, что она беременна, жила она в кухарках у евреев. Ну, они пожалели ее и, хоть готовить она не умеет, оставили у себя до разрешения. Так как куда же она с животом пойдет, никто такую в дом не возьмет. Разрешилась.

Дальше, – кажется, отнесла в Воспитательный дом; но твердо я не помню этой части его рассказа. Только ей надо было, должно быть для «определения младенца», достать метрику. И вот дальше он говорит:

– Приходит она к псаломщику N-ской церкви. Тот выносит ей метрику. Она взяла.

– А рубль? – спрашивает псаломщик.

– У меня нет рубля!

– Так ты бы так и сказала. Подай назад метрику.

Но метрика ей нужна, и она не дала ее.

– Подай! Подай! – закричал он и кинулся отнимать. Она зажала в руке и выбежала. Пришла потом ко мне, и вот я к вам. Посудите, что? же это такое. Откуда ей взять рубль, когда она и себя-то прокормить не может, и можно сказать, что совсем нищая. Потому и без места, и больная еще... День за днем живет у господ, совсем им ненужная...

Я слушал равнодушно: сколько таких! Как помочь *одной*, когда нуждаются *все*. Тут явно должен помочь закон, судья, народный и церковный строй:

– Кто обидел? Как произошло?

Что значит «воспользовался темнотою»? Кажется, есть закон, и *недавний*, т. е. недавно *подумали и написали*, – о «невовлечении в заведомо невыгодную сделку». Так то касается рубля, а это – жизни, судьбы, притом двух лиц: ребенка, матери. Так неужели же для христиан рубль дороже жизни? Ведь они «бессребреники»... «Бессребреники»: а рубль – обдумали, между тем как о женщине – не подумали.

Что такое *она*? Ну – темна, ну – слаба! Так почему же слабого еще толкать? Ведь это по Ницше: «Если что слабо – толкни его, чтобы совсем упало». Отчего у христиан о женщинах и детях ницшеанские законы, высокомерные, презрительные? Они, христиане, ведь такие «добренькие»... А девушку, пришедшую из деревни и заблудившуюся в городе, христианские законы «еще толкают».

Правда, что беременную «никто не примет». Так повелось, что прислугу с животом – не держат, даже когда она старая, а не то чтобы такую принять вновь. «Пошла!» «Уходи!» Куда же ей уходить? Она бездомна, слаба. Тут бы помочь христианам, «отдать ближнему рубашку». Нищей *вообще* – и отдадут. Только не беременной. Это – печать неприличия. Беременная кухарка, подающая кушанья, «когда в дому есть взрослая дочь», «когда сын кончает гимназию»... Какой *стыд*! Но отчего, когда и дочь в

замужестве будет беременной, и мать этих взрослых детей была когда-то беременна ими?..

– Тссс... тссс...

И вот не сочли *неприличием* держать в доме беременную кухарку только евреи, у которых это признано, а не полупризнано; признано *прямо*, а не лукаво. У нас беременность не признана, а *допущена*, как низшее сравнительно с небеременностью состояние. Никто у евреев не ожидает, что такая-то или такая «должна пребыть безбрачна», что от нее «ождается чистое девство», что она «служит Богу, а не мамоне» и еще сотня слов, изречений, которые все и объединились к нашему веку в его взгляде: «живот у женщины – это *неприличие в дому*». Когда глашатаи «любви к ближнему», первые глашатаи ее, вместе с тем постоянно приговаривали, что «хорошо деве остаться девою», что «отдающий дочь замуж хорошо поступает, а не отдающий *лучше* поступает» и т. п., и т. п., то они и подготовили судьбу этой рассказанной Осипом деревенской девушки. Согрела ли кого-нибудь на улице их «любовь к ближнему» – неизвестно; но та параллельная ей проповедь о преимуществе девства вытолкнула множество матерей из теплого дома на холодную улицу – несомненно, явно, неоспоримо! Просто, сказавший, что «ничего нет выше любви к ближнему», что она «лучше мудрости, праведности» и проч., и проч., *он самый*, взял какую-нибудь Парасковью, глупую и безгласную, и, выведя за порог, сказал ей:

– Ступай, матушка, на все четыре стороны. Мы тут сидим все чистые, у нас женщины – без животов. А ты осквернилась: и в теплом углу нашем, где мы читаем Евангелие, – тебе не место.

Все без животов. «Неприличия» не заводится. И удивительно ли, что *община христиан*, как и *учители христианства*, этого «неприличия» и не обдумали. И рубль законом оберегли, а мать и ребенка ее законом не оберегли.

– Неужели можно прихожанам храма собраться для обсуждения неприличия, неприличных? Ну их...

– Неужели можно собрать комиссию тайных и статских советников для обсуждения положения беременных, – во всех случаях жизни, во всех состояниях жизни? Это значило бы государству обратиться в посмешище.

Кому же оставлены были беременные?

– Скублинским!

И Скублинские появились.

Между прочим...

Все восточные культы очень просты. Это молитва, музыка, ряд молитв, но не сложная церемония. Это несложная система мысли, изложение которой занимает несколько томов. Правда, «Талмуд» очень обширен, но ведь нужно знать, что это такое: первый отдел его – «Посевы». Не правда ли,

какой странный отдел *богословия*? «Талмуд» включает в себя жатву и земледельческие законы, включает юриспруденцию, включает особенно гигиену, которая в применении к женщинам (особый отдел «Талмуда») и их известному состоянию становится чрезвычайно обширною. Там – и о скоте, и о горшках, как их надо вываривать и прокалывать, и о торговых сделках, и о том, как печь хлеб, о хирургии – *обо всем*. «Талмуд» обнимает движения человека, дыхания человека, работу человека, печаль его, веселье его, боль и радость, от раннего утра до поздней ночи, от января до декабря, от пеленок до могилы. Неудивительно, что он вырос во много томов. В одно и то же время это целая вавилонско-еврейская и иерусалимско-еврейская *цивилизация* и *история* ее в массе заметок по поводу бывавших случаев. Я заметил, что он обнимает «движения» – «дыхания» еврея. Что значит «обнимает»? – Истолковывает, объясняет, руководит. Ни один народ не имеет подобной необходимой энциклопедии повседневного быта и *всех его возможностей*, как евреи в своем «Талмуде». Поистине, «Талмуд» пасет евреев, как пастух пасет стадо, и не дает никому упасть.

Говорю, как христианин, как читатель, – с той некомпетентностью и компетентностью, которая отсюда вытекает.

Общее впечатление от «Талмуда» мне показалось добрым, заботливым. Это – нянька, которая пестует ребенка. Отсюда столько мелочей в нем, и все «священно». Для няньки нет ничего не «священного» в отношении нужд и польз ее ребенка. Так и здесь. Чувство «священства», понятие «священства» здесь разлито совсем другое, чем у нас. У нас это – «важное»; от «риз» текущее, торжественное; иерархическое. Там это громадный багаж или, лучше сказать, восточный караван-сарай, где «всего найдешь», где спорят «равви», учителя, «мудрецы» (как их именует «Талмуд») о том, как надо прокалить глиняный сосуд перед праздником.

В «Талмуде» нет ни одной *сплошным изложением изложенной* страницы: все – ответы и вопросы, «как», «что», «когда», «в каком случае». Буквально – базар и буквально – жизнь. «Талмуд» весь практичен; несмотря на замысловатую глубину множества мест, строк, обмолвок, *езде основательных, если добратся до их подлинного смысла*, – «Талмуд» нигде не ведет рассуждения «по хриям», по Аристотелю, довольствуясь афористическою философиєю и не начиная «дедучировать» или «наводить» (индукция, наведение). В этом отношении ничего нет противоположнее «Талмуду» византийских учителей, где они «из пальца высасывают» земное и небесное, на фундаменте в локоть строят здание в версту. Византийцы – в мантии, «Талмуд» – в домашнем пиджаке. В мантии непременно начнешь «произносить речь», и когда не хватает мысли, – можешь городить слова; в пиджаке можно вовсе не продолжать, если нет мысли, и «Талмуд» преспокойно обрывает мысль на середине или в начале, не заботясь ни о своем самолюбии, ни о требованиях «ученика».

На всем протяжении «Талмуда» я нигде не встретил тщеславящейся фразы; и это тем замечательнее, что, конечно, «мудрецы» все знают... Я не

встречал книги, более *уверенной в себе* и столь мало самолюбивой. Это замечательно. Европейцу это бросается в глаза.

Кстати, о названии Талмуда «оградой закона». Это – ужасно точно и выражает его провиденциальную, историческую миссию; *для чего* он написан и что он *такое*. Есть, положим, одна мысль, великая и вместе затененная, неясно выраженная. Ее знают немногие, всем знать ее и незачем. У человека есть врожденное кощунство, и можно ли быть уверенным, чтобы *все* отнеслись бы к ней торжественно и серьезно, когда между «всеми» естественно есть много глупых, неспособных, лукавых, смеющихся. Зачем же им грешить: пусть главную мысль знают не все, но врожденно торжественные умы. Это – мудрые, совершенно мудрые. Они передают мысль в намеках. Второй линии мудрых, – *просто* мудрым, – даются уже «законы», в которых несказанно проведена эта тайная мысль. При исполнении, пусть механическом, она *навеивается*; и люди растут, все-таки, в духе этой мысли, *хотя и не зная ее*. Но для закона есть ленивые, и нет закона, который бы выполняли *все*: поэтому «законы» Моисея, выраженные в Библии, мудрые «оградили» через множество правил о том, *как именно* выполнить всякий закон при всех случайностях жизни, во всяких положениях, состояниях, днем, ночью, во время войны, мира, на море, на суше, в болезни, в здоровье. Теперь если какая-нибудь мелочь из предписаний и не исполнится, то самых предписаний все-таки так много, что закон в сеть их непременно попадет и *исполнится*; а через закон будет веять и тайная мысль.

Талмудические правила все суть правила сбережения индивидуального еврея. «Живи, пожалуйста, живи», – говорит «Талмуд» каждую своею строкою. А тема всех этих правил есть *жизнь*; священное же, что веет из всех законов, строк, правил, есть таинственное *древо жизни*, кое Талмуд, без высказывания, оберегает.

«Живи и молись!», «Чти Бога и живи!» Это очень кратко, это – не богословие. Но все еврейские молитвы и ритуалы звучат этой одной мелодией.

Ничего нет дороже жизни!

Ничего нет священнее жизни!

Выше жизни только Бог: но ведь Он – податель ее.

Ужаснее смерти только грех: но ведь он – источник ее.

Первооснова ткани всегда важнее «дальнейшей ткани», – в этом одном смысле Бог священнее жизни и грех страшнее смерти, болезни, получения ран.

Религия состояла в молитве (и в молитвах, «псалмах», вовсе не одного Давида) как лирике души к Богу и в «очищениях» от греха.

Средствами очищения были омовения и жертвы. И сердцевинная часть культа ветхозаветного Храма состояла именно в жертвах, и многочисленных их категориях, и в омовениях. Все остальное, говоря евангельским термином, «приложилось»; все остальное «развилось» отсюда, сделалось «потом».

Итак, Мамышев спрашивает:

«Имеете ли вы на каждый день молитву, соответствующую нашей «Отче наш», в которой бы вы *обращались к Богу, как к Отцу всех людей?*..»

И прибавляет:

«Мы славим единого Бога; но Бога не одного какого-либо народа – такого Бога нет, а Бога *всех народов, всего мира*. Его надо славить не молитвами, а *добрыми делами*».

И еще:

«В наших церквах, глядя на совершающееся, слушая пение и громко произносимые слова, мы *объединяемся в общей молитве о том, что внушает нам любовь и сострадание к ближним*».

Так думают *все* христиане. Думают *чистосердечно, крепко*. Дума эта делает их счастливыми, уверенными, чуждыми сомнений и колебаний. Поступь их твердая, лица их сияют:

– Мы *всех добрее*. И не почему-нибудь, не оттого, что сами хороши: но у нас такая вера, что при ней мы не можем не быть *всех добрее*.

Вот, однако же, щепочка: не запнется ли за нее идущий и торжествующий христианин:

«Будучи законоучителем в Сухопутном кадетском корпусе (в Петербурге, на Вас. остр.), архимандрит Арсений Мациевич получал неоднократно важные поручения из Святейшего Синода.

В это время (1738 г.) возникло громкое дело дворянина Возницына.

Возницына обвиняли в том, что, уехавши за границу, в Слуцке он принял обрезание и сделался жидом. Жена его доложила самой государыне, Анне Иоанновне, что муж ее соблюдал еврейские праздники, а над Св. Таинствами христианскими надругался. На следствии Возницын не сознался в своем переходе в иудейство. На очной ставке с жидом и на медицинском освидетельствовании его, однако, уличили в заперителстве. Поэтому его посадили в покаянную, и Арсению Мациевичу поручили увещевать его, чтобы он повинился и раскаялся. Но Возницын и слышать не хотел увещаний, утверждал, что никогда жидом и не был, и не обрезывался. «Я и ныне христианин: хочу исповедываться и приобщиться», – повторял он. Его, однако, осудили на смерть. Арсений увещевал до последнего часа его жизни, но не имел никакого успеха. Возницын так и умер, не раскаявшись» («Арсений Мациевич, митрополит ростовский и ярославский». Священника М. С. Попова. С.-Петербург. 1905).

Молодая жена его, конечно, вышла замуж за того, кого любила. Ведь она *жаловалась на мужа императрице*, – возможно ли это при любви к нему? Подкладка так ясна. Это обычный случай на почве «нерасторжимости христианского брака», каковая нерасторжимость была установлена кротким Учителем христиан, в отмену свободы развода, данной евреям *только* «по их жестоковейности». Так как предполагалось, что христиане больше

не будут «жестоковыми», ибо у них царит «любовь и кротость», то развод для них и был запрещен. И вот:

1) кроткая христианка-жена, соединившись

2) с кроткою императрицею, возмущенною жидовством своего подданного, превратившим 100 000 000 христиан в 99 999 999 христиан, и позвав

3) кроткого судию-христианина, экспертов врачей-христиан, и проч., и проч., уличили нелюбимого супруга, что он принял на себя печать завета Божия, данного Аврааму и евреям и *«чужеродцам в дому Авраама»*, то есть вообще всем людям,

4) и – за обрезание отрубили голову мужу.

Чему всему не дивится нисколько, не ужасается излагающий эту историю священник Попов, который гимназистам спокойно объясняет, что обрезание, в самом деле, дал людям Бог, – не евреям, а *всем людям*, – и что апостол Павел, действительно, только *позволил* не обрезываться, но не *запретил* обрезываться.

Еврейка, которой душу смутил г. Мамышев своими расспросами и убеждениями, если б ей была известна эта история из биографии Арсения Мациевича, могла бы ответить ему добавочно:

«Вы никого не любите, кроме себя... Вы презираете все народы, всех людей, кроме своих, своей веры... Человек начинается для вас с «христианина» и оканчивается, где оканчивается «христианин». Китайцы, японцы, мусульмане, но в особенности мы, несчастные евреи, представляемся вам какою-то помесью человека и обезьяны, без души в себе, без судьбы своей, без неба над нами... Небо у вас коротенькое, маленькое и только тянется от Парижа до Петербурга, от Ватикана до Св. Синода. Прихрамывая, поплакивая, вы повторяете:

Эти бедные селенья...

Эта тусклая природа...

Полноте, оставьте: выпрямитесь во весь рост, какой вы захватили себе. Вы давно всех задавили, всех давите, – и с таким спокойствием, что и не чувствуете стонов под собою. Умаление других народов, несчастье других народов никогда вас не тронут. Просто, не донесется их крик до вашего сердца. Но истина превозмогает: и вы, которые хвалитесь «любовью даже и к врагу», на самом деле ненавидите даже и ближних своих, единоверцев своих, за самую малую разницу в исповедании. Если прочесть томы, где неистовыми попреками попрекают католики лютеран и православных, лютеране – католиков и православных и, наконец, православные – не только католиков и лютеран, но даже и православных же, насколько они чтут обычай, жившие в церкви до Никона, – то эти томы гораздо объемистее «Талмуда». Томы брани, ненависти... И – что трогательно и, наконец, забавно, – все это при полной уверенности, будто у вас все «полагают душу за други свои» и будто таких кротких, как вы, не найти на всей земле...»

В 1897 г., получив 1-й том «Талмуда» от любезного г. Переферковича, его переводчика на русский язык, – я наткнулся на 100-й его странице на следующее место текста, с подстрочным к нему примечанием. Текст: «Кроме древних книг: Торы (т. е. пяти Моисеевых книг), Пророков и Гагиографов, *признанных каноническими, «святыми»*, к которым нельзя было прикасаться без известного благоговейного* чувства... в эпоху Мишны (главная часть Талмуда) существовала чрезвычайно богатая литература на еврейском языке».

К звездочке, которую мы сохранили в тексте г. Переферковича, сделано им следующее примечание:

«Священные книги *оскверняют руки*, по оригинальному выражению Мишны (Эд. 5, 3; кел. 15, 6; Яд. 3, 2–6)».

При чтении второго тома перевода г. Переферковича, в трактате «Шаббат», я наткнулся на стр. 80 вторично на следующий текст и примечание:

Текст: «Книга (Св. Писания), попавшая в печь, **оскверняет находящееся там возношение**» (хлеб пекущийся).

Примечание: «Священные книги обладают *осквернительной способностью не только по отношению к возношению, но и по отношению к рукам*».

Не могу передать всей степени изумления, которое я почувствовал, встретившись с этой мыслью *Талмуда*, или, что то же, с мыслью *всего сонма древних великих учителей еврейства*, первых по времени и авторитету толкователей Библии.

Я сейчас же обратил внимание на тон г. Переферковича: «по *оригинальному* выражению Мишны». Слово «оригинальный» в данном контексте значит: «странный», «своеобразный», «капризно-характерный», «чему я удивляюсь» и «что мне кажется странным и вызывает во мне улыбку». Нужно заметить, что г. Переферкович, филолог-ориенталист Петербургского университета, переводил «Талмуд», как ученый переводит важный и интересный архаический памятник, но без особенного чувства к «Талмуду». Везде, например, он употребляет в объяснениях, в *своей речи*, даты христианской хронологии, «до Р. Х.», «после Р. Х.», что едва ли бы сделал настоящий «ветхозаветный» (старого образца) еврей. Во всяком случае, нельзя сомневаться, что данное выражение Мишны совершенно непонятно *ее переводчику на русский язык*.

В 1902 году появилось в Казани превосходное исследование – «Общее историко-критическое введение в священные ветхозаветные книги» профессора тамошней духовной академии г. П. Юнгера. Второй отдел этой книги носит заглавие: «История канона священных ветхозаветных книг». Тема его – историческое *установление* текста Священного Писания, как бы мы сказали – «боговдохновенного». Писание всегда сопровождается *сопутствующими* писаниями, дополняющими, разъясняющими и т. д. Важно, однако, отделить это «сопутствующее» от первоначального, богоданного.

Задача эта могла явиться только позднее, когда расплодился книги «около», «сопутствующие», не главные, не первые. Среди этих сопутствующих книг могли появиться чрезвычайно ценные, чрезвычайно высокие, «как бы» священные, но, однако, только «как бы», «кажущиеся» священными. Наставала нужда, наставляла она *впервые*, разобраться среди всего множества «священной литературы», «религиозной литературы», «божественной литературы», и отделить в ней: 1) божеское, божественного происхождения, от 2) человеческого, хотя бы и необыкновенно высокого. «Человеком писано», «Богом дано», – вот *это* надо было разделить и отделить.

По выделении «*Богу принадлежащее*» и обособлялось в «канон», «священный свиток», «божественный свиток», к чему прибавить хотя бы буквы из «человеческого» считалось страшным грехом и преступлением, спутывавшим все дело, замутнявшим, портившим его.

Явна, отсюда, чрезвычайная важность исторического процесса *установления канона* и необыкновенная бережность и осторожность, с которою производилось все это дело. Страшно *упустить* что-нибудь из божеского: потеря жемчужины, – небесной! Но почти еще страшнее ввести в божеское что-нибудь человеческое: от одной ягодки не совсем свежей закисает весь запас виноградного вина! Ведь тогда *волю* человеческую, *мысль* человеческую примут за божескую, начнут на нее опираться как на божескую. Все смешается, закиснет и испортится.

Где же критерий, метод? Что избрать орудием, средством различения? Вопрос колоссальной важности. А для позднего наблюдателя, напр. для нас, уловить, что древние люди приняли за *средство* различения, – значило бы уловить, что эти древние люди *считали именно божеским*, т. е. постигнуть и как бы *подглядеть тайно* самую суть, сокровенную, тайную суть их внутренней веры!

Интерес этого, *для нас* именно, у которых так много забыто и потеряно, – колоссален. Поздний верующий, полувер, подсматривает, как именно «копались» во всем этом деле древние и настоящие верующие, – и, как бы схватив за руку и закричав «раскрой», – заставляет показать себе, обнаружить перед собою жемчужину древней подлинной веры.

Добавим, что у евреев, все законодательство и весь обрядовый ритуал которых пропитан отвращением к «смешиванию разнородного», к яркому и твердому держанию *границы* между разнородным, – вопрос об отделении «божеского» от «человеческого» должен был быть проведен с особой строгостью, требовательностью и осторожностью. Для нас здесь был бы замешан только интерес авторитета; для евреев такое *смешение* означало бы *гибель всей религии*, подобно как если бы кто-нибудь, разорвав завесу в храме, «смешал» его Святое Святых с просто Святым и народным Двором.

Научное изучение этой «истории установления канона» началось с 1750 года, и множество протестантских и католических богословов, как равно и еврейских ученых, посвятили ей свои труды. Но, за малочисленностью свидетельств и неясностью их, установить эту историю в подробно-

стях было чрезвычайно трудно. Опуская ее подробности, для нашей темы не имеющие значения, мы приведем одну цитату, прямо относящуюся сюда:

«Со времени ученого еврейского Гретца и издания им *Песни Песней и Екклесиаста*, в 1871 году, – были внесены в науку новые гипотезы о заключении (т. е. об окончательном установлении) канона (суммы подлинного Священного Писания) и новые доказательства их. Отвергая участие Великой Синагоги в заключении канона, Грецц, знаток еврейской литературы, отыскал в Талмуде Иамнийское собрание, якобы чрезвычайно торжественное, и ему приписал последнее заключение канона и *канонизацию* всех ветхозаветных книг. Его многие разделяют, хотя с ограничениями: Буль (1891 г.), Ригм (1889 г.) и некоторые другие. Насколько основательно соображение Гретца? Приведем прежде всего свидетельства Талмуда об Иамнийском собрании (Jadaim. cap. 3, § 4–5). «Верхняя часть пергамента Священного Свитка, незаписанная, и нижняя незаписанная – *оскверняют руки* в начале и в конце книги; равви Иуда сказал: «В конце оскверняют только тогда, когда к ней *приделана колонка*». Все агиографы оскверняют руки, и Песнь Песней, и Екклесиаст оскверняют руки.

Равви Иуда сказал: «Песнь Песней, действительно, оскверняет руки, но Екклесиаст служит предметом споров». Равви Иосе сказал: «Екклесиаст вовсе не оскверняет рук, а Песнь Песней служит предметом споров». Равви Симон сказал: «Екклесиаст служит предметом споров, а Песнь Песней оскверняет руки». Равви Симон-бен-Азаи сказал: «Я принял из уст 72 старцев, что Песнь Песней и Екклесиаст оскверняют руки». Равви Акиба сказал: «Песнь Песней есть святое святых, и все стояние мира не стоит того дня, в который дана эта книга». – И на том заключили. Тосефта (добавочные разъяснения к Мишне, – как бы «примечания» к ней, составляющие вторую часть Талмуда) к этому добавляет: «В тот день были признаны *не оскверняющими рук* книги бен-Сира и другие, написанные в одно время и позже бен-Сира».

Доселе – Талмуд. Проф. Юнгеров пишет к этому заключение: «Вот все талмудическое свидетельство. *Как видно*, прямого указания на признание богодухновенности ветхозаветных книг здесь нет. Спор идет об осквернении рук». Профессор Олесницкий* высказывает соображение, что здесь лишь обычные фарисейско-саддукейские споры об обрядовой чистоте, причем, в своей глубокой ненависти к саддукеям – первосвященникам и священникам – *хранителям священных книг*, фарисеи решились признавать нечистыми («оскверняющими руки») даже священные свитки, которыми в храме пользовались саддукеи... Во всяком случае, раввины Талмуда о канонизации ветхозаветных книг выражаются иными терминами и языком: «книги, написанные *Святым Духом*», или «составляющие *произведения Божественной мудрости*», или еще: «Святые Писания» – «kitbei kodesch»,

* Проф. Киев. дух. акад., написавший громадное исследование «Ветхозаветный храм», изд. «Русским Палестинским Обществом».

а неканонические книги суть «произведения человеческого духа и мудрости – *genuzium*» и т. п. (Юнгеро́в, стр. 109–110).

Читатель заметит, до чего все это рассуждение – скользяще и поверхностно. Ни Олесницкий, ни следующий ему Юнгеро́в не обращают внимания на то, что

1) спор Иамнийского собрания и выражения величайших *древних* учителей еврейства колеблются в *признании* двух книг, приписываемых (у нас) Соломону, – Песни Песней и Екклесиаста – «каноническими» или «неканоническими»; причем спор идет не о материальном веществе свитков, хранящихся в храме и употреблявшихся саддукеями, а о том, что на этих пергаментных свитках написано, т. е. о *тексте, словах*. Не различать этого – все равно что не различать существа «алгебры» от «Алгебры Давидова, изданной бр. Салаевыми».

2) Если бы «оскверняющим» здесь именовалось то, «что было в руках саддукеев», то ведь «в руках саддукеев» были и Песнь Песней, и Екклесиаст: почему же старцы еврейства *колебались*? О чем колебались? Почему говорили: «Песнь Песней – оскверняет руки, Екклесиаст – не оскверняет». Неужели у них могла быть уверенность, что ни одна саддукейская рука и никогда не прикоснулась к Екклесиасту?

3) При чем тут тогда «присутствие колонки» или «отсутствие колонки»? С колонкою или без нее, *все равно* саддукеи или а) брали книги в руки, или б) не брали книг в руки.

4) Олесницкий и Юнгеро́в, в непостижимом верхоглядстве, не замечают, что термин «осквернение» употребляют старцы не в *презрительном* значении, а в *уважительном*, до трепета уважительном. Например: «Екклесиаст служит *предметом споров*, а Песнь Песней оскверняет руки». «Песнь Песней действительно оскверняет руки, а Екклесиаст служит предметом споров». «Песнь Песней есть святое святых, и все стояние мира не стоит дня, в который дана эта книга». Совершенно очевидно, что это означало: «Мы благоговеем и трепещем перед тем, что *оскверняет* руки: но *которая* из двух книг, или *обе*, или *ни одна*, оскверняет – мы колеблемся».

«Осквернение» – критериум боговдохновенности. Оба православные богослова ввели сюда несообразных «саддукеев», не имея для этого ни одного свидетельства, просто потому, что «осквернение рук» им *казалось* просто несвязуемым с фактом благоговения, уважения, почтительности. И они этот термин *от себя приняли* за термин уничижения, глумления, отвержения. «Мы, *духовные* лица, преподаватели *духовных* академий, гнушаемся тем, к чему, прикоснувшись физически, – чувствуем *руки свои оскверненными*».

Явно, что ядро расхождения и взаимного непонимания и лежит в «*духовных*», «*духовное*». «Духовное – это *священное*, а что оскверняет руки – это *гнусное*; и тут должны быть замешаны саддукеи или, точнее, особое к ним отвращение фарисеев, собравшихся на Иамнийском собрании» (оно было в 90 г. по Р. Х., в пору исключительного господства фарисеев).

Но ведь «духовенство» и «духовные академии» – все это зародилось от чистой купели Крещения; напротив, Иамнийское собрание, канонические и неканонические книги и, словом, весь *юдаизм* зародились от обрезания. Не правда ли, это что-то взаимно «гнусное» друг для друга? Для православного, во всяком случае, прикоснуться к точке, к предмету обрезания – значило бы «осквернить руки» и *вместе совершить нечто гнусное*. Не здесь ли разгадка всего: ведь евреи действительно «вымывают руки» и чувствуют их «оскверненными» после такого прикосновения: но чтобы в то же время они чувствовали презрение к предмету такого случайного касания, к части тела, которую *сам Бог* избрал у родоначальника их *местом* для положения здесь печати *завета*, – это совершенно дико!.. «Оскверняет?» – «Да». – «Значит, – *презренно?*» – «Ничуть! *С обрезания* начинается религия, как у христиан – *с крещения*. И мы этого так же не можем презирать, как христиане свое крещение».

«Вымыть руки нужно»... это говорит физика повседневности, вкус, ощущение будничной жизни. «Всегда» наше, житейское, бытовое. Но sacramентальная мысль отвергнуть не смеет, порицать не смеет то, *с прикосновения* к чему, в обрезании, и начинается принадлежность еврея к евреям, принадлежность их Богу. «Это (обрезание) да будет служить *знаменем завета* Моего с тобою», – сказал Бог Аврааму.

Авраам был раньше Библии, Библия была написана Моисеем, – *после* Авраама. Авраам есть *извод* всего, начало, корень. *Весь* ли Авраам? Нет, *все* началось с завета, с обрезания. Обрезание – вот точка, из коей развился весь юдаизм.

Для Гретца, *еврея*, не было сомнения в том, что в терминах: «то, что *оскверняет* руки» – дело идет о «канонизации» священных книг. Оба *духовные*, Олесницкий и Юнгеров, совершенно отвергают это: «В Талмуде об этом употреблены другие термины: «Книги, написанные *Святым Духом* или *составляющие произведение божественной мудрости*». Но Грец и не отвергает, а тем паче признает, вместе со старцами еврейства, жившими за 2000 лет до нас, что «оскверняющее руки», и притом *одно оно исключительно*, – есть в то же время «исшедшее из Святого Духа», «божески-премудрое»; как у христиан «*церковное*» есть все, что «несет на себе печать *креста*», «изводится из *крещения*». Г-н Переферкович, ссылаясь на несколько мест Талмуда, что, вообще, «свиткам Священного Писания *старцы древности* приписывают способность осквернять руки». Тут – не одно Иамнийское собрание, с его «саддукеями», а весь текст старцев, т. е. у евреев *святоотеческий* текст. Мы не на мысль его полагаемся; для меня, христианина, она может быть сомнительна; мы указываем, что для нас колоссально важны *чутье, вкус*, по коему древнейшие авторитеты еврейства, первые авторитеты еврейства, различали идущее «от Святого Духа» от того, что было только «произведением человеческого духа и ума»:

«Если это – такое, что, *прикоснувшись руками к пергаменту, на котором написаны эти буквы*, нужно потом вымыть руки, как оскверненные с нашей

житейской точки зрения, по житейскому вкусу, для употребления рук в житейских делах, в работе, в еде, в питье, в рукопожатии при встрече, – то *буквы этого свитка суть священные*. А если вымывать рук не нужно, – то это обыкновенное письмо, работа человеческая, произведение человеческое».

Вот признак канонизации. Каков его мотив?

– *Непосредственно, без перерыва, без пунктира, а прямою линиею идущее от завета отца нашего Авраама с Богом – одно и всецело есть подлинно Священное. Оно все имеет особый дух, – физический, прилипающий к пальцам: как и Завет был физический, печать его – физическая, телесная. Телесный завет, телесное впечатление, даже если для нас неуловимое, то все же существующее. Буквы сих слов имеют таинственную телесность, и самое слово есть живое, – это слово жизни, слово животное. Это не звук и не мысль, это – существо.*

В Слове Божием обращается кровь – невидимо, дышит дух – невидимо; оно телесно и имеет все свойства живого тела – невидимо. Но Печать Завета была положена не на все тело, а на определенную его часть, которая «продолжает человеческое бытие в роды и роды». И от этого, в символ этого, в память этого, да, наконец, и по *самому существу того*, что Бог избрал Себе местом положения Печати союза с нами, евреями, – Слово Божие, нам даваемое, *живородящее, оживотворяющее*, будет вечно отличаться от всякого другого слова так же, как *это особенное место* отличается от всех прочих мест человеческого тела. Только прикоснувшись к этому одному месту на теле, – обычно вымываем руки, вымывают руки все народы, инстинктивно, невольно, чувствуя их «оскверненными» с житейской точки зрения и для житейских отношений и вещей; и только прикоснувшись к буквам или материалу Священного Писания, к Священному Свитку, – надо вымыть руки. Всего же прочего касаясь: рук, ног, глаз, ушей, лица, губ, касаясь *Книги Судей, Книги Царств, Пророков Екклезиаста, Книги Иова и Руфи*, всего людьми сказанного и написанного, а не Божеского, – вымывать рук не следует. Ибо оно рук не оскверняет.

Край свитка, где ничего не написано, рук *уже не оскверняет*; «за исключением случая, когда к нему была приделана колонка». На нее-то навивался свиток: «Если к *чистому* (от букв) *краю* приделана колонка и, следовательно, при свертывании свитка чистое место касалось колонки, то оно, хотя и *без букв*, тоже «оскверняет руки». Я припоминаю, что в одном месте Талмуда упоминается, что так называемые «рога жертвенника» были тоже не что иное, как «колонки» по четырем углам его. Известно, что убийца или преступник, хотя бы враг царев, преследуемый властью, – если успевал, вбежав в храм, схватиться за «рога жертвенника», то он становился неуязвим и неприкосновенен. Ибо «*рог* при жертвеннике есть символ вечной жизни, в роды и роды». «Вечная жизнь», здесь на земле, была символизирована, очевидно, и в колонке, *небольшой*, на которую навивался весь *узенький и длинный* свиток Священного Писания. Не только прикосновение к колонке, но и то, к чему она прилежала, край *незаписанный* пергамента, –

«осквернял руки», как и прикосновение к записанному тексту. Все это – животное место, откуда течет вечная жизнь; слышишь ты его или не слышишь, жалкий, бедный человек, но от него исходит *дух*, – такой, который надо омыть водой: и только тогда пальцы твои освободятся от *скверны*.

Вот что значит эта древняя мысль, до такой степени поражающая нас: «почитав Священное Писание – *вымой руки*», ибо «от перевертывания листов Священного Писания – они *осквернились*». Все – от *обрезания*. И как непостижимо оно нам, христианам, – непостижимо это правило библейских евреев.

Север и юг, два *края* света, две *зари* – они никогда не сольются: ведь все *наше*, все мы, весь мир «духовного» – получило изводную точку себе от «бессеменного зачатия», где *метафизически* отвергнута, как бы именно до «другого полюса», точка древнего обрезания.

Доселе все религиозное изводилось от обрезания – вот Ветхий Завет.

Отныне все религиозное будет *несовместимо* с обрезанием, станет бессеменно – вот «потом», вот завет совсем другой – «Новый».

С точки зрения этого ужасного антагонизма, «до зареза», можно постигнуть и историю, переданную нами в «Ужасном случае». Одно подозрение, что ты начал считать «священным» то, что для нас «гнусно пахнет», – пусть по клевете жены, пусть при несправедливых судьях, так *ужасно*, до того для нашей *души* («духовности») непереносимо, – что мы казним тебя, хотя бы это и было простое убийство.

– Убей! убей!

– Распни! распни!

Таковы огненные звуки, поистине «горящая сера, павшая с неба нам в души», которая разорвала две эры, ветхую и новую, бросив их на грудь друг друга, как пантеру и буйвола.

Сочится грудь одного, разрываемая когтями другого.

Но и буйвол топчет гибкую пантеру.

МЕТАФИЗИЧЕСКИЙ РАЗГОВОР

I

Если бы мы были внимательны к своей мысли, к чужим словам, – мы бы находили каждый день случаи к соображениям самым поразительным, к пониманию самых глубоких и тревожных вопросов истории.

* * *

Вхожу в Наугейме к даме лет 55. Самая тяжелая больная, судя по опросам и исследованиям доктора, из всего круга нашего знакомства. Между тем как никто по виду даже не сочтет ее за больную: полная, с цветущими щеками, она ежедневно часами гуляет. Любя музыку, выписала из Мюнхена билеты

на представление «Кольца Нибелунгов», в составе его 4 опер и 9-й симфонии Бетховена. После курса лечения и отдохнув недели две, поедет наслаждаться искусством, которое любит давно и горячо, которое не только слушает, но и о нем читает литературу. В то время как сама лечится, своих двух сыновей она отправила путешествовать: одного в Норвегию и другого в Испанию. Умеренно богатая, всегда скромно одетая (как и ее сыновья и дочери), она не жалеет тратить несколько тысяч в год на их теоретическое и практическое воспитание. О последнем она раз сказала мне с улыбкою:

– Никто же не жалеет тратить тысячи на обстановку? Отчего же не истратить столько же на обучение детей. Нет, я не нахожу, чтобы воспитание в России стоило дорого: оно кажется таким только оттого, что все привыкли к дешевому казенному воспитанию, которое никуда не годится.

Она говорила о частных школах, где воспитываются ее дети, и о жалобах родителей на дороговизну как платы, так и «пансионата» в этих школах.

«Тяжелая ее болезнь», о которой я упомянул, заключается в мучительных припадках, которые «прошли», – и как ничего не бывало. До следующего близкого или далекого. Лечение и имеет целью хоть *разделить* эти припадки, ибо в последнюю зиму они уже стали повторяться по одному или по два-по три в месяц. Все это я узнал от нее после неотвязчивых вопросов, заинтересованный лечением. Она долго не хотела говорить, по какому-то специфическому целомудрию всех больных. «Пусть это знает доктор, но зачем это знать другим».

Мне же всегда хочется знать все о больных. Я исполнил маленькое поручение этой дамы и теперь пришел сказать об этом и проститься. Она уезжала для «лечебного отдыха» на Боденское озеро, и комната была уставлена чемоданами, корзинами, бельем и пр. Я сел.

Тут впервые я и расспросил ее о болезни. Она с затруднением, но сказала. И, поворачиваясь, что-то завязывая, сказала:

– Мы вечером не виделись, и я не сказала вам, что вчера (воскресенье) была в нашей церкви.

– Вот и я был...

– Вы были просто за обедней, а я была на архиерейской службе. – И она улыбнулась.

– На архиерейской службе? В Наугейме?

В самом деле, там русская церковь такая маленькая, что, кажется, архиерей в нее и не «уместится». Т. е. не уместится пышность служения. Полная противоположность представлений, как к ним привык уже за много лет жизни.

– Епископ Владимир из Кронштадта?

– Нет, русский епископ из Рима. Ему подчинены все русские заграничные церкви.

Тут я чего-нибудь не понимаю, или мне неверно сообщили. Псаломщик русской посольской церкви мне только на днях передал, что «все русские церкви за границею подчинены кронштадтскому епископу». Но, веро-

ятно, это «русские *посольские* церкви», т. е. приписанные к министерству иностранных дел, что ли. Тогда как *частные* русские церкви за границей, *обыкновенные приходские*, должны быть подчинены русскому епископу в Риме. Передаю, как до меня дошли два известия, не решаясь судить, где тут правда или в чем тут дело. Оба сообщения, очевидно, в каком-то отношении, с каким-то ограничением, правильны.

– Хорошо служил? Это так интересно: русское архиерейское служение за границей. Для иностранцев – полная новизна, а для нас – такая «родина». Ужасно жалею, что не знал и не был. Но как служил он? Неужели со всеми подробностями?

– Очень хорошо служил. И со всеми подробностями. Откуда взяли, уж я не знаю, но вынесли на середину церкви это архиерейское сиденье, и он сидел все время литургии, торжественно и властно, посредине церкви. Очень хорошо...

– Что хорошо?

Она улыбнулась. Она была очень образованна.

– Хорошо, что старо. Хорошо, что наше...

Помолчав:

– И сказал проповедь. Отлично сказал, горячо и хорошим голосом... Только очень властно, очень страстно...

Она помолчала еще.

– Видно, что это властный и твердый человек, т. е. владыка. Что же, это и хорошо: он управляет. Управление требует характера.

– Так-то это так... Я отлично понимаю, что «управление требует характера». Вот и римляне, без «характера» могли ли бы они управлять столькими землями и народами?.. Все это так...

– Ну?

– Ну, и иподиаконы все так же низко кланялись, и «исполатчики» все так же подкладывали под ноги его круги с орлами...

Она улыбнулась:

– Все, все, как у нас...

– Митра?

– Золотая.

– Одежды?

– Лиловые, длинные, шелковые, с «реками текущими»...

Действительно, полосы на епископской мантии обозначают «реки текущие», должно быть «поучения» или «благодати».

– Но ведь, Анна Владимировна, – воскликнул я, – это язычество!

– Полное.

Я был поражен, что она так просто сказала.

– Что вы говорите?

– Я говорю, что это полное язычество.

Я опешил.

– Почему?

– Потому, что это в полном противоречии с Евангелием.

– Что?..

– В полном противоречии с Евангелием.

И так спокойно и твердо, как спокойно и твердо говорила всегда эта труднобольная женщина.

– Но по тону видно, что вы это любите?

– Люблю.

– Почему?

Она что-то аккуратно укладывала в ящик и, кончив, села к столу и продолжала более систематично:

– Почему люблю? Почему-то любится... Я пошла в церковь перед отъездом из Наугейма оттого, что захотелось пойти. А отчего «захотелось»... оттого, что это – родное, давнее, что к этому привыкла с детства...

– Но вы говорите: «В полном противоречии с Евангелием». Я понимаю, о чем вы говорите: беседа с Никодимом, беседа с самарянянкой, «Дух веет идеже хочет»...

– Да! Да!

– Ну?

– И все-таки это тоже хорошо... Это – тепло, и этого... нигде не найдешь. Оглянитесь, вспомните свои отношения к людям: все – холодное, чужое. Везде расчет или корысть. Но когда, именно как молящаяся, я вхожу в церковь, – я этого не чувствую кругом себя. И кладу двугривенный на блюдо с мыслью, что это нужно церкви... т. е. храму. Вот и все. И я согреваюсь душою, я менее болею там, чем вообще в жизни; и мне теплее там, чем сидя в гостях или когда у меня гости. Еще: я там успокаиваюсь, на час забывая дом и все «домашнее», вечно несколько беспокойное...

– Да, понимаю, понимаю... Но вы любите и Евангелие?

Она улыбнулась несколько восторженной улыбкою, но без экзальтации.

– Да, вот, подите: сколько есть книг, и прекрасных, мудрых. Но каждая книга может приесться, если ее постоянно читать, и одну читать. Или даже читать много и часто. Но Евангелие... сколько бы вы его ни читали, – оно никогда не наскучит... Еще удивительнее, что, когда снова перечитываешь какое-нибудь место, давно знакомое, много раз читанное, – внимательно подумав, найдешь в нем непременно новую мысль, новое освещение какого-нибудь предмета, какого раньше в этих же словах не замечал. Это удивительно... Евангелие совершенно не похоже ни на какую книгу.

– Так что, вы его часто читаете?

– Постоянно.

– Но «культ»?.. Потому что вы, конечно, говорите о «культе» вообще, когда говорите, что это «язычество»?..

– Культ – это одно... – Она движением рук придавала какую-то особенную отчетливость словам: точно «отрезала» или «отсчитала». И продолжала: – И Евангелие – это совершенно другое! Между ними – ничего общего, никакой связи.

– И культ вы называете язычеством?

– Это же так очевидно! Он в полном противоречии с Евангелием, с его всем зовом, с его всем идеалом, с его всем смыслом. До отрицания *культа*, т. е. форм как сущности, – Новый Завет не начинался.

– Но вы любите культ?

– Люблю.

– Давайте говорить о другом.

Я был взволнован, как редко в жизни.

* * *

Дело в том, что если, может быть, она что-нибудь еще читала «о религии», то о церковных делах и вопросах она, наверное, ничего решительно не читала. Обширная служба ее покойного мужа была техническая или учено-техническая; воспитание она получила в институте и у «бабушки», – стародворянское. И отношение к церкви у нее было исключительно практическое, т. е. отношение к *богослужению* только и как прихожанки. Ни связей, ни знакомств в этой сфере... Обо мне она знала как о сотруднике газет, но чтобы я имел специальный интерес к церкви, – она этого не подозревала. Из книг моих ни одной не читала.

Но каким же образом, без споров, без «навождения на мысль», она так ясно высказала эти, в сущности, ужасные суждения? Значит, это так ясно? Да, она образованная женщина, спокойно образованная; да, знает Евангелие, любит его. И еще понимает, что такое «культ»... Вот и все, только. Из этих трех знаний, знаний просто образованного человека, вытекает суждение, которого, однако, во всем его объеме и резкости не только не имеет русский народ, до которого это «специально относится», и не знает *все духовенство*, которого это тоже «специально касается», – но оба они, и духовенство, и народная масса, похолодели бы от страха, представься им это все даже как просто подозреваемое, как возможное...

«Значит, так ясно... – стучало у меня в голове. – Так безошибочно верна эта мысль, от которой все похолодели бы в ужасе... И, может быть, она завтра откроется всем... Знает же ее, и с такой непоколебимостью в тоне, русская барыня, лечащаяся в Наугейме».

* * *

Это – одно.

Но и затем другое:

– Я люблю это...

– Я люблю и то...

Ее ум отнюдь не был философский, и она просто и правдиво выразила то, что чувствовало ее сердце.

Не усложнить ли ее мысль так:

– Как человек, – я люблю Евангелие.

– Но, как русская, – я люблю церковь.

Это говорили оттенки ее слов: «Я привыкла»; «Я встречаю здесь все родное»; «Тут – связь моя с родиною»; «Это – давнее, это – наше». Все это, очевидно, синтезируется в мысль: «Я – русская». Но почему она любит читать Евангелие? Ее вечной душе говорят вечные слова, которые Христос сказал «и не евреям, и не хананеям», а человеку, и она их принимает уже не как «русская», а как больной человек, как Анна, как образованный человек, образованный общим образованием.

«Я – человек»: и Евангелие понятно.

Но «я – русский»: и церковь тоже вдруг становится страшно дорога.

При сознании:

что между ними нет ничего общего!

От этого-то бы и похолодела кровь у всего русского народа и у всего духовенства.

Что это такое? При всем множестве того, что я писал о церкви, мне даже обдумать невозможно того огромного смысла, который содержится в словах не только совершенно очевидных в истине, но и очевидных до младенческого сознания. «Так ясно... скоро дети заговорят на улицах»... Что ясно?! Дети – почти говорят, а самым ученым – не ясно.

Этого не знает Гарнак.

Этого совершенно не знал Ренан.

Никогда этого на ум не приходило Штраусу.

«Что не приходило на ум?»

Полная противоположность церкви и Евангелия.

Нужда Евангелия.

Нужда и церкви...

Именно в сопоставлении своем эти три истины до того жгут ум, до того мутят сердце, до того «растеривают всего меня», что не знаешь, что делать, как жить... Кажется невозможным дольше жить...

«А живешь...»

II

Сотни мыслителей не только у нас, но и в «мудрой» Европе, восставая против учреждений и духа церкви, больше же всего против ее «застарелости» и консерватизма, пытаются положить на «плечо рычага», которым они думают произвести переворот и обновление, – *Евангелие*... «Дух Евангельский», «учение Христа»... «Ищите прежде Царствия Божия и правды его»... «Будут поклоняться и не здесь, и не в Иерусалиме, но на всяком месте, в духе и истине»... И проч. и проч. Но отчего-то все это не действует. Проповеди этой внимают (самое большее) сотни тысяч (в Европе), тогда как «к обедне ходят» по-прежнему (во всей Европе) сотни миллионов... И «служилое духовенство», никакой философией не занимающееся, не только не потрясено своими полемистами и «ссылками на дух Христов», но как бы просто не замечает этого, не придает этому никакого значения и

остается твердо и уверенно в себе, как если бы ему вечно стоять... Почему это? Что за явление?

Да в том и явление, что церковь именно «в застарелости» своей есть факт, совершенно в стороне от христианства стоящий и потому евангельской критике совершенно не подлежащий, не поддающийся, ее выдерживающий совершенно спокойно и твердо и вообще ею совершенно *неразрушимый*... Факт – другого порядка, в другом поле лежащий... Церковь так же нельзя критиковать Евангелием, как, напр., нельзя земледельческую культуру Англии критиковать стихотворениями Теннисона или наоборот. Нельзя упрекать или нельзя опровергнуть «дух Англии» ссылками на бурскую войну или тем, что Англию русские называют «коварным Альбионом». Все это отскакивает как резиновый шарик от старой, казалось бы, «заплесневевшей», казалось бы, от полуразрушившейся, но все-таки каменной стены и которая на самом деле, несмотря на свою «руинность», продержится еще Бог знает сколько времени... Стар Колизей, стар, только мыши в нем живут, а глядишь – переживет молоденькое и свеженькое Итальянское королевство. Церковь ни на что не обращает внимания, и всему сопротивляется, и все держится оттого, что она есть «собственное тканье» европейской жизни, «самодельщика» Европы, но, во-первых, – за 1½ тысячи лет европейской жизни и, во-вторых, в работе над чем, в «тканье» чего приняло участие все самое первое, самое духовное, самое гениальное в целой Европе, наконец, – самое поэтичное, самое вдохновенное, самое чуткое и отзывчивое... и еще опять, наконец, – самое близкое к народу, всего ближе к народному сердцу лежащее. Пусть теперь они «спят», но ведь «теперь» они повторяют «старые слова»; а слова эти впервые были сказаны, впервые подумались *именно самими живыми, самими нервными* людьми на протяжении целой Европы. Тут работал Дант и его «Divina Commedia»; работали, с одной стороны и в одно время, Лютер и Меланхтон, а с другой стороны и в другое время, – римские Григории и Иннокентии. Да, работали, думали, вдохновлялись, страдали, жалели и любили человека, как любили!! И всем этим, всею работою этого своего сердца и своего ума, золотили «слово церкви», ниточка за ниточкою, пуговка за пуговкою вырабатывали (бессознательно) и, наконец, выработали (до сознательности) «культ» церкви, ее «обряды», «требы», весь «богослужебный круг», весь «церковный год». Ведь все так медленно и *незаметно* произошло, что историки не могут сыскать, когда именно и что произошло... Церковь – потухший вулкан, но зола его и до сих пор тепла, и на нем родится превосходный виноград; а главное – на склонах его построились целые города, построилась вся европейская цивилизация. Да и еще «окончательно ли потухший»? Итак, вот все оно стоит: человеческое, «одно человеческое», – как выразился тонко Мережковский об язычестве. Недостает только последней догадки, недостает мудрым, но о которой начинают кричать дети на улицах: – Да, язычество!

Но такой величины, такого смысла, такой огромности и драгоценности для человечества, – вот для большого, вот для старого, да и просто для «сред-

него человека», что вдруг перед этой золотой старой стеной оседает куда-то в невидность и незначительность такое слово, как «ищите прежде правды его» или «блаженны нищие...».

* * *

Он болел... Больная сердцем говорит: «Я задыхаюсь... У меня припадки». Что же, ей могут помочь «ищите прежде правды» или «блаженны нищие». Но кто-то безвестный, длинноволосый, может быть, с недостатком человек, «просто человек», когда-то жалостливо прижался к такому вот больному, и... один придумал слова, другой *пополнил* их, третий указал дать больному *в руки зажженную восковую свечу* и четвертый *дал тон* напеву, чтением и возгласам, – и получилась «служба церковная» (соборование), которая так действует на труднобольного, что он боли не чувствует, что он не огорчен, не страдает, не раздражен, что он, вообще, не мучится больше ни телом, ни душою, а как-то весь преображается во что-то тихое и вечное, светлое и вечное. И умирает, и не умирает: болен, но и не болен... Но он умер, окружающие поражены, разбиты; что же, им, уже упавшим, вы скажете: «Э, оставьте мертвым погребать мертвецов своих, вы же идите за мною и слушайте слово». Им нужно другое, совсем другое, и опять это «совершенно другое» церковь также дала в молитвах погребальных и в затихающей памяти «9-го» и «40-го» дня. Все смягчено; удар смягчен. «Язычество». Но на это, отойдя в сторону от прямого удара, она может ответить:

– Да, язычество, но совершенно необходимое человеку, без которого он не может жить, которое, наконец, по содержанию своему, по мотиву, по вдохновению, – есть святое. У меня, и только у меня одной язычество вернулось к святому, облеклось святою оболочкою, наполнилось святым содержанием. И я им накормляю человечество в жизнь вечную...

С этой точки зрения совершенно переворачивается весь смысл истории, прожитой, поистине, «бессознательно», не озираясь на себя, как и вообще все живое и значительное творится бессознательно, «по вдохновению». «Вдохновенно» восстановилось язычество, но не в детской, играющей, юной своей фазе, которую оно проходило две тысячи лет назад, а соответственно опыту и увеличившимся «тяжестям» человечества, увеличившимся его воздыханиям, увеличившемуся труду его, страданиям, в форме несколько угрюмой, старообразной, отягощенной, мрачной, страдальческой и нравственно-серьезной. «Язычества нет», – подумали мы только потому, что нет игры, веселости, цветов и нимф. Но суть в сути, а не в нюансах. Суть в дереве, а не в лаке, которым оно покрыто, и особенно не в рисунке, которым раскрашено. Язычество воскресло, вернулось, и вот, подите, *теперь* серьезное и трагическое, столкните его. Попробуйте его свергнуть ссылками на Нагорную проповедь, на беседу с самарянкою, с Никодимом: оно даже не шелохнется...

С великим трепетом, с великою горячностью ума философствующие и публицистические умы литературного и научного наклона пытаются ухва-

тятся за слова первых апостолов, слова идеалистического и духовного оттенка, кричат до истерики о словах Христа, а практическое христианство, т. е. нужное народу, вот эта *реальная, действующая* церковь не подвигается ни назад, ни в сторону. Все усилия новаторов рассеиваются просто в «мнения», «преходящие мнения»... Рассеиваются просто в «слово», о котором сказано было, что оно «пришло», и о котором время теперь сказать, что оно «ушло»... В теперешней форме, угрюмой и серьезной, «плоть» форм, обычаев, привычек, выработавшихся жестов, выработавшихся обрядов, непременно требующихся одежд, непременно требующегося *вида*, «установленного» образа мысли, «установленной» манеры слова, «установленного» способа жизни или хотя бы личины жизни (кожа, наружность, форма, *плоть*), – вся эта необозримая *плоть и плоть*, приобретающая святое сверкание, святую пахучесть, святую добротность, святую вкусность, не уступит ни «пришедшему», ни который «опять придет»...

Она, эта *плоть* необозримой видимости, скажет о себе: «Меня погребли духовники, – погребли юною и невинною, но в пору, когда я в самом деле забылась и начала совершать легкомысленные поступки, однако нимало не связанные с существом моим». Однако *плоть* необходима человеку, пока он живет: человек – во плоти. Победа была мнимой и не могла не быть мнимой, – так как она ненатуральна и неестественна. Мнимо умершая *плоть*, мнимо побежденная *плоть* стала со всех сторон охватывать своего победителя, проникать в своего победителя, – и, шаг за шагом, год за годом, век за веком, вернула все свое, отвоевала назад все отнятые позиции, вытеснила «духовного победителя» отовсюду, оставив от него одно имя, пустую видимость и мнимость, пустую претензию на пустую и невозможную победу. «Без *плоти*» человек не может жить; «без *плоти*» существует только то, о чем мы говорим, что оно «умерло». «Без *плоти*» *воспоминание* о том, что «было»; «без *плоти*» надежда на то, чего не будет. Но и «надежда», если она исполнится, – исполнится через то, что «войдет в *плоть*». Так что это именно «*плоть*», а не «*дух*», – есть «истина и путь живой». «*Духу*» надо было сказать что-то; и явился вопрос: «как» это сказать? Т. е. вопрос о форме, т. е. вопрос о *плоти*. Сам «*дух*» потребовал «*плоти*», т. е. «победитель» позвал опять к жизни «побежденное». Да иначе и быть не могло... «*Дух* не победил меня, но борьбою измывал, измучил и состарил... И я не так свежа и молода теперь, как прежде... Щеки теперь у меня бледные; голос старческий; согбенный вид. Но ничего: все-таки я именно *плоть*, и победившая. Моя *плоть* в огне, которым зажигаются лампы; моя *плоть* в воске, из которого делаются свечи. Попробуйте делать свечи не из воска, а из сала; а вместо лампад с маслом из священной оливы зажечь керосиновые лампы, – и вы увидите, много ли от вашей «духовной религии» останется. Олива – дерево, живое; и воск – от пчелы, от жизни. Священные частицы священной *плоти* мира. Я вошла в воду, которою вы крестите детей; я вошла в масло, которым вы помазуете больного. И без масла самого «помазания» нет, т. е. нет и «священства», а с ним – нет и всего. Попробуй-

те мазать квасом: и увидите, что останется от христианства. Без священных стихий мира, как одно слово, – «христианство» будет интересно читателям; но *народу* оно нужно не будет. Я, плоть, – именно *народна*, и именно *нужна*. И эту *народность* и *нужность* и победила, т. е. спаслась сюда от гонителя, так как непобедима-то я по *существу* своему. Не дух рождает плоть: этого никто не видел, и это бывает только у спиритов, которые изобличены как вралы; а плоть рождает дух, из плоти, от плотского, в плотском дух зарождается, возникает, болеет, цветет, укрепляется: и это порядок всей природы. Вся она живет мною; я вся живу в ней. Мы-то и есть истина, а прочие, вновь возвестившие себя «истиною», были только мнимостью, которая прошла по закону всего мнимого».

ТЬМА...

Полна поучительности и разнообразного интереса рассказанная с большими подробностями г-ном Богучарским в последней книжке «Русской Мысли» история об оскорблении действием министра Сабурова на акте Петербургского университета в 1881 г. Ни Сабуров, как оказывается, тут был ни при чем; ни – университет и студенчество. Университет был только «передаточной инстанцией», а Сабуров – мишенью. Центральный комитет революционной партии находил (в министерство Лорис-Меликова и Сабурова!) состояние университетов «слишком пассивным», – и пощечина министру была решена как просто возбудитель студенческой энергии, вроде тех чугунных гирь, на которых упражняются атлеты. Принявший на себя исполнение этой «пощечины» центральный университетский кружок был устроен Желябовым. Самая «пощечина» решена была 300–400 студентами. На акте, раньше чем она была дана, ее «разъяснил» с хор студент Коган-Бернштейн, произнесший во всеуслышание всех собравшихся на акт речь, оканчивающуюся словами: «Мы не позволим издеваться над собою: ложный и подлый Сабуров найдет в рядах интеллигенции своего мстителя». После чего студент I курса Подбельский и дал заушение министру. Речь Когана-Бернштейна начиналась словами: «Единодушные требования всех университетов» – и проч. и проч.

Но на самом деле ни университеты тут были ни при чем, ни интеллигенция. Вся их роль заключалась в обычном русском безволии, в обычном русском безмолвии; в той «пассивности» профессоров, университетов и общества, в силу которой они, как вообще русские люди, оставляют без протеста величайшие безобразия, какие происходят у них на глазах, оставляют их без борьбы даже в том случае, если это мутит душу каждого порознь.

Было дело просто:

- 1) В 300–400 студентах.
- 2) В Желябове.
- 3) В Бернштейне и Подбельском.

Ничего «возмутительного» не делал Сабуров, который, естественно, не мог ничего начать и решать без преуказаний ему Лорис-Меликова. «Преуказания» же эти, естественно, не могли перевернуть вверх дном жизнь университетов и гимназий в течение тех недолгих еще месяцев, какие протекли со времени смещения гр. Д. А. Толстого с поста министра просвещения.

Но «пощечина» была решена «от лица всех университетов и интеллигенции». Читая картину самого происшествия, поражаешься смыслом всего, что было: вошли собственно вот эти 300–400 человек, включительно с Желябовым, «сговорившихся между собою» и решивших «думать и действовать» за Россию, – во что-то им чужое и постороннее, в чуждое им общество и чуждое учреждение (университет)... Вошли и совершили величайшую пакость, начав вдруг топтаться сапогами на лице невинного третьего человека (Сабуров), да, в сущности, и всех собравшихся (несколько тысяч человек), а в отдаленном смысле – и по лицу всей России; тех «всех университетов и целой интеллигенции», о которой говорил оратор с хор. Картина получается такая, как если бы кто-нибудь сказал:

– Стой прямо: я тебе залеплю пощечину, потому что твое внутреннее сознание говорит, что ты должен получить пощечину.

Университет завертелся в чисто белогорячечном припадке; помню то время, потому что в то время я был тоже в университете (Московском). Волновались все, кому хотелось волноваться, все вот эти «300–400 человек», при полном равнодушии остальных тысяч. Но «историю университета» за эти дни недели, месяцы делали именно эти «300–400» человек... Какую, однако, историю? Заключающуюся в погашении собственно *университетской истории* и размещении на месте ее *истории политических волнений*.

1) Университетов не надо.

2) Пусть будет везде политика.

Это решили Желябов, Подбельский, Коган-Бернштейн и 300–400 человек. Кому не надо?

Они говорят: «*России не надо*», не опросив, не голосовав, не сделав «анкеты», ничего. Просто «от себя».

Но нигде нет слов: «*мы решили*», «*мы постановили*», «*мы думаем*»... Как только было бы вставлено: «Желябов и мы, 400 студентов, думаем и постановили», так все событие и все подобные события, вся революция обращаются в пuff, в обман, в насилие горсточки людей над страной; обращаются в духовную и политическую тиранию. Так это на самом деле и есть. Идет духовная тирания, но запасишься чужим паспортом, где прописано: «Освободитель».

Конечно, врачи, судьи, судебные следователи, учителя, акушерки, казначеи, землемеры – все это решительно всем нужно, всей России. Но Желябову, который здоров, Когану, который не хворает, Подбельскому, который очень молод, – врач решительно ни для чего не нужен, а судебного следователя они боятся. От казначея они тоже ни жалованья, ни пенсии получать

не собираются. В «землемере» тоже не нуждаются, так как никакой земли не имеют. Вообще им решительно не нужна Россия, ни все русское; а чиновничество они отрицают, не соприкасаясь ни одною функцией с функцией чиновника. Как воздушный дирижабль не нуждается в железной дороге, в рельсах и вагонах, так эти здоровые молодые люди, даже здоровенные молодые люди, ничем не занятые и, в сущности, содержась у кого-то «на хлебах», совершенно отрицают все способы происхождения хлеба, заработка хлеба, роста хлеба. «Ничего не нужно» – вот лозунг революции и тунеядца. Вся наша революция есть характерно-тунеядная революция; великая обломовщина, полезшая на баррикады за халат и ничегонеделанье.

Ну, к какой работе, к какой *действительной* работе способны Желябов и «иже с ним» или Подбельские и Коганы? Белоручки. Да они подошли бы в неделю от регулярного «8-часового дня» на настоящей умственной или физической работе, на профессии врача или следователя. Иное дело – разговор, пойти к приятелю, «устроить динамит». Занимательно, как в Густаве Эмаре, и ручки не заболят. Вы попробуйте Подбельского заставить вместо «дачи пощечины» *сдать хорошо экзамен*: умается, вспотеет и (главное!) *ничего не выйдет!*

– Экзамен не могу выдержать; а вот пощечину дать – с удовольствием.

Но ведь это же хулиган? Обыкновенный хулиган. Какой же это «культурный элемент» и какие вообще тут «обещания будущего»?

Возьмите полвека революции и оцените, во что она обошлась России не «ихнею кровью», которую одну они умеют считать, но тем громадным *застоем*, какой она вызвала, и громадным *извращением* всех русских дел, всей русской умственной жизни, всех русских отношений. «Пощечину» давали не одному Сабурову, но и Пушкину (Писарев); давали ее поэзии (Скабичевский), дали ее философии (русские «позитивисты»). Все «насмарку», – была бы политика, и, в сущности, по желанию только «300–400 человек». Революция погасила всю умственную жизнь России, это ведь слишком известный факт. С другой стороны, она произвела – кажется, довольно естественный – испуг в правительстве. «Ничего либерального, ради Бога ничего: *это перейдет в революцию*»: во-первых, все это и действительно так, так случилось всегда, при Лорис-Меликове, при Святополк-Мирском, в начале 60-х годов. Но во что же оценить потерю России, что она из-за страха Подбельских, Коганов, Желябовых, «мордоплевателей», – целых полвека имела сплошь правительство, испуганное самой мыслью либерализма и в то же время всесильное?! Ни один враг свободы России, ни один самый заклятый ее враг не мог бы придумать ничего более действительного в смысле ее задушения, чем то, что сделала 50-летняя революция. Вся русская цензура, от Александра I и до кончины Николая I, не сделала тех злодеяний, той «выемки духа» из русской жизни, какую устроили «критики-шестидесятники» с их эпигонами; не «запрятали так философии», как они; не выгнали всякое «новое искание». Не понятно, зачем писать «историю Магницкого», когда можно писать «историю Чернышевского», так как вторая в сто раз obscurantнее первой.

Вернемся к испугу правительства (что он был правилен – показывает история 1-го марта) и тем необозримым последствиям, какие этот испуг имел. Все-таки ведь правительство-то было всеильно, а Желябов с 400 студентов никак не мог этому помешать. Или «мешай» действительно, или – не дразни. Без Чернышевского и «Современника» Россия имела бы конституцию уже в 60-х годах; без Желябова как «благодетеля» она имела бы ее в 1881 году. А притеснения земства? А репрессия печати? Без этих «благодетелей» мы шагнули бы вперед как европейская держава в точности на полвека: как Япония сумела же в полвека преобразоваться из изолированно-дикой страны в просвещенную по-европейски страну. Полная готовность даже Александра III, даже после убийства революционерами его отца, дать конституцию, и притом готовность спокойная, *ничуть не судорожная и не из испуга или растерянности вытекавшая*, непрерываемо показывает, что русские государи в принципе ничего не имели против конституционного способа управления страной и готовы были бы его дать, если бы он оказался или был доказан как лучший. Это непрерываемо и очевидно, и это могут отрицать только революционеры, которым нужно не «лучшее России», а мордобой. «Дайте нам дать затрещину министру, и при публике, – чтобы громко и масляно было». В этой «затрещине» все и дело. У русских государей просили вовсе не конституции, как это началось и как этим прикрывались, а просили позволить «расправляться»... При полной, совершенной и спокойной готовности дать конституцию русские государи не могли же дать, как бухарские ханы, право «расправляться с чужими физиономиями», да, наконец, и с чужою жизнью. И конституция (предлог) не была дана.

Первая и вторая Г. Думы это же показали: «конституция» – только предварительное средство, и никому из «левых» не дорогое. Сущность и цель – «дайте расправиться»: со всеми помещиками, со всем духовенством, со всеми собственниками, чиновниками и проч. «Лужа» была бы большая. Какая лужа? Конечно, – крови.

Напор революции есть напор дикости и самой грубой, азиатской элементарности, а не напор духа и высоты. Революция не была другом философии – это никогда не надо забывать. Она всегда шла враждебно поэзии – это тоже факт. Весь застой России объясняется также из революции: не Магницкий, не Рунич, не Аракчеев, не Толстой или Победоносцев – но Чернышевский и Писарев были гасителями духа в России, гасителями просвещения в ней. «Цензура» вся шла от этих же господ (редакционная цензура). Школы закрывали или их не допускали – они же (*закрты* воскресные школы были после того, как учитель одной воскресной школы на Петербургской стороне был застигнут за объяснением ученикам такой прокламации, которую даже «Колокол» нашел сумасшедшею (см. исследование Б. Глинского в «Истор. Вестнике»). Университеты теснились революцией; все репрессии студентов и стеснение лекций – шло от нее же. Реакционные уставы – от нее.

Ее роль в истории России – такая же, как монгольского ига. Роль удушающая. Роль кнута и застенка, или роль тех, кто учил: «Эллинских премудростей не текох и с премудрыми философами не сидех». Точь-в-точь, как учили писатели «Современника»... Но этой наставшей мгле конца не предвидится...

ВЕЧНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ И ВЕЧНАЯ СТАРОСТЬ

(К переработке гимназических программ)

Нужно пожалеть вековым сожалением, что в свое время не был поставлен во главе нашего министерства просвещения Н. И. Пирогов, автор «Вопросов школы и жизни», как бы рожденный для этого поста; что и позднее не был призван к великой задаче – устроить нашу школу другой гениальный человек, Д. И. Менделеев, автор книги «К познанию России». И что вообще за век своего существования, когда собственно сложилась наша гимназия, сложилось это зерно всего школьного мира, всего школьного дела, – во главе министерства, и следовательно, как устроители гимназии, стояли люди только средних способностей, иногда даже посредственных способностей, без гения и вдохновения, без энтузиазма, без сколько-нибудь засвидетельствованной горячей любви к русской земле, к русской истории, к русскому духу и быту. Две личности, поднимавшиеся над уровнем «обыкновенного», – гр. Уваров и граф Толстой, были – один европейцем-классиком, а другой «урожденным» министром внутренних дел и отнюдь не педагогом. Затем здесь менялись военные и профессора, из которых первые никакого отношения к школе не имели, а вторые были только хорошими специалистами своей специальности, отправлявшие учебно-административные должности просто как «должности», без школьного в себе жара и без школьного даже понимания. Ибо как есть «военный дух» и его доблести и героизм, есть «юридический дух» и известная тонкость в нем, – так есть совершенно особый «школьный дух», «училищное» вдохновение и жар, есть и возможен дар и, наконец, гений чисто педагогический. Вот соединение «министра» и этого специфического «гения» никогда у нас не встречалось: откуда и происходит, что вся школа у нас какая-то бескрылая... «Влачит» свое существование; «переделяется»; и после всех «переделок», удлинений, укорачиваний программы, начинки то классицизмом, то реализмом – она остается все мертвою школою, скомпилированной, сколоченною, выкроенною – а не живой, не творческой, не одушевленной.

И ученики ее не любят и, главное, не уважают.

И общество ее не любит и не уважает.

И государство ею недовольно. И недовольство выражает в требовании все новых и новых переделок, новых уставов, новых программ.

Ведь когда требуют переменить устав или программу, то тут собственно не в уставе и не в программе дело; разве «требующие», целая страна,

знают хорошо и детально в данное время существующие программы и уставы? Ничуть. Требование проистекает из глубокой тоски, с которой старшее поколение смотрит на младшее и видит в нем немощь к делу, праздншатайство, верхоглядство, фразерство и полное отчуждение от родной земли, родной истории, от всякого родного дела.

– Перемените программу: может быть, лучше будет.

Министр, у которого никакой решительно педагогической идеи в голове нет, – который есть только хороший юрист, или хороший генерал, или хороший латинист, – «собирает комиссию» и все на нее возлагает... В комиссию попадают все люди «ученые», хорошие специалисты своих специальностей, которые начинают спорить о преимуществах именно «этой своей специальности» и требуют увеличения программы и увеличения числа уроков по ней именно. Как и всякие переговоры, «комиссия» кончается компромиссом: «еще увеличить такие-то программы» и так-то перетасовать предметы и уроки. Министр, который вообще ничего в этом не понимает, никакого своего взгляда на дело не имеет, чуть-чуть для вида поумничав над «постановлениями» комиссии, в конце концов оформливает их в закон или устав и проводит по всем ступеням законодательной техники, и «новый устав» готов; но ничьей души он не радуется, и ровно никто ничего от него не ожидает.

«Хороший классицизм», – решила школа Уварова.

«Несколько классицизма и несколько естественных наук», – говорила система Головина.

«Исключительно один классицизм», – приказал Толстой.

«Послабее, не так горячо», – смягчил Делянов.

«Вовсе не надо классицизма», – скомандовал Ванновский.

«Классицизм можно оставить в виде крох – а главное, новые языки, прикладные знания, практические сведения, и как можно больше, горою! Да сдобрить все патриотизмом и сердечностью», – говорили последующие.

Поезд «училищ» пошел очень быстро и все сильнее раскачиваясь, почти до крушения.

Тут был призван Шварц, который сказал всеобщее:

– Тпррру...

Вся страна тоскливо заворочала глазами.

«Господи, хоть бы реформа»...

И опять «комиссия», и вот «реформа»...

* * *

Не в «патриотизме» дело... Ну, как ему «выучить»? Это не таблица умножения. Дело в том, чтобы вошедший в училище мальчик предрасполагался всем, что его окружает, что он видит и что он слышит, любит тот маленький мирок, в который он введен из своей семьи; вот этот школьный мирок – прежде всего, свое училище – это «альфа» всего; своих учителей, своего директора, своих воспитателей; чтобы он полюбил рисование, если его ему учат; музы-

ку или пение, если они введены в преподавание... Введены ли, однако? Насколько? И рисование, и музыка, единственные предметы с художественною в себе стороною, если и не выброшены из наших программ, то занимают в них нескрываемо-презренное место. Но это в сторону. Мальчик, приведенный в школу из семьи, должен себя чувствовать в ней тепло и светло, как бы он был в *продолжающейся* семье, в *развитой* семье, в *раскрывшейся* и *усложнившейся* семье... Ну, хоть год, два... Чтобы в этот опасный возраст 11–12 лет, самый впечатлительный, он не узнал яда отрицания, ненависти, гнева, из которого спёкся весь наш болезненный и уродливый нигилизм. Нигилизм весь есть продукт школы, – и именно той стороны ее, что она имела изумительное мастерство отравлять первые сознательные годы мальчика, наполняя его злобою, вызывая его гнев и критику, вызывая к борьбе с собою его хитрость и все волчьи качества. В русской несчастной гимназии первые школьные годы входили в душу учеников как «залп» отравляющей влаги, как вино самого дурного качества, едкое, дурманящее и вместе парализующее...

Школа, которой с первого же шага не любит ученик, которая его обидела, или его притеснила, или не поняла его в том, в чем он был вправе ожидать, что его поймут, есть растлевающая школа: ибо в 10, 11, 12 лет начать испытывать злобу – это растление души.

Теперь скажите, пожалуйста, в реформированной или нереформированной гимназии видел ли кто, чтобы директор постоянно «ходил по классам», был «всегда тут», когда оглянется ученик, и вообще был «что-то свое и близкое» для учеников. И дальше, по ступеням лестницы, – кто видал попечителя округа «постоянно посещающим гимназии», беседующим о предметах их дела с учителями, об их уроках – с учениками? Такого попечителя отродясь на Руси не видано. И кто видал министра, который «купался бы в училищной среде», как в своей домашней ванне; ее одну любил; к ней привык; ее до глубины знал?

Да ничего подобного и никогда не было! Все сидели по своим «канцеляриям» и писали свои знаменитые «бумаги». Оставив, в сущности, учебное дело «на Божью волю», – да на «серую шинель» всей учебной системы, всего министерства просвещения – учителя гимназии, сего чиновника VIII класса, с Анной 3-й степени в петлице.

ПЕРВЫЕ ГОДЫ В ШКОЛЕ

Не по слабости, не по тенденции нежить детство, ему потворствовать или его баловать, – говорим мы, что первое соприкосновение школы и ученика должно лишь продолжать и развивать семейное отношение, – и вообще должно быть мягко и интимно; но оттого, что здесь он переступает к большому миру, «России», к тому внешнему миру, среди которого будет всю жизнь работать, и ни в каком случае не должен почувствовать его враждеб-

ным себе, себя – врагом ему. Самый опасный момент, ценность и многозначительность которого нигде никогда не повторится. Школа есть то, что он видит первым «в России»: всю жизнь о «России» он будет судить несколько по впечатлению, какое на него сделала школа. «Рад он школе» в 9–10 лет, будет радоваться на Россию в 15–17–20 лет и даже дальше; а если первая встреча была угрюма или если она была официальна, холодна, если ему «не доверяли», а он привык только «бояться» и «повиноваться», то он и в житейской работе, пред лицом России от океана до океана, будет стоять испуганный и ненавидящий, будет видеть не «родину» в каждой местности, а видеть на каждом шагу «начальство».

– Как же вы не любите предания своих летописей, страдания родины под игом, ее медленный, тихий и упорный рост?..

– Но я никакого «роста» не видел, а видел только великовозрастных надзирателей, кричавших на меня, когда я, бывало, побегу по коридору. И «летописцев» не видел: а видел, как ревизор с лентой через плечо входил в класс и наш учитель, которого мы так боялись, сам начинал так же бояться этого ревизора, как мы его, и так же старался провести его за нос, показатьлицевую сторону дела и скрыть заднюю, как мы в 10–11 лет делали с учителем... Строгость, обман, ответственность, страх, главное, страх и всегда страх – вот «родина»...

Пишу это по личному впечатлению: по впечатлению всех нас, учившихся в последнюю треть прошлого века. Страх, ненавидение, презрение, перекинувшееся «на русские дела», – перекинулось прямо от школьных впечатлений, от гимназических «переживаний». В этих «русских делах» мы ведь ничего решительно фактически не знали. В русской истории *сколько-нибудь подробно* – ничего не знали. Но мы *a priori* «по своему директору» и «по своим учителям» решили, что вообще «все начальство и всякое начальство – дрянь», что «Россия состоит только из начальства», что это – не «родина», а «волчья западня»: как, действительно, *фактически* была волчьей западней для нас гимназия, беспощадно давившая и выгонявшая талантливейших из наших товарищей, ни разу нам ничего интимно не сказавшая, ни разу нас не позвавшая ей сказать что-нибудь интимно: в то же время – единственная реальность, нам открытая из «России».

Как мы, в 17 лет, злобно выслушивали всякую сплетню о России! Как мы ей заранее верили! В провинции – как мы верили, что Петербург – чудовище скверны, обмана и жестокости. «Все оттуда... Это из Петербурга нас приказали мучить... В Петербурге главное начальство, а уж наше – трусливое, мелкое, формальное, злобное, ничего не прощающее – только сообразуется с петербургским».

Вот «политическое воспитание» русского юноши... Естественное, невольное! Оно неизбежно: в сущности, «политически» все отроки и юноши воспитываются, в Англии, Германии, в России, в Древней Греции и Риме: но это невольное «политическое воспитание» может лечь *так* и *иначе*...

Не отравляйте же *политически* первый учебный возраст детей... Вопрос идет вовсе не о строгости и не *против строгости*, а о самом *методе* отношений, о духе их, о существе. Суть, главное, в том, что «ученики» и «учителя», а с другой стороны, «учителя» и их «дальнейшее начальство» ничем не связаны, кроме одинаковости формы того же министерства. Что «школьный мир» не представляет в сущности единства, а следовательно, и существует только формально, т. е. что самого «школьного мира», этого теплого и живого роя трудящихся пчелок, – вовсе нет. Вот этот-то «учебный рой» и мог бы зарониться около такой живой и *гениальной личности*, как Пирогов или Менделеев. Сюда непременно должна быть позвана живая гениальная личность: без этого *нет спасения*. Никакой шестиверстовой администратор не бросит юношество к любовному занятию науками, потому что о нерве-то всего дела, *поэзии и науке*, поэзии занятий его, он не имеет понятия, никогда *сам* наукою в такой форме, *с этим энтузиазмом*, не занимавшийся. Два заурядных классика и один тоже совершенно заурядный юрист – есть все, что мы здесь имели. «Чиновники от науки», занимавшие *должность* в университете, – не более. Но Пирогов и Менделеев, один – судя по его посмертным «Запискам» и другой – по всем трудам и, главное, по книге «К познанию России», были люди универсального ума и глубоких жизненных тревог: и вот *при них, под их руководством*, немислима была бы ни лень и сон профессоров и учителей, ни лень и «отхожий промысел» в политику студентов и гимназистов. Но один был «уволен» из профессоров, а другой «уволен» из попечителей киевского учебного округа. Это-то и были фатальные минуты в судьбах министерства просвещения, после которых мы только вздыхаем...

ЮБИЛЕЙ ОБРАЗЦОВОЙ ШКОЛЫ

Кратко, но неожиданно задушевно отпраздновалось десятилетие основания и открытия школы Левицкой в Царском Селе, – первой в России законченной классической гимназии, с интернатом, совместно для воспитанников обоего пола. После молебна заслуженный митрофорный протоиерей от. И. Аф. Беляев обратился к основательнице с краткою речью, в которой приветствовал ее мысль – создать школу, входя в которую ребенок не чувствовал бы никакого резкого перехода от семьи, никакой изоляции одного пола. Встреченная недоумением, недоверием и бесчисленными препятствиями уже потому, что она не имела для себя ни прецедента, ни установленной формы, ни какого-либо устава среди уставов учебных заведений России, она, благодаря непреклонной воле основательницы, дошла два года назад до полного завершения, а теперь празднует и первое десятилетие. Начальница от своего имени и от имени школы поднесла своему законоучителю (от основания школы) икону и в ответной речи благодарила его за помощь особенно в два момента школы: в 1900 и 1901 году, когда школа имела всего шесть учени-

ков, когда она имела всего-навсего положение и «формуляр» училища 3-го разряда, и затем в 1906 году, когда своим ясным и спокойным отношением к делу, своими добрыми и твердыми разъяснениями воспитанникам он предупредил всякие проявления брожения учеников. В этот год во всех школах Царского Села были инциденты, кроме единственно школы Левицкой, где занятия не были прерваны ни на один день и ни один ученик не позволил себе никакой выходки. После этого инспектор классов, г. Орлов, прочел исторический очерк возникновения и истории школы. «В пределах закона» она была доведена и могла быть доведена только до 3-го класса включительно: уже для открытия IV класса пришлось обратиться к Высочайшему разрешению, которое было исходатайствовано через министра просвещения Ванновского «в виде опыта на один год». И затем каждый следующий класс открывался и мог быть открыт также только по исходатайствованию Высочайшего же разрешения. Таковых было получено шесть. Таким образом, школа существует вполне вне рамок всякой нормы и благодаря исключительно воле Государя: пример совершенно небывалый в летописях русских училищ. Г-жа Ливицкая, жена петербургского врача, стоит вне всякой протекции; и кроме того, действуя через министерство, она, по предложению министра Зенгера, должна была предварительно защитить свою мысль о необходимости совместного для обоих полов интерната в комиссии, наполовину составленной из лиц, принципиально враждебных этой идее. Впервые узнав это из исторического отчета, собравшиеся в большом числе родители учеников и ученики были удивлены и поражены. Начальница пригласила всех гостей присоединиться к благодарности ее и всей школы тем лицам, которые помогли этому делу. Гости дружно ответили на это приглашение.

Затем были сказаны приветствия Е. С. Левицкой – от персонала воспитателей школы, от персонала учителей, одним воспитанником VI класса, воспитанницею VIII класса и воспитанницею IV класса; бывшею ученицею школы; депутатом от Новочеркасской школы этого же типа совместного обучения, профессором тамошнего Политехникума и вместе директором Высших женских курсов – Вл. Март. Арциховским. Он специально приехал для приветствия школы, так как школа в Новочеркасске основана г-жою Петровою совершенно по образцам и типу царскосельской и является в отношении ее как бы «дочерью». Но с особенным интересом выслушались речи инспектора учебного округа и бывшего воспитателя школы, который уже четыре года перешел в другую школу. Это – речи объективные и, так сказать, наблюдательные и критические. Окружный инспектор С. Лавр. Степанов указал, что пример школы, основанной вне всяких норм г-жою Левицкою, свидетельствует, что Россия не есть только царство формы и шаблона, что когда является человек с хорошо продуманным намерением, с бескорыстным планом и умеет в ведении дела мотивировать разумно каждый свой шаг и, главное, давать осязательное доказательство сделанного шага в виде последующих успехов, – тогда «затворы» администрации отворяются. И он обратил также внимание слушателей на помощь Государя и, безлично обращаясь ко всем, сказал, что и всегда нужно искать и всего лучше искать помощь именно

здесь, в самом источнике власти. «Сначала, — упомянул он, — мне и учебному округу не было приятно видеть в лице основательницы эту излишнюю как бы суровость, переходившую даже в жесткость, иметь дело с характером, ни в чем не поступавшимся и ни на йоту не изменившим ничего в своих планах, не шедшим навстречу ни на какие отклоняющие предложения, но затем я не мог не понять, что столь новое и столь ответственное дело, как совместное обучение и совместный пансион для юношей и девушек до полной их зрелости, — и не мог быть выполнен успешно без железной настойчивости». Бывший воспитатель, А. М. М-ский, перешедший из школы Левицкой в Москву, сказал, что ему не нравился вначале момент, когда из вполне «бесправной» школа получила права полной гимназии. «Зачем это, — я думал, — и не пошатнет ли это духа школы, такого свежего, такого семейного? Но вот теперь, войдя через четыре года в школу, — я узнаю все старое, прежнее. Тогда она была в зародыше, а теперь совсем выросла: но ничего в ней не переменялось. Это — та же семья, но только выросшая. Многие, я слышал, упрекают школу за ее аристократичность. Но это аристократичность не формальная, не барская: это совсем другое — аристократичность духовная, и она всем нужна. Отсюда я перешел в Москву, в самые народные школы для детей самых бедных классов: и там я увидел, с какою жадностью дети простых необразованных классов вбирают те привычки, те руководящие начала воспитания и обучения, но особенно воспитания, какие, усвоив от Е. С. Левицкой, — я перенес туда, применил там». Это было выслушано также с большим интересом и любопытством. Бывший министр Зенгер и бывший помощник попечителя Латышев прислали на имя школы длинные и очень теплые телеграммы, — так же как и начальницы многих петербургских гимназий и очень многие родители учеников и учениц, не могших лично принести поздравления за болезнью. Все вышеизложенное произошло и было сказано с большою энергиею и всех оживило. Вне движения «феминизма», женщина скорее старого закала и воспитания (институтка, и притом не бывшая на высших женских курсах), Е. С. Левицкая сделала огромное и действительно совершенно новое дело в области женского движения. Как указал окружный инспектор, школа ее — новая страница, никогда и никем не написанная, — в истории русского училищного дела. Дай Бог, чтобы она встретила подражателей и чтобы они не испортили ничего в идее. Прибавим в виде историко-литературной справки, что основательница — урожденная Полевая и приходится внучкою знаменитому журналисту 30-х годов, Николаю Полевому, редактору «Московского Телеграфа» и автору «Дедушки русского флота» и «Параши Сибирячки». Дай Бог ей здоровья и сил, а все прочее она приобретет сама умом, талантом и «железным характером», о котором дважды упомянули ее критики с кафедры, в конце концов ставшие ее горячими доброжелателями. Хорошее русское дело — и все придут ему в помощь. Секрет школы Левицкой, — как иногда кажется, глядя на совершенно особый «покрой» ее учеников и учениц, лежит не в уме основательницы, а в ее вкусовых предрасположениях и тоже во вкусовых антипатиях: в ее нетерпимости, доходящей до фанатизма, ко всякой

форме физического и морального разгильдяйства. Как известно, в школе не бывает температуры выше 11 градусов ни в спальнях, ни в классах (дети носят на теле фланель), и это до известной степени эмблема школы, не менее чем и цветок подснежника (самый ранний весенний цветок), значок которого носят все ученики и ученицы на своей форме, – как и начальница и воспитательницы: она с детского возраста «подмораживает» этот пылкий и хаотический возраст, в России проводимый так неуклюже, расстроенный, а не устроенный. Она не выносит неряшливости в одежде, неряшливости в походке, неряшливости в труде, в занятиях и не допускает этого ни в себе, ни в учителях и воспитателях, ни в учениках. Но к последним, отданным ей на будущее воспитание, она менее взыскательна, чем к первым и к себе, и это-то и служит причиною, что и ученики неодолимо вводятся в «общее построение», где нет дефектов, отступлений и виляний, где все твердо и выправлено. Школа вполне рассудительная, без фантазии и мечты. Скажут: «школа холодная»: но не теплее ли в тысячу раз это участие к детям и положение всей жизни, всех заполненных суточных часов долгую зиму, весну и осень на присмотр за ними и руководство ими, чем пылкие «сердечные» излияния, которые не дорогого стоят и тому, кто их произносит, и тому, кто их слушает. Своими рассуждениями с детьми о нравственности и поведении, о совершаемых проступках, о необходимости «отказываться от приятного», когда это велит долг, о сладости и гордости в некоторых случаях самоотречения, некоторого уже детского аскетизма – Е. С. Левицкая будит в юношах и девушках совершенно непривычный ход мыслей и воображения, новый особенно на Руси. Вообще в школе главное – ее *личные беседы с учениками и ученицами, и такт воздействий, перерабатывающих характер и его дефекты...* И не будет преувеличением сказать, что это единственная пока школа у нас, где дети не «ведутся», а *воспитываются* в разуме и сердце действительно замечательною воспитательницею.

ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ

(Библиографическая заметка)

Возмутительно высокая цена книжки*(80 коп. за 22 страницы текста!!) не мешает отметить ее как одну из самых прекрасных, самых верных, самых полезных книжек. Коротенькое содержание насыщено и даже пересыщено смыслом, который везде нов, нигде не затаскан. Не можем здесь реферировать книжку, но дадим из нее ряд выдержек, по которым читатель может оценить целое.

* Педагогическая библиотека, издаваемая К. И. Тихомировым под редакцией Королькова. – «Школа и характер» д-ра Фр. В. Ферстера. Перевод с немецкого, директора с.-петербургской шестой гимназии Г. Г. Зоргенфрея. Москва. 1910 г.

«С нравственно-педагогической точки зрения религия незаменима, и никакая прочная культура совести недостижима без культа религиозных мистерий» (богослужений). «Укрепление воли и изощрение совести имеют особенное значение в наше время, когда появилась философия «по ту сторону добра и зла», а среди молодежи повсеместно увеличивается число преступлений». «В огромной школьной толпе совершается то же, что и в толпе взрослых: как в последней страшно трудно бороться за свои убеждения и не подчиниться жажде социального одобрения, так и среди школьников господствует трусливое подчинение царящему в данный момент общественному мнению их класса». «Следует приучить молодежь к храброй, сознательной борьбе против всякого рода внутреннего лишения свободы, к борьбе со страстями, ленью, трусостью и даже боязнью. В школе не должно быть места слабости, попустительству, но это должно быть соединено с самым почтительным отношением к личности, к человеку». «Каждую свою работу ученик должен производить не из страха, не из честолюбия, не по сознанию обязанности, извне положенной, а соединяя эту работу с культурой своей личности и с развитием своей воли». «Изощренный интеллект без чуткой совести создает лишь Мефистофель». «Нравственное воспитание тем важнее, что человек, чем более он только интеллектуально образован, тем легче вырождается в самое неумеренное и дикое из всех существ» (заметка еще Аристотеля). «Уже античный мир, предписывая настоящему философу тяжелый аскетический искуc, совершенно ясно понимал этические условия всякой действительно свободной деятельности рассудка и знал, что сначала надо освободиться от своего субъекта, чтобы объективно мыслить. Кроме того, неподкупное влечение к полной истине является прежде всего потребностью не интеллектуальной, а моральной». Поразительно по истине и новизне следующее мнение знаменитого естествоиспытателя Дюбуа-Реймона, приводимое Ферстером: «Новейшее естествознание отчасти обязано своим возникновением христианству. Страшная серьезность этой религии дала в смене веков человечеству ту *меланхолическую, идущую вглубь* черту, которая сделала его более способным к кропотливой работе исследователя, чем легкомысленная жизнерадостность язычников. Вселив в человеческую грудь горячее стремление к безусловному познанию, христианство заплатило перед естествознанием свои прежние грехи»... «Впрочем, уже Жозеф де-Местр как-то подчеркнул, что как раз точные науки новейшего времени питаются *этическими силами*, созданными христианской культурой: безграничное терпение и тщательность, добросовестность и выдержка в самом малом, без чего точные науки никогда не могли бы развиваться, высшая определенность и точность ради самого дела, – этого всего языческий мир еще не знал. Поэтому расцвет точной науки является постепенно созревшим плодом тех (христианских) культурных подготовительных работ»...

Да... терпеливые работы супругов Кюри над открытием радия, может быть, имеют предпосылкой себе ночные «бдения» (молитвы, службы) средневековых монахов... Все связано!.. Нет случайного в мире. Разве не мо-

нах-алхимик открыл порох, а другой монах, почти нашего времени, Секки, написал лучшую книгу о мироздании, полную философии и вдохновения, – «Единство физических сил». Вспомним еще Фарадэя: сектант маленькой протестантской секты по рождению, он посещал ее «молитвенные собрания», когда уже стал всемирно знаменитым физиком... Действительно, *серьезность* христианства толкнула христиан ко всему серьезному, чем гордятся семнадцать веков Европы! Из приведенных выдержек читатель видит дух и направление книжки: она идет «против течения», того грустного течения, которое объемлет нас со всех сторон. Она полна пафосом героического и зовет школу к задаче: оставив односторонность только умственного воспитания, только пичкания сведениями из всех наук, устремить главное внимание на создание в детях, юношах, девушках героического характера, самоотверженного, самостоятельного, вполне личного. Это вполне возможно: ибо именно никто, как дети, не мечтателен, никто, как дети, не полон тайного, застенчиво скрываемого поклонения героизму! Школа *омещанилась*, школа наша страшно омещанилась: ее сделали духовные мещане, ее ведут духовные мещане, она ведет юношество к мещанству. Ее призыв – не «в гору», а «в болото». Все это само собою сделалось: школа отразила в себе целый век, а «век» минувший поклонялся мещанишкам-божкам, от жирного Карла Фохта до «директора философского департамента» Герберта Спенсера и до жалкого заморыша, истощившего себя над книгами, – писавшего «Историю цивилизации в Англии», в которой он не только не понимал ничего, но и ничего *не видел*. Нельзя энергично не повернуть к великим умственным личностям XVII века, века Паскаля, Лейбница, Ньютона, с их великою физикою, с идеями «предустановленной гармонии», с языком, каким написаны «*Pensées*» и «*Provinciales*»*.

И все же за книжку не следовало брать так дорого: но может быть, такие *серьезные* книги не идут?

МЮНХЕНСКИЙ МОНАШЕНОК

I

Растопырив широко руки, расставив ноги, красивый мальчишка, с лукаво и ласково улыбающимся ртом и хорошенькими щечками полудевочки-полу-мальчика, одет в «глубокий траур» католического монаха, со стихарем на груди... Куколь-башлык закутывает его головку, – совершенно как на портретах Саванароллы. Но не распятие он держит, как грозный обличитель Флоренции и Медичисов: в поднятой правой руке его пенящаяся кружка пива, а в левой – пучок вкусных редисок... Есть и вариант: пальцы правой руки сложены в «священное благословение», а в левой – Евангелие...

* «Мысли»... «Письма к провинциалам» (фр.).

Это – мюнхенский Купидон. В то же время – исторический герб города. С изумлением раз я увидел этого же «треклятого монашенка» в церкви, в самом алтаре: те же расставленные ноги, раскинутые в сторону ручонки... И пиво, и редиска. Я глазам не верил; потом подумал: «Что же, герб города. Алтарь (придел) поставлен в память и честь какого-нибудь рыцаря-крестоносца, защитника веры, пошедшего в Иерусалим из Мюнхена. И вот что этот святой воин был родом «из Мюнхена» – строитель алтаря и выразил мюнхенским гербом...»

Я бы не провел трех недель так весело в Мюнхене, если бы не этот монашенок. Но куда ни взглянешь – везде он. Я кончил тем, что стал влюбленным в него, как мало-помалу влюблялся и в город. Я всмотрелся во все его подробности: личико – всегда хорошенькое, никогда уродливое. Ни тени карикатуры... Вид «почти благочестивый»; но улыбка и вдаль (и вкось) устремленный взгляд вас манит к каким-то несказанным удовольствиям...

«Ну монашенок: веда, куда хочешь. Отдаю черту душу».

Но «монашенок» нисколько не грязен: в том его и остроумие, что он невинен, как белый сахар!.. Иначе его фигуру давно бы сбросили в клоаку, теперь же она внесена даже в церковь. Мальчик только манит куда-то вдаль. Куда? И туда, где крестовые походы, – и туда, где бесчисленные девушки разносят посетителям необозримое пиво. Это – особенность Мюнхена: пиво везде подают молодые девушки. Усталые, сонные, некрасивые теперь, но, конечно, были и другие века, и другие девушки. И Мюнхен, и его «монашенок» родились не теперь.

Около дворца, в Лоджии... но о них нужно сказать два слова.

Вообразите: баварские короли до того влюбились, между прочим, во Флоренцию, что одно ее здание, XIV–XV века, *целиком* перенесли в Мюнхен, т. е. повторили его в *виде, размерах*, даже в *цвете камня*, в каждой ступеньке и колонне. Это – Lodgia, «сенцы», около Pallazzo Vecchio, украшенные статуею (помнится, Персея, державшего в одной руке меч, а в другой – отсеченную голову Медузы). Против Lodgia на площади и был сожжен Саванаролла. Но Бог с ним, монахом, захотевшим «вертеть» землю в другую сторону, чем куда она вертится по воле Божией. Lodgia хороша. Старая, вся пепельная... Изгрызанная веками. Однако *выдающегося, исключительного*, мне, по крайней мере, не показалось ничего. Но зоркий глаз которого-то из Максимилианов подглядел в ней единственное в своем роде изящество, и перед окнами своего дворца, близко-близко, он поставил точь-в-точь такую. Только вместо Персея здесь поставлены две бронзовые статуи: знаменитого вождя баварцев Тилли и какого-то фельдмаршала, о котором надо справляться в ученом словаре. Тилли, везде гнавший и бывший протестантов, не знавший усталости, неудачи и замедления, был впервые разбит Густавом-Адольфом, после чего и выступил Валленштейн. Статуя Тилли, сделанная, конечно, по портретам, производит большое впечатление. Роста только-только среднего, скорее малорослый, он точно весь железный: с маленькой бородкой и низким, точно осевшим над глазами лбом, упрямым

и несокрушимым. Так и чувствуется, что он может только бить и не может быть разбит. Но «дух Божий» был с благородным шведским королем, приведшим в Германию всего только 15 000 воинов, и Тилли все-таки был побежден. Но фигура «графа Тилли» так характерна для 30-летней войны.

Я все-таки свожу это к «монашенку». «Купидон есть престококое существо», – говорит в «Пире» Платон; и этот «монашенок», который, конечно, есть в то же время купидон Баварии, наряду с проказами знает и минуты беспощадной суровости и когда-то вел баварцев к суровым и великим делам. Теперь великая и историческая Бавария «связана по рукам и ногам» Пруссией, этим в своем роде «мещанином во дворянстве», – и лукавый купидон посоветовал ей на время лучше пить пиво; пить пиво до более исторических времен. Она так и сделала; рассыпалась вся в веселости, беззаботности и искусствах.

Я говорил тамошним немцам: «Ведь Бавария не только меньше, – она и несравненно беднее России: откуда же это богатство? Ваш Rathaus (новое здание городской думы) не только по великолепию и чудовищной огромности здания, но и по внутреннему убранству зал есть почти волшебный дворец. Здание суда так и называется «Дворцом правосудия», в Петербурге только самые огромные дворцы могут сравниться с ними». Но и вообще все здания в Мюнхене поражают огромностью... Мюнхен весь, наконец, усеян мраморными памятниками, между прочим во множестве ученых профессорами Германии. Между тем какой малый памятник Ломоносову во дворе Московского университета. Сколько лет собирали на памятник Гоголю?! Памятника Жуковскому нет, кроме какого-то бюста в Александровском саду. Домик Лермонтову в Пятигорске, приобрести который в казну стоит всего 15 тысяч (мне говорил его старый, почти умирающий хозяин), без сомнения, будет «когда-то куплен» и всеконечно сломан или превращен в трактир; дом Жуковского, как пишет Пришвин, уже обращен в амбар для яблок и всяких фруктов. Сохранить все это, приобрести в государственную собственность стоило немногих десятков тысяч, и за сто тысяч можно было бы, я думаю, купить «все дома» (конечно, «хижины») всех русских поэтов, на таланте которых, между прочим, выросла вся теперешняя международная слава русского духовного, русского сердечного гения.

– Что прикажете делать: денег нет.

Вот об этом всегдашнем русском, вернее, всегдашнем петербургском «денег нет» я и вспомнил в Мюнхене, городе всего с 500–600 тысячами жителей и столице такого «по меридиану» крошечного королевства, что если поставить его около нашей империи, то оно покажется величиной с мышиное гнездо. Но оказывается, что это гнездо какой-то райской птицы, а вот на Востоке, напротив, точно поле, изъеденное мышами.

– Денег нет, сударь: даже на элементарную школу нет, куда же тут покупать домик Лермонтова! Пятнадцать тысяч, какой капитал! На маниловскую фантазию...

Но слышит ухо мое, что говорят господа, которые около казенного же сундука воздвигли *себе*, но именно *себе*, а не *России* преогромные палаты... И уж тут не жалеется денег ни на люстры, ни на ковры.

«Зачем нам домик Лермонтова, когда у нас есть паюсная икра».

В том все и дело. Все заросло диким эгоизмом, вкусом пустынного кочевника, который странствует по цивилизации, ему внутренне чуждой, ни к чему не прилепляясь, срывая с нее фрукты, но жалея плеснуть на ее корни сколько-нибудь воды. Не бедны мы, но бедна Россия: потому что мы все, в сущности, обираем ее, толстая только в собственный живот.

* * *

Это невольно думается в Мюнхене при виде, до чего много в этом небольшом городе небольшого народца воздвигнуто для славы и чести, ради гордости и просвещения родной земли...

Он весь зарос искусством... Только пропустив много времени, соображаешь, что название, каким назвал его свет и он сам называет себя: «германские Афины», в сущности, вовсе не идет к нему. Он построил Пропилеи: но это – *копия*; перенес Лоджия к себе, ничего к ним *не придумав*. Пинакотекa наполнена вековою живописью всех стран: но в нем германская живопись занимает едва заметный уголок, а баварская – почти никакого. Тогда как Афины украсились тем, что *сотворили сами*. Гораздо правильнее назвать Мюнхен не «германскими Афинами», а «германскою Флоренциею»: это название было бы точно и вполне идет к нему, и совершенно заслуженно. Флоренция подражала античному. И она сама ничего не сотворяла... Козимо Медичи с друзьями *зажигал лампаду* перед бюстом Платона, и в этой как бы языческой моделине друзья читали великие философские и вместе поэтические диалоги афинского философа. Суть Медичи и суть Флоренции заключалась не в собственном творчестве, национально-тосканском: суть была в поразительном по благородству и бескорыстию влюблении в чужое творчество, именно в античное, с полным и вековым забвением себя и своего. Как невеста передает себя жениху вполне и окончательно, ничего не оставляя для себя, все свое забывая, отрекаясь от родовой фамилии, от отца и матери, сестер и братьев, и входит в мужнин дом как в свой, а случится жениху и мужу умереть – убивает себя на могиле его: так Флоренция дала повторение этого чудесного феномена личной жизни в жизни коллективной, в жизни целого народа, города и дворцов. И положила венец на свою голову этим чудным отречением от себя. «А, так вот как можно любить! Как можно предаваться!...» Вот этот подвиг, отнюдь, однако, не афинский, скорее христианский (самоотвержение), повторил и Мюнхен, и его воистину прекрасные и благородные короли.

Все-таки огромные средства баварской казны они расточили на бесчисленные музеи и благородные, бескорыстные постройки. Эти «бескорыстные постройки» Мюнхена, вне «житейского волнения» и материальной необходимости, волновали меня самым сильным волнением. Таков, например, Максимилианеум. Широкая улица, как наш Невский, и длинная-длинная

ведет к нему... Издали он виден, поднимаясь какими-то террасами, на берегу зеленого (цвет воды), шумящего Изара. Этот шум и тревога Изара необыкновенно поднимают нервы: он – как конь, поднимающийся на дыбы; около него не заснешь. Пересекши мост через Изар и все поднимаясь слегка, подъезжаете к Максимилианеуму. Входите и удивляетесь: около него ни кабинетов, ничего; никакой канцелярии; странная необитаемость. Он есть только анфилада зал, с громадными картинами по стенам на исторические сюжеты. Нужно непременно начать с картины № 1, иначе все перепутается, и вы не поймете самого смысла здания. А начав с первого нумера, мало-помалу усваиваете этот смысл. Первый нумер: Адам и Ева в раю; второй или третий – построение Вавилонской башни; приблизительно шестой – построение пирамиды Хеопса, величайшей в Египте. Все картины многосаженные, с бездной народа на каждой. Все яркие, цветисты, недурны. Положительно великолепно «Битва при Саламине» Каульбаха: Ксеркс сидит на троне, воздвигнутом на материковом берегу для него, и видит гибель своих кораблей; пенящееся море, гибель массы людей, в воздухе «парящие предки, герои Афин» поражают персов (передача легенды), смятение, красота, смысл великого события волнуют вас... Из других по сюжету я долго не мог оторваться от «Взятия Карфагена римлянами»: жена Ганнибала приносит в жертву Молоху детей своих, а римские воины лезут и лезут... И стены Карфагена сложены из чудовищных саженных камней, по типу чуть ли не каменной пирамид... Дальше «Тунсельда в римском плену»; а вот и «Вход крестоносцев в Иерусалим» и «Фридрих II Гогенштауфен», мирно беседующий с арабскими учеными, математиками и врачами... «Да что это такое? К чему все это?» – спрашиваешь себя. Наконец (не без удовольствия), я наткнулся на картину «Основание Петербурга Петром Великим»... Все наше, наш Петербург, его Нева и знакомые (не очень точные) черты Петра Великого, работающего или распоряжающегося работами.

– Что такое? Что такое?

Спрашиваю разъяснений... Максимилианеум, оказывается, воздвигнут для раздачи наград студентам всех высших учебных заведений города и есть только «актовый зал» Баварского королевства!.. Не правда ли, хорошо придумано: в минуту, действительно несколько «упоенную» для юноши, он проводится перед зрелищем всей всемирной истории и видит в одном месте и в один день все героическое, что совершил какой-нибудь народ. Забыл, что между картинами есть и две следующие: афинские художники воздвигают Пропилеи и Пантеон, по предложению Перикла и на средства казны; другая: Перикл произносит речь к народу после обвинения его за эту трату денег. Войны, искусства, падение государств, возвышение царств – все видит юноша в 22 года, прежде – в 17 лет (раньше оканчивали курс). Какое впечатление, какое переживание!

И Бавария бросила миллион на это! Просто – для актового зала, где ученикам раздаются награды.

Да, это по-флоренски! Это красиво, как у Медичисов. И, кажется, без подражания Медичисам.

Около Odeon-Platz тянется углом крытая галерея. Тут расположены бесчисленные кофейни, и вообще это место гулянья, просто гулянья, притом среднего класса. Крытая галерея открыта в сторону сада и представляет: 1) потолок, 2) стену по одну руку, а по другую – ничего и выход в сад. Она страшно длинна, – так же длинна, как две стороны этого сада. Гуляют, отдыхают, ничего не делают. Но стена, что «по одну руку», вся разделена на квадраты, и масляными красками на них нарисованы: 1) важнейшие события всей баварской истории – это одна серия; по окончании ее идет другая; 2) виды всех замечательных городов Древней Греции с их развалинами. Тут и Сиракузы, и Коринф, Сикион, Митилены и проч. и проч. Проходите это, медленно проходите, возвращаетесь, – и наконец, идя дальше, встречаете в громадных медальонах на стене снимки со всех героев и важнейших мифологических сцен Греции, наконец, видите «символику греческую», в точном рисунке и с точными буквами, воспроизведенную с красивейших античных монет. Так как вся эта «крытая галерея» величиною и видом походит на «проход около Гостиного ряда» у нас, то спрашивается: возможно ли, чтобы вот в таком «гостином ряду» вместо возможных и ожидаемых «барынь с декольте» были помещены точные копии с подлинных античных монет?! Сколько для этого нужно образования, вкуса: и, наконец, королям сколько надо было иметь доверия и уважения от народа, «просто вот пьющего кофе», чтобы угостить гуляющих таким «латинским зрелищем».

И гуляющие не «мажут ворота» этой попытке королей учить и учить... Как, может быть, случилось бы у нас с попыткой «показать им Акрополь». Прошло нечто интимное: короли, правда, влюблены были во все эти Коринфы и Сикионы далекой Эллады, на берегу изумрудного моря; но они не любовно рассматривали все это, «сами попутествовав», а показали в огромных размерах «дорогому нашему баварскому народу» (надпись на многих государственных зданиях и памятниках искусства), и народ это почувствовал, взял указку в руки и стал учиться.

Оттенок влюбленности, а не «делания спустя рукава разных польз для народа», выразился в следующем: города древности или, точнее, художественные уголки мира, художественные и исторические ландшафты показаны в разных степенях совершенства, очевидно, с напряжением достигнуть *того же, но лучше*. В новой Пинакотеке, колоссальном дворце, посвященном собственно баварской живописи, а также живописи вообще новой германской, в самом конце здания находится огромный зал если и не темный окончательно, то почти темный. Прямой свет проникает только через дверь. Войдя, вы поражаетесь зрелищем: все античные города в их теперешнем виде, т. е. с морем, окрестностями и остатками храмов и театров, исполнены великолепно в красках на стекле и просвечивают, как транспарант. Для зрителя, сидящего в темной комнате, каждый выбранный город, которым он любит, кажется осыпанным горячими лучами южного солн-

ца. Этому одному залу можно посвятить несколько часов или просто приходить сюда отдыхать. Наконец, в этой же Пинакотеке интереснее, чем она сама, – Антиквариум. Здесь кроме этруских саркофагов и глиняных ваз греческой и этруской работы есть следующее: в саженных моделях воспроизведены: 1) старинные корабли времен от Колумба до XVIII века, но это так себе, по интересу; 2) города, как Мюнхен и другие исторические города Баварии (может быть, и Германии вообще), за разные века существования, насколько сохранились карты и планы, тут же висающие по стенам; и, наконец; 3) воспроизведены, тоже в колоссальных моделях, из камня тех же цветов и той же устарелости, все античные «останки» Италии и Греции... Вот еще языческие храмы из Тиволи, вот Пантеон и Колизей, вот фундамент и часть стены первого христианского «официального» храма-базилики Константина Великого в Риме, вот три храма Пестума... Называя здания, мною виденные и которые я внимательно рассматривал: они воспроизведены точно, «до крапинки», и дают полную иллюзию для видевшего, будят все заснувшие воспоминания. Отсюда прямо невозможно выйти: до того это великолепно и поучительно! И... какого же труда и *кропотливости* стоило все это сделать? Друзья мои: кто видел в Петербурге «модель Киева XV века»? «Модель Новгорода за XVII век»? Я отродясь не видел в России ни одной «модели» русского исторического города.

И, наконец, в этнографическом отделе «Национального музея», пройдя все этажи его, доходишь до самого верхнего, и здесь вступаешь в темные же коридоры, и здесь через огромные окна видишь панорамы живых теперешних городов... Я узнал рынки Неаполя, где-то «стоящую церковку и двух девочек, идущих к ней по каменному помосту» (живые народные и местные сцены)... И, наконец, далее – караван в Сахаре, сцены в Константинополе, Каире, пирамиды, сцены в Индии... весь свет! Опять – поучению и прелести нет конца!

И в основе – сколько денег!

Сколько труда!

И в основе – сколько энтузиазма ко всему миру, «которого мы не видели», «который далеко».

Та мучительная любовь, которая у русского простонародья есть «ко Святой Земле», к «старому Иерусалиму», – она видится везде здесь, но без приуроченья к одному месту, а к целому свету. Но *эта же* самая русская любовь. Палестина здесь представлена со стороны географии и истории: напр., панорама Рождества Христова, Рождества Богородицы или «Ученики, идущие в Эммаус». Для детей, для учеников – сколько поучительности...

* * *

И все это сделал лукавый монашенок, я верю. Суть в том, что он весел, что у него прекрасная невинная улыбка. На всем Мюнхене разлита печать веселости: ничего угрюмого, монотонного! За три недели, как я там прожил, я не видел ни одного расстроенного лица, вышедшего на улицу с тоской или не-

доумением. Ничего! И, конечно, ни одного пьяного. Этот огромный разлив веселости произвел веселый труд: а веселого труда всегда сработает втрое больше, чем труда «сквозь слезы», или «со скрежетом зубным», или монотонного и скучного. Гений дела и лежит в этом монашенке, который «все молится», – ведь такова его функция, но и все смеется, – таков его наряд. Нигде я не видел так переполненных храмов, как в Мюнхене: они огромные, а нет места на скамеечке присесть. И лица молящихся одушевлены, серьезны. Многотысячная толпа слушает проповедь, одушевленную и голосом на всю церковь, францисканца, подпоясанного веревкой. Вообще Вольтер не взял никакой себе здесь дани, и «монашенок» – не Вольтер. Он наивно смеется, не циник и от этого не устал. Но улыбается зовущей улыбкой и манит куда-то, я думаю, – не все же к безгрешным вещам. Здесь наблюдаешь конкретный католицизм в его необозримом изгибе, на одном конце которого стоит Тилли и ужасы, война и гроза, а на другом... античные нимфы, восторг к «храму Афродиты в Тиволи» и «Мадонна», начать молиться которой никогда не могло бы прийти на ум русскому человеку. От небесной грозы до подземного смеха католицизм включил в себя необозримую гамму чувств, ощущений, мыслей, раскаяний и греха и расцветился всею ею, как брызгами разбитой радуги. Он и черен, он и бел, кусает и ласкает, мучит и ведет к торжествам...

Все – «монашенок»: черный и смеется. Я чужой человек; и все-таки прямо почувствовал с ним головокружение.

А, отъезжая, ночью накануне, еще раз объехал черные стены его «Fräulein-Kirche»... Как я их боялся. В 11 час. ночи, если светит луна, «Fräulein-Kirche» есть первое католическое здание в мире.

И чего я боялся? Уже подъезжая к Берлину, я в pendant* «монашенку» грозил из кармана кулаком и повторял себе: «Fräulein-Kirche» – просто церковь барышни», т. е. в буквальном переводе по-русски. Или «церковь поклонения барышне»... Ах, с этой «Мадонной» их совсем закружишься... Из-под голубого хитона всегда, как десять жемчужин, пальцы ног. Совсем можно смутиться; но вот, слава Богу, и Вержболово.

НЕ НАДО ЗАБЫВАТЬ ДОБРОГО ДЕЛА

Он уходит. Снисходительные указывают, что он имел «серьезное лицо», «серьезное выражение глаз», и этим навел «серьезность» на целое министерство, которое, впрочем, никогда не отличалось живыми и веселящими чувствами, походя за век существования на кадушку с опарой, в которую забыли положить дрожжей. О нем будут судить разное, но к тому возможному хору порицаний, какой может раздаться ему вслед, мне хочется указать на одну услугу, которую он все-таки оказал просвещению.

* в дополнение (*фр.*).

Именно в первом сделанном на русском языке «Описании древнегреческих монет, принадлежащих Императорскому московскому университету», составленном тогда начинающим ученым, а теперь знаменитым русским ученым Алексеем Васильевичем Орешниковым, на странице V предисловия изображено так:

«В 1886 году заведывавший кабинетом изящных искусств при Московском университете экстраординарный профессор А. Н. Шварц *почтил меня лестным предложением привести в порядок и описать монеты кабинета*».

К позору университета, античные монеты Московского университета, составившиеся из пожертвований частных лиц, начиная с 1772 года, были за целый век существования не только не описаны, но даже и не были разумно и систематично разложены по ящикам! Ибо тот же г. Орешников свидетельствует в том же «Предисловии»: «Греческие монеты находились в беспорядке, и значительная их часть, именно все греко-римские, лежали между римскими монетами». Таковое размещение свидетельствует, как всякому историку-нумизмату понятно, о полном варварстве и почти гимназической неопытности в отношении сих драгоценных памятников древности. С великим трудолюбием и большой осторожностью (главная черта нумизмата) А. В. Орешников в течение нескольких лет работал над этим хаотическим собранием монет, и хотя «Описание» его все-таки не лишено там и здесь разбросанных ошибок, однако это есть первое в России описание монет *всех древних стран и всех эпох* античного мира.

Вот этого-то труда он и не мог бы выполнить без «предложения» и «вспомоществования» А. Н. Шварца, о чем свидетельствует в таких словах: «Когда объем моего описания наконец выяснился, то на печатание его, по ходатайству экстраординарного профессора А. Н. Шварца, было ассигновано 800 руб. из средств Московского университета, и в начале 1889 г. часть издания была сдана в типографию О. О. Гербека» (там же, след. стр.). А несколькими строками выше: «Скудная нумизматическими сочинениями библиотека была пополнена необходимейшими сочинениями по нумизматике древнего мира», т. е. в пособие г-ну Орешникову, который без помощи этих книг не мог бы и определить монет. Очевидно, таковая выписка книг лежала также на заботе нынешнего министра народного просвещения.

Эта светлая страница его деятельности не должна быть забыта теперь, когда он «уходит» и если он «уйдет»: так как в других университетах, – кроме одного киевского, античные монеты которого описаны проф. Антоновичем, – коллекции древних монет вовсе не описаны и, может быть, являются в безобразных кучах!

К сожалению, – как лично сообщал нам А. В. Орешников, – лишь немногo экземпляров его «Описания» было вручено ему лично («авторские экземпляры») и разосланы были им в ученые учреждения и ученым лицам России и за границу. Вся же масса издания была сложена в университетский подвал и, по-видимому, истлела, так что сам Орешников, подарив и последние свои экземпляры и нуждаясь сам для какой-то цели в новом,

тщетно разыскивал хоть один экземпляр у букинистов и не мог найти. Это, с другой стороны, показывает нераспорядительность А. Н. Шварца, которая, говоря языком римских гаданий по птицам, давала плохую «инаугурацию» будущей его деятельности на высоком и обременительном посту.

К сожалению, в бытность министром просвещения он уже не оказывал более покровительства ни нумизматике, ни прочим наукам.

В РУССКИХ ПОТЕМКАХ

Дайте радикалам самим и вдохновенно написать свою историю, – дайте им похвалить себя: это и будет лучшая критика, прочтя которую каждый скажет тургеневское – «Довольно»...

Г-н Богучарский в новой книге «Русской Мысли» продолжает свой рассказ о событии 1 марта, о той волнующейся среде, в которой оно произошло. Соредактор «Былого», он увлечен «героическими личностями» тех дней; но литературный талант и некоторая наивная добросовестность – лучший спутник всякого историка – не допускают его уклониться от правды, и он все рассказывает, «как есть». Посмотрим же на это «как есть»...

Н. В. Шелгунов и его приятель Н. Р. гуляли первого марта по Невскому и были «оба почти очевидцами происшедшего события»... В этот же день, в шесть часов вечера, «к Шелгунову собралось несколько близких друзей его из литераторов и кое-кто из революционеров. Шелгунов был сдержан, но, очевидно, *внутренно* доволен... Но он был гораздо более озабочен, чем его друзья, по большей части младшие его по возрасту... Большинство литературной братии отдавалось, напротив, *чувству радости* и строило самые радужные планы. Старик Плещеев и соредактор по «Делу» Шелгунова, Станюкович, особенно врезались мне своим оптимизмом в памяти. Странное дело: революционеры представляли на этом собрании единственно серьезный критический элемент и напирали на то, что нельзя же только *ликовать*, нужно и поразобрать промеж себя работу для возможного давления на правительство в печати, пока не ушло время. Кстати сказать, что даже такой на редкость умный человек, каким был Михайловский, еще несколько дней спустя утверждал, что «на этот раз к нам идет революция». И ему вторил своими картинными выражениями Глеб Успенский. Но возвратимся к беседе у Шелгунова. В своем несколько скептическом, но действительном отношении к событиям он был согласен скорее с революционерами, чем с записными литераторами, «сочувствовавшими» движению».

Разберемся. Оставим революционеров, которые шли прямой дорогой к прямому делу, и остановимся на «сочувственниках», не имевших никакой деловой связи с реальной революцией. Названы все почтенные имена... и стариков, да и благодушных, в сущности, людей, по общему представлению, по исторической у них памяти. Но «все ликовали», никто не мог удержаться «радости» о совершившемся. Опять определим действительность: на

этот раз согласимся с революционерами, что ведь ничего еще не получено, конституции нет, свобод нет. Ничего нет определенного, осязаемого, кроме крови на Екатерининском канале, – будем судить вне политики и лишь по человечеству – крови 60-летнего старца, «ничего подобного не ожидавшего», убитого во всяком случае из-за угла и (для себя) нечаянно.

Но «ликовали»...

В это именно утро Он считал себя особенно благодетелем народа, ибо в это именно утро Он подписал указ о первом в русской истории созыве народных представителей.

И все-таки «ликовали»... Люди такие добрые, беззлобные. Писавшие идиллические повести об идиллических маленьких людях. О том, как «недостало хлеба» у такого-то мужика; о том, как грубо обидели словом такую-то бабу. Пока осязательных результатов события на Екатерининском канале – никаких... «За пазухой лежит», «получено» пока только одна кровь. И «ликовавшие» были «почти этого очевидцами»...

Вдруг этих добрых людей согрела эта человеческая кровь. «Не могли удержать радости». Повторяем, это не политика, это – физиология. Самая радость отнюдь не политическая, а чисто физиологическая, пожалуй, мистико-физиологическая...

А уже седые бороды, и такая «гуманная» репутация...

Перейдем дальше.

Что же решают сошедшиеся у Шелгунова «близкие друзья»?

«Было решено, – продолжает автор воспоминаний (напечатанных в «Былом»; г. Богучарский делает из них только обширные выписки), – в целях этого воздействия на правительство, что *так как русские либералы, в силу своей тогдашней политической неразвитости, не умеют как следует выразить свои требования, то радикальные и революционные писатели придут к ним на помощь. Не компрометируя себя (?) писанием статей под собственными именами, они должны были надеть на себя маски «таинственных незнакомцев» чисто либерального лагеря.* В результате получился тот знаменательный факт, что лучшие статьи в газетах этого направления, *заговоривших тогда о конституции*, были написаны в те дни *социалистами и кое-какими нелегальными*». Т. е. эти статьи были написаны людьми, которым конституция вовсе не была нужна, которые ее ненавидели и боялись, подобно тому как они позднее «бойкотировали» выборы в 1-ю Г. Думу и без колебания «сорвали» 2-ю Г. Думу, принудив правительство распустить ее.

Спрашивается: возможно ли бы было предположить и ожидать, чтобы, напр., Карлейль, т. е. настоящий человек с настоящим нравственным закалом, когда-нибудь в самую решительную минуту своей страны «написал не под своим именем статью, излагающую мысли», ему совершенно чуждые и даже враждебные. Статью «для момента» и «для воздействия» на кого-то. «Конституции бывают и проходят, а душа вечна: как же это вечное согнется и поползет ужом ради каких-то временных и гадательных вещей?!...»

Так Карлейль *непрерывно* бы сказал: и из сближения этого вытекает, что вот *души*-то и не было у этих людей, писавших «не под своими именами» статьи, по их мнению, «нужные» для момента. О «нужности» мы скажем ниже, а теперь постараемся разгадать смысл слов автора мемуаров: «не компрометируя себя»...

Статьи завтра будут напечатаны, и в обыкновенных русских газетах. Следовательно, «компрометирование» не есть возбуждение против себя правительственной подозрительности. Это говорится о чем-то другом... О чем? Только и можно понять это в том смысле, что авторы, «частью радикалы и частью нелегальные», не хотели выставлять своих славных, знаменитых имен просто под *либеральными статьями*, вот конституционного характера...

Боялись себя унижить, потерять репутацию!..

В такой-то момент и для такого момента, как получение конституции!..

Но что же это за великие имена? Что-нибудь вроде «Тургенева»? Может быть, Михайловский, сам Шелгунов, Петр Лавров? Кто такие боялись «унизить себя»?

Это И. Н. Харламов, Н. С. Русанов, Ив. Кольцов и П. А. Зыбин.

Два последних – псевдонимы сотрудников «Дела» и «Слова»: и вот они не хотели унижить этих даже своих *псевдонимов*, уже известных читателям своих журналов как псевдонимы писателей *радикальных*.

Как щепетильны к себе: не только к крови и жизни своей, но даже к репутации. И это при полном равнодушии и к жизни, и к крови на Екатерининском канале. Нельзя не подумать: «какая дворянская кровь», какая «белая кость». Да, это – люди, рвущиеся в дворянство, грезящие о высшем положении; они – на «низах», но уже все их мысли расположены так, как если бы они были на верху положения. Лгать они собираются и сейчас будут лгать, но знаменитой репутации «Харламова» и «Русанова» никак не могут подвергнуть колебанию.

«Мы хоть и лгунишки, но нас все должны уважать».

Дворянин Харламов

«Одобряю мнение предыдущего».

Аристократ Русанов

Таково исповедание.

* * *

Теперь посмотрим, что же написали «политически развитые» радикалы и частью «нелегальные».

Г. Богучарский передает:

«Энергическая передовица в «Стране», ясно говорившая о необходимости дать России свободные политические учреждения, принадлежала перу покойного И. Н. Харламова. Этот автор, «указав, что путь репрессий не помог, и, не взирая на него, явились Соловьев, взрыв под

железной дорогой близ Москвы, взрыв под Зимним дворцом в Петербурге, и наконец (слушайте тон!) *Государь, любимый народом, изуверчен злодеями и истек кровью*», спрашивает далее: «Куда же идти? Тот путь безнадежный, бесплодный; он заперт, загроможден массою обманувшихся третьеоотделенских расчетов, неудачею князя Василия Долгорукова, неуспехом графа Петра Шувалова, беспомощным террором Мензенева. В ту сторону нет выхода».

И продолжает:

«Посмотрим в другую сторону. Момент ныне крайне неблагоприятный, чтобы говорить о ней. Иные советы могут показаться даже просто неприличными, когда произносятся в такую минуту, как нынешняя. Как нам просить (*слушайте тон!*) о доверии к русскому обществу, об уступке ему некоторых прав, Государя, вступающего на престол в виду окровавленного тела любимого Им и всем народом Родителя Его.

Но есть такие моменты в жизни народов, когда следует побороть чувство. Единственное чувство в настоящее время, — мы признаем это, — является в том, что затруднительно перед *страшным злодейством, перед возмущающею душу угрозою* делать какие-либо уступки. Но истинная политика есть расчет, а не чувство. *Чувство побуждало бы каждого порядочного человека, когда бы он видел убийственный снаряд, направленный в Царя, встать между смертью и человеком, носившим царский венец.* Но того же *добросовестного человека, готового поступить так для спасенья Царя*, — теперь, когда надо думать о будущем, — расчет, хладнокровное сознание реальных отношений побуждает дать совет, свободный от чувств негодования и мести.

Чрезвычайные обстоятельства оправдывают искреннее (?!!) слово, хотя бы оно и казалось выходящим из намеченных граней. Нет иного выхода, как уменьшить ответственность главы государства, а тем самым и опасность, лично ему угрожающую *от злодеев-фанатиков (!)*. Почему же всякая ответственность за то, что делается на Руси, за ошибки экономические и за разочарования нравственные, за крутые ошибочные меры реакции, за ссылку в Восточную Сибирь, за все неприглядное, одним словом, должна ложиться лично на одного вождя русского народа? Разве Он лично пожелал всех этих мер, разве Его собственной мыслью было приведение их в исполнение? Неумелые прежние советники, служители реакции, здравствуют, а Царь наш (!), Царь-Освободитель, погиб!

Нет, пусть впредь исполнители, которые зовутся исполнителями только на словах, сами несут ответственность на себе. Надо, чтобы основные черты внутренних политических мер внушались представителями русской земли, а потому и лежали на их ответственности.

А личность русского царя пусть будет служить впредь только светлым, сочувственным символом (!) нашего национального единства (!), могущества и дальнейшего преуспевания России. Ему нужны помощники не бесправные и не безответственные. *А Его да хранит Бог на пользу страны*» («Страна», 3 марта 1888 г., № 27).

Так писали «не могшие сдержать своего ликования» 1 марта на вечеринке у Шелгунова, писал (слова Богучарского) «в левойшей из газет передетый либералом революционер» («Русск. Мысль», стр. 4):

«Идею «Страны», – продолжает Богучарский, – подхватил на другой день «Голос». Он писал, что газета «высказала мысль, которая в эти дни у всех на уме, которая сама просится на язык».

Несмотря, однако, на великий макиавеллизм «политически развитого» Харламова, равно как «Голоса», два «статских советника, Леонид Полонский и Андрей Краевский» (редакторы левых газет) получили по предостережению.

Что же, однако, во всей статье было «необыкновенно развитого»? «Развитость» только и заключалась в бесстыдной лжи, – в том, что человек вымазал себе рожу углем или – соответственно теме – негр намазался мелом. Больше ничего «премудрого». Притом, самое это «замазывание лица», вздохи о «злодеях-фанатиках», о готовности патриота «стать телом перед убийственным снарядом и защитить любимого народом Царя» и проч. и проч. совершенно прозрачны в деланности, холодном риторизме, придуманности и «нарочности» каждого «речения»... Все грубые, толстые нитки врожденного не литератора, а бомбочинителя («Революционер» 1 марта, по Богучарскому), которому только кажется, что он великий хитрец и отличный стилист, а на самом деле это просто рогатое существо, которое умеет бодаться, но не умеет писать, ни – рассуждать, ни – мотивировать, ни даже мазать рожу мелом. Ничего не умеет: виноват, кроме как казаться самому себе великим.

* * *

О них и подобных наш университетский товарищ, А. В. Белкин, не без остроумия говаривал в том самом 1881 году, приводя параллель, кажется, из Библии: «И вот, завидя пыль вдали, томимые осадой жители крепости послали на стену посмотреть: «Не помощь ли идет?» Но посланный, увидя стадо, пылящее по дороге, вернувшись, сказал: «Нет, это не помощь, а бараны». Сам Белкин, студент Московского университета, был «либерал», как мы все: но уже тогда «красные» мучили душу и в университете, и везде. В особенности возмущало, что они постоянно выдают себя представителями «всех».

Богучарский приводит статью от того же 3 марта из «Порядка», написанную (как он намекает) К. К. Арсеньевым, и говорит: насколько она более была исполнена достоинства, содержа те же мысли и те же тезисы.

Да и все это само собою разумеется! Ни Арсеньев, ни Б. Н. Чичерин, ни В. И. Герье или И. С. Аксаков просто не сумели бы заговорить таким «льстиво-лакейским» языком, каким «политически зрелый» Харламов написал поистине очаровательные строки. И по простой причине: никакой «конституции» Харламову («революционер») не нужно было, и он в статье «желал» того, чего в душе не желал, и высказывал «негодование к тому», о чем внутренне «ликовал» (сходка у Шелгунова).

Что же такое было тогда в России? Перед чем стала государственная власть? В частности, как Государь Александр III мог реагировать на «знаменитое» (квалификация Богучарского) «Письмо Исполнительного комитета» к нему, где обещалось «положить (революционное) оружие, если будет дана конституция»?

Нужно пожалеть людей.

Нужно понять положение.

Имя его?

– Ложь! Ложь! И – ложь! Ложь без краев, как туман, который где начинается и где кончается – ничего не видно. Добывали конституцию: да, но ведь это – ясно, когда ее добывают Чичерин, Арсеньев, Стасюлевич, Герье, Аксаков (Земский собор). Но ведь *все эти* русские умы, русские сердца, русские характеры уже «Страною», уже «статскими советниками Л. Полонским и А. Краевским», уже «политически-развитым» Харламовым были оттеснены в сторону, были сброшены вниз, в пренебрежение, в ничтожество... Герье и Чичерин были ненавидимыми именами (припомните «сквозь строй», устроенное им в 1879 г. при споре об общине); Аксаков считался полоумным и был вне всяких счетов. Разгуляйся «матушка-свободушка» по Руси: и негры, сейчас смыв мел с рож, конечно, на первой виселице (за «общину») удавили бы Чичерина и Герье. Что это – так, что это – правда, ныне живущий еще Герье, вероятно, прямо физиологически чувствует. Да ведь есть и доказательство: «ликование» на вечеринке у Шелгунова. Кто же не *осуществляет* того, что «дает ликование». К этому вся история стремится, в этом вечный аппетит ее. «Дайте возликовать», «дайте поприрадовать», «хлеба не надо – а чтобы праздничек был».

Как же было быть и чему довериться? Колебалась и была *лукава* почва в каждом аршине земли; и ступить *сюда*, на эту почву, куда звали «перелицовыванием в либералов отнюдь не либералы» (слова Богучарского), – значило провалиться в то «окошко», какими бывает усеяно болото.

Это показывает историк «Политической борьбы в 80-х годах», соредактор «Былого», вместе с Бурцевым, г. Богучарский. Написав правдиво и просто эту историю с передовыми статьями 3 марта 1881 года, он вдруг осветил всю эту действительность 1881 года как болото...

Лукавое, бездонное, засасывающее. С зеленой манящей муравой поверху.

* * *

То, что *сейчас* знает Богучарский, едва ли не узнало и правительство *в те же дни*: т. е. *кто* писал «передовицы» в газетах, звавших к «доверию»... И если *сейчас* пугаешься положения, можно представить «самоощущение» приглашаемой к «доверию» в «болото» власти тех дней!!

Ни Богучарский и ни один человек в мире, после рассказа истории о «передовицах», не может усомниться в том, что дело в 1881 г. шло вовсе не о конституции, даже не о «передаче власти народу»... По каковой причине

решительно ни один революционер и не «вздыхнул»: «Ах, мы не знали, что конституция была уже подписана: знай – и мы не совершили бы 1 марта». Ни одного такого вздоха ни в России, ни за границей. Шло дело о том, чтобы удавить Герье и Чичерина («ликование»). Это – конкретно. Обобщенно – чтобы и удавить вообще всех «таких»... Каких «таких»? – «Политически неразвитых», – вот, которые корпят над составлением серьезных лекций (Герье), пишут серьезные книги (Чичерин) или еще пишут «стишки». Примерно того же Плещеева, который «ликовал», да, может быть, и до Глеба Ивановича добрались бы. Ведь он был художник... ну, а Харламов далеко не художник. Харламов просто лгунишка и (судя по выделанным словам) даже, может быть, лизоблюд, лизоблюд не за барским столом, а в трактире для извозчиков (демократия). Ведь «лизоблюдом» можно быть и выше и ниже, лизоблюдство – не ярус, а душа.

Россия попала бы вот в такое бездонное «окошко», как эта душонка Харламова, – который «не рискнул своим самолюбием» подписать статью в «Стране», вызвавшую предостережение. Это, видите ли, такой Мефистофель, который режет ятаганами головы, «и меньше обо мне не думай». В том все и дело, что «меньше обо мне нельзя думать». Россия попала бы во власть тех, о которых «нельзя меньше думать»: но ведь если Харламов думает, что нужно удавить только «противников общины» Герье и Чичерина, – то ему соперником может явиться человек, который думает, что надо удавить Глеба Успенского, ибо он «поставлял беллетристику буржуазии», а не просто-напросто бодал рогами в забор. Сейчас, как я пишу эти строки, у меня есть абсолютная уверенность, что Успенский был бы повешен «железным террористом» и, кроме того, что громадная толпа, по преимуществу женщин и особенно нежнейших девушек, бросилась бы лизать руки этому «железному террористу», решившемуся на самого «Глеба Ивановича», когда-то общего кумира... Именно «ужасная решимость» его и закружила бы всем головы. Да разве нечто подобное не надвигалось у нас в пору «подъема», – когда толпа вдруг понесла Максима Горького над головами Толстого и Достоевского? Разве мы не имели в прошлом примеры Шенье, Лавуазье и Дантона? Дантон был на что «либерал», а и его удавил Робеспьер. На этой почве: «кто же всех радикальнее» нельзя не прийти никуда, кроме Калигулы Единственного. Естественное завершение всех сходящихся к одной точке психологических параллельных линий. Калигула Единственный и Совершенный, новый «Будда» Запада, «прозревший». Вот этот самый Харламов, которому все кажутся «политически неразвитыми», и Чичерин, и Арсеньев.

* * *

Свобода – в ровных берегах. Свобода в свободе. Свобода никак не в «пирамиде», – а «пирамидальное устройство» имеет вся революция, и закона своей «пирамидальности» она не может избыть, сколько бы ни барахтались ее члены. Рискнув шеей, единственно из самолюбия, чтобы выступить «пер-

вым» во всемирно-знаменитом и исторически-знаменитом процессе, Желябов «объявил себя» соучастником и даже «руководителем» 1 марта, в чем его никто не обвинял и против него не было улик. Это все подробно рассказано у Богучарского. Богучарский называл его «гигантом революции» (в том и заключается наивность этого повествователя), не будучи в силах привести хотя одного его слова, хотя одного его афоризма революционно-философского. Между тем Желябов был брETER и хвастун, и дальше философия его не шла. Богучарский приводит о нем разительный рассказ, не замечая всего его унижительного смысла. Уже в пору Липецкого съезда, т. е. когда 1 марта было задумано и решено, – Желябов жил у себя в деревне, был «по убеждениям народником» и к террору не принадлежал. Но один террорист сказал товарищам, что его «все-таки пригласить надо, потому что у него такая *натура*». И он рассказал, что когда встретил Желябова «где-то на вечеринке, то Желябов всех товарищей занимал рассказами о постоянных своих столкновениях с профессорами и университетским начальством» (Желябов был родом крестьянин, выучился и слушал лекции в университете). В революции это называется «энергией выступлений», в простом быту такие люди зовутся «забияками» и «задирами», у военных – «бретерами». Желябов рассказывал, что не то чтобы его кто-нибудь «обижал», а «он, батюшка» всех сам старался обидеть, грубил и скандалил, придирался. «Но вот особенно всех террористов что привлекло: в деревне, где жил Желябов, был страшный бык, с которым никто не мог справиться и все от него бегали; узнав об этом, Желябов молча взял вилы и пошел один на быка – и обратил его в бегство». Эта подробность убедила всех. Приглашение Желябова к покушениям на жизнь Государя было решено. И *хотя теоретически он был совсем другого порядка мыслей*, – однако тотчас дал согласие выступить на «славную охоту»...

Все это точно рассказано у Богучарского: я ни слова не изменяю. Но ведь это же идиотство! Решиться на дело, на одной чаше весов которого налегло все мнение народное, – только оттого, что «любо ходить на быка с вилами». Какая же к черту тут политика и какая вообще политика в революции? Хлыстовство, психоз; и наверху всего: кому быть Калигулой Единственным?

Вся революция строилась пирамидально: «намечались первыми» уже давно: Фигнер, Перовская... Пока не выскочил совершенно бессмысленный урод, с жадной хваткой в «первенство» (я – *глава* всего) и с мотивом только: «вилы! победил быка».

Это и есть Калигула, который тоже не был умен.

«Пирамидальная форма» непременно развивает страсти и безумие. Человек относителен: и когда он останавливается на чем-нибудь абсолютном – он упирается в тупичок и сумасшествие. Вернемся к относительностям: они-то и хранят человеческую свободу. Свобода – в равнинности; не в плоскости, а в равнинности, – в отрицании вообще «абсолютного», что принадлежит одному Богу и человеку вовсе не дано. Человек должен вообще отстраниться и от абсолютного ведения, и еще более – от абсо-

лютой власти. Государи наши, в молитве пред вступлением на царство, всегда и открыто сознавали ограниченность своего разума, условность своей воли, смиренно прося о «помощи свыше». В скрытом внутреннем нерве власть эта нисколько не есть и нисколько не ощущалась как «абсолютная», хотя и была таковая в титуле, в фразеологии. Но сущность русской царской власти, нравственно и религиозно, всегда выражалась в молитве перед вступлением на царство, «в начале», «в первом шаге». От этого Александр III, да и Александр II – нисколько не были против «представительства», против созыва «депутатов от народа»; но они боялись – точнее, они были испуганы донельзя – этой глубокой ложностью почвы, на которой стояли их ноги. «Везде огни, везде – манят: но это ложные огни». С половины XIX века вопрос состоит именно в том, чтобы погасить «болотные огни», чтобы уничтожить «окошки», куда «проваливается нога», чтобы устранить «болото».

Чтобы погасить революцию *как обман* (кричит «один», – а кричит, что это «все кричат», – история революции *в каждой ее строке*).

Чтобы истребить *мелкодушие*.

Нужно всем нам сознательно и внутренне вернуться к именам и лицам, к духу и заветам русских людей еще до наступления «болота»: это линия – от Новикова до Пушкина, люди сороковых годов обоих лагерей (западники, как и славянофилы), это люди, как Кавелин и С. М. Соловьев... Мы имеем целую затоптанную, заплеванную фалангу людей, относительно которых постоянный лозунг «левых» был: «Не читайте их, а читайте Каутского. Дешево и сердито». Мы должны вернуться к образованию как следствию сознания условности разума; и к культуре в смысле медленной работы над собою по сознанию условности нравственных сил.

Царство относительностей мы должны противопоставить абсолюту революции. Зрение, да еще вооруженное скромными очками, должны противопоставить ее слепоте. На место ее пренебрежения ко всему мы должны поставить уважение к очень многому.

Революция есть ненавидение.

Только оно и везде оно.

Победит ее одна любовь. Внутренняя, тихая, настоящая. Всего лучше безмолвная.

СТРАНИЦА ИЗ ИСТОРИИ МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ

«И вдунул в лицо его душу бессмертную», – сказано в вечной Библии о человеке, при рассказе о его сотворении... Не «в тело», как мы привыкли думать, как об этом думала греческая философия («душа есть *энтелехия тела*», – учил Аристотель); не «в мозг», как подсказывают физиологи и медики. А, – неожиданно и странно казалось бы, – «в лицо»...

— Что вы все о Библии? — слышу я ропот читателя. — Такая старая книга... Поройтесь в чем-нибудь современном... Больше будете иметь успеха. Больше получите слушателей и читателей...

К старости, когда умолкают или, вернее, затихают страсти, начинаешь судить о вещах с таким «равенством весов», как это решительно недоступно в молодости. Итак, я не скажу как юноша: «А на что мне мнения человеческие», «я стою выше толпы» и проч., и проч. Нет, когда держишь перо в руках, — ты обязан уважать читателя. Или зачем эти суровые термины: «обязан»? Нужно попросту любить читателя и попросту же не считать никого ниже себя. Итак, читателя, личного и массового, я люблю, ценю его и, разумеется, взаимно хотел бы и быть любимым, т. е. читаемым и слушаемым. И вот, имея это высокое и даже несколько священное представление о «читателе», я скажу все-таки, что, если бы мне на выбор дали: 1) «иметь читателями весь свет, с условием никогда не упоминать о Библии», или 2) «пожалуй, говорите сколько угодно о Библии, но зато же вы не будете иметь ни одного читателя», — я выбрал бы последнее.

Я был бы немой, глухой, но с восторгом в душе.

Во втором случае я был бы, как медная доска, о которую гремят удары, — звон несется на весь свет, а в душе ужасно скучно.

Священный шелест строк, слов, *тона* (главное — тона!), услыша который все забываешь, и душа наполняется восторгом.

Но это, может быть, личное пристрастие, вкус, предрассудок; сверх этого *личного отношения* я уже обширно и объективно убежден умом, что без Библии никогда человечеству не выбраться из «истинного неблагородства» и никогда же не прийти без нее к истинному благородству. Соединяя в понятие «благородства», между прочим, и свободу, развитие, движение вперед. «Цивилизацию» в обширном смысле.

«Без Библии далеко не уедешь», — скажу я вульгарно и несколько веще.

Вот отчего, сколько ни сердился бы читатель, я прямо и косвенно, заметно и незаметно буду подводить его к Библии. «Испей этой вечной воды».

* * *

«Лицо» в человеке, — вот на что в первой странице Библии указано. «Не забывайте лица», «надейтесь всего от лица», «помните в человеке лицо», «не оскорбляйте лица»... Не правда ли, все это уже содержится в строке: «И вдунул Бог в лицо человека душу бессмертную».

История человеческой культуры, можно сказать, не написана... И даже не начата. Между прочим оттого, что она разделяется на несколько совершенно самостоятельных глав-сочинений, — глав, обширных, как «отдельное сочинение»... Такая «история культуры» как бы требует в авторе своем человека о многих головах, о многих сердцах, со многими в себе светильниками, со многими пылающими кострами... Такого нет, и, может быть, он невозможен, и «история культуры», может быть, никогда не будет написана. То, что появлялось под этим именем, — говоря словами Пушкина, —

Достойно слез и смеха...

Так вот из этих-то «глав-сочинений» мечтаемой истории культуры благороднейшею была бы глава: «История человеческой личности», или: «Судьбы человеческого лица в истории»... Тема эта не менее обширна, сложна и занимательна, чем «История Рима», под каковою рубрикою обычно пишется много томов. «История лица человеческого»?..

Но я сейчас же и перекидываюсь к «злобе дня», все держа в памяти вечную строку Библии:

Лицо человеческое в России?

Как только я спросил об этом, читатель, уверен, разохается: «Ах, Боже мой, – лицо в России? Никогда об этом не думал и ничего в этом не понимаю».

Но я совсем подошел к злобе дня:

– А Шварц?

Читатель, просто, упрется в землю лбом:

– Россия? Лицо человеческое? Шварц? Ничего не связываю.

Шварц, допускаю, – даже великий человек. Скромный обыватель не решится отрицать никаких качеств, на которые претендует министр страны. Но он латинист, т. е. язычник, и никогда не помнил Библии. Он думал «спасти Россию» строгими латинскими склонениями, а что значит «лицо человеческое», – не принял во внимание. И от этого не только ничего не достиг, но, в конце концов, от этого же и вышел в отставку.

– Как?! – воскликнет читатель.

Произошла ломка, треск, грубое столкновение, и никакой плодотворности. Шварц ужасно напрягался. Что он напрягался, – это все знают. Не было другого такого «напряженного» министра. Но дела никакого не получилось. И единственно по отсутствию таинственного библейского «лица»... «И вдунул Бог в лицо человеческое душу бессмертную».

От «а» до «ижицы», от минуты «восхождения» своего до минуты своего «нисхождения» А. Н. Шварц твердил, заявлял:

– Я – власть. У меня – власть.

Что в переводе значило:

– Я – *сила*, а не *лицо*...

И «вдунул в лицо его»...

Строка Библии прерывается перед желтой стеной министерства просвещения. Очевидно, что на этот раз ровно ничего не «вдунул Бог» в человека, потому что он и сам о себе говорил, что он – власть, и только власть. О «власти» же что угодно можно думать, писать и говорить. Но в Библии не писано: «И вдунул Бог во власть человеческую душу бессмертную».

Такой строки нет, и даже ухо слышит, что это как-то было бы неуклюже. Нет, это не истина.

Шварц развился «в силу», пытавшуюся что-то сломить. И также без чувства в «ломаемом» лица человеческого. В этом пункте и лежит вся загадка трагедии... или водевиля «со слезой», тянувшегося два или три года... Даже не помнится, сколько лет он «царствовал»... Ничего не помнится, и

даже не хочется, чтобы помнилось. Трещало, скрипело; «нудно» было ему и около него... И все это хотелось и тогда-то даже не слушать; а когда «прошло», то скорее забыть.

Бог с ним: Шварц совершенно неинтересен. Интересна Россия и вот «лицо» в ней... Шварц – только иллюстрация, и сам невольно, и плачевно, и, наконец, пассивно дал пример того, что такое «лицо» в судьбах России, ее духовных и физических дел, ее успехов и возможного бы успеха...

«И вдунул Бог в лицо человеческое душу бессмертную», и лицом своим человек может и должен господствовать над обстоятельствами, средою, над государственностью. Так как решительно ни о чем еще не сказано, чтобы и оно, это другое, несло также в себе «душу бессмертную». Но рок России и черная судьба ее заключаются в том, что «лицо человеческое» вообще нигде не видно в ней, ниоткуда не светит и не получает никакого значения. Само молчит о себе, и о нем все молчат. Вот, как Шварц... Никому не пришло почему-то на ум, что, имея с ним дело, обращаясь к нему, прося у него... Впрочем, «просить» у него не «просили» ничего, а требовали или пытались требовать... И он «отказывал, сколько мог»... Все «отказывал», и все «сколько мог»... Из этих ломких, хрупких, а главное – совершенно глупых и бездельных вещей, – «требования» и «отказа», – и сплеталась вся история министерства за два или за три последних года... Итак, у него «требовали» и «пытались требовать», потому что никому не пришло на ум, что можно обратиться к его «лицу». Пробовали принудить *силу к уступке*, потому что «лица» никто не чувствовал иначе, как в физическом бедном очертании. «И *не* вдунул Бог души бессмертной в лицо человеческое», – придется сказать о России и русских... Что же получилось? Да, прежде всего, даже жутко вообразить о том сиянии и блеске дел, предприятий, замыслов, о той серии экспедиций, изданий, о том ряде библиотек и музеев, какие могли бы возникнуть и загореться в точке соприкосновения восьми русских университетов с авторитетным министром, имеющим доклад у Государя. Ведь ничего нет и нигде... Ученые экспедиции Европы раскопали Вавилон, Ниневию, египетские храмы, но русские, среди которых есть лица, знающие и вавилонский и египетский языки*, единственно не приняли в этом никакого участия. А Румянцевский музей в Москве уже лет восемь назад публиковал в своих годовых отчетах, что ему совершенно некуда помещать вновь прибывающие (по существующему закону) книги и он вынужден складывать их... на ступенях лестниц!! Конечно, и восемь лет назад этому никто не внял, и теперь...

Теперь Шварц-москвич мог бы на докладе сказать: «Такая жалость средств, такая скудость денег на все ученое в России, что даже во второй по величине и ценности сокровищнице книг в России книг некуда более ста-

* Г. Никольский в Москве уже в 80-х годах минувшего века издавал и переводил вавилонские надписи; г. Голенищев в Петербурге есть один из лучших египтологов в целой Европе, – читающий иероглифы, как мы славянскую «вязь».

вить, и они складываются на лестницах более небрежно и небережно, чем хлебное зерно в элеваторах... Для необозримого зерна находится помещение... да и для всего в России помещение находится, только вот для книг, которых не так уж много, места нет»...

И, конечно, все раздалось бы, раздвинулось...

Вместо этого москвич Шварц поднял вопрос о том, могут ли в границах своих дел университеты что-нибудь делать «сами», или все у них должен и вправе делать «он один».

«Он один» или «они все», – точь-в-точь такие же, как он, профессора...

Ну, можно ли тут запомнить, – «два» или «три» года тянулась эта канитель? Кому это интересно? «Кто сильнее: я или вы?» Но это вопрос цирка, языческого римского цирка, а не культуры, не христианской культуры, не почвы Библии и ее благородных ростков.

Когда потомки через век оглянутся на наше время, они откажутся верить, чтобы в пору, когда Россия до того нуждалась в свете и искала света, «честью министерства» было – создать как можно больше затруднения оканчивающим курс женщинам-медичкам, женщинам-учительницам... Да и вообще всем создать как можно больше «препятствий» и «затруднений» в учении... «Уж если кто на это преступление решился, – пусть знает, что он примет страдания, сколько едва ли вынесет»...

– Какое же «преступление» учиться?

– Прямо я не говорю, что это «преступление». Если это – и мысль, то конфиденциальная... Но уж позвольте моему авторитету не подлежать вашему контролю. Я устанавливаю, а вы потрудитесь подчиниться: «всякий учащийся да примет горечи, унижения, притеснения и всяческого горя утроено против доли неучащегося». А в каких это «целях», – это подлечит только «высшему соображению», толпе неоткрываемому.

* * *

Я не о том, что это было «дурно» или как, а о том, до чего все это глупо. Или, философичнее: до чего это лишено «лица человеческого»...

ТОСКА ПО ЖЕРТВЕ

Лет семь назад во всех газетах много печаталось о «человеческих жертвоприношениях у вотяков», – по поводу открывшихся случаев подобных жертв у этого первобытного народца Восточной России. Между ними меня особенно поразил следующий рассказ местного священника-наблюдателя, по соседству с которым, в вотяцкой деревне, произошло такое жертвоприношение. Крестьяне-вотяки, рассказывал священник, за несколько времени до того стали чувствовать себя как-то дурно, трудно, нехорошо. Распространилось тяжелое состояние души, угрюмость. Чем дальше, тем больше, – без всяких явных причин. От этого начали появляться у мирного до тех пор населения ссоры, драки, и самая работа становилась хуже и хуже от того же

трудного, нудного состояния души. Стали старики их тогда собираться и шептаться. «Ничего не поделаешь, надо принести злему духу жертву. Злой дух томит нас». Совещались, думали... А затем в одно утро урядник нашел зарытым в лесной чаще какого-то отбившегося от села, захудалого парня. Жертва была принесена. Тотчас же, рассказывает священник, как рукой сняло тоску с деревни: вотяки опять весело принялись за работу, работа начала спориться, и все оттого, что население повеселело и успокоилось, как только кровь пролилась.

Поразил меня этот рассказ священника, как единственный просвет в неразгаданную тайну древних жертв, о которых ни в единой исторической книге я не прочел ни одной разъяснительной строчки. «Не понимаем», – это стоит вывескою над самым средоточием древних языческих богослужений и ветхозаветного богослужения, о чем исписаны, между тем, томы. Здесь же есть объяснение, заключенное, правда, в описании, в безыскусственной передаче того, что священник увидел: «Все почувствовали тоску, угрюмость, мрачное расположение духа. Жертву принесли. Настроение духа тогда прояснилось». Кратко, очевидно – достоверно и – разительно.

Достоевский – великий знаток глубин человеческой души. В «Бесах», устами Петра Верховенского, он говорит следующее: «Мы устроим на земле мир и покой; устроим счастье человеческих младенцев, т. е. превратив народы в младенческое состояние. Все будут немного работать и петь кроткие песенки. Войн не будет. Суда не будет. Преступления не будут. Но раз в десять лет мы будем пускать в этом мирном и успокоенном человечестве судорогу, – *единственно, чтобы скучно не было*: люди вдруг начнут поедать друг друга, до известной черты, до предела, до дня и минуты, когда опять – стоп, опять труд и кроткая песенка, и так до нового десятилетия», и проч. ...

Так Петр Верховенский, революционер и заговорщик, излагает свое «исповедание» кумиру своему, Николаю Ставрогину. Так как идея всемирного младенческого состояния повторяется и в исповедании Великого Инквизитора, в «Бр. Карамазовых», и в «Сне смешного человека» в «Дневнике писателя», то, очевидно, здесь вложена мысль самого Достоевского или, еще точнее, его гадание о человеческой природе: «Раз в десять лет нужна судорога, должна пролиться кровь: иначе человек захиреет, закваснет, заскучает. И все равно, выкинется в преступление, как задыхающаяся подо льдом рыба выкидывается на лед и гибнет».

Объяснение, удивительно совпадающее с наблюдением у вотяков: стало всем скучно, зарезали – и успокоились.

Древние жертвы, нужно заметить, были именно человеческие, или человеческие – *главным образом в центре*. В знаменитом рассказе о жертвоприношении Исаака это совершенно разъяснено: когда уже отец готовился заколоть сына, ангел удержал его руку и указал на барана. Тогда он принес барана в жертву: баран заменил ему человека. Но в идее-то, в первоначальном замысле, в первом порыве – приносился в жертву именно человек. При

определении жертвоприношений за каждого вновь рождающегося человека определенно указывается, что все эти вновь рождаемые суть «Господу», т. е. потенциальная Ему жертва, которая должна быть *непременно заменена жертвою животного*.

Вернемся к мысли Достоевского, к чувству вотяков, и скажем, что это скорбное чувство как бы задыхания человека в собственной психологии происходит оттого, что в крови каждого человека есть крошечная долька хищной, тигровой крови, но смешанная с такими же частицами крови от овец, от баранов, от волов, от свиней (грязное в человеке), от амфибий (низкое и холодное начало в человеке), от орлов и вообще птиц, от ядовитой змеи и холодной рыбы. Человек «всекусен», «всеяден» и, увы, «всекровен», ибо в него, как в вершину пирамиды, коронующей животный мир, очевидно, втекли струйки от всех вкусов, от всех инстинктов, от всех позывов, реально – от всех кровей, какие были в мироздании до него. Втекли, – и в каждом просят себе травки, зернышка, но, увы, иногда и крови! Заметка Достоевского о необходимости «пускать иногда судорогу», или точнее, о роковой *обреченности* человечества испытывать иногда и участвовать иногда в этой судороге всепоедания – относится к этой жажде соответственного корма, которой в нас просит тысячная доля унаследованной еще от хищных крови. Каналом, отводящим этот ужасный инстинкт в сторону от человечества, обезопасивающим от него человечество, и были древние жертвы: «Приносите их, и как можно чаще, приносите сами, или чтобы приносились они на ваших глазах священниками, и вы угасите, покорите этот инстинкт в себе и не убьете ближнего человека». Животное шло за человека. Но в идею жертвы входила жестокость, терзание. В «Талмуде» мне пришлось прочесть, что священники храма, или левиты, приносившие в жертву голубей, должны были отращивать ногти и иметь их твердыми: надрезав шею у голубя, они захватывали ногтями кожу и мясо его и раздирали шею, как хищная птица, как ястреб. «Человек жесток и хочет мучения: потому жертва должна совершаться *так*». Это – совсем мысль Достоевского. «Иначе будет скучно». Козел отпущения, приносившийся за грех всего народа, сталкивался на острые камни пропасти, чтобы раньше, нежели убиться на дне ее, раздирался об острые ее выступы. «Возьми наши грехи на себя, возьми наши грехи на себя», – говорили, кладя на голову его руки, евреи, пока его вели из храма в пустыню. Это совсем, как у вотяков: «Возьми нашу тоску на себя».

Не экономического нуждою, а более всего этим нужно объяснить случаи убийства, по крайней мере в большинстве случаев, особенно когда они являются столь беспричинными, ненужными, бессмысленными. «Украсть 100 рублей» – скорее предлог, повод, зацепка. «Придрался к случаю», «придрался к цели». Человек с преобладающе «травоядною» кровью в себе, или – с голубиною, ни перед какою нуждою ничего подобного не сделает. «Убийцами рождаются», как и поэтами. Это – наследственность, но не от дедушки с бабушкой, а от тигра, блуждавшего около садов Эдема. «Все вошло в нас», вошло с тех самых пор.

Когда я читаю о терроре и множество повестушек о том, какие в основе это «идеальные и гуманные личности, возмущенные человеческою несправедливостью и тем, как трудно народу», то думаю: отчего же они *не лечат* народ, отчего же *не учат* в школе мужицких ребят, почему им надо именно разmozжить голову полицейскому или генералу? И отвечаю: да это тоже вотяцкое чувство. «Пришла тоска. Закисла кровь. Задыхаюсь. Дайте увидеть, почувствовать носом, как потекла кровь, как она пахнет». И при этом, чтобы «ногти были острые» (у иудейских священников), чтобы «бомба рвала мозги», нож «всадился в живот, перерезая кишки». «Я чувствую, что тогда приду в хорошее настроение», судорога уляжется (Достоевский) и можно опять петь братскую детскую песенку («fraternité, liberté»).

Революция тосковала, пока не вылилась в террор. «Тогда все пришло в хорошее настроение духа и дела начали спориться» (вотяки). Сама революция явилась как накопившееся в крови отрицательное электричество, – после того, как войны необыкновенно стали редки, по одной на поколение. Именно молодое-то поколение, так-таки и не выдавшее от рождения крови, войны, преимущественно задыхалось. «Ни одного жертвоприношения, ни – моими руками, ни – у меня на глазах». Если иногда наступали революции вскоре после войны, то их кровавая часть делалась не бывшими участниками войны, да и мы не знаем размеров кровавости революции, какая была бы без войны. Но вот замечательно: когда нет в наличности ни войны, ни революции, «тоска» в составе человеческой массы увеличивается (вотяки) и начинаются «повальные самоубийства», со стереотипом записочек: «никого не виню», «нет *цели* в жизни». Тут не «цели» надо читать, а другое: «не зарезал горлинки, теленка, человека».

А «спасение отечества» и «свобода России» тут ни при чем: те «три целковых», которые до того понадобились молодому человеку, что он ради них задушил товарища или прикончил тетеньку.

Всякий революционер, который станет «ловить себя на мыслях», вдруг останавливать на тайной грезе и спрашивать, «*о чем именно я думаю*», увидит, что подползла к нему тоска по крови, а вовсе не «по всемирному благоденствию». Он не рисует себе человечество, едящее котлеты: нет, а как пуля, зажужжав, пробьет кишки генералу, как пуля ударится в висок полицейского, как мозги третьего разлетятся по мостовой. Эти подробности, а не подробности об еде за братским столом. Причем генерал, полицейский и «третий человек» есть тот «отбившийся от деревни вотяк», которым можно пожертвовать, которого не жаль.

* * *

Великого организма жертвоприношения не было бы, космологически не было бы, если бы около жертвоприносителя не стояло и жертвы. Бог так устроил, что там, где алкает тигр, есть и мирно пасущаяся лань. Разделение животных на травоядных и хищных, смысла которого, надобности которого никто не понимает, может быть, имеет для себя основанием эти нужды мирового жертвопри-

носительства. В революции, кроме жадности «обмакнуть палец в кровь жертвы», есть и совершенно обратная: взойти на мировой костер и сгореть жертвою для общечеловеческого спасения. Бледные, красивые девушки и юноши тянутся сюда же, к великому жертвенному огню: но уже не чтобы убить, непременно убить, а чтобы «что-нибудь совершить», «сделать», даже в форме попытки убить, но *не доводя дела до конца и успеха*: дабы обратить на себя внимание и пролить *свою кровь*. «Так овца ведется на заклание, и нет в ней сопротивления»...

ИЗБЕГНУТАЯ ОШИБКА

В газетах прошло известие, что отлучение целого ряда писателей, предложенное на миссионерском съезде в Казани, – не состоялось. Именно оно не нашло сочувствия среди иерархов Св. Синода... Нельзя этому не порадоваться с самых разных сторон. Как известно, писатели большею частью живут «славой»: кормятся славой, обожают славу, хватают – откуда бы она ни шла и какова бы ни была – славу. В этом отношении ожидаемое «отлучение», конечно не доставив никакой горечи почти всем писателям, намеченным епископом Гермогеном, – скушано было бы ими, как самое сладкое бланманже: Европа загудела бы, сто газет в России целый месяц кричали бы в каждом номере в защиту «отлученных жертв», и Анатолий Каменский, которого, кроме его издателя Вольфа, никому не приходило на ум считать великим, шепнул бы себе ночью в подушку: «А, ведь, в самом деле, пожалуй я и великий человек, раз тысячелетняя церковь сочла мои сочинения опасными для себя»... Во всяком случае, *гонорар* за романы и повести все «отлученные» авторы повысили бы, и редакции охотно дали бы высший гонорар.

Церковь и скромно, и гордо, и умно не создала к этому обстановки. Не дала «возрадоваться бесу»...

Вообще «отлучать от церкви» людей, которые никогда ни прямой, ни косвенной связи с церковью не имели, ни положительно, ни отрицательно к ней не относились и просто «не ходили в церковь», «не знали церкви», «не думали о церкви», – странно. Таковы беллетристы-эротики, Каменский, Арцыбашев, Л. Андреев. «Что им Гекуба»... «Отлучение», обычай «отлучений» возник и имел смысл тогда, когда церковь была тесною и *определенною общиною*, всегда – *местною общиною*; когда она «верующих в себя» исчисляла и знала это число; когда верующих не было «тьма»; когда отлучавшие и отлучаемые знали друг друга «в лицо». Ария, Нестория, Евтихия вся церковь знала; лично и подробно, всюю массою, знала их мнения; и мнения эти волновали массу, приводили в смущение массу. В этих случаях и решительно во всех исторических случаях «отлучения» оно было «разрывом с человеком связи», каковая *связь была раньше*; отогнанием от себя *вероучителя*; и потому было актом позорящим, ошутимым, болезнетворным. Но какой же «вероучитель» Каменский или Арцыбашев? Что значит «отлучить от церкви» Леонида Андреева, который живет в Куоккала? Жил

в Куоккала и останется жить в Куоккала. Прежде поутру пил чай и потом поутру будет пить такой же чай. Ничего! Просто и решительно – ничего! Для чего же церковь трудится «для ничего»?

Она этого не сделала.

«Отлучить» можно того, кому это *больно*... Но тут представляется другой ряд вопросов: как же того, кому это «*больно*», можно отлучить? Самою болью он и показывает, что есть живой член церкви, имеет с нею какое-то, хотя бы и неправильное, болезнетворное, «кровообращение» общее... «Отлучение» его от церкви не может не быть фиктивно и нереально. Заболеет он, – и вот пошел в церковь: что же у всех церквей во всей России поставить сторожей в дверях, чтобы «не пускать такого». Да сторожа и не могут знать его в лицо. Вот он приедет к Троице-Сергию: неужели его там не впустят в собор? Подойдет к раке преподобного Сергия...

Как же св. Сергий? С детства учили мы: «Сердца сокрушенного *Бог не уничтожит*»... Кажется, что в словах этих – сердце всей религии. Итак, если «отлученный» пришел с какой-нибудь болезнью, с какой-нибудь мукой души, с сознанием разных грехов своих, слабостей, увлечений, не сочинительских, а человеческих, и пришел «просто», не думая ни «да», ни «нет» о своих сочинениях в эту минуту, – как же в эту минуту святитель Руси, объемлющий всю ее мыслью и сердцем от монгольского ига до «теперь», отнесется к этой русской душе, пришедшей к его гробу? Опять вспоминаются слова псалма: «Сердца сокрушенного Бог не уничтожит». Очевидно, для св. Сергия он будет просто «русский скорбящий человек, после монгольского ига сущий»: и даже св. Сергий не различит, в каком веке он живет: ибо для него поистине открылась «мгла веков», в которой наше «теперь» тонет и даже совсем не видно...

Нет, отлучить такого невозможно. Отлучение вообще возможно только в отношении «гордой личности», вроде Л. Андреева. Но таковую отлучать не стоит, по приведенным мотивам (слава)... А простого русского человека никак нельзя отлучить, потому что сам он никак не уйдет от церкви, а раз он не уходит от нее – у нее по самому существу религии (слова псалма) нет возможности его отогнать. «Очень просто» со всеми русскими он знает, что постоянно был «грешен», «дурен», «заблуждался» и прочее, и прочее; а «в каких именно мыслях заблуждался» – и сам не знает, по безбрежности вообще человеческой мысли, по ее колеблемости, по множеству переливов ее, по ее, наконец, бесконечности. «Чего не хочу думать – это-то именно и думается»; «отталкиваю от себя темы, а темы обступили меня»...

Что тут может сказать церковь? Только вспомнить слово, с которого началась ее история: «Что хочу – того не делаю, а чего не хочу – то постоянно делаю». Если такой пламенный и порывистый человек, наконец, такой *волевой* человек, как ап. Павел, сказал это с сокрушением о себе, то как вообще-то управляться с собою человеку?

Как песчинка на земле, как звездочка в Тверди Небесной – несется он: куда – не знает сам, никогда не знает. Стихии объемлют его. Ветры, буря.

Мгла объемлет. Кто несет его?.. Чья-то «рука»... Ведь в этом «вера в Провидение»? Бог многое совершает в истории не только прямым путем, но и косвенным; и, например, чтобы горячо засветилась какая-нибудь истина, Он перед нею «в предтечу» воздвигает «великое заблуждение». Все – по Гегелю: тезис – антитезис. Был велик св. Афанасий: но чтобы он «был» и «утвердил Символ веры» – нужно было предварительно явиться Арию и всей арианской смуте. Нет Ария – нет Афанасия Великого. Избрала ли бы такое «среднее» церковь, чтобы не было и Ария, и Афанасия Великого? Так поступая, легко прийти к мысли, чтобы «вообще ничего не было». Но Бог не так судит: Он не боится бурь, потому что Он бури держит в руках. И бури были, будут. Но все победит свет.

О ВЕЩАХ БЕСКОНЕЧНЫХ И КОНЕЧНЫХ

(По поводу несостоявшегося «отлучения от церкви» писателей)

Смысл слова «церковь» бесконечен и неисследим... Он туманен, и хорошо, что туманен. Вот, на днях, я вхожу в церковь, чтобы позвать принести к себе в дом чудотворный образ (на Воскресенском проспекте): только под конец я заметил, что в уголку ее идет маленькая вечеренка, с 10–12 молящимися, – а все огромное ее пространство пусто и почти не освещено, а «сторожа» и разные «заведующие» (между прочим, приемом «зóвов» иконы) сидят по лавочкам и мирно, в полуголос, между собою беседуют. Пока я неторопливо шел по темному пространству, – может быть, оттого, что я не видел многих предметов, – я стал усиленнее обонять и обратил внимание на то, что, впрочем, и всегда чувствовал: оживительный, особенный, ни на что в свете не похожий, необыкновенно приятный и благородный запах церкви, – не могу не сказать: ароматистость церкви.

Ведь, по рациональному, должно бы пахнуть пóтом людских масс, – сапогами, одеждою. Ну, воском свечей, деревянным маслом. Или «суммой» этих запахов. Но ничего подобного нет, – и «запах церкви» отнюдь не есть запах деревянного масла и свечей, не весьма приятный или безразличный. Он совсем другой, и источника его совершенно не понимаешь. Можно только заметить, почувствовать, что он несовместим «до фанатизма» со всеми светскими, «мирскими» запахами, – например, табачного дыма или женских духов. Раскольники, я думаю, оттого не переносят «табачного зелья», что они слишком вошли, втянулись в «запах церкви», по своему усердию, и оттого навсегда «запретили» себе табак. Пустить в церковь струйку табачного дыма – значит нарушить всю ее гармонию, «погубить» ее святость.

А почему? По какому «догмату»?

Все катехизисы об этом молчат.

Вполне «неисповедимо»...

И когда я шел по мраку церкви, то думал: «Боже, сколько здесь собрано *народного и исторического*... Прямо – *безбрежность*, и притом, *неуловимая, неопределимая*». Каждый-то русский человек «постоял в церкви», а за свое бытие каждая церковь приняла в себя миллионы русских... «Какие ноженьки ни топтали твой пол»: святого и преступника, гения и безумца, но больше всего лучших русских людей – обыкновенных людей. Но, ведь, в человеческой фигуре, «вот как она дана Богом», в каждом человеческом дыхании, – у каждого «своем», есть что-то особенное, значительное, важное. Всякий человек есть маг, потому что всякий человек есть тайна и неисповедимость: и вот все они, все эти миллионы и живых, и давно умерших людей, оставили «что-то свое». Здесь малое, неисследимое, незаметное, но что соединилось в огромное, властительное и чарующее.

И храм зачаровывает... Зачаровывает этим «духом» своим (аромат), но не им одним... Зачаровывает тем, что в нем так много «наслежено» (следы от сапог)... Что тут прошло «так много народа»...

С чем прошло? С какими думами? Перед преступлением? После преступления? Удержавшись от него? Не удержавшись от него? А еще больше и важнее – с заботой о завтрашнем дне, о рубле, копейке...

Боже, вся Русь «пронесена через храм Божий». И не было ничего в ней, *индивидуально* ничего, что так или иначе не стукнулось бы о камень церковный. И все слилось в резонанс, – какой бесконечный...

Но где об этом хоть строка в катехизисе?

Молчание.

Церковь не была, не есть и никогда не будет «выправкою». Она никогда не будет тем, что вот «все пуговицы застегнуты». Как мне нравилось в этот день (вечер), что сторожа и «кто-то», не замечая службы, не обращая внимания на службу, – разговаривали про себя и о своих делах. Вообще, при некотором особенном угле зрения, как начинают нравиться разные «небрежности», «недоделки», «неряшливости», казалось бы, в «таком великом деле»: но, ведь, оттого оно и «велико», что оно – *народно*, что церковь *слита* со *всем народным*: а если она «со всем» в нем слита, то не могла не отразить в себе и его, между прочим, «неряшливости»...

Три-четыре человека разговаривали в уголку... Почему это нравилось? А почему-то нравилось. Оттого, что они *не боялись*; оттого, что они не были «в форме» (в переносном смысле); оттого, в конце концов, что это – не департамент и не канцелярия, где уже все «при галстук»...

Множество «недоделок» церковных так и должны оставаться «недоделками»: устраните их *все*, – получится протестантская церковь, может быть, хорошая, но без запаха...

Нигде, кроме как в православной церкви, ни в костелах, ни в кирках я этого запаха не ощущал. Может быть, там есть свой, мною неуловленный. Но тот, о котором я говорю, есть вполне и исключительно «православный дух». Он весь какой-то деликатный, добродетельный, «от благочестивой жизни», от слез, что ли, от умиления, – не знаю, но он родит все это.

Но я о «застегнутых пуговицах»... Миссионеры, как известно, суть светские люди; это суть чиновники при обер-прокуроре Синода, т. е. при светском лице. Естественно, они имеют светский взгляд, или несколько светский взгляд и на церковь. Мысль «отлучения от церкви», их волнующая, представляется им «мерой строгости», наподобие строгостей, употребляемых во всяком департаменте относительно «небрежно служащих» или «неподобающе ведущих себя в казенном здании». *Бесконечность* церкви – им неясна; *неуловимость* церкви – им невразумительна. От этого им не представляется ясным, что значит перерезать «пуповину», соединяющую русского человека с его церковью: т. е. и как это ужасно, и как это, в конце концов, и невозможно.

Говоря терминами Аристотеля, – «церковь есть энтелехия народа» (у Аристотеля: «душа есть энтелехия тела»), т. е. это есть скрытая, сокровенная *будущая* цель, которую *вырабатывает* народ за все время своего существования, – цель и вместе *форма* его, *сущность* его... Церковь вмещает в себе не одну «веру», но и *идеал жизни*, т. е. *форму* ее, *вид* ее (энтелехия), вмещает его «как жить», вмещает универсальное «как лучше»... Все это не статически, а динамически, т. е. *подвижно* в истории, *нарастая* век за веком... От этого и церковь «преобразовывалась», «росла», – даже и русская, не говоря о греческой, которая «сотворялась»... Народ был здесь и подчиненным, но и *подчиняющим*. Народ, цари, «правительство», – да все, все... «Народное дело», – не мужицкое, а *народное*. И опять-таки и народ, и цари в этом воздействии на церковь, как и на себя принимая ее воздействие, – слились *неуловимо*.

Неуловимо, – это главное! В «неуловимом» – весь смысл!

Чтобы *реализовать* «отлучение от церкви», – нужно бы для этого погасить весь дух отлучаемого... Переменить или уничтожить его привычки: весь его «образ человеческий»... Но это ни в чьей власти. А пока «образ православной жизни» или «образ православного человека» я ношу в себе, – никак я не могу *ощутить себя* «неправославным»... Нет такого самочувствия. А нет его, – и ничего нет. Что же «есть»? *Форма* отлучения, приказ по ведомству... Есть «состоявшееся решение» той *системы управления*, о которой я слишком знаю по истории, что она временна и преходяща... Но «система управления», полудуховная и полусветская, не есть еще «церковь» в мистическом и народном смысле. Даже страшно сказать: «Церковь, это – *управление*», как один король сказал некогда: «Государство, это – я». Нет: церковь, это – дух.

Вот от этой-то «духовности», неуловимой, необозримой, – нельзя «отлучить». И от нее никогда не «отлучится» (не выйдет из связи с нею) настоящий русский человек с настоящим русским сознанием. Ибо это значило бы для него сейчас же перестать работать в России, думать о России, о чем-нибудь в ней заботиться. Позвольте, если кто-нибудь *переболел* всю русско-японскую войну, то как такого «отлучить от русской церкви»? Язык не поворачивается сказать.

Нельзя этого сделать, нельзя этого воспринять.

Смешивание «управления церковного», – после Петра Великого полудуховного, полусветского, – с *духом и сущностью* и особенно *святостью* церкви (откуда и истекает ее *народный* авторитет) указывает на *понижение* церковного самосознания у людей духовной власти... Не у всех, но у некоторых. «Мы *обижены* и обиду свою выражаем через *отлучение*». Такова, ведь, реальная и выразимая сторона дела. Отлучение является встречною обидою. Но это уже слишком современная обстановка и современная психология, для которой «не по руке» это древнее оружие.

Кто может отлучить меня от отца и матери, *уже умерших*, от кровных родных, с которыми я каждый день сижу за столом, от домочадцев? Вот ближайшая ко мне часть *народного тела*. А, между тем, явно, что «отлученный от церкви» есть *eo ipso* отлученный и от них, *в церкви сущих, из церкви не ушедших*. Нельзя этого сделать. Просто – нельзя. Иначе как вербально и формально. Здесь тонким образом расслаивается «управление церковное» от «существенности церковной»: одно идет в одну сторону, но другое остается неподвижно. Конечно, я своим родным, своим умершим отцу и матери остаюсь «единым по духу»: и это есть тот невидимый и достаточный «ход», которым я прохожу и в церковь, остаюсь в ней. Силы небесные, которые все в этом случае решают, – конечно, не расторгнут этой связи, не повелят отцу и матери отвернуться от сына, который желает с ними оставаться вместе.

Все фиктивно. Все нереально.

Действительное «отлучение» есть вещь мистическая и страшная; есть похороны человека заживо... Человек, действительно, а не фиктивно «отлученный» должен бы начать сходить с ума, постепенно и медленно сходить с ума... как лишенный всякого душевного света. Этого нет. С «отлучаемыми» почему-то этого не случается. Почему? Да потому, что свет не «в окошко» только идет. Светом полон свет. «Задыхания» не происходит, умирания не совершается, потому что фиктивно отлученный находит чем дышать в каждом своем шаге, в каждом своем деле, во всякой своей заботе о России, во всякой своей работе для России. По-прежнему он чувствует себя «в церкви»; воистину он чувствует, что «ничего не переменялось». Заболевает он, – и так же по-прежнему зажжет лампаду; придет настроение, – и прочтет прежнюю «Богородицу». Для очень многих, занятых постоянно практическим делом, в этих крохах и выражалось все. Эти все крохи с ним и останутся. Прежде он не искал большого, и теперь не будет искать большого. Или еще, как говорит апостол: «Болит ли кто из вас, да призовет пресвитера церковного». И призовет. И добрый русский батюшка непременно придет; и побеседует, и скажет слово утешения, не «пытая» болящего, не муча его душевными муками. Мысль «отлучения» вообще есть католическая, – и прежде таковою (у нас) бывала, и теперь таковою остается. «Что удавалось папам, – удастся и нам», «если папы могли, – почему мы не можем». Но католическая церковь есть церковь *дисциплины и формы*, прежде

всего. Там все «пуговицы были застегнуты», всегда, от века. Это – ее миссия, ее сила, ее дух. Русская церковь – бытовая церковь. Ее дух совсем иной: *родней*. По этому духу она «ни с кем паки не разлучается», а «со всеми паки соединяется». Еще будучи мальчиком, я поражался, и неоднократно, наблюдением: живет человек, – студент или в этом роде, например, вольнодумный чиновник, – в церковь не ходит и «в Бога не верует», по определенным его словам. С ним живет старенькая-престаренькая мать, обхаживает его, готовит обед ему, заботится. При матери, правда, он грубых слов (о религии) не говорит, но мать все равно знает, что он в церкви никогда не бывает и «в Бога не верует». И вот он не говорит при ней грубого, а она тоже никогда ему ничего не говорит об его неверии, никогда-то никогда за это его не упрекнет. Сама же постоянно ходит в церковь, ходит как только можно. Так живут годы. И она молча молится о сыне, какими словами, – ее тайна, но, верно, и о том, чтобы он «пришел в разум». И живут «неверующий» и «верующая» всю жизнь вместе, без единой ссоры, распри, спора... Я не наблюдал дальше; но можно себе представить, что, когда пройдет «много лет», сын наконец и похоронит никогда его не упрекнувшую мать, – и вот тут все ее молитвы, казавшиеся столько лет безуспешными, войдут в силу: сердце сына вдруг пошевелится другою жизнью, затеплится новым светом, и он сперва «маленько» помолится, «когда-нибудь» помолится. А седым человеком станет и совсем как она. Думается, что этот образ отношений есть коренной русский и что эта миниатюра «домашней жизни» могла бы послужить и прообразом и руководством большой жизни церкви и ее отношений к «неверующим». Духовные власти пусть вспомнят те слова из поучения Иоанна Златоуста, которые читаются в Светлую заутреню: о «приходящих *поздно*, о приходящих *в 11-м часу*»...

О ДЕЛИКАТНОСТИ И ПРОЧИХ МЕЛОЧАХ

Одно из ценных приобретений наших новых годов – большая подвижность молодежи. Мы все, от годов учения до начала службы, собственно, просидели над книгами, начиная от «задачника Малинина и Буренина» и до шеститомного павленковского издания Д. И. Писарева. Потом – служба и вечная усталость... Потом, для счастливых, чин статского советника и могила, для несчастного – «неудачи по службе», недовольная жена, множество детей и тоже могила... Для самых счастливых, редко счастливых людей под старость лет наступала некоторая обеспеченность, и вот, с геморроями, перебоем сердца и прочее, и прочее он выезжал «за границу» – увидеть «большой свет» и «настоящую Европу»... Потом, «увидевши», тоже возвращался домой и тоже умирал. Так проживал свою жизнь «средний русский человек», существо несчастное и бесцветное, охающее, вздыхающее, раздраженное и бессильное...

«Коптили небо»...

Теперь не то...

С весною почти все ученики частных школ куда-нибудь «собираются». Младшие классы – поближе, осмотреть свою губернию или смотреть «достопримечательные места» соседних губерний; ученики старших классов, а особенно студенты и курсистки – за границу и даже – за границы Европы... Так, это лето совершена была учащимися экспедиция... в Египет!! Образуются целые компании, намечаются маршруты, являются «предприниматели» и «организаторы» этих поездок, в один год нескольких и в разных направлениях. «Новые годы» сказались в общем подъеме здесь, пробуждении инициативы, пробуждении подвижности... Может быть, «новая голова» и не выросла, но выросли «новые ноги», и ей-ей это почти лучше, чем если бы выросла одна голова, опять с одними книжными впечатлениями и с новым «поклонением» – после Ницше кому-нибудь...

Бог с ними...

На молоденьких, свеженьких ногах побежало русское юношество по всем направлениям... Это – целое преобразование, незаметное, тихое... Кто учтет, кто усмотрит ту иногда гениальную мысль или гениальное движение души, какое переживет какой-нибудь «бурш из Тамбова», нечесаный и снаружи сонный, рыжеватый, с веснушками, войдя в кельнский собор или подняв глаза на настоящие, «натуральные» пирамиды...

Мы, бывало, в свои ученические годы, все «на картинках»... Нил – на картинке, бегемот – на картинке, «Генрих стоит в Каноссе» – на картинке. Черт бы его побрал этот школьный, замазанный красками, картон. Одно утешение было – покурить в отдушинку на перемене, покурить *в самом классе* и «на носу у начальства» – язвительное удовольствие. Все учение было искусственно, и «натуральны» одни шалости. Оттого мы к ним так и рвались. Теперь-то соображаешь: «естественная реакция» и «спасение себя».

С этою странствующею или, вернее, начинающею странствовать молодежи мне хочется поделиться двумя впечатлениями «заграницы». Пожалуй, в целях обратить ее внимание сюда или спросить ее, «заметила ли она то же».

Первая касается нравственного порядка вещей, вторая – научного.

* * *

Деликатность – вот имя одной...

Во все три путешествия по Италии, Швейцарии и Германии, какие мне удалось совершить в качестве «особенно счастливого русского человека старых времен», я был более всего поражен и, наконец, растроган разлитую повсюду деликатностью. Вообще, «настроение» заграницы совсем другое, чем России. Нет угрюмости... Нет нашей ужасной северной угрюмости, сплетенной из печали, тоски, более всего сплетенной из скуки и «вечных русских неудач», наконец, из злости и раздражения. Все это перелилось в форму вечного и повсюдного в России «раздражения на соседа», который данному человеку ничего не сделал, но этот «данный человек» непременно порадует, если вы споткнулись, ошиблись, что-нибудь проглядели, куда-

нибудь не поспели, вообще если в «неудаче»... «Русский бог», о котором поют поэты, больше всего есть «бог неудач»... И злорадство по поводу «неудачи»... При подобном «расположении духа», довольно странном и даже диком, было бы совершенно невозможно жить, если бы почти всеобщее зложелательство не прорезывалось «рыданием на груди»... «Камень, точащий слезы», – вот, кажется, лучшее имя для России. Туман и холод родины прорезается истерическими выкриками, истерическими рыданиями... И будем говорить правду уже большими словами: каменный лик «вообще русского человека» в некоторых точках прорезается мыслью и чувством до того высоким, до того ангельским, чистым и одухотворенным, взглянув на что, хочется умереть и не надеешься увидеть ничего лучшего. Это – тоже есть... Но где оно «есть»... Где-то в потемках захолустьев, в безвестности, «в трактире за перегородкой», куда Достоевский помещал интимнейшие беседы своих героев (Алеша и Иван Карамазовы, Версиков и его побочный сын – в «Подростке»). Всегда это в России – случай, всегда – без получения «общественного значения». Вот еще особенность России: все свинское непременно получит у нас «общественное значение», а дорогое, прекрасное, возвышенное – умрет в безвестности.

Странна Русь... «И как только на такой живут люди».

– Где часовня Медичи? – спросил я во Флоренции, выйдя на небольшую площадь, как все у них площади. Я знал, что часовня, с знаменитыми изображениями «Дня» и «Ночи» Микель-Анджело, где-то тут. Но где, на которую улицу из сходящихся к площади пройти, – не знал. Обратился я к старушке, не дряхлой, маленькой и худенькой.

– Часовня Медичи? – И она живо указала на улицу, выходящую на площадь с противоположной стороны.

Я перешел через площадь... и замедлил шаги: две улицы, под небольшим одна с другой углом, выходили сюда. «По которой же идти?» Я выбрал и нерешительно поплелся...

До локтя моего дотронулась чья-то рука. Оглянувшись, – это старушка-итальянка. Я не туда попал, и она указала мне на смежную другую улицу.

Значит, она не только указала мне улицу в первый раз, что сделал бы, конечно, каждый и во всякой стране: она проследила, туда ли я пройду, а когда я ошибся, – догнала и поправила. Она была стара, я (тогда) – средних лет. Она потеряла свое время и, как была «дама», конечно, не рассчитывала на «что-нибудь в руку».

Это было десять лет назад. В ту же поездку, в Вене.

Нужно было мне пройти на главный почтамт за получением важного и срочного письма. Спрашиваю на улице, приблизительно, мещанина или приказчика... Объясняет, жестикулирует (немецкого языка я не понимаю): вижу, что-то очень далеко и сложно. Сказав «danke sehr»*, я пошел, скучая, вперед. Что «вперед-то», – это я понял. «А там кого-нибудь опять спрошу», –

* «большое спасибо» (нем.).

обычное русское утешение. Видя мою скучную походку, догнал меня мешанин и, тронув руку, пошел рядом. Довел до угла и опять что-то говорит, указывает и разъясняет. Должно быть: «Теперь совсем легко – вон туда», но из жестов видно было, что повернув «куда-то» предварительно. Но куда «предварительно», – я опять не понял и потому пошел опять, скучая. Опять догоняет меня немец, за что-то упрекает и, сказав решительное «gut», пошел совсем рядом, быстрой и огромной походкой, за которой я едва поспевал. Он вел меня минут двадцать и, ткнув пальцем, сказал – «вот». Это был почтамт. «Danke sehr, danke sehr», – кланялся я ему. Он сказал «gut» и пошел назад. С вопросом я обратился к «встречному», т. е. он ради меня повернул назад и довел меня до «дела», не получив и не собираясь получить тоже ничего. Он был хорошо одет, лет 30, здоровенный, «как все они»... Без нервов, может быть, «без души» (по-нашему, – без истерики), но с доборопорядочностью, и вот этою «на сегодняшний день» добротою, которая, слагаясь по мелочам в горы, образует общий колорит деликатной, вежливой, мягкой жизни... Мягкой цивилизации... Ведь это как огромно!

Когда, всего через несколько часов, я приехал на пограничную станцию «Граница», – был поражен совсем другим видом и колоритом. Была ночь. Сыро. Почему-то никто не вышел на станцию. Должно быть, багаж осматривали в варшавской уже таможне, – словом, подробностей я не помню, но только помню, что никого на станции не было, и вышел я один покурить и размять ноги. Станция небольшая, и «в промежуточной комнате» я увидел сидящего на лавке жандарма: и вот его фигура до сих пор у меня в воображении. Он полудремал, и на полусогнутых руках я увидел только «ихнее серое солдатское сукно», с нашивкой, – до того жесткое (во впечатлении), грубое... И рукав огромен, и полы огромные... И согнулся он жестко, подозрительно и недоверчиво. Он и дремал, и все видел... Не знаю, но никогда мне в голову не пришло бы о чем-нибудь его попросить, даже спросить. Сказать «дайте воды», «дайте огня», – невозможно.

Почему? Он мне не сказал ничего грубого. «Проходите мимо», «проходите мимо», – говорила вся его фигура. «Проходите, не задерживайтесь»... И еще последнее, безмолвное: «Я вас всех вижу: и возьму – кого мне нужно. А дремлю, чтобы вы не обращали на меня внимания и не мешали мне делать мое безмолвное дело, вам непонятное и мне нужное».

Не знаю... Не умею выразить. Но это все было, – и фигура его запечатлелась навсегда.

* * *

В Науегейме, это лето, возвращаясь в отель, вижу прекрасно одетую даму, идущую навстречу. Не доходя шагов двадцати, она нагнулась и подняла с земли «что-то белое»... Могла быть бумажонка, могла быть тряпка, – но она заметила «вещь». Действительно, это был носовой платок, похожий на тряпку, потому что он лежал в той маленькой грязи, которая образуется и в чистоплотном Науегейме при ежедневных тамошних дождях. Дожди эти – всегда на несколь-

ко минут, теплые и приятные... Она развернула тряпку-платок и, увидев, что это именно *платок*, стряхнула его и положила на перекладинку перилец палисадника, мимо которого шла... Не заметил ни лица ее, ни фигуры.

Чей платок, — она не знала.

Почему же она его стряхнула, *улучшила*?

И зачем, наконец, вообще подняла? «Мало ли сору на земле»...

Но она механически, машинально (давление цивилизации, смысл цивилизации), заметив, что это «вещь» или только заподозрив, что «вещь» (рассматривала, отряхала), почувствовала моментально, что кто-то будет «жалеть» ее и что это вообще чье-то «огорчение». И подняла, улучшила и сберегла, чтобы, — сколько от нее зависит, — уничтожить то крошечное «горе», «неприятность», которые выпали сегодня кому-то.

Это — цивилизация.

Я повторяю это огромное слово «цивилизация» в отношении такого мелочного факта: ибо — увы! — пока мы не будем такими в мелочах, мы никогда не сделаемся таковыми и в большом.

Еще: сижу в огромном зале перед ваннами, где все ожидают «своего номера», который выкрикивает барышня. Человек около ста в зале, — одной из многих перед многими корпусами ванн. И вот одна из стоявших перед столиком с газетами больных дам незаметно для себя выронила свой билет (на ванну). И я этого не видел. Сидел я поодаль, на стуле. Но я увидел, что молодая дама, лет тридцати, встала с дивана, довольно далеко, — прошла половину зала, подняла билет с полу и подала стоявшей больной. Эти «больные» наугеймские не хромают, не кашляют, не истощены и — такова особенность сердечных болезней — неизменно имеют цветущий, расцветающий вид. Таковы были и обе больные. Сидевшая издала могла бы громко сказать: «Вы уронили билет», могла бы чуть-чуть подвинуться с тем же замечанием. Из десяти русских пять просто не обратили бы внимания, «прошли мимо», и едва ли кто-нибудь сделал бы именно так: не беспокоя потерявшую, обеспокоиться самому и сделать все то, что должна была и могла сделать она.

Это — цивилизация. Повторяю, без этого «единения и братства» в мелочах, называемого «вежливостью», ничего невозможно, невозможна культура.

Теперь параллельное воспоминание в Москве. Я любил ходить в баню («дворянские», по 10 коп., — сохранилось ли теперь это название, бывшее всеобщим лет тридцать назад?). И вот, однажды, войдя в «паровую» комнату, вижу мещанина, лет 30, который ведет на полку парить своего сынишку, лет 8, самое большое — 10. «Куда такого маленького», — мелькнуло у меня в голове. Но промолчал. Другой же, сходявший с полка, благообразный, тоже мещанин, стал говорить вразумительно и деликатно, что таким маленьким париться вредно, мало ли что может случиться, может прилечь болезнь или что-нибудь. Поговорил все так ласково и ушел: у меня до сих пор стоит в ушах и в глазах голос и вид отца этого мальчика. Он разразился таким гневом, таким потоком «отборных» ругательств по адресу говорившего,

который «осмелился его учить», «будто он сам не знает», – и, главное, в тоне его было так много злости, обиды, что я был изумлен. Ничего, кроме благожелательности, не было у того. Он решительно сказал деликатным тоном, с очевидным чувством, что позволяет себе вмешиваться не в свое дело... И вот подите же...

Мелочь... Но представьте себе, что проведен «грубо» ваш день... Там – от прислуги, здесь – от хозяев; случится – от жены; случится – и от детей; у одного – от начальства, у другого – от подчиненного. Представьте, и вы увидите, насколько *отяжелел* для вас этот день, т. е. к той необходимой работе, какую вы исполнили за день по долгу, по нужде, ради заработка, – прибавилась эта тяжесть, совершенно ненужная, «вторая» – от грубости... Насколько ваших сил (чтобы выслушать и вытерпеть) истратилось больше, и, следовательно, назавтра вы сделаете дела меньше, чем сколько, естественно, могли бы.

Грубость понижает интенсивность работы в стране.

МАЛЕНЬКОЕ И КРУПНОЕ УЛУЧШЕНИЕ В ШКОЛЬНОМ ПРЕПОДАВАНИИ

Тишина сильнее бури: можно целый год спорить о школе, предлагать те и иные «законопроекты» и даже провести их законодательно, поднять невероятный шум в печати – и все это не подвинет дела ни на волос вперед. Но вот около этого шума тихий вдумчивый человек решает посвятить 2–3 года настоящего ума и настоящего вдохновения школярам – и пишет скромное, не «литературное» руководство по какому-нибудь предмету: разом в целой России поднимается преподавание этого предмета, – школяры не бледнеют, а зарумяниваются над этим предметом, заинтересовываются им, вместо прежнего отвращения или скуки у них появляется любовь, интерес, пытливость... Воспитывается наконец даже художественное чувство: ибо каждый предмет, даже математику (талант французов), можно изложить и передать художественно, как и наоборот...

С одним школьным предметом, и притом неизмеримой важности, у нас всегда было «наоборот»... По автобиографическим воспоминаниям мы знаем, до чего мертво, костляво, безмузыкально, бескартинно было у нас всегда «преподавание Закона Божия»... Тоска вспомнить...

Эти тексты, «черная печать» *курсива* в катехизисе – тоска, тоска...

«Священная история Ветхого и Нового Завета» Рудакова – тоска...

Богослужение: ведь надо же зазубрить все «стихиры» как таблицу умножения, как озера Америки – наизусть... «Гурон, Виннипег, Эри, Мичиган и Онтарио». А там: «За сим диакон возглашает то-то, а священник поднимает руку и говорит это-то, и, наконец, лик (хор) поет то-то» – все буквально, без пропусков и без малейшего припоминания, к чему же это относится... «Богослужение», я помню, оттого было трудно, что

«воспомяательно-зрительное» от него впечатление никак не умело связаться с «книжно-памятливым». Мы все учили «Богослужение» как что-то совершенно новое и никогда не слыханное. Хотя это кажется нелепым, но было именно *так*: «Батюшка в ризе у Покрова – это *одно*: а богослужение Рудакова, в 11 часов ночи, под абажуром керосиновой лампы – совсем, совсем *другое*! Какое-то *странное* и тяжелое!!»

Невероятно, но было – *так*.

Передо мною две книжки, которые наполнили меня самую широкою радостью... Которые есть «исполнение давнишнего желания», как говорится в какой-то детской игре... По крайней мере *одна* книжка исполняет давнее мое желание, которое я неоднократно высказывал в печати... Наконец, обе похожи на «дешевое издание Пушкина», вещь не творческая, вещь даже коммерческая. Но подите: есть, должно быть, «святой дух» и в рубле, ибо иногда «простая коммерция» имеет результат и действие весенней песни жаворонка.

Двое «батюшек», с настоящими протоиерейскими фамилиями, Антонов и Лебедев, написали, как сговорившись, по книжке: «Храм Божий и церковные службы. Учебник *богослужения* для *средней школы*. С 160 рисунками по истории церковной архитектуры, иконографии и церковно-богослужебной обстановки и с 28 изображениями духовных композиторов», а другой – «Библейская хрестоматия. Курс Священной Истории Ветхого Завета для *средних учебных заведений*. Библейский текст на русском языке, с пояснениями и примечаниями и с 53 рисунками русских и иностранных художников и тремя картами». Карта так подробна, что я даже нашел родину имеющихся у меня монет: не говоря о Тире и Сидоне – Газы, Азота, Гадары и Кесарии (в Самарии). Одно удовольствие рассматривать...

Как давно это надо было сделать...

Как просто...

* * *

Текстом Библии заменены собственно те историйки, которые в первом классе гимназий составляют «учебный год», но эти библейские тексты соединены между собою самыми коротенькими, строк по 5–10, вставками от составителя книги, через что библейские тексты связываются: и таким образом получается цельное изложение всей Ветхозаветной Истории. Читая давно известные «по Рудакову» истории в подлинном библейском тексте, – поражаешься этому «Рудакову» и еще больше министерству просвещения и духовному ведомству в их соединенном усилии просветить головы десятилетних мальчуганов: ведь ничего проще, элементарнее по языку, по речи нет и нельзя себе представить, чем этот священный текст, данный младенцам пустыни, странствовавшим между Египтом и Аравиею... Все уже приноровлено «к детскому восприятию», притом приноровлено самим Богом, т. е. так, как человек не сумеет ни за что сделать... Что же было умничать и за чем «звать Рудакова»? Весь «прогресс преподавания Закона Божия» на са-

мом деле был вековым регрессом сравнительно с тем простым, что делали отцы наших дедушек: «учить Слово Божие *как оно дано нам*»... Речь – прямо разлагается на простые предложения из «подлежащего, сказуемого, дополнения и определения». Никаких этих «гоголевских запутанностей», овладевших теперешним русским языком; никакой «периодической речи», нам свойственной и невразумительной для десятилетка. И вместе с тем: в ответ на торжественную настроенность «детей пустыни» – слова даны им были огромные, торжественные, величественные, – почему весь свет и назвал их Священным Писанием. Ну что тут может «Рудаков»? Только – испортить... И они все портили, «Рудаковы», «министерство», «ведомство». Поистине, здесь применимы слова из «Возрождения» Пушкина:

Художник-варвар кистью сонной
Картину гения чернит
И свой рисунок беззаконный
Над ней бессмысленно чертит.

Но краски чуждые, с летами,
Спадают ветхой чешуей;
Созданье гения пред нами
Выходит с прежней красотой.

Половина всемирной живописи посвящена темам Библии и есть только иллюстрация к ее тексту... Но какая иллюстрация! Опять нельзя не удивляться и министерству, и ведомству, что ничего-то, ничего до сих пор они не взяли из этой им приготовленной сокровищницы, и все-таки иногда учебник сопровождался картинками «своего сочинения». Можно представить себе...

Протоиерей В. Лебедев основательно все это выбросил и заменил полусотнею снимков с величайших картин, по преимуществу эпохи Возрождения... Несмотря на естественную бедность воспроизведения (вот бы «ведомствам» помочь, – прямо денежно, дав *от себя* воспроизведения, иллюстрации к заготавливаемым частною инициативою учебникам), несмотря на эту бедность, глаз даже зрелого человека непрерывно очаровывается *пластикою* картин... В самом деле, какие сюжеты и какие мастера! Я узнал некоторые картины Рембрандта и Рафаэля. Не могу не указать, что в «ложках» Рафаэля (Ватикан), скопированных, между прочим, в Старой Пинакотеке Мюнхена, – дана *связная, последовательная* иллюстрация к Библии, и в учебник могла бы быть перенесена почти целиком. Ничего не может сравниться с грацией и поэзией этих рафаэлевских рисунков. Божеское вдохновение и человеческая вдохновенность здесь поразительно встретились.

Ученикам было бы полезно сообщить в подстрочных примечаниях имена великих живописцев, картины коих взяты в иллюстрацию, и два-три слова о родине этих живописцев и о местах, музеях, где данные картины хранятся. Если нужно знать «Гурон, Мичиган, Эри и Онтарио» в I классе, отчего мальчуганам не узнать: «Рафаэль жил 400 лет тому назад», «картина «Жерт-

воприношение Исаака» нарисована голландцем Рембрандтом 300 лет тому назад и хранится в Мюнхене, в королевском собрании картин, называемом Пинакотекою». Скучно, как календарь, но ведь таковы вообще все сведения для I–III класса, скучные нам, а для *мальчуганов* – новые и занимательные...

Желание привлечь в школу в качестве «учебного материала» хоть что-нибудь из древней красоты, веры и поэзии, руководило составителем и другой книжки – «Храм Божий», священником Н. Антоновым, – здешним законоучителем Еленинского института и немецкого училища св. Петра. Но сперва приведу умные слова его, обращенные «к детям» (замена предисловия): «Мы потому должны ходить в церковь и молиться Богу, что Храм Божий для русского человека был первым училищем веры и доброй жизни. Как вы уже знаете, на Руси долгое время не было ни школ, ни книг, однако русские люди были в старину и сильными, и славными, и создали обширное, могущественное наше Отечество. Где они получали силы? В Храме Божиим, который был первым просветителем и собирателем русского народа. Много и горя пришлось перенести русскому народу от иноплемеников, а где он почерпал мужество? Опять здесь же, в Храме, который был верным хранителем благочестивых наших предков... Поэтому Храм Божий и Богослужение любили те лучшие русские писатели, которых вы изучаете на других уроках, на уроках русского языка, – и которые посвятили Храму и Богослужению не одно стихотворение. Призывными словами к Храму одного из русских писателей оканчиваю эту вступительную беседу, и перейдем к изучению Богослужения:

Приди ты, немощный,
Приди ты, радостный,
Звонят ко всенощной,
К молитве благодной.

.....
И звон смиряющий
Всем в душу просится,
Окрест вызывающий
В полях разносится...»

Как это просто, полно, как всеохватывающе... Нельзя забыть этого: «первый *собрал* русский народ» – в отношении Храма. Так никто не формулировал, – и между тем это разумеется само собою. «Дышим воздухом, а не замечаем»...

Давно известное (по школе) и, признаюсь, скучноватое «богослужение» в изложении или, лучше сказать, в *рассказе* и объяснениях «батюшки отца Антонова» я читал с интересом: а есть признак, что, если «взрослому занимательна книга, – она будет занимательна и детям». Достигнуто это отступлением от *скелетности* обыкновенного учебника, – несчастной «нормы»

учебников, вследствие коей школяры по окончании учебных годов и жгут свои учебники, должно быть в том числе и «богослужения»; а «при жизни», т. е. пока «по ним учатся», расшибают их корешками об печку (личные и классовые воспоминания). Очень умело составитель выделил то, что нужно «проходить на уроках по программе», – и в конце предисловия «к учителям» отметил эти *точные* в своей книге параграфы и даже сосчитал их и страницы: 80 параграфов на 115 страницах. А в книге 192 страницы текста и 48 страниц почти атласа-рисунков (на каждой странице атласа от 2 до 6 рисунков).

Книга с интересом *читается*, благодаря множеству исторических объяснений отдельных частей служб, отдельных даже молитв. Приведу два, – так как это не может не быть занимательно для обывателя: «О происхождении молитвы *Достойно есть яко* известно следующее: На Афоне, в монастыре, подвизался в одной келии старец и послушник. Однажды, когда послушник остался один, а старец ушел в другую церковь помолиться, – к послушнику постучался странник и остался в келии ночевать. Когда пришло время молитвы, послушник и странник начали петь песнь Богородице. Гость пел совсем иначе, чем пели обыкновенно монахи. Тогда послушник попросил его записать слова новой песни Богородице и принес ему для этого каменную доску, так как другого материала у него в келии не оказалось. Странник пальцем стал водить по доске, и, к удивлению послушника, на доске запечатлелись слова молитвы. «Отселе, – сказал незнакомец, подавая доску, – пойте всегда так песнь, как написано; пусть и все другие поют ее». Сказав это, он мгновенно исчез. Восторженный инок, перечитывая слова, пел песнь, чтобы вытвердить ее. Когда вернулся старец и узнал о происшедшем, он донес об этом собору. Собор донес патриарху, представил и самую доску. Это было в 980 году» (примечание к стр.92).

«Было в 980 году»... в те годы неграмотности, когда люди умели любить, верить и чистою и спокойною душою умели *творить жизнь*: что неизмеримо труднее и таинственнее, чем сделать водевильчик, написать журнальную статью или начать издавать ходкую газету. Посмотрите: сейчас, при миллионных затратах и всем старании, не умеют построить сколько-нибудь художественную и новую по замыслу рисунка церковь, а все несравненные московские «церковки» построены Бог весть кем, Бог весть как – а услаждают глаз и уносят куда-то воображение... Почему? *Нет творчества жизни*, – творчества пластики, творчества напева, творчества величавого слова... Наконец: просто нет воображения. Рассказ «от 980 года» есть безвестного летописца, греческого «Нестора»: между тем его тон трогательнее и возвышеннее, наконец, бескорыстнее, чем рассказ корифея нашей литературы – «Чем люди живы».

Еще пример: «О происхождении молитвы «Святый Боже» существует следующий рассказ: «В начале V века, при императоре Феодосии и архиепископе Прокле, было в Константинополе сильное землетрясение. По этому случаю был совершен крестный ход, во время которого один отрок был

чудесно приподнят от земли на воздух и слышал пение ангелов: «Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный». Опустившись на землю, он пересказал, что слышал, и, когда христиане пропели эту ангельскую песнь, присоединяя к ней слова «помилуй нас», – землетрясение прекратилось. С тех пор эта песнь введена в употребление» (стр. 91).

Интересно узнать даже студентам, – обычно поющим «Святый Боже» – на демонстративных похоронах... И так хорошо их басы разносят по морозному воздуху – «помилуй нас», с этим подъемом вверх могучей сотни голосов. Но если бы они знали *происхождение* именно этого: «помилуй нас». Еще: вот у подножия каких событий зарождались церковные песнопения: было землетрясение... Народный испуг, отчаяние; и – «не вемы, что такое, почему?». Запоешь ли, выдумаешь ли такую песнь теперь, когда «все известно»... Все «известно» до скуки и отвращения. Ах, если бы в самом деле можно было сказать:

Врут все календари...

Но дьявольский «календарь» связал нас, и теперь ничего не выдумаешь вне рамок этого «календаря»...

Оставим студентов: можно представить себе, как в крошечной мешанской комнате 11-летний первоклассник оглянется на диван, где «прилегла отдохнуть» его мать, и скажет: «Мама, а ты не знаешь, отчего поют *Достойну*», – и перескажет ей страницу из о. Антонова. Везде, где будет учиться «Храм Божий» о. Антонова, – это *непреренно* случится: ибо какой же «мамаше» это не любопытно и какой мальчуган не восхитится сказать старой женщине: «А я вот что узнал, чего в нашей приходской церкви *никто не знает*».

И пойдет, пойдет... Это – настоящее ученье. Народное ученье. Добавить ли: это – настоящая *культура*.

Целый ряд статей посвящен катакомбам, – для чего автор взял в пособие знаменитый труд Rossi – «*Roma sotteranea cristiana*»: а в маленьком приложенном атласе даны и снимки трогательной и наивной живописи из катакомб: «Изображение Спасителя в виде Доброго Пастыря» (с овцою на плечах), «Изображение Божией Матери» (с монограммою Христа), «Изображение Рождества Христова», «Изображение Тайной Вечери», «Изображение Орфея (играет на лире слушающим животным) и событий из жизни пророков Моисея и Давида», «Изображение Ноя в ковчеге», – встречающего летящего голубя. С каким интересом все это станут рассматривать ученики III–IV классов гимназии где-нибудь в Тамбове, Пензе, в Тобольске, Архангельске. Наконец, даны портреты русских церковных композиторов или лиц так и иначе способствовавших расцвету церковного песнопения, в том числе почтенного С. В. Смоленского (умер в этом году) и, наконец, «совсем наших» М. М. Иванова и Н. Ф. Соловьева. Даны снимки замечательнейших русских церквей – не только московских и петербургских, но и сельских; все – в историческом развитии архитектуры. Наконец, откуда только автор взял *фотографические* снимки всех «начальных», «поворотных» и «закан-

чивающих» моментов литургии, всенощной и архиерейской службы... Кажется, с «литургии» нельзя снимать фотографий. Но на *этих* именно снимках лица священников, диаконов и архиереев «до того русские» и даже «нашего года», что со временем их можно будет показывать даже на этнографических выставках...

Одна беда – все это «втуне»...

«Подайте наш скелет! Подайте наш скелет!! Подайте *схему*: куда девали *схему*?! Что это за бахрома «разных сведений», неуказанных, неожиданных и всеконечно не могущих быть «одобренными»...

Так «забеспокоятся в креслах» тайные советники министерств и ведомств, поседелые... в председательствовании в разных «комиссиях». Все-конечно обе книжки, написанные не учеными членами ученых комитетов, а служилыми священниками церковей и простыми законоучителями, – получают «непредвиденные задержки», полуодобрение, полупорицание и дальше «любителей чтения» никуда не пойдут. Собственно, я для «любителей чтения» это и пишу. Для родителей, для обывателей. До «ученика» едва ли они достигнут. «Ученик» тесным кольцом окружен постоянными поставщиками «учебного товара», имеющими где нужно «связи» и «отношения»... Кто же не знает, что у нас даже учебники приснопамятного Ушинского (которому, кажется, именно в этом месяце исполнится полувековой юбилей) – вытеснены из школы и заменены учебниками «своих людей».

В Руси что благородно – то и бесплодно. Лезет только отовсюду чертополох и бурьян... И сквозь лес его – не прорубиться.

ХУДОЖЕСТВО ИСПУГА И МИРОВОЙ ЕГО СМЫСЛ

Пишу на тему, на которую, вероятно, ни один человек в мире не писал: «Почему я боюсь?» Так как мы все чего-нибудь или в каком-нибудь отношении *боимся*, то тема эта безразлична для всех. Я думаю, что она даже мучительно любопытна, – для многих, для некоторых. Вынуждает меня к этому то, что я печатно обвинен в «трусости». Не правда ли, для писателя убийственно? И пикантно, что обвинен со ссылкой на мое собственное признание – абсолютно ничем не вызванное («Мечта в шелку», в «Весах»), ни на чье обвинение не сказанное. Можно сказать, «стечение обстоятельств» такое, что в другой раз не встретится.

И я стал думать, почему мы вообще «трусим» и нет ли какой-то *мировой в этом необходимости? Мирового смысла?*

Прежде всего, почему мы «трусости» стыдимся? Все, весь свет?

– Не дворянская черта... Хе-хе-хе...

В ответ смеется толстый «болван» (есть такой тип, такая порода людей, которую в уме формулируешь «болванами»), грузного роста, с огромными кулачищами, которые «сами собой сжимаются».

– Да, но из дворян преимущественно ничего не боялся Ноздрев. Лежнев «боялся» гораздо больше его, а Рудин был и совсем пуглив. Потом ничего не боялся Базаров, который вечно «наступал», мнения о всем имел решительные и определенные: напротив, много размышлявший, во многом сомневающийся, всегда колебавшийся Гамлет был заметно его трусливее. Потом, в-третьих, ничего не боялся Дон-Кихот. Этот был святой, правдолюбец и сумасшедший. Вот сколько категорий. «Не бояться» от грубости и от святости. Не бояться те, которым нечего скрывать и они правы перед Богом, и – просто болваны. Позитивист – непременно не труслив, но метафизик всегда хоть чуточку, но труслив. «Запутанный ум».

Крутя папироски и мысленно разрешая проблему, я нашел, что это в самом деле интереснейший вопрос. Ловя себя на чувствах (так как вопрос был поставлен печатно и именно обо мне), припоминая случаи, – я нашел, что всегда *любил в себе* эту «трусость», т. е. не редко мысленно сам любился своим «трусливым поступком», в воображении увеличивал его, т. е. представлял себя еще более испуганным, – и, помню, всегда весело-весело смеялся при этом, радуясь чисто детской радостью. Как известно, все «трусливое» – смешно: единственная форма мне понятной комедии и есть «комедия труса». Тут проходит какой-то мертвящий хохот, до упаду, и примиряющий. «Напугав смертельно труса», мы потом его обнимаем и говорим: «Ты – *брат наш*. И мы все немножечко боимся, но скрываемся: а ты нам показал это так открыто».

Такие мысленные опыты я проделывал. Для «метафизики» трусости важно, что я, например, боюсь вовсе не враждебных мне людей, в чем-нибудь угрожающих, но и самих близких, любимых и любящих меня «до самопожертвования» (слава Богу, есть такие). «Труслив» вообще в отношении присутствия человека. Совершенно «храбр» я бываю только с древними монетами, в три часа ночи, – один в безмолвном доме. Или – на уединенной прогулке. «Один» – и храбр; «кто-нибудь» – и трушу. Со слезами я обвинял себя за это...

Во всеобщем обмане!!

«Да не обманываю ли я всех? Отчего же я всех боюсь? Отчего малейшее чье-нибудь присутствие уже ложится на меня легкою, незаметною, но тягостью?»

И мне было грустно. «Всех боюсь, потому что всех обманываю».

– Да в чем? «Откровенность» моя, – откровенность, натуральность и доверчивость, – не раз ставила меня в положение мучительное, смешное и опасное, из которого выходил только потому, что люди «отпускали»... Кто из «обманщиков» будет это с собою делать? Обман предполагает преднамеренность и расчет: ни одного, ни другого во мне нет. Явно, источник моей «трусости» другой.

Почему я не осуждаю себя за «трусость»? Почему она во мне нравится мне? Что такое за «план творения»?.. Ибо я чувствую, что это не случайность во мне, не «благоприобретенное», а натура и от рождения. Что такое?

Лев, «такой храбрый», нам нравится...

И вот, все крутя папироски, я вдруг перекинулся воспоминанием к сернам в Зоологическом саду, во Франкфурте-на-Майне, которые, бывало, чуть начнешь подходить, уже отскакивают. И далее у Майн-Рида: «Едва завидев точку, она уже скрылась». «Точка» – это охотник на горизонте; «она» – серна, газель.

«Да просто я боюсь людей потому, что я ни в малейшие связи, дразги, волокиту какую бы то ни было с ними не хочу вступать: и не хочу не по враждебности, а потому, что это мешает мне размышлять, воображать и мечтать». Именно я завижу «точку» – и сейчас ухожу. А «свободен», когда никакой «точки» на горизонте: за нумизматикой или в лесу.

Тогда пишу...

Пером сердитый водит ум...

«Пишу» мысленно, говорю, гневаюсь, мечтаю, люблю. Люблю спящих, «люблю» бодрствующих... Именно на «свободе»-то сердце мое широко раскрывается и я переживаю счастливейшие чувства, как и мысль непременно стучит.

«Вошел кто-нибудь», – и нет ничего. Вся фата-моргана исчезла. Я груб, холоден и смертельно равнодушен к «вошедшему» и ко всему. Как кто-нибудь «вошел» – я засыпаю, дремлю. Дремотно слушаю, дремотно отвечаю. Ушли, – и я весь в огне.

В таком случае, что же такое «трусость» и где ее мировой смысл?

Лев – тому «должно быть храбрым», ибо он всех «победит».

Но, кроме львов, всем, т. е. вообще-то почти всем живым существам, врождена благодетельная и благородная «трусость, которая защищает от мира» эти существа так же хорошо, как льва его когти и зубы. И Бог, сотворив «крепкое копыто» (для убеганья) у газели, – подал ей в этом такой же щит, как льву в зубах. «Трусость» есть Божий дар, – счастливый и *вполне благородный*, обеспечивающий нашу свободу, уединение и покой. Наше счастье. Наконец, – нашу философию. «Метафизики» оттого немного (а другие, я думаю, и много) трусливы, что им нужно постоянно размышлять. И они все «уходят» от мира (копыто), «убегают» от него... Тогда как Ноздреву зачем убегать? Он «на всех идет». И у него «зуб», и он «храбр».

Идет навстречу пьяный. Конечно, я «обойду». Ватага шумящих? «Обойду» же... «Ах, так вы все обходите?» Да. Прогулка философов. И только.

Но это на улице. Однако и в жизни так же, в больших делах. Буду вполне откровенен (ибо сам и *первый* назвал себя «трусом»), что смолоду, с отрочества меня влек инстинкт, что «совершу что-то большое» и даже определенно – «много и важное напишу». И вот бы шум улицы и хоть «всеобщее восстановление». Ни за что бы не пошел. Почему? – «Убьют». Меня же (инстинкт самосохранения) «ни за что не должны убить, пока не исполню все, что исполню». Поэтому я с детства воображал себе и прелюбовно смеялся мысли, что вот «когда начали все стрелять», то я лягу в милую-премилую

бороздку, ровно такую, чтобы пули пролетали надо мною, и встану только тогда, когда «перестанут стрелять». В битве, в восстании – все равно. «Я ни за что не должен умереть раньше времени». Кроме того: «должен быть всегда свободен» (для размышления) – и потому «ни в какие споры, личные и житейские, не вступаю». «Всегда всем уступаю» (трусость). «Считаю начальством полицейского и кондуктора» (мое литературное признание), – чтобы не придрались и не помешали мне размышлять. Очень просто. Инстинкт. И «слава Богу».

Безобразен ли я в таковой *постоянной и непрерывной* трусости? Ничуть. «Газель на горизонте». Майн-ридовская «точка». Жажда пустыни и быть «одному». Мудрейшее устройство «копыта».

Но одно воспоминание...

В маленьком уездном городе был дифтерит. Шел повально. И кто заболел, все умерли. Случая спасения *не было ни одного*. Неосторожно близкий человек сошел «вниз» и вошел в квартиру, из которой дня 1½ назад вынесли гроб. И в ночь, три часа ночи сказал, что «что-то болит горло». – «Открой, я посмотрю». И, поднеся свечку, увидел два серых, грязных пятна (как лепешечки) на миндалевидных железах. «Доктора уже позвать поздно». – «Ничего нет, – сказал я, – легкая краснота». И стал целовать его. Тут я забыл «будущее» и что «напишу сочинения»; я думал: «Он умрет, и я умру». Таким образом, философское самозащитное через «трусость» не враждебно человеческому роду и не безучастно к нему: оно относится собственно только к «спасаемому» и не касается никого, кроме одного его.

«Трусость» в большей или меньшей степени у всех встречается. Она рассеяна в частицах, в вариантах, большей частью вуалирована. «Все берегут себя»... И слава Богу: мы все должны работать, беречь жизнь, удлинять ее. И уважать с равной мудростью и «зубы» человечества, и «копыта» его. «Все дал Бог» – и вечная Ему хвала.

ЯЗЫЧЕСТВО И ХРИСТИАНСТВО В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ

(К уходу Л. Н. Толстого)

Садясь в сани, запряженные сытыми лошадьми, в хорошем убранстве, – я сказал другу, с которым ездил в Ясную Поляну:

– Что же, – Льву Николаевичу нужно взять за спину мешок с необходимыми вещами и уйти отсюда... уйти куда-нибудь, все равно. Или еще: построили бы ему избушку-келью где-нибудь неподалеку от Ясной Поляны; и в то время, как графская семья жила бы в прежнем доме, он жил бы в этой избушке, сам странник и принимая к себе странников, общась с ними, с мужиками, с попами, с «захудалыми людьми» всех положений и сословий. Это была бы гармония и смысл. Была бы радость. Радость на два дома,

естественно разделившиеся. Но теперь два противоположные мира идей, понятий и стремлений зажаты в одном месте: ни – ему дышать, ни – им дышать. Бессмысленно, тяжело, невероятно, чтобы это не кончилось.

Это было лет пять назад.

И вот это кончилось. Случилось то, чему следовало бы случиться уже лет двадцать тому назад, сейчас после «Исповеди» и «Крейцеровой сонаты».

* * *

Толстой внутренне давно уже стал странником-одиначкою; стал отшельником, – наподобие отшельников и пустынников первых времен христианства. Но у него за плечами была и его держала ноша: графство, семья, имущество; те связи – гражданские и юридические, – которые в идее он давно отбросил, но они связывали его железными узами и никуда не выпускали. В особенности после того, как дети выросли, достигли кто сорока, кто тридцати лет, встали все на ноги, поженились и повыходили замуж, имеют в «сочинениях его» полное и на всю жизнь, до избытка, обеспечение, – пребывание его в Ясной Поляне становилось не только бессмысленно, но и прямо даже смешно. Ведь он не «писатель»: это он отверг. Он – деятель, и деятельность его не только не кончилась, но, можно сказать, осталась вся «втуне», вся бесплодною и даже какою-то неправдивою, пока он оставался «граф», «собственник большого состояния» и «владелец яснополянской усадьбы». Все не только не кончилось, но *разорвалось* в идее. Толстой в Ясной Поляне – был разорренная мысль, разрушенный дом, «воздушный словесный замок». Он не мог, при его уме, чуткости и всесторонности, не чувствовать себя постоянно грустным, одиноким, оставленным, «неудавшимся». Действительность выражена была около него так грубо и прямо. Можно было бы как-нибудь смягчить расхождение идеи и жизни, но в Ясной Поляне ничего не было смягчено. Гордо, страстно и вполне право Софья Андреевна говорила моему другу:

– Лев Николаевич – гений, и ему образования не нужно, – но дети его, мои дети, – ничуть не гении, и кому же они нужны или интересны без образования? Что же, наконец, они без образования будут делать? Но он всех их повлёл в «неученье», в отвержение «плодов просвещения», а когда они выросли и явился вопрос *о службе*, то не ему, а мне пришлось ездить, кланяться и просить, чтобы их определили куда нужно, и оговаривать и извиняться за отсутствие у них «плодов просвещения».

Она вся пылала и негодовала. Невозможно было не согласиться с нею.

– Дочь, особенно горячо следовавшая его учению, оставила есть мясное, когда он написал «Первую ступень». Что в его летах можно не питаться мясным, – я понимаю, ибо это даже здорово. Но молодой организм требует совсем другого; она потеряла силы. И когда вышла замуж, – не могла доносить ни одного ребенка. Они рождались мертвыми, выкидыш за выкидышем. Теперь, после стольких страданий и когда она давно вернулась к мясному и окрепла, – у нее наконец родился живой ребенок.

Нельзя было ничего возразить.

– Дети не должны судить отца, и потому «Записки», которые я пишу, не должны быть опубликованы ранее (она назвала цифру лет, довольно большую)... Но в этих «Записках» я объясняю свою жизнь, свои поступки, и кто их прочтет, – не осудит меня.

Может быть. Может быть, она была права в зрелый, цветущий период жизни, когда дети росли. Но она слишком затянула борьбу и по инерции продолжала ее и тогда, когда никаких исчисленных ею «мотивов» уже не было.

Настал тот поздний час жизни, когда дети, собственно, не нуждаются в помощи родителей. Вспыхивает мысль, что она *победила бы* даже идейно Льва Николаевича, если бы вдруг, именно под старость, *уступила* ему: вместе с ним, не оставляя его, как более крепкая, вышла бы из ворот богатого и ненужного более для себя дома и приняла бы труд ухода, заботы и помощи. Нет, – легче и лучше: взяла бы счастье идти «об руку» с любимым мужем и великим человеком, куда бы он ни пошел, какова бы ни была его и ее судьба. Этот поступок в старости вдруг бросил бы свет и на ее молодое упорство, споры и даже прямой отказ повиноваться мужу, и нет сомнения, что Лев Николаевич не отказался бы от спутницы-жены.

Но этого не вышло. И победила не она, а он.

Но до ухода из Ясной Поляны Лев Николаевич все время был в положении побежденного. В положении *глубоко пассивном* и тяжелом.

* * *

Благодаря яркой и сильной личности Софьи Андреевны, с которой он, без сомнения, взял много черт в Наташу Ростову («Война и мир» писалась в молодые годы их брака, и она была горячею участницею в создании этого романа, – советом, словом, постоянным прочитыванием уже написанных глав), – благодаря этому, в семье Толстых, – или, общее, в Ясной Поляне, – разыгралась миниатюра отношений христианства и язычества, их борьбы, колебаний в этой борьбе... и, вот, окончательной победы христианства над язычеством. Но победы в глубокой старости, в самом конце жизни. Зрелище это так жизненно, так важно, – оно помогает так много уразуметь в большой истории, в истории народов, – что на нем невозможно не остановиться. Мы не считаем нескромным говорить прямо о семье Толстых, так как все это давно уже известно, известно из печати, из множества «записок о жизни в доме Толстых», – и вообще нет нескромности повторить в печати сказанное в печати же. Мы присоединяем к рассказам только комментариев. Толстые уже давно живут как под стеклянным колпаком, и их жизнь вся «в зрелище», притом не на одну Россию, но на весь свет. Как будто нарочно все так устроилось, чтобы ничто не ускользнуло из поучительности.

* * *

На семье Толстых, в личной драме великого писателя, мы с изумительной отчетливостью видим, где и как проходят границы христианства и границы язычества, как мотивируется одно и как мотивируется другое, наконец, где

их место и где они уместны... Все это разыгралось в истории в большом масштабе. Но в малом масштабе, как реальную битву на листе картона, мы все это видим на тесном пространстве яснополянской усадьбы.

Когда я увидел старца Толстого, небольшого роста и слегка сутуловатого, в сером, почти крестьянском, халате, подпоясанного ремнем, – он был так красивее молодых или зрелых людей вокруг него, красивых и свежих...

– Мне ничего не нужно, – говорил его вид.

– Нам еще все нужно, – говорил вид их.

Он распустил руку, сжимавшую прежде «вещи»... Весь необозримый мир «вещей». Их рука твердо лежала на этих вещах: «это – наше», «это – второе я каждого из нас»; «мы без этого не можем обойтись, оно нам нужно в жизни».

– В жизни?.. Но я уже отжил... – так говорил его вид.

Он был гораздо духовнее всех их. Не по одному тому, что написал «Войну и мир» и был великий мыслитель, но, вот, и по этому отсутствию нужды во всех вещах. Когда человек ничего не имеет, что же остается у него? – Он сам. – То есть? – Остаются дух и маленькая оболочка его, тело. Человек «без вещей» страшно выигрывает в духовности; «при вещах» – он тонет в море их и страшно материализируется.

Поэтому «отказаться от вещей» – значит непременно войти в красоту. Монастырь, с «отказом от имущества», монастырь древний, наконец, отшельники и отшельничество поразили своею красотой древний мир, пышный, задыхающийся в «вещах», и он вдруг начал бледнеть, уступать в соперничестве перед этими простыми «аввами», которые знали звезды, душу и зверей пустыни, – только.

Нетленная человеческая красота победила красоту цивилизации. Девушки и юноши, «с большим запросом в душе», чем на хорошее замужество и хорошее наследство, – побежали к этим «аввам» в пустыню: и спор античного мира с новородившимся христианством был решен. Язычество стало мѧлиться, христианство – расти.

Пока оно не победило. И когда оно победило, – все вошли в него. И как только вошли «все», – и те, которые не отказывались ни от хорошего наследства, ни от хорошего замужества, – оно вдруг исчезло... Исчезло, как чистое... Исчезло, как одно... Исчезло, как горячая вера и жизнь по горячей вере... Христианство смешалось со всеми вещами, в том числе и отнюдь не христианскими, даже антихристианскими... Стало неузнаваемо. Стало серо, пестро, полоска через полоску. Приняло в себя металлы и озолотилось. Приняло власть и стало могуществом. Приняло в себя лозу, и бич, и меч. Стало воевать, стало торговать...

И утратило всю обаятельность. «Где христианство? Где оно?» Евангелие так прекрасно и небесно, а то, что мы наблюдаем вокруг него, – даже мало сносно.

Начались гигантские исторические усилия «вернуть христианство», «вернуться к христианству». Толстой – один в ряду этих борцов, его жизнь

последних лет – одно из таких усилий. Он – не новатор, а реставратор. В идеях его не заключается нового, – ничего такого, чего не было бы уже в уединенных шалашах и пещерах тех древних авв.

Которые были так прекрасны.

И он так же прекрасен, как и они. Не более, но и не менее, если исключить шум и видность его все время. Они же были безмолвники или мало говорили, почти – ничего. В этом была их великая сила... и красота.

Конечно, он был страшно обезображен шумом, который происходил, отчасти, от него, но главное – вокруг него и все-таки, хоть косвенно, из-за него. Без него Ясная Поляна не была бы так часто посещаемая; о ней не писали бы так часто и шумно. Не спрашивали бы, и оттуда не шло бы «ответов». Великим вкусом своим, пусть инстинктивно, не отдавая отчета, Толстой не мог не чувствовать, что «чем больше сияет он на весь мир», тем, в сущности, больше померкает в этом сиянии; чем больше растет его слава, тем все уменьшается «честь»; и чем кажется большим авторитет, тем слабее делается обаяние.

И ушел от этого. Ушел от слабости в силу, от блесков – в лучезарность, от шумихи – в настоящий и подлинный, внутренний авторитет.

«Разрушенный дом» он вдруг собрал; идею, уже начинающую становиться смешною, вернул к серьезности.

«Нет, христианство возможно, оно есть, не умерло», – вот смысл его ухода. Повторяем, это вышло бессознательно, само собою. Преднамеренно таких вещей не делается, или они не «выходят». У него же все вышло прекрасно, просто и естественно. Все уже давно зрело, накапливалось. Повторяем, – он вышел из угрюмости в радость.

Но дом его остался позади. Весь целый. Ничего в нем не переменится и не может перемениться: замужние дочери будут продолжать рождать, потому что им, решительно, невозможно не рождать: у них есть мужья. И сыновья будут рождать, потому что у них есть жены. И с каждым новорожденным одни и другие будут оглядываться: а *как проживут* наши дети? Есть ли что для них в запасе? Как силы и здоровье наше, успеем ли на своих глазах поднять их до полного возраста?

Красиво ли все это? Весь этот «оставшийся дом»?.. В Ясной Поляне, – как мне показалось, – не очень красиво, потому что все сместилось со своего места, все раздвоилось в мыслях, в желаниях, все приведено в некоторый беспорядок множеством начатых и недоконченных начинаний, – всею биографией великого старца. Он не согревает и давно не согревает более своего дома; он не одушевляет его, хотя бы старческим вдохновением. Но «дом» его предков-анонимов, Ростовых и Болконских? Он был красив, как это сказала вся Россия. Красота возможна и здесь, в «доме полная чаша», в «жизни на ходу». Это – явно. Но даже и в этом поистине «неудавшемся доме», в Ясной Поляне, жизнь все-таки идет и не может остановиться, красива она или нет, потому что это есть жизнь возмужалого возраста или даже молодости, для некоторых (внуки) – младенчества.

– Не можем не жить, не продолжаться, не заботиться, не быть бережливыми... Не можем! Не в силах – пока *растем!*

Христианство, это – торжество красоты.

Но язычество, – оно не может исчезнуть, как подневольность нужде, необходимости, железной силе рока. Пока мы слабы, пока мы не можем отказаться размножаться, вкушать, одеваться. Пока мы «вьем гнездо», как птицы, – и, естественно, в гнездо сносим корм.

Встречаясь, они разрушают друг друга: Толстой весь был «в разрушении», в сущности – в жалком и смешном виде, пока жил в язычестве Ясной Поляны; собою, личностью своею, жизнью своею – он иллюстрировал то, что сам написал в «Разрушении и восстановлении ада», где говорит о евангельской истине, введенной в обстоятельства исторической обстановки. «Весь ад восстановился...» в патерах, пасторах и прочее. Вот это он и пережил, точнее, не имел силы разрушить. Но подтачивал эту «жизнь язычества» своим равнодушием. Оба – уменьшились. Оба гасили свет друг друга. В Ясной Поляне не было так весело, наконец, не было так душевно и талантливо, как у Ростовых, – когда все «служили», все влюблялись, нередко танцевали и ездили к незабываемому «дяденьке» (Наташи). Было много натуры. Вот – «натура»-то и погасла в значительной степени в Ясной Поляне и, как в большой истории, – у греков и римлян, – как раз «перед появлением христианства». Ясная Поляна имеет свои загадки, – Софье Андреевне, может быть, есть о чем рассказать. Но «как есть» – эти два мира должны были разорваться...

В Ясной Поляне уже давно не было внутреннего огня, скрытого одушевления: и все держалось «оживлениями», которые вносились посетителями, «запросами» и «ответами», почтою и даже, наконец, «граммофоном». Эстетика давно падала... как пала и эстетика язычества уже до появления христианства... Все как-то связано таинственной связью: земная душа умерла, – и отделилась небесная душа. Но это – условно и ограничено: если бы та, первая, душа трепетала, была полна сочности, надежд, земных и прекрасных мечтаний, – не отделилась бы и никуда не ушла та, вторая, душа.

Впрочем, все земное умирает, это уж судьба. Рушатся семьи, роды, генерации; рушатся народы, цивилизации; юность вдруг становится похожа на старость, – не эстетична, как и она. Все рождается вяло и слабо; честная экономия вырождается в алчность. Все горбится и морщинится, еще в летах, до дряхлости...

И тогда приходит Христос и «спасает».

Является великая личность после «средних» Ростовых–Болконских... Доканчивает разрушение «средних», – и одна уходит в пустыню, в лес, в келью, в монастырь, «куда-нибудь», сохраняя общий идеализм для человечества. Сохраняя слово для своих «духовных чад», которые им заменяют «плотских детей». Вечная история и вечное повторение. И вечная судьба.

ЗАПУТАВШЕЕСЯ ДЕЛО

(К законопроекту о раздельном
жительстве супругов)

Петр Великий, учреждая Св. Синод и вводя в организацию его светское лицо, обер-прокурора, определил сущность этой новой должности как «око государево», долженствующее блюсти государев или государственный интерес в течении духовных дел, в рассуждении духовных дел, в направлении духовных дел. К. П. Победоносцев, мотивируя бытие той же должности, здравомысленно указывал не политические, а гражданские основы ее; именно, он говорил, что есть множество дел, разрешаемых духовенством, ведущихся духовенством, но где гражданский, обывательский интерес так сильно замешан, что было бы странно оставить его без защиты и представительства. «Такова, – говорил Победоносцев, – вся область брачного права». Брак столько же принадлежит государству, сколько и церкви; церковь *дает санкцию* всякому начинающемуся супружеству, но, однако, *живет в супружестве* весь народ, все население. Это «живет» никак не менее значительно, чем «совершает обряд» (роль духовенства). Таким образом, в самой мотивировке бытия обер-прокуратуры Синода впереди всего выдвигается брак как полуперехватный и полугосударственный институт. Собственно, тут есть даже не две половины, но три трети: 1) интерес и власть церкви, 2) интерес и власть государства, 3) интерес и власть народа, населения, общества. Ибо именно последние «живут»-то «в браке».

Пример: нельзя же «литературою» считать один «цензурный устав». Литературу составляют и «писатели».

Это не только теория, но и *традиция*: достаточно открыть любой учебник «Церковного права» и в нем всегда обширнейшую главу «О браке», чтобы увидеть, что повеления византийских императоров, их «законы» и новеллы («вновь издаваемые», в пополнение предыдущих, «статьи закона») образовали $\frac{8}{10}$ всего брачного законодательства, утвердившегося в Греции. Это «брачное законодательство», на $\frac{2}{10}$ церковное и на $\frac{8}{10}$ государственное, было с крещением Руси перенесено к нам под единым именем «Канонического права» или «Церковного права»; и лишь несведущие в азбуке этого права полагают, вводимые в иллюзию именем, будто это суть «законы, святыми Учителями и Отцами церкви переданные нам», «завещанные Вселенскими соборами» и проч. На самом деле ничего подобного!! Это *обычные* «градские законы» средневековой Греции; это – эдикты цезарей; среди них тонут, как *крупицы*, «правила Св. Отец», всегда дававшиеся как советы или как распоряжения местного и личного характера.

Но возвратимся «к нам». Так вот в чем дело: *око государево*, или *государственное*, – такова сущность обер-прокуратуры Синода; таково ее призвание, такова ее должность, таковы ее *обязанности*.

Но у нас, у русских, все «сошло со своего места» и перепуталось невообразимым образом. И как военные иногда становятся музыкантами или писателями комедий, так и наоборот. В обер-прокуратуре Синода тоже совершилось какое-то «наоборот». Именно обер-прокуроры – в последние тридцать лет – вообразили себя какими-то «святыми отцами», какими-то «иерархами без клобука», и являются не представителями государства перед лицом 6–8 иерархов, заседающих в Синоде, но усаживаются около восьми иерархов девятым иерархом, вооружаясь «славизмами» и начав «глаголати» неподобающая... «Неподобающее» для людей с усами и с эспаньолкой, во фраке и с золочеными пуговицами. Только и можно сказать: «Борода у вашего высокопревосходительства еще не отросла», «бородка во всю святость и не вышла... И *rense-nez* носите: таковым подобает *говорить*, а не *глаголати*, *сказать* что-нибудь, а не *реши*...» А «рекут» пусть святого образа лица в мантиях...

Путаница эта началась с Победоносцева... Несмотря на громадный ум его, на множество высоких качеств вообще, – все-таки *совершенно очевидно*, что он впал «в ересь» относительно смысла обер-прокуратуры, вообразив себя «девятым и первенствующим иерархом» около восьми сущих и наличных. В таковой функции просто обер-прокурор не нужен. К таковой функции *закон его не призывает*. С таковой функцией обер-прокуроров *не создавал Петр Великий*. Это – отступничество от дела и влезание в чужое дело. Государство осталось без защиты: да и зачем *слитый с иерархами* девятый иерарх в вицмундире, когда проще «вызвать из епархии на заседания в Синод» просто девятого архиепископа из Пензы или Костромы?..

Совершилось что-то непонятное... Совершилось *явно противозаконное* против «Духовного регламента», который есть учредительный закон для Св. Синода и обер-прокуратуры. Пусть этот «Духовный регламент» имеет недостатки, но дело в том, что он есть *единственный закон* для обер-прокуратуры и что если она не хочет действовать по «Духовному регламенту», согласоваться с его *буквою и духом*, то ей не остается вообще никакого руководства и она должна *перестать* вообще *действовать*. Или – ничего, или – по «Духовному регламенту».

Но и Победоносцев, а за ним и подражая ему г. Лукьянов и не перестают действовать, и действуют не по духу «Духовного регламента». Как же они действуют и что такое их действия? Как к ним отнестись населению, обществу и впереди всего *государственным учреждениям* соседних областей, министерствам, Г. Совету, Г. Думе?

Есть «должность» и есть «лицо в должности». Должность движется «по уставу», но «лицо в должности» движется: 1) по уставу и 2) по изволению, вдохновению. Личное и государственное непременно и *невольно* смешивается у «человека в должности». Это есть та слабость человеческая, об умалении которой просит церковь, говоря о грехах вольных и *невольных*. Не спорю: без «изволения и вдохновения» чиновник есть мертвая форма, «столп» отечества в деревянном значении. Но дело-то в том, что «соиз-

воление и вдохновение», будучи поэтической прибавкой к чиновнику, в гражданском смысле никакого значения и обязательности не имеет: пусть она «утешает» подданных, но *нудить* их решительно ни к чему не может.

«На благо людям» – пусть поэзия действует, но, когда людям неудобно, просто только неудобно, каждый может произнести роковое «стоп» перед чиновником. Как бы он ни был значителен, умен, талантлив; будет то Победоносцев или Лукьянов. Все равно: «стоп!» – и «никаких», как говорится в карточной игре. Это – логика. Тут такая железная логика, что и Победоносцев, и Лукьянов должны только опустить глаза.

Теперь, когда пишется, говорится, вспоминается, когда в будущих «историях семейного права» станет излагаться, что вот «в 1898 году К. П. Победоносцев выразил *свое принципиальное несогласие* с проектом, выработанным Высочайше учрежденной комиссией по составлению проекта гражданского уложения касательно раздельного жительства супругов», то это есть именно «свое несогласие», и только! Несогласие «принципиальное», т. е. выражающее совершенно иной взгляд на вещи Константина Петровича, нежели какой был у составителей проекта, у членов министерства юстиции. «Иван думал *так*, а Константин думал *иначе*»; там – «законопроект», здесь – «возражение». Все, как за зеленым сукном вообще, как везде, где есть чернила и бумага. Без «возражений» ни газет не пишется, ни ученых диспутов не происходит, не ведется даже карточная игра. Везде «возражения», где есть стихия человеческая. Но цена, вес, абсолютная мера «возражений»? Да такая же, как и «законопроекта»: смесь «есть» и «нет», «потенция» как возможность реализма в будущем, мыльный пузырь, играющий на солнце. Его «спросили», он сделал «возражение». А если бы не *спрашивали*? Ясно, Победоносцев и «возражений» бы не делал.

Гениальный Петр Великий о такой, с позволения сказать, чепухе, как «раздельное *по закону* жительство супругов, коих совместная жизнь начала быть нестерпима и грозит разрешиться преступлением», – и в голову не пришло бы спрашивать патриарха Адриана или Феофана Прокоповича или «Духовный коллегіум». Громадный здравый смысл императора сказал бы ему, что это есть вопрос народного благоустройства, бытовой упорядоченности, есть глава «Устава о *пресечении и предупреждении преступлений*», и только!! Решительно – только! Ни к церкви, ни к «каноническому праву» это отношения не имеет. Выдавать ли «два вида на жительство» супругам или «обоим один вид» – об этом и упоминания нет в каноническом праве. Да и паспортов в Византии не было. Если паспортов не было – явно весь вопрос о «раздельном жительстве супругов» в *предполагаемой компетенции* церкви, духовенства и обер-прокурора решать его или ставить ему «возражения» есть нелепость совершенно неизвестного происхождения и объясняется только полным неведением министра юстиции о содержании канонического права; неведением и робостью, «как бы меня не осудили, что я действую сам», «лучше *спросить кого-нибудь*», «спросить, и вот *если не сделают возражений*, то тогда я сам...» Нерешительность, незнание – и только!

Предложили Победоносцеву – он и «возразил». Кто лично знал гениальную и страстную натуру Победоносцева, знал «конька» его – «возражать». Талант ищет «применения»: и предложи ему проект о каспийском рыболовстве, он и его бы весь исчеркал и на полях красноречивейшим образом написал бы «возражения». Да еще с мотивом: «Понеже апостол Петр ловил *рыбу* и ему прилучися однажды быти *чудесный улов рыбы*: того ради *рыболовство* во всей Империи подлежит *рассмотрению* Церкви, и иными правилами, чем какие издаст она по этому предмету, – руководиться *не разрешается*».

Что-нибудь подобное написал бы премудрый старец.

Есть предметы, самая суть которых представляет чепуху. Которые есть именно плод «темного царства». Министру юстиции, очевидно с добрыми намерениями волнуемому около этого вопроса, с живой готовностью к помощи народу и измученной, израненной русской семье, – следовало бы, суток на двое запершись в кабинете, прочесть «от доски до доски» «Курс церковного права» проф. Суворова, епископа Никодима (все равно, у всех одно написано), и он ясно, непобедимо ясно увидел бы, какую «абракадабру», ни на чем не основанную и совершенно бессмысленную, представляет самое «вхождение с предложением обсудить и дать заключение» по предмету совместного и раздельного жительства супругов – к Св. Синоду или обер-прокурору.

Область церковного права – обрядовая сторона брака, «таинственная»: 1) кого с кем венчать и не венчать, 2) в какие дни (в пост – нельзя), 3) в какие часы и 4) «что все сие значит» и «почему». К этому церковь прибавляет *увещания*: «жить вместе, любя» и проч. Но зачем же смешивать юриспруденцию с поэзией, закон с «увещанием»? Из «увещания» решительно ничего не вытекает, и никаких прав не рождается у «увещателя». «Увещал», да не «подействовало»... Если не «подействовало», то отсюда вытекает только, что он плохо увещал, бессильно увещал, но чтобы он был *вправе связать юридически* «увещанных и расходящихся», запретить их в одном доме и в одной квартире, на одной кровати и за одним чайным столом, – этого ниоткуда, и ни по какой логике не вытекает!..

Просто – чепуха!

Одно – добрый совет! Другое – приказание! «Отсюда дотуда не хватает».

Церковь всех «увещает» быть нравственными, но все – безнравственными, или «с грешком». И «грехи» церковь отпускает на исповеди, а чтобы она за «грехи» была веревками, связывала цепями, заковывала в кандалы – об этом не слыхано!.. Но вмешательство в «раздельное жительство супругов» было бы именно таковым наложением кандалов на моральных «грешников». Одно – мораль. А темница – совсем другое!.. На «мораль» у церкви есть право, а на темницу – никакого! И предлагать подобный вопрос на разрешение духовного ведомства – просто «учтивость сверх ожидания»...

Л. Н. Толстому все-таки нет покоя... Во-первых, уже в комнату его вошел г. Чертков, которому он, конечно, «живейше обрадовался», как «радовался» свиданиям с от. Матвеем Ржевским Гоголь, сведенный с ума и наконец сведенный в могилу этим своим «духовником», – если не всецело, то в значительной степени. И, во-вторых, в нескольких саженях от Толстого, под его окнами и проч., с величайшим возбуждением бродит толпа семьи, родных и «почитателей». Давно оставлена мысль, что душа и «нервы» ограничены точною физикою человека: если за стеною беспокоится друг мой, то беспокоюсь и я, если он несчастен или плачет – тревожусь и я. И проч. Существуют «лучеиспускания души», темные, светлые, тревожные, спокойные. Тревога *вокруг* дома, без сомнения, передана ему, ускоряет пульс его и гонит сон. Теперь, когда вся Россия думает о Толстом, желательно, чтобы «друзья» его знали и знали родные, что Россия не может не осуждать их, что они так далеки от исполнения мольбы Толстого о покое и уединении...

Все, в чем он нуждается, – это врач. Право быть близко (все-таки, однако, не в комнате) имеет только жена его...

Но в особенности совершенно здесь нет места «ученикам», и особенно такому «духовнику», как Чертков. Толстой буквально находится «в руках» Черткова: ограниченного и фанатичного своего «поклонника», который запечатал вечною печатью волнующийся и вечно растущий, вечно менявшийся мир дум и чувств Толстого, мир его настроений. Он запретил ему, поклонением и «преданностью», выход из такой-то фазы, в которой застал Толстого и которая его (Черткова) пленила; и буквально задушил Толстого мыслями Толстого же. Толстой оттого и менялся, что мысль его была всегда слишком специфична и несколько одностороння: «перемены» были благом в нем, даже способствовавшим его здоровью. То земледелец, то учитель, то семьянин, то аскет – он был велик как «сумма этого всего», велик, и счастлив, и здоров. Он буквально «захворал» около Черткова, когда тот до земли поклонился ему и, поднявшись всей огромной и тяжелой фигурой, произнес «над ним» мертвым голосом: «Credo: теперь – ни шагу далее и в сторону». Роль его протестантского или духоборческого «духовника» – буквально как от. Матвея в православии. То же давление, то же сужение горизонта, та же толчея в небольшом круге формул, тезисов. Есть яды интеллекта, как яды тела. В религии их очень много, еще более в сектах и в сектантстве. Есть яды, поднимающие температуру и понижающие ее. Яд Черткова, *venenum Chertkowi*, понизил t° Толстого до опасных 35 град., задержал живой «птичий» пульс его и вообще превратил или усиливал все время превратить льва в «земноводное». Россия не скажет ему «спасибо» и в свое время произнесет над ним жестокий суд.

Как Троя своего Гектора, как Нибелунги своего Зигфрида – оплакивает Россия Толстого, – свою гордость, свое величие, свою заслугу перед миром, свое оправдание перед ним, свое, наконец, искупление за множество грехов... Невольно бросаются в память эти мифологические и древние имена, так как все «явление Толстого в России», как заключительный аккорд нашей классической литературы, – походило на какой-то миф. Он жил среди нас; но как был не похож ни на кого из нас. Его жизнь как не похожа на обыкновенную литературную! Великий старец был «человек»: и он сам снял с себя или усиливался снять имя «литератора», как слишком тесное, узкое, частное, предпочитая оставаться просто «русским человеком», без определений, без границ, без мундира и сословности, без формы и ремесла. И если он продолжал творить в формах уже привычного труда, т. е. литературы, то все усилия делал, чтобы в эти рамки «толстовской литературы» вошла и религия, и церковь, и экономика, и быт, и семья, включительно до деторождения (предисловие к «Токологии» г-жи Стокгэм)... Все, все, целая жизнь, личная и народная...

«Я хочу быть русским человеком» – это пела его более чем пятидесятилетняя песнь, от «Детства и отрочества», от «Севастопольских рассказов»... Боже: какое пространство лет, времени.

Неся его гроб, мы должны иметь в душе образ Толстого за все эти годы. Мы хороним Толстого не последних лет, даже не последних десятилетий: но Толстого от Севастопольской обороны до утвердившегося парламента. Ни одна частность не должна закрывать огромности этого целого.

Около гроба его должны умолкнуть партии, раздор, вражда. Его смерть – народный траур, траур *страны*. Его будет хоронить *страна*. Всем напряжением души, всей энергией мысли и слова, точнее, шепота мы должны прервать и не допустить никакого раздора, никакой смуты в эти похоронные дни. Всею жизнью своею, целостным образом своим, это был «серединный русский человек», сердцевинный человек: и все крайнее должно отпасть от его гроба, должно быть оттеснено от его гроба. *России* – потеря. *Россия* – хоронит. Эта огромная Россия не должна дать подняться никаким крикам справа и слева; «почитателям» последних дней и лет его, как и саратовским выкрикам.

Похороны должны быть церковные... Он сам, своим первым движением, уже больной, – поехал в монастырь, самый светлый и знаменитый подвигами своих старцев. Хотел беседовать со старцем, – и этой беседе помешали только сторожившие его фанатики-«ученики». Этих движений 83-летнего старца совершенно достаточно, чтобы понять, что у умирающего Толстого не было вражды к церкви. Так это поняла решительно вся Россия. Какая же мать не выйдет навстречу своему возвращающемуся сыну, не поедет на ближайшую от дома свою станцию, не встретит его уже в дороге, только едущего, а еще не приехавшего... Какая радость матери, – тем большая, чем дальше она сама проехала вперед, на встречу сына. Но церковь всегда именовалась

«матерью» верующих, «матерью народа русского»... Долг «матери» – все теперь забыть, все сгладить, все отпустить, «вольное и невольное», и окружить гроб Толстого своими чудными молитвами и песнопениями. Это не только требование правды, не только азбука христианства и всего его духа миролюбия и милосердия, но и, наконец, мера осторожности: церковные похороны Толстого положат конец «секте толстовства», зарождающейся и еще не сформированной; напротив, если бы церковных похорон не было ему дано – это сразу отдавало бы тело, а с ним и душу «учителя» – сектантам. И именно в эту-то горячую минуту секта и сформировалась бы окончательно. Надеемся, что в Петербурге, и в частности в Синоде, это будет оценено и взвешено. Церковь не захочет новой секты, новой заботы и обузы: и уже ради этого Толстой будет похоронен «как всякий православный человек».

А Христос? А Его слово разбойнику уже на кресте? Его принятие последнего вздоха этого разбойника? Не церковь ли в самый момент причастия верующих на литургии вспоминает исповедание этого разбойника как самую сердцевину христианства, как центральный луч всего Евангелия. Говоря так, мы не называем Толстого «разбойником», а только приводим параллель и аналогию, указываем на двухтысячелетний способ христианской церкви относиться к душе человеческой. Наконец, у гроба нужно вспомнить целого Толстого, а не Толстого последних произведений; Толстой же в «Детстве и отрочестве», в описании странника Митеньки и потом в «Войне и мире» и в «Анне Карениной» сказал великие и положительные слова о церкви. Это нужно вспомнить; вспомнить сильное и прекрасное, вспомнить опять-таки центральное, а не то, что лежит в его словах и сочинениях явно «на краешке».

Цельный же Толстой есть, бесспорно, христианин и православный. Нельзя же его считать «шопенгауэристом» или «буддистом», хотя всему этому он в жизни своей дал дань увлечения. И «толстовцем» в сектантском смысле он не был. Он был *коренным русским человеком*, некоторые слова коего запутали слабый ум некоторых русских людей. И только. Коренной русский человек, – и следовательно православный. Потому что нельзя быть русским и не быть православным.

Мир около него!..

Тише, народные волны!..

Смолкните, отдельные голоса!..

Россия хоронит своего Толстого!

РЕЧИ В «РЕЧИ»

Всегда нужно быть почтительным к начальству. Эту истину твердо помнит «Речь». Все сейчас пишут о Толстом, а она не только пишет, а посылает своего сотрудника к некоему «сановнику» с запросом об отношениях Толстого к церкви и как на оные смотреть надобно. Его высокопревосходительство в ответ неопределенно вещает:

– Это вопрос серьезный, очень серьезный... Смерть Толстого не может не отозваться болезненно в каждом русском сердце... Не давать выхода этому чувству само по себе уже большая ошибка.

Задумчиво помолчав, мой сановный собеседник продолжал:

– Конечно, надо признать, что положение представителей нашей церкви очень щекотливое...

Ну, конечно, с одной стороны, нельзя не сознаться, а с другой стороны, должно признаться. Либеральные сановники всегда себе верны. Но почти-тельный репортер не унимается.

– А как вы смотрите, ваше высокопревосходительство, на запрещение панихид?

– Я считаю это насилием над душами искренно верующих православных христиан. Опять повторяю, кто из нас знает каноны?

Положим, «каноны» тут ни при чем. Но его высокопревосходительству простительна эта сановная рассеянность, тем более что еще неизвестно, к какому вероисповеданию принадлежит само это превосходительство, столь дружественное «Речи».

* * *

Впрочем, поневоле приходится обращаться к любезности сановников, когда собственные сотрудники пишут так, что уж лучше бы они не писали. Г. Мережковский, напр., в том же № «Речи» совсем утонул в риторике. В Толстом у него воплотился «Дух Земли» (с больших букв, разумеется). «Лицо его – лицо человечества».

В эту минуту мы испытываем то, чего никогда никто из людей не испытывал. Сколько умирало великих сынов человеческих. Но никогда еще взоры всего человечества не устремлялись так на одного человека; никогда человечество не чувствовало так, что умер сын его возлюбленный, сын человеческий.

Удивительная эта легкость, с которой наши «неохристиане» пересыпают свои статьи словами и изречениями из Евангелия, обычно применяемыми лишь к Христу. Сейчас их применяют к Толстому, завтра будут применять к Чехову, послезавтра – к Философову. «Украшение стиля». А когда «спохватятся», начинают «смягчать»:

Мы также знаем, что все его величие перед величием Единого Сына Человеческого ничтожно.

Если знаете, зачем же суесловите? И почему такое «шатание мысли»?:

Веруем, что малейший в Царствии Божием наречется, *может быть*, большим, чем он.

Только «может быть»? А «может быть», и наоборот? Неизвестно, что и как. И только одно ясно: мудрено писать в наших «левых» газетах на «неохристианские» темы. Искупительное «может быть» всему поперек становится.

ПАССИВНОЕ И АКТИВНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ЗЛОДЕЯНИЯМ В СЕМЬЕ

Я сказал, что только один *ритуал венчания*, *обрядовая* сторона брака, составляет историческое создание церкви, – и именно в *этом одном* она и распоряжается, а в распоряжение это никто не вмешивается. «Свое дело» у нее... Это ее «дело» – государство приняло. Оно приняло его не сразу (в Византии) и не для всех. Брачущиеся «могли ходить венчаться», принимая после *договора* жениха и невесты и их родителей на совместную жизнь («брак», *matrimonium, nuptiae*) – еще и благословение священника в храме. Итак, уже после построения Софийского собора, в самый расцвет единой христианской церкви, брак был «договором сторон», сопровождавшимся по окончании своем торжеством венчания. Но – не для всех: государственная власть очень долго запрещала рабам и вообще зависимым, крепостным людям венчание, оставив его только для дворян. Это – история, это – факт. С тем вместе, однако, брак считался *тайнством* для всех, вследствие упоминания апостола, точнее, определения апостолом муже-женского сожителства: «Тайна сия велика есть... по образу (отношений) Христа и церкви». И еще: «Муж должен любить жену, как Христос возлюбил церковь». Во время этих слов апостола венчания еще совершаемо не было, и слова его относились к налицо сущим супружествам, сожитиям, связям. Но по этому слову, повторяю, все венчанные (у дворян) и невенчанные (у простолюдинов) браки считались «тайнством». Это было важно и хорошо, ибо вносило торжественность, серьезность во взгляд каждой «пары», «четы» на жизнь свою и проистекающее из жизни деторождение. «Внебрачных детей», «незаконнорожденных» по понятным причинам не было. Это было в самый расцвет христианства; не при г. Саблере, а при Иоанне Златоусте.

Потом наступили перемены, о которых мы знаем; *эдиктом императора* венчание было распространено и на простолюдинов, на всех.

С тех пор стала перевешивать не брако-заключительная, не *договорная* сторона в браке, а обрядовая: от «договора» осталась запись в метрики и подпись свидетелей. Вес весь перешел в венчание. Теперь говорят: «был брак» в смысле «было венчание». Никто иначе не понимает, и церковь иначе не понимает. *Брак есть венчание*. Так по закону, по взгляду и учению церкви, по обычаю и народному мнению.

Что же касается до «жизни последующей», т. е. до открывающегося после венчания сожителства и деторождения, то церковь всегда, исторически, не вмешивалась в нее. Было ли это равнодушием, непониманием – не ясно: «своих дел много – до *ваших* дела нет», так бытовым образом можно объяснить это бытовое равнодушие. Все «прелюбодеяния» – мужей от жен и жен от мужей – она «отпускала» на исповеди. Но вообще все «жили как хотели». Случались жестокости, истязания: она и их «отпускала на исповеди» жестокой стороне, а страдальческой говорила: «Надо терпеть, что делать». Там и здесь – пассивное отношение к *фактически текущей жизни*

после венчания. *Активное отношение к реальной семейной жизни* выразило только государство, в заботах об «упорядочении» семьи.

Закон о «раздельном жителъстве супругов», совместная жизнь коих угрожает в дальнейшем перейти в преступление, есть огромный этап в заботливости государства об улучшении семьи. Известно: церковь живет *монахом*, государство живет *семьею*; оно держится ею, получает все изобилие свое от семьи. Некоторое равнодушие церкви к семье, как и особая озабоченность государства семьею, понятны и по существу, и исторически.

Церковь говорит: «Стоп! Нельзя разделяться»...

Но уже говорит это поздно, исторически поздно: если бы прежде, в веках, в тысячелетиях, церковь понимала под браком само *сожитие*, а не *венчание*... Но при таком понимании были бы совершенно другие уже теперь, к нашему времени, все церковные нормы брака: она сама, сама церковь, само каноническое право ввели бы давно свободу развода, как это сделали протестанты, и раздельное жителъство супругов, как это сделал католицизм, обрати только она внимание на те ужасы, какие от недостатка этих институтов проистекают *на деле*. Но «на дело» церковь не обращала внимания, на «последующую жизнь» не обращала внимания; соответственно общему духу и традиции она вся сосредоточена была на «славе», «торжестве» момента, т. е. «венчании» в браке, – на обряде и обрядности.

Соответственно этому ее нельзя винить в происходящих ужасах в семье: она была только пассивна к ним. Просто «не видела», «не замечала», и невозможно было никаким усилием обратить сюда ее внимание. Историческая традиция и дух.

Но вот обратило сюда активное внимание государство: и если церковь скажет: «Не позволяю, мое дело, моя область», то 1) через это она перейдет от пассивного «попустительства» злодеяний в семье к *активному* в них *соучастию*, что светскому человеку, обер-прокурору, безразлично, но со «святостью» церкви решительно несовместимо, и 2) можно на это «не позволяю» ответить, что от вмешательства в *реальное супружество* (связь, сожителъство) церковь уже традиционно и по духу веками отстранилась, отождествляя *бракъ только с венчаньем*. «Было венчанье – есть бракъ»; «есть сожителъство без венчанья – ничего нет»: аксиома церкви и закона.

Только одною ценою церковь могла бы приобрести право вмешаться в «раздельное жителъство супругов», и то не сейчас, а через несколько десятков лет: если бы в течение этих десятков лет церковь начала рассматривать все сущие сожителъства как *бракъ* же, как «свою область», начав тут советовать, любить, улучшать, заботиться; т. е. отказаться от формулы «бракъ есть венчанье» и введя новую (в сущности, – древнехристианскую) формулу: «бракъ есть сожителъство». Но тогда, всмотревшись во всю суть дела, она в течение этих немногих десятков лет ввела бы и введет непременно уже не «раздельное жителъство супругов» в случаях надвигающагося на семью преступления, а полное расторжение таких оказавшихся негодными браков, с смиренным сознанием, что в них «благословение не подействовало»,

«благодать не преобразила людей», все осталось «ветхо» («ветхий человек» у ап. Павла), «грешно», порочно, почти преступно...

Боже, как это ясно: кто же дает отраву в таинстве? Но «удерживать в таинстве» людей, точащих нож друг на друга, – что это, как не яд в чаше даров?

Л. Н. ТОЛСТОЙ и Н. Я. ГРОТ

(Предсмертные мысли Л. Н. Толстого)

Вышла книга о покойном профессоре Московского университета, председателе Московского психологического общества и основателе до сих пор единственного у нас философского журнала «Вопросы философии и психологии» – Николае Яковлевиче Гроте. Она составлена его братом, проф. Константином Яковлевичем Гротом, из очерков и воспоминаний 14 ученых о покойном и из писем 6 лиц к нему – Л. Н. Толстого, Н. Н. Страхова, А. Ф. Кони, Вл. С. Соловьева, кн. С. Н. Трубецкого и архиеп. Никанора одесского. Книга издана со всевозможными указателями и приложениями, необыкновенно тщательно и, как говорится, культурно. Таковы все издания и собственные работы почтенного Константина Яковлевича Грота, который в своем скромном и молчаливом сердце хранит никогда не гаснущую свечу любви к чему-нибудь, к кому-нибудь, – во главе же всего – любовь к просвещению России и ее ученым успехам во всех направлениях, на всех поприщах.

В сборнике выделяется своим значением все, что вышло из-под пера Л. Н. Толстого; интересны и другие письма, а из них, по характерности, – преосвященного Никанора. Остановимся немного на последних и затем сосредоточимся на первых. Епископ Никанор, вместе с епископом Порфирием Успенским, были последними еще сиявшими внутренним сиянием «владыками» русской церкви, которая поразительно и необъяснимо блекнет в личном своем составе... *Пышные одежды, высокие саны, – а лиц нет.* Пересыхает что-то... Воздуха, что ли, нет... Только «дыхание» в церкви все становится реже, все глуше. Около ученого археолога, гебраиста и эллиниста и, наконец, странствующего, еп. Порфирия, – Никанор стоит как «владыка» властный, страстный, грубый, резкий и умный. Ему принадлежит лучшее в нашей ученой литературе исследование позитивной философии Конта. Ему принадлежат поразительной силы и лиризма «Записки из истории ученого монашества в России», посмертно напечатанные в «Русском Обозрении». Но, главное, памятна его фигура, твердая, «матерая», необточенная, зато крепко скованная, разражавшаяся бурными суждениями и речами всегда прямыми, правдивыми.

С Гротом у него было особенное отношение. Опустила, по смерти М. М. Троицкого, кафедра философии в Московском университете. За сына-философа, бывшего в то время преподавателем в нежинском лицее, просил министра народного просвещения И. Д. Делянова маститый академик,

бывший в свое время наставником Цесаревича Александра Александровича. Я. К. Грот – составитель «Русского правописания» и, вообще, человек бесчисленных заслуг. И. Д. Делянов ничего не имел против замещения философской кафедры в Москве молодым Гротом, но не счел удобным этого сделать, не снесясь с авторитетным лицом в церковной иерархии. Таковым был еп. Никанор. Тому пришлось проштудировать молодые труды еще позитивиста, материалиста и вольнодумца Грота. Правда, он еще не установился, но показывал себя «худым». Никанор с полным чистосердечием изложил все это в отзыве министру, тот – старому Як. К. Гроту, и он – сыну. «Есть препятствие: ты – неверующий». Нужно сказать, что семья Гротов, состоявшая из старца-ученого и из жены его, Натальи Петровны, урожденной Семеновой, была прелестною по патриотизму, религиозности протестантско-православной и по великому образованию, и не было никакой решительно причины юному философу становиться грубым позитивистом или отрицателем. Это и было налетом студенческих еще кружков и первоначального, неуглубленного чтения и изучения. Все, как говорится, «скоро устроилось»... Но пусть письмо еп. Никанора рассказывает о том, о чем так много говорили тогда в Москве при первом появлении там Н. Я. Грота: «Есть чудеса на свете. Сегодня, именно, я под этим впечатлением».

Затем, вспоминая об отношении к Христу апостола Петра, который сперва во дворе первосвященника Анны три раза отсекся от Него, а впоследствии именно он утвердил Христову веру на земле, – продолжает:

«Вы не подозреваете, что философия ваша (в первых, ранних сочинениях) потрясла меня. Я со всеми этими учениями давно знаком, и моя душа некогда очень глубоко болела. Но возобновление этих впечатлений в глубинах душевной снова возобновило во мне *Weltschmerz**. Именно, в пятницу, на пасхальную субботу, за всенощной, я плакал и молился: «Господи! Увы! Для моей веры нужно знамение. Этот поток новейших учений топит все. Пресвятая Владычица! Ты слышишь же меня, конечно. Для моей веры нужно знамение». И вот, именно, сегодня, между велико-субботнею утренею и обеднею, читаю ваше последнее «О душе». Это истинное чудо! Это Симон-Петр, обращающийся. Помолимся, – быть может, вы станете и утверждением пошатнувшихся умов, утверждением братии, заблуждающейся и незаблуждающейся. Иду ночью на *Деяния*. Говорят: «Профессор Грот прислал освятить пасхи». С Богом! И – Христос воскрес! Пасхальная ночь. Еду сию минуту в церковь на пасхальную утреню. Душевно преданный и уважающий Никанор, епископ херсонский и одесский, камарад по мысли».

Как характерно... Вот он, русский архиерей, во весь рост, со всеми подробностями... И панagia, и интеллигенция, и слеза веры, и старая бурса. Еще немножко:

...«Кланяюсь вашей супруге. Целую ваших детей. Этакая вы одаренная натура! Известно, что усиленная мозговая деятельность ослабляет ус-

* мировую скорбь (нем.).

пешность работы противоположного полюса. И та и другая потребляют много нервной материи. У вас же оба полюса замечательно плодотворны. Значит, вы не из рода Октавия Августа, от которого родились только бесплодные кретины... вроде Кая Калигулы и других».

Ах, бурса, бурса...

* * *

Обратимся к Толстому. Письма его к Н. Я. Гроту все дышат близостью, доверием и любовью. Они подписаны или просто «Л. Толстой», или «Любящий вас Л. Толстой», – без каких-либо других эпитетов. «Сверлящий» взор Толстого, без сомнения, сразу схватил в покойном профессоре Московского университета главное: безобманную душу, чистое сердце, прямую речь и вечную юность, деликатную, милую, неспособную кого-либо оскорбить. Грот спорил, возражал, «оставался при своем убеждении»: но все выходило так, что, в заключение философских разговоров, хотелось сказать: «Хорошо... Но давайте святить куличи, а потом – их кушать». Заметно, что еп. Никанор совершенно не понимал *личности* Грота. Напротив, Толстой сразу же охватил всю личность Грота, «до скрытых ногтей ног»...

Издатель «Сборника», Конст. Як. Грот, обратился к Л. Н. с просьбою дать для книги о брате какие-нибудь воспоминания. И в ответном письме к нему, от 18 сентября 1910 года, из имени «Кочеты», Лев Николаевич излагает историю их знакомства и отношений. Это – последние, предсмертные строки Толстого. Они не могут не быть драгоценны для каждого русского:

«Вы верно предположили, что то, что вы мне посылаете, вызовет во мне воспоминание о милом Николае Яковлевиче. Это самое случилось. Я прочел присланное и нынче утром, делая обычную утреннюю прогулку, не переставал думать о Николае Яковлевиче. Постараюсь написать то, что думал.

Не помню как, через кого и при каких условиях я познакомился с Николаем Яковлевичем, но помню очень хорошо, что с первой же встречи мы полюбили друг друга. Для меня, кроме его учености и, прямо скажу, несмотря на его ученость, Николай Яковлевич был дорог тем, что те же вопросы, которые занимали меня, занимали и его и что занимался он этими вопросами не как большинство ученых, только для своей кафедры, а занимался ими и для себя, для своей души.

Трудно ему было освобождаться от того суеверия науки, в котором он вырос и возмужал и в служении которому приобрел выдающийся мирской успех; но я видел, что его живая, искренняя и нравственная натура невольно, не переставая, делала усилия для этого освобождения. Внутренним опытом изведав всю узость и, попросту, глупость материалистического непонимания, несовместимого ни с каким нравственным учением, – Николай Яковлевич был неизбежно приведен к признанию основой всего духовного начала и к вопросам об отношении человека к этому духовному началу, т. е. был приведен к вопросам этики, которыми он и занимался в последнее время все больше и больше.

В сущности, вышло то, что Н. Я. сложным и длинным путем философской, научной мысли был приведен к тому простому положению, признаваемому каждым, хотя бы и безграмотным русским крестьянином, что *жить надо для души*, а что для того, чтобы жить для души, надо знать, что для этого нужно и чего не нужно делать.

Отношение Н. Я. к делу, по-моему, было совершенно правильное, но, к сожалению, он никак не мог освободиться от того, усвоенного им, как нечто нужное и ценное, научного балласта, который требовал своего использования и, загромаждая мысль, мешал ее свободному проявлению. Разделяя со всеми «учеными» суеверие о том, что философия есть наука, устанавливающая основание *всех, всех* других истин, Н. Я., не переставая устанавливать эти истины, строил одну теорию за другою, не приходя ни к какому определенному результату. Большая эрудиция и еще бóльшая гибкость и изобретательность его ума поощряли его к этому. Главной же причиной безрезультатности этой работы было ложное, по моему мнению, установившееся среди научных философов, разделявшееся и Н. Я., убеждение, что религия есть не что иное, как вера, в смысле доверия тому, что утверждается теми или иными людьми, и что поэтому вера или религия не может иметь никакого значения для философии. Так что философия должна быть если не враждебною, то совершенно независимою от религии. Н. Я., вместе со всеми научными философами, не видел того, что религия-вера, кроме того значения догматов, — установления слепого доверия к какому-нибудь писанию, — в котором она понимается теперь, имеет еще другое свое главное значение: признания и ясного выражения неопределимых, но всеми сознаваемых начал (души и Бога), и что поэтому все те вопросы, которые так страстно занимают научных философов и для разрешения которых строилось и строится бесконечное количество теорий, взаимно противоречивых и часто очень глупых, — что все эти вопросы уже многие века тому назад разрешены религией, и разрешены так, что перешать их нет и не может быть никакой надобности, ни возможности.

Николай Яковлевич, как и все его товарищи-философы, не видел этого, не видел того, что религия, не в смысле тех извращений, которым она везде подвергалась и подвергается, а в смысле признания и выражения неопределимых, но всеми сознаваемых начал (души и Бога), — есть неизбежное условие какого бы то ни было разумного, ясного и плодотворного учения о жизни (такого учения, из которого только и могут быть выведены твердые начала нравственности); и что поэтому религия, в ее истинном смысле, не только не может быть враждебна философии, но что философия не может быть наукой, если она не берет в основу данных, установленных религией.

Как ни странно это может показаться для людей, привыкших считать религию чем-то неточным, «ненаучным», фантастическим, нетвердым, науку же чем-то твердым, точным, неоспоримым, — в деле философии выходит как раз наоборот.

Религиозное понимание говорит: есть, прежде всего и несомненное всего, известное нам неопределимое нечто; нечто это есть наша душа и Бог. Но

именно потому, что мы знаем это прежде всего и несомненное всего, мы уже никак не можем ничем определить этого, а верим тому, что это *есть* и что это — *основа* всего; и на этой-то вере мы строим уже все наше дальнейшее учение. Религиозное понимание из всего того, что познаваемо человеком, выделяет то, что не подлежит определению, и говорит об этом: «Я не знаю». И такой прием по отношению к тому, чего не дано знать человеку, составляет первое и необходимейшее условие истинного знания. Таковы учения Зороастра, браминов, Будды, Лао-Тсе, Конфуция, Христа. Философское же понимание жизни, не видя различия или закрывая глаза на различие между познанием внешних явлений и познанием души и Бога, считает одинаково подлежащими рассудочным и словесным определениям химические соединения и сознание человеком своего «я», астрономические наблюдения и вычисления и признание начала жизни всего, смешивая определяемое с неопределяемым, познаваемое с сознаваемым, не переставая строить фантастические, отрицаемые одна другою, теории за теориями, стараясь определить неопределимое. Таковы учения о жизни Аристотелей, Платонов, Лейбницев, Локков, Гегелей, Спенсеров и многих и многих других, имя же им легион. В сущности же, все эти учения представляют из себя или пустые рассуждения о том, что не подлежит рассуждению, — рассуждения, которые могут называться философистикой, но не философией, не любомудрием, а любомудрствованием, — или плохие повторения того, что по отношению нравственных законов выражено гораздо лучше в религиозных учениях».

* * *

Повторяю, — это от 18 сентября 1910 г., это — предсмертное и последнее, что написал Толстой. Все не ярко, не картинно, не сильно; все так, как мы привыкли за много лет читать у Л. Н. о философии, морали и жизни. Кровь выпущена, цветов и красок нет. Но отчего? Откуда этот язык? Эти как будто тавтологии и поворачивания все в одном, притом небольшом, круге мыслей, тезисов? Именно, что это относится к Николаю Яковлевичу Гроту, профессору философии, председателю философского общества и основателю философского журнала, дает нам *ключ к пониманию* колера множества аналогичных рассуждений и сочинений Толстого. «Доели господа профессора русского человека», «съели книжные мудрецы натурального Саккиа-Муни (Будда) из Ясной Поляны». Уже *век весь* — книжный; век — «ученый», с арсеналом доказательств и принятого, утвердившегося *языка*, утвердившейся фразеологии. Пыл пророка, пылающая пламенная страница не убедили бы их и их бесчисленных учеников, питомцев университета, читателей журналов и газет. И вот Толстой говорит совсем несвойственным ему языком, а языком обычных философских рассуждений, но на темы, противоположные философии, на темы религиозные, жизненные, «творческие». Вся философия — критика и анализ. Язык философский — критический и аналитический. Толстой же все хочет «снести живое яичко» (восточные религиозные

системы); и эта тема, в сочетании с этим языком, образует «философствующего Толстого», который слишком часто и слишком основательно напоминал реторту средневекового алхимика, где варились мертвые вещества, в надежде произвести из них «живого человека», homunculus'a. В самом деле, всмотритесь в приведенное рассуждение. Оно – ценно и велико. Но, чтобы выразить его, – нужно десять пламенеющих строк; это те десять строк, которыми во всякой религии очерчиваются сотворение человека, сотворение мира, искание Бога человеком. «И вдунул (Бог) в человека дыхание жизни, душу бессмертную»; «сотворил человека по образу Своему и подобию»; «как лань в пустыне ищет источника водного, так душа моя вечно ищет Тебя, Боже» (псалом Давида)... Но Толстой слишком знал, что все это *читается* и уже *не производит никакого впечатления* на мир ученых и недоучек... Что же делать? И 10 пламенных строк, которые от себя и по-своему он мог бы великолепно сказать, мог бы сказать оригинально и по-новому, он заменил сотнями безжизненных, вялых строк, где еле оспаривал ученых и профессоров, оспаривал книжных философов с их вялою душою. Здесь можно привести следующее сообщение. Московское психологическое общество основал предшественник Н. Я. Грота по кафедре, профессор философии и психологии М. М. Троицкий. Он был последователем так называемого английского позитивизма, учений Бэкона, Локка, Юма, Джемса, Джона Милля и друг. Когда он оставил кафедру в университете, то одновременно оставил и председательствование в обществе, передав это своему заместителю Н. Я. Гроту, но оставаясь его почетным членом. И вот Грот предложил членам общества избрать в почетные собратья Л. Н. Толстого, который в своих дивных художественных анализах души человека уже давно был, в сущности, «почетным членом» всех психологических обществ всего света. Предложение Грота было, естественно, благородно и разумно. Но вот, видите ли, Толстой не написал никакой компиляции со ссылками на Вундта, Моудсли и проч., он не написал ни одной из тех бездарных компиляций, за которые преспокойно дают и «магистров», и «докторов философии». Это до того вывело из себя М. М. Троицкого, что он, бросив открыто Гроту обвинение в «заискивании популярности» и «искании рекламных имен», – вышел из общества и не дал ни одной строки в основанный Гротом журнал. Л. Н. Толстой, со всеми своими проникновениями в душу человеческую, со всем своим исканием первых философских истин, был для Троицкого «мужик», «неуч». Тут что-то проходит дикое в ученых: они готовы брать темами своих диссертаций, пожалуй, такие же философэмы, какие вырабатывал и Толстой, – но с условием, чтобы они появились: 1) за тысячу лет до нашего времени; 2) были написаны на индусском, китайском и, самое меньшее, на греческом языке; 3) произошли в какой-нибудь стране расстоянием не меньше чем на 1000 верст от России. Тогда это – тема, тогда это – предмет диссертации. Но Толстой, – «наш современник», живущий всего «в Тульской губернии», одевшийся не в греческую хламиду, а в военный мундир, да еще писавший романы и повести, – был *quantité négligeable*, «пренебрегаемою величиною»

для одетого в строгий мундир министерства просвещения М. М. Троицкого, имевшего Анну 1-й степени на шее и написавшего сочинение, которого «от доски до доски» никто в России прочесть не мог, кроме наборщика, набиравшего его в типографии (знаменитая его «Наука о духе»). О совершенной «недоступности для чтения» этой книги писал в «Руси» И. С. Аксаков, говорили устно Н. Н. Страхов и Влад. С. Соловьев. Оба последние не могли ее прочитать. На самом деле никакой «науки о духе» в этой книге не было: были схоластические, совершенно чудовищные, подразделения и подразделения, классификации и классификации «психических явлений», ни к чему не ведущие и ничем не кончавшиеся, да веленевая бумага (в издании Абрикосова), да чванство профессора, его самообожание и почти самообожание.

* * *

Докончим письмо-рассуждение Л. Н. Толстого к Константину Яковлевичу Гроту. Он говорит с глубокой жизненностью и пониманием:

«Да, как ни странно это может показаться людям, никогда не думавшим об этом, — понимание жизни какого бы то ни было язычника, признающего необъяснимое начало всего, олицетворяемое им в каком бы то ни было идоле, — как бы неразумны ни были его понятия об этом необъяснимом начале, — такое понимание жизни все-таки несравненно выше жизнепонимания философа, не признающего неопределимых основ познания. Религиозный язычник признает нечто неопределимое, верит, что оно есть и что есть основа всего; и на этом неопределимом, хорошо или дурно, строит свое понимание жизни, подчиняется этому неопределимому и руководится им в своих поступках. Философ же, пытаясь определить то, что определяет все остальное и потому не может быть определено, не имеет никакого твердого основания ни для построения своего понимания жизни, ни для руководства в своих поступках.

Оно и не может быть иначе, так как всякое знание есть установление отношений между причинами и следствиями, цепь же причин бесконечна, и потому явно, что исследование известного ряда причин в бесконечной цепи не может быть основой мирозерцания.

Как же быть? Где же взять ее? Рассуждение, т. е. деятельность ума, не даст такой основы. Нет ли у человека еще другого, кроме рассудочного, познания? И ответ очевиден: такое, совсем особенное от рассудочного, независимое от бесконечной цепи причин и последствий, познание каждый знает в себе. Познание это есть сознание своего духовного «я».

Когда человек непосредственно, сам находит это независимое от цепи причин и следствий познание, — он называет это сознанием; когда же он находит это общее всем людям сознание в религиозных учениях, — он называет его *верою*, в отличие от рассудочного познания. Таковы все веры, от древнейших до новейших. Сущность всех их в том, что, несмотря на те, часто нелепые, формы, которые они приняли в своем извращении, они все-таки дают воспринимающему их такие независимые от цепи причин и последствий основы познания, которые одни только и дают возможность ра-

зумного мирозерцания. Так что научный философ, не признающий религиозных основ, неизбежно поставлен в необходимость, вращаясь в бесконечной цепи причин, отыскивать воображаемую и невозможную причину всех причин. Религиозный же человек сознает эту причину всех причин, *верит* в нее и, вследствие этого, имеет твердое понимание жизни и такое же твердое руководство для своих поступков. Научный же философ не имеет и не может иметь ни того, ни другого).

Нужно заметить, что термин «научная философия» пестрил и книги, и журналы наши лет двадцать: «научную философию» искали и строили люди бездарные, никак не могшие различить вещей *sui generis* и не понимавшие, что нельзя так же, как изложен «Курс физики» *Гано*, излагать наши мысли, догадки, чаяния... Впрочем, они и «догадки», и «чаяния» выбросили вон, — что нельзя с точностью «Курса физики» излагать предметы, над которыми трудилось человечество от Фалеса до Вундта. Ведь даже и «история», наука осязательная и точная, излагается уже не так, как физика; да и, вообще, всякую науку нужно излагать не «как другую» (науку), а «как лучшее»... И, может быть, есть такие, наконец, темы, где нужно «петь», а не «говорить»; так «в псалмах» излагал свои «знания» Давид, — очень твердые, уверенные знания; в «псалмах», аккомпанируемых арфою. Вот, еще есть «наука» или «область знания» — о *красоте*: ну, как эстетику изложить, как «Курс физиков», и никогда еще не рождалось на свет такой изнеможности, как их мнимая «научная философия», где 1) нет никакой, на самом деле, «науки» и 2) решительно никакой нет философии.

«На днях ученый профессор, — кончает Л. Н., — объяснял мне, как теперь уже все душевные свойства сведены к механическим причинам. «Еще только сознание не совсем объяснено, — говорил с поразительной наивностью ученый профессор. — Мы знаем уж всю машину, только еще не совсем знаем, чем и как она приводится в движение». Удивительно! Не сведено еще к механическим причинам только (очень хорошо это «только»!) сознание. Не сведено еще, но профессор, очевидно, уверен, что вот-вот, на днях, получится сведение о том, что какой-нибудь профессор Шмидт из Берлина или Оксенберг из Франкфурта открыл механическую причину сознания, т. е. Бога в душе человека. Разве не очевидно, что старушка, верующая в матушку Казанскую Царицу Небесную, не только нравственно, но умственно несравненно выше этого ученого профессора.

Извините меня, Константин Яковлевич, что я так по-старчески разболтался. В оправдание могу сказать только то, что предмет этот, а именно ложное понятие о значении религии, столь распространенное среди нашего так называемого образованного общества, всегда занимал меня, занимает и теперь, занимал и тогда, когда мы дружили с Николаем Яковлевичем. Помню, что я указал ему на это его ложное понимание религии, разделяемое с ним и всеми учеными. Я помню, что он более или менее соглашался тогда со мною»...

На эту же тему написано одно из писем Л. Н. к Гроту, от 1894 г. (без пометки числа и месяца, — стр. 222 «Сборника»). Оно очень картинно и дышит негодованием к материализму. Толстой пишет в нем:

«Истина с самых древних времен очищается кирпичом, как самовары. Она светла, но, чтобы быть еще светлее, — ее, должно быть, надо сначала запачкать кирпичом, и после этой операции она делается светлее. Истина доступна детям и скрыта от мудрствующих, т. е. сами мудрствующие замазывают ее. Эти мудрствующие наносят на нее кирпич, и им надо потереть ее. Теперь же наши материалисты наносят такого чудесного кирпича с грязью, что из-под него она должна выйти особенно ясно». — И он советует Гроту заняться этим «снятием кирпича и грязи», наношенного материалистами в область религии и философии.

Нельзя понять у этих людей «кирпича и грязи», почему они, собственно, влекутся к философии? Что их тянет туда? Отчего они не посвящают свои силы, и с успехом, просто и прямо физике, просто и прямо физиологии? Почему их тянет на *смежную* область? Не содержится ли в этом крошечном притяжении, в сущности, утвердительный ответ на все волнения Толстого? «Мы держим сальные свечи в руках («кирпич» Толстого), ибо другого осветительного материала нет в нашем мире: но с ними входим и хотим ими осветить какие-то подземные пещеры, какие-то скрытые от нас ходы, лабиринты, извивы... они нам *любопытнее*, чем сальный и кирпичный мир, из которого сюда спустились, хотя мы ничего себе и здесь не можем представить, кроме того, что всю жизнь было у нас перед глазами, — кирпича и сала. Кирпичом и салом мы начинаем, а чем кончим... Вот, в незнании, *чем* кончим и *что* здесь найдем, — и лежит причина направления наших шагов, за которые нас осуждают чистые и строгие физики, чистые и строгие физиологи».

Натура Толстого была вся и до глубины религиозна; всегда религиозна. Именно после его кончины это движение его сыграет большую роль в судьбах умственного просвещения России.

ПРАВА СЕМЬИ В БРАКЕ

Правовая сторона в браке распределяется, очевидно, между

- 1) церковью,
- 2) государством,
- 3) семьей.

Церковь нечто дала от себя, именно — обряд, благословение, торжество, красоту, «славу». За это ею данное она пользуется правом в семье: но именно в пределах данного, т. е. ритуала. Кому его давать, кому не давать; в какое время года (посты) не давать; в какие часы (не вечером) давать. Право прибавлять молитвы, убавлять их.

Государство вмешивало сюда заботу, хлопоты, труд. Писало законы, правила. Давало второстепенным чиновникам «инструкции». За эту работу оно потребовало себе тоже «право» и пользуется им.

Нужно заметить, одно и другое право есть просто «взятое право». Все живущие «в браке» люди весьма похожи на овец: темные, кроткие! Ведь «весь народ» сюда входит: и в нем естественно темных и кротких всегда было больше всего. Поэтому как церковь, так и государство просто «взяли себе право» без всякого возражения, без спора. Но совершенно очевидно, что спор и возражения здесь возможны; что все «состоящие в браке люди» только забыли о своем праве, но в существе дела это право у них *есть*.

В самом деле:

1) Церковь дала ритуал.

2) Государство дает заботу.

Но ведь «живут-то в браке» именно эти *люди*: и перед этою жизнью, для всякой четы тянувшейся 40 лет, что значит «ритуал», один раз на все времена сложенный и затем только повторяемый, причем каждое повторение занимает не более 1½ часа; и что значат «заботы государства», — ну, неделя хлопот какого-нибудь пристава с такою-то неулаженною семьею.

Сорок лет жизни: «вместе голод», «вместе богатство»; болезни детей, умирания детей; колебания верности и неверности. «Жизнь» эта до того полна, насыщена смыслом, что, поистине, «до брака» люди как бы еще не существуют, полуродились только: а настоящее и полное *рождение* человека, «рождение его в жизнь», т. е. серьезную, ответственную, страшную, трагическую, — и происходит в минуту, как они «повенчиваются» и «вступили в брак». Доселе — подготовка; отсюда — жизнь. Это хорошо ощущалось в старину и в крестьянстве: человек принимал на себя «тягло», только женившись. До этого он был «паренек», «парубок», гулял, веселился; и ни родители, ни община деревенская в серьезную работу и серьезное дело его не ставили.

Вот эта «слюбившаяся и пожившаяся чета» приносит государству и церкви неизмеримо больше, чем сколько от них получает. Оттого, что масса народная живет такими «четами», а не холостым бытом и «до старости гуляками», происходит, в сущности, все благоустройство государственное. А ведь они могли бы это: быть «до старости гулякою» никому не запрещено; и быть «флиртирующей девицей», — «ищущею приключений», тоже никому не запрещено. Представьте же себе целый город или даже небольшое государство, состоящее исключительно из таких гуляк: этот необозримый трактир нельзя даже и наименовать «городом», «государством». При первой опасности он разбежался бы; «ни на что в нем положиться нельзя»... Все представляло бы собою такую неустойчивость, что, поистине, нельзя было бы назвать это «народом», «нацией».

«До старости холостые люди» и до сих пор представляют собою, в сущности, кочующих номадов, не опасных лишь настолько, насколько их мало, насколько они тонут до незаметности среди «семейного быта».

Таким образом, семья дает государству устойчивость, порядок, крепость, «верность»... Верные подати, регулярный труд, непроматываемое состояние. «День» государства она превращает в «век» государства. «Мгла веков» оттого и стоит над каждым царством, народностью, что оно живет в форме

«семейств», «семейственной жизнью»: т. е. что вот «как стукнет 17–19 годов – влюбляются друг в дружку и женятся». «Песенка Кольцова» о золотом колечке, народная песенка о том же – это-то вот самое и крепит государство, крепит его более, чем все крепости и пушки, корабли и армии. Недаром «Венере», сей якобы «блудной богине», возводили храмы. Стоило: без «песенки Кольцова» все превращается в хаос, в разрушение, в гибель; без «Венеры» все Юпитеры валяются кувыркoм с Капитолия.

Нет «Венеры» – померк мир; прямо – разрушился. А «Юпитер» – вроде только декорации.

Но вот «пошли дети»... один, другой, третий, при благополучии – десятый. Каждый год – «поп, окрестить!». Умер – «поп, схорони!». Холостому человеку «зачем в церковь»? Разве на rendez-vous (постоянно в губернских городах). Но едва люди «слюбились и поженились», вошли в трагедию и серьезность жизни, как они «всем телом» приваливаются к церкви, без уговоров, без понуждений, без зазывания, «само собою». «Тут никакой Вольтер ничего не поделает»... Вольтеры и Ренаны все отлетают как щепки в сторону, и «поп» может на них не обращать ни малейшего внимания, пока всякая отстонавшаяся в родах женщина говорит: «Позовите попа – наречь имя новорожденному», и через семь дней – «окрестить младенца», и через десять лет – «поп, вразуми этого ребенка Закону Божию», и через 40 лет – «поп, пособируй меня, тяжко, умираю». Вот где сила церкви: а не в «систематических курсах богословия» и не в «опровержении Дарвина и материалистов». Крепость церкви невероятна, и поистине «врата адавы не одолеют ее»: но не по тем мотивам, как думают, а по этому вечному пульсу, которым бьется человеческая жизнь, – «родился», «влюбился», «рождаю», «умер», – и по тому, насколько церковь *успела и сумела связать себя с этим пульсом*.

Суть-то вся и лежит в этом пульсе. «Становая жила человечества»... Кто до нее дотронулся или за нее держится, тому вечно жить; а кто вовремя не ухватился за нее – летит в бездну и безвестно погибает.

По этим многоценным и полновесным плодам, которые семья несет и государству, и церкви, – и государство, и церковь должны бы каждое «слюбились-поженились» встречать каким-то ореолом. И поистине каждым «молодым» выходить навстречу и кланяться до земли: «Вот опять идет мое богатство, моя честь, моя стойкость в веках; идет – крепость церкви, неопровержимость церкви, защита от господ вольтерьянцев». «Не надо полемик, замолкните голоса. Пусть каждые полвека рождается по десяти Вольтеров, по десяти Штраусов – и пусть они все пишут что угодно: с другой стороны подходят с задумавшимися глазами парни и с цветами в руках девушки, подходят десятками тысяч, валят валом, народно... И пока вот это есть, мне ничего не страшно, я стою, выросла в землю и голова моя высится до неба».

Семье, т. е. конкретно каждым двум «слюбились-поженились», принадлежит так много в религии и государстве, что ни рассказать, ни исчислить этого нельзя. Не вытекает ли из этого чего-нибудь, какого-нибудь права?

Да если она «всем дает взаем», «всех обеспечивает», «все обезопасивает», то явно, что *долг* всего перед нею неисчислим; т. е. что неисчислимы *права* ее; права «потребовать и взять»... или – «спросить, указать и взять».

То-то в древности перед беременною женщиною сходили с тротуара консулы; ликторы опускали свои секиры. Весталки, хранительницы священного огня Весты, «покровительницы домашнего очага», т. е. мира и покоя семейного, пользовались уважением наравне с царями. И, кажется, случайная встреча с весталкою ведомого на казнь – избавляла от казни. «Идет – чистота, идет – святость, идет – величие и религия».

Раз я бросил только эти примеры, не ясно ли каждому, что «семья» совершенно померкла к нашему времени; спущена куда-то «в трубу» и провалилась куда-то «в дыру». Не «беременная», а «в таком положении». Даже «совестно сказать вслух»... Явно, что холостой, номадный быт если количественно еще и не преобладает, то преобладает авторитетом, весом, прерогативами, блеском, богатством и всем вообще «положением в обществе». Дает «блеск обществу», «украшает» общество... Да и в самом деле: вся, собственно, «духовная жизнь страны», ее «интеллигентность» и интеллигенция, все ее образование, споры и волнения умственные, науки, литература и проч. и проч., ее музыка и театр, живопись и стихи – теперь типично *холостые явления*, хотя бы производились, создавались и семейными людьми. Семья как бы потеряла лучи около себя, дух свой: и лежит *фактом* с одной стороны индивидуума, противоположной его творчеству; а это «творчество» вырастает из другой, холостой его стороны. Цивилизация вся в сущности стала «холостою»...

Но это – не «само дело», не «натура дела такова»: а «дело» поставлено «в такое положение». Страшно покачнулось, пошатнулось *положение семьи*: и впереди всех других обстоятельств сам закон, церковный и государственный, и подкопал почву под своею же твердынею.

Посмотреть на эти нищенские, убогие, испуганные лица приходящих «в гражданский или духовный суд» мужей и жен, отцов или матерей, искать «суда и милости» в какой-нибудь напасти семейной... искать при невозможной жизни «развода», «усыновить детей», «узаконить детей», «выправить метрику». О Боже: достаточно взглянуть на эту испуганность, застенчивость, готовность платить деньги, во-вторых, платить и, в-третьих, платить, чтобы сразу же, одним взглядом понять, что тут совершилось что-то чудовищное в веках, кто-то что-то разоряет... И в великом томлении воскликнуть:

– Да где же огонь Весты? Зажгите огонь Весты!

«РОДОВОЕ НАЧАЛО» В ИСТОРИИ

«Раздельное жительство супругов по закону» – есть собственно то право *семьи, фамилии, рода, личности*, которое явно исчезло в веках, через потери которого *личность* жены пала в положение хуже животного. И право это явно надо восстановить. Пусть в установке права этого в каждом еди-

ничном случае участвует и государство; но собственно оно принадлежит главною массою своею «фамилии и роду», из которого вышла девушка в замужество. Каким образом, выдавая свою дочь замуж, в случае крайнего ее несчастья, обмана мужем, издевательств от мужа, насилия от него, неестественных его пороков (масса «аномалий» у мужей) – не могу за нее вступить я, отец, ее воспитавший и родивший. «Или законом и таинством (венчание) *обеспечьте счастье*», или «не препятствуйте в несчастьи помочь родителям». Так явно! Одно из двух!..

Пусть «венчание» имеет такую силу действия, чтобы «все были счастливы»... Есть какой-то «приворотный корень» в сказаниях народа, «возбуждающий любовь и привязывающий человека к человеку, мужа к жене и обратно»... Ну вот пусть дадут такого «испыт». Но пока такой не найден, не объявлен или его не дадут (вот бы следовало поискать и в самом деле ввести в брак, в его *заклучение*) – до тех пор невозможно, не низвергая человеческого брака в положение хуже животного, отнимать право *вмешиваться в несчастье замужних дочерей и женящихся сыновей их роду, родителям и всему родству*; не просить, а *требовать развода*, а до него – *раздельного жительства*.

Инициатива здесь принадлежит личности (право жалобы).

Утверждение – *родителям* и кругу *родства* (право заступничества). Вот где должны быть наблюдаемы «степени родства», как право и обязанность участвовать в «семейном совете» и «родовом совете», – коим должно быть сообщено право *юридической единицы*.

Скрепление – *государству* (всего лучше – суду, но единственно в формальной стороне, в выдаче «документа на отдельное жительство»).

И как это еще не есть «развод», ибо права вступления в «новый брак», в «новое венчание» раздельное жительство еще не дает, то и самый опрос об этом духовной власти совершенно излишен и должен быть исключен. Это есть чисто гражданский акт, даже акт собственно *бытовой*, гражданскою властью лишь санкционируемый – и к вмешательству духовной власти здесь нет никакого основания.

Очень много говорят о «восстановлении церковного прихода»; да, это согрело бы и осмыслило жизнь церкви. Есть горячие его деятели (г. Ровинский, г. Папков). Но гжучие семейные боли заставляют подумать о другой древней основе жизни – *роде, родстве, gens, familia*. Без восстановления значительности вот этой единицы, без сообщения ей *обязанностей*, без предоставления ей *прав* – нельзя надеяться организовать распадающуюся семью, поднять ее величие, улучшить ее положение. Все великие организованные народы жили «родами»... Мы живем решительно анархично, потому что живем слишком лично... Члены «рода» никакой решительно связи у нас не имеют и законом и государством вспоминаются только при определении «прав наследства», а в церкви – при исчислении «степеней родства, препятствующих вступить в брак». Здесь и там видно полное исчезновение идеи рода... Огромная неорганизованность, «безудерж» жизни на улице, да

и в стране, нестройность всех явлений быта есть в огромной части последствия этого таяния и почти окончательной растаянности вечного и божественного *родового начала*. Оно пало, потому что слишком *давило* на личность, *стесняло* и *связывало* ее; но оно же и *защищало*, *охраняло* и *сберегало* эту личность. Восстанавливать дурное здесь – нет нужды. Пусть личность и остается свободною. Но восстановить хорошее здесь следует: пусть *семья* и *род*, пусть *советы семейный* и *родовой*, с присвоенным им юридическим значением, сохраняют значение *старой крепости*, куда мог бы укрыться индивидуум в случае крайнего несчастья, постигшего его по выходе из рода (замужество, женитьба). Во всяком случае они зорче и любовнее это сделают, чем духовные консистории с их формальным ответом: «Что же, нужно пострадать».

ЛИТЕРАТУРНЫЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ АФОРИЗМЫ

(Ответ К. И. Чуковскому и П. Б. Струве)

<I>

Разница между «честной прямой линией» и лукавыми «кривыми», как эллипсис и парабола, состоит в том, что по первой летают вороны, а по вторым движутся все небесные светила.

Писатели вообще не имеют права заниматься в литературе ни своими личностями, ни личностями друг друга: ибо читатель – не зритель и вправе захлопнуть книгу, журнал или бросить газету, когда они требуют внимания к тому, что не представляет общего интереса. Поэтому, когда крайняя, настойчивая надобность вынуждает к этому автора, он может делать это только с крайне стесненным сердцем. И постараться сообщить своему писанию общий интерес; такой интерес, чтобы его рассуждения были применимы не к нему лично, объясняли не его одну личность (для большинства читателей безразличную), а применимы были ко множеству литературных явлений и объясняли «литературные портреты» теперешних или давних времен, для читателя уже интересные, любопытные, важные.

При этом условии – можно говорить.

* * *

- Сколько можно иметь мнений, мыслей о предмете?
- Сколько угодно... Сколько есть «мыслей» в самом предмете: ибо нет предмета без мысли, и иногда – без множества в себе мыслей.

– Итак, по-вашему, можно иметь сколько угодно нравственных «взглядов на предмет», «убеждений» о нем?

– По-моему и вообще по-умному – сколько угодно.

– Ну, а на каком же это расстоянии времени?

– На расстоянии одного дня и даже одного часа. При одушевлении – на расстоянии нескольких минут.

– Что же, у вас сто голов на плечах и сто сердец в груди?

– Одна голова и одно сердце, но непрерывно «тук, тук, тук». И это особенно тогда, когда вы «спите», вам «лень» и ни до чего «дела нет».

Критика подобрала эти ваши словечки, разбросанные там и здесь в статьях (К. И. Чуковский), – и спрашивает у вас ответа.

– Критика напрасно занимается не тем, до чего у нее есть дело. Но раз затронута моя «дремота», то я отвечу, что именно в те блаженные минуты, когда я «кнаружи» засыпаю, – и наступают те «несколько минут», когда вдруг «сто убеждений» сложатся об одном предмете:

И я люблю – люблю мечты моей создание.

Но как я не поэт, а немножко философ, то не «люблю», а «убежден», и не «мечту», а «мысль»...

– Страшно и как-то безнадежно для читателя... Где же тогда истина?

– В полноте всех мыслей. Разом. Со страхом выбрать одну. В колебании.

– Неужели же *колебание* – принцип?

– Первый в жизни. Единственный, который тверд. Тот, которым цветет все и все – живет. Наступи-ка *устойчивость* – и мир закаменел бы, заледел. Колебание «дня» и «ночи» ввел в природу Бог; и с такими оттенками: «заря», «рассвет». Именно «сто мнений», как я говорю: у Бога было тоже «сто мнений», как сделать «один день», и Он каждый его час и даже каждые десять минут сделал непохожими на другие. Там – солнышко, здесь – облачно, посырее, посуше – все!!! Но оставим творение природы и обратимся к творениям человека: и они все в «колебаниях», «переменах», в тенях и рассветах – до полной невозможности что-нибудь ухватить... Глупый растеривается, их видя; «мертвое время» пеняет на них; но умный и умное время на них воспитывается, вооружается не содержанием их, а их методом, и сам получает способность рождать мысли...

В литературе теперь – говоря стихом Лермонтова о ветхой Грузии – все

...столпообразные руины.

Но это оттого, что она есть «бывшая литература», в том страшном смысле, как Горький вывел «бывших людей». Она вся застыла в торжественных позах, с важными жестами. Вся увита «старыми письменами»... Это – Помпея. Красивая, прочная и без жизни. В которую направляются «паломники»...

– Оставьте космогонию, которою вы запутываете ум. Мне нет дела до вашего «творения дня и ночи», так как религия для меня не существует. Я политик, скажите ваше мнение о нашей революции... ну, «былой революции». Вы написали о ней книгу – «Когда начальство ушло...». Но с вашими теперешними мыслями, *теперешними статьями* – она не вяжется. Что же прикажете думать и чему следовать?

– Статьям и книге. Статьям – непременно! Но и книге – непременно!

– Но ведь они исключают друг друга?

– Исключают. А вот вы в *своей живой душе* – и соедините. Поработайте. Попотейте. А то что «брать готовенькое»... Ослиное дело. Я же и статьи пишу, и книгу написал с надеждой, что работаю не на конюшне, а в литературе. Ваш вопрос похож на вопрос Струве: он написал в ноябрьской книжке «Русской Мысли» что-то вроде «литературного портрета» моего, с прониканием в «глубину психологии»... А исходною точкою взял сопоставление, на нескольких страницах, мыслей о революции *теперь* и мыслей *тогда* и, видя эти чередующиеся «да» и «нет», – растерялся, как буриданов осел. Это – пример из логики, и потому не обидный. Буриданов осел стоял между чашкой воды и вязанкой сена и думал: «Я хочу есть, как же я повернусь к воде?» И, глядя на сено: «Я хочу пить, как же я повернусь к сену?» И умер, бедный, и не напившись, и не наевшись. Струве следовало в *живой душе* примирить мое «да» и «нет»: но живой души в нем не нашлось, и он написал... не буду повторять, что он написал.

– Вы все опять путаете своим «буридановым ослом», как выше «днем» и «ночью»... Я великодушен, как все «наши», и ради дела соглашаюсь быть «ослом». Скажите же честному ослу, что вы думаете о 1905–1906 годах?

– Да и нет. Горесть и радость.

– Но разделите...

– Разделяю. Радость – это оживление. Расцветшие лица, упоение надеждами. Да просто – живость движения. Хотя я раз только был на митинге, но и то, что видел, а особенно что слышал о них, слышал от третьих незаинтересованных лиц, – это незабываемо. Русь шумела, как хороший лес в бурю, и не один я сравнивал те дни с картиной «городов московских» в 1610–1611 годах. И я любил это тогда, и помню и люблю сейчас. Но любил – картину, но любил – жизнь, но любил – искусство. Нет, это не была уже «обломовская Русь»... Вековой колорит страны пал, и рождался какой-то новый колорит...

– Дальше! Дальше!

– Что же «дальше»... Программы? Я и тогда, в 1905–1906 годах, в них не вслушивался, просто от лени: а «лень» у меня наступает тогда, когда я вижу неважное, мелочь, глупости. Все и всякие программы хороши, когда их исполняют художники, и все и всякие программы гадки, когда их исполняют ремесленники. Церковь – она была прекрасна при Иоанне Златоусте и Юстиниане Великом, когда строился Софийский собор, а теперь...

– Это неинтересно. Ваше отношение к государству?

– Оно холодновато. Не скрою – я анархист, насколько больше всего люблю сидеть дома. Но я вижу ваш испытующий взгляд и догадываюсь о задней мысли. Поэтому, не моргая перед опасностью, скажу, что *среди серии других вещей, этой совершенно не сродных*, – мне также нравится и «старый король в Фуле»: без прелести в нем, настоящей прелести, разве сложилась бы о нем средневековая песенка и запела ли бы о нем прекрасная Гретхен? Эх, господа, поменьше суровости, побольше доброты, и – полная правда. В категориях всех вещей и в линии всех направлений есть прелестные вещи. Признаем это – и мир будет спасен. Будем выбирать «по добру», а не по «положению» – вот истина... Я, по крайней мере, настолько мало «политик», что «песня Гретхен» для меня решает все, и теперь я уже не шучу, а говорю страшно серьезно, со всем напряжением души: «песня Гретхен» решает для меня «политику», – и чему она улыбнется – тому улыбнусь и я, а что она проклянет и возненавидит – отвернусь от того и я. Даже еще подведу «философию» под ее улыбку и проклятие. Вам не нравится? Отвечу стихом из Державина:

Таков, Фелица, я развратен.

Без поэзии для меня нет политики, и я тому и аплодирую, что поэтично, и до тех пор аплодирую, пока оно поэтично. Отлетела поэзия – «прощайте». Я уснул, умер и больше не «политик».

– А Мирабо? Шарлота Кордэ?

– Мирабо был гениален, а Шарлота Кордэ – поэтична. Аплодирую.

– А «мы»?..

– «Мы» то же, что Владимир Карлович Саблер после Златоуста и Софии Константинопольской. Или, как говорит Пушкин:

Скука, холод и гранит.

«Все» обратили Шарлотту Кордэ в машину: вот ваш «террор», гильотина, «террор». Бойня и гадость. Я лучше пойду к «старому королю в Фуле»... Постараюсь его найти в лесах, в древности, в летописях...

– А «бюрократия»?..

– С «бюрократией» он, конечно, будет неинтересен, и тогда я запою песенку Мирабо...

– Но ведь после Мирабо была именно гильотина, т. е. машина, «мертвецких дел учреждение»?..

– Тут я плачу: и вот потому-то и возненавидел *вообще* «политику», что в ней бывали поэтические минуты, а вообще-то она есть дело жестокое, грубое, «дипломатическое» к тому же, т. е. хитрое и лгущее. Помня это, зная это, испытываю это, – я и «затворился дома», т. е. стал тихим и кротким анархистом, по наружи «всех почитаю», а внутри... ничего не думая, кроме как о «завтра» и «сегодня», как какие-то пророки в пустыне. «Для меня важно, чтобы сегодня не шел дождь, а остальное в Божьей воле». Мало. Тихо. И не понимаю, почему, я за это бесчестен (обвинение Струве).

Добавлю: началом эстетическим действительно управляется история или, вернее, движется; и «поэтично» или «не поэтично» – это есть не один мой мотив. Великое начало красоты есть корень больших шумов в истории: ведь отчего мы «когда-то» возненавидели бюрократию? Очень «невыгодно», что ли? очень «страдали»? Но стало, к 1900–1903 годам, очень скучно... С главы «Всемирная скука» и начинается моя книга «Когда начальство ушло», – чего Струве не заметил или на что не обратил внимание: а это-то и есть в ней *главное*: мое объяснение *происхождения* 1905–1906 годов, насколько эти годы были правы, насколько они были *прекрасны*. Комиссии «открывались» и «закрывались»... Их высокопревосходительства что-то мямлили: а что – никто и разобрать не мог. Гигантской фигуры – ни одной.

И зашумело все... И поднялись все. И было хорошо. И пока было хорошо – я говорил: «Хорошо». А когда стало «худо» – я начал говорить: «Худо!» Вот смысл книги «Когда начальство ушло», посвященной описанию того, что «видел», «слышал», и тому «боренью мысли», какому предавался и сам. Но Струве не заметил, чем кончается книга, как не заметил, чем она началась. Она кончается тремя символическими страницами. На одной написано одно слово – «увы», т. е. «все пропало», «надежды не удались». На следующей – вопрос «Что же случилось?», т. е. почему надежды обманулись? И на третьей – картинка, когда-то намазанная для меня А. М. Ремизовым по прочтении «жития одного грешного пустытника»: какая-то «мушкара», луна и «ведьма на помеле». Вот чем «все кончилось», – подумал я, подумал в 1907–1910 годах. И все так написал. Почему же вся эта *правда и тогда, правда и теперь* образует «ложь и тогда и теперь»? О, буриданов осел, – ты никогда не напьешься.

<II>

Розанов не то, что безнравственный писатель, он органически безнравственная и безбожная натура.

П. Струве

Тут вопрос ставится о чем-то основном, органическом в писателе, об его существе и его естестве, неотъемлемом и непоправимом.

Он же

Остановлюсь еще, и упорно, на тезисах, которые высказал, с предложением запомнить их в литературе, да и гг. «политикам». Поэзия есть хранитель политики; хочется преувеличить и добавить – ангел-хранитель; и как он отлетел – *этому* направлению, от которого отлетел, надо говорить «прощай». Основывается это на том, что поэзия необыкновенно *жизненна*, а потому и покидает все безжизненное, не несущее в себе здорового зерна для развития в будущем; и еще на том, что она как-то внутренне «стара годами», имеет в

уме своем что-то мудрое, древнее... Поэзия мудрее науки: и например, в то время, как «быть ученым» удастся часто и глупым (Вагнер в «Фаусте»), поэты ни один, и никогда, и никакой не был глуп, и это невозможно. Поэты все «преумницы», хоть поют «о птичках». И сама поэзия есть какое-то глубокое проникание в суть вещей, в «невидимый корень вещей», и в то же время глаз у нее обширный, схематический, заглядывающий за горизонт. Кто воспел «русскую осень» – уж будьте уверены, есть в то же время и *глубоко чувствующий* «русский гражданин», способный к подвигу, к долгу, к терпению и страданию за родину. «Основные политические качества», неизмеримо высшие, чем способность «спеться в партию» или «сделать искусный ход в парламентской борьбе». Все это глупости, никому не нужные. России не нужные. Поэтому дар песен и даже дар чутко слушать песню – есть великий *государственный дар*, и его следовало бы принимать во внимание при установке «прав государственной службы», «голоса при выборах» и проч. Возьмем Байрона на Западе и у нас Гоголя: казалось, один все пел «стишки», а другой рассказывал смешные рассказы. Между тем насколько они видели *далее* министров, – всех без исключения своего времени и даже ближайшего! – Итак, политики-специалисты должны обращать внимание не на то, много ли пишется в журналах и газетах статей «в защиту их направления»... Гораздо внимательнее они должны прислушиваться к тому, *куда* клонят песни...

«*Лири* за меня, и я владею *будущим!*» – вот тезис политика.

Теперь другой упор мысли: о многообразии идей и «убеждений» об одном предмете.

Есть социал-демократическая «История России» Шишко. Тема ее – «все в России гадко, было и есть, но не будет так, когда завладеем делом *мы*». Убеждение ясное, твердое, и вероятно, у автора – «на всю жизнь». Да, это – тезис: он ясен, прозрачен. Возьмем теперь кого-нибудь до Карамзина, из архаических историков XVIII века: «В России все было славно, побед тоже много. И при постоянном отечества преуспейании будет еще больше». Хорошая история, во всяком случае, лучше бы и не надо, если бы она не оказалась *неверною*: одна линия, все в одну линию, все вылилось в бесконечное «да!». У нигилиста Шишко его отвратительное и, наконец, глупое заключается в постоянстве «нет!». Где ни лежит Россия, что русские ни делали, – все «ничего нет или очень глупо» для умницы Шишко. Но детски наивное у одного и старчески выродившееся у другого ложно в своей однолинейности, в своей однотонности, в *определенном одном мнении о предмете неизмеримо сложном!*

Перед нами Ключевский, и на прямой вопрос: «Была ли прекрасна история России?», «была ли она дурна», «человечна», «бесчеловечна», «груба», «светла», – он ничего не ответит.

Он опустит голову. От глупого вопрошателя он отвернется. Глуп самый вопрос «что такое?» о предмете *сложном и живом*.

Это – не геометрия. «Прямая линия» – да, вот ее определение: «кратчайшее расстояние между двумя точками». Но все сложное не имеет *одно-*

го определения, а живое – даже и вообще неопределимо! Оно неопределимо потому, что *содержательность* всего живого уходит в бесконечность!

Отвернувшись от глупого, Ключевский взял бы за рукав умного и, введя в кабинет со «свитками» и книгами, сел бы и спросил:

– Ну, что вы хотите?

И на вопрос, «как, однако, все было *черно* в нашей истории», рассказал бы об Ульяне Осоргиной, русской непросвещенной вдове-дворянке, которая была «к народу» любящее, чем даже социал-демократы.

Тот, взяв его книжку: «Добрые люди на Руси», через несколько дней пришел бы, умиленный и растроганный, и начал бы говорить в духе архаического историка XVIII века.

– А вот я вам скажу анекдот, – остановил бы его седой профессор и передал бы, как «урезывали язык» Артемию Волинскому на Ситном рынке, на Петербургской стороне.

Еще через несколько дней тот пришел бы яростный, как Шишко.

– «Оставьте Шишко – Шишке, лучше будем *учиться!*»

Вот...

* * *

Одно и то же предложение «дождь идет» может быть истинно и не истинно: оно истинно, когда *действительно* дождь идет, а когда солнце светит – уже не истинно. А как, по-видимому, просто и что, казалось бы, грамматичнее и логичнее «идушего дождя». «Так просто и ясно...» Но уже Гераклит сказал, что «вещи текут», «утекают из-под рук» и «под мыслью»; и даже более удивительное сказал: «Не может *один и тот же человек войти в реку и выйти из нее*». Действительно, – выйдя, он уже на *пять минут состарился*, химия его организма чуть-чуть *переменилась*, мелькнули у него совсем другие *мысли*, и он действительно «не *тот человек*, который за пять минут назад вошел в воду»! Действительно, – «вышел из воды *другой человек*»!

Я волнуюсь... Да чем страстнее я любил или люблю революцию, чем внимательнее я в нее (в *лица* ее) всматривался, чем в ней я более *понял*, тем мнения мои о ней дальше разойдутся, в один и тот же день разойдутся... И вероятно, из ближайших друзей моих многие знают, что о всех «ближайших сердцу вещах» я говорю сплошь и рядом «в пятницу» совсем другие слова, *совсем в другом тоне*, чем какие говорил в «четверг»... Ибо в «четверг» и «пятницу» я различное *держал в уме* (часто не называя этого, что «держу в уме»), – иных лиц, иные факты, иные мотивы. От глубочайшего негодования – до восхищения.

Кажется, прост вопрос: «Был ли *реалист* Гоголь?» «Такой *натуральный писатель*», – твердили со времен Чернышевского. А на гоголевском празднике в Москве вдруг выступил яростный тезис, поддержанный почти школою (множеством голосов): «Гоголь был *фантаст*, не знавший действительности, даже ею *не интересовавшийся*». Во всяком случае, два мнения. О таком ясном предмете. Спорили «до зубов».

– Кто я? Говорю о себе самом, «таком ясном предмете». – Не знаю. Уж если чего я решительно не знаю, то это – кто я: и именно оттого, что слишком глубоко себя знаю. Чист? Не чист? Дик? Благоустроен? Умен? Подлеповат? Пошл? Великодушен? Как-то я услышал, и подряд два раза, сказанные слова «о хитрости». Никогда не приходило на ум, но стал вдумываться: и когда я стал думать об этой, казалось бы, в своем роде «прямой линии», но в сложном существе живого человека, то, к удивлению, нашел, что как одно направление («хитрость»), так и другое («простодушие») уходят решительно в бесконечность: 1) т. е. что и простодушью, детскости, наивности я сам не нашел предела, окончания; но, с другой стороны, и 2) сложности, преднамеренности, обдуманности, «хитрости», наконец, даже «лукавству» и «скрытности» тоже нет границ и предела. Каким образом? Ведь «несовместимо»? Быть «ребенку в старике» и «старiku в ребенке»? Оказывается, – все *совместимо*.

Я сам себя не знаю.

И ни об одном предмете не имею одного мнения.

Но сумма моих мнений, однако, есть более полная истина, чем порознь «имеемое» (кем-либо мнение).

Я жив: и кто хочет «учиться» у меня (читатели) – слушайте же всего меня, ни на чем не останавливаясь, даже (особенно талантливые читатели) не останавливаясь и на «сумме», а от меня «боком» заражаясь тем волнением и жизнью, какой я горю вот много лет не уставая; и ты проживешь жизнь (над другими темами) также счастливо и грустно, плодотворно и опять грустно – до отчаяния, до могилы, «как бы до смерти», и опять переходя в озарения, до «не хочу более, довольно!..»

Вот и все. Истина? Не истина? Можно ли построить формулу: «жизнь есть истина»? Не смею: жизнь есть «данное», «обреченное», «роковое», «благодатное»... И опять – определения бесконечны...

С этой точки зрения жизнь и грустна, и велика. Где ее концы? «Где моя душа?» У Бога, в аду?

Я стою печальный, только в надежде, что она «у Бога».

Ветер ли тут ходит? Тишина ли?..

Да что я люблю: тишину? бурю?

И опять – бесконечности; бесконечные ответы... Нигде «да» и нигде «нет»...

А вы приступаете с вопросом:

– Ваше *определенное* мнение о революции?.. И если вы его не дадите – вы относитесь *нечестно* к вещам...

Если я не знаю, «где моя душа» и если вместе с тем я глубоко знаю, вижу, что «она – везде», то этот вопрос просто истаявает по своей жесткости, по своей грубости, по своей короткости. Вы с сапогами и «кадетами» залезли в область, куда вам никогда не следовало входить и где нельзя на вас смотреть иначе как на «иностранца», «чужака»... Здесь вам не принадлежит ни о чем судить и никого судить.

А вы судите...

Струве удивлен появлением моей книги «Когда начальство ушло...» в *том же 1910 году, в котором* я написал несколько разных статей о наших революционерах. Не обратив внимания на то, что нельзя же *одновременно*: 1) «льстить начальству» текущими статьями и 2) раздражать его публикацией книги, содержащей «похвалы самым левым течениям 1905–1906 годов» и «самое яркое и страстное обличение старого, дореволюционного строя» (отзыв самого Струве о книге «Когда начальство ушло»), он указывает *мотив* написания последних статей, «вымученных и бездарных», желанием моим заискать перед силою «вернувшегося начальства»... Человек берется разгадать мою «психологию» и не умеет сосчитать по пальцам до четырех:

1) Статьи – угодливо кланяются.

2) Книга – дает заушение.

3) Все – в *том же 1910 году*.

4) Ergo – Розанов «приспосаблиется и духовно льнет ко всякой в данный момент господствующей силе», «то – к революции, то – к реакции».

Замечу, что и книга «Когда начальство ушло» была в первых главах написана еще при Плеве, еще до японской войны: и как же тогда я «льстиво помогал освободительному движению», когда торжества его не было и *оно не предвиделось* (1901–1903 годы)?

Да и вообще, к чему Струве принимает позу патетического защитника революции? Он, участник «Вех»? В свое время подыгрывавшийся к Витте *в силе* своею шумихою с марксизмом и походом против земледельческой, общинной и кустарной России? потом бегавший по Аптекарскому острову? ставивший затем у правого лагеря идею «национального лица» и «Великой России» и плящущий эту идею как свое открытие перед кадетами, левыми и октябристами? всегда, в сущности, бродивший между кадетами и октябристами и – бывший *volens-nolens* бесплатным официозом? Ибо быть официозом есть натура всякого немца. Неужели не понимает Струве, что в самых даже реакционных своих статьях я все же гораздо радикальнее, *потому что мечтательнее* и, следовательно, строя идеал гораздо *дальше от эмпирической действительности*, нежели он, тихий и кроткий штутгартский филистер и петербургский благонамеренный обыватель? Струве радикал? Струве революционер? Вся Россия может рассмеяться, а «Россия» Гурлянда и Сыромятникова может потрепать его по плечу, сказав: «Wollen Sie machen eine Revolution, unser Kamarad? Хе-хе-хе... Haben Sie einen grossen Brauning?» Ха-ха-ха! Вы остроумны и понимаете, что такое германский хороший *виц*...»

Возвращаемся к статье его с «защитой революции».

От своих читателей он скрывает поводы, по которым были мною написаны эти статьи: 1) убийство революционерами влюбленной девушки,

* Хотите ли вы совершить революцию, наш товарищ? <...> Есть ли у вас большой браунинг? (нем.)

которая, войдя в комнату любимого человека в его отсутствие, рылась у него в книгах и бумагах. Хотя революционер знал, что она его много лет и безнадежно любит, но скрыл это от товарищей-ссыльных, обвинил ее перед ними в возможном шпионстве; они заманили ее в лес и там убили. 2) Подделка передовых статей в газете «Страна» на другой день после 1 марта, где террористы притворились мирными конституционалистами. Хотелось бы прибавить теперь 3) – преследование упреками жены одного сосланного в каторгу революционера, доведшими ее до самоубийства вместе с малолетним сыном. Она очень любила мужа и, чтобы вернуть его себе и семье, подала прошение на Высочайшее Имя... Они так на нее напустились, осыпали такими оскорбительными, измучивающими словами, что она, не дождавшись мужа, покончила с собой и с сыном, лет 7 мальчиком; с последним, вероятно, для того, чтобы не оставлять его в злобную жертву товарищам. Они заели бы и его, как «отродье таковской матери», как съели ее. Событие это случилось последний месяц в Самаре. Вот на этих «добреньких людей», до того «любящих человечество», я и восстал, но распространительно, расширяя суждение вообще на «породу этих людей», как мы по поводу *нескольких инквизиторов*, жегших людей, осуждаем *вообще жестокость католиков*, «делавших» или «допустивших» это... Суждение обычное, суждение неточное, но вместе гигиенично-предупредительное: «не делайте впредь», «остерегитесь», «устыдитесь», «до чего вы дошли»... *По-моему*, в этих суждениях я был верен началам свободы и человечности, ради коих, в ожидании коих, в надежде на которые я приветствовал и события 1905–1906 годов. Но прямо и словесно, конечно, тут есть разница. И Струве, который есть только «политик», – «политик» без поэзии, – *лиц* людей не различающий, «вдов» и «сирот» не считающий, «невест» (убитая девушка) тоже не считающий... Да, забыл добавить: собственно настоящим мотивом моим напасть на первомартовцев было то, что ребенка, рожденного Гесею Гельфман, *всю жизнь самоотверженно служившей им*, никто из «товарищей» или богатых «сочувственников» в обществе, ни г. Плещеев, ни г. Полонский, – никто, никто не взял по смерти матери на воспитание себе, не «усыновил» и проч., а его, как щенка и «ненужный кусок мяса», отправили в Воспитательный дом. Тоже «душеньки»...

Ну, я немножко и раскричался...

Струве, мертвенный внутри, написал по этому поводу:

«Я никогда не думал, что Розанов так легко от глубочайшей любовной солидарности с самыми крайними течениями освободительного движения перейдет к беспардонному оплевыванию этих течений и даже доведет свой цинизм до того, что будет революцию и лобызать (*издание книги в 1910 г.*), и оплевывать одновременно... *Цинизм* есть надлежащая, и единственная надлежащая, характеристика для этих литературных жестов. Об оправдании их не может быть и речи ни с какой точки зрения»...

И «пошел и пошел» щипать траву...

Я говорил раньше о *переменах* в своих мыслях... Но в одном я никогда не менялся: в верном служении своему *глазу*. В верной *передаче словом* впечатлений глаза. В сохранении свежей, позволю сказать – юной, впечатлительности. Где начинается факт – для писателей начинается священство: ведь факт не *я*, не *мое*: как же я его изменю? «Меняй мысли, свое создание: а фактов не трогай, они создание *природы*». И факты *загибами* своими, своею *изменчивостью*, своим *предательством* родят новые и новые мысли, совсем другие мысли, «чем вчера». Увы, литература, превратившаяся в

Столпообразные руины,

вся преданная пафосу *à priori*, не считающаяся с *à posteriori*, утратила (или скрывает?) свежую впечатлительность. И исчезла из нее вообще *правда жизни*... Условность и искусственность печати сжимает всякого «натурального человека», «натурального писателя», и он, подобно рыбе из-под льда, бросающейся к проруби, – бросается из издания в издание... к левым, к правым, к средним, ко всяким. Вот и источник моих «хождений из консервативных изданий в либеральные» (упрек Струве, с воображением, что я в этом «покаюсь и впредь не буду»). Струве мог бы припомнить, что в 1901–1903 гг. я из «семинарских изданий», с ними *не разрывая*, уходил в декадентско-художественные («Мир искусства»)... И здесь, и там был совершенно искренним, конечно же!! Это разве можно подделывать?! Редакторы (и сотрудники) «Мира искусства» не проходили долгого... «хождения по церкви»: и им могло казаться, что я от церкви «отошел»... Да и отошел в ней от *многого* (иначе и не пошел бы в «Мир искусства»), но не от всего, да и отошел-то немножко «плача и рыдая», как говорится в церковном стихе. Но уже это все было от «Мира искусства» скрыто, и там я об этом не распространялся, просто не найдя бы слушателя. Зачем? Какая цель? Я с разными говорю на разных и языках: но говорю слова только *мои*, именно ту часть *моих слов*, которая чувствуется и оказывается общою со слушателем. В каждом издании я виден *не весь*: но в каждом издании видна *моя истина, истинно существующее* во мне! Оттого же в 1895 или 96-м году, сотрудничая в «Русском Вестнике», я предложил Н.К.Михайловскому сотрудничество в «Русск. Богатстве», чему он *не удивился*. Я менялся: но должно быть, Струве никогда не испытал рождающих движений души, не знал любящей мысли, если воображает, что можно, «покончив со старым», его вовсе забыть?! Знает ли он, что, уже глубоко возненавидев «свое прежнее», его нельзя все-таки оторвать и не продолжать таить под «старым пеплом» все еще привязанность к этому, уже теперь проклинаемому? Струве вот этого-то ожога и не знает: как клясть, все еще любя? Он «защитник революции»... да ему и в голову не приходит, что в тех самых «ругательных против революции» статьях, на которые он навалился холодным боком рыбы, все еще бьется кровь автора статей 1905–1906 гг. и в них именно больше *идеальной связи с революционным духом*, обновительным и разру-

шительным, чем в его теперешней защите революции. Связь эта *в тоне*, а не в буквальных словах. Вот этого-то *тона* (как «патина» в старых монетах) никак не умеет подделать Струве, не умеют подделать все они, льстецы революции... Мне же не для чего лстить революционерам, и даже я могу их (в слове) казнить: так как о чем бы я ни писал и в каком бы духе ни писал, о церкви, об обществе, о литературе, *по устройству души моей* «революция» бежит везде в моих строках и внутренне движет их: все и всякие мои мысли, самые реакционные, все равно. *Революция не формула, а дух*... Ну, вот «духа»-то ее вам и не удастся заполучить, а у меня это «свое», «врожденное»...

Кончу о воспоминаниях и о пластах «старого» в душе: вот и декаденты – уже «прошли»... сами от себя отреклись или осмеяны другими. Кажется, одна «история»... Но и их я помню всех, и люблю, и ничего не забыл, и именно как *людей*, как *образы* и *жизнь*... Все они были, в их милой страннической психологии, точно «сейчас переехав на другую квартиру»: ни быта, ни преданий... Слетались, разлетались... И все «кучкой», «роем»... Иногда – два «роя»... Все, даже и старые, – точно дети... Поистине «не имеют *нигде* пребывающего града»... Точно все «за городом». Вот... Но и когда я был с ними, *я, не говоря им, любил старую елецкую церковку, костромскую «Космы и Дамиана»: в то самое время любил*, когда им говорил об египетской религии и надевал новую египетскую красоту (ряд статей в «Мире искусства»)... Все в смеси. Огонь и лед. Никогда этого не узнает Струве... Кладутся серии впечатлений «так», кладутся серии впечатлений «поперек», кладутся серии впечатлений «совсем напротив». Глазок все свеж: но и душа памятлива. Стынет ниже, но погаснуть никогда не может: и прокопай туда канавку (одно новое впечатленье): вдруг начнет «чадить» совсем другой огонь, чем вчера... чадить *рядом, сегодня же, около этого другого «огня»*.

А Чуковский и Струве пишут о моем «холоде» и «цинизме», равнодушии «ко всякой истине»... только о моей будто бы «художественной впечатлительности»... «Художественность» всегда была для меня последнее дело, и холодной эстетикой не подернута ни одна моя страница. Да неужели это не чувствуется? Вся сила моя или вообще, если есть какие «качества», и лежит в любви: но реальной любви и к реальному... «Ты облетел вселенную», – говорит Бог Сатане в «Книге Иова»: как ни удрученно в чем-нибудь походить на злого духа, но и о себе я тоже могу сказать, что «облетел вселенную», – *большую частью привязанностям*. И раз я в себе соединил до *полного реализма* и уездного «дьячка с косичкой», и «странствующего декадента», – имея *всю простую и твердую веру* этого дьячка и веря в то же время в поклонение «живому зерну» (до разлома и размолы) в Луксорском храме (Египет); то и без пояснений ясно, что «побывал я везде». И не Струве, медлительно «ползающему на чреве» (Книга Бытия, 4-я глава), со мной спорить, – Струве, который не любил ничего...

Один господин, с «благочестивой бородой», но совсем без головы, невзлюбил почему-то современной русской литературы. И, скорбя об уничтожении цензуры и надеясь на ее восстановление, много лет посвятил на составление обширного увража, куда занес выписки из «богомерзких» писаний Кузьмина, Арцыбашева, Каменского, Розанова, Горького, Мережковского, Протопопова, Андреева и, кажется, еще многих других литераторов. Старался этот господин с усердием чиновника старой цензуры, и как никакой чиновник не может оставить своего труда «втуне», то и он решился сообщить своему увражу «движение» для «спасения отечества». С сею целью он вошел куда-то с «ходатайством о пресечении» и, будто бы, переслал свой «увраж»... Но он оказался так велик, что для прочтения его не нашлось ни у кого охоты. Читавшие персоны заметили только, что содержание оного близко по содержанию и мотивам с известною «запискою» саратовского архиепископа, представленною в Казани на миссионерский съезд, но гораздо слабее ее и даже малограмотно в отношении литературы и в отношении церковного учения. Сей кустарь-богослов и никем не нанятый цензор свалил в одну кучу писателей, не имеющих ничего между собою общего и даже между собою непримиримо враждебных. К тому же едва ли он не из секты хлыстов: он, между прочим, ближний приятель знаменитого Григория Распутина, устраивавшего в банях радения с петербургскими барынями. Но хлысты, «радея» сами, как известно, гнушаются «плотью» и не допускают вовсе христианского брака, как «скверны». И Распутин, когда «радел», то убеждал барынь, что он это делает для познания, свободен ли его «дух» от соблазнов и сможет ли перенести зрелище нагих женских тел без вождения. А когда «вождение» наступало и он его удовлетворял, то объяснял, что в «совершенство» еще не пришел и надо опять попоститься и потом опять порадеть. Так Григорий Распутин проводил свои дни в удовольствии, молитве и посте. Но совершенно известно, что «скверны» брака он не признавал, «скверну» полового общения отвергал и на эту удочку поймал не одного аскета... Возвращаясь к цензору нравов и литературы. И его обуяла мысль, что всякое половое вождение есть «скверна», – мысль чисто хлыстовская и враждебная церкви, которая признает и утверждает благословением христианский брак. Поэтому он и набрал в кучу совершенно разнородных писателей, заметив у них то общее, что все они разрабатывают проблему пола. Но он не заметил, что в то время, как Каменский, Арцыбашев и некоторые другие услаженно описывают всякие «падения», и в сущности описывают их хлыстовский «свальный грех», но только разбитый на отдельные сцены, – другие писатели, как Мережковский и Розанов, стараются поднять к серьезному половую жизнь человека и в этом отношении не имеют другой задачи и другого понимания, чем какое церковь выразила, вводя венчание и утверждая институт брака.

Поистине: «своя своих не познаша»...

Старец сей, – мы слышали, – тоже с Волги, но имеет пребывание не в Саратове, а в Самаре. Что это за благодатный угол богословов, невежд и сыщиков? Хоть бы «Волгарь» постарался просветить своих «ближайших читателей», а то они совсем заросли блохами, клопами и тому подобной нечистью, какую Ной напрасно набрал себе в ковчег и не дал ей погибнуть в очистительном потопе.

СОЦИАЛИЗМ ВО ФРАНЦИИ И ВЕЗДЕ

Социализм *родился* во Франции, в мечтательных головах Бабёфа, Фурье, Сен-Симона, оттуда переполз в научные мозги Германии, где оформился в «марксизм», и наконец овладел растрепанными русскими душами, где вызвал неопишемое волнение в тьме школьных недорослей и среди полуученых, полупоэтов и полулитераторов. Все у нас, да и в Европе, кому настоящее поприще настоящим образом не удалось, из кого не вышло настоящего доктора, настоящего адвоката, настоящего писателя, – все они «увольнялись» в социализм, – если позволительно так выразить... И позволительно так выразиться... И численная величина этой партии, штурмующей европейскую цивилизацию, понятным образом росла не по дням, а по часам. И как только она сделалась чрезвычайно велика, так она и перешла от мечтательности к действиям. В социализме нужно различать *две* стороны: здоровую и созидательную – и патологическую, разрушительную. Здоровую сторону социальной мысли, заключающуюся в указании на угнетенное и униженное положение трудящейся массы населения, приняли во внимание все сколько-нибудь прогрессивные государства и общества, и найдено множество способов поднять это положение, вывести рабочего из нищеты, обеспечить его на случай старости и болезни, улучшить его жилище и пищу... Найдено к этому множество способов, ищутся еще большие и, конечно, будут найдены ответственной человеческою мыслью, которая в своем благородном беспокойстве никогда еще не испытывала окончательных разочарований и окончательных отступлений перед задачей. Социальная тема в пределах разрешимого будет разрешена, так как перед нею стоит вся человеческая мысль. Но за эту здоровую часть социализма начинается патология: порыв не преобразовать, а разрушить социальный строй; отрицание государства, сложившихся форм общества, отрицание имущества, вражда к накопленным экономическим богатствам и культурным сокровищам. Все накопленное и приобретенное кем-либо объявлено *было* «кражею» знаменитым Прудоном. И естественно, *эта* «кража» должна была разойтись по карманам обворованных «пролетариев». Здесь мы читаем уже не мысль, а злобу, не мотив улучшения положения человечества, а мотив разрушения. В этой формуле и выражении социализм сделался перманентным, т. е. вечно остающимся в наличности, бунтом всех неимущих против всех имущих и всех неустroенных и неработающих против всех устроенных и трудящихся. «Строй обще-

ства» часто уравнивается самими социалистами со «строением организма». В таком случае усилия социалистов-анархистов совершенно повторяют собою работу болезнетворных микроорганизмов, разных микрококков и бацилл, которые стараются пожрать его здоровые клеточки. Здесь нет «преобразования», и никто к нему не стремится. Здесь есть только «разрушение»... Следует прибавить, что, так как на другой день по «разрушении старого общества» все рты человечества, сколько их имеется в наличности, все-таки захотят кушать и в то же время все прежние источники пропитания и регуляторы еды *будут* уничтожены, то первый же «свободный день» человечества сделается днем «всеобщего человеческого голода»... Что тут произойдет – трудно предвидеть; но во всяком *случае* социал-демократические «учители человечества» поспешат спрятаться. Так как у них требуют уже не речей, а хлеба. Потребуют всеобщего обеспечения людей работою, и спешной, сейчас же, уплаты за эту работу.

Потребуют всего, *чего* внеправительственный *социалист* Жорес требовал у правительственного социалиста Бриана в бурное заседание палаты депутатов 17 октября. И чего у Жореса, будь он в составе правительства, потребовал бы какой-нибудь «пролетарий шарль»...

Железнодорожная забастовка во Франции, устроенная при республиканском и, наконец, социалистическом правительстве, поднесла, можно сказать, «к свету рампы» социальный вопрос и показала его границы, исходы и безысходную сторону. Глава кабинета, Бриан, – социалист; и никто не считал его менее социалистом, нежели Жорес, пока он стоял около Жореса в составе оппозиции прежнему буржуазскому правительству. Но вот этот социалист переходит в состав правительства, т. е. само правительство становится социалистическим: и как только это совершилось, Бриан уже борется с железнодорожно забастовкою как начальным приступом социальной революции на налично существующий гражданский и вместе буржуазный строй. Что же с ним случилось? Перестал ли он быть социалистом? Отказался ли от прежнего исповедания? Он от исповедания не отказывается; но он есть правительственное лицо и *volens-nolens** борется против осуществления своего же исповедания. Что же это все значит? Как это выразить, формулировать? Как назвать настоящим именем эти факты? Конечно, Бриан так же мало «передался на сторону кандидат.», как Жорес и его друзья мало подкуплены прусским правительством. Это – пустяки, которыми можно только слепить глаза в целях не дать ничего рассмотреть в чрезвычайно важном событии. Бриан, конечно, был и остался социалистом, но, как глава Франции, он борется с социализмом «в действии» и этим обнаружил, что с социализмом «в действии» не может не бороться никакое правительственное лицо, ни даже сам социалист. То есть что социализм терпим, возможен и существует только «в теории», пока он есть «разговоры» и «учение», есть газета или книга, и становится нетерпимым явлением, вызывает на борьбу с собою и уничтожение себя, как только переходит в стадию «реализации».

* хочешь не хочешь (*лат.*).

Меры Бриана – меры правительственного лица, ответственного за целостность и сохранение Франции. Речи Жореса – просто речи человека без ответственности и даже речи человека без дела. Перейди он к «делу», в правительство – и он сейчас же поступит, как Бриан.

Преднамеренно зажмурившийся может этого не видеть: но при раскрытых глазах этого нельзя не видеть.

Что же это означает? Кто же в «правительстве» мог бы не сопротивляться натиску социалистов? Кого искать «в главу кабинета» французским социалистам?

Жорес слишком для этого порядочен. Нужно искать последнего, нужно поднять для этого кого-нибудь «со дна»... Нужно найти, кто *предал бы Францию*... Вот это – «разрешение социального вопроса». Кто в самом деле просто не интересовался бы, что происходит с Францией и куда она девается, – будет ли она «пустым местом» или «чем-нибудь значащим» перед лицом германских легионов, – такой человек *ничего* не предпринял бы против «железнодорожной забастовки» и стал бы третьим зрителем около борющихся «социальных классов»... Требование социализма заключается даже не в том, чтобы *правительство сделалось социалистическим*; это слишком хорошо упорядочено и ни в чем их не удовлетворило бы. Социализм может удовлетвориться только *отсутствием правительства*; чтобы оно стало «зрителем» и «третьей стороною» к завязывающейся борьбе... Но в самой этой борьбе они сами, социалисты, отнюдь не перейдут к положению *управляющих и направляющих*, т. е. *правительства* же, хотя бы на миг и местного, а сохранят совершенно *положение* частных лиц, прежде всего ни за что отвечающих и к которым пролетариат не мог бы обратиться с требованием, уроком и за руководством.

Как только они «руководят», так переходят в положение Бриана: и будут бороться, как Бриан. Социалист остается социалистом только до тех пор, пока он есть рядовой борец «врукопашную», пока он кричит, как Жорес, или порывается «задушить директора», каковым называл Бриана в палате депутатов один из друзей Жореса. Пока они лезут, дерутся и кричат – они «социал-демократы» и все у них исправно; но едва останавливаются и начинают получать какой-нибудь строй, как-нибудь кристаллизаться – *сейчас* же превращаются в обыкновенное правительство, борющееся с беспорядком, *разгромом* и преступлением.

«Нет Франции» – и социализм торжествует. Он торжествует не как система и мысль, а как беспорядок и бессмыслица, ибо «вожди» его от роли «правительства» уклоняют. Они если и «ведут» кого, то в переулках и к разгрому такого-то здания, отнюдь не до двери «кабинета министров», где *странным образом социалисты превращаются уже в несоциалистов*. Итак, пока *Франция* есть, пока есть Германия, пока есть Россия, пока вообще есть какое-нибудь правительство и в стране сохраняется какой-нибудь порядок, они не могут не бороться *против социализма*, как против бешенства болезни и безумия.

На вечную и тревожную, особенно в наше время, тему «О ценности жизни» прочел 12 декабря интересную лекцию в пользу 10-го попечительства о бедных доктор философии В. О. Баранов. Произнесена была лекция вполне прекрасно, и нужно удивляться, отчего лектор не выступает чаще перед петербургским обществом. Правда, он уже старец, когда-то переписывавшийся с Д.С.Миллем и Ч.Дарвином на научные и философские темы, но он полон энергии, свежести и внутреннего душевного движения. Достоинство лекции – точный научный язык, интересные данные из области науки и философии, от старых времен Декарта до новейших теорий о радиации, критика нравственных воззрений античного мира и германской философии, все это – связанное и освещенное живым умом автора. Исходною же точкою послужили самоубийства нашего времени, о которых кто только не думает теперь... «Не нашедшие смысла в жизни» суть люди, лишенные стойкого мировоззрения. Старое, традиционное воззрение, которое нам надышали история и церковь, отвергнуто как «наивное», отвергнуто без достаточного его знания, без достаточного в него вникания; а поставить что-нибудь взамен его *свое, твердое* – не хватает сил... Не хватает знания, образования, способностей... Люди поднимаются над землей, делают взлет: а еще крылья не отросли. Таковы все «преждевременные самоубийства», как их можно обобщить. Самоубийцами делаются не только люди очень развитые, но (судя по оставляемым запискам) иногда и совершенно неразвитые. Одна самоубийца, например, как на мотив решения указала на то, что у нее украли новую кофточку... Убивают себя от голода жизни, убивают себя от пресыщения жизни. Никогда, однако, не убивают себя на переходе от голода хоть к какому-нибудь насыщению. Не убивают себя поднимающиеся в жизни, поднимающиеся в труде, поднимающиеся в замыслах, в начинании: вообще – которым есть *куда лететь*. Убивают всегда «перед стеной». Самая странная, почему-то совершенно неодолимая, стена – это *потухшие собственные желания*, всяческое «пресыщение», материальное или духовное. Например, никогда не убивают себя коллекционеры, и нельзя представить себе, чтобы прекратил свою жизнь такой «собиратель»: ибо он каждый день живет в ожидании и надежде. Так же спасает от самоубийства всякая любознательность, даже на мелкой степени любопытства. Сплетники, конечно, никогда не «кончают с собой». Вообще из *отрицательных наблюдений* можно было бы построить хороший, *положительный вывод*: «кто же именно себя убивает», а в связи с этим и «почему убивают»?

Автор от вопроса о «ценности жизни» перешел к изложению и критике теорий «счастья», каковыми он признает все без исключения античные моральные мировоззрения, не исключая и стоиков. Здесь воззрение г. Баранова было ново, оригинально и – *убедительно*. Конечно, и стоицизм есть только благородный эгоизм; он заключает в зерне своем «счастье» возвышенных душ. Германские теории все построены на идее «долга», т. е. чего-

то не «мне» нужного, но «кому-то», – народу, государству, человечеству, Богу, вечности. Но, конечно, это – другое понятие, чем «счастье», чем «интерес моей жизни». В «пессимизм» теоретический и особенно практический, с самоубийством в заключение, никогда не впадает человек, любящий окружающее, любящий людей больше, чем сухой мирок своего «я». Движимый мотивом – «нельзя быть счастливым в несчастном обществе», «нельзя быть счастливым, видя кого-нибудь несчастным», – он найдет неисчислимо приложение своим силам, он выйдет на дорогу, нигде не кончающуюся... И перед ним никогда не поднимется глухая стена «бессмысленного, ненужного и невозможного»...

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО А. ПЕШЕХОНОВУ И ВООБЩЕ НАШИМ «СОЦИАЛ-СУТЕНЕРАМ»

Нет красоты, увяла молодость: и сухощавая, черная дева, лет под 40, отстаивает права «любовницы» серной кислотой... Так поступают уже лет 50–60 социал-демократы в литературе. Таланта – нет, поэзии на страницах их толстых журналов – нет; Толстой и Достоевский печатались не в их журналах... Вся классическая литература прошла мимо них: остается «выжигать глаза» Пушкину, которому предпочитают Надсона и даже Некрасова; Достоевскому, интереснее которого находят Шпильгагена. Толстой откупился от них своим «Не могу молчать» и «Стыдно», – как та девочка в сказке, которую преследует колдунья и которая «помазала маслом петли в воротах», чтобы они затворились и задержали на минуту бабу-ягу. Не надо напоминать никому, что до «Не могу молчать» Толстой был пренебреженной величиной в нашей левой журналистике, на которого и в пору «Войны и мира», и в пору «Анны Карениной» были вылиты массы той же едкой, обезображивающей жидкости... Скажут: все же их читали. Ну, не очень: в Пушкине так мало нуждались, что в 80-х годах его сочинений не было на рынке и их нельзя было получить иначе как у букинистов в качестве «редкости»... Что сказали бы о цензуре, какой стон бы подняли, и стон этот держался бы век, если бы она на десять лет запретила *все* сочинения, *вообще* Пушкина... Но это сделали Чернышевский, Добролюбов и Писарев... и общество *промолчало*.

По существу дела и принимая во внимание далекие горизонты литературы, получить такой «кислоты» в лицо почти составляет честь для писателя... Но «пока солнышко взойдет – роса глаза выест». Есть *теперь* для писателя наконец читатели, есть *Россия*: и каждому писателю, насколько он верит в себя, хочется *жить теперь*, а не в «библиотечной памяти» потомства. Вот вещь, которая вызывает к спору. А когда он состоит в «кислоте» старой девы, пробуждает мысль о некоторой «потасовке» отвергнутой любовнице...

Струве, оказывается, был только «застрельщиком» в реченной «компании»... Прodelав в «Вехах» совершенно то же, что сделал я, — он с опущенным забралом кинулся на меня и на защиту «революции». «Прибудет читателей» у его жалких книг, скучных даже и для либералов... Но теперь далеко оставляет за собою Струве один из столпов «Русского Богатства», г. Пешехонов, не на страницах толстого петербургского журнала, а на страницах «Русск. Ведом.». Профессорская газетка, «скорбная умом», предоставила свои столбцы литературно-недозволительной статье, уверенная, что это хоть и клякса, зато яркая. «Таланта» в «Русск. Вед.» немножко прибыло...

Ну, принимаю все обвинения г. А. Пешехонова: что я сотрудиначаю в разных изданиях, везде — получаю гонорар, гонорара этого — больше, чем у Пешехонова... И наконец, принимаю самую его квалификацию, что это — *бесчестно*.

«Розанов — бесчестен». Соглашаюсь.

Так, господа: я все-таки не *вор*. Статьи, каковы бы они ни были, все мною написаны, и гонорар мною *заработан*. Им ли меня корить в этом, из *революционных* ли кругов, когда хорошо известно, что они 1) никого не печат, 2) нигде не служат, 3) в учителях не состоят, 4) писать не умеют или почти не умеют, и все «обуты, одеты и сыты», часто с женами и детьми, на чей-то *чужой счет*. Кто же не знает истории Лизогуба, миллионное состояние которого они обообрали и довели его до виселицы... А когда он погиб, пробоvalи получить и «остаточки». Обо всем этом подробно и с похвалами его «бескорыстию» рассказано в «Подпольной России» Степняка. «Да: но он нам сочувствовал: нам, *честным людям*». Вообразите, гонорар я тоже получаю за статьи, коим редакторы *сочувствуют*. Что делать, господа: но я свой гонорар *заработал*, а революционеры к миллионному состоянию «примазались». Г. Степняк даже негодует, что «остаточки» достались родственникам...

Японские иены, финские марки, германские марки, австрийские кроны, английские стерлинги: какие из этих монет не звучали в ваших карманах, когда вы продавали родину... «Где *доказательство?!*» Друзья мои: да если, как было недавно обнародовано, рыцарственный император Николай I предлагал (переговоры шли через певца Тамберлика) революционеру Мадзини несколько миллионов рублей, чтобы он поднял революцию в тылу Австрии, бывшей к нам только *недружелюбною* во время крымской войны, то можно ли серьезно поверить, чтобы все эти иены, талеры и кроны не шли на «одежонку» и «съестное» нашим неработающим революционерам? Есть косвенные доказательства, вернейшие прямых. Ведь вообще неизвестно случая, чтобы революционеры отказались получить деньги... даже от совершенно частных людей, в виде милостыни. Можно ли же поверить, чтобы они их не взяли от японского, германского, английского правительства: ну, не от *короля*, конечно, из «рук в руки», что за наивность... Но они «членовредительствовали» на родине, а «откуда-то им текло золото»... Ведь они же не *работали*: это — факт! И жили: это — два. «Чужая деньга» как раз и падает в это место...

И окровавленной родине, когда она, спотыкаясь, бежала, «друзья народа» всадили нож в спину... Вспомните-ка, господа, французских эмигрантов, «призвавших иностранные войска на Францию». Там – граф Артуа, у нас – Желябов, Перовская и последующая мелкота... *Но дело то же самое, одно!* «Нож будущему солдату в спину». – «Получи цалковый». Сколько вы, «любители народа», получили серебряков «по рублю» за солдатскую шкуру?

Ведь не нужно объяснять о «передаточной инстанции», что революция внутри России, что «распропагандированная армия» составляла часть причины 1) успеха Японии и 2) наших «отступлений на укрепленные позиции». Не все, но часть, ну – сотую, тысячную. Итак, примите этот «счет», что из 1000 солдат один был «заколот в спину» русским «другом человечества».

Вот, милые сутенеры, в чем дело: ведь вы все – сутенеры, «альфонсы» общества, частных людей, иностранных держав. *Всегда и непременно* – ибо все не работаете! Ну, куда деваться от этого вывода? Кушаете, а не делаете. Блаженная компания. И такая полная негодования на чужую «недобродетель»...

«Суворин нажил миллионы, Розанов получает тысячи»... Сибиряков получал больше, но он вам «уделял» – и вы его славили. Одного из юристов за «лепту» вы иначе и не называли, как московский «Козьма Медичис»... Даже стихи ему писали. И секрет ваших гневов и яростей лежит просто в том, что вам не «высылают с заднего крыльца»... А как вы любите это «заднее крыльцо» и как там выжидаете часами, сутками, неделями, когда обещает что-нибудь «перепасть».

Так и я А. Пешехонову могу только ответить: «Сам не богат – Бог подаст».

ДОБРОЕ НАЧИНАНИЕ

Задумано издание в Петербурге журнала «Приходский Священник»... И инициаторы этого нового журнала обратились ко мне с просьбою дать им некоторые советы и указания «в путь»... Предпочитаю это сделать печатно, так как в подобном деле не может не быть заинтересована вся, что называется, коренная Русь, – множество русских и простых, и очень образованных людей.

Вполне нужно удивляться, что до сих пор не получило своего *голоса*, своего *органа* *основное лицо* всей нашей церковной действительности – именно вот этот *приходский священник*. Конь, на котором «все едет»; фигура, к которой все мысленно прикрепляется, когда думаешь о «православии»; ось, около которой все в церкви «вращается»; наконец, чтобы захватить и идеал, и падения, – опора всех надежд и источник всякого отчаяния в церковной наличности, и светлой, и мрачной... Почему же не получил он «голоса»? По скромности. По лени. По тихости. По ссылке: «А зачем я буду говорить, когда другие говорят до преизбыточества». Действительно, духовных журналов так много: «Отдых Христианина», «Радость Христианина», «Церковный Вестник», «Церковные Ведомости»...

Но уже самые заглавия этих журналов говорят о схеме, об *отвлеченности*, до некоторой степени о форме и шаблоне. «Духовный Вестник», очевидно, может издаваться и в России, и на Афоне, — иметь редактором и епископа, и священника, — наконец, может быть и лютеранским, и православным. Все будет «Духовный Вестник», потому что все будет «духовным вестничеством». Тут нет конкретности, нет осязательности. Нет даже русского; и уже совсем ничего не может быть *костромского* или *калуужского*. Между тем в этом осязательном и конкретном — великая нужда; и, знаете ли: великий интерес, великое любопытство, великая занимательность!

Только бы удался журнал...

Боже: кто же знает лучше *русскую действительность*, чем «русский приходский священник»? По правде-то, *до глубины* знает наш народ, его душу, его материальное и его семейное состояние, его, наконец, чаяния и надежды, упования и идеалы — один только *приходский священник*. Вспомним исповедь, вспомним хождение по домам «с требами». Священник хоронит русского человека, — похоронил *весь русский люд* от Владимира Святого до сих пор; и он же взял на руки, голенькими младенцами, тоже *весь русский люд*, вот все сто миллионов, живущих сейчас в России. Это прямо страшно выговорить, об этом страшно подумать! Если «что-то говорит» физическое пожатие руки ближнего, — руки знакомого, руки друга, то уже эти «прикосновения пальцами» к ста миллионам народа на 3–5–7-й день рождения и младенчества должны включать в себя не то что-то вроде халдейской магии, не то какой-то другой «Словарь великорусского языка» нашего великолепного Даля... Объясняю дело сравнениями, сближениями. Поневоле назовешь «священник» такого человека... Как не назвать... Прямо напугаешься, если обнимешь все мыслью.

И он не «заговорил» до сих пор... Прямо удивительно.

Не поделился знаниями, сведениями...

Не мог, что ли? Не хотел, что ли? Тысяча вопросов. Полное недоумение.

Близится Рождество, и хочется встретить новое, возможно роскошное, начинание, — словами рождественской песни: «Воссия мирови Свет Разума». Но инициаторы, — коих лично я не знаю никого, — должны «крепко почесать затылок». Страшно уронить такое знамя...

ТОЛСТОЙ И КРАПИВЕНСКИЕ АБОРИГЕНЫ

Полны остроумия воспоминания профессора Московской духовной академии г. С. Глаголева о Толстом. Студенты подложили ему 9 ноября перед лекцией записочку на кафедру: «Просим вас сказать свое слово по поводу смерти Л. Н. Т-го». Маститый профессор, читающий историю религий и написавший по предмету своей кафедры волюминозные труды, был застигнут врасплох и произнес «слово» без подготовки и попросту. Но оно оказалось в высшей степени живым и интересным, потому что оказалось, что и Тол-

стой, и профессор – уроженцы одного уезда и города, и профессор еще 10-летним мальчиком видал, как «барин-граф» приезжал в его родной городок то как мировой посредник, то как член училищного совета, то как земец и, наконец, «ревизор училища», которого мальчуганы, естественно, побаивались. «Толстого я начал читать, лишь только выучился читать, как и все наши крапивенские школьники. Книгами для чтения Толстого тогда были наполнены библиотеки наших начальных школ». И тогда, наезжая в Крапивну, он поражал всех оригинальностью своих взглядов, «в которых, впрочем, не упорствовал». То он скажет, что «земская медицина совершенно бесполезна и что два ведра воды нужнее, чем все лекарства», то заявит, что «воров не надо сажать в острог». Все это удивляло тихих обитателей Крапивны, удивляло тем мирным удивлением «без последствий», с каким они смотрели бы на воздушный шар или на первый локомотив железной дороги. Годы, однако, шли... Толстой реже и реже наведывался в Крапивну, а крапивенцы меньше и меньше стали интересоваться Толстым. «По мере того как имя его становилось всемирным, интерес к нему ближайшего городка все падал», – говорит профессор-старожил. И объясняет почему.

«Нельзя удивляться этому. То новое, что Толстой начал возвещать миру, не было новостью для его родного города. Видите ли, ново все то, что хорошо забыто. Лекция о том, что земля неподвижна, может быть сенсационной и представляться парадоксальной в Лондоне или Берлине, но когда старший брат Льва Николаевича, Сергей Николаевич, крапивенский предводитель дворянства, привез в Крапивну сообщение: «Брат говорит, что земля не движется», то какую сенсацию могло произвести это отрицание коперниковской теории в городе, где очень немногие слыхали о ней, а большинство жили, совсем не подозревая о ее существовании? Точно так же какое значение могло иметь для Крапивны воспроизведение Толстым рассуждений Руссо о вреде культуры, когда во всем городе едва ли можно было найти 10 человек, знающих приведение дробей к одному знаменателю, когда учитель русского языка писал здесь «кулыбель», а местный гений, энциклопедист и вольнодумец, приобретя книги Дарвина, оставил их неразрезанными? Толстой стал косить, пахать землю, шить сапоги и класть печи. То, что Толстой умел все это делать, не могло удивлять крапивенцев. Многие, занимавшие в городе по своему состоянию или положению высшие места, начали свою карьеру с нищеты; и раньше, чем познакомиться с сапогами, сами плели для себя лапти. Местные представители культуры, духовные лица, понятно, хорошо были знакомы с искусством косьбы и пахоты, ибо отцы и матери их сами и пахали, и жали. Но другой вопрос, зачем Толстой стал это делать, когда у него не было нужды? Зачем он склал печку бедной вдове, и склал будто бы, по ее отзыву, неважно («а как ему скажешь, графу-то?»), когда мог бы помочь ей деньгами? Над этим вопросом не задумывались: барское чудачество, баловничество. Притом, это чудачество не представлялось и оригинальным. Теория «опрощения» была применена на практике некоторыми недоучившимися джентльменами, прибывшими в

Крапивну из столиц; но так как у этих джентльменов не было ни средств, ни умения, то понятно, что их опыты потерпели крушение. Толстой стал писать богословские трактаты и подверг критике катехизис Филарета, разобрал догматическое богословие митрополита Макария. Но религиозная жизнь моей православной родины мало соприкасалась с подвергнутыми Толстым критическому анализу творениями. Из катехизиса помнили лишь казавшиеся странными славянские выражения, а на догматику Макария местные представители богословского знания смотрели как на такой бездонный кладезь мудрости, в который самое лучшее не пытаться проникнуть. У нас верили просто и с одинаковым равнодушием проходили мимо нападений на веру и защиты веры. У нас, — замечает профессор, — вопросы если и были какие, то сводились к одному: есть Бог или нет? О бытии атеизма все знали с 60-х годов; но Толстой атеистом никогда не высказывал себя. А разобраться в том, как Толстой понимает Бога и как представляет свои отношения к Нему, — это представлялось и долгим, и трудным, и бесполезным».

«Между тем, когда Толстой стал жить своею новою жизнью и писать свои богословские трактаты, он перестал совсем жить интересами своего уезда, он отошел от него. Новые занятия Толстого были чужды его окружающим; вот почему, когда он стал привлекать внимание мира, внимание ближних к нему ослабело».

Это очень живая страничка. Как «богоспасаемая Крапивна», живет, в сущности, и вся «богоспасаемая Русь». Все «под Богом» — и дальше этого, ей-ей, богословию не следовало бы ходить. «Только запутаешься и навредишь себе». — По крайней мере, в раю, у Адама и Евы, дальше этого богословие не шло. «Ходили под Богом», среди райских дерев. И отлично. Лучшее рая ничего не выдумаешь: Победоносцев от этого и задумывал «сократить академическое богословие». Может быть, это и очень злостно и глупо, а может быть, это и в высшей степени мудро, дальновидно и благостно. Даже Вольтер дальше этой мысли не пошел: «Не надо богословов и богословия»; только тот с хитростью и усмешкой, а Победоносцев серьезно и патетически, и вполне *нравственно*. «Мудрецы двух полюсов сходятся», а в основе их лежит просто город Крапивна: немножко есть, немножко пить, а там все «Бог устроит». И Диоген то же говорил. Вообще, в сущности, мудрецам «всех стран» спорить не о чем. Только пыль разводят.

Два мимолетных воспоминания о Толстом. «Толстой — художник, а не мыслитель», это аксиома о нем. Но нужно сказать больше: Толстой был необыкновенно *сложен* как психолог-наблюдатель и даже как метафизик-наблюдатель. И его концепции мира, рождения, смерти, концепция Бога в высшей степени интересны и *важны*, пока в них чувствуется *глаз* наблюдателя, чрезвычайно долго *жившего*. Но не только как мыслитель, но даже как *восприниматель* чужой мысли Толстой был азбучен, и нестерпимо азбучен. Просто даже «складов» у него не выходило. Его сведение Евангелия к *морали* и отрицание в Евангелии и в Христе *неисповедимого* и *тайны* основывается не на злостности и злоухищрении, но именно на этом дефек-

те, что даже в *восприятии* он дальше «складов» не шел. Помню, при единственном свидании, сейчас после встречи, он сел и начал говорить о новом труде Мечникова, что «это – вздор», а затем и вообще об естествознании, что это – «легкомыслие». Так как я был другом Страхова и хорошо знал его книги, то увидел и услышал, что он, в сущности, повторяет мысли Страхова (его личного друга) в его споре с Бутлеровым; повторяет его книгу «Об основных понятиях физиологии и психологии». Но что говорил Страхов с полным знанием этих наук, и особенно их *истории* и *методов*, сменившихся в истории, то Толстой повторял без всякого понимания сущности дела, сущности спора. И повторял-то он вяло, но *самоуверенно*. Все это являло печальное зрелище, и не скажу, чтобы красивое.

Впечатление было совершенно иное, когда он заговорил (через несколько часов) *от себя*, на любимые *свои личные темы*, подкрепляя свои тезисы или, вернее, свои догадки ссылками на народ, на его мнения, на «виденное и слышанное». Это было великолепно! Все было полно красок и *ума*!

Еще воспоминание: в 1894 году Страхов сделал на свой счет издание (2-е) моей книги «Легенда о великом инквизиторе Ф. М. Достоевского». В начале же этой книги говорилось много о Гоголе и *послегоголевской* литературе, именно о Достоевском и Толстом. Говорилось, что они противодействовали отрицательному гению Гоголя; и вместе указывалось, что в разрез со своим временем, оба эти писателя устремили внимание на мир человеческой души, всего надеясь от *души*, от *работы* над душою, вопреки чаяниям общества 80-х годов, всего надеявшихся от «общественных учреждений» (конституция, парламентаризм). Книга была издана к весне, а летом Страхов по обычаю проводил несколько недель в Ясной Поляне. Толстого он чрезвычайно любил и придавал величайшее значение нравственной и религиозной тревоге, какую он поднял.

Как-то он мне и сказал, – много позднее, – что он взял на это лето с собою и изданную им мою книгу. «И мы там читали вместе» (должно быть, за общим столом).

– Что же Толстой? – с понятным интересом спросил я.

Чуть-чуть Страхов помолчал и сказал, сделав движение рукой (как «махнул»).

– Он не понимал.

Я изумился.

– Он ничего не понял. Не понял самой речи... Ваших слов и никакой мысли.

Что это такое? Почему?

Сложности *мысли* там никакой не было, «философии» – никакой. Но мы все «грешные», пишем после Гоголя не старой пушкинской прозой, этой ясной и простой прозой, без множества придаточных предложений, а гоголевской прозой, запутанной в отношении синтаксиса, но более психологически-сложной, выразительной и яркой, – более «язвенной», с «грешком». Язык Пушкина – язык ангелов, язык Гоголя – язык демонов. Что делать.

Грешный человек, тяжело грешный – просто ничего не сумел бы написать «прозой Пушкина». Сколько над этим ни «ахай», ничего с этим не поделаешь. Вот этой «грешной» гоголевской прозы, с ее загибами и подавленным пламенем, по-видимому, совсем не понимал и даже не *воспринимал* Толстой. Нельзя ведь не заметить, что и все его «еретичество» есть совершенно безгрешное. «Давайте только любить ближнего»: это язык ангелов. Но как только посложнее проза и посложнее *мысль, построение*, – он отходил в сторону.

Или, пытаюсь вникнуть, – писал то, что писал в своих богословских трактатах.

РАФАЭЛЕВСКОЕ И РЕМБРАНДТОВСКОЕ ХРИСТИАНСТВО

В простом углу моем, средь медленных трудов,
Одной картины я желал быть вечно зритель,
Одной: чтоб на меня с холста, как с облаков,
Пречистая и наш Божественный Спаситель
Взирали, кроткие...

.....
Чистойшей прелести чистойший образец.

Пушкин

Грустно, серо и тоскливо встречаем мы праздник Рождества Христова: надежда так хотела бы подняться и никак не умеет, не может подняться. Хочется радоваться, а радость никак не может пролезть в нашу дверь и войти в наши дома веселою гостью.

Тоскливые, серые, безнадежные дни переживает Россия. Да, русское небо – не сирийское небо, на котором когда-то загорелась звезда, приведшая царей-магов к Вифлеему. Все другое у нас: сверху падают хлопья «мокрого снега», во вкусе Достоевского, в воздухе – туман, солнышко, низкое и холодное, на 2 на 3 часа осветит нашу землю. И вся она затянута бессильными желаниями, неудачными начинаниями, мириадой неоконченных дел, сплетен и злобой. Вся состоит не из «дел», а из безделья и «делишек».

И гаснет здесь дух: принижается и гаснет. И лучшая черта нашей истории, нашего быта – в боренье этого духа с этою природою, с этою обстановкою его.

Этот год особенно грустен. Мы перенесли утрату, какой не переносили вот пятьдесят лет и которая отозвалась болью в каждом доме, где есть грамотные. Говорим о Толстом. Больно думать, что нас не видит он, не судит; не одобряет в одном, не порицает в другом.

Нет великого зрителя и судьи наших дел: и все стало как-то еще томительнее и безынтереснее на родине.

Но «героизм отечества», как мы сказали, весь заключается в преодолении этой хмурости, которая со всех сторон лезет в наши дома, силою души

своей, светом «отсюда», изнутри, из души. Темно снаружи: ярче зажжем огни в доме, в семье, в дружбе, за столом, в кабинете. Не от этого ли, не от этих ли условий природы и от условий нашей истории, так похожей на природу, – и храмы наши так ярко зажигаются свечами в праздник, как нигде на Западе и ни в одной вере. Эти вспыхивающие внутренние огни, эта любовь православного «поставить свечу перед образом» – не выражают ли самого существенного в нашем положении и самого существенного в нашем идеале?

Вся наша поэзия и вся наша литература суть такие «внутренние огни» перед идеями-«образами», перед задачами-«образами»: только в жизнь-то мы плохо их проводим, в жизни мало осуществляем. Но, может быть, никакая другая страна так горячо не загоралась идеалами, мечтами, надеждами: мечтательностью подернута вся русская история. И, только оглянувшись, мы говорим:

О, поле, поле! Кто тебя
Усеял мертвыми костями.

И, однако, нам ничего другого не остается, как опять мечтать и «все-таки» мечтать... Упорно, безнадежно: среди «костей» и пустыни... Но что же нам делать и куда деваться иначе?..

* * *

Европа и Азия и, в конце концов, вся земля, весь «круг земной» – был для России последних двух веков тем «запасом сил», откуда она брала энергию, когда дома наступали темные, серые дни. Мы делали это без ревнования, без зависти, без уныния, – весело и просто, братски и родственно, зная, что в свою богатую пору напоим и накормим народы и страны, когда у них случится духовный голод. Всю вторую половину XIX века мы это и делали своею литературою. Но пришли для нас печальные дни, и глаза невольно обращаются за горизонт родной земли.

* * *

Легенда Востока, – *события* и рассказы о них, к которым приурочен сегодняшний наш день, как и весь годовой круг праздников, – исчерпан ли он до глубины? Исчерпан ли мыслью, воображением, религиозною разработкою? Исчерпан ли в особенности применением к жизни?

Все Евангелие, повествующее нам о жизни и судьбе Спасителя, все разделяется на три массива, как бы три материка.

Центральный массив, это – учение Спасителя. И потом:

Рождество Его.

Смерть Его.

«Учение», это – те удивительные слова, которым ничего подобного, ничего приближающегося мы не найдем не только ни у одного мудреца земли, будут ли то Сократ, Платон и Аристотель, но и ни у какого вероучителя. Магометанский мир почти так же велик, как и христианский, но как

беден и жалок «Коран» перед «Евангелием». Ничего подобного, никакого сравнения... То же можно повторить о буддистах и браминах, – несмотря на глубочайшую метафизику, скрытую в их учениях. До них надо *докапываться*, – докопался из европейцев один и первый Шопенгауэр. Это – страшный недостаток: что же это за учение, которое понятно, в конце концов, только одному, а остальными принимается «на веру». Евангелие все просто, открыто даже «для младенцев». По такому характеру и составу оно глубочайше народно. Но оно не *простонародно*, и в нем нет и тени, вопреки уверениям и надеждам, *демократичности*. Мы сейчас же понимаем, до чего оно все поблекло бы в смысле и величии своем, если бы мы открыли в нем хотя малейшую черту *сословности*, *классового* положения и проч. Оно сейчас же стало бы чем-то частным, потеряло бы универсальность.

Правда, Евангелие есть книга по преимуществу бедных, простых людей. Но бедность – прекрасна.

Простота – также прекрасна.

Одно и другое взято не как «социальное положение», взято без выделения и без противоположения чему-нибудь; без всякой *нарочности* и страсти. Они взяты спокойно, как только прекрасные положения человека, в которых ему чаще, нежели в других состояниях, удастся быть «прекрасным», – без «суеты», во-первых, без «мишуры», во-вторых.

«Прекрасный человек», вот – вечная песнь Евангелия.

О, не в эстетическом отношении, совсем нет, отнюдь нет! Но также и не только в нравственном отношении: ведь в Евангелии вовсе нет нравственного ригоризма и сухости («ел с мытарями и грешниками», блудница «помазала Ему ноги» перед смертью). «Прекрасный человек» Евангелия прекрасен в каком-то особенном отношении, не сливающимся ни с одним из привычных нам смыслов; «прекрасное» Евангелия – полнее и закругленнее, общее и универсальнее, нежели «прекрасное» всех философских учений и всех житейских представлений. Как это выразить? Ничего нарочного, ничего подчеркнутого, никакой страсти, никакого даже героизма; хотя и огонь («страсть»), и героизм не отвергаются, но они указаны так спокойно, что входят лишь как часть в человека, а не как главный характер его.

«Евангельский человек» – не «герой», но героем он может быть (мученики).

Конечно, он нравственно чист, но им может быть и блудница.

Но есть и ограничения:

«Евангельским человеком» не может быть фальшивый человек. Вот, например, «притворство» совершенно изгнано из очерка «евангельского человека».

Поэтому, например, богатый, но спокойный и правильный человек есть гораздо более «евангельский человек», нежели судорожный демократ, нежели «носящийся со своими язвами» (есть такие) бедняк или убогий. В этом спокойном отношении Евангелия ко всем положениям, ко всем состояниям – удивительнейшая его черта.

И от этого Евангелие стало родным царю и нищему.

И объединило или имеет в будущем объединить «царя и нищего» одним «евангельским духом». Объединяло иногда...

От притчи о сеятеле и зернах до беседы с Никодимом Евангелие заключает в себе и изречения простоты, вразумительной «и младенцам», и изречения такой сложности и глубины, которые разгадывать могут только цивилизации, века, а не мудрецы, не отдельные люди.

И всем открыто...

И закрыто даже от мудрейших.

Отчего линия «христианского развития» и развернулась в бесконечность. С одной стороны, уже «дошли до конца» просто двое, Иван и Катерина, живущие беспритязательной жизнью «птиц небесных», а с другой – до конца и «совершенства» еще *никто не дошел*.

И «царство небесное» и есть на земле, вот в «этих двух», «в одном», конкретно, осязательно. И с другой – «когда-то оно еще настанет», и всех манит.

«Реальное» и «недостижимое» разительно сплелись в Евангелии.

Еще одно слово об учении.

Главная его черта заключается в косвенном обаянии, не в прямом смысле, который часто прост, ясен, сразу усвоим, и, казалось бы, от этих черт должен был стать скучен и забыться. Ну, «дважды два», – чего же тут помнить? Но помнится. Слова Христовы тем поразительны, что, раз войдя в душу, звучат в ней никогда не умолкающей мелодией, не умирают, не могут умереть.

Ведь возьмите *тон* слов о «поклонении Богу везде» (беседа с самаряною) или о тех же зернах. Разве та же мысль не выражалась потом грубо, резко, с криками, воинственно, не выражалась педагогически, публицистически, всячески. Но все выражения прошли и забылись.

Помнится единственное выражение Христа в том тоне, в тех оттенках, как Он его сказал. И единственно в этих оттенках оно и сильно, и действенно.

Таким образом, особенность слова Христова лежит в красоте этого слова, отчего и происходит его косвенная обаятельность и то, что не забыты ни Его великие и таинственные, ни обыкновенные и простые слова. Есть гипотеза, что не «все слова Христовы сохранены», многое не попало в Евангелие и забыто. Это – едва ли. Есть чудная судьба над этими словами. Нет, едва ли что-нибудь забыто и потеряно. «Чему нужно было войти в Евангелие, – вошло все», так оно полно и окончено. Так «совершило» все, что ему надлежало совершить.

Иногда так представляется в космогонии, в космогоническом развитии, что была какая-то тайная пещера, «от сложения мира» заложенная, и там Евангелие хранилось до времени... И что кое-кто, никому не сказывая, и проникал даже в эту пещеру, и ознакомлялся с Евангелием в отрывках, тополивал и нервно. Так что штрихи его, тени его попадались и раньше, в языческой философии. Но только через 5000 лет существования земли «кни-

га вдруг раскрылась вся». «Из пещеры» ее вынули и положили везде, положили на аналои церквей, и даже для этой книги, именно для ее «сохранения» и «лежания», воздвиглось множество во всех странах церквей. Лучше бы этого мы не сумели выразить историческое положение Евангелия.

Но «учение Спасителя» – один мотив. Кроме учения, слов, речений, – есть *события* в Евангелии. Это – рождение Спасителя и смерть Его, выражаемые праздниками «Рождества Христова» и «Страстной и Светлой седмицами».

* * *

Едва мы назвали эти праздники, как сейчас же каждый почувствует, до чего рождение Спасителя менее принято нами на острие внимания, менее пало в наше сердце, заняло ум и воображение, нежели крестная смерть Его, погребение и воскресение. И это имело неисчислимые исторические последствия...

Высший художник христианского мира – Рафаэль... И можно было бы помечтать о рафаэлевском христианстве; но, собственно, мы имеем рембрандтовское христианство, полное темных цветов, темного, почти черного фона, – и только с краешком чего-то светлого, с утренним лучом на «профиле портрета».

Вечернее и полунощное христианство, утреннее и дневное, едва мы это сказали, как каждый почувствует, что христианство все развилось в вечер и ночь свою, а не в утро и день свой. Как томительны, как сладки, как запоминаются дни Страстной седмицы: праздник Рождества Христова тонет в той многозначительности.

Это – праздники. Но то же и в жизни. Есть что-то здесь обоудовляющее. Можно думать, что сама историческая жизнь, сама бытовая жизнь, имея в себе мало радости и света, не направила дух человеческий к горячему и яркому празднованию Рождества Христова, удержала дух человеческий от обширного красочного и звукового убранства этого праздника. Но, с другой стороны, праздники, повторяясь ежегодно и будучи самыми яркими точками в круге 365 дней, действуют могущественно на народный дух, и можно предположить, что сравнительно тусклое празднование этого события, сложившееся в раннюю пору христианства и в тяжелые его времена, отразилось в народной жизни тем, что она вообще сделалась не так красочна и ярка, как могла бы, не так полна света, как могла бы, не так полна радости и благородного веселья.

Что такое рафаэлевское христианство? Термин совершенно понятен: Рафаэль почти ничего другого и не делал, как прославлял Рождество Христово... Оно занимает $\frac{9}{10}$ его творчества. Везде – Мать с Предвечным Младенцем; или пещера, где родился Христос; или поклоняющиеся цари-маги; или пастыри овец, слушающие херувимскую песню над пещерою. Все это – в неисчислимом разнообразии положений, колоритов, оттенков. Центр, однако, везде – Рождество, рождение.

Как «Снятие со креста» и «Положение во гроб» суть постоянные сюжеты художников рембрандтовского оттенка, художников, певших смерть Его... Хотелось бы добавить: «смерть и воскресение», но язык удерживается это сказать. Так мало (сравнительно) картин воскресения, вознесения на небо. Это совсем только уголок в христианском художественном творчестве. Крест, мука и гроб – в одной половине; радость и свет Рождества – в другой половине: вот и все христианство. Остальное подробности, частности.

Что же совершилось? Как все произошло?

Рафаэлевское христианство вообще есть семейное христианство.

Рембрандтовское христианство, это – монастырь...

Первое есть евангельская весть, павшая в семью. Выслушанная отцами, детьми, женами, матерями. Выслушанная свояченицами, тестями. Стариками, девушками. Все это оттенки человека, колоритности человека, которые не умещаются и не хотят уместиться, не хотят *скрыться* в обобщение «человек»... Всякое обобщение *обедняет и убивает*; этот «человек» еще может быть «философом», согласится быть, «например, Сократом». Но этот «человек», довольно, признаться сказать, глуповатый, не умеет пойти на пирушку, откажется быть «Фальстафом» и вообще запретит все шекспировское творчество... «Человек», вообще, ужасная вещь: я «человека» боюсь. «Человек» обрежет мне крылья, сведет румянец со щек и сделает мою биографию до того скучною, что хоть удавиться! Совсем другое дело «своиченицы» и «невестки», «дедушки» и «внуки»: народ ясный, прямой, без философских подковырок, всегда с хорошим угощением, не прочь и сами у меня попить вечером. Евангельская весть, поэтому, павшая сюда, вдруг все облагородила, но *ничего не отвергнула*.

Ничего не отвергнула: вот это – огромное слово, которое хотелось бы подчеркивать бесчисленными подчеркиваниями.

Семейное христианство, озаренное, *облагороженное* евангельским светом, тихо, мирно, счастливо в себе, ни с кем не ссорится, никого не гонит, *ничего* от себя не гонит, кроме явно отвратительного и бесчестного, по преимуществу, в линии семейных запросов, семейных нюансов... И вопроса не может быть о том, что «семейное христианство» никогда не зажгло бы костров инквизиции, не построило бы «монастырских тюрем» (тема – у нас – г. Пругавина); едва ли бы допустило вековые споры об утонченностях богословия, по крайней мере, осталось бы к ним равнодушно, и, напротив, восторженно встретило каждый новый обряд церкви, всякую вновь сочиненную церковную песнь... И, словом, все изукрасилось бы тенями, красками, отливами, звонами, звуками... кажется, от свирели до цитры, до арфы... В семейной Библии была арфа. Мы остановились на «церковном пении». Но все-таки это есть. И это украшение «пением» есть семейная черта в христианстве. Нужно различать корни вещей, нужно всегда их различать, иначе ничего не поймешь.

Великий мир, *неспорчивость* «семейного христианства», выразился *персонально* в творчестве и жизни величайшего его провозвестника – Ра-

фаэля. С таким чудом силы и красоты изобразив «Рождество Христово», т. е. приникнув к нему с такою силою внимания и размышления, с такою силою восторга и всяческого прилепления, Рафаэль не нашел никаких в душе своей препятствий, чтобы перейти к темам и всего Ветхого Завета, а наконец, и к темам античного, благородного язычества. Все это не нарочно, без подчеркиваний, без волнения; все это без тенденции и низких «подкапываний под дело»; все совершенно спокойно и «само собою». Как и мир, конечно, не *раскол* был, не *пронзен* как бы кинжалом Тем, Кто Сам Себя нарек «Примирителем», «Утешителем», Кто пришел «соединить Землю и Небо»...

Конечно же, так: это – прямой смысл Евангелия... *Этому-то* смыслу, а не какому-нибудь другому, поклонилось человечество... Может быть, *другому* смыслу и догадке оно и не «поклонилось бы»...

Но едва мы все это сказали: о полном мире даже и с язычеством, о незажигании костров, об отсутствии тюрем, – как все скажут, закричат: «Где же оно? Этого не было!»

* * *

Потому что Рембрандт победил...

Он пришел незаметно и стал тенью в уголку... Ни ликования, ни звуков. Весь в черной тени, в темном фоне. Свет где-то на краю, «в обещании». Здесь и реально – одна скорбь, мука, слезы, безнадежность...

Все – могила, все сходит в могилу... Могила и крест все венчает. Веселитесь, но с знанием, что вы веселитесь на краю собственной могилы. И вот, заглянув туда, в ее черную яму, с червями, – пожалуй, заключайте свадьбы, родите детей, зажигайте огни, играйте на арфах... Может быть, захотите ристалищ и коней, Олимпийских языческих игр? Ха-ха-ха!

Истерика отчаяния, истерика скорби...

И все испугалось и разбежалось... Побледнела, помертвела семья... Всякий боязливо стал думать: «Когда *мне* конец»... Зачем так сильно привязываться через семью: когда *потеря всех близких* есть *удел каждого!*

Могила – страшное разъединение!

Уже при жизни мысль о могиле страшно разъединяет всех...

Могила холодна. Могила жестока.

Разве смерть на костре или десять лет в темнице хуже смерти от рака? Он ползет по внутренностям и, час за часом, минута за минутой, не останавливаясь, ни на секунду не останавливаясь, стрижет, рвет, дырявит, сверлит внутренности, – кишки, желудок, печень, кость, сердце, язык, десны, все, что ему встретится. И никто от него не спасет, – никакой царь, ни один закон, ни «сочувствие всего человечества». Кто вошел на костер, того пожалеет человечество, но кто умер от рака, того человечество не пожалеет. Просто скажут: «Умер от рака», без славы и памяти. Без имени.

Смерть – всего сильнее... Уж если кто всего и всех сильнее, то это – смерть!

Вот что говорил «темный человек в углу»... И погнал он назад в Вифлеем, «как бы его не было». Разогнал пастухов, магов. Погасил восточную звезду. Задержал занавесом пещеру. «Нет ничего или... все равно как нет». «Не сюда смотри, человечество: смотри вперед, в будущее, *далее от настоящего*: там и ты увидишь невероятные муки, опозорение и оплевание и, наконец, ужасную смерть – казнь». «Вот чем все кончается, вот смысл всего»... «Что, Вифлеем?.. Но и Вифлеема смысл – *там же*».

Этот «темный человек» есть монах. Он победил. И смыслом его победы полна вся история.

Но сегодня, именно сегодня, все-таки наш день. Это – день и дни семьи христианской. Не все понимают, но все должны понять, что чем спокойнее, изящнее и вместе с тем чем содержательнее и религиознее мы проведем их и научимся вообще их проводить постоянно, тем мы хоть чуть-чуть наклоним весы в свою сторону и умалим несколько необузданное торжество «темного человека».

Будем же светлы и веселы в этот великий праздник мира и примиренности со всем. Да не раздастся слово вражды и злобы ни в домах наших, ни окрест нас.

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

Жители равнин – устойчивы, постоянны; жители гор – свободолюбивы, горды и благородны. Первые обычно покоряют последних, но покоряют и пленяют как благородного пленника. Так горный Самниум был покорен Римом, Кавказ – Россией, гористая Шотландия была покорена равнинною Англией. Но Самниум влил много благородной крови в жилы римлян; а Шотландия дала Англии много прекрасных поэтов и всю идеалистическую половину английской философии. Кавказ, за краткостью времени, протекшего с его покорения, еще не успел обозначить своей роли в духовной жизни России. Хотя поэзия Лермонтова почти вся обязана происхождением своим вдохновляющему влиянию Кавказа...

Так – в географии, так – и в истории. Человек не может не походить в характере своем, в психологии своей, в жизни и судьбе своей на обитаемую им планету; не может не быть ею обусловлен и осязаемым и неосязаемым образом. И вот этот *вид земли*, состоящей главным образом из равнин и низменностей, но которые пересекаются местами горными хребтами с их снежными вершинами, хочется сравнить с тем *общим видом жизни человеческой*, потому что она также представляет собою в массе упорный и грубый труд, иногда труд униженный, несносный, в котором задохнулся бы человек, будь он бесперерывен: но его перерывают немногие дни, когда самим Богом указано человеку вдруг оставить все прежнее, оставить все

обычное, переменить совершенно на эти дни жизнь, настроение духа, побросать все «полезное», «нужное» и «необходимое» и предаться, – конечно, помолившись сперва Богу, – веселью, удовольствиям, забавам, не отказываясь даже от ребячества.

Праздник – возвращение всего народа к юности и, если возможно, к детству. Праздник всегда моложе своего года. Праздник молодит человека.

И в то же время вливает в него бодрость, благородство, вливает какую-то мирную гордость во всякого, гордость, не враждебную для окружающих людей. В праздник все поднимают голову, все люди как будто вырастают на этот день или на эти дни.

Не правда ли, это как *гора*? Что в географии, то и в истории. Праздники украшают собою год, как Альпы украсили Европу, Кавказ – Россию, как маленький Гарц украсил Германию. И «провести благоразумно праздники» – то же, что для усталого труженика «съездить в горы», «дохнуть от горного освежающего воздуха»...

По этому их значению в годовом, часто несносном труде самая *суть праздника* поистине таинственна; и от этого у всех решительно народов «праздники» и самый «чин их проведения» всегда суть религиозные установления. Это до такой степени, что самое происхождение религий сливается с происхождением праздников, как религии в свою очередь и характеризуются праздниками.

«Языческие праздники», согласно этим натуралистическим религиям, заключавшимся в «обогащении природы», проводились среди природы и были посвящены ее великим явлениям: праздники *весенние*, праздники *осенние*; праздники «собираения плодов»; праздники, посвященные *солнцу*, и праздники, посвященные *луне*. Так, даже в библейские времена ежемесячно был праздник *новолуния*: «молодую луну», первый серебристый серп месяца, встречали музыкой на арфах и религиозными танцами. Остатком этого или сближением с этим является изображение «молодой луны» (серпа месячного) на мусульманских мечетях и даже на турецком флаге: последняя родина древнего «звездочетства» и астрологии. Не нужно объяснять, что, напр., звезды на флаге Соединенных Штатов ровно ничего не выражают и похожи на «королей» в картах, которые, конечно, не суть короли на троне. Что имеет смысл у мусульман-арабов, лишено всякого смысла у торговых янки, для которых «звезды» на небесном своде менее значительны, чем маклерские отметки на бирже.

* * *

В христианстве же, которое все есть *историческая религия*, праздники суть естественно дни *исторических событий*, и прежде всего – событий в истории самого христианства. Нынче мы празднуем величайший день его, начальный день. Родился Христос, родилось христианство.

В языческих культах *природный человек жил природной жизнью*. Переходом к христианству знаменуется главным образом выход человека из

царства природы и вступление его в собственно *историческую область*, которая вся выткана его духом, где человек живет и действует среди своих же *созданий*, будут ли то царства и искусства, наука или воображение. Дух оставлен христианством только в человеке, признан только в нем одном, а не в светилах небесных, не в травах и цветах, не в зверях, птицах и рыбах. Все это достояние древних культов, заветы элевзинских и других мистерий – признавать «духовное» и даже «божественное» значение за лучом солнца и мельчайшею травкою. «Отныне человек будет *все*», – сказала христианство: и в противоположность магам-звездочетам, толковавшим для учеников Вселенную, Христос оставил вовсе ее в стороне, не учил о происхождении мира, а только стал просветлять *душу человека* законом нравственной жизни.

Душа человека – центр учения Христа; даже все учение Христа.

Космогония – такова суть всех религий до Христа.

Ясно, что с переходом в христианство человек перешел из *натуралистического* состояния в собственно *историческое*. В этом смысле для нас, христиан, история *сотворена была Тем*, рождение Коего мы сегодня празднуем.

* * *

Это рождение окружено было чудесами и знамениями. Как естественно, что оно было *не натурально*. «Бессеменное зачатие» есть первый глагол Евангелия, но поверив которому – нельзя стать христианином. Но это *ненатуральное рождение*, как косвенное отрицание *натурального рождения*, связано с самою сутью книги, вводившей человечество в совершенно новый мир *духовного существования, духовных перемен, духовной жизни*. Тайная беседа Иисуса с Никодимом, в которой Он предложил пришедшему к Нему ученику как условие проникновения в тайны «Божия Царства» – «вторично родиться», и могла быть сказана только Тем, Кто не имел обыкновенного рождения, т. е. имел рождение необыкновенное. Натуральный порядок существования, погружение в который составляло самую *суть язычества*, не могло быть ничем так потрясено, как указанием на *возможность* еще другого рождения, на *должность* другого рождения. С тех пор во всей истории Европы это «духовное рождение» играет колоссальную роль, – в жизни каждого лица, в жизни масс. «История Европы» есть история «духовных в ней рождений». Вспомним бл. Августина, Лютера и Руссо. Вспомним реформацию и вспомним революцию. Замечательно, что даже антихристианские в ней движения все равно движутся по типу христианства же: все равно, все и везде имеет в себе подпочвою «духовное рождение», возникновение новой мысли, зарождение нового чувства.

Все имеет в зерне своем то чудо, которое мы сегодня празднуем. Мы вспоминаем не только день рождения Христова, но день рождения *истории* как ряда *духовных перемен*. Празднуем и день рождения каждого из нас, насколько мы не физические только существа, но *существа духовные*.

Церковь, а за нею и бытовая жизнь народа украсили этот день так, как только они и умеют украшать. Церковные службы и просто «рождествен-

ские удовольствия», переплетаясь друг с другом, образуют и содержательный и нарядный убор двух недель. Народный обычай не вникает глубоко в особенный смысл «Рождества Христова» и сделал этот праздник *детским праздником, семейным праздником*. Сольемся вполне с этою бессознательностью. Примем непосредственно и без задумчивости народные восторги в свою душу... Несмотря на крепкие морозы, Русь выходит в эти дни на улицу и вносит в дома свои немного улицы. С улицы приходят к нам мальчики «Христа славить»; в ночь на Рождество они же «со звездой путешествуют»... В домах зажигаются яркие елки: и сколько детского веселья и шума связано с ними! Елка уже обвеяна стихом, рассказом, музыкой... Ее смолистый запах и дикий лесной вид так гармонирует своим контрастом с искусственным убранством наших зал и комнат; да и сам рождественский праздник, с его весельем, гаданьями и шумом, так уместен и вместе необходим на фоне нашей серой, трудовой, однообразной жизни... Увы, она уже однообразна, монотонна и исполнена тяжелой работы даже для детей...

Отдадимся веселью без оглядки и заботы. Чем ярче отдых, тем может быть интенсивнее последующий труд. Сделаем это маленькое двухнедельное путешествие в прелестные «зимние Альпы», какие нам устроила церковь и народная фантазия...

Д. ШЕСТАКОВ. ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ГРЕЧЕСКИХ НАРОДНЫХ СКАЗАНИЙ О СВЯТЫХ. Варшава, 1910 г.

Книга вращается в памятниках раннего христианства и в последних памятниках язычества. Читая ее, — как бродишь по смешанному лесу, из разных деревьев, из разных пород, с разными травами. В высшей степени интересно и не для специалиста-ученого узнать, что к тем именам святых и ангелов, к которым он привык с младенчества, народное воображение греков, римлян, германцев и славян ранней поры привязало множество языческих воспоминаний. Вот пример. «На классической, исстари проникнутой богомыслием почве Египта почитание ангелов, и в частности архангела Михаила, нераздельно сливается со старыми, местными языческими культами. В *житии святого Иоанна Милостивого*, архиепископа александрийского, написанном архиепископом неапольским, Леонтием, архангел Михаил вешает (*взвешивает*) души умерших на весах, являясь таким образом совершенным преемником египетского бога мертвых, Озириса. Архангел Михаил с весами воспроизводится многими памятниками искусства в сцене страшного суда; таков он часто в коптском искусстве, в нескольких ранних итальянских мозаиках, в трех армянских церквах Иерусалима. Египетская надгробная надпись 409 года просит Бога за покойницу: «Удостой ее, через святого твоего и *ведущего* к свету архангела Ми-

хаила, вселения в лоно святых отцов». Но этот характер архангела, как *путеводителя* в загробный мир, повторяет стереотип египетских рисунков, где Озирис обычно ведет душу умершего в «тот свет»... Это – частность, мелочь, подробность, взятая нами для примера. Обширные исследования г. Шестакова в области *исцелений*, совершенных, по легендам, святыми, – в сказаниях о *святых источниках*, – о покровительстве стадам и порознь отдельным домашним животным, – о молитвах, заговорах и проч., и проч., все это долго и занимательно водит читателя по прелестной области христианского мифотворчества, где замирала одна религия и зарождалась другая, где колыбель и гроб так удивительно соединились. Автор живо чувствует *оба мира*, он и классик (по кафедре в университете), и теплый церковник, «как вы да я». Труд его хорошо пополняет исследование А. И. Алмазова «Святые – покровители сельскохозяйственных занятий» (Одесса, 1904 г.). К сожалению, местами книга написана неуклюжим университетским языком, *lingua barbata professorum**: и это тем более жаль, что когда-то в «Новом Пути» и теперь в «Журнале Министерства Народного Просвещения» этот же профессор писал и пишет изящным и простым языком. Ученость – ученостью: но язык постоянно надо беречь. Например, «*морьяцкие* сказания» вместо «*морские* сказания», упорно повторяемое автором выражение – несносно. Но в высшей степени желательно, чтобы общество наше начало и приучалось читать книги, подобные настоящей. Посвящена она «Русскому археологическому институту в Константинополе», – недавно учрежденному, и, очевидно, есть плод занятий в нем молодого и талантливого ученого.

<ПРЕДИСЛОВИЕ К КНИГЕ Р. БОРХАРДТА>

«Книга Иорам» Рудольфа Борхардта вся написана в тонах *побочных* библейских рассказов, т. е. тех рассказов, которые не имеют прямого устремления книг закона, истории и пророчеств, но как бы припечатанные к ним, и служат бытовою иллюстрацией к этим главным книгам израильского народа. Такова «Руфь», таковы «Книга Товии» и «Книга Иова». Эти побочные библейские рассказы суть прелестнейшая часть Священного Свитка. К ним позднее примкнули агиографы, легенды. И, наконец, вот в новое время появились *имитации* их, пытающиеся еще и еще раз повторить, еще и еще раз вариировать тон и сюжеты этих прелестных полувывмыслов, полудействительности знойных равнин Сирии и Халдеи... К числу таких имитаций принадлежит и рассказ Рудольфа Борхардта.

Сюжет его прост и нравоучение его не сложно. Это все те же идеи *чистоты* (не загрязненного, не засоренного) *плодородия*, которые постоянно

* язык бородатых профессоров (*лат.*).

повторяются в Библии; но здесь они повторены в варианте. Плодородие есть нечто должное и обязательное, но что, если оно не исполнено? Иорам сетует на Бога за то, что Он его сотворил «мулом», бесплодным, бессеменным или, как выражается текст «Книги Иорама», – «с семенем, не дающим всходов», «не поднимающимся, не всходящим». Все мы теперь знаем из медицины, что такие случаи – бывают, есть. Знали это и древние евреи, которые для подобных случаев указали обязательный развод. Замужняя женщина, отходя от бесплодного мужа и выходя за другого замуж, получала ребенка, и тем исполняла общий израильский закон. Но в данном случае требование закона встречает себе препятствие в любви Иорама к жене своей: не отпуская ее, он берет, вероятно приписывая бесплодие ей, других себе наложниц, чтобы исполнить закон плодородия; но они также остаются бесплодными. Между тем Бог разгневан на Иорама, на него падают несчастья и он попадает в плен. В отсутствие его, жена его сделалась блудницей. Через семь лет Иорам освобождается из плена, возвращается в свою землю, в свой дом: и в первую же ночь, встретив блудницу, т. е. просто свободную, не занятую женщину, – взял ее, но, к ужасу, открывает в ней собственную жену. На его упреки она отвечает, что он ей не дал ребенка и потому она ничем не связана с ним. Проходит и мука, и гнев, и смирение в душе его; в то же время и она вспомнила и пожалела его. В то время, как он одиноко лежал на чердаке, она вошла к нему и легла как жена. И подобно тому, как в «Книге Товии, сына Товита» рассказано, как посланный от Бога Ангел сводит Товию и Сарру в брак, – во исполнение вечного и одного заповедания, – так здесь посланные Богом Ангелы всю ночь держат полог над ложем второбрачных – и несчастных и счастливых – супругов, пока они утешались друг другом. Иорам отпускает вину жене своей: ибо он в точности бесплоден, и есть более ее хозяин, чем супруг. Но все-таки он, хотя и не был отцом детей ее, то в ограниченном значении был супругом: и она возобновляет оборвавшуюся нить отношения к нему. Тут есть резигнация; тут есть с обеих сторон, «признание судьбы», – покорность «судьбе» – христианский мотив в оболочке еврейской легенды. Ибо строгий и точный ветхозаветный закон не позволял мужу ни под каким видом, ни при каком оправдании возвратиться вторично к жене, которая жила в обладании хотя бы одного постороннего мужчины, не говоря уже о безбрежном блуде. Этим обеспечивалась чистота семени, чистота ложа, абсолютная точность отцовства и вообще правильность рода. Этот закон был «метрикою» юдаизма; точнее – он был тем реальным обеспечением верного потомства, точного происхождения от явного отца своего, каковое фиктивно и словесно дают христианские «метрики». Здесь, вообще, «Книга Иорам» не выдерживает традиции. Но этого и не было в намерениях автора, очевидно, живущего уже в веяниях христианского спиритуализма, хотя бы и не вполне. Произведение его – смешанное, двух эпох, двух цивилизаций: в заключительном эпилоге, где жена Иорама чудесным образом забеременела в эту ночь от бесплодного своего мужа, т. е. семени его была сообщена сила «всхожести», «поднятия», – автор опять возвращается на традиционную почву еврейских сказаний, легенд, поэзии и

закона: «что бы и как бы ни было, но оставь потомство»). Этому служат Ангелы, это указано Богом: как же Ангелы и не служили бы этому, раз это Богом определено? Сюда спешат на помощь чудеса и самые невозможные стечения обстоятельств. Вот отчего эта заключительная ночь, с участием в ней Ангелов, – представляется наиболее значительным моментом всего рассказа, исполненным «догматическо-нравственного смысла», как выразились бы христианские богословы. Она проведена деликатно и тонко, и, можно думать, Р. Борхардт писал здесь под ближайшим влиянием чудной легенды о Товии и Сарре, – этого неувядаемого цветка пустынь Ирана и Сирии.

ВЕЧЕРКОМ

Вечер собственно не наступал... Даже не обедали. Но в проклятом петербургском климате в 5-м часу пополудни уже совершенно темно в декабре и в январе. И вот в этот день, 10-го или 12-го января, везде зажглись огни, и я поэтому чувствовал себя «вечером». Дом был очень богатый, квартира очень богатая или, скорее, нежная, изнеженная: из-за абажуров, затемняющих электрический свет, он лился какими-то зеленоватыми, голубыми, фиолетовыми волнами; и сами абажуры эти имели вырезные фантастические формы, не то мотыльков, не то растений. Размеры комнат были не очень велики, но они были убраны, – необыкновенно нежно, – коврами, занавесками и очень изящною мебелью.

В ней жили двое «молодых», – с няньками, боннами, француженками, англичанками, которые «когда дитя подрастет, будут учить его английскому и французскому языку». «Дитяти», однако, было только девять месяцев (ровно девять), и вот нужно же представить средства, дававшие возможность уплачивать «англичанке» жалованье за «разговор на английском языке», который может начаться только через четыре года, а пока она всего только нянчит ребенка, когда «маме некогда или неудобно».

Ну, что же, бедному кусок хлеба. Там – не хватает, здесь – избыток, и отсюда переплывает туда, как это и следует. А что мотивом этого взята пустая фантазия или прихоть, то даже тем лучше и даже божественнее: не Бог ли напоил израиля водою из каменной скалы, когда он жаждал в пустыне? Чудо настоящее всегда происходит среди «ничего»; из «чего» делают люди; Бог – всегда из «ничего». Англичанке не было причин быть сытой, не было откуда послать фунт стерлингов старым больным родителям в Лондон. Но родилась «бебе», и Бог устроил так, что из «бебе» родился фунт стерлингов. Все слава Богу.

Впрочем, на англичанку я только взглянул, когда она вошла в комнату и ломаным русским языком произнесла мое имя и отчество: это уже потом, когда «бебе» проснулось, и я мог пройти в спальню и взглянуть на «девочку». Англичанка была немолодая, некрасивая, вся невидная, – как и вообще англичанки из бедных. Я не обратил на нее никакого внимания, кроме того, что «у нее, вероятно, есть родители».

Пока я сидел в гостиной и пил кофе. Поила меня хозяйка молодого дома. Боже, как она выросла всего за два года замужества! Даже поднялась в росте, не только уширилась. Она была добрая, милая, – все это очень. Чуть-чуть только вялая и ленивая, или так мне показалось. Но и как не залениться? Но она смеялась, говорила «да», «нет» и все упрашивала выпить «еще кофею». Я боялся испортить обед и тоже лениво сопротивлялся. Она показывала любимые книги: Чехова, Тургенева и Жюль Верна «Путешествие Гаттераса». Жюль Верн – от гимназии. «Чехов и Тургенев, это – два моих любимца. Читаешь, – не начитаешься». Они были в прелестных переплетках. Я смотрел и мысленно рассчитывал, что могли стоять такие переплеты, действительно прелестные. «Вот бы мне», – подумал я думой эгоиста. И перевел глаза на хозяйку.

Она мне всегда нравилась именно прелестной добротой своей и глубокой невинностью. В таком большом теле эта невинность удивляла: «Ах, а я уже маленьким, в бедной заброшенной семье, был так испорчен...»

– Так вы не хотите кофею? Такие хорошие сливки!

– Решительно не хочу!

Вокруг бегали собаки. Комнатные. Разных пород.

– Вы не обращаете внимания на моего мопсика?

Я не обращал внимания.

– Он очень интересен.

Мне было неинтересно.

Мне «интересна» была только хозяйка, – такая добрая, чистая и невинная. «Главное – как выросла! И похорошела». До замужества она была так себе, – просто кончившая гимназистка, на которую не было возможности обратить какое-нибудь внимание, но теперь она была решительно хороша, видна; в хорошей позе даже была бы величественна. Но она не умела принимать поз и в душе вообще осталась «кончившею гимназисткою». Это-то и было мило. Только стала богата. Но ни тени, ни пылинки важности или гордости не пало на нее от богатства.

– Ну, какой вы скучный! Не хотите пить кофею. Это оттого, что вы – философ. Важничаете.

– Но ведь я испорчу обед.

– Тогда отвернитесь.

Я отвернулся. Она что-то делала в комнате, чего я не видел.

– Теперь можно смотреть.

И когда я повернулся снова, -- понеслись невыносимо-высокие звуки.

*La donna e mobile...**

Пел какой-то тенор, с необыкновенным напряжением, – так что воздух небольшой столовой дребезжал от звуков. «Как резко. И некрасиво. Но мотив я люблю». Звуки неслись из шкафа, на котором стояли разные безделушки, – и всего виднее были сделанные в углублении скрипач и слушаю-

* Сердце красавицы (*ит.*).

щая его женщина. Фигурки эти были художественны, поэтичны и ранее уже привлекли мое внимание. Но я не знал, что внутри шкафа был скрыт граммофон. И, очевидно, превосходный.

«Donna e mobile» оборвалась. И так как «bebe» не просыпалось, машин высокого электрического напряжения, которые собирался показать мне ее муж, пока нельзя было показать, кофею я не хотел, то я попросил «спеть еще что-нибудь», т. е. переменить и пластинку в граммофоне...

Она открыла ящик со множеством черных и блестящих, очень красивых кружков. Пересмотрела их и, выбрав один, открыла шкаф, и что-то стала быстро и умело делать в нем руками. Потом закрыла и, щуя глаза, уверенно проговорила:

— Это вам понравится.

Заигралась «Китайка»: как почему-то из всех девиц и женщин понравилась кому-то «одна китайка». Чем и кому она понравилась, — нельзя было разобрать; зачем понравилась, а в особенности, зачем мне, третьему и незаинтересованному человеку, было слушать об этом, — совершенно нельзя было понять. Я рассердился и, раньше чем пластинка дошла до конца, попросил вынуть из машины эту «мамзель».

— Что-нибудь другое, — уныло проговорил я.

— Другое? Отлично!

И снова она стала перебирать руками пластинки. Вставляла одну, другую... Но все неслись крикливые арии, иные с гиканьем и шумом «партера», — на кафешантанские темы.

«Ах вы, милая-милая, добрая и невинная, совсем чистая мать, а вам торговец пластинками сует под нос каскадных певиц, и вы берете их и слушаете, — слушаете то, что неизмеримо ниже и грязнее вас».

Это удивительно: в самом деле, публика, смотрящая и слушающая певиц «с открытой сцены» обычно целым ростом выше их. Отчего же она их слушает? Возможно ли, чтобы человек, читающий Гизо, в то же время читал «Конька-Горбунка»? Оказывается, — возможно.

— Нет, послушайте, я этого не хочу слушать. Нет ли у вас чего-нибудь... грустного?

Я хотел сказать «серьезного», но так было конкретнее.

— Может быть, вы хотите посмотреть снегиря?

— Нет!

— Тогда я вам сыграю «Колыбельную песню».

— Отлично!

* * *

Через минуту понеслись звуки совершенно другого рода, другой категории, другой натуры. Как будто электричества разных родов: те электричества, в ариях, были из одного облака, а это электричество текло из другого облака, и вся натура облака была совсем иная, и с этими электричествами оно не

имело ничего общего, кроме того, что здесь и там были «звуки», т. е. один общий отдел, одна общая глава науки физики.

«Физика» – одна. Но какая разница в психологии!

Пела одинокая русская женщина над своим ребенком. Вы знаете этот голос, манеру, тон... Все такое обыкновенное, но оно так необыкновенно! Она обращалась к младенцу со словами, которых он, очевидно, не мог понять, но, очевидно, она воображала, что если не мыслью своею, еще недвижною, то натурою своею он поймет эти слова чрезвычайной нежности и умиления, заботы и тревоги.

Не помню, как я встал и начал ходить по комнате. Звуки были так благородны в простоте своей, и они точно обволокли и закутали мою душу, и отнесли ее куда-то далеко, в невидимый мир, и я стал грезить. Должно быть, в них было что-то победное, уверенное, какая-то «твердая своя правда», – вот материнская, потому что мне почему-то начала мечтаться именно борьба и победа... Слов я не слушал, а только мотив, из слов же уловлял только некоторые, «какие попадутся», но «попадались» именно нужные, хорошие, мне приятные.

Мне вообразился монастырь, – хороший, торжественный, миллионный, – как я видел Полетаевский женский монастырь, когда ездил в Саровскую пустынь. Он мне представился во всем торжестве своем, – именно на всенощной службе: звуки черных дев, строгие, величественные, но особенно строгие, взыскательные, неумолимые несутся в высокий купол храма, там реют, и оттуда небесным зовом стелются по душам молящихся, по душам тоже строгим, торжественным, сухого стиля, немного строгого, немного взыскательного, судящего.

– Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй!..

Сорок раз... Этот голос черной чтицы на клиросе перемежается с дьяконским басовым, деловитым:

– Вонмем! (внемлем?).

И еле прерывается хором голосов, – с хор позади молящихся, – мелодичным, необыкновенной красоты и таким тоже уверенным и торжествующим в правде своей, – «новой и вечной правде», возвещаемой земле вот этим монастырем.

И распятие... И черные лики... И свет тысячи свечей... И волны дыма...

– «Величаем Тя»... – начинают грубыми, твердыми, такими железными голосами иереи, сухие, высокие, строгие, вышедшие в золотых ризах на середину храма. Народ стал на колени и, опустив головы (всегда), неслышно молится...

Мне вообразился скандал.

Что где-нибудь в углу храма задумавшаяся мать, – как все они задумываются, кормя ребенка (что во всенощной, за темнотою, возможно где-нибудь у задней стены), – вдруг запела свою материнскую песнь... Сперва как случай и подлинно только в задумчивости, но затем уже нарочно, борясь и торжествуя, именно перебирая те «дивные песни» своею другою правдою, «другой натуры» и как бы «из другого облака».

Вздрогнули. Оглянулись. Не видно. Только голос несется.

«Какое неприличие!» – безмолвно подумали иереи... Да и не одни они...

– Господи, помилуй! Господи, помилуй!

Но оно срезается высоким сопрано:

Баю, мальчик мой! Усни...

Звуки борются. Тоны спорят, – капризно, нервно, негодуя, гневно. Все переходит в страстную борьбу: случай и «неприличие» перешли в принципиальную борьбу и страстную жажду победы с одной и с другой стороны. Мать с полуоткрытой грудью и дремлющим около нее младенцем выходит на середину храма, самое видное и торжественное его место, и, садясь, – как удобно для продолжения кормления, – поет и все поет, выше и выше, свою натуральную песню:

– Потому что ее хочется!

– Потому что она нужна!

Потому, вообще, что она «поется», в душе «поется»... Те же голоса поют «по требе» и «традиции», – потому-то «такова служба», и «мы все за нее что-нибудь получили»: одни – камилавку, другие – «наперстный крест», а которые помоложе – «пока скуфейку». Но, конечно, «все привыкли», и «это наша слава», – ибо мы все теперь «в ризах, – парчовых, в золоте».

– Мне золота, – протягивает руку мать. – Мне риз...

Скандал полный. Страх за «отнятие риз» переменяет лица из строгих в яростные. Что-то в них исказилось, и из благостных за минуту, из «молящихся за мир» они превращаются в напитанные ядом и клеветой.

– Мир восстал на нас! Мирское, грешное...

– Это блудница! Верно, она блудница...

Но она более обнажает свои пышные груди, крутые плечи, лебединую благородную шею.

– Я не блудница. Те – истощенные. Да и не рожают никогда, как перестают рождать ваши дочери, блудницы в девичестве и блудницы в замужестве. Я – настоящая древняя мать, сохранившаяся в народе и которая менее и менее показывается в ваших городах. Но я показалась и сижу. И не уйду. И не перестану петь... а вы тоже пойте. Но я пересилю вас...

Сухая и черная, с восковой свечечкой, – монашенка перевилась как змея с тельной пахучей матерью.

Так стильна одна!

Так стильна другая!

Монашенка ее жалит... Но та задавливает ее своим большим, белым телом.

Что выживет?

Скажем окончательно: выживет змея или буйволица?

– Мне... моему поклонение!

«Моему яду?» «Моей гибкости?»

– Мне и моему поклонение!

– Моему младенцу! Полномолочным грудям! Моему *всему*, мне *всей*!

– Ибо не для себя я живу... Или, правдивее, *для себя и не для себя*. Чем более я живу для себя, для своей похоти, для своей натуры, для «всей» себя, тем более *в этом самом* я живу для мира, наполняю его, насыщаю, накормляю, лью вокруг себя счастье, радость, заботу, труд, нити бесконечного удлинения, протягивающиеся во весь мир и весь его переплетшие одною связною и прочною тканью.

– Весь мир я выткала из себя...

– Из своей похоти... Посмотрите, как я пахуча: но и весь мир пахуч, пока он жив, только мертвые цветы ничем не пахнут. Вы (молящимся) принесли свои молитвы в сухой гербарий, в кабинет ученого ботаника; я выведу вас в пахучий сад, – вот место для молитв!

– Они будут другие, не из сухих слов... Вы так привыкли молиться сухими словами, – только сухими, одними сухими, – что там, где нет этой *сухости, безжизненности*, – там всем представляется и отсутствие молитвы, и даже отсутствие Бога. В гербарии ли Бог или в том саду, из которого ботаник взял цветы и засушил их? Бог – в живом, в пахучем. Он не Бог пустынь и бесплодного песка, а сырой пахучей земли, зеленых трав, ароматистых цветов.

– Он в сосне!

– Он в звезде!

– Он в труде и поте людском! Но *начинается* всякий труд для младенца, который не может накормить себя; *начинается* вся цивилизация с моего чрева и моих грудей, носящего младенца и кормящих младенца! *Отсюда* – все, *для этого* – первоначально все!

– И уж если кого из существ назвать «близким Богу», «угодным Богу», – если наречь кого «ангелом», как нарекли себя монахи*, то вот вам «ангел» – я, мать; просто Мать – всякая, каждая! Мы *все*, изводящие из себя род людской, основоположницы цивилизаций!

Был Бог...

И еще не было ничего...

Он сотворил Мать, и стало все...

Мать и есть «посредница» между Богом и миром, – «посредница», т. е., в точности, ангел, по греческому значению этого слова, имени, чина мировой иерархии...

– Поверните ваши молитвы...

– Измените ваших богов...

– Перемените ваши храмы-гербарии на храмы-сады, храмы-леса...

Разве не помните, что такое *колонна* в храме, как не позднее, декадентское преобразование *древесного ствола*: первые молитвы были среди *древесных стволов* и уже потом среди *колонн*, в замкнутом помещении...

* «Мы, иноки, – *земные ангелы, небесные человеки*», – присловье в монастырях, триумф монастырской жизни.

Пластинка кончилась... Звук оборвался... Я остановился... Дверь отворилась, и вошедшая в комнату англичанка сказала, что «bebe» проснулось...

– Ах, «бебе» вместо младенца... как «колонны» вместо древесных стволов... Да и всего-то я слушал граммофон... Но откуда же мне погрелилась Вечная Мать, когда и кое-то каких так мало?..

А ведь это не бабье дело – воскресить Вечную Мать: зовущий идеал Вечной Матери – *мужской* идеал. Мы, мужчины, хотим этого, хотя *исполнить* его может только женщина. Она *сделает* этот идеал. Но *сама* она носит и внутренне поклоняется...

Хоть «чему-нибудь» в мужском образе... Но зачем «чему-нибудь», когда могла бы Всему?..

В настоящем томе Собрания сочинений В. В. Розанова представлены статьи 1910 г., опубликованные автором в газетах, журналах, сборниках и не вошедшие в его книги.

В томе сохраняются те же принципы публикации и комментирования текстов, что и в ранее вышедших томах Собрания сочинений.

Принятые сокращения: НВ – «Новое Время»; РС – «Русское Слово»; Б. п. – без подписи.

В том не включены статьи Розанова 1910 г., уже опубликованные в вышедших томах Собрания сочинений:

Т. 1. Среди художников (1994) – Памяти Сергея Сергеевича Боткина (НВ. 1910. 31 янв.); Памяти В. Ф. Коммиссаржевской (РС. 1910. 14 февр.); Работы Голубкиной (НВ. 1910. 2 марта).

Т. 4. О писательстве и писателях (1995) – Амфитеатров (НВ. 1910. 13 мая); Виардо и Тургенев (РС. 1910. 20 мая); Бедные провинциалы (НВ. 1910. 11 июня); В домике Гёте (РС. 1910. 15 июля); Алексей Степанович Хомяков (РС. 1910. 23 сент.); Кончина Л. Н. Толстого (НВ. 1910. 8 ноября); Толстой в литературе (НВ. 1910. 9 ноября); Забытое возле Толстого... (НВ. 1910. 19 дек.); А. П. Чехов (Юбилейный чеховский сборник. М., 1910. С. 115–132).

Т. 7. Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского (1996) – Наш «Антоша Чехонте» (РС. 1910. 17 янв.); Наша русская анархия (Московский еженедельник. 1910. № 14. 3 апр.); Константин Леонтьев и его «почитатели» (Новое Слово. 1910. Июль. № 7).

На Новый год (с. 7)

НВ. 1910. 1 янв. № 12143. Б. п.

**М. П. Соловьев и К. П. Победоносцев
о бюрократии** (с. 9)

Новое Слово. 1910. Январь. № 1. С. 18–22.

...фантастическая «луна» у Гоголя, которую делал «гамбургский бочар». – Луна, которую «прескверно» делает в Гамбурге «хромой бочар», описана Н. В. Гоголем в повести «Записки сумасшедшего» (1835).

«О подразумеваемом смысле нашей монархии». – Позднее Розанов опубликовал эту работу в виде брошюры (СПб., 1912).

Нужда веры и форм ее (с. 15)
НВ. 1910. 3 и 4 янв. № 12145, 12146.

Эти заметки являются, по существу, продолжением статьи «Как люди русеют» (НВ.1909. 18 дек. – См.: Розанов В. В. Собр. соч. Т.19. Старая и молодая Россия. М., 2004).

Эртель, отсидевший в Петропавловке, окруженный друзьями полулегального характера... – Писатель А. И. Эртель за связь с революционерами-народниками в 1884 г. был арестован и заключен в Петропавловскую крепость, затем в 1885–1888 гг. находился в ссылке в Твери.

...в книге его писем... – Имеется в виду книга: Эртель А. И. Письма. Предисловие М. О. Гершензона. М., 1909.

Об одном великом непонимании (с. 19)
НВ. 1910. 8 янв. № 12150.

«Верую, Боже... помоги моему неверию!» – ср. Деян. 9, 3–22.

...о таких духовных «воздях» наших, как автор «Переписки с друзьями», «Дневник лишнего человека», «Много ли человеку земли надо» и «Смерть Ивана Ильича», как творец «Униженных и оскорбленных». – Имеются в виду произведения Н. В. Гоголя, И. С. Тургенева, Л. Н. Толстого и Ф. М. Достоевского.

Зеленая веточка (с. 23)
НВ. 1910. 19 янв. № 12161.

И вековые бегут / В пустынях римские дороги. – А. Н. Майков. Два мира (1882).

Как делали одного ученого... (с. 25)
НВ. 1910. 20 янв. № 12162.

...он написал... разбор-очерк... – Лопатин Н. Мистическая порнография // Утро России. 1910. 15 января. Через неделю газета «Утро России» опубликовала отклик на критическую статью Розанова «Как делали одного ученого...» (Розановская логика // Утро России. 1910. 22 января).

Обещающее начинание (с. 26)
РС. 1910. 21 янв. № 16. Подпись: В. Варварин.

В начале жизни школу помню я... – из одноименного стихотворения А. С. Пушкина (1830).

...«сорными травами», заглушающими рост зерна, о которых памятную притчу сказал сам Спаситель – ср. Мф. 13, 4–9.

На ходу корабля... (с. 29)
НВ. 1910. 24 янв. № 12166.

Включительно до «патронов не жалей»... – выражение петербургского генерал-губернатора Д. Трепова о подавлении уличных беспорядков в период Первой русской революции 1905 г. – в приказе полиции от 14 октября: «Холостых залпов не давать и патронов не жалеть».

Гаршин и его «Алый цветок»... – В рассказе В. М. Гаршина «Красный цветок» (1883) в аллегорической форме изображены благородство и жертвенность революционеров-народников.

Заблудились в трех соснах (с. 33)

РС. 1910. 24 янв. № 19. Подпись: В. Варварин.

...Константина Леонтьева... с брошюрой – «Наши новые христиане, гр. Л. Н. Толстой и Ф. М. Достоевский». – Леонтьев К. Н. Наши новые христиане. М., 1882.

Достоевский... в «Записной книжке»... «Леонтьеву на его мысль: не стоит добра желать миру, ибо сказано, что он погибнет...» – Розанов цитирует посмертно опубликованные записи Достоевского из «Дневника писателя 1881 г.» – см.: Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 27. Л., 1984. С. 51.

«По причине оставления одним супругом другого»... (с. 36)

РС. 1910. 27 янв. № 21. Подпись: В. Варварин.

...гоголевская ведьма в гробу, которая ловит живых... – см. Н. В. Гоголь. Вий (1835).

Заветы быта и труда (с. 40)

НВ. 1910. 28 янв. № 12170.

Многие письма Эртеля... – Эртель А. И. Письма. М., 1909. Статья продолжает размышления Розанова над письмами Эртеля, изложенные в работах «Как люди русеют» (НВ. 1909. 18 дек. № 12131 – см.: Розанов В. В. Собр. соч. Т. 19. Старая и молодая Россия. М., 2004) и «Нужда веры и форм ее» (НВ. 1910. 3 и 4 янв. – см. выше в наст. томе).

...«на заре туманной юности»... – А. В. Кольцов. Разлука. 1840.

...автор «Записок охотника»... – то есть И. С. Тургенев.

...«Наше преступление» г. Родионова – Родионов И. А. Наше преступление (Не бред, а быль). Из современной народной жизни. СПб., 1909.

...«мальчик без штанов», какого нам начертал Щедрин... – персонаж сказки М. Е. Салтыкова-Щедрина «Мальчик в штанах и мальчик без штанов» (1881) из цикла очерков писателя «За рубежом».

...«терпением изумляющий народ»... – Н. А. Некрасов. «Умру я скоро. Жалкое наследство...» (1867).

«Матушка казна» (с. 43)

НВ. 1910. 3 февр. № 12176.

Исторический «гений» Франции (с. 46)

НВ. 1910. 9 февр. № 12182.

Дружба народов (с. 48)

РС. 1910. 10 февр. № 32. Подпись: В. Варварин.

Эти дни приезда французских гостей в Россию... – с 6 по 15 февраля 1910 г. в России побывала делегация депутатов и сенаторов Франции во главе с президентом Межпарламентского союза мира бароном Д'Эстурнель де-Констаном. 9 февраля французская делегация посетила издательство и редакцию «Нового Времени».

Опять «праздники»... (с. 50)

НВ. 1910. 11 февр. № 12184.

Вопросу об обилии церковных «праздников», являвшихся нерабочими днями, Розанов посвятил ряд статей в марте–апреле 1909 г.: «Спор из-за хлебов (Открытое письмо еп. Никону о множестве праздников)», «Вопросы русского труда (Опыт ответа преосвященному Никону)», «О расстройстве трудового года», «Клерикализм в вопросе о праздниках». Статьи вызвали обсуждение в религиозной и светской печати – см.: *Розанов В. В.* Собр. соч. Т. 19. Старая и молодая Россия. М., 2004.

Где «болото», там и «черти»...

(К делу Ольги Штейн) (с. 51)

РС. 1910. 16 февр. № 37. Подпись: В. Варварин.

Есть речи – значение... – из одноименного стихотворения М. Ю. Лермонтова (1840).

...колесница волшебницы-царицы Маб – У. Шекспир. Ромео и Джульетта. Действие I, сцена IV (1595).

Блондины и брюнеты... (с. 56)

РС. 1910. 18 февр. № 39. Подпись: В. Варварин.

В славной в Муромской земле... – из одноименного стихотворения А. С. Пушкина (1833).

Взгляните на лилии полевые, – они прекраснее Соломона... – Мф. 6, 26–29.

С натуры (с. 59)

РС. 1910. 19 февр., 23 марта. № 40 и 67. Подпись: В. Варварин.

«Хищения» и новый строй (с. 66)

НВ. 1910. 23 февр. № 12196. Б. п.

Школьные течения наших дней (с. 69)

НВ. 1910. 27 февр. № 12200.

«Задуманное Слово» – еженедельный иллюстрированный журнал для детей, выходивший в Петербурге с 1876 по 1918 г. в двух выпусках: для младшего возраста и для старшего возраста.

Загадки русской провокации. Очерк (с. 73)

Новое Слово. 1910. Март. № 3. С. 4–10.

Из слов В. М. Дорошевича о провокации, помещенных в одном из недавних фельетонов «Русского Слова»... – см.: Дорошевич В. М. Путаница, или Который теперь год? Трагикомедия // Русское Слово. 1910. 10 января. № 7.

«Былое»... – журнал по истории революционного движения в России, издававшийся В. Л. Бурцевым за границей в 1900–1904 и 1908–1913 гг. В 1906–1907 гг. под редакцией В. Я. Богучарского и П. Я. Щеголева выходил в Петербурге.

«Поскобли русского – и увидишь татарина», – сказал, кажется, Наполеон – слова Наполеона из его бесед на о. Святой Елены. Розанов цитирует его по роману Ф. М. Достоевского «Подросток» (1875).

...зданию у Биржевого моста... – Имеется в виду III отделение собственной Его Императорского Величества канцелярии (жандармерия).

На родительском собрании (с. 83)

НВ. 1910. 3 марта. № 12203.

Статья является продолжением предыдущей – «Школьные течения наших дней» (НВ. 1910. 27 февр.), см. в наст. томе.

«Без цели и смысла...» (О самоубийствах) (с. 86)

НВ. 1910. 5 марта. № 12205.

О Тарновской (с. 90)

РС. 1910. 5 марта. № 52. Подпись: В. Варварин.

К пятому изданию «Вех» (с. 96)

Московский Еженедельник. 1910. 6 марта. № 10.

Стб. 34–46.

В журнале публикация сопровождается примечанием: «Печатаю интересную статью В. В. Розанова, редакция оставляет на ответственности автора многие из высказанных им мыслей».

...ропот на закон 3 июня... – Манифестом 3 июня 1907 г. была распущена 2-я Государственная Дума и был существенно изменен избирательный закон.

«Европеец»... – «Журнал наук и словесности», издававшийся в 1832 г. в Москве И. В. Киреевским.

По мне уж лучше пей, да дело разумеи... – И. А. Крылов. Музыканты (1808).

...В долгу ночь на ветке дремлет... – А. С. Пушкин. Цыганы (1814).

Об отроческом и юношеском чтении (с. 103)

НВ. 1910. 15 марта. № 12215.

В семье... Скотининых, Кит-Китыча... – Речь идет о действующих лицах комедий Д. И. Фонвизина «Недоросль» (1783) и А. Н. Островского «В чужом пиру похмелье» (1856).

...капитан Немо... – герой фантастических романов Жюль Верна «20 000 лье под водой» (1870) и «Таинственный остров» (1875).

Бесприютность молодежи (с. 106)

НВ. 1910. 16 марта. № 12216.

В письме 2-жи О. К. ... – О. К-ъ. К уменьшению самоубийств (Письмо в редакцию) // Новое Время. 1910. 14 марта. № 12214.

Профессионалы «благотворительности»

(К всероссийскому съезду по благотворительности в Петербурге) (с. 108)

РС. 1910. 17 марта. № 62. Подпись: В. Варварин.

К открытию Общества охранения женских прав (с. 110)

НВ. 1910. 25 марта. № 12225.

В родном гнезде (с. 113)

НВ. 1910. 29 марта. № 12229.

Апрельская книжка (с. 117)

НВ. 1910. 30 марта № 12230.

...Точно из Кюнера... – Речь идет о классических учебниках латинского языка: Руководство к изучению латинского языка, составленное по Кюнеру. Изд. 3-е. СПб., 1858; Кюнер Р., Кремер Я. Латинская грамматика с примерами и упражнениями. М., 1867.

Общество охранения женских прав (с. 118)

РС. 1910. 30 марта. № 72. Подпись: В. Варварин.

Почти непоправимое дело... (с. 125)

НВ. 1910. 6 апр. № 12237.

Новый Робинзон (с. 129)

НВ. 1910. 13 апр. № 12244.

...Н. Морозов... о чем-то совещался и что-то оспаривал и у Д. И. Менделеева... – По представлению Д. И. Менделеева Морозову была присуждена степень доктора наук (*honoris causa*) за исследование «Периодические системы строения вещества. Теория образования химических элементов» (М., 1907).

«Письма из Шлиссельбургской крепости»... – «Письма...» Н. А. Морозова к родным опубликованы в «Вестнике Европы». 1909. № 1–3, 5–7; отдельное издание – СПб., 1910.

Два «представительства» (с. 132)
Московский Еженедельник. 1910. 17 апр. № 16.
Стб. 34–38.

«Современник»... – ежемесячный журнал, издававшийся в 1847–1866 гг. в Петербурге Н. А. Некрасовым и И. И. Панаевым.

«Русское Богатство»... – литературный и общественно-политический журнал, издававшийся в 1876–1918 гг. в Петербурге; с 1890-х гг. – орган легального народничества.

Искупительные «жертвы» в истории... (с. 134)
НВ. 1910. 18 апр. № 12249. Б. п.

«Воскресение» в истории человечества (с. 137)
НВ. 1910. 18 апр. № 12249.

Чудо Востока (с. 142)
РС. 1910. 18 апр. № 89. Подпись: В. Варварин.

**Розовая повязка на глазах (К съезду
для борьбы с проституцией)** (с. 148)
НВ. 1910. 23 апр. № 12252.

**Физика и метафизика проституции
(К 1-му всероссийскому съезду
борьбы с проституцией)** (с. 151)
РС. 1910. 24 апр. № 93. Подпись: В. Варварин

**Галерея портретов русских
писателей г. Пархоменко** (с. 158)
Новое Слово. 1910. Май. № 5. С. 20–23.

Критик С. С. Голоушев отозвался на эту статью иронической репликой: «Писателям грозит нашествие художника Пархоменко. Кто такой Пархоменко, можете узнать из очерка, посвященного ему <...> В. Розановым, этим оригинальным писателем, столь легко иногда принимающим фонарь из промасленной бумаги за лучезарное солнце» (*Глаголь* С. [С. С. Голоушев]. «Галерея русских писателей» // Утро России. 1910. 15 июня. № 198).

...портрет «в. п. з. р.» – то есть портрет Л. Н. Толстого, «великого писателя земли русской».

Рассказы И. Л. Щеглова (с. 164)
НВ. Приложение. 1910. 1 мая. № 12260.

К памяти М. А. Врубеля (с. 165)
НВ. 1910. 4 мая. № 12263

К положению церковно-приходских училищ (с. 166)
НВ. 1910. 5 мая. № 12264. Б. п.

В театральном мире
(К гастрольям московского Художественного
театра в Петербурге) (с. 168)
РС. 1910. 8 мая. № 104. Подпись: В. Варварин.

Куда бы ты ни поспешал... – А. С. Пушкин. Красавица (1832).

Союз церкви и государства в сфере
народных училищ (с. 174)
НВ. 1910. 9 мая. № 12268. Б. п.

О необходимости вторичного съезда
по борьбе с проституцией (с. 176)
НВ. 1910. 11 мая. № 12270.

Г-жа Милюкова о съезде по борьбе
с проституцией (с. 179)
НВ. 1910. 14 мая. № 12273.

Г-жа Милюкова в пространном и пылком ответе... – Милюкова А.
В. Розанов о съезде по борьбе с проституцией // Речь. 1910. 12 мая. № 128.

Несправедливость (с. 182)
НВ. 1910. 21 мая. № 12280.

Варвара Александровна Рачинская
(Некролог) (с. 185)
НВ. 1910. 23 мая. № 12282.

Еще о неясности законодательного языка (с. 187)
НВ. 1910. 23 мая. № 12282.

Возражение «России» (с. 189)
НВ. 1910. 26 мая. № 12285.

Де-Ласси и Панченко (с. 191)
РС. 1910. 27 мая. № 120. Подпись: В. Варварин.

В литературной прачешной... (с. 196)

НВ. 1910. 1 июня. № 12291.

Посмертный труд Генри Драммонда (с. 199)

НВ. 1910. 4 июня. № 12294.

Его «Разговор на пристани», «Наше место в вечности»... – Кусков П. А. Наши идеалы. Разговор на палубе (Русское Обозрение. 1893. № 2); *Он же.* «Наше место в вечности» (Киев, 1907, издано без указания имени автора).

Молодые поэты (с. 200)

РС. 1910. 4 июня. № 126. Подпись: В. Варварин.

Алмазна сыплется гора... – Г. Р. Державин. Водопад (1798).

Среди газет и журналов (с. 206)

НВ. 1910. 4 июня. № 12294. Б. п.

Витте и Победоносцев

(К недавнему юбилею гр. С. Ю. Витте) (с. 206)

РС. 1910. 16 июня. № 136. Подпись: В. Варварин.

...Достоин слез и смеха... – А. С. Пушкин. Полководец (1835).

«Единое стадо» и неугомонный волк... (с. 214)

НВ. 1910. 18 июня. № 12307.

В «Современном Мире» напечатана... как поссорились... – <От редакции>. К читателям (По поводу обвинений газеты «Речь») // Современный Мир. 1910. Апрель. № 4. С. 120–130 (II пагинация); *Арсеньев К., Анненский Н., Венгеров С., Градовский Г., Кузьмин-Караваев В.* Решение суда чести по делу «Современного Мира» и «Речи» // Современный Мир. 1910. Май. № 5. С. 126–135 (II пагинация).

Вечерний звон, вечерний звон... – И. И. Козлов. Вечерний звон (1827).

...за подписью кроткого Батюшкова... статья... – Батюшков Ф. Спор о перепечатках и Пинкертон в литературе // Новая Русь. 1910. 12 апреля.

И долгие годы неслышно прошли... – М. Ю. Лермонтов. Три пальмы (1839).

Иные дни, иные силы... – ср. у А. С. Пушкина в «Путешествии Онегина» (1836): «Другие дни, другие сны...»

Они немножечко дерут, / Зато уж в рот хмельного не берут – И. А. Крылов. Музыканты (1808).

Посмертный том «Жизни и трудов Погодина»

Н. П. Барсукова (с. 221)

НВ. 1910. 25 июня. № 12314.

...первый том его «Thesaurus'a» русской литературы... – Барсуков Н. П. Жизнь и труды М. П. Погодина. Т. I. СПб., 1888.

...подобного «столпообразным руинам Грузии», о которых упоминает Лермонтов... – ср. М. Ю. Лермонтов. Демон (1841). У Лермонтова (ч.1, IV) – райны (т. е. пирамидальные тополя).

Из литературных впечатлений.

В Религиозно-философском обществе (с. 230)

Новое Слово. СПб., 1910. Июль. № 7. С. 22–24.

«Нет ничего в уме, чего бы не было в ощущениях»... – основное положение философии сенсуализма Джона Локка (Опыт о человеческом разуме, 1690).

Пограничные запахи (с. 233)

РС. 1910. 2 июля. № 150. Подпись: В. Варварин.

Летом 1910 г. (июль – первая половина августа) Розанов с женой совершил поездку в Германию – на лечебные ванны в Наугейм. Статьи о впечатлениях этой поездки тогда же печатались Розановым в «Новом Времени» и «Русском Слове». В настоящих комментариях к статьям о путешествии в Германию частично использованы комментарии В. Г. Сукача к «Германским впечатлениям (вторая поездка)» из книги: *Розанов В. В. Сочинения: Иная земля, иное небо...* Полное собрание путевых очерков 1899 – 1913 гг. М.: Танаис, 1994.

А оттого, что патриотки... – ср. А. С. Грибоедов. Горе от ума. Действие II (1824).

Дневник туриста (с. 235)

НВ. 1910. 6, 21, 26, 29 июля; 17 и 28 авг. № 12325, 12340, 12345, 12348, 12367, 12378.

Цикл из шести очерков, опубликованных Розановым под единым названием-рубрикой. При этом четыре очерка имели еще свои собственные названия-подзаголовки.

По Звенигородской улице, где я живу в Петербурге... – На Звенигородской улице, д. 18, кв. 23, Розановы снимали квартиру с 1910 по 1912 г. ...«не о хлебе едином жив бывает человек» – ср. Мф. 4,4; Лк. 4,4.

«Хвалите имя Господне, хвалите, раби Господа...» – самая торжественная часть всенощного бдения, напоминающая о радостном воскресении Христовом; называется полиелеем (многомаслием).

Зазвонили «к Достойной»... – хвалебная песнь Божией Матери «Достойно есть...», один из ключевых моментов литургии.

От этой «чаши св. Граля»... идет и музыка Вагнера. – Предание о св. Граале использовано Вагнером в драме-мистерии «Парсифаль» (1882).

...Христианский приют... – Эти приюты возникли в эпоху раннего Средневековья в горных местах Европы. Первоначально служили местом приюта странствующим монахам и путникам.

В Берлине (с. 258)

РС. 1910. 21 июля. № 166. Подпись: В. Варварин.

Берлинский университет – почти русский университет... – В 1830-х гг. в Берлинском университете слушали лекции такие представители русской культуры, как Т. Н. Грановский (1836–1838), И. В. Киреевский (1830), П. В. Киреевский (1829–1830), И. С. Тургенев (1838–1840), Н. В. Станкевич (1838–1839), М. А. Бакунин (1840).

...«Мне нужно было окунуться в Немецкое море». – И. С. Тургенев в «Литературных и житейских воспоминаниях» (1868) писал: «Я бросился вниз головою в «немецкое море», долженствовавшее очистить и возродить меня, и когда я наконец вынырнул из его волн – я все-таки очутился «западником», и остался им навсегда» (*Тургенев И. С. Полн. собр. соч. М., 1964. Т. 14. С. 9*).

Сладкое и горькое на Руси

(К истории проф. М. М. Тареева) (с. 260)

РС. 1910. 23, 27, 28 июля. № 168, 171, 172.

Подпись: В. Варварин.

...о профессоре... авторе четырехтомной книги... – *Тареев М. М. Основы христианства.* Сергиев Посад, 1908. В 1910 году вышел пятый, дополнительный том этого труда.

...«Песню буревестника»... – Речь идет о «Песне о Буревестнике» Горького (1901).

Из дел нашей школы (с. 278)

Новое Слово. 1910. Август. № 8. С. 23–27.

Он был семинарист, из старой «бурсы» Помяловского. – Имеются в виду «Очерки бурсы» (1862–1863) Н. Г. Помяловского.

В военном лагере римлян (с. 285)

РС. 1910. 6 авг. № 180. Подпись: В. Варварин.

Рим... все связал с собою; всех привязал к себе – ср. в трагедии А. Н. Майкова «Два мира» (1882):

Рим все собой объединил,
Как в человеке разум, миру
Законы дал и мир скрепил...

«Суть скопцы... ради Царства Небесного» – Мф. 19, 12.

...«плодитесь», «размножайтесь»... – Быт. 1, 28.

...будете как ангелы на небесах... – ср. Мф. 22, 30; Мк. 12, 25; Лк. 20, 36.

...«Царство Божие берется с усилием»... – ср. Мф. 11, 12; Лк. 16, 16.

«Сих есть царство небесное» – Мф. 19, 14; Мк. 10, 14; Лк. 18, 16.

Письмо в редакцию (с. 292)

НВ. 1910. 16 авг. № 12366.

Полупонятные руины (с. 293)

РС. 1910. 18 авг. № 189. Подпись: В. Варварин.

...русские богомольцы, искупавшись в «источнике св. Серафима Саровского». – Розанов с женой и двумя детьми в 1904 г. совершил поездку в Саров. Эта поездка описана им в очерке «По тихим обителям» (НВ. 1904, август – сентябрь), вошедшем в книгу «Темный лик» (см.: *Розанов В. В. Собр. соч. Т. 3. В темных религиозных лучах.* М., 1994).

Евреи и христиане. Очерк (с. 297)

Новое Слово. 1910. Сентябрь. № 9. С. 4–16.

...«Око за око, зуб за зуб»... – Исх. 21, 24.

...«душа того истребится»... – Лев. 22, 3.

...так тяжкий млат... – А. С. Пушкин. Полтава (1829). Гл. I.

...«хорошо деве остаться девою»... – ср. 1 Кор. 7, 25–26.

...«отдающий дочь замуж хорошо поступает, а не отдающий лучше поступает»... – 1 Кор. 7, 38.

Эти бедные селенья – из одноименного стихотворения Ф. И. Тютчева (1855).

...громадное исследование «Ветхозаветный храм»... – Олесницкий А. А. Ветхозаветный храм в Иерусалиме. СПб., 1889 (940 с., 75 л. ил.).

Метафизический разговор (с. 316)

РС. 1910. 4 сент. № 204. Подпись: В. Варварин.

...«Дух веет идеже хочет»... – Ин. 3, 8.

«Ищите прежде Царствия Божия и правды его»... – Мф. 6, 33.

«Будут поклоняться и не здесь, и не в Иерусалиме... в духе и истине»... – ср. Ин. 4, 21–23.

...«блаженны нищие»... – Мф. 5, 3; Лк. 6, 20.

...«оставьте мертвым погребать мертвецов своих, вы же идите за мною...» – ср. Мф. 8, 22; Лк. 9, 59–60.

Тьма... (с. 325)

НВ. 1910. 4 сент. № 12385.

...рассказанная... Богучарским в последней книжке «Русской Мысли» история...– Богучарский В. Я. Из истории политической борьбы в 80-х годах // Русская Мысль. 1910. № 4, 5, 8. В. Розанов цитирует помещенную в 8-й книге журнала главу 4-ю: «Деятельность народовольцев среди учащейся молодежи».

Вечное обновление и вечная старость
(К переработке гимназических программ) (с. 329)
НВ. 1910. 8 сент. № 12389.

Первые годы в школе (с. 331)
НВ. 1910. 13 сент. № 12394.

Юбилей образцовой школы (с. 333)
НВ. 1910. 16 сент. № 12397.

...десятилетие основания и открытия школы Левицкой в Царском Селе... –
В школе Е. С. Левицкой учились дочери Розанова Варвара и Вера.

Против течения
(Библиографическая заметка) (с. 336)
НВ. 1910. 20 сент. № 12401.

...«История цивилизации в Англии» – главный труд английского историка
Генри Т. Бокля (в 2 т. 1857–1861); русский перевод – 1861.

Мюнхенский монашенок (с. 338)
НВ. 1910. 21 и 22 сент. № 12402 и 12403.

...«мещанином во дворянстве»... – Имеется в виду название пьесы Молье-
ра (1670).
Вержболово – пограничная станция на западной границе России.

Не надо забывать доброго дела (с. 345)
РС. 1910. 25 сент. № 220. Подпись: В. Варварин.

В русских потемках (с. 347)
НВ. 1910. 2 окт. № 12413.

Продолжение статьи «Тьма...» (НВ. 1910. 4 сент.) – см. в настоящем томе
(с. 325).

Г-н Богучарский в новой книге «Русской Мысли» продолжает свой рас-
сказ... – Розанов далее цитирует главу 5 – «Связи народовольцев с обществом»
из воспоминаний В. Я. Богучарского (Русская Мысль. 1910. Сентябрь. № 9).

Страница из истории министерства
просвещения (с. 355)
РС. 1910. 6 окт. № 229. Подпись: В. Варварин.

«И вдунул в лицо его душу бессмертную»... – Быт. 2, 7.

Тоска по жертве (с. 359)

НВ. 1910. 8 окт. № 12419.

В знаменитом рассказе о жертвоприношении Исаака... – Быт. 22, 1–18.

Избегнутая ошибка (с. 363)

НВ. 1910. 13 окт. № 12424.

**О вещах бесконечных и конечных
(По поводу несостоявшегося «отлучения
от церкви» писателей)** (с. 365)

РС. 1910. 16 окт. № 238. Подпись: В. Варварин.

...«Болит ли кто из вас, да призовет пресвитера церковного» – Иак. 5, 14.

О деликатности и прочих мелочах (с. 369)

РС. 1910. 24 окт. № 245. Подпись: В. Варварин.

**Маленькое и крупное улучшение
в школьном преподавании** (с. 374)

НВ. 1910. 27 и 28 окт. № 12438 и 12439.

Вторая часть статьи (28 окт.) опубликована под названием: «Маленькое и крупное улучшение в школьном деле».

«Священная история Ветхого и Нового Завета» Рудакова – тоска... – Розанов иронически объединил «Священную историю Ветхого Завета» протоиерея А. П. Рудакова (СПб., 1897) и «Священную историю Ветхого и Нового Завета» протоиерея Д. П. Соколова (СПб., 1894). В статье «Культурно-религиозные вопросы» (НВ. 1906. 23 окт.) он уже упоминал этих авторов: «Все эти Соколовы и Рудаковы...» (см.: Розанов В. В. Собр. соч. Т. 16. Около народной души. М., 2003).

Художник-варвар кистью сонной... – А. С. Пушкин. Возрождение (1819).

Врут все календари... – А. С. Грибоедов. Горе от ума. Действ. III, явл. 21 (1824).

Художество испуга и мировой его смысл (с. 380)

НВ. 1910. 3 нояб. № 12445.

...«Мечта в шелку», в «Весах»... – Весы. 1905. Июль. № 7. С. 1–8.

Тогда пишу... /Пером сердитый водит ум... – М. Ю. Лермонтов. Журналист, читатель и писатель (1840).

**Язычество и христианство в Ясной Поляне
(К уходу Л. Н. Толстого)** (с. 383)

РС. 1910. 4 нояб. № 254. Подпись: В. Варварин.

**Запутавшееся дело (К законопроекту о раздельном
жизельстве супругов) (с. 389)**
НВ. 1910. 5 нояб. № 12447.

Где же «покой» Толстому? (с. 393)
НВ. 1910. 6 нояб. № 12448.

Перед гробом Толстого (с. 394)

Статья была подготовлена Розановым для газеты «Русское Слово» и подписана – В. Варварин, но в печати не появилась. Печатается впервые по рукописи, хранящейся в РГАЛИ (Фонд 419. Оп. 1; Ед. хр. 199; Л. 80–85).

...предисловие к «Токологии» 2-жи Стокэм... – Л. Н. Толстой. Предисловие к книге доктора медицины Алисы Б. Стокэм «Токология, или Наука о рождении детей» (1890).

Речи в «Речи» (с. 395)
НВ. 1910. 10 нояб. № 12452. Подпись: Panda.

«Речь»... посылает своего сотрудника к некоему «сановнику» с запросом об отношениях Толстого к церкви... – Речь. 1910. 9 ноября. № 306 – статья «Ошибки иерархов (Из бесед)». Подписана: Г-ть.

...Мережковский, напр., в том же № «Речи»... – Мережковский Д. С. Смерть Толстого // Речь. 1910. 9 ноября.

**Пассивное и активное отношение
к злодеяниям в семье (с. 397)**
НВ. 1910. 12 нояб. № 12454.

Я сказал, что только один ритуал венчания... – Данная статья продолжает размышления, изложенные в статье «Запутавшееся дело» (НВ. 1910. 5 нояб.) – см. в настоящем томе (с. 389).

...«Тайна сия велика есть... по образу (отношений) Христа и церкви» – Еф. 5, 31–33.

...«Муж должен любить жену, как Христос возлюбил церковь» – Еф. 5, 25.

**Л. Н. Толстой и Н. Я. Грот
(Предсмертные мысли Л. Н. Толстого) (с. 399)**
РС. 1910. 14 нояб. № 263. Подпись: В. Варварин.

Вышла книга о... Николае Яковлевиче Гроде. Она составлена его братом, проф. Констант. Яковл. Гротом... – Николай Яковлевич Грот в очерках, воспоминаниях и письмах товарищей, учеников, друзей и почитателей. СПб., 1911. Книга вышла в ноябре 1910 г.

Права семьи в браке (с. 407)

НВ. 1910. 17 нояб. № 12459.

«Родовое начало» в истории (с. 410)

НВ. 1910. 21 нояб. № 12463.

Литературные и политические афоризмы

(Ответ К. И. Чуковскому и П. Б. Струве) (с. 412)

НВ. 1910. 25, 28 нояб., 9 дек. № 12467, 12470, 12481.

Критика... (К. И. Чуковский)... спрашивает...ответа. – Чуковский К. И. Открытое письмо В. Розанову // Речь. 1910. 24 октября.

И я люблю – люблю мечты моей создание – ср. М. Ю. Лермонтов. «Как часто пестрою толпою окружен...» (1840).

...Струве...написал в ноябрьской книжке «Русской Мысли» что-то вроде «литературного портрета» моего... – Струве П. Большой писатель с органическим пороком. Несколько слов о В. В. Розанове // Русская Мысль. 1910. № 11. Отд. II. С. 138–146.

...«старый король в Фуле»... – И. В. Гёте. Фауст (1808–1831).

Таков, Фелица, я развратен. – Г. Р. Державин. Фелица (1782).

Скука, холод и гранит... – А. С. Пушкин. «Город пышный, город бедный...» (1828).

Усердствующий Митрофан (с. 424)

РС. 1910. 2 дек. № 278. Подпись: В. Варварин.

Один господин... вошел куда-то с «ходатайством о пресечении»... – Речь идет о неоднократных публичных выступлениях саратовского епископа Гермона (в частности, на миссионерском съезде в Казани, сентябрь – октябрь 1910) о том, что такие писатели, как Л. Андреев, М. Протопопов, В. Розанов, «являются по духу и направлению сущими язычниками» и их следует отлучить от церкви.

Социализм во Франции и везде (с. 425)

Жизнь. Симбирск. 1910. 11 дек. № 6.

В этом же номере газеты «Жизнь» помещены две заметки с обсуждением работы Розанова: «К статье Розанова» – подпись: *Редактор* и «По поводу статьи В. Розанова и еще кое о чем» – подпись: *Максим*.

Жизнь и счастье (с. 428)

НВ. 1910. 14 дек. № 12486. Б. п.

Открытое письмо А. Пешехонову и вообще нашим «социал-сутенерам» (с. 429)

НВ. 1910. 15 дек. №12487.

... г. Пешехонов... на страницах «Русск. Вedom.»... – Пешехонов А. В. Отклики жизни. Бесстыжее светило, или Изобличенный двурушник // Русские

Ведомости. 1910. 2 декабря. Статья Розанова вызвала ответную реплику Пешехонова – *Пешехонов А. В.* Вместо ответа г. Розанову // Русские Ведомости. 1910. 17 декабря.

Доброе начинание (с. 431)

НВ. 1910. 16 дек. № 12488.

Толстой и крапивенские аборигены (с. 432)

НВ. 1910. 17 дек. № 12489.

Рафаэлевское и рембрандтовское христианство (с. 436)

РС. 1910. 25 дек. № 298. Подпись: В. Варварин.

В простом углу моем, средь медленных трудов... – А. С. Пушкин. Мадонна (1830).

О, поле, поле! Кто тебя/ Усеял мертвыми костями. – А. С. Пушкин. Руслан и Людмила. Песнь III (1820).

Рождество Христово (с. 443)

НВ. 1910. 25 дек. № 12497. Б. п.

Д. Шестаков. Исследования в области греческих народных сказаний о святых (с. 446)

НВ. 1910. 29 дек. № 12499.

...«как вы да я». – А. С. Пушкин. Евгений Онегин. VIII, 8.

<Предисловие к книге Р. Борхардта> (с. 447)

Борхардт Р. Книга Иорам / Пер. Александра Элиасберга. СПб.: Пантеон. 1910. С. 5–9.

В Главное управление по делам печати книга поступила между 24 сентября и 8 октября 1909 г.

Вечерком (с. 449)

Женщина. Литературно-художественный альманах. М.: Заря. 1910. [Кн. 1]. С. 119–129.

La donna e mobile... – песенка герцога («Сердце красавиц...») из оперы Дж. Верди «Риголетто» (1851).

В. Н. Дядичев

- Абрикосов* Алексей Алексеевич, промышленник и меценат, основатель журнала «Вопросы философии и психологии» (1889–1918) – 405
- Август* Гай Юлий Цезарь Октавиан (63 до н. э. – 14 н. э.), римский император (с 27 до н. э.) – 147, 291, 401
- Августин* Аврелий (354–430), христианский теолог и церковный деятель, философ, писатель – 27, 445
- Аверроэс* (Ибн Рушд) (1126–1198), арабский философ и врач – 264, 267
- Авиценна* (Ибн Сина) (ок. 980–1037), ученый, философ, врач, музыкант, жил в Средней Азии и Иране – 264
- Авраам*, в Ветхом Завете старший из патриархов, прародитель еврейского народа – 303, 309, 314, 315
- Аврелий* Марк (121–180), римский император (с 161) и философ-стоик – 290, 291
- Адриан* (Андрей) (1627–1700), последний досонодальный патриарх Московский и вся Руси (с 1690) – 391
- Азеф* Евно Фишелевич (1869–1918), один из основателей и лидеров партии эсеров, был секретным сотрудником департамента полиции (с 1893), разоблачен в 1908 г., умер за границей – 9, 73, 74, 76
- Айвазов* Иван Георгиевич (1872–?), православный миссионер и писатель – 275
- Айзман* Давид Яковлевич (1869–1922), прозаик и драматург – 103
- Айша* (613–678), младшая жена Магомета (Мухаммеда) – 144
- Аксаков* Иван Сергеевич (1823–1886), публицист, поэт, общественный деятель, издатель, идеолог славянофильства – 351, 352, 405
- Аксаков* Константин Сергеевич (1817–1860), публицист, критик, историк, лингвист, поэт, идеолог славянофильства – 132
- Аксаковы* – 229
- Александр I* (1777–1825), российский император (с 1801) – 11, 52, 125, 224, 327
- Александр II* (1818–1881), российский император (с 1855) – 41, 68, 241, 355
- Александр III* (1845–1894), российский император (с 1881) – 68, 69, 241, 328, 352, 355, 400
- Александра Федоровна* (наст. имя Алиса Виктория Елена Луиза Беатриса Гессен-Дармштадтская) (1872–1918), российская императрица, жена Николая II (с 1894) – 240
- Алексей Михайлович* (1629–1676), царь (с 1645) – 44, 268
- Алексий* (Алексей) (90-е гг. XIII в. – 1378), митрополит Русской православной церкви (с 1354) – 174
- Алкивиад* (ок. 450–404 до н. э.), афинский стратег (главнокомандующий) (с 421) в период Пелопоннесской войны – 21, 23, 99
- Алмазов* Александр Иванович (1859–?), религиозный писатель – 447
- Альбов* Михаил Нилович (1851–1911), писатель – 159
- Амвросий Оптинский* (Александр Михайлович Гренков) (1812–1891), иеросхимонах, старец Оптиной пустыни, православный подвижник – 27
- Анакреон* (Анакреонт) (ок. 570–478 до н. э.), древнегреческий поэт – 291
- Анаксагор* (ок. 500–428 до н. э.), древнегреческий философ – 257
- Андреев* Леонид Николаевич (1871–1919), писатель – 69, 103, 200, 219, 363, 364, 424
- Анна*, в Новом Завете иудейский первосвященник, назначенный римлянами (6 до н. э. – 15 н. э.) – 400
- Анна Иоанновна* (1693–1740), российская императрица (с 1730), племянница Петра I – 193, 308
- Анрен* Василий Константинович (1852–1927), профессор судебной медицины, депутат III Государственной думы – 148
- Антонин* (Александр Андреевич Грановский) (1865–1927), епископ Нарвский, vikарий Санкт-Петербургской епархии (с 1903), на покое по болезни (1908–1913), епископ Владикавказский (1913–1917) – 17

- Антонин Пий* (86–161), римский император (с 138) – 290, 291
- Антонов Н.*, протоиерей, религиозный писатель – 375, 377, 379
- Антонович Владимир Бонифатьевич* (1834, по др. данным 1830–1908), историк, археолог – 346
- Аполлоний Пергский* (ок. 260–170 до н. э.), древнегреческий математик и астроном – 263
- Аракчеев Алексей Андреевич* (1769–1834), политический и военный деятель, пользовался большим влиянием при Александре I – 125, 328
- Арий* (ок. 260/280–336), пресвитер в Александрии, основатель еретического течения в христианстве – арианства – 363, 365
- Аристотель* (384–322 до н. э.), древнегреческий философ и ученый-энциклопедист – 264, 267, 306, 337, 355, 367, 403, 437
- Арсений Мацевич* (ум. 1780), митрополит Ростовский и Ярославский, был лишен сана, скончался в крепости – 308, 309
- Арсеньев Константин Константинович* (1837–1919), публицист, юрист, политический и общественный деятель – 351–353
- Артуа Шарль* (1757–1836), граф, французский политический деятель, ставший королем Карлом X (1824–1830), из династии Бурбонов – 431
- Арциховский Владимир Мартынович*, профессор политехникума в Новочеркасске – 334
- Арцыбашев Михаил Петрович* (1878–1927), писатель, с 1923 г. в эмиграции – 162, 363, 424
- Аскольдов* (наст. имя и фам. Сергей Алексеевич Алексеев) (1871–1945), философ, умер в Германии – 230
- Аскоченский* (наст. фам. Оскошный, затем Отскоченский) Виктор Ипатьевич (1813–1879), писатель, историк, журналист, магистр богословия, издатель еженедельника «Домашняя беседа» (1858–1877) – 132
- Аспазия* (Аспасия) (р. ок. 470 до н. э.), афинская гетера, с 445 до н. э. жена Перикла – 257
- Афанасий Великий* (ок. 295–373), христианский теолог и писатель, епископ Александрийский (с 328) – 365
- Бабёф Грах* (наст. имя Франсуа Ноэль) (1760–1797), французский революционер, руководил подготовкой восстания, казнен – 425
- Байрон Джордж Ноэль Гордон* (1788–1824), английский поэт, член палаты лордов (1809) – 203, 417
- Баранов В. О.*, доктор философии – 428
- Баранцевич Казимир Станиславович* (1851–1927), писатель – 159
- Барков Иван Семенович* (ок. 1732–1768), поэт и переводчик, считается автором непристойных стихов, расхваливавшихся в списках – 154, 156
- Барсуков Александр Платонович* (1844–1914), историк – 221
- Барсуков Николай Платонович* (1838–1906), историк литературы и общественной мысли, археограф, библиограф, издатель – 221–229
- Батюшков Федор Дмитриевич* (1857–1920), историк литературы, критик и публицист, общественный деятель – 215–220
- Беатриче* (Беатриче Портинари) (1265/1267–1290), флорентийка, идеальная возлюбленная Данте – 154
- Бекет Фома* (Томас) (1118–1170), архиепископ Кентерберийский (с 1162), канцлер Англии (с 1155) – 272, 273
- Белинский Виссарион Григорьевич* (1811–1848), литературный критик, мыслитель, общественный деятель – 216–219, 221, 229
- Белкин А. В.*, университетский товарищ Розанова – 351
- Беляев И. А.*, протоиерей – 333
- Бенеке Фридрих Вильгельм* (1824–1882), немецкий врач – 242, 243
- Бентовин Б.*, врач, автор книги о проституции малолетних – 178, 181
- Берг Федор Николаевич* (1839–1909), поэт, прозаик, переводчик, редактор журналов «Нива» (1878–1887) и «Русский вестник» (1887–1895) – 12
- Бессонов Петр Алексеевич* (1827–1898), филолог и этнограф – 57
- Бестужев-Рюмин Константин Николаевич* (1829–1897), историк, публицист, издатель, общественный деятель, основатель и руководитель (1877–1882) Высших женских курсов в Петербурге – 190
- Бетховен Людвиг ван* (1770–1827), немецкий композитор – 252, 254, 317

- Бехтерев* Владимир Михайлович (1857–1927), невролог, психиатр, психолог, основатель научной школы – 148–150, 162
- Бисмарк* Отто фон Шёнхаузен (1815–1898), первый рейхсканцлер Германской империи (1871–1890) – 12, 42, 101
- Богучарский* В. (наст. имя и фам. Василий Яковлевич Яковлев) (1860, по др. данным 1861–1915), публицист, историк российского революционного движения, издатель – 325, 347–349, 351, 354
- Бокль* Генри Томас (1821–1862), английский историк и социолог – 8, 70
- Болейн* Анна (ок. 1507–1536), вторая жена Генриха VIII (с 1533) – 144
- Бональд* Луи Габриель Амбруаз (1754–1840), французский философ, политический деятель, публицист – 97
- Борк* (Бёрк) Эдмунд (1729–1797), английский политический деятель и писатель, идеолог консерватизма – 99
- Боровитинов* М. М., участник съезда по борьбе с проституцией – 177, 182
- Бородаевский* Валериан Валерианович (1874, по др. данным 1875–1923), поэт – 200, 202, 203
- Борхардт* Рудольф, немецкий писатель, автор рассказов на библейские темы – 447
- Боссюэт* (Боссюз) Жак Бенинь (1627–1704), французский католический деятель, теолог, писатель – 47
- Ботта* Поль Эмиль (1802–1870), французский археолог – 202
- Брешковская* (Брешко-Брешковская) (урожд. Вериго) Екатерина Константиновна (1844–1934), политическая деятельница, сначала примыкала к народникам, затем стала одним из организаторов и лидеров партии эсеров, в 1874–1896, 1907–1917 гг. на кааторге, в тюрьмах, ссылке, с 1919 г. в эмиграции – 75
- Бриан* Аристид (1862–1932), французский политический деятель, неоднократно (1909–1931) премьер-министр – 426, 427
- Бриллиантов* Александр Иванович (1867–1933), богослов, историк философии, профессор Санкт-Петербургской духовной академии – 162
- Бруш* Генрих Карл (1827–1894), немецкий египтолог – 204
- Бруно* Джордано (1548–1600), итальянский философ и поэт – 267, 268, 270, 274
- Брюсов* Валерий Яковлевич (1873–1924), поэт, критик, переводчик, общественный деятель – 206
- Буало* Никола (1636–1711), французский поэт, теоретик классицизма – 47, 145
- Будда* (букв. просветленный), имя, полученное основателем буддизма Сидхартхой Гаутамой (623–544 до н. э.), одно из его имен – Шакьямуни («отшельник из шакьев») – 146, 403
- Булгаков* Сергей Николаевич (1871–1944), философ, экономист, затем богослов, священник – 275
- Булгарин* Фаддей (Тадеуш) Венедиктович (1789–1859), писатель, журналист, критик, издатель – 31
- Буль*, исследователь Ветхого Завета – 312
- Буренин* Константин Петрович (ум. 1882), составитель учебников по алгебре и другим предметам, вместе с А. Ф. Малиновым – 369
- Бурцев* Владимир Львович (1862–1942), публицист, участник революционного движения, издатель историко-революционного журнала (вначале сборник) «Былое», разоблачитель агентов окранки (Азефа и др.), в основном в эмиграции – 73, 75–77, 80, 352
- Буслаев* Федор Иванович (1818–1897), языковед, фольклорист, литературовед, историк искусства – 282
- Бутлеров* Александр Михайлович (1828–1886), химик-органик, основатель научной школы – 435
- Бутурлин* Василий Дмитриевич (ум. 1910), граф, гвардейский офицер – 193–195
- Бэкон* Фрэнсис (1561–1626), английский философ и политический деятель – 404
- Бюффон* Жорж Луи Леклерк (1707–1788), французский естествоиспытатель – 218
- Бюхнер* Людвиг (1824–1899), немецкий естествоиспытатель и философ – 8
- Вагнер* Рихард (1813–1883), немецкий композитор, дирижер, реформатор оперного искусства – 119, 165, 247, 249, 250, 253, 254
- Валленштейн* Альбрехт (1583–1634), полководец, имперский главнокоман-

- дующий в Тридцатилетней войне (1618–1648) – 339
- Ванновский* Петр Семенович (1822–1904), генерал от инфантерии, военный министр (1882–1897), министр народного просвещения (1901–1902) – 330
- Василий Великий* (Василий Кесарийский) (ок. 330–379), христианский церковный деятель и богослов – 27
- Васнецов* Виктор Михайлович (1848–1926), живописец – 245
- Введенский* Александр Иванович (1856–1925), философ, председатель Санкт-Петербургского философского общества (1897–1917) – 162
- Введенский* Алексей Иванович (1861–1913), философ, богослов, публицист – 162
- Вейдт*, австрийская певица – 253
- Вейнингер* Отто (1880–1903), австрийский философ – 26
- Венгеров* Семен Афанасьевич (1855–1920), историк литературы и библиограф – 70, 217–220
- Верн Жюль* (1828–1905), французский писатель – 106, 450
- Вильгельм II Гогенцоллерн* (1859–1941), германский император и прусский король (1888–1918) – 234, 291
- Витте* Сергей Юльевич (1849–1915), председатель Комитета министров (с 1903), Совета министров (1905–1906), под его руководством составлен Манифест 17 октября 1905 г., мемуарист – 14, 206–211, 213, 214, 420
- Владимир* (Всеволод Владимирович Путья) (1869–?), епископ Кронштадтский (1907–1910) – 317
- Владимир I* (Владимир Святой) (ум. 1015), великий князь Киевский (с 980), ввел в качестве государственной религии христианство (988–989) – 288, 432
- Вогюз Эжен Мелькиор де* (1848–1910), французский писатель и историк литературы, секретарь посольства Франции в России, пропагандировал русскую классическую литературу на Западе – 49
- Вольнский* Аким Львович (наст. имя и фам. Хаим Лейбович Флексер) (1861–1926), критик, публицист, историк и теоретик искусства – 159
- Волынский* Артемий Петрович (1689–1740), кабинет-министр при Анне Иоанновне (с 1738), был обвинен в измене и казнен – 418
- Вольный* Константен Франсуа де Шассебёф (1757–1820), французский философ и писатель – 97
- Вольтер* (наст. имя и фам. Франсуа Мари Аруэ) (1694–1778), французский писатель и философ-просветитель – 47, 85, 97, 230, 264, 345, 409, 434
- Воронцов-Дашков* Илларион Иванович (1837–1916), наместник на Кавказе, главнокомандующий войсками Кавказского военного округа (1905–1915) – 37
- Востряков* Б. Д., корреспондент А. И. Эргеля – 16
- Врубель* Михаил Александрович (1856–1910), живописец – 165
- Вундт* Вильгельм (1832–1920), немецкий психолог, физиолог, философ, языковед – 404, 406
- Вышнеградский* Иван Алексеевич (1831/1832–1895), министр финансов (1888–1892), основатель научной школы по конструированию машин – 207, 208
- Вяземский* Петр Андреевич (1792–1878), поэт и литературный критик – 223, 224
- Галилей* Галилео (1564–1642), итальянский ученый, один из основоположников точного естествознания – 143, 265, 267, 268, 270
- Галич* (наст. фам. Габрилович) Леонид Евгеньевич (1878–1953), критик, публицист – 162
- Ганнибал* (247/246–183 до н. э.), карфагенский полководец, боровшийся с Римом – 342
- Гано* Адольф (1804–1887), французский физик – 406
- Гапон* Георгий Аполлонович (1870–1906), священник, организатор «Собрания русских фабрично-заводских рабочих Петербурга», инициатор шествия к Зимнему дворцу 9 января 1905 г., был разоблачен эсерами как провокатор, повешен – 86
- Гарнак* Адольф (1851–1930), немецкий протестантский теолог и историк церкви – 276, 321
- Гартман* Эдуард (1842–1906), немецкий философ, сторонник панпсихизма – 8
- Гаршин* Всеволод Михайлович (1855–1888), писатель и критик – 33

- Гегель Георг Вильгельм Фридрих (1770–1831), немецкий философ – 8, 288, 365, 403
- Гедройц Сергей (в качестве псевд. взято имя умершего брата, наст. имя Вера Игнатьевна) (1876–1932), писательница, врач – 200, 203, 204
- Гейне Генрих (1797–1856), немецкий поэт и публицист – 54, 95
- Гексли Томас Генри (1825–1895), английский биолог, пропагандист дарвинизма – 8
- Гельмгольц Герман Людвиг Фердинанд (1821–1894), немецкий физик, физиолог, биофизик, психолог – 227, 259
- Гельфман Геся Мироновна (1855–1882), член партии «Народная воля», участница покушения на Александра II – 421
- Генрих VIII (1491–1547), английский король (с 1509), из династии Тюдоров – 123, 144
- Георгиевский Александр Иванович (1830–1911), председатель Ученого комитета Министерства народного просвещения (1873–1898), автор исторических и педагогических трудов – 278
- Гераклит (ок. 576 – ок. 480 до н. э.), древнегреческий философ – 418
- Германик (15 до н. э. – 19 н. э.), римский полководец, консул (12 н. э.) – 291
- Гермоген (Георгий Ефремович Долганев) (1858–1918), епископ Саратовский и Царицынский – 363
- Герцен Александр Иванович (1812–1870), писатель, публицист, философ, общественный деятель – 21, 70, 132, 229
- Гершель Фридрих Уильям (1738–1822), английский ученый, основоположник звездной астрономии – 260
- Гершензон Михаил Осипович (1869–1925), историк русской литературы и общественной мысли, публицист, философ, переводчик – 97, 162
- Гершуни Григорий Андреевич (1870–1908), один из организаторов и лидеров партии эсеров, с 1906 г. в эмиграции – 75
- Герье Владимир Иванович (1837–1919), историк, основатель и руководитель (1872–1905) Высших женских курсов в Москве – 162, 190, 351–353
- Гёте Иоганн Вольфганг (1749–1832), немецкий писатель, мыслитель, естествоиспытатель – 203
- Гизо Франсуа (1787–1874), французский историк – 151
- Гилевич Андрей, инженер, аферист и убийца – 91
- Гинцбург Илья Яковлевич (1859–1939), скульптор – 163
- Глаголев Сергей Сергеевич (1865–?), профессор Московской духовной академии, его воспоминания «О графе Л. Н. Толстом» вышли в 1911 г. – 432
- Глинский Борис Борисович (1860–1917), историк и публицист – 328
- Глубоковский Николай Иканорович (1863–1937), богослов и историк церкви – 162
- Гнедич Николай Иванович (1784–1833), поэт и переводчик – 186
- Гоголь Николай Васильевич (1809–1852), писатель – 9, 10, 15, 31, 39, 58, 59, 73, 74, 90, 95, 134, 163, 164, 223, 228, 340, 393, 417, 418, 435
- Голенищев Владимир Семенович (1856–1947), египтолог – 358
- Голицын Александр Николаевич (1773–1844), обер-прокурор Синода (1803–1817), министр духовных дел и народного просвещения (1817–1824) – 125
- Головин (Головинин) Александр Васильевич (1821–1886), министр народного просвещения (1861–1866) – 330
- Гомер, полулегендарный древнегреческий эпический поэт – 186, 187
- Гончаров Иван Александрович (1812–1891), писатель – 8, 43, 90, 161, 275
- Горемыкин Иван Логгинович (1839–1917), председатель Совета министров (1906, 1914–1916) – 11
- Горький Максим (наст. имя и фам. Алексей Максимович Пешков) (1868–1936), писатель, публицист, общественный деятель – 69, 237, 267, 272, 353, 413, 424
- Грахи, братья: Тиберий (162–133 до н. э.) и Гай (153–121 до н. э.), римские трибуны, погибли при проведении реформ – 23
- Грановский Тимофей Николаевич (1813–1855), историк и общественный деятель – 8, 229, 258
- Гретц (Грец) Генрих (1817–1891), немецкий историк, родом из Польши, автор книг по истории евреев – 312, 314
- Грибоедов Александр Сергеевич (1790, по др. данным 1795–1829), писатель и дипломат – 10, 15, 73, 74, 134, 234

Грифт, немецкий певец – 253

Грот Джордж (1794–1871), английский историк и политический деятель, автор «Истории Греции» (12 т., 1845–1855) – 103

Грот Константин Яковлевич (1853–1934), историк, филолог-славист – 399, 401, 405–407

Грот (урожд. Семенова) Наталья Петровна (1825–1899), жена Я. К. Грота – 400

Грот Николай Яковлевич (1852–1899), философ – 399–404, 406

Грот Яков Карлович (1812–1893), языковед, историк литературы, переводчик – 400

Грузинский Алексей Евгеньевич (1858–1930), литературовед и педагог – 283

Гумбольдт Александр (1769–1859), немецкий естествоиспытатель, географ, путешественник – 258, 259

Гумбольдт Вильгельм (1767–1835), немецкий филолог, философ, языковед, политический деятель, дипломат – 258, 259

Гунтер-Браун, немецкий певец – 253

Гурко Владимир Иосифович (1862–1927, по др. данным 1931), товарищ министра внутренних дел (1906) – 77

Гурлянд Илья Яковлевич (1868 – после 1921), писатель, историк, критик – 420

Гус Ян (1371–1415), чешский религиозный реформатор – 143

Густав II Адольф (1594–1632), шведский король (с 1611), из династии Ваза, полководец – 339

Гюго Виктор Мари (1802–1885), французский писатель – 293

Давид, царь Израильско-Иудейского государства (ок. 1004 – ок. 965 до н. э.) – 291, 307, 404, 406

Давидов Август Ольевич (1823–1885), математик, профессор Московского университета – 313

Даль Владимир Иванович (1801–1872), писатель, лексикограф, этнограф, врач – 432

Данилевский Николай Яковлевич (1822–1885), социолог, философ, естествоиспытатель, публицист – 20, 197

Данте Алигьери (1265–1321), итальянский поэт и политический деятель – 11, 154, 322

Дантон Жорж Жак (1759–1794), один из вождей якобинцев во время Французской революции кон. XVIII в. – 353

Дарвин Чарлз Роберт (1809–1882), английский естествоиспытатель – 8, 47, 82, 409, 428, 433

Дегаев Сергей Петрович (1857–1920), народоволец и агент петербургской охранки, разоблачен в 1883 г., жил за границей – 74

Декарт Рене (1596–1650), французский философ, математик, естествоиспытатель – 46, 428

Де-Ласси (О’Бrien де-Ласси) Патрикей Петрович, граф, приговорен к каторге по делу об убийстве Бутурлина – 191–196

Деянов Иван Давыдович (1818–1897), министр народного просвещения (с 1882) – 330, 399, 400

Демосфен (ок. 384–322 до н. э.), афинский оратор и политический деятель – 144, 282, 283

Демчинский Николай Александрович (1851–1914/1915), публицист, писатель, изобретатель, инженер – 132

Державин Гавриил (Гаврила) Романович (1743–1816), поэт и политический деятель – 203, 415

Джеймс (Джеймс) Уильям (1842–1910), американский философ и психолог – 230, 232, 404

Джотто ди Бондоне (1266/1267 – 1337), итальянский живописец – 11

Дидро Дени (1713–1784) – французский философ и писатель – 97

Диккенс Чарлз (1812–1870), английский писатель – 99, 199

Димитрий (Дмитрий) Ростовский (Даниил Саввич Туптало) (1651–1709), митрополит Ростовский и Ярославский (с 1702), писатель – 51, 174

Диоген Синопский (ок. 400 – ок. 325 до н. э.), древнегреческий философ-киник – 92, 434

Добролюбов Николай Александрович (1836–1861), литературный критик, публицист, постоянный сотрудник журнала «Современник» – 216, 429

Добролюбова Мария Михайловна (1878, по др. данным 1880–1906), сторонница эсеров, сестра милосердия, сестра поэта А. М. Добролюбова – 129

Долгоруков Василий Андреевич (1804–1868), шеф жандармов и начальник Третьего отделения (1856–1866), уволен после покушения Д. В. Каракозова на Александра II – 350

- Дондукова-Корсакова* Мария Михайловна (1828–1909), общественная деятельница – 132, 151, 181
- Дорошевич* Влас Михайлович (1864–1922), журналист, театральный критик, фельетонист – 73
- Достоевский* Федор Михайлович (1821–1881), писатель и мыслитель – 31, 33–35, 53, 90, 91, 194, 232, 353, 360–362, 371, 429, 435, 436
- Дризен* (фон дер Остен-Дризен) Николай Васильевич (1868–1935), театральный деятель, историк театра, мемуарист – 168, 171
- Друммонд* Генри (1851–1897), английский теолог – 199, 200
- Дрэйер* Джон Уильям (1811–1882), американский естествоиспытатель и историк – 8
- Дункан* Айседора (1877–1927), американская танцовщица – 169
- Дьяконова* Елизавета Александровна (1874–1902), публицист, автор «Дневника» – 164, 165
- Дюбуа-Реймон* Эмиль Генрих (1818–1896), немецкий физиолог и философ – 337
- Евгений* (Евфимий Алексеевич Болховитинов) (1767–1837), церковный деятель, историк, библиограф, митрополит Киевский – 224
- Евреинов* Николай Николаевич (1879–1953), драматург, режиссер, теоретик и историк театра – 171
- Евтихий* (VI в.), патриарх Константинопольский, обвинялся в ереси – 363
- Екатерина Арагонская* (1485–1536), первая жена Генриха VIII (в 1509–1533) – 123, 144
- Еленев* Федор Павлович (1828–1902), публицист, член Главного управления по делам печати – 12
- Елизавета* (1837–1898), австрийская императрица, жена Франца Иосифа I (с 1854), убита анархистом – 241
- Елизавета Петровна* (1709–1762), российская императрица (с 1741), дочь Петра I – 193
- Елистратов* А. И., участник съезда по борьбе с проституцией – 177
- Желябов* Андрей Иванович (1851–1881), народник, организатор покушения на Александра II (1 марта 1881) – 325–328, 354, 431
- Жорес* Жан (1859–1914), французский социалист, исследователь Французской революции кон. XVIII в. – 426, 427
- Жуковский* Василий Андреевич (1783–1852), поэт, переводчик, критик – 96, 105, 186, 229, 340
- Жученко* (Гернгросс), знакомая С. В. Зубатова – 73
- Задор*, немецкий певец – 253
- Збруева* Евгения Ивановна (1868/1869, по др. данным 1867–1936), певица (контральто) – 253
- Зембрих* Марчелла (наст. имя и фам. Марцелина Коханьска) (1858–1935), польская певица (сопрано) – 253
- Зенгер* Григорий Эдуардович (1853–1919), министр народного просвещения (1902–1904) – 278, 334, 335
- Золотов*, сельский учитель – 40, 41
- Зороастр* (Заратуштра) (между X и I-й пол. VI в. до н. э.), пророк и реформатор древнеиранской религии – 403
- Зотов* Рафаил Михайлович (1795–1871), писатель – 59
- Зубатов* Сергей Васильевич (1864–1917), начальник Московского охранного отделения и Особого отдела департамента полиции, застрелился – 73, 82
- Иван I Калита* (ок. 1296–1340), великий князь Московский (с 1325) и Владимирский (1328–1331, с 1332) – 225
- Иван IV Грозный* (1530–1584), первый русский царь (с 1547) – 20, 41
- Иванов* Александр Павлович (1876–1940), публицист, искусствовед – 165
- Иванов* Вячеслав Иванович (1866–1949), поэт, публицист, филолог, теоретик символизма – 200
- Иванов* Михаил Михайлович (1849–1927), музыкальный критик и композитор – 379
- Игорь Святославич* (1150–1202), князь Новгород-Северский (с 1178) – 77
- Иисус Христос* – 28, 29, 34, 35, 76, 139–142, 146–147, 270, 271, 277, 285, 298, 321, 324, 388, 395–397, 400, 403, 434, 439, 444–446
- Илиодор* (Сергей Михайлович Труфанов) (1880–1952), иеромонах, один из организаторов «Союза русского народа» – 278
- Иннокентий* (Иван Алексеевич Борисов) (1800–1857), архиепископ Херсонский

- и Таврический, богослов и церковный оратор – 51
- Иоанн Златоуст* (344/354–407), византийский церковный деятель, проповедник, архиепископ Константинопольский (397–404) – 369, 397, 414, 415
- Иона* (ум. 1461), митрополит Московский – 174
- Иорданский* Николай Иванович (1876–1928), публицист и общественный деятель – 214–217, 220
- Иуда Искарот*, в Новом Завете апостол, предавший Христа – 76, 277, 278
- Кавелин* Константин Дмитриевич (1818–1885), историк, правовед, философ, публицист, общественный деятель – 8, 355
- Кайгородов* Дмитрий Никифорович (1846–1924), орнитолог, фенолог, педагог, автор научно-популярных книг по естествознанию – 117, 118
- Калигула* Гай Юлий Цезарь (12–41), римский император (с 37) – 291, 353, 354, 401
- Калиостро* Алессандро (наст. имя и фам. Джузеппе Бальзамо) (1743–1795), граф, итальянский авантюрист, занимался оккультизмом – 96
- Каменский* Анатолий Павлович (1876–1941), писатель, киносценарист – 162, 203, 214, 219, 220, 303, 424
- Кант* Иммануил (1724–1804), немецкий философ – 211, 249, 250
- Капнист* Василий Васильевич (1758–1823), драматург и поэт – 134
- Карамзин* Николай Михайлович (1766–1826), историк и писатель – 12, 229, 417
- Каринский* Михаил Иванович (1840–1917), логик, философ, преподавал в Санкт-Петербургской духовной академии – 162
- Карл Великий* (742–814), франкский король (с 768), император (с 800) – 43, 46, 287, 288
- Карпиль* Томас (1795–1881), английский историк, философ, писатель, публицист – 199, 212, 348, 349
- Каррик* (вероятно, Гаррик) Дэвид (1717–1779), английский актер, реформатор сцены – 169
- Катков* Михаил Никифорович (1818–1887), публицист, издатель, критик – 132
- Каульбах* Вильгельм (1805–1874), немецкий живописец и рисовальщик – 342
- Каутский* Карл (1854–1938), один из лидеров и теоретиков германской и международной социал-демократии – 355
- Кимон* (ок. 504–449 до н. э.), афинский полководец в период Греко-персидских войн – 99
- Киреевский* Иван Васильевич (1806–1856), философ, литературный критик, публицист, один из основателей славянофильства – 98, 220, 229, 258
- Киреевский* Петр Васильевич (1808–1856), фольклорист, археограф, публицист – 229, 258
- Клевер* Юлий Юльевич (1850–1924), художник – 200, 203
- Клеопатра* (69–30 до н. э.), последняя царица Египта из династии Птолемеев – 92, 93, 148
- Ключевский* Василий Осипович (1841–1911), историк – 143, 161, 184, 282, 417, 418
- Кноте*, немецкий певец – 253
- Коган-Бернштейн*, студент Санкт-Петербургского университета (1881) – 325–327
- Кок* Поль де (1793–1871), французский писатель – 215
- Колумб* Христофор (1451–1506), мореплаватель, родом из Генуи, руководил испанскими экспедициями, в результате которых были открыты земли Западного полушария – 86, 88, 344
- Кольбер* Жан Батист (1619–1683), французский генеральный контролер (министр) финансов (с 1665) – 47
- Кольцов* Алексей Васильевич (1809–1842), поэт – 36, 409
- Кольцов* Ив., псевд. Льва Александровича Тихомирова (1852–1923), политического деятеля и публициста – 349
- Комаровский* П., граф, потерпевший по делу Тарновской – 92–95, 148
- Комиссаржевская* Вера Федоровна (1864–1910), актриса, в 1904 г. создала свой театр – 57, 58, 106, 107
- Кони* Анатолий Федорович (1844–1927), юрист, судебный оратор – 399
- Константин I Великий* Флавий Валерий (ок. 285–337), римский император (с 306) – 288, 344
- Конт* Огюст (1798–1857), французский философ и социолог, один из создателей позитивизма – 47, 399

- Конфуций* (Кун-цзы) (ок. 551 – 479 до н. э.), древнекитайский мыслитель, создатель этико-политического учения – конфуцианства – 403
- Корде* Шарлотта (1768–1793), французская дворянка, убившая одного из вождей якобинцев – Марата, казнена – 415
- Корнель* Пьер (1606–1684), французский драматург – 145
- Короленко* Владимир Галактионович (1853–1921), писатель, публицист, общественный деятель – 33, 196
- Корш* Федор Евгеньевич (1843–1915), филолог, переводчик, публицист, педагог – 282
- Костомаров* Николай Иванович (1817–1885), историк и писатель – 8
- Котляревский* Нестор Александрович (1863–1925), литературовед, историк литературы – 162
- Котошихин* Григорий Карпович (ок. 1630 – 1667), подьячий Посольского приказа, бежал за границу, с 1666 г. в Швеции – 40
- Коши* Огюстен Луи (1789–1857), французский математик – 46
- Кравчинский* (Степняк-Кравчинский, наст. фам. Кравчинский, псевд. Степняк) Сергей Михайлович (1851–1895), революционный народник, писатель, после убийства Мезенцова (в 1878) в эмиграции – 430
- Краевский* Андрей Александрович (1810–1889), издатель, журналист, публицист – 351, 352
- Краус*, немецкий певец – 253
- Крафт-Эбинг* Рихард (1840–1902), немецко-австрийский врач-психиатр, сексопатолог – 181
- Крижанич* Юрий (ок. 1618–1683), ученый, писатель, языковед, по происхождению хорват, в 1659–1676 гг. находился в России – 40
- Кромвель* Оливер (1599–1658), деятель Английской революции, лорд-протектор (военный диктатор) (с 1653) – 143
- Крюденер* (Криденер) Варвара Юлия (1764–1825), проповедница, мистик – 52
- Кубе фон*, участница движения за женские права – 120
- Кузмин* Михаил Алексеевич (1872–1936), писатель, критик, переводчик, композитор – 424
- Кун*, немецкий певец – 253
- Кусков* Платон Александрович (1834–1909), поэт, литературный критик, переводчик, был в дружеских отношениях с Розановым – 200
- Кюнер* Рафаэль (1802–1878), немецкий филолог и педагог, автор учебников по греческому и латинскому языкам – 117
- Кюри* (Склодовская-Кюри) Мария (1867–1934), французский физик и химик, по происхождению поляк – 337
- Кюри* Пьер (1859–1906), французский физик – 337
- Лавров* Петр Лаврович (1823–1900), философ, социолог, публицист, один из идеологов революционного народничества, с 1870 г. в эмиграции – 47, 349
- Лавуазье* Антуан Лоран (1743–1794), французский химик – 353
- Лагранж* Жозеф Луи (1736–1813), французский математик и механик – 46
- Ламанский* Владимир Иванович (1833–1914), публицист, историк, ученый-славист, общественный деятель – 162
- Ламарк* Жан Батист (1744–1829), французский естествоиспытатель, предшественник Ч. Дарвина – 47
- Лао Тсе* (Лао-цзы) (наст. имя Ли Эр), автор одноименного древнекитайского трактата (IV–III вв. н. э.), излагающего каноны даосизма – 403
- Лаплас* Пьер Симон (1749–1827), французский астроном, математик, физик – 260
- Лассаль* Фердинанд (1825–1864), немецкий политический деятель, социалист, публицист – 137
- Латышев* Василий Алексеевич (1850–1912), педагог; был помощником попечителя Санкт-Петербургского учебного округа – 335
- Лебедев* В., протоиерей, религиозный писатель – 376
- Леверье* Урбен Жан Жозеф (1811–1877), французский астроном – 260
- Левицкая* (урожд. Полевая) Елена Сергеевна (ум. 1915), директриса школы в Царском Селе, знакомая Розанова – 333–336
- Лейбниц* Готфрид Вильгельм (1646–1716), немецкий философ, математик, физик, языковед – 232, 271, 338, 403
- Леонтьев* Константин Николаевич (1831–1891), философ, писатель, публицист, литературный критик – 33–35

- Леонтьев* Павел Михайлович (1822–1874), филолог, историк, журналист – 132
- Лермонтов* Михаил Юрьевич (1814–1841), поэт и прозаик – 36, 58, 59, 105, 116, 225, 340, 341, 413, 443
- Лернер* Николай Осипович (1877–1934), литературовед-пушкинист – 56
- Либих* Юстус (1803–1875), немецкий химик, основатель научной школы – 227
- Лидваль* Эрик Леонард, шведский предприниматель, представитель торгового дома «Лидваль и К°», поставщик продовольствия в голодающие районы (1906), спекулянт и аферист, был связан с В. И. Гурко – 77
- Лизогуб* Дмитрий Андреевич (1849–1879), народник, был приговорен к смертной казни – 430
- Локк* Джон (1632–1704), английский философ – 403, 404
- Ломброзо* Чезаре (1835–1909), итальянский криминалист и судебный психиатр – 116
- Ломоносов* Михаил Васильевич (1711–1765), естествоиспытатель, поэт, художник, историк, общественный деятель – 340
- Лопухин* Алексей Александрович (1864–1927), директор департамента полиции (1902–1905), разоблачил использование полицией методов провокации (1906), приговорен к каторге, был помилован; с 1918 г. в эмиграции, меценат – 73
- Лоран* Франсуа (1810–1887), бельгийский юрист и историк, автор «Очерков по истории человечества» (16 т., 1860–1870) – 103
- Лорис-Меликов* Михаил Тариелович (1825–1888), председатель Верховной распорядительной комиссии (1880), министр внутренних дел (1880–1881) – 325–327
- Луитпольд* Карл Иосиф Вильгельм (1821–1912), принц-регент Баварии (с 1886) – 250
- Лука Жидята* (Жирята) (ум. 1059 или 1060), древнерусский писатель, первый епископ Новгородский из русских (с 1036) – 57
- Лукьянов* Сергей Михайлович (1855–1935), обер-прокурор Синода (1909–1911), член Государственного совета (с 1906) – 390, 391
- Лэйярд* (Лейард) Остин Генри (1817–1894), английский археолог и дипломат – 202
- Любавский* Матвей Кузьмич (1860–1936), историк, профессор и ректор (1911–1917) Московского университета – 283
- Людовик XI* (1423–1483), французский король (с 1461), из династии Валуа – 144
- Людовик XIV* (1638–1715), французский король (с 1643), из династии Бурбонов – 145
- Лютер* Мартин (1483–1546), немецкий религиозный реформатор – 268, 270, 288, 322, 445
- Магницкий* Михаил Леонтьевич (1778–1844), член Главного управления училищ и попечитель Казанского учебного округа – 327, 328
- Магомет* (Мухаммед, Мохаммед) (ок. 570–632), основатель ислама, в котором почитается как пророк, глава теократического государства – 144, 146
- Мадзини* Джузеппе (1805–1872), руководитель республиканско-демократического крыла движения за освобождение и объединение Италии – 430
- Мазини* Анджело (1844–1926), итальянский певец – 253
- Майков* Аполлон Николаевич (1821–1897), поэт – 25, 285
- Макарий* (Михаил Петрович Булгаков) (1816–1882), богослов, церковный историк, митрополит Московский и Коломенский – 434
- Макаров* Николай Петрович (1810–1890), писатель, лексикограф – 227
- Малинин* Александр Федорович (1834–1888), директор Московского учительского института, составитель учебников по алгебре и другим предметам, выдержавших множество изданий – 369
- Мамин-Сибиряк* (наст. фам. Мамин) Дмитрий Наркисович (1852–1912), писатель – 159
- Марсеева* Т. Д., художник-иллюстратор – 117
- Мария Федоровна* (наст. имя Мария Фредерика София Дагмар Шлезвиг-Голштейн-Зондербург-Глюксбургская) (1847–1928), российская императрица, жена Александра III (с 1866) – 241

- Маркс Карл** (1818–1883), немецкий мыслитель, основоположник коммунистической теории, названной его именем – 8, 96, 219
- Масперо** Гастон Камиль Шарль (1846–1916), французский египтолог – 204
- Матвей Ржевский** (Матвей Александрович Константиновский) (1791–1857), протоиерей из Ржева, духовник Н. В. Гоголя – 59, 393
- Медици** Козимо Старший (1389–1464), правитель Флоренции (с 1434) – 341
- Медичи** (Медици), знатный итальянский (тосканский) род, правители Флоренции в XV–XVIII вв. – 258, 338, 341, 342, 371, 431
- Мезенцов** Николай Владимирович (1827–1878), шеф корпуса жандармов и начальник Третьего отделения (с 1876), убит С. М. Кравчинским – 350
- Меланхтон** Филипп (1497–1560), немецкий религиозный реформатор и педагог, сподвижник М. Лютера – 322
- Менделеев** Дмитрий Иванович (1834–1907), химик, педагог, общественный деятель – 129, 163, 268, 269, 329, 333
- Меньшиков** Михаил Осипович (1859–1918), публицист, сотрудник газеты «Новое время» – 188
- Мережковский** Дмитрий Сергеевич (1865–1941), писатель, публицист, философ, общественный деятель – 21, 322, 424
- Мериме** Проспер (1803–1870), французский писатель – 49
- Местр** Жозеф Мари де (1753–1821), французский публицист, пьемонтский политический деятель и дипломат, религиозный философ – 97, 337
- Мечников** Илья Ильич (1845–1916), биолог, патолог, эмбриолог – 8, 435
- Мещерский** Владимир Петрович (1839–1914), писатель и публицист, издатель газеты-журнала «Гражданин» – 280, 282, 284
- Микель-Анджело** (Микеланджело) Буонарроти (1475–1564), итальянский скульптор, живописец, архитектор, поэт – 258, 371
- Милль** Джон Стюарт (1806–1873), английский философ, экономист, общественный деятель – 261, 262, 404, 428
- Миллюков** Павел Николаевич (1859–1943), историк, публицист, лидер и теоретик партии кадетов – 20, 134, 275
- Миллюкова** (урожд. Смирнова) Анна Сергеевна (ум. 1935), переводчица и детская писательница, общественная деятельница, жена П. Н. Миллюкова – 177, 179–182
- Мирабо** Оноре Габриель Рикети (1749–1791), французский политический деятель, депутат Генеральных штатов (1789), где стал известен как обличитель абсолютизма – 415
- Миртов** О. (наст. имя и фам. Ольга Эммануиловна Негрескул) (1874–1939), прозаик и драматург, внучка П. Л. Лаврова – 103
- Митра**, в древнеиранской мифологии бог солнца, дневного света, мира между людьми; его культ был распространен во всей Римской империи – 288–290
- Михаил Феодорович** (Михаил Федорович) (1596–1645), царь (с 1613), основатель династии Романовых – 268
- Михайловский** Николай Константинович (1842–1904), социолог, публицист, литературный критик, идеолог легального (либерального) народничества – 32, 96, 197, 216, 217, 221, 347, 349, 422
- Моисей**, в Ветхом Завете предводитель израильтян, основатель иудаизма, пророк – 145, 298, 307, 314
- Молешотт** Якоб (1822–1893), немецкий физиолог и философ – 8
- Мольер** (наст. имя и фам. Жан Батист Поклен) (1622–1673), французский комедиограф, актер, реформатор сцены – 46
- Моммзен** Теодор (1817–1903), немецкий историк – 259
- Мопассан** Ги де (1850–1893), французский писатель – 215
- Морозов** Николай Александрович (1854–1946), народовец, ученый, поэт, мемуарист – 129, 131, 159, 163
- Моудсли** (Модсли) Генри (1835–1918), английский философ и психиатр – 404
- Моцарт** Вольфганг Амадей (1756–1791), австрийский композитор – 252, 254
- Муравьев** Михаил Николаевич (1796–1866), генерал-губернатор Северо-Западного края (1863–1865), командующий войсками Виленского военного округа, возглавил подавление Польского восстания 1863–1864 гг. – 41, 226
- Мюнэ-Сюлли** (Муне-Сюлли) Жан (1841–1916), французский актер – 169

Мякотин Венедикт Александрович (1867–1937), историк, публицист, один из редакторов журнала «Русское богатство», председатель ЦК Трудовой народно-социалистической партии (энесов) – 32

Надсон Семен Яковлевич (1862–1887), поэт – 429

Наполеон I (Наполеон Бонапарт) (1769–1821), французский император (1804–1814, март – июнь 1815) – 12, 52, 75, 97, 287

Наумов, близкий знакомый Тарновской, убийца Комаровского – 92–94, 148

Некрасов Николай Алексеевич (1821–1877/1878), поэт, прозаик, издатель – 76, 429

Немирович-Данченко Владимир Иванович (1858–1943), режиссер, драматург, педагог, вместе с К. С. Станиславским основал Московский Художественный театр – 168, 169, 171, 173, 174

Неплюев Николай Николаевич (1851–1908), помещик, религиозный публицист, общественный деятель, сторонник переустройства крестьянской жизни на основе трудовых братств – 100

Несторий (ум. ок. 451), патриарх Константинопольский (428–431), родоначальник осужденного церковью как ересь несторианства – 363

Никанор (Александр Иванович Бровкович) (1827–1890/1891), архиепископ Херсонский и Одесский, богослов, религиозный писатель и философ – 51, 399–401

Никодим, в Новом Завете фарисей и законоучитель, член синедриона, беседовавший с Христом и участвовавший в его погребении – 319, 323, 439, 445

Никодим (Никита Иванович Белокуров) (1826–1877), епископ Дмитровский – 392

Николай I (1796–1855), российский император (с 1825) – 327, 430

Николай Александрович (1843–1865), великий князь, старший сын Александра II – 222, 241

Никольский Михаил Васильевич (1848–1917), востоковед, основоположник ассириологии в России – 358

Никон (Никита Минов) (1605–1681), патриарх (с 1652), низложен на Большом

церковном соборе 1666–1667 гг. – 44, 175, 309

Ницше Фридрих (1844–1900), немецкий философ – 8, 304, 370

Новиков Николай Иванович (1744–1818), просветитель, писатель, философ, издатель – 355

Ньютон Исаак (1643–1727), английский математик, физик, астроном, создатель классической механики – 338

Овсянко-Куликовский Дмитрий Николаевич (1853–1920), литературовед и языковед – 162

Олесницкий Аким Алексеевич (1842–1907), профессор Киевской духовной академии, специалист по библейской археологии – 312–314

Орешников Алексей Васильевич (1855–1933), нумизмат – 346

Орлов, инспектор гимназии в Царском Селе – 334

Осоргина Ульяна Устиновна (ум. 1604), муромская помещица, впавшая в нищету, но продолжавшая помогать нуждающимся – 418

Островский Александр Николаевич (1823–1886), драматург – 104, 161

Отт Дмитрий Оскарович (1855–1929), специалист по гинекологии и акушерству, создатель научной школы – 162

Оттон (ум. 1916), король Баварии (1886–1913) – 250

Павел, в Новом Завете апостол – 20, 309, 364, 399

Павел I (1754–1801), российский император (с 1796) – 11

Панина Софья Владимировна (1871–1957), общественная деятельница и меценатка, после 1917 г. член ЦК партии кадетов, товарищ министра государственного призрения, затем народного просвещения во Временном правительстве, с 1920 г. в эмиграции – 163

Панченко Владимир Кириллович, врач, приговорен к каторге за соучастие в убийстве Бутурлина – 191, 194, 195

Пархоменко Иван Кириллович (1870–1940), художник – 158, 159–163

Паскаль Блез (1623–1662), французский математик, физик, философ и писатель – 46, 95, 211, 338

- Пастер* Луи (1822–1895), французский ученый, заложивший основы современной микробиологии и иммунологии – 8, 46, 194
- Пекарский* Петр Петрович (1827–1872), историк, библиограф – 226
- Переамент* Осип (Иосиф) Яковлевич (1868–1909), адвокат, деятель партии кадетов, депутат I и II Государственных дум – 53, 54
- Переферкович* Наум Абрамович (1871–1940), филолог, переводчик, комментатор Талмуда – 310, 314
- Перикл* (ок. 490–429 до н. э.), афинский стратег (главнокомандующий) и политический деятель – 21, 23, 99, 147, 257, 342
- Перовская* Софья Львовна (1853–1881), участница народнического движения, организатор покушения на Александра II (1 марта 1881 г.) – 354, 431
- Петр*, в Новом Завете апостол – 392, 400
- Петр* (ум. 1326), митрополит всея Руси (с 1308) – 174
- Петр I Великий* (1672–1725), царь (с 1682, правил самостоятельно с 1689), первый российский император (с 1721) – 43, 44, 124, 211, 224, 271, 342, 368, 389–391
- Петрова* Н. Я., корреспондент А. И. Эртеля – 40
- Пешехонов* Алексей Васильевич (1867–1933), экономист, публицист, член редакции журнала «Русское богатство», один из основателей Трудовой народно-социалистической партии (энесов) – 429–431
- Пирогов* Николай Иванович (1810–1881), хирург, естествоиспытатель, педагог, общественный деятель – 329, 333
- Писарев* Дмитрий Иванович (1840–1868), публицист, литературный критик, ведущий сотрудник радикального журнала «Русское слово» – 76, 216, 327, 328, 369, 429
- Писемский* Алексей Феофилактович (1821–1881), писатель – 8
- Питт* Уильям Старший (1708–1778), английский политический деятель, премьер-министр (1766–1768) – 99
- Плансон* де, участник съезда по борьбе с проституцией – 148
- Платон* (428/427–348/347 до н. э.), древнегреческий философ – 144, 232, 340, 341, 403, 437
- Платонов* Сергей Федорович (1860–1933), историк – 162
- Плеве* Вячеслав Константинович (1846–1904), министр внутренних дел и шеф корпуса жандармов (с 1902), убит эсерами – 17, 33, 97, 420
- Плетнев* Петр Александрович (1792–1865/1866), поэт, критик, издатель – 223
- Плещеев* Алексей Николаевич (1825–1893), поэт и прозаик – 347, 353, 421
- Плутарх* (ок. 45 – ок. 127), древнегреческий писатель и историк – 139, 228
- Победоносцев* Константин Петрович (1827–1907), правовед, обер-прокурор Синода (1880–1905), член Государственного совета – 9, 11–14, 17, 41, 53, 54, 68, 69, 97, 132, 206, 207, 209, 210, 212, 213, 274, 328, 389–392, 434
- Погодин* Михаил Петрович (1800–1875), историк, писатель, издатель – 221–224, 226
- Подбельский*, студент Санкт-Петербургского университета (1881) – 325, 327
- Покровская*, врач, исследователь проблем проституции – 181
- Полевой* Николай Алексеевич (1796–1846), писатель, публицист, историк – 335
- Полонский* Леонид Александрович (1833–1906), публицист, издатель – 351, 352
- Полонский* Яков Петрович (1819–1898), поэт – 53, 421
- Помпадур* Жанна Антуанетта Пуассон, маркиза де (1721–1764), фаворитка французского короля Людовика XV – 93, 96
- Помяловский* Николай Герасимович (1835–1863), писатель – 281
- Попов* М. С., священник, автор книги об Арсении Мацневиче – 308, 309
- Порфирий Успенский* (1804–1885), церковный деятель, археолог, писатель – 399
- Посошков* Иван Тихонович (1652–1726), экономист и публицист – 224
- Поссарт* Эрнст (1841–1921), немецкий трагический актер – 169
- Прахова* Елена Адриановна (1871–1948), дочь археолога и искусствоведа А. В. Прахова – 165
- Преузе-Матценауэр*, немецкая певица – 253
- Прилуков*, адвокат, был в близких отношениях с Гарновской, на судебном процессе приговорен к 10 годам тюремного заключения – 92–95, 148

- Пришвин* Михаил Михайлович (1873–1954), писатель – 340
- Протасов* Николай Александрович (1798–1855), обер-прокурор Синода (с 1836) – 273, 274
- Протейкинский* Виктор Петрович (ум. 1914), математик, дальний родственник Философовых и Дягилевых, участник Религиозно-философских собраний в Петербурге – 33
- Протопопов* Михаил Алексеевич (1848–1915), публицист, критик – 424
- Пругавин* Александр Степанович (1850–1920), публицист, историк, этнограф, религиовед – 441
- Прудон* Пьер Жозеф (1809–1865), французский экономист, социалист, теоретик анархизма – 425
- Пуришкевич* Владимир Митрофанович (1870–1920), один из лидеров «Союза русского народа», депутат II–IV Государственных дум – 20, 132, 278
- Пушкин* Александр Сергеевич (1799–1837), поэт и прозаик – 28, 43, 49, 54, 56, 57, 59, 70, 93–95, 102, 105, 148, 163, 169, 198, 203, 206, 210, 211, 217, 218, 327, 355, 375, 376, 415, 429, 435, 436
- Рамишвили* Исидор Иванович (1859–1937), учитель, один из руководителей грузинских меньшевиков, депутат I Государственной думы – 78
- Ранке* Леопольд фон (1795–1886), немецкий историк – 224, 247
- Расин* Жан (1639–1699), французский драматург – 46, 145
- Распутин* (наст. фам. Новых) Григорий Ефимович (1864/1865, по др. данным 1872–1916), крестьянин Тобольской губернии, как «целитель» и «прорицатель» получивший большое влияние при дворе, убит заговорщиками – 424
- Рафаэль Санни* (1483–1520), итальянский живописец и архитектор – 376, 440–442
- Рачинская* Варвара Александровна (ум. 1910), сестра С. А. Рачинского – 185, 186
- Рачинский* Сергей Александрович (1833–1902), ученый-ботаник, деятель народного просвещения, организатор сельских церковно-приходских школ – 12, 185, 186, 209, 210, 212
- Редсток* Гренвил Уолдгрив (1831–1913), английский проповедник-евангелист – 137
- Рембрандт* Харменс ван Рейн (1606–1669), нидерландский живописец, рисовальщик, офортист – 376, 377, 442
- Ремизов* Алексей Михайлович (1877–1957), писатель – 163, 416
- Ренан* Жозеф Эрнест (1823–1892), французский филолог, историк-востоковед, писатель – 96, 264, 321, 409
- Репин* Илья Ефимович (1844–1930), живописец – 129, 131, 163, 164
- Рескин* Джон (1819–1900), английский писатель и теоретик искусства – 210–212
- Ригм*, исследователь Ветхого Завета – 312
- Рид* Томас Майн (1818–1883), английский писатель – 382
- Робеспьер* Максимилиен (1758–1794), один из руководителей якобинцев во время Французской революции кон. XVIII в. – 353
- Ровинский* Дмитрий Александрович (1824–1895), юрист и историк культуры – 411
- Родионов* Иван Александрович (1866–1940), писатель, земский деятель, черносотенец, автор книги «Наши преступления (Не бред, а были). Из современной народной жизни» (1909) – 40, 41
- Родичев* Федор Измаилович (1854, по др. данным 1853–1933), юрист, земский деятель, член ЦК партии кадетов, депутат I–IV Государственных дум – 134
- Розанов* Василий Васильевич (1856–1919) – 16, 20, 88, 179, 189, 197, 420, 424, 431
- Розанов* Матвей Никанорович (1858–1936), историк литературы, профессор Московского университета – 283
- Розен*, директор дворянского института в Нижнем Новгороде – 281
- Росси* (Де Росси) Джанбаттиста (1822–1894), итальянский археолог, исследователь катакомб, автор труда «Подземный христианский Рим» (3 т., 1854–1887) – 379
- Рудаков* Александр Павлович (1824–1892), протоиерей, богослов, автор популярных книг о Библии – 374–376
- Рунич* Дмитрий Павлович (1778–1860), попечитель Санкт-Петербургского учебного округа (с 1821) – 328
- Русанов* Николай Сергеевич (1859–1939), политический деятель, публицист, мемуарист – 349

- Руссо Жан Жак* (1712–1778), французский писатель и философ – 433, 445
- Рыбников Павел Николаевич* (1831–1885), фольклорист – 57
- Рюрик* (ум. ок. 879), согласно летописному преданию, предводитель варяжских дружин, обосновавшихся в Новгороде, основатель династии Рюриковичей – 20, 229
- Саблер* (с 1915 Десятовский) Владимир Карлович (1845–1929), товарищ обер-прокурора Синода (1892–1905), обер-прокурор Синода (1911–1915) – 17, 212, 397, 415
- Сабуров Андрей Александрович* (1837–1916), управляющий Министерством народного просвещения (1880–1881) – 325–327
- Савонарола Джироламо* (1452–1498), настоятель монастыря доминиканцев во Флоренции, выступал против тирании Медичи и обличал папство, казнен – 338, 339
- Садовский* (наст. фам. Ермилов) Пров Михайлович (1818–1872), актер Малого театра, основатель актерской династии – 172
- Садоков Константин Иванович*, директор нижегородской гимназии, затем помощник попечителя Московского учебного округа – 281
- Салтыков* (Салтыков-Щедрин) Михаил Евграфович (наст. фам. Салтыков, псевд. Щедрин) (1826–1889), писатель и публицист – 11, 12, 41, 73, 74, 143
- Сальвини Томмазо* (1820–1915), итальянский актер – 169
- Святополк-Мирский Петр Дмитриевич* (1857–1914), министр внутренних дел (1904–1905) – 327
- Северова* (Нордман-Северова) Наталья Борисовна (1863–1914), вторая жена И. Е. Репина, писательница – 163
- Секки Анджело* (1818–1878), итальянский астроном – 338
- Селиванов Кондратий Иванович* (ум. 1832), крестьянин, основатель секты скопцов – 143, 144
- Сен-Симон Клод Анри де Рувруа* (1760–1825), французский мыслитель, сторонник социалистического устройства общества – 425
- Серпион Владимирский* (ум. 1275), древнерусский писатель, архимандрит Киево-Печерского монастыря, епископ Владимирский (с 1274) – 57
- Серафим Саровский* (Прохор Сидорович (Исидорович) Мошнин) (1754, по др. данным 1759–1833), православный подвижник – 27, 174, 245, 297
- Сергий Радонежский* (Варфоломей Кириллович) (1314/1321–1392), православный подвижник, основатель и игумен Троицкого монастыря (впоследствии Троице-Сергиева лавра) – 36, 51, 174, 364
- Серебряков Павел Алексеевич*, чиновник – 78–81
- Серебрякова Анна Егоровна*, жена П. А. Серебрякова – 79–81
- Сибириков Александр Михайлович* (1849–1933), золотопромышленник, меценат – 431
- Симеон Полоцкий* (Самуил Емельянович Петровский-Ситнианович) (1629–1680), церковный и общественный деятель, писатель, проповедник, поэт – 57
- Симон Маккавей*, основатель династии Маккавеев в Иудее, первосвященник, военачальник и правитель (140–134 до н. э.) – 295
- Синеус*, брат Рюрика, правивший, согласно преданию, в Белоозере – 20
- Сипягин Дмитрий Сергеевич* (1853–1902), министр внутренних дел (с 1900), убит эсерами – 11, 17, 33, 97
- Скабичевский Александр Михайлович* (1838–1910), литературный критик, историк литературы, публицист – 327
- Скворцов Василий Михайлович* (1859–1932), чиновник Синода, публицист, редактор-издатель ряда церковных изданий – 51, 275
- Скотт Вальтер* (1771–1832), английский писатель – 241
- Скубинская Марианна*, польская акушерка, убивавшая новорожденных детей (преступление раскрыто в 1890 г.) – 301, 305
- Слонимский Людвиг Зиновьевич* (1850–1918), публицист, сотрудник журнала «Вестник Европы» – 197–199
- Смоленский Степан Васильевич* (1848–1909), хоровой дирижер, исследователь древнерусского церковного пения – 379
- Сократ* (ок. 470–399 до н. э.), древнегреческий философ – 144, 155, 257, 437, 441

- Соловьев Владимир Сергеевич* (1853–1900), философ, поэт, публицист – 8, 17, 35, 197–199, 399, 405
- Соловьев Михаил Петрович* (1842–1902), начальник Главного управления по делам печати (с 1896), писатель, публицист – 9, 11, 15
- Соловьев Николай Феопемптович* (1846–1916), композитор, музыкальный критик и педагог – 379
- Соловьев Сергей Михайлович* (1820–1879), историк – 355
- Соломон*, царь Израильско-Иудейского государства (ок. 965 – ок. 926 до н. э.) – 58, 313
- Спасский*, профессор Московской духовной академии – 162
- Спенсер Герберт* (1820–1903), английский философ и социолог – 261, 262, 338, 403
- Спиноза Бенедикт* (Барух) (1632–1677), нидерландский философ – 139
- Сталь*, жертва Тарновской – 93, 94
- Станиславский* (наст. фам. Алексеев) Константин Сергеевич (1863–1938), режиссер, актер, теоретик театра, педагог – 168–171, 173, 174
- Станюкович Константин Михайлович* (1843–1903), писатель – 347
- Стасюлевич Михаил Матвеевич* (1826–1911), историк, издатель, общественный деятель – 132, 352
- Степанов С. Л.*, инспектор Санкт-Петербургского учебного округа – 334
- Степняк* – см. Кравчинский С. М.
- Стокэм* (Стокгем) Алиса (Алоиза), английский доктор медицины, автор труда «Токология, или Наука о рождении детей. Книга для женщин» (1888) – 394
- Стоютина* (урожд. Тихменова) Мария Николаевна (1846–1940), директор основанной ею гимназии в Петербурге – 103
- Страхов Николай Николаевич* (1828–1896), философ, публицист, литературный критик – 20, 197, 399, 405, 435
- Строганов Сергей Григорьевич* (1794–1882), генерал-адъютант, член Государственного совета (с 1856), председатель Московского общества истории и древностей российских, попечитель (воспитатель) старшего сына Александра II Николая Александровича (с 1860) – 222
- Строев Павел Михайлович* (1796–1876), историк и археограф – 224
- Струве Петр Бернгардович* (1870–1944), экономист, философ, историк, публицист, один из лидеров партии кадетов – 21, 81, 82, 159, 412, 414–416, 420–423, 430
- Суворин Алексей Сергеевич* (1834–1912), издатель, публицист, критик – 431
- Суворов Александр Васильевич* (1730–1800), полководец, генералиссимус (1799) – 58
- Суворов Николай Семенович* (1848–?), автор работ по церковному (каноническому) праву – 392
- Судейкин Георгий Порфирьевич* (1850–1883), жандармский офицер, заведующий агентурой петербургского охранного отделения, убит народовольцами – 74
- Сумароков Александр Петрович* (1717–1777), писатель – 59, 133
- Сухомлинов Михаил Иванович* (1828–1901), историк литературы – 226
- Сципионы*, в Древнем Риме ветвь рода Корнелиев, к которой принадлежали известные полководцы – 23
- Сыромятников Сергей Николаевич* (1864–1934), публицист – 420
- Тамберлик Энрико* (1820–1889), итальянский певец – 430
- Тамерлан* (Тимур) (1336–1405), полководец, эмир (с 1370) – 146
- Тареев Михаил Михайлович* (1867–1934), православный богослов и философ – 162, 260, 266, 268–272, 274–278
- Тарновская* (урожд. О'Рурк) Мария Николаевна, обвинялась в подстрекательстве к убийству своего любовника графа П. Комаровского с целью получения за него страховой суммы; на судебном процессе, проходившем в Венеции в феврале – мае 1910 г., была приговорена к 8 годам тюремного заключения – 90–96, 148
- Тарновский Вениамин Михайлович* (1837–1906), венеролог, профессор Петербургской медико-хирургической академии – 181
- Татищев Василий Никитич* (1686–1750), политический деятель и историк – 224
- Тверской* (наст. фам. Дементьев) Петр Алексеевич, американский делец, пытался уговорить поселившихся в Ка-

- наде духовоборов переехать в Калифорнию – 213
- Теннисон* Алфред (1809–1892), английский поэт – 322
- Тиберий* (Тиберий Клавдий Нерон) (42 до н. э. – 37 н. э.), римский император (с 14) – 291
- Тилли* Иоганн Церклас (1559–1632), немецкий полководец, фельдмаршал – 339, 340
- Тимирязев* Климент Аркадьевич (1843–1920), естествоиспытатель, занимался исследованием физиологии растений – 20
- Тит* (Тит Флавий Веспасиан) (39–81), римский император (с 79) – 259
- Тихон* *Задонский* (Тимофей Савельевич Соколов) (1724–1783), епископ, православный подвижник, богослов – 51, 174
- Тихонравов* Николай Саввич (1832–1893), литературовед и археограф – 282
- Толстая* (урожд. Берс) Софья Андреевна (1844–1919), жена Л. Н. Толстого – 384, 385, 388
- Толстой* Алексей Константинович (1817–1875), писатель – 105
- Толстой* Дмитрий Андреевич (1823–1889), министр народного просвещения (1866–1880), министр внутренних дел (с 1882) – 68, 74, 187, 326, 328–330
- Толстой* Лев Николаевич (1828–1910), писатель и мыслитель – 16–19, 31, 33–35, 43, 49, 69, 70, 90, 96, 99, 126, 156, 159, 160, 163, 193, 196, 211, 353, 383–388, 393–396, 399, 401, 403–407, 429, 432–436
- Толстой* Сергей Николаевич (1826–1904), старший брат Л. Н. Толстого – 433
- Тредьяковский* (Тредиаковский) Василий Кириллович (1703–1768), поэт и филолог – 59
- Трейчке* Генрих (1834–1896), немецкий историк – 259
- Троицкий* Матвей Михайлович (1835–1899), психолог, философ, профессор Московского университета – 399, 404, 405
- Трубецкой* Павел (Паоло) Петрович (1866–1938), скульптор, с 1906 г. жил в основном за границей – 163
- Трубецкой* Сергей Николаевич (1862–1905), философ, публицист, общественный деятель, первый выборный ректор Московского университета – 399
- Трувор*, брат Рюрика, правивший, согласно преданию, в Изборске – 20
- Тургенев* Иван Сергеевич (1818–1883), писатель – 7, 8, 43, 126, 161, 196, 258, 349, 450
- Тэн* Ипполит (1828–1893), французский философ, социолог искусства, историк – 96
- Уваров* Сергей Семенович (1786–1855), министр народного просвещения (1833–1849) – 222, 329, 330
- Унковский*, юрист – 188, 189
- Успенский* Глеб Иванович (1843–1902), писатель – 196, 347, 353
- Ушинский* Константин Дмитриевич (1824–1870/1871), педагог, теоретик педагогики – 380
- Уэвель* (Уэвелл) Уильям (1794–1866), английский философ и историк науки, автор трудов по этике и индуктивной логике – 260–263
- Фалес* (ок. 625 – ок. 547 до н. э.), древнегреческий мыслитель – 406
- Фарадей* Майкл (1791–1867), английский физик, основоположник учения об электромагнитном поле – 338
- Фейербах* Людвиг (1804–1872), немецкий философ – 8
- Фейнгал*, немецкий певец – 253
- Феноменов* Николай Николаевич (1855–?), специалист по гинекологии и акушерству – 162
- Феодора* (ум. 548), византийская императрица (с 527), жена Юстиниана I – 56
- Феофан* (Василий Дмитриевич Быстров) (1873–1943), ректор Санкт-Петербургской духовной академии (1908–1910), религиозный писатель, историк – 162
- Феофан Прокопович* (1681–1736), политический и церковный деятель, богослов, религиозный писатель – 391
- Ферстер* Фридрих, немецкий педагог и психолог – 336, 337
- Фигнер* Вера Николаевна (1852–1942), участница революционного движения, мемуаристка – 75, 354
- Филарет* (Василий Михайлович Дроздов) (1782–1867), архиепископ (с 1821), митрополит Московский (с

- 1825), православный богослов, историк, философ, проповедник – 51, 223, 224, 270, 271, 273, 274, 434
- Филипп Македонский* (Филипп II) (ок. 382–336 до н. э.), царь Македонии (с 359 до н. э.), отец Александра Македонского – 282, 283
- Филиппов* Третий Иванович (1825–1899), директор Государственного контроля, писатель-славянофил – 227
- Философов* Дмитрий Владимирович (1872–1940), литературный критик, публицист – 396
- Флоренский* Павел Александрович (1882–1937), православный священник, философ, ученый, инженер, репрессирован – 162
- Форель* Огюст (1848–1931), швейцарский невропатолог, психиатр, общественный деятель – 26
- Фотий* (Петр Никитич Спасский) (1792–1838), церковный деятель, архимандрит, обличитель всякого рода «зловренных происков» – 125
- Фохт* Карл (1817–1895), немецкий философ и естествоиспытатель – 8, 338
- Франк* Семен Людвигович (1877–1950), философ, с 1922 г. в эмиграции – 230
- Франклин* Бенджамин (1706–1790), американский политический деятель, просветитель, ученый – 143
- Франц Иосиф I* (1830–1916), император Австрии и король Венгрии (с 1848), из династии Габсбургов – 241
- Фридрих II Великий* (1712–1786), прусский король (с 1740), полководец – 212
- Фурье* Шарль (1772–1837), французский мыслитель, сторонник социалистического устройства общества – 425
- Хадиджа* (ум. 620), первая жена Магомета (Мухаммеда) – 144
- Харламов* И. Н., публицист – 349, 351–353
- Хомяков* Алексей Степанович (1804–1860), философ, богослов, писатель, публицист, общественный деятель, один из основателей славянофильства – 17, 220, 228, 229
- Церетели* Ираклий Георгиевич (1881–1959), депутат II Государственной думы, председатель ее социал-демократической фракции, в 1917 г. министр почт и телеграфов Временного правительства, мемуарист – 78, 193
- Цицерон* Марк Туллий (106–43 до н. э.), римский политический деятель, оратор и писатель – 144
- Чарская* (наст. фам. Чурилова) Лидия Алексеевна (1875–1937), писательница, актриса – 71, 106
- Чернышевский* Николай Гаврилович (1828–1889), писатель, публицист, критик, философ, общественный деятель – 8, 217, 219, 327, 328, 418, 429
- Чертков* Владимир Григорьевич (1854–1936), общественный деятель, издатель, друг Л. Н. Толстого – 100, 101, 164, 393
- Чертков* Михаил Иванович (1829–1905), генерал-губернатор Привислинского края (с 1901) – 37
- Чехов* Антон Павлович (1860–1904), писатель – 396, 450
- Чечотт* Оттон Антонович (1842–?), психиатр – 162
- Чичерин* Борис Николаевич (1828–1904), юрист, историк, философ – 21, 222, 351, 352
- Чичерина* (урожд. Капнист) Александра Алексеевна (1845–1920), жена Б. Н. Чичерина – 223
- Чуковский* Корней Иванович (наст. имя и фам. Николай Васильевич Корнейчуков) (1882–1969), писатель, литературный критик – 214–221, 412, 413, 423
- Шакиа Муни* (Шакьямуни) – см. Будда
- Шаляпин* Федор Иванович (1873–1938), певец (бас) – 155, 253
- Шарко* Жан Мартен (1825–1893), французский врач, один из основоположников невропатологии и психотерапии, создатель клинической школы – 8, 46, 261
- Шафиров* Петр Павлович (1669–1739), политический деятель и дипломат – 224
- Шварц* Александр Николаевич (1848–1915), филолог, министр народного просвещения (1908–1910) – 278, 279, 281–284, 330, 346, 347, 357–359
- Шварц* Бертольд (ок. 1310–1384), немецкий монах, считается изобретателем пороха – 289
- Шейн* Павел Васильевич (1826–1900), фольклорист, этнограф – 57

- Шекспир* Уильям (1564–1616), английский драматург и поэт – 20, 56, 221
- Шелгунов* Николай Васильевич (1824–1891), публицист, литературный критик – 347–349, 351, 352
- Шенье* Андре Мари (1762–1794), французский поэт и публицист, казнен якобинцами – 353
- Шереметев* Сергей Дмитриевич (1844–1918), общественный деятель, историк, библиофил – 223
- Шестаков* Д., автор сочинения о раннехристианских сказаниях – 446
- Шишко* Леонид Эммануилович (1852–1910), политический деятель и публицист, автор работ по истории общественного движения в России – 417, 418
- Шопенгауэр* Артур (1788–1860), немецкий философ – 8, 438
- Шпильгаген* Фридрих (1829–1911), немецкий писатель – 429
- Штейн* Ольга, генеральша, мошенница – 51, 53–56, 91, 213
- Штраус* Давид Фридрих (1808–1874), немецкий теолог и философ – 321, 409
- Шувалов* Петр Андреевич (1827–1889), шеф корпуса жандармов и начальник Третьего отделения, ближайший советник Александра II – 350
- Шульц*, знакомый О. Штейн, лжесвидетель – 53, 54, 91
- Шумский* (наст. фам. Чесноков) Сергей Васильевич (1820–1878), актер Малого театра – 172
- Щеглов* (наст. имя и фам. Иван Леонтьевич Леонтьев) (1855/1856–1911), писатель – 164, 165
- Щедрин* – см. Салтыков М. Е.
- Щепкин* Михаил Семенович (1788–1863), актер, реформатор русского театра – 172
- Эвклид* (Евклид) (III в. до н. э.), древнегреческий математик – 263
- Эдисон* Томас Алва (1847–1931), американский изобретатель и предприниматель – 147
- Эдуард VII* (1841–1910), английский король (с 1901) – 169
- Эмар* Гюстав (наст. имя и фам. Оливье Глу) (1818–1883), французский писатель – 327
- Эмерсон* Ралф Уолдо (1803–1882), американский философ и эссеист – 211, 212
- Энгельс* Фридрих (1820–1895), немецкий мыслитель и политический деятель, соратник К. Маркса – 219
- Эртель* Александр Иванович (1855–1908), писатель – 15–18, 40–42
- Юм* Дэвид (1711–1776), английский философ, историк, экономист – 404
- Юнгеров* Павел Александрович (1856–?), религиозный писатель – 310–314
- Юстиниан I Великий* (482/483–565), византийский император (с 527) – 56, 414
- Яворская* (урожд. Гюббенет, в замужестве Барятинская) Лидия Борисовна (1871–1921), актриса – 163
- Яремич* Степан Петрович (1869–1939), живописец, историк искусства, критик – 165
- Ярославна* (Ефросинья Ярославна) (2-я пол. XII в.), жена князя Новгород-Северского Игоря Святославича, дочь князя Галицкого Ярослава Владимировича Осмомысла – 77
- Ясинский* Иероним Иеронимович (1850–1931), журналист, писатель, мемуарист – 159, 163

Составитель В. М. Персонов

СОДЕРЖАНИЕ

На Новый год	7
М. П. Соловьев и К. П. Победоносцев о бюрократии	9
Нужда веры и форм ее	15
Об одном великом непонимании	19
Зеленая веточка	23
Как делали одного ученого	25
Обещающее начинание	26
На ходу корабля	29
Заблудились в трех соснах	33
«По причине оставления одним супругом другого»	36
Заветы быта и труда	40
«Матушка казна»	43
Исторический «гений» Франции	46
Дружба народов	48
Опять «праздники»	50
Где «болото», там и «черти»... (К делу Ольги Штейн)	51
Блондины и брюнеты...	56
С натуры	59
«Хищения» и новый строй	66
Школьные течения наших дней	69
Загадки русской провокации. Очерк	73
На родительском собрании	83
«Без цели и смысла...» (О самоубийствах)	86
О Тарновской	90
К пятому изданию «Вех»	96
Об отроческом и юношеском чтении	103
Бесприютность молодежи	106
Профессионалы «благотворительности» (К всероссийскому съезду по благотворительности в Петербурге)	108
К открытию Общества охранения женских прав	110
В родном гнезде	113
Апрельская книжка	117
Общество охранения женских прав	118
Почти непоправимое дело	125
Новый Робинзон	129
Два «представительства»	132
Искупительные «жертвы» в истории	134
«Воскресение» в истории человечества	137

Чудо Востока	142
Розовая повязка на глазах (К съезду для борьбы с проституцией) . . .	148
Физика и метафизика проституции (К 1-му всероссийскому съезду борьбы с проституцией)	151
Галерея портретов русских писателей г. Пархоменко. Очерк	158
Рассказы И. Л. Щеглова	164
К памяти М. А. Врубеля	165
К положению церковно-приходских училищ	166
В театральном мире (К гастролям московского Художественного те- атра в Петербурге)	168
Союз церкви и государства в сфере народных училищ	174
О необходимости второго съезда по борьбе с проституцией	176
Г-жа Милюкова о съезде по борьбе с проституцией	179
Несправедливость	182
Варвара Александровна Рачинская (Некролог)	185
Еще о неясности законодательного языка	187
Возражение «России»	189
Де-Ласси и Панченко	191
В литературной прачешной	196
Посмертный труд Генри Друммонда	199
Молодые поэты	200
Среди газет и журналов	206
Витте и Победоносцев (К недавнему юбилею гр. С. Ю. Витте)	206
«Единое стадо» и неугомонный волк	214
Посмертный том «Жизни и трудов Погодина» Н. П. Барсукова	221
Из литературных впечатлений. В Религиозно-философском обществе	230
Пограничные запахи	233
Дневник туриста	235
Место девичества русской Императрицы	240
Еще испорченный памятник	242
Дневник туриста	244
В театре «Deutsche Kunst»	248
В Cristliche Hospice	254
В Берлине	258
Сладкое и горькое на Руси (К истории проф. М. М. Тареева)	260
Из дел нашей школы	278
В военном лагере римлян	285
Письмо в редакцию	292
Полупонятные руины	293
Евреи и христиане. Очерк	297
Еще случай	303
Между прочим	305
Ужасный случай	308
Темная строка в Талмуде	310
Метафизический разговор	316
Тьма	325

Вечное обновление и вечная старость (К переработке гимназических программ)	329
Первые годы в школе	331
Юбилей образцовой школы	333
Против течения (Библиографическая заметка)	336
Мюнхенский монашенок	338
Не надо забывать доброго дела	345
В русских потемках	347
Страница из истории министерства просвещения	355
Тоска по жертве	359
Избегнутая ошибка	363
О вещах бесконечных и конечных (По поводу несостоявшегося «отлучения от церкви» писателей)	365
О деликатности и прочих мелочах	369
Маленькое и крупное улучшение в школьном преподавании	374
Художество испуга и мировой его смысл	380
Язычество и христианство в Ясной Поляне (К уходу Л. Н. Толстого)	383
Запутавшееся дело (К законопроекту о раздельном жительстве супругов)	389
Где же «покой» Толстому?	393
Перед гробом Толстого	394
Речи в «Речи»	395
Пассивное и активное отношение к злодеяниям в семье	397
Л. Н. Толстой и Н. Я. Грот (Предсмертные мысли Л. Н. Толстого) . . .	399
Права семьи в браке	407
«Родовое начало» в истории	410
Литературные и политические афоризмы (Ответ К. И. Чуковскому и П. Б. Струве)	412
Усердствующий Митрофан	424
Социализм во Франции и везде	425
Жизнь и счастье	428
Открытое письмо А. Пешехонову и вообще нашим «социал-сутенерам»	429
Доброе начинание	431
Толстой и крапивенские аборигены	432
Рафаэлевское и рембрандтовское христианство	436
Рождество Христово	443
Д. Шестаков. Исследования в области греческих народных сказаний о святых	446
<Предисловие к книге Р. Борхардта>	447
Вечерком	449
КОММЕНТАРИИ	456
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН	473

Научное издание

Василий
Васильевич
Розанов

Собрание сочинений

ЗАГАДКИ РУССКОЙ ПРОВОКАЦИИ

Статьи и очерки 1910 г.

На контртитутле фотография В. В. Розанова
с дочерью Татьяной (1911).

Заведующий редакцией *М. М. Беляев*
Ведущий редактор *П. П. Апрышко*
Редактор *Т. В. Исакова*
Художественный редактор *Е. А. Андрусенко*
Технический редактор *Т. А. Новикова*
Корректор *Е. Н. Горбунова*

ЛР № 010273 от 10.12.97.
Слано в набор 24.12.04.
Подписано в печать 10.03.05.
Формат 60×84^{1/16}.
Бумага офсетная № 1.
Гарнитура «Таймс».
Печать офсетная.
Усл. печ. л. 28,83. Уч.-изд. л. 35,75.
Тираж 2000 экз. Заказ № 425

Электронный оригинал-макет
подготовлен в издательстве.

Издательство «Республика»
Федерального агентства по печати
и массовым коммуникациям
Министерства культуры
и массовых коммуникаций
Российской Федерации.

ГП издательство «Республика».
Миусская пл., 7, Москва. А-47,
ГСП-3 125993.

Электронный вывод и печать
в ППП «Типография «Наука»
121099, Москва, Шубинский пер., 6

ИЗДАТЕЛЬСТВО «РЕСПУБЛИКА»

Выпускает

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В. В. РОЗАНОВА

В 1994—2005 гг.

вышли следующие тома:

- Т. 1 — Среди художников**
- Т. 2 — Мимолетное**
- Т. 3 — В темных религиозных лучах**
- Т. 4 — О писательстве и писателях**
- Т. 5 — Около церковных стен**
- Т. 6 — В мире неясного и нерешенного**
- Т. 7 — Легенда о Великом инквизиторе
Ф. М. Достоевского**
- Т. 8 — Когда начальство ушло...**
- Т. 9 — Сахарна**
- Т. 10 — Во дворе язычников**
- Т. 11 — Последние листья**
- Т. 12 — Апокалипсис нашего времени**
- Т. 13 — Литературные изгнанники.
Н. Н. Страхов. К. Н. Леонтьев**
- Т. 14 — Возрождающийся Египет**
- Т. 15 — Русская государственность и общество**
- Т. 16 — Около народной души**
- Т. 17 — В нашей смуте**
- Т. 18 — Семейный вопрос в России**
- Т. 19 — Старая и молодая Россия**
- Т. 20 — Загадки русской провокации**

**Подготовлены к выпуску
следующие тома:**

- Т. 21 — Террор против русского национализма**
- Т. 22 — Признаки времени**